



ЧАСТЬ  
ПЕРВАЯ

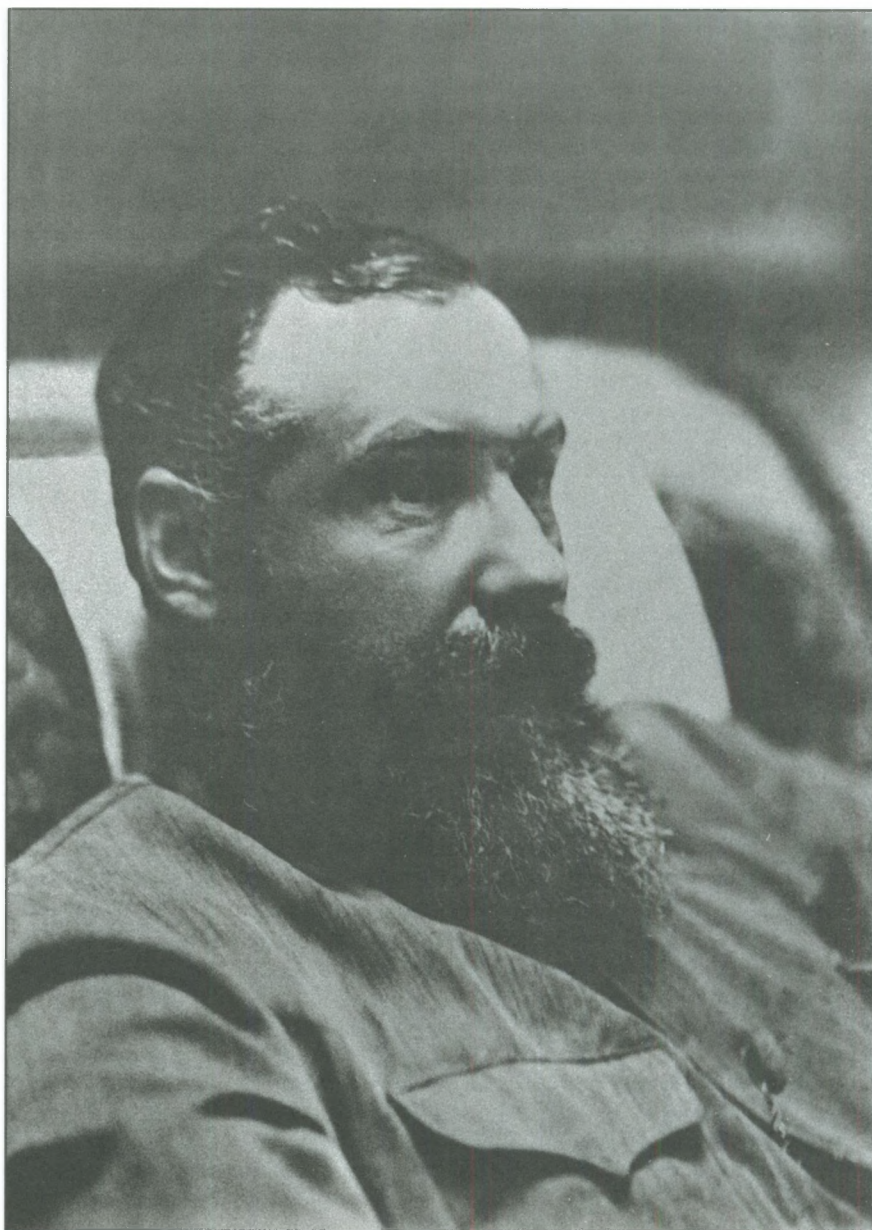
Яков Бутович · МОИ ПОЛКАНЫ И ЛЕБЕДИ



ЯКОВ БУТОВИЧ  
**Мои Полканы  
и Лебеди**

*воспоминания коннозаводчика*

**ЯКОВ БУТОВИЧ**  
**МОИ ПОЛКАНЫ И ЛЕБЕДИ**



ЯКОВ БУТОВИЧ

# Мои Полканы и Лебеди

*Воспоминания  
коннозаводчика*

---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРМЬ  
«КНИЖНЫЙ МИР»  
2010

УДК 636.1  
ББК 46.11  
Б 93

Издательство и инициативная группа, готовившая книгу к публикации, выражает благодарность за помощь в издании Всероссийскому научно-исследовательскому институту коневодства и Музею коневодства Российской сельско-хозяйственной академии имени К. А. Тимирязева за информационную помощь в подготовке издания книги, а также за предоставленные архивные материалы.

Выражаем благодарность предпринимателю К. Н. Мельникову за финансирование второго издания книги.

© А. А. Соколов, публикатор, 2010  
© А. А. Соколов, С. А. Бородулин, послесловие, 2010  
© С. П. Можаяева, Ф. И. Назаров, оформление, 2010

ISBN 978-5-903861-14-9

# ОБ ИСТОРИИ РУКОПИСИ Я. И. БУТОВИЧА И ОРЛОВСКОМ РЫСАКЕ

Нам даже не верится, что вышли в свет воспоминания Якова Ивановича Бутовича. Пока, правда, только их первая часть. Воспоминания знаменитого дореволюционного коннозаводчика, создателя единственной в мире галереи, посвященной лошади (ныне государственный Музей коневодства). Мы надеемся, что чтение его книги сможет стать для старшего поколения коннозаводчиков утешением, а для самых молодых читателей – увлекательным занятием. И еще. Изданием этой книги мы пытаемся изменить отношение общества к коннозаводству, прежде всего к отечественному – орловскому. Хотя создать его ныне можно лишь заново.

Рукописи уже 70 лет, и за все это время у нее было не более десятка читателей. Ее третья часть написана в тюрьмах и ссылках. Где прятал свою рукопись Яков Иванович, мы не знаем, как ничего не знаем о судьбе его семьи, дочери Татьяны. Почему и как он передал тетрадки с воспоминаниями Виталию Петровичу Лямину, первому директору и основателю Пермского конного завода, мы знаем приблизительно. Очевидно, Я. И. Бутович передал рукопись В. П. Лямину где-то в начале 1930-х годов, когда был «командирован» под конвоем на Урал с целью покупки ремонтных лошадей для Соловецких лагерей ГУЛАГа.

Виталий Петрович не рассказывал об истории рукописи. Он хранил рукопись с 1930-х годов и завещал ее и передал (вместе с библиотекой) семье Соколовых в 1984 году. Это огромная стопа тетрадей и «амбарных книг», и сохранять их было так же опасно, как спасать человека. Лямин рисковал и собой, и своей семьей. И как же надо было верить в книгу Якова Ивановича, чтобы годами, десятилетиями жить с готовностью пожертвовать собой! Влияние личности Бутовича видно и в том, как В. П. Лямин устроивал Пермский окр. завод.

И вот теперь именно на Урале, в Перми, где столько лет хранилась эта уникальная рукопись, нашлись люди, сумевшие изыскать средства для выпуска первого тома трилогии.

В первом томе публикуются главы о событиях с конца XIX века до 1912 года. Вообще же, Яков Иванович, дописав первую часть воспоминаний (до Февральской революции 1917 года), сразу принялся за описание лучших рысистых заводов дореволюционной России. Он планировал 82 очерка и назвал их «Архив сельца Прилепы» – это вторая часть воспоминаний. К концу 1927 года он довел описание примерно до 50-го завода. В январе же 1928 года лошадей его завода – Прилепского – увели в Хреновской завод, галерею увезли в Москву, а сам он был снят с должности директора музея – всё по инструкции коннозаводских верхов, приказавших исполнителям: «И пустите его из Прилеп без штанов». В феврале Бутовича арестовали, в октябре приговорили к трем годам тюрьмы.

Первые написанные в тюрьме очерки он, сразу забытый, ослабевший, вынужденно выстроил вокруг описания того, как лучше «вливать» прилепских лошадей в Хреновую, МОЗО, Грязнуху, Пермский окр. завод, где они оказались. И эти десятки родословных, написанные по памяти, помогли ему собраться с силами в отчаянных условиях тюрьмы, допросов и заброшенности, и через полгода он вернулся к обширным историческо-мемуарным очеркам.

В следующий том мы планируем включить окончание первой части и начало третьей, с историей первых лет советского коннозаводства. В том числе главы об удаче тогдашнего коннозаводства – встрече Я. И. Бутовича с П. А. Буланже, невероятно талантливым организатором. Созданная и руководимая Буланже и Бутовичем Чрезвычайная комиссия по спасению племенного животноводства помогла спасти орловскую породу лошадей, и не только ее одну.

И до революции, и после Я. И. Бутович был, если можно так сказать, одним из

столпов отечественного коннозаводства. Но мало кто даже среди конников знает, что современный орловский рысак зиждется на его трудах. Ибо в его заводе родились родоначальник Ловчий, к которому восходят ведущие современные линии Пиона, Откликка, Отбоя, ветви Персида, Исполнительного. В брюхе матери ушел из Прилеп в Хреновую будущий европейский рекордист, родоначальник Улов, на которого близко инбреден Кубик. В его заводе родились родоначальник Бубенчик, отец европейского рекордиста Вальса и родоначальника Ветра. От Барина-Молодого, долгие годы стоявшего в заводе, получен Барчук. А как оценить значение рожденной там Безнадежной-Ласки?! Купив за огромные деньги жеребца Громадного, отца Крепыша, талантливый коннозаводчик даже во времена Первой мировой и Гражданской войн сумел получить от него великолепный приплод. Трудно описать все те капельки орловской крови, так ценимые Бутовичем и легшие в основу получения современных орловцев.

Здесь хочется дать очень краткую историческую справку об орловском рысаке, его истории, правильнее даже сказать – о судьбе.

Орловский рысак – наше отечественное достояние. Он тоже наследие нашей культуры. Орловца на протяжении столетий создавали талантливейшие сыны Отечества, представители различных его сословий.

Получив после двадцати (!) лет поисков и опытов Барса 1-го (считается родоначальником) и других, сходных с ним лошадей, обладающих резвой рысью, граф А. Г. Орлов-Чесменский не довольствуется легшими в основу Барса 1-го тремя породами – арабской, датской и голландской – и вовлекает в сложное воспроизводительное скрещивание в каждом последующем поколении все новые и новые породы. В четвертом поколении выводимой новой породы представлены уже шесть пород, а при завершении создания рысака крепостным графа В. И. Шишкиным фигурируют клички уже восемь-десять пород.

Не только Россия, но и мир не знал рысака как породу, в которой из поколения в поколение все лошади обладали бы способностью «лететь рысью». Характерной особенностью призовой рыси являются повторные моменты полного отрыва от земли, когда рысак, сильно оттолкнувшись, летит в воздухе, не имея никакой опоры. Аллюр этот искусственно выработан человеком и впервые закреплен наследственно у орловских рысаков. В каждой лошади, выпускаемой графом и продолжателями его дела, в воспроизводстве, учитывались не только резвость, ее красивые и правильные экстерьерные мотивы, но и «красные хода» (красивый бег), характер и «сердце» (отдатливость). Категорически запрещалось применение хлыста – лошадь сама должна хотеть бежать резво...

В середине XIX века орловец заблистал в России. Сотни богатейших и умнейших людей страны завели свои конские заводы и стали разводить рысака. На всемирных выставках лошадей в Париже орловские рысаки произвели фурор, впечатлив и красотой форм, и особенно резвостью: на коротких и длинных дистанциях им тогда не было равных.

Но к концу XIX века появился американский рысак, созданный по очень упрощенной идее: резвость, резвость и еще раз резвость. И наш коннозаводской мир раскололся, многие коннозаводчики занялись метизаторством (скрещивание с американским рысаком орловских кобыл) – кто по идейным мотивам, желая из хорошего сделать лучшее, кто просто по «соображениям кармана». Благодаря ограничительной ипподромной политике «орловская партия» сумела выстоять, планируя сохранять ограничения до 1932 года, но этот раскол словно открыл нескончаемую череду бед в истории нашей лошади на фоне отечественных трагедий и катастроф.

Гражданская война не оставила от породы почти ничего. Но благодаря таким людям, как Я. И. Бутович, порода была спасена для потомков. Эти люди не эмигрировали (родные Якова Ивановича звали его уехать, его семья владела значительной недвижимостью на французской Ривьере), они остались, сохранили старые кадры и русскую школу коннозаводства. И уже в 1930-е годы порода ожила. Особенно стало выделяться поголовье Хре-

новского завода, куда поступил Прилепский завод Я. И. Бутовича, а также лошади Дубровского завода (бывшего завода великого князя Дмитрия Константиновича). Но началась Великая Отечественная война, Дубровский завод не успел эвакуироваться, а Хреновской и множество других потеряли в эвакуации ценнейший племенной состав, традиции.

Отечественную войну орловцы выдержали лучше других рысаков, «выдержали тело» и, например, на послевоенных ипподромах некоторое время обыгрывали метисов. Еще в 1950-е годы успешно гастролировали в Западной Европе. Потом метисы оттеснили орловцев в закрытые призы, которые становились все меньше по числу и стоимости. Но лучше никому не стало. Партия поставила перед сельским хозяйством задачу догнать и перегнать Америку по надою молока и... изничтожить лошадей, которые слишком много съедают концентратов. И погнали племенных лошадей на мясокомбинаты! Были уничтожены сотни конезаводов и племферм! Самые отчаянные лошадики сводили счеты с жизнью, многие спились... Сколько распалось коллективов конников со своими традициями, навыками, профессионализмом – уму непостижимо! А те, что всякими правдами и неправдами выстояли, ни во что не ставились, их мнение не принималось в расчет. И опять в Америке были закуплены дорогостоящие особи американского рысака для прилития крови русскому рысаку. Как сейчас выяснилось, это было не прилитие, а поглощение крови русского рысака американской. При поступлении заокеанского поголовья в страну его разместили в лучшей для лошади географической зоне – Краснодарском крае. Огромные средства ушли на транспортировку, обустройство, корма, экипировку. Орловцу бы сотую долю того внимания и средств!

1970-е годы оставили породу в почти реликтовом покое. 1990-е годы, время дикого и, если можно так сказать, угорелого капитализма, подвели итог. В заводах осталось около 700 орловских маток, столько же, сколько после Гражданской войны. Вы будете читать, например, главу о поездке в Завиваловский конный завод – сегодня он прекращает свое существование. Практически погибли Шаховской (бывший завод князя Д. Д. Оболенского), Новотомниковский (графа И. И. Воронцова-Дашкова) и множество других конных заводов России. В тяжелейшем положении находятся истинно орловские заводы Шадринский и Кемеровский; изолирован и обречен на вымирание Дубровский. Остались единицы орловских конных заводов, существующих благодаря преданности и фанатизму небольшого количества энтузиастов.

И вот в чем-то причудливый итог столетней борьбы орловцев с метизаторами: местные заводы, почти вытеснившие орловские с ипподромов за счет неравных правил испытаний, оказались в точно таком же удручающем экономическом положении.

Нынешние состоятельные люди покупают за границей уже готовый второсортный материал, мечтая о деловом престиже. Но в Европе на них смотрят только как на клиентов. Ведь иначе на подобное «беганье да скаканье» (как говорил один из учителей Я. И. Бутовича князь Д. Д. Оболенский) там не посмотрят: вся эффективность европейской экономики держится на механизме перевода денег из города в деревню. И может быть, кто-то консультирует современных состоятельных людей, что, мол, не надо ждать жеребенка, выхаживать и воспитывать его...

Мы не считаем случайным то, что такие воспоминания написаны именно орловским коннозаводчиком. В книге Я. И. Бутовича – и старинной, и современной – речь идет не только о спасении орловской породы, почти исчезнувшей и ставшей не более реальной, чем 230 лет назад. Речь идет о земледелии и деревне. «Эта книга не о спасении лошадей, а о спасении людей», как выразился, пусть и преувеличенно, один из нынешних коннозаводчиков, причем метизатор. Что же нужно сделать, чтобы спасти породу и заводские коллективы? Кроме названного механизма перевода средств из города в деревню нужно еще и простое согласие с тем, что «лошадь наша – ездая да красивая, и другой нам не надо» (князь Д. Д. Оболенский).

*Андрей Соколов, главный зоотехник по коневодству и коннозаводству  
Пермского конезавода № 9, заслуженный работник сельского хозяйства России,  
Сергей Бородулин, журналист*





*Граф А. Г. Орлов-Чесменский,  
создатель орловской породы рысаков*



# ЖИЗНЬ В КАСПЕРОВКЕ

*Ne perdons rien du passe  
Ce n'est qu'avec le passe  
Qu'on fait l'avenir.*

*A. France\**

*Мой отец Иван Ильич Бутович, был  
уроженцем или как тогда говорили  
его...  
Солнцовой деревни Полтав. губ.*

Мой отец, Иван Ильич Бутович, был уроженцем или, как тогда говорили, столбовым дворянином Полтавской губернии. Он отличался большой предприимчивостью, а потому, будучи еще молодым человеком, продал свои полтавские земли и купил большое имение в Новороссии, в новом, тогда мало еще заселенном крае. Имение его – 13 480 десятин земли – находилось в 454 верстах от города Николаева, в Херсонской губернии. Оно называлось Касперо-Николаевка и куплено было отцом у Васильчикова.

Моя мать, Мария Егоровна Сонцова, тоже происходила из помещичьей семьи, родилась в Екатеринославской губернии, в знаменитом во время войны Гуляйполе, где подлец Махно имел свой штаб.

Отец был замечательным хозяином: у него было громадное даже для того времени овцеводство – 40 000 овец, два имения в 18 480 десятин – Касперовка и Бежбайраки, еще два имения он арендовал – словом, хозяйство он вел на 30 000 десятин земли. Два винных завода, конный, замечательный рогатый скот украинской породы, черепичный завод, паровые мельницы и прочее. Среди помещиков Херсонской губернии Иван Ильич был одним из богатейших. Отец увлекался исключительно хозяйством, хотя в молодости все же служил по выборам и одно время избирался не только уездным, но и губернским предводителем. Однако общественная деятельность его не притягивала, и последние 35 лет своей жизни он почти безвыездно прожил в Касперовке. Касперовка – его создание, его детище.

Отец был очень строг, люди его боялись как огня. А в семье он был деспот. Мы, дети, мало знали отца и старались не попадаться ему на глаза. Зато мать была доброй и гуманной женщиной, полной противоположностью отца. Сколько

\* Мы ничего не теряем из прошлого, потому что прошлое мы берем в будущее. А. Франс (фр.).

она претерпела от его ужасного характера – одному Богу известно. Детей она любила, и ей мы обязаны многим. Трудно сказать, что было бы с нами без ее самоотверженных забот. Я сохраняю светлые воспоминания о ней и чувства любви и благодарности. Это была святая женщина, и дай Бог, чтобы земля ей была пухом.

У отца было 13 душ детей, из которых 9 выжили, а остальные умерли малолетними. Роста отец был громадного, черты лица имел крупные и некрасивые. Мать, наоборот, была красавицей и в свое время блистала на балах и в обществе. Это была замечательная во всех отношениях женщина, она любила литературу и все изящное. У матери собралась очень хорошая библиотека, и мы, дети, проводили много времени с книгами. Отец решительно ничего не читал, кроме «Новороссийского телеграфа» – газеты знаменитого на юге журналиста Озмидова.

Думаю, от отца я получил любовь к лошади. Отец любил лошадей, но интересовал его не столько завод, сколько выезды и быстрая езда. Его дед был знаменитым коннозаводчиком и имел один из лучших заводов так называемых малороссийских лошадей. Любовь к литературным занятиям и искусству я, несомненно, наследовал от матери: Сонцов, ее дед, был знаменитым коллекционером и имел замечательную картинную галерею.

Жизнь в Касперовке была устроена так же, как в большинстве дворянских усадеб того времени. Дом большой, барский, с колоннадами, в несколько десятков комнат. «Парадные» комнаты, зал, диванная, голубая и желтая гостиные, будуар матери и библиотека наполнялись шумом и весельем только во время съезда гостей; в обычное же время все береглось: мебель, картины и бронза стояли в чехлах. Вся жизнь семьи шла во внутренних комнатах и вокруг комнат матери. У отца была отдельная половина, состоявшая из кабинета, приемной, спальни, ванной и гардеробной. Мы, дети, никогда не ходили туда, а когда нас вызывал отец, со страхом проникали на его половину. Обстановка дома была роскошной: все, что можно было достать за деньги, имелось здесь. Кроме того, немало было и старины; нас, детей, особенно влекли знаменитые сундуки кладовой, которые раз в год открывались и проветривались. В сундуках хранилось приданое бабки, матери отца, знаменитой богачки. Там лежали платья, ткани, вышивки. Когда поднимались крышки сундуков, открывалась выставка драгоценностей женщины XVIII века. Громадные деньги дали бы теперь антиквары за содержимое тех сундуков, но, увы, все погибло во время революции.

Прислуги в доме было очень много: несколько лакеев, дворецкий, горничные и две гувернантки – обязательно французенки или швейцарки. Немок у нас не было, что удивительно, ведь моя бабушка со стороны матери и мать хорошо говорили по-немецки. Видной персоной среди всех слуг считался повар. Отец любил поесть, и стол у нас был изысканный. Ежедневно за стол садилось 15–16 человек – и это без гостей. Разумеется, повару помогали, кроме поварят, два помощника. Повара менялись редко, ибо отец только с ними и считался, платил им большое жалованье и дорожил ими. Главного повара я помню как сейчас, звали его Мироном Павловичем. Настоящий артист своего дела. Когда государь был на юге, то именно Мирон Павлович готовил кушанье в Дворянском собрании и удостоился высочайшей похвалы. После этого он носил медаль, которую ему пожаловали якобы из Кабинета. На заказ к матери Мирон Павлович являлся в ослепительно белоснежном колпаке, такой же куртке и фартуке; медаль неизменно красовалась на левой стороне груди. Характером хуже черта, личность невозможная, кроме того, большой поклонник прекрасного пола. Все полтавки, так называемые «сроковые» девушки, приходившие из Лохвицкого уезда Полтавской губернии работать срок

с первого апреля по первое октября, буквально преследовались им. Отец, сам ловелас первой руки, доставивший матери много горя, был очень строг к амурным делам служащих, однако Мирону Павловичу прощал и это. Еще трех слуг ценил отец, многое им прощая: кучера Степана Васильевича Шпарковского, выездного гайдука Чеповского и старшего садовника-француза.

Отец очень любил садоводство, и Касперовку украшали три сада: старый сад, новый и пасека. Старый сад, собственно парк при доме, с партером, фонтанами, гротами, цветниками, беседками, островами и двумя большими прудами, был гордостью не только нашей усадьбы, но и губернии. По преданию, его разбил француз в XVII веке. При парке были оранжереи и теплицы персиковых деревьев. Новый сад насадил отец, там были только фруктовые деревья и виноградник. Фруктовые деревья росли правильными куртинами, каждая была отделена от другой аллеей каштанов, лип, белых акаций. Этот замечательный фруктовый сад находился в двух верстах от усадьбы. Наконец, на пасеке, где имелось около тысячи колод пчел, росли только «дички» – сливы, груши, вишни. Это удивительное, живописное место отец оставил таким же нетронутым, каким оно было еще при Васильчикове. За всем этим хозяйством наблюдало несколько садовников, а руководил ими садовник, привезенный отцом из Франции. Это тоже был мастер своего дела, и неудивительно, что садовая часть хозяйства поддерживалась на недосыгаемой высоте. Сады обходились отцу в 10 000 рублей ежегодно, что было громадной суммой. По вечерам после трудового дня отец любил садиться на террасе, и тогда открывали фонтаны, благоухали цветы, а отец отдыхал, беседуя с садовником-французом. Помимо жалованья, француз ежедневно получал к столу бутылку красного вина. По тем временам это было такое баловство, что о нем говорили во всей губернии. Однако на иных условиях садовник не согласился бы покинуть Францию. К сожалению, я забыл его фамилию.

К числу любимцев отца принадлежал и выездной гайдук Чеповский, поляк огромного роста. Кажется, за рост его и любил отец. Чеповский носил фантастический костюм: широкие шаровары, высоченную меховую шапку. Он всегда ездил с отцом. Мы, дети, его очень любили, так как он был добрейший человек, и прозвали Чапо-Тапо. Прозвище так понравилось отцу, что с тех пор Чеповского иначе и не называли.

Благодаря любви отца к резвой езде и красивым выездам каретный сарай и сбруйная напоминали каретное заведение и сбруйный магазин. Сбруя, богатая и самых лучших мастеров, помещалась в двух особых комнатах каретного сарая. Сбруя была только русского образца. Несколько десятков экипажей, заграничных и работы известных московских каретников, тоже были лучшими, какие только можно получить. Свой любимый экипаж, сработанный одним из московских мастеров, отец купил в Москве, на промышленной выставке 1882 года. Теперь такой экипаж уже никто не сумеет сделать. Лошадей на конюшне держали около 40, все жеребцы, за исключением тех, кто ходил на пристяжках, – те были мерины. Отец не любил ездить тройкой, всегда ездил парой – по хозяйству, четвериком в ряд – по делам и в гости. Тройка подавалась только матери и для катания гостей во время больших съездов. Тройка была замечательная и удивительно съезженная, масти серой в яблоках. Все другие лошади – вороные, я не помню ни одной рыжей или гнедой. Исключительно рысаки, ведь отец любил ездить очень резво, а дороги в Херсонской губернии этому вполне благоприятствовали. Любимая пара отца именовалась «короли», потому что одну из лошадей пары звали Королем. К сожалению, я не помню, чьего завода лошади. Они были страшно злы, необыкновенно резвы, вороные без отмет, на высоких ходах, очень густы. Ребен-

ком у меня, бывало, дух захватывало, когда я видел, как отец мчится на паре «королей». Хорошо помню и знаменитую четверню отца; на пристяжках ходили мерины Ужас и Грач, пятивершковые орловские красавцы завода Н. А. Коноплина. Когда отец завел свой завод, то из него и пополнял конюшню, а до 1885 года лошадям ему поставлял харьковский конноторговец Феодосий Григорьевич Портаненко, южный Юлишин, крупнейший барышник на юге России. Это он собрал и продал отцу все пары, четверки. Отец любил Портаненку и часто повторял: «Феодосий – плут, но в лошадях толк знает».

Портаненко был очень интересной фигурой. Родом цыган, жил постоянно в Харькове, где располагались его торговые конюшни и дом на Конной. От Харькова весь юг был в его руках, далее Харькова уже не проникало влияние барышников Центральной России: Юлишина, Мягковых, Файнрегов, Деминых и других. Здесь, на юге, королем этого дела был Портаненко. Молодым офицером я навестил его в Харькове, он сам по охоте показал мне «лошадак». Тогда он был уже на покое и, как сам говорил, баловался, однако на конюшне держал 30–40 лошадей. Торговал он только рысистым сортом. Словом, у отца была замечательная выездная конюшня, и не в Москве или Петербурге, а в деревне. Ремонтировалась она лучшими лошадьми, поставлена была на городской лад.

Отец, настоящий любитель езды и городской охоты, конюшню держал не на показ, а для себя. Естественно, что при таких лошадях и конюшне вопрос о кучерах был очень важен. Кучеров служило много, но отец ездил только со своим любимцем Степаном Васильевичем Шпарковским, гигантом и красавцем, кучером божьей милостью, истинным талантом в своем деле. Отец взял его от князя Кугушева, что было не так-то легко, ибо злые языки говорили, что Шпарковский жил с женой Кугушева, чего князь, конечно, не знал. Впрочем, жена князя была «полтавка». Когда отец умер, Шпарковский не захотел служить и, поселившись в Елисаветграде, начал торговать лошадьми. Вскоре он, конечно, проторговался и кончил свои дни на службе у моего старшего брата в той же Касперовке, присматривая за полукровками, упряжным заводом, вспоминая лучшие дни.

Нельзя не упомянуть, что отец мой любил евреев и постоянно прибегал к их помощи. В Касперовке перебивало немало знаменитых еврейских коммерсантов, они всегда находили там хороший прием. Про отца они говорили, что у Ивана Ильича еврейская голова, делая этим отцу комплимент. Действительно, отец блестяще вел дела, имел успех во всех своих предприятиях и оставил многомиллионное состояние. Евреи помогали ему в делах: вероятно, давали советы, были маклерами. Буквально ежедневно приезжали представители этой предприимчивой нации, предлагая разные дела, или «гешефты», как тогда говорили в нашей семье. В Николаеве, Одессе, Елисаветграде, где отец имел крупные хлебные и другие дела, все закупки шли через его еврейских представителей. Из них я особенно запомнил елисаветградского представителя Ильюшу Томберга. Когда отец приезжал в Елисаветград, Томберг находился при нем безотлучно, везде сопровождая. Он точно знал, когда отец должен быть, и все имевшиеся дела справлялись у него до отца. Это был уже пожилой и приятный человек. Кроме того, в Касперовке жили две еврейские семьи: Левонтины и Животовские. Для них отец выхлопотал право жительства, они держали лавки и выезжали за всеми покупками в Николаев. Лавки были необходимы, потому что в Касперовке жило в летнее время до тысячи душ народу. Мы любили, несмотря на запрет, бегать в еврейские лавочки и брать там сладкие рожки, дешевые конфетки, которые нам нравились потому, вероятно, что были запрещены. Из семейства Животовских вышел знаменитый делец и миллионер, а у нас жили его дед и его отец, Мотя Животовский, который имел уже кое-

какие средства и торговал в Бобринце. Отец любил Мотю и всегда говорил Животовскому-старшему, что Мотя – великий человек и далеко пойдет. Отец не ошибся, ибо сын Моти стал действительно великим финансистом, нажил миллионы и во время Октября благополучно уехал с ними за границу. Я от кого-то услышал, что уехать ему помог Троцкий, который или знал его, или был с ним в родстве. Это весьма вероятно, так как семья Бронштейнов, из которой вышел Троцкий, жила неподалеку от Бобринца, и вполне возможно, что старики Животовский и Бронштейн имели общие дела. Херсонское дворянство, да и не оно одно, трунило над пристрастием отца к евреям, а Александр III иронически называл отца «еврейским царьком».

Касперовка славилась своей живописностью. Особенно хороши были знаменитые плавни – луга, по здешнему определению, а их было 6000 десятин. Ранним утром касперовские плавни становились так хороши, трава в них вырастала так высоко и густо, что здесь еще в тридцатых годах XIX столетия водились дикие табуны. Время сенокоса было лучшим временем в плавнях. Ночью горели костры косарей, которые располагались по всем плавням таборами по сто человек. Днем ровные удары косы клали прямые ряды травы, а косари мерно, в такт подвигались вперед. Запах стоял одуряющий, отовсюду слышалось пение. Конечно, теперь уже нигде не увидеть ни такой картины, ни такого приволя. Знаменитые плавни орошались тремя реками: Громаклеей, Нигульцем и еще одной речонкой, название которой я забыл. По берегам стояли высокие камыши, а в реках водилось немало рыбы и раков. Рыбная ловля была одним из любимых наших занятий, особенно прельщали наше воображение и пугали большие сомы, о которых нам рассказывали разные ужасы. Так, мы верили, что сомы едят людей... Были случаи, когда попадались действительно гигантские щуки и сомы, тогда нередко к месту рыбной ловли подходили косари и тоже получали рыбу; раки в Громаклее водились особенно большие и вкусные, их ловили у камышей по берегам особенными сетками. Может, еще живописней, чем плавни, были луга. Они не заливались, и местами на них были посажены небольшие рощицы и отдельные деревья дикой сливы, груши и шелковицы. Когда весной все это цвело, картина была прямо феерическая. Небольшой лес Касперовки отстоял от усадьбы на 15 верст. Поездки в лес составляли целое событие, и к ним готовились задолго. Ездили обыкновенно с утра, причем вперед уходили кухня, прислуга и подводы с провизией; затем ехали мы с гувернантками и гостями. Возвращались только вечером. День, проведенный в лесу, служил предметом долгих разговоров в детской.

К числу красот Касперовки относились и знаменитый парк, и сады, но наиболее живописна была пасека. Жужжание пчел, таинственный дид-пасечник, большие омшаники для пчел, подвалы для меда – все настраивало воображение на особый лад. Пасека была любимым местом прогулок моей матери: здесь стояла особая беседка, куда никто не ходил и где она любила молиться...

Собственно жизнь деревни, то есть жизнь крестьянства, нам, детям, оставалась почти неизвестной, так как при Касперовке были не деревни, а обосновались так называемые колонисты, не более 20–30 семейств, преимущественно немецких, кои арендовали у отца землю и за это были обязаны особыми работами при винокуренном, черепичном, кирпичном заводах, при слесарных и других мастерских. Так же далеко от нас жили и рабочие, проходили сельскохозяйственные работы. А работы эти были громадны: засеивались, затем убивались тысячи десятин земли. Работы мало нас интересовали, вернее, нас не пускали и не возили на них. Зато с жизнью отар мы хорошо познакомились. Одна из наших гувернанток, m-lle Julie, очень любила овец и не могла себе представить, что у моего отца их 40 000. Пока m-lle Julie лично не убедилась,

не увидела бесконечные отары, она не верила в легендарную цифру. Даже по нашим, русским меркам овцеводство отца держало третье место в Херсонской губернии и Таврии. Благодаря m-lle Julie мы часто ездили кататься в степь: она любила смотреть на овец и давала нам объяснения. Все же меня привлекала больше живописная, чем деловая сторона знаменитой отары рамбулье-негретти. Я любил уже самый подъезд к отаре, когда с громким лаем бросаются к нам знаменитые мохнатые овчарки, а пастух спокойно и важно их отзывает. Он величественно стоит, облокотившись на свою «черлычу» – палку с деревянным крючком на конце для ловли овец за ногу, посасывает трубку. Тут же поодаль его избушка – большой ящик с крышей на оба оката, на двух колесах. Эта передвижная избушка называлась чабанкой и возилась парой украинских волов; в ней жил, отдыхал и укрывался от непогоды чабан, возле нее он готовил пищу. Красивую картину являли собой эти суровые черномазые люди, когда они раз в неделю, по субботам, съезжались в Касперовку, где вытягивались возле продуктового магазина, дабы получить провизию на неделю. Рядом с каждой чабанкой стояли волы, лежали собаки, а хозяин терпеливо ждал своей очереди. По субботам таких чабанок собиралось до двадцати штук. Овцеводство меня никогда не привлекало, я оставался к нему равнодушен даже тогда, когда во время стрижки овец m-lle Julie теряла голову от удовольствия, а в Касперовке все приходило в движение. Мы часто ходили на стрижку и смотрели, как ловко, быстро стригли особыми ножницами тяжелых баранов и овец, как постепенно грязная шерсть отваливалась пластами и обнажалась тонкая кожа, покрытая легким слоем шерсти цвета сливочного масла. Остриженная овца вскакивала, не понимая, где она; ее провожали, держа за ногу, в загон; там особый чабан ловко и быстро, ударом особой кисти на длинной палке мазал ей пораженные места дегтем, и затем ее пускали. Кругом стоял стон блеющих овец, шум ножниц и разговоров. Пахло тяжело и приторно – шерстью.

После стрижки наступало время продажи шерсти. Запакованная в большие тюки шерсть хранилась в кошарах, где ее караулили от поджога особые сторожа. Из Москвы ждали покупателя. Обыкновенно приезжал Алексеев, один из представителей этой богатой купеческой фамилии, давшей известного городского голову Москвы, трагически погибшего. С ним приезжали управляющий этого торгового дома барон Бухгейм и один старый опытный приказчик. Алексеев много лет кряду покупал у отца шерсть, и в моей памяти остались лишь его приезды. Приезд Алексеева был, конечно, событием, ведь москвичи выкладывали за шерсть 100 тысяч рублей. В день его приезда всегда был большой съезд, потом парадный обед, а вечером иллюминация. Позднее, когда в Касперовке построили свою электрическую станцию, буквально весь парк иллюминировали. За обедом произносилось много тостов и речей, и обыкновенно Бухгейм, человек воспитанный и вполне светский, после речей подносил моей матери какую-либо ценную безделушку из сакса или севра, а раз – лукутинский ларец. На другой день Алексеев, Бухгейм и отец ездили по отарам, и лишь на третий день сделка заканчивалась и москвичи уезжали домой. Еще день-другой – и перед кошарами появлялись подводы соседних крестьян, тюки грузились, шерсть уходила в Харьков к Алексееву.

Не только овцеводство, но и скотоводство оставляло меня до известной степени равнодушным, тогда как мой отец очень любил скот и, как коренной малороссиянин, разводил только серую украинскую породу. Мы, дети, любили ходить в загон, где вечером доили коров (их было свыше 200 голов), и часто пили там парное молоко. Это была красивая картина...

Вчера я долго не мог заснуть, и так как начал писать эти воспоминания, то, естественно, мысли мои вращались вокруг далекого прошлого. В памяти вос-

кресла картина, почему-то с полной ясностью и во всех подробностях: мать, две старшие сестры и я ехали в ландо в лес; подъезжая к местности, называвшейся Привольное, мы увидели на бугре стадо коров. Зеленый фон земли, голубое южное небо, эти белые красавицы с огромными рогами представляли картину удивительной красоты. Я долго не мог ее забыть, и почему-то вчера она вновь воскресла в моей памяти с поразительной ясностью. Это было каких-нибудь 30 лет тому назад. Как была тогда богата Россия и как беден теперь Советский Союз республик! Только вчера мы с моим помощником ломали головы, где купить сани-розвальни! Их нигде нет: ни в учреждениях, ни на лесосеках, ни на базаре – а если и есть, то никуда не годные и просят за них, без кресел и оглобель, 18 рублей!

Можно было бы многое вспомнить и многое рассказать о Касперовке, но ограничусь этими беглыми воспоминаниями и перейду к своему детству и юности.

Я родился в Касперовке в 1881 году. Крестили меня в нашей приходской церкви при имении. Моей крестной матерью была Софья Яковлевна Ляшевская, жена военного прокурора Одессы, приятельница моей матери. Вот уже сорок четыре года, как я ношу крестик с надписью: «Якову Бутовичу от Якова Волошинова». Волошинов, богатый екатеринославский помещик, был моим крестным отцом, а Софья Яковлевна была его дочерью; в его честь я и получил имя Яков. Как ни странно, я почти ничего не помню о моем раннем детстве, ведь говорят, что есть дети, которые помнят свою жизнь чуть ли не с двух-трех лет. Знаю лишь, что я был очень капризным ребенком, что мать любила меня больше других детей и что лицом я очень походил на отца. Мой дядя Сонцов говорил мне впоследствии, что уже в раннем детстве я очень любил лошадей, что двух или трех лет я, глядя на изображение лошади, изрек: «Лошадь – это бог», за что и был примерно наказан. Нескольким раз, к ужасу нянек и гувернанток, убегал на конюшню, потому за мной очень следили – боялись, что на конюшне я попаду под ноги лошади.

Очень ясны в моей памяти первые годы учения. Я поступил в первый класс ришельевской гимназии в Одессе и первые два года прожил в очень почтенной семье, а именно у госпожи Графтио. Г-жа Графтио, вдова преподавателя французского языка той же гимназии, жила с двумя сыновьями – студентом и гимназистом старших классов. Графтио были очень бедны и жили на мой пансион. Поместил меня к ним директор ришельевской гимназии, зная о средствах отца и желая помочь этой почтенной женщине, которая с трудом давала образование своим сыновьям. Насколько скромно жили Графтио, можно судить по следующему факту, оставшемуся в моей памяти на всю жизнь: я обратил внимание, что г-жа Графтио, когда ей надо было зажечь огонь, крутила длинные, тонкие бумажки и зажигала их от лампы. Таким образом, она тратила одну спичку, может быть, две или три в сутки. Эти бумажки почтенная старушка называла «фидибусами». Два года, которые я прожил в этой семье, позволили г-же Графтио сделать небольшую экономию, но от «фидибусов» она, уже по привычке, не отказалась. Ее старший сын стал впоследствии знаменитым инженером, при советской власти именно он возглавил технические работы Волховстроя. Моим репетитором был младший Графтио. Он был очень добр, но учился плохо, так как был мало способен. Где он теперь, я не знаю. Жили Графтио на Тираспольской улице, в доме Трандафилова, богатого помещика Одесского уезда. Трандафиловы – потомки греков-колонизаторов, люди очень почтенные и симпатичные. Каждый день старушка Трандафилова, дама преклонных лет, и ее единственный неженатый сын лет пятидесяти ездили кататься в карете на паре старых рыжих лошадей. Картина отъезда Трандафиловых стоит перед моими глазами и сейчас как живая... Далекое время



детства, счастливые, спокойные времена, когда люди могли жить и не думать о том, что их каждую минуту могут выгнать из дома, ограбить или убить.

Я частенько бегал на конюшни давать морковь рыжим лошадям Трандафиловых. Морковь я брал на кухне г-жи Графтио, и экономная старушка приходила буквально в ужас от такого мотовства. Трандафилова очень любила своих лошадей, а потому, узнав о моих визитах, стала присылать мне в воскресенье вкусные греческие сладости, которые изготовлялись у нее поваром-греком. Жизнь у Графтио, в маленькой квартирке во дворе, после великолепной Касперовки была, конечно, скучна, но я не помню, как я тогда отнесся к этому контрасту. Учился я первые два года вполне удовлетворительно и делал недурные успехи в гимназической науке. Я всегда с чувством уважения вспоминаю почтенную старушку Графтио, ее старого кота, «фидибусы»; рядом в моей памяти старики Трандафиловы, их карета и вся эта настолько тихая и спокойная жизнь, что теперь даже не верится, что все это было, что все это могло быть так...

Когда я перешел в третий класс, то две мои сестры, впоследствии Е. И. фон Баумгартен и М. И. Чепреш-фон-Чаприц, которые были старше меня на два или три года, должны были поступить в одесский пансион Чеушанской. Моя мать не хотела, чтобы они жили при пансионе, и переехала в Одессу. Для нас отец купил дом на Херсонской улице. Тут жизнь пошла, конечно, по-другому, так как у матери было, естественно, много знакомых. Устраивались вечера для молодежи, жизнь потекла так же весело, как и в Касперовке. Из наших гостей, из всех бывавших у нас я лучше всего помню мою крестную мать С. Я. Ляшевскую: она настолько была дружна с матерью, что бывала у нас почти ежедневно. Она прозвала меня «Яша-поганушка», так как я в тот год очень подурнел, о чем все сожалели. Часто бывала старуха Демидова, княжна Сан-Донато, старая знакомая моей матери. Я не стану описывать жизнь нашей семьи в Одессе, так как она напоминает жизнь любой богатой дворянской семьи того времени. Упомяну только об одном случае. Из Касперовки пришли лошади, среди них вороной жеребец Красавчик – его специально для матери прислал Портаненко, так как жеребец был очень резов и очень смирен. Помню, как расхваливали Красавчика и при этом говорили, что у него нет аттестата. Это была вороная, без отмет лошадь, с добрым глазом, но не особенно крупная. Мать любила ездить на Красавчике в парк и на лонжерон, он действительно шел очень хорошо. То, что он страшно резов, открылось случайно. Однажды к нам приехал А. В. Якунин, знаменитый херсонский коннозаводчик, живший в Одессе, и просил мою мать продать Красавчика. Она отказала, но спросила Якунина, почему его мог заинтересовать Красавчик, раз у самого Якунина конный завод. Якунин сказал, что часто видел поездки Красавчика по утрам, но не обращал на него внимания, пока он не объехал его Летуна. (В тот год Якунин привел Летуна в Одессу, и тот ходил в городе у его супруги. Летун был очень резов, выигрывал призы и впоследствии дал того якунинского Петушка, за которого я через много лет заплатил 35 тысяч рублей!) Якунин страшно разочаровался, узнав, что у Красавчика нет аттестата. Потом многие охотники и любители быстрой езды хотели купить резвейшую в Одессе городскую лошадь.

Именно в тот год я подружился с молодым Демидовым, князем Сан-Донато, который был на два года старше меня. Все свободное время мы проводили вместе: ходили в манеж, ездили верхом. Перед Рождеством случилось событие, повлиявшее на направление всей моей жизни и на выбор профессии. Я помню его так, как будто это случилось вчера. Мы с Демидовым гуляли в сопровождении гувернера по Дерibasовской улице и остановились у витрины книжного магазина. Мое внимание привлекла книжка, озаглавленная «Коневод-

ство». До этого я не знал, что есть книги о лошадях, и просил гувернера зайти купить книжку. Она оказалась первым изданием известного учебника профессора Кулешова. С жадностью я принялся на праздниках за чтение, но первые отделы оказались чересчур серьезны, и я их одолеть не смог; зато часть о конских породах я перечел несколько раз и с увлечением рассматривал картинки. Потом я вновь направился в магазин Розова в начале Дерibasовской и купил о лошадях все, что там было – три-четыре книжки: Боков, Хлюдинский. Однако книги, хотя и прочтенные мною полностью, были сухи. Через несколько дней я купил в магазине «Нового времени» знаменитую книгу Коптева и – погиб навсегда как классик. Все забросил, учение пошло вверх ногами, единицы за единицами следовали в моих тетрадках, и я превратился в самого рассеянного и последнего ученика в классе. Мать была в отчаянии. Применялись все меры: просили, наказывали, убеждали, отобрали Коптева – но все напрасно: я ходил сам не свой и не мог заниматься. Особенно возмущалась моя крестная мать, которая не любила лошадей и боялась их: они когда-то ее потрепали. Она называла меня конюхом и говорила, что я на всю жизнь останусь неучем. Словом, мир отлетел из дому, сестры были смущены, мать плакала, назревала катастрофа. А занятия шли все хуже и хуже, я получал единицы и даже нуль. Было ясно, что я останусь на второй год в третьем классе.

Директором рижельевской гимназии был действительный статский советник Белецкий, высокий, сухой, черствый человек; чех по происхождению, большого роста, он всегда прямо держался и, когда шел куда-то, смотрел вверх. Все боялись и трепетали его, когда он величественно входил в класс с Владимиром на шее и Владимиром в петлице, в форменном фраке с иголки и белом галстуке. Он, прямой, подходил к кафедре и, выслушав молитву, подымался. Журнала отметок он никогда не приносил с собою, как другие учителя; журнал ему подавал надзиратель, когда он подымался на кафедру. Этот человек вселял страх и действительно был невероятно жесток. Меня он не любил, но вынужденно считался с тем положением, которое занимал мой отец. Из боязни, что дома у меня опять отберут Коптева, я взял книгу в гимназию и во время уроков читал ее. Тем же я занялся и на уроке латинского языка. По традиции, латинский язык преподавал сам директор. На его уроке и разыгралась следующая сцена. Отвечал первый ученик Трахтенберг, отвечал блестяще, и класс затих так, что слышно было дыхание соседа; я увлекся Коптевым и так ушел в чтение, что не заметил, как Белецкий подошел ко мне и, положив руку на книгу, застыл в этой позе. Затем он поднял книгу, прочел заглавие и... бросил ее на парту. На лице его было написано негодование и презрение, он покраснел и едва сдерживал себя. Действительно, дерзость была неслыханная – на уроке директора читать книгу! Белецкий возмущался: на что променяли латынь – на лошадей! Он сейчас же выгнал меня из класса и посадил в карцер. Во время сцены класс затих и со страхом смотрел на меня. На другой день Белецкий посетил мою мать и так ее расстроил, что я был глубоко огорчен, вернувшись в тот день домой. Мать решила, что далее скрывать от отца мои успехи и увлечение лошадьми невозможно, и в Касперовку было послано письмо. Надлежало ждать грозы, но все обошлось бла-



*Василий Иванович  
Коптев*

гополучно, и вот как это случилось. Отец, едуци на пароходе из Николаева в Одессу, встретил нашего губернского предводителя дворянства Сухомлинова и разговорился с ним. Сухомлинов был исключительным человеком: умница, выдающийся организатор, замечательный финансист и хозяин. Отец его любил и уважал, в чем был совершенно прав, так как Сухомлинов мог служить украшением любого сословия. Он посоветовал отцу взять меня из гимназии и отдать в кадетский корпус, находя, что неразумно бороться против такого увлечения, что лучше переменить учебное заведение, год подготавливать меня дома и затем поместить прямо в четвертый класс корпуса. Он находил, что либо будущая карьера кавалериста меня удовлетворит, либо за год я образумлюсь и поступлю в гимназию. Отец с ним согласился, и судьба моя была решена. Уже в апреле с Коптевым в чемодане я уехал в Касперовку, с тем чтобы с осени начать подготовку в четвертый класс кадетского корпуса.

Это лето оказалось едва ли не самым счастливым в моей жизни. Посещение конного завода, который приобрел для меня еще больший интерес и новое значение, чтение любимой книги – вот мои летние занятия. В книге Коптева я нашел свою стихию, автор отвечал на все вопросы моей молодой души и рисовал лошадей и жизнь заводов так, что я зачитывался им, все больше и больше проникался любовью к орловскому рысаку, которой остался верен всю свою жизнь. Коптев, и только он, стал моим идейным вдохновителем, учителем и тем, кому я хотел верить и думал в будущем подражать. Очевидно, во мне сидел ген одного из тех моих великорусских предков, который был человеком той же эпохи и коннозаводской культуры, что и Коптев, потому-то взгляды этого автора упали на такую благодатную почву, дали такие быстрые ростки. Несомненно, что этому предку я обязан и тем, что люблю и всегда любил Великороссию, уклад дворянской жизни и культуру именно этой полосы России. Туда я поспешил перенести свою деятельность, как только к этому представилась возможность. Моя связь с Новороссией и родиной моих предков Малороссией все более слабела, и, видимо, великорусские корни моей родословной взяли верх, сделав из меня не любителя верховой и степной лошади, как мой отец, а типичного рысачника, великорусского помещика-коннозаводчика в том понимании, какое мы знаем по описаниям Тургенева, Толстого и других авторов. Иногда мои малороссийские предки брали перевес, отсюда мое увлечение ремонтным делом, чистокровной лошастью (одно время у меня был чистокровный завод и скаковая конюшня) и ездой. Но все же наносными были эти увлечения, и дух рысачника брал верх, а затем и окончательно победил малоросса. Итак, первой прочитанной мною книгой о лошадях было «Коневодство» Кулешова, затем – книга Коптева, с которой я не расстаюсь вот уже более тридцати лет...

Приятель моего отца, генерал-майор, военный судья П. М. Кардиналовский, рекомендовал поместить меня для подготовки в кадетский корпус к подполковнику А. А. Гречко, помощнику прокурора при одесском военном суде. Гречко блестяще меня подготовил и следующей осенью сvez в Полтаву, где я очень хорошо выдержал экзамен и поступил в четвертый класс кадетского корпуса.

Моим воспитателем был подполковник Ромашкевич. Жизнь в корпусе тянулась однообразно: утренние прогулки, классные занятия, гимнастические и военные упражнения. Лишь в воскресном отпуске можно было развлечься и отдохнуть от казарменной жизни. Среди кадет я сошелся с тремя, которые остались моими приятелями и позднее. Первый – Суровцев, сын лифляндского губернатора, вышедший в офицеры в конную гвардию и убитый на войне 1914 года во время знаменитой атаки эскадрона барона Врангеля на немецкую батарею. Другой мой приятель, А. Г. Бурман, поступил в специальные классы Пажеского корпуса и

затем вышел в уланский полк в Варшаву. Наконец, Келлер – он плохо учился и в конце концов попал в жандармский дивизион.

Уже с четвертого класса корпуса, то есть с 1897 года, я выписывал все коннозаводские журналы, выходившие на русском языке, а также два французских. Мой воспитатель, типичный и заядлый пехотинец, косо смотрел на мое увлечение, но я шел одним из первых в классе, и повода запретить мне чтение не было. В корпусе я начал и свою литературную деятельность: первая написанная мною статья появилась в 82-м номере журнала «Коневодство и коннозаводство» 17 сентября 1898 года, следующая была помещена в № 87 от 4 октября того же года – я учился тогда в пятом классе корпуса. О публикациях, конечно, узнало начальство и, видя столь серьезное с моей стороны отношение к делу, оставило меня в покое и больше не придиралось к моей лошадиной страсти.

В отпуск я обыкновенно ходил к воспитателю корпуса подполковнику Г. С. Грудницкому, добрейшему, милейшему хохлу. Он был страстным любителем чистокровных лошадей и имел скаковую кобылу Эврику; от нее и знаменитого Бояра, победителя grand prix de Paris, был рослый караковый жеребец двух лет, которого он готовил к скачкам. Ежедневно на утренней прогулке мы видели Грудницкого, работающего своего двухлетка шагом под седлом, в попоне и капоре. Начальство, сплошь состоявшее из пехотинцев, не любило Грудницкого, а кадеты изводили так, что жизнь его в корпусе была несладкой. Тем не менее Грудницкий не бросал своих лошадей и на последние гроши содержал и холил их. Летом он уезжал на скачки, но дети Эврики приносили ему одни разочарования. Он был большим неудачником терфа. Я редко встречал такого фанатичного, такого страстного любителя лошади. Выйдя в отставку, он поступил в управляющие чистокровным заводом Д. И. Иловайского, имение которого Абазовка находилось в нескольких верстах от Полтавы. А от Иловайского он перешел к херсонскому коннозаводчику А. Л. Бобошко и хорошо поставил его дело. Незадолго до войны он получил место у некоего Белика, у которого в донском имении неожиданно то ли забил фонтан нефти, то ли оказался уголь. На этом месте Грудницкого застала революция. Белик, кстати, выстроил по Петроградскому шоссе дом № 32, хорошо памятный нам всем по годам революции, так как там помещался отдел животноводства НКЗ.

Грудницкий очень меня любил, и я проводил с ним целые дни на конюшне. Он, конечно, всячески поощрял мою страсть, но вместе с тем хотел обратить меня в свою веру, из рысачника перекрестить в любителя чистокровной лошади. С Грудницким я осмотрел первый из виденных мною чистокровных заводов – завод Д. И. Иловайского. Грудницкий недурно рисовал и писал маслом. Уже тогда я любил искусство, хотя не отдавал себе в этом отчета и не думал, что в будущем оно будет играть такую исключительную роль в моей жизни. Грудницкий подарил мне небольшой портрет маслом старого каракового жеребца, знаменитой когда-то лошади, находившейся на покое не то в полтавской заводской конюшне, не то у купца Недобарского. Это была первая картина моей будущей коллекции – родоначальница моей картинной галереи.

Несколько раз мы с Грудницким ходили на беговой ипподром, хотя бегов и не было. Мы смотрели поездки любителей, я любовался рысачками. Лучшие были у богатого полтавского купца Недобарского, все – завода князя Л. Д. Вяземского. Много ездилось лошадей барышника Хмары, державшего свою конюшню в Полтаве. Во время революции ко мне в Москве заходил его сын, молодой Хмара, который оказался весьма известным артистом Московского художественного театра. Он просил за отца.

Как-то раз на беговом кругу Грудницкий познакомил меня с господином небольшого роста, сухим, очень подвижным и эксцентрично одетым. Это был К. П. Черневский, хороший знакомый семейства Сухотиных, управляющий заводом харьковского коннозаводчика и вице-президента полтавского бегового общества Григория Николаевича Бутовича. Черневский пригласил меня к себе (он жил в Полтаве и лишь приезжал в Николку, имение Г. Н. Бутовича). С Черневским, фанатиком и знатоком генеалогии, мы вели бесконечные разговоры о породе, то есть о Лебедах, Полканах, Горюнах... Разговоры эти с тех пор не прекращаются тридцать три года, уже, конечно, не с Черневским – он давно умер, а с другими людьми. Черневский поклонялся роговскому Полкану и превыше всех линий ставил линию Полкана третьего. Видимо, именно Черневский обратил мое внимание на необходимость изучать генеалогию, так как вскоре после нашего знакомства я выписал те коннозаводские книги, которые еще были в продаже. Черневский много видел на своем веку лошадей, рассказывал увлекательно, бывал в Москве – тогда Москва казалась чем-то необыкновенно прекрасным и далеким, где обитали все эти знаменитые рысаки, о которых я столько читал в отчетах и коннозаводских журналах. Вот почему я с таким интересом слушал Черневского, а через год уже начал вступать с ним в дебаты.

Как-то в четверг – по четвергам и воскресеньям разрешались свидания и отпуска – меня неожиданно вызвали в приемную. Там был Черневский и с ним незнакомый господин, хорошо одетый, державший себя с достоинством, словом, барин в настоящем смысле слова. Мне прежде всего бросилось в глаза, что господин был рыжий и очень румяный. Это оказался Г. Н. Бутович. Он очень любезно заявил, что слышал обо мне и моих познаниях от Черневского и счел долгом познакомиться. Официально, как вице-президент, а не как дальний родственник, он вручил мне билет на право посещения бегов в Полтаве – первый полученный мною билет!

Разговор завязался быстро и увлекательно, мы с Григорием Николаевичем сосчитались родством, и, расставаясь, он пригласил меня к себе. О посещении его имения Николки я расскажу, когда буду описывать увиденные мною заводы, а теперь скажу лишь, что Григорий Николаевич был богатейший человек, имел 3000 десятин незаложенной земли, дом в Харькове и крупные деньги в банке. Он женился на очаровательной женщине, был счастлив, уважаем харьковским полтавским дворянством. Казалось, у этого человека было все, чтобы счастливо жить и так же окончить дни, но случилось иное: он умер от горя в страшной нищете.

Григорий Николаевич был очень доверчив и, как большинство дворян, совершенно не делец. Кто-то, говорят, Черневский, убедил его купить громадное имение в 10 000 десятин земли, в котором якобы находился уголь. Григорий Николаевич купил имение, посадил туда всю свою наличность и заложил Николку. Угля не оказалось, имение было плохое, недоходное, в какие-нибудь десять лет все пошло с молотка, а Бутович с семьей очутился на улице. Он заболел нервным расстройством и вскоре умер на руках жены в маленьком домике на окраине Полтавы. Жена осталась без всяких средств. К счастью, ее спасла кое-какая мебель, которая оказалась высокохудожественной. На вырученные деньги жена Григория Николаевича купила домик в Полтаве и воспитывала сыновей, давая уроки французского языка и английского. В 1916 году я, будучи членом полтавской ремонтной комиссии, навестил супругу Г. Н. Бутовича и купил у нее заводские книги и остатки коннозаводской библиотеки Григория Николаевича и его отца. Среди книг некоторые были очень редкие, уже не попадавшие в продажу. Старший сын Григория Николаевича к этому времени вышел в один из

пехотных полков и погиб геройской смертью на войне, защищая родину.

Во время моего пребывания в корпусе случилось событие, всколыхнувшее и поставившее на ноги не только весь корпус, но и весь город. Стало известно, что назначенный начальником военно-учебных заведений великий князь Константин Константинович предполагает приехать в Полтаву и осмотреть корпус. Готовиться начали задолго до приезда: все чистилось и приводилось в порядок, а нас, кадет, так гоняли и муштровали, что буквально сил не оставалось. От нашей первой роты, в которой я в то время состоял, должны были выставить почетный караул; по росту я туда не попал, но был в запасной смене, а потому пришлось усиленно заниматься фронтом.

Наконец известили, что великий князь выехал из Петербурга. Как сейчас помню день его приезда. Занятия отменили, мы с нетерпением ожидали великого князя. Все были, конечно, в обмундировании первой очереди. Начальство и дежурные офицеры – с иголочки; педагогический персонал в парадных сюртуках, при орденах и шпагах сосредоточился в учительской; кадеты бродили по коридорам в нетерпеливом ожидании. Кто-то крикнул: «Директор едет!» Все бросились к окнам, увидели, что директор корпуса генерал Потоцкий, в полной парадной форме, с лентой через плечо, выехал в своей коляске на вокзал. Стало быть, предстояло еще долго ждать. Еще через два часа великий князь, посетив губернского архиерея, предводителя и губернатора, наконец прибыл в корпус. Часа за полтора прискакал адъютант и объявил, что великому князю сначала будут представляться господа офицеры корпуса, преподаватели и чиновники – в большой рекреационной зале, а затем великий князь обойдет все четыре роты, причем кадетам быть не в строю, а стоять в шеренгу в дортуаре при кроватях, с тем чтобы великий князь мог, подойдя к каждому, прочесть его фамилию на дощечке у кровати. По заранее объявленному церемониалу все и произошло.

Прибыв, великий князь проследовал в церковь, а оттуда – в рекреационный зал. Мы уже выстроились в шеренги по ротам в дортуарах. Обход начался с четвертой, младшей роты. Настал и наш черед. Из коридора раздались звуки многочисленных шагов, звон шпор. Великий князь в сопровождении директора корпуса, генералитета города, всего офицерского состава вошел к нам и поздоровался громким и приятным голосом. Ответное приветствие и громкое «ура» разнеслось по всем помещениям. Великий князь был выше всех на голову, его доброе, красивое лицо, чудные, лучистые голубые глаза сразу располагали к себе и привлекали все сердца. Его как-то сразу все полюбили, и три дня, что он провел в Полтаве, стали для него сплошным триумфом. Среди окружавших его военных он выделялся своим ростом, осанкой, аристократическим видом и необыкновенно приятным выражением глаз. Великий князь был одет в генеральский мундир Измайловского полка, увешанный орденами и звездами, с орденской лентой через плечо. Обходя кадет первой роты, он со многими говорил, спрашивал о семейном положении и задавал незначительные вопросы. Подойдя ко мне, великий князь поинтересовался: «Ты сын Ивана Ильича?» Я ответил утвердительно. Тогда великий князь задал вопрос директору о моих успехах в науке и о моем поведении. Затем расспросил меня о моих занятиях коннозаводством и сказал, что обо мне ему говорил брат, великий князь Дмитрий Константинович, знавший меня через Измайлова и уже тогда возлагавший на меня некоторые надежды. Потрепав меня ласково по щеке, великий князь сказал, чтобы я передал поклон отцу. Трудно передать эффект, который произвел не только на начальство, но и на всех милостивый разговор князя со мною. Я стал героем дня: все были поражены теми связями, кои у меня оказались, и недоумевали, как до сего дня я никому ничего не говорил.

Начальство до приторности любезничало и заискивало передо мной. Моя страсть к лошадям из смешной и глупой превратилась в нечто очень почтенное, со мной частенько заговаривал о лошадях не только грозный командир первой роты полковник Юркевич, но и сам директор, генерал Потоцкий. Приглашения посыпались как из рога изобилия, и уже на третий день после отъезда великого князя я был приглашен на вечерний чай к самому директору. Дочь Юркевича, встречаясь со мной на прогулке, делала мне глазки; все предсказывали мне блестящую карьеру и адъютантство у великого князя Дмитрия Константиновича. Даже губернатор, милейший Бельгардт, встретив меня у полтавского предводителя Бразоля, который был старым знакомым отца и всегда хорошо ко мне относился, счел нужным говорить со мной о лошадях. Я этим воспользовался, попросив его разрешения осмотреть его выездных лошадей. Бельгардт сам мне их показал, после чего я пил шоколад у губернаторши и удостоился высокомилостного разговора.

Бельгардт был коннозаводчиком в Орловской губернии, его выездная пара была самой красивой в городе, потому я и хотел ее посмотреть. В паре были родные братья, так похожие друг на друга, что их трудно было отличить: сухие, очень красивые рыжие лошади, лысые, белоногие, белогривые и белохвостые. В Полтаве была еще одна замечательная пара лошадей, особенно близкая моему сердцу. Она принадлежала преосвященному Парфению, епископу Полтавскому и Переяславскому. Парфений получил лошадей в подарок от моего отца; их имена – Дончик и Делибаш, вероятно, дети борисовской Дезертирки. Несмотря на то что они были не вороной масти, а серые в яблоках, белогривые и белохвостые, Парфений всегда на них ездил. Почему отец подарил ему эту пару и какие отношения связывали его с Парфением – мне осталось неизвестным.

Весь второй день визита в Полтаву Константин Константинович провел исключительно с кадетами: присутствовал на уроках, обедал с нами в ротной столовой, играл в лапту на плацу. Он окончательно покорило все сердца. На третий день плац, где находился великий князь с кадетами, окружила большая толпа горожан и пригородных мещан. И когда великий князь вышел к ним, громкое и долгое «ура» огласило воздух.

Великий князь простился с нами в здании корпуса и разрешил его проводить. Весь корпус тронулся на вокзал в походном порядке с музыкой. На вокзале уже собрались все власти города. Здесь разыгралась неожиданная и чрезвычайно трогательная сцена. Вышедшего из корпуса великого князя встретила толпа простых людей, подняла на руки, усадила в приготовленное кресло и на руках понесла по главной, Александровской улице к вокзалу. Директор страшно волновался, боясь, что князя уронят, но все обошлось благополучно. В конце улицы великий князь пересел в коляску и без происшествий прибыл на вокзал, где его провожал буквально весь город. Под несмолкаемое «ура» тронулся поезд, и долго великий князь, стоя на площадке салон-вагона, раскланивался с кадетами и собравшимся народом. Генералитет и военные держали под козырек... Я, как сейчас, вижу эту трогательную и величественную картину. Кто бы мог тогда подумать, что пройдет чуть более двадцати лет и представители того же народа, развращенные войной и пропагандой, свергнут царя и станут охотиться на улицах Петрограда за представителями дома Романовых, как за зверями.

Летние каникулы последних трех лет учебы в корпусе я проводил не в Касперовке, а в нашем имении Бежбайраках, в пятидесяти верстах от Елисаветграда, потому что расхождения между отцом и матерью достигли к тому времени таких пределов, что отец остался в Касперовке, а матушке предоставил в распоряже-

ние Бежбайраки. Один из старших братьев, Володя, вел в Бежбайраках, по указанию отца, все хозяйство. Мы, младшие, были, конечно, при матери. Бежбайраки, большое имение в 5000 десятин земли, принадлежавшее когда-то знаменитому киевскому богачу Фундуклею (в его честь в Киеве – Фундуклеевская улица), всегда считались только доходным имением, владельцы никогда здесь не жили, и потому жизнь в Бежбайраках устроилась несравненно скромнее, чем в Касперовке. Дом был небольшой, лишенный архитектуры – типичный дом для приезда. Парка также не разбили, а была возле дома небольшая роща хилых южных деревьев да поодаль фруктовый сад. Местность ровная, довольно однообразная. Скрашивал имение лишь чудный дубовый лес со скалой, в восьми верстах от усадьбы, называвшейся Костоватая. Лес был старый, почти дремучий, в нем водилось много зверья.

Жизнь текла ровно. Мать вела довольно уединенный образ жизни, мы почти ни у кого не бывали. Мы отдыхали, набираясь сил к зиме, я проводил целые дни за чтением или же в табуне. О бежбайракском конном заводе моего брата Владимира я скажу в своем месте. Из примечательных лиц Бежбайраков следует упомянуть лишь одно – приходского священника отца Александра Демиденкова, который ездил на тройке, имел визитную карточку с дворянской короной и арендовал земли. Это была совершенно необычная фигура на фоне тогдашнего духовенства. Он мог так держаться только потому, что, по слухам, платил взятки в херсонскую консисторию, да еще потому, что в Бежбайраках несколько десятков лет не жили помещики. Те два или три лета, что мы там жили, Демиденков исправно служил и держал себя значительно скромнее.

Осенью 1899 года, за полгода до окончания корпуса, отец подарил мне первую рысистую кобылу. До того у меня всегда были верховые лошади, а в детстве – пони. Мой любимец, вороной «муц» Соловейчик, однажды меня чуть не убил. На юге, по крайней мере у нас, в Херсонской губернии, муцами звали маленьких лошадей – пони. Соловейчик очень меня любил, а я в нем души не чаял. Его привел и продал моему отцу Феодосий Григорьевич Портаненко. Небольшая лошадка, очень добрая и красивая. Соловейчик был очень плотен на ногах, круторебер и имел большой живот. Однажды недалеко от дома в Касперовке я слез с него, а его, по обыкновению, пустил попасться. Он был так послушен, что всегда подходил по зову и легко давал садиться. Какая-то злая муха укусила его на этот раз: я подошел к нему, взял за повод – он подыграл, вырвался и, брыкнув задом, попал мне в грудь. Я свалился, потеряв сознание. Когда я пришел в себя, Соловейчик мирно пасся подле. Я с трудом уселся на него и поехал домой. Мать очень испугалась, Соловейчика хотели продать, и я еле отстоял своего друга.

И Соловейчик, и другие пони были не более как лошади-игрушки, тогда как подарок 1899 года делал меня если не коннозаводчиком, то владельцем одной из лучших рысистых кобыл завода моего отца. Подарок – гнедая кобыла Спарта от Мраморного и Соседки. Она дала мне впоследствии гнедую кобылу Санидазу, первую лошадь моего завода, выигравшую на бегах. Дочь Санидазы, гнедая кобыла Суламифь, и сейчас ходит в езде у одного московского лихача. Как-то совсем недавно я долго стоял у Страстного монастыря и глядел на нее, запряженную в пролетку. Передо мною невольно рисовались картины счастливого детства, и так тяжело было вернуться к действительному положению вещей.

Даря мне Спарту, отец записал ее рожденной у меня. Всего через год он закончит счеты с жизнью, а я при столь трагичных обстоятельствах стану владельцем Касперо-Николаевского рысистого завода, основанного отцом в 1885 году.





Н. Е. Сверчков  
*Катанье детей*

Отец скончался в Касперовке летом 1900 года неожиданно – от удара. Мать и мы жили в то время в Бежбайраках; оба старших брата, Николай и Владимир, были с нами, причем Коля приехал из Касперовки только накануне смерти отца. Третий брат, Георгий, жил в Киевской губернии, в имении своей жены, урожденной княгини Кантакузен. Гонец с печальным известием прискакал к вечеру, так как отец скончался утром и прошло несколько часов, пока послали гонца. От Касперовки до Бежбайраков ровно сто верст, и надо удивляться, что гонец так быстро прибыл. Мы тотчас же собрались и всей семьей в двенадцатом часу ночи тронулись в путь в двух колясках с факелами. Долг и тяжел показался ночной путь, образ отца стоял перед глазами. Да, это был суровый, подчас жестокий человек, но человек прежнего поколения: железной силы воли, прямо-ты исключительной – одним словом, крупная, недюжинная величина. Его многие не любили из-за его характера, но буквально все ценили и уважали. Отец был выдающимся хозяином и овцеводом. Кроме того, он в высокой степени был наделен способностями финансиста и удесятерил без того крупное состояние, полученное им от деда. Отец отличался исключительным здоровьем и, несомненно, прожил бы еще долго, если бы не особые обстоятельства, вызвавшие удар и мгновенную смерть.

Многим до сих пор памятно нашумевшее на всю Россию дело Рассвета. В печальной истории подмены рысака оказался замешанным мой брат Владимир. Он продал херсонскому помещику и коннозаводчику Шишкину серого жеребца Рассвета завода моего отца, от Рыцаря и Строгой, дочери Злодея. Лошадь была вполне заурядная по резвости, но очень красивая. Через некоторое время Шишкин обратился к брату, с которым был в хороших отношениях, с просьбой переменить аттестат, добавив в числе примет белую полосу над горлом. Брат, ничего не заподозрив, охотно согласился. Трудно было что-либо

заподозрить, ибо в то время подмены орловских рысаков американскими еще не практиковались. Шишкин стал пионером в этой области. Через некоторое время Рассвет замечательно побегал в Петербурге, но понеслись темные слухи о его происхождении. Брат поспешил в Петербург, на конюшне Шишкина он увидел мнимого Рассвета. Вечером в гостинице между Шишкиным и братом разыгралась бурная сцена; Шишкин запугал брата, показав ему первый аттестат Рассвета, по доверчивости не затребованный Владимиром обратно, и уверил, что брату грозит тюрьма за подлог. Шишкин требовал молчания, обещая убрать Рассвета с ипподрома, а затем отравить. Если бы Шишкин поступил так, все бы затихло, но к тому времени он разорился, а Рассвет обещал золотые горы. Брат, всегда отличавшийся трусостью, не нашел мужества поехать в общество и все чистосердечно рассказать вице-президенту графу И. И. Воронцову-Дашкову. Воронцов знал и уважал отца и, конечно, уладил бы дело в два слова. Шишкин не выполнил обещаний, брат стал его невольным сообщником, делать заявления было поздно. Один обман повлек за собой ряд других. Брат Владимир пострадал сначала из-за своей доверчивости, затем из-за боязни огласки. Он боялся, что Воронцов-Дашков напишет отцу, тот не простит скандала и лишит наследства. Однако вышло хуже: в результате своих действий брат оказался на скамье подсудимых. Шишкина оправдали в деле Рассвета, но затем его дважды судили по уголовным делам. В конце концов перед революцией он открыл игорный дом, где был убит за шулерство. Несчастье брата Владимира состояло в том, что он попал в руки прирожденного каторжника.

От отца тщательно скрывали всё. Но когда было назначено слушание дела, дядя Илларион Ильич рассказал ему обо всем. Отец вскочил с кресла, разорвал на себе пиджак и замертво упал на ковер, задев ногой мраморную тумбу и свалив тяжелый канделябр, серьезно ранивший его. Так трагически погиб отец, не дожив до суда над братом, не испытав всего этого позора. Суд признал факт подмены недоказанным, а потому потомство Рассвета считалось орловским, тогда как в действительности он был американским рысаком William C. K. Но с тех пор брат стал глубоко несчастным человеком, ибо не мог не сознавать, что стал виновником преждевременной смерти отца, опозорил свой род, в котором за пятьсот лет дворянства никто не только никогда не был судим, но и не мог быть замешан в таких делах. По понятным причинам мы не будем больше касаться дела Рассвета и лишь выразим удовлетворение, что он пал.

Два месяца, что я прожил в Касперовке до отъезда в петербургское Николаевское кавалерийское училище, были тяжелыми месяцами траура, раздела, улаживания семейных вопросов и пр. По разделу с братьями конный завод отца перешел ко мне, а потому меня следует считать коннозаводчиком с середины лета 1900 года.

Николаевское кавалерийское училище, куда я приехал в августе 1900 года, первые три дня казалось мне сумасшедшим домом. Дело в том, что старший курс, или корнетство, первые три дня цукало молодежь, или «зверей», то есть только что прибывших кадет, вытравливая из них пехотный кадетский дух. Что такое цуканье и какие уродливые формы оно принимало – известно многим, читавшим воспоминания бывших юнкеров училища, поэтому останавливаться на теме не буду.





## УЧИЛИЩЕ. ПОЛК. РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА

В августе 1902-го я в чине корнета уже был выпущен в полк. Таким образом, я провел в Николаевском кавалерийском училище положенные два года. В училище жизнь текла однообразно, между классными и строевыми занятиями, причем последние отымали много времени. Естественно, что верховая езда была важнейшим предметом строевых занятий. По езде я был одним из первых, но тем, кто до этого не ездил, было нелегко и здорово влетало от сменных офицеров, и особенно от эскадронного командира полковника Толныго. Это был замечательный ездок и выдающийся строевой офицер. Он сделал карьеру в строю, потому и придавал такое значение строевым занятиям. Толныго, небогатый офицер одного из драгунских полков, будучи эскадронным командиром, во время смотра обратил на себя внимание великого князя Николая Николаевича и был назначен им командиром эскадрона в Николаевском кавалерийском училище. Через несколько лет он получил полк. Это был очень недалекий, некрасивый и крайне вспыльчивый человек, гроза всех юнкеров и ездоков, отстававших в строю. Начальником училища был добрейший генерал Машин, автор книги «Корм строевого коня в мирное и военное время». Он мало участия принимал в жизни училища, или «школы», как говорили юнкера; мы видели его лишь на смотрах и парадах. Наконец, моим сменным офицером был штабс-ротмистр Павлицев, довольно угрюмый офицер, но хороший фронтовик.

Упомяну здесь о двух событиях, имеющих касательство к моей школьной жизни. Когда я был на первом курсе, то вдруг ни с того ни с сего пришла мне дурь бросить все и уйти. Я подал рапорт и был отчислен вольноопределяющимся в 37-й драгунский Военного ордена полк. Это было крайне глупо, ведь в полку я должен был отслужить в строю те же два года, что и в кадетском корпусе. Уже через неделю я одумался и хотел вернуться в школу. Однако это оказалось невозможно, и мне предстояло ехать в Царство Польское. Помог беде Ф. Н. Измайлов, попросивший за меня великого князя Дмитрия Константиновича, а тот своего брата, начальника военно-учебных заведений. Я был немедленно принят обратно. Толныго никогда не мог мне этого простить и потому относился ко мне особенно строго. Другой инцидент случился со мной на смотре командующего войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа великого князя Владимира Александровича. Во время атаки подо мной упала лошадь. Это была кобыла по имени Женщина, на ней я ездил все два года пребывания в училище – хорошая, но старая лошадь. После атаки великая княгиня Мария Павловна подъехала ко мне и осведомилась о моем состоянии. Падение было удачным и для меня, и для лошади. Когда август

тейшие особы уехали, Толного полным карьером, вне себя от бешенства, подлетел ко мне, но от злости ничего не мог сказать и лишь размахивал стеклом. Картина была неприятная, и генерал Машин поспешил сигналом отозвать полковника, который посчитал, что я провалил смотр. Виноват был, конечно, не я, а старая кобыла или, вернее, ноги кобылы. Это был единственный раз в моей жизни, когда я упал с лошади.

Если казарменная жизнь в школе была и однообразна, и тяжела, то отпускное время я проводил удивительно весело, и, вероятно, эти два года были самыми счастливыми в моей жизни. У меня была небольшая, типично холостяцкая квартира на Литейной улице, в доме, принадлежавшем конногвардейцу Красовскому, из трех комнат с кухней. Там собирались мои друзья с дамами и устраивались пирушки. Нас отпускали из школы по средам и четвергам с 4 до 12 ночи, а затем по субботам с 4 и до 12 ночи следующего дня. Среди школьных товарищей я был дружен с Оливом, сыном нашего бывшего херсонского губернатора, и Суровцевым, моим однокашником по корпусу. Из юнкеров бывали еще князь Андронников, князь Джозджадзе и Гурьев. Вот наша тесная юнкерская компания. К ней примкнули пажи: бывший полтавец Бурман, Палицын, Огарев и Крузенштерн. По субботам если не все, то большинство сходились, точнее, съезжались, так как юнкерам традиционно не полагалось ходить пешком. Олив и Палицын были писаными красавцами, а остальные – милые, воспитанные и очаровательные юноши. Очень часто у меня устраивались пирушки, и их охотно посещали самые шикарные кокетки. Знаменитая Шурка, по прозвищу Зверек, жившая со светлейшим князем Салтыковым, была влюблена в Палицына, Мунечку и Олива, а Настя, по прозвищу Станцуй, – в Гурьева. Они приводили своих подруг, самых модных и роскошных кокеток того времени, на которых ухнулись целые состояния – дворянские и княжеские. Естественно, что мы весело проводили время и были в курсе всего, что делал кутящий Петербург. Теперь я понимаю, почему эти кокетки так охотно посещали мою холостяцкую квартиру: их привлекала зеленая молодежь, они отдыхали, отдаваясь непосредственному чувству и забывая свои повседневные обязанности, оплаченные подчас головокружительными суммами. О наших пирушках знали в Петербурге, и имена участников были всем известны. Нам завидовали, в наш кружок стремились, но мы по настоянию наших дам ревниво его оберегали. Иногда после адского кутежа, ночью, ехали на тройках на острова и возвращались лишь на заре. В ресторанах нам, юнкерам и пажам, бывать не разрешалось, и поэтому мы не заезжали в загородные кабаки, а возвращались домой. Олив обыкновенно уезжал к Мунечке, Палицын – к Зверьку, Гурьев ехал к Насте, а мы, остальные, устраивались на холостой квартире, нередко в обществе нескольких дам. Эти поездки на тройках были нашим любимым развлечением. И действительно, как приятно было мчаться зимой под звон бубенцов и гиканье ямщика по спящему Петербургу и за город, в вихрях снега! Я никогда, никогда не забуду этой езды, которая ныне, увы, отошла в область преданий.

Помимо этих кутежей приходилось, конечно, бывать в обществе – у родных и знакомых, делать визиты семьям товарищей и исполнять другие светские обязанности. Все это, а равно театры, *soupers hiprique* и прочее отымало немало времени, два года пролетели словно золотой, зачарованный сон! Мне и Огареву, который также был лошадиником, приходилось выкраивать еще время, дабы бывать на бегах. Здесь у меня образовались знакомства, я впервые соприкоснулся с широкими кругами коннозаводской России. Все это было ново, интересно, увлекательно! Впрочем, первые мои посещения петербургских бегов относятся к 1898 году, когда мать жила зиму в Петербурге, так как в этот и следующий годы сестры выезжали, а я приезжал на рождественские каникулы из Полтавы в Питер.

Между 1900-м и 1902 годом я уже имел прочное авторское имя и много печатал в «Журнале коннозаводства» и у Вильсона в «Коннозаводстве и коневодстве». Я всегда писал очень легко и быстро, обыкновенно в училище, во время классных занятий, оставляя праздники и отпускные дни для развлечений. В то время круг лиц, писавших по коннозаводским вопросам, был чрезвычайно ограничен, а потому и Вильсон, и Ростовцев, редактор казенного «Журнала коннозаводства», всячески за мной ухаживали и наперебой старались получить мои статьи. Это льстило моему самолюбию и создало мне до некоторой степени привилегированное положение среди товарищей.

Вильсон, редактор-издатель журнала «Коннозаводство и коневодство», был действительным членом Санкт-Петербургского бегового общества. Для того времени он занимал высокое положение, которым чрезвычайно дорожил, и крайне боялся, получая субсидию, обидеть кого-нибудь. Следующей его заботой, вполне для меня понятной, так как он был обременен большой семьей, было иметь статьи и работы хотя бы и похуже, но обязательно бесплатные. Я не нуждался в средствах и, конечно, не брал гонорара у милейшего Вильсона. Естественно, что при таких взглядах на ведение журнала это издание не имело лица, печатая все, что присылали, и, конечно, не могло обидеть или задеть никого из сильных мира сего. Сам Вильсон – сонный, очень тучный, огромного роста – был добрейший человек. Он целые дни копался в журнальной работе на пятом этаже своей небольшой квартиры на углу Николаевской и Звенигородской улиц, в пяти минутах ходьбы от бега.

Ростовцев, редактор казенного «Журнала коннозаводства», был полной противоположностью Вильсона. Когда-то светский лев, человек общества, промотавший, точнее, пропивший все свое состояние. У него не было никакого понятия о лошадях, и он никогда не имел ничего общего с конским делом. Когда он окончательно промотался и пришлось думать о службе, оплачиваемой двумя-тремя тысячами рублей, чтобы прилично существовать, Ростовцев даже при своих связях ее получить не мог. На редакторское кресло устроил его Ф. Н. Измайлов, в то время пользовавшийся неограниченным доверием главнокомандующего великого князя Дмитрия Константиновича. Позже, когда я выразил удивление Ф. Н. Измайлову, как он мог назначить милейшего Гошу (так звали Ростовцева в обществе) редактором, то он мне сознался, что знал его еще мальчиком. Ростовцев рос и учился в Москве, а отец Измайлова управлял там заведениями государственного коннозаводства. Маленького Ростовцева возили к Измайлову и наоборот. Словом, детьми они играли и были близки, а отцы их очень дружили в то время. Измайлов, очень добрый человек, не мог отказать старому другу, да еще и сам, закулисно, принимал участие в редакционной работе.

Гоша очень меня любил и ценил, и надо сказать, что лучшие мои работы появлялись у него в журнале. Справляться с редакторскими обязанностями ему было трудно, главным образом из-за полного незнания терминов и техники нашего дела, – в этом ему помогал один из чиновников канцелярии, также ставленник Измайлова. Выпуск очередной книжки журнала был в то время целым событием, ибо главнокомандующий был очень требователен и не допускал опечаток, тем более ошибок. Кроме того, Дмитрий Константинович, который знал и любил литературу, сам прекрасно владел пером, был очень требователен к стилю статей. С грехом пополам и с посторонней помощью Гоша с делом справлялся, но все же нередко ему влетало от великого князя. Зато после выпуска книжки Гоша мертвецки напивался пивом у Палкина и дня три лежал в кровати, отдыхая от непосильных трудов. Он был исключительно уродливый человек,

толстый, с красным, угреватым лицом и большим носом. Из-за подагры передвигался довольно своеобразной походкой. Несмотря на разницу лет, мы были с ним в приятельских отношениях, и я сохранил о нем хорошую память.



*Генерал-майор Федор Николаевич Измайлов,  
председатель Всероссийского союза коннозаводчиков  
и любителей орловского рысака.  
Журнал «Рысак и скакун», 06.02.1911 г.*

В заключение расскажу эпизод, рисующий совершенное невежество милейшего Гоши в конском деле. Одна из моих статей шла в очередном номере журнала, и в ней я упомянул имя Сметанки. Ростовцев счел нужным сделать примечание такого приблизительно характера: «Почтенный автор, по-видимому, имел в виду не жеребца, а кобылу, так как имя Сметана женского рода». Представьте себе мой ужас, когда мне принесли корректуру и я познакомился с текстом примечания. Я сейчас же выбросил примечание и сообщил Ростовцеву, почему я это сделал. Бедняга был смущен и очень благодарил меня: он не знал даже того, кто такой жеребец Сметанка!!! Если бы это примечание появилось в печати, поднялся бы невероятный скандал, что великому князю и Измайлову было бы крайне неприятно. К тому же метизаторы не дремали и ненавидели нас, орловцев. Какая была бы

тема для насмешек и издевательств, тем более что это был орган Главного управления государственного коннозаводства! Приблизительно через год Измайлов, во время обеда, под хорошую руку рассказал великому князю об этом эпизоде, и князь долго смеялся, а потом поднял бокал за мое здоровье.

Дни и недели летели, приближалось время выхода в полк. Уже гвардейские полки присылали именные вакансии своим кандидатам, а я не мог получить таковой, так как даже не представлялся ни в один из гвардейских полков. В это время шумело дело Рассвета, так что выйти в гвардию было невозможно, о чем жалел не я один, но и многие мои друзья... Не будь этого несчастного дела, вакансия в лейб-гвардии Гусарский полк, по семейной традиции, была бы обеспечена. Впрочем, следует ли теперь жалеть: если бы я вышел тогда в полк, многие интересы и другие дела отвлекли бы меня от коннозаводской деятельности и лошадей, а среди них, из-за них и для них я был счастлив в жизни! Вот почему осенью 1902 года после производства в офицеры я взял вакансию в 17-й драгунский Волынский полк, позднее уланский, и уехал в город Ломжу, с тем чтобы, отслужив положенные год и два месяца, уйти в запас и всецело посвятить себя коннозаводской деятельности.

После производства в офицеры нам был дан отпуск в 28 дней. По его окончании мы должны были явиться в свои полки. Я выехал в Ломжу в начале сентября и вскоре прибыл на станцию Червонный Бор, от которой Ломжа отстояла в 10 или 15 верстах. С Червонным Бором этот губернский город соединяло великолепное шоссе. Позднее, во время маневров, я убедился, что в

Польше очень много хороших шоссе и что все они отлично содержатся. Это были так называемые стратегические пути на случай войны с немцами. На подъездах к станции Червонный Бор в вагон все чаще и чаще стали входить офицеры нашей Кавказской дивизии, и я был поражен их скромным, а подчас и несколько потрепанным видом: какая разница с офицерами Петербургского гарнизона! В Червонный Бор поезд пришел ночью. На вокзале царило обычное



*Юнкеры перед выступлением из с. Ильинского. «Журнал спорта», 15.08.1904 г.*

оживление: евреи-извозчики наперебой предлагали свои услуги и обещали мигом довести в Ломжу. Почти все извозчики оказались исключительно евреями, русских совсем не было, а поляки составляли исключение. Экипажи были рессорные фурманки с верхом, но попадались и коляски. Мой возница действительно хорошо и очень быстро довез меня, и под утро мы приехали в Ломжу. Я разместился в гостинице, скромной, но чистой и довольно уютной. Этим она приятно отличалась от гостиниц большинства русских городов.

Утром, проснувшись и подойдя к окну, я увидел большую и квадратную площадь, окруженную зданиями, по-видимому, присутственных мест. Перед одним из домов стояли кавалеристы-часовые, и нетрудно было догадаться, что это штаб полка или квартира командира. В продолжение нескольких дней я делал визиты моим однополчанам, явился и к командиру полка. Волынцами командовал полковник барон Будберг, бывший конногренадер. Будберг был типичный гвардейский кавалерийский офицер: сухой, с тонкими чертами породного лица, любитель выпить, старый холостяк, очень добрый и высокопорядочный человек. Он знал обо мне от великого князя Дмитрия Константиновича, а потому принял очень любезно и ласково. Узнав, что я недолго предполагаю пробыть в полку, он выразил сожаление и затем назначил меня в 6-й эскадрон. На этом закончилось наше первое свидание. Менее благоприятное впечатление произвело на меня офицерство полка. Оно показалось несколько приниженным, большинство в долгах, едва сводило концы с концами. Богатых людей, кроме адъютанта полка Чайкина, среди них не было. Почти ничего они не читали, и разговоры вращались исключительно вокруг полковых интересов. Офицерское собрание было беднее как в смысле помещения, так и в смысле мебели и сервировки. Стол – скромный и однообразный, из вин подавались лишь водка и пиво. Службой интересовались немногие, что меня крайне пора-

зило, ведь это были люди, которые всецело посвятили себя военной карьере... Таково оказалось первое впечатление, и оно затем не изменилось к лучшему.

В Ломже были расположены квартира бригадного генерала и штаб дивизии. Бригадный генерал Ковалевский, очень милый человек, бывший лейб-драгун, редко бывал в полку, и мы его видели лишь на маневрах да летом на бригадных учениях. Ежедневно он совершал прогулки верхом на вышколенной каравой кобыле, причем сзади бежал ее жеребенок-годовик.

Дивизией командовал генерал-лейтенант Шутлеворт, офицер генерального штаба – невоспитанный, крайне резкий и необузданный человек. На учениях он невероятно ругался, и его боялись как огня. Шутлеворт был грозой дивизии, и все облегченно вздохнули, когда он наконец ушел. Служебные занятия полка начинались с утра, но офицеры приходили поздно, а послеобеденные занятия никто не посещал. Вся работа лежала на эскадронном командире и вахмистре. Зимой раз или два в неделю производилась офицерская верховая езда – это было камнем преткновения для многих, от нее всячески отделялись. Факт, казалось бы, невероятный, но это действительно так.

Мне предстояло купить лошадь для строя, и я поехал на аукцион в Янобке, кажется, в ноябре. Купленный мною жеребец Фарис оказался красивой и вообще замечательной лошастью, и я провел на нем всю службу в полку, а затем, не захотев продать, взял в Касперовку.

Офицерский корпус держался в стороне от местного общества и составлял замкнутый круг. Командир полка был очень дружен с ломжинским губернатором бароном Корфом и ежедневно проводил у него вечера. Больше нигде и ни у кого он не бывал. Семейные офицеры из-за отсутствия средств приемов не устраивали, а потому молодежь коротала все дни и часть ночи в офицерском собрании, играя на бильярде, в карты и проводя время в пустой болтовне. Польское общество держало себя надменно-вежливо и совершенно отчужденно от офицерских кругов, попасть туда было почти невозможно, и потому офицерам приходилось довольствоваться своим кружком. К числу удовольствий города Ломжи можно было причислить лишь плохой театр и прогулки по площади, о которой я уже упоминал, да сидение в «цукерне» – кофейне-кондитерской. Эта цукерня помещалась на углу площади, все гуляющие должны были именно у ее окон замедлить шаг и поворачивать обратно, поэтому она составляла очень удобный пункт для наблюдения за гуляющими.

Я должен был прослужить в Ломже год с небольшим, но скука оказалась такая, что вскоре я начал ездить в Варшаву, а затем решил познакомиться с жизнью польских помещиков. Местное ломжинское общество, состоящее из чиновников и купцов, меня, конечно, не интересовало. В нашем полку пятым эскадронном командовал ротмистр Стегман – поляк, любитель лошадей, конечно, принятый в польском обществе. Он-то и ввел меня туда. Я был встречен охотно и любезно ввиду того, что сам был помещиком, имел средства, имя, и на меня поляки-помещики смотрели как на своего. Я бывал у многих лиц и хорошо познакомился с польскими хозяйствами. Опишу здесь одно из них.

В верстах тридцати от Ломжи находилось имение И. Ф. Соколовского, у которого был небольшой завод англо-норманнов и полукровных лошадей. Я захотел его осмотреть, и Стегман сообщил об этом Соколовскому. Ровно через неделю Игнатий Феликсович Соколовский заехал со Стегманом ко мне и любезно пригласил к себе в имение, обещав через три дня прислать лошадей. В назначенное время к моей квартире подъехала четверка в стяж в хорошей, но несколько старомодной коляске, и я двинулся в путь.

Соколовский был помещиком средней руки, так как имел всего 1500 моргов земли. Но какая разница в приеме, умении жить, культурности по сравне-



нию с нашими русскими помещиками того же достатка! Дом Соколовского был типично помещичьим, не домом магната, а именно домом помещика, живущего доходами с земли и своего хозяйства. Одноэтажный дом с характерной крышей под черепицу, более широкий, чем длинный, с двумя террасами и подъемом посередине. Вас сразу охватывало уютом и домовитостью. В передней рога оленей и чучела птиц; в кабинете хозяина старые оттоманки, оружие, много книг, прекрасный письменный стол, за которым действительно работали – это было видно, ковры и хорошие гравюры из жизни лошадей, преимущественно французов: Адама и обоих Верне – Ораса и Карла. Гостиная со старинной, еще дедовской мебелью, бисерным экраном у камина, старым польским фарфором и клавесином просилась на картинку. То же впечатление производила и столовая, где были развешаны портреты предков, действительных, а не купленных в лавке антиквара. С точки зрения художественной – скромные работы, но один портрет деда так напоминал хозяина, что я невольно обратил внимание и спросил: кто это? Разговор шел исключительно на французском языке, так как польская аристократия не говорила с русскими ни по-русски, ни по-польски – это была тоже своего рода традиция.

Отведенная мне комната выходила окнами в сад и отличалась безукоризненной чистотой, как, впрочем, и всё в доме. Обед был простой – из четырех блюд, но очень вкусный. Невольно вспоминаю наши русские обеды в деревнях того же достатка: поданы не вовремя, все переварено, недожарено, а иногда и прямо несъедобно, не говоря уж об ужасной сервировке. Сколько раз я присутствовал на таких обедах в моих бесчисленных странствиях по полям и весям бывшей Российской империи... Хочется рассказать хотя бы об одном из таких обедов. Я гостил у известной пензенской коннозаводчицы Натальи Николаевны Устиновой в ее знаменитом имении Грабове под Пензой. Наталья Николаевна должна была ехать в одну помещичью семью верст за двадцать и пригласила меня с собою. Она заранее предупредила меня, что обедать мы там не останемся, а вернемся домой. Я хорошо понимал причину такого решения, но судьба сулила иное: нам пришлось «отобедать». По приезде в эту семью – у нее было 1300 десятин хорошего чернозема, то есть значительно больше, чем у Соколовского (польский морг меньше нашей десятины), – в доме началась суета: видимо, прихорашивались и одевались. Мы с Натальей Николаевной сидели в гостиной и тихо беседовали. Гостиная была большая, светлая, но все неуютно, неряшливо: хорошая мебель николаевского времени потускнела и местами у нее отошла фанера, фарфор и фотографии на столах – в пыли. Наконец вышла хозяйка, за ней дочери, и завязался разговор. Прошло не более получаса, как во дворе началась беготня, раздались шум и крики перепуганной птицы: очевидно, ловили цыплят к парадному обеду. Наталия Николаевна выразительно посмотрела на меня, в предвидении обеда по ее лицу прошла судорога, но она быстро овладела собой. Устинова владела громадным состоянием, двадцать лет безвыездно прожила в Париже, где блистала в beau-mond'e и считалась одной из красивейших женщин Парижа. Естественно, что кухня в Грабове была изысканной и перспектива обеда у соседней мало ей улыбалась. Через некоторое время Наталия Николаевна поднялась и стала прощаться, однако нас не отпустили, уверяя, что мы нанесем смертельную обиду, уехав от обеда, который сейчас-де подадут. Пришлось покориться. Мы прождали этот знаменитый обед еще два томительных часа... На второе были действительно цыплята, плохо ошипанные, плохо пахнущие и совершенно несъедобные... В дороге Устинова долго возмущалась нашей некультурностью и вспоминала своих деревенских друзей в Нормандии, их обеды, умение жить и принимать.

...Соколовский был небольшого роста, сухощав и хорошо сложен, с краси-

вым лицом, длинными, типично польскими белыми усами. Разговор с ним доставлял истинное наслаждение. Этот образованный человек много читал и следил за всеми новинками сельскохозяйственной литературы, много бывал за границей, любил музыку. Он был очень хороший хозяин, как и большинство польских помещиков. Постройки поместья были просты, но капитальны; роскоши никакой, но все обдуманно заранее, потому и хорошо выполнено. Свиньи и коровы породистые, а работа шла на лошадях, преимущественно кобылах «с кровью»: в течение ряда лет покупались чистокровные жеребцы. В феврале 1903 года производителем был очень интересный гнедой жеребец Вобанк завода Грабовского. Таким образом, все лошади отличались высокой степенью кровности, а лучшая молодежь шла в заграничный ремонт – ее покупали еврей-барышники. Конечно, чтобы работать на таких лошадях, надо было иметь хороших работников, и таковые, по-видимому, имелись у Соколовского. Я был поражен тем, как почтительны они с хозяином. Небольшой завод англо-нормандских лошадей состоял всего из трех выводных французских кобыл, которые дали уже целое поколение превосходной молодежи. Приплод охотно раскупался в Варшаву и другие города Польши. Для езды поляки чрезвычайно любят отмастков, то есть буланых, чалых и пегих лошадей. Я купил у Соколовского выводную чалую Кокотту и ее дочь от чистокровного Вобанка, также чалой масти. Это было в феврале 1903 года. Впоследствии я продал своих чалых лошадей, так как они не подходили под основное направление моего завода.

В отличном порядке был и сад. Не парк, а именно хороший, доходный фруктовый сад. Лишь перед домом устроена небольшая куртина декоративных деревьев, да все имение обсажено старыми липами. В саду размещались искусственные пруды с рыбой, и на другой день мы с мадам Соколовской ловили к обеду карпа. В прозрачной проточной воде неглубоких прудиков-садков рыба была видна вся. Я долго любовался этой рыбой и, наметив особенно хороший экземпляр, без труда выловил его круглой сеткой-хваткой на толстом, коротком шесте. Впоследствии, ловя в фонтане Славянского базара живых стерлядей, я вспоминал рыбные пруды Соколовского.

Вот как жил и какое хозяйство имел польский помещик средней руки. Проведите параллель между ним и нашим помещиком того же достатка, и вам станет ясно, почему именно в России революция приняла такие ужасные и дикие формы, уничтожившие всю и без того невысокую помещичью культуру.

Скучая в Ломже, я стал часто ездить в Варшаву. Бывал на скачках – они меня в то время так завлекли, что я серьезно подумывал завести собственную скаковую конюшню. Скоро к тому представился вполне удобный случай. Адьютант нашего полка А. И. Чайкин имел скаковую конюшню, преимущественно из лошадей завода Д. А. Расторгуева, которые скакали неудачно. У Чайкина в это время был денежный кризис, и он искал компаньона. Он предложил мне купить половину всех его лошадей, с тем чтобы они скакали от нашего общего дела. Я согласился и сделался совладельцем скаковой конюшни. Ввиду притока средств она стала недурно работать и получила хорошего жокея. Однако в Варшаве наша конюшня не имела достаточного успеха, а потому лошади скакали на провинциальных ипподромах Царства Польского. В Вильно был большой сезон, и я поехал туда. Лошади меня радовали, и я присутствовал на ранних галопках и сам скакал в джентльменских скачках. Вильно, который я тогда, в 1903 году, увидал впервые, произвел на меня большое впечатление своей старинной архитектурой и своеобразным укладом жизни.

Приближалось время окончания моей обязательной службы. Я взял одиннадцатимесячный отпуск без сохранения содержания и уехал в Касперовку, с тем чтобы через одиннадцать месяцев вернуться в Ломжу, проститься и уйти окон-

чательно в запас. Так я и поступил, причем половину своей скаковой конюшни продал обратно Чайкину. Итак, я был свободен и предполагал всецело посвящать себя коннозаводской деятельности. Но не успел я вернуться в Касперовку, как через три дня был призван в ряды действующей армии и назначен в Маньчжурию. Вот как это произошло.

Известно, что регулярная кавалерия, кроме Приморского драгунского полка, не принимала участия в Русско-японской войне, поэтому мой призыв являлся полной неожиданностью и был вызван следующим. Из Одесского военного округа к отправлению в действующую армию был назначен 8-й армейский корпус, и при нем на правах отдельной части должен был быть сформирован продовольственный транспорт. Так как назначение транспорта – подвозить продовольствие и снаряды для всего корпуса, то в нем насчитывалось свыше тысячи лошадей с соответствующим числом повозок. Весь персонал – кавалеристы, поэтому таковые, как низшие чины, так и офицеры, были призваны из запаса. Транспорт формировался в Одессе, и нужное число запасных чинов призвали из Херсонского уезда. Вот почему я совершенно неожиданно попал в ряды 8-го корпуса и принял участие в войне. В то время, ввиду большого числа желающих и ограниченного числа призванных офицеров (всего 12 человек), легко можно было освободиться, но я не считал это удобным и по получении призывной карточки немедленно явился в Одессу, в штаб 8-го армейского корпуса. Корпусом командовал генерал Мылов, а начальником штаба был генерал Сидорин. Меня назначили адъютантом транспорта, и в тот же день я поехал представиться полковнику Блажиевскому, командиру транспорта. Это был лихой кавалерист, гуляка, но дельный и добрый человек. Я сохранял с ним хорошие отношения все время пребывания в Маньчжурии, на театре военных действий. Офицеры транспорта, за исключением графа Грабовского, ничем не выделялись, но были милые ребята.

Транспорт формировался в Одессе, на Пересыпи, месяца полтора. Принимали лошадей, разбивали их на взводы; получали из интендантства фургоны, уже груженные кладью, сбруей, амуницией и прочим; формировали канцелярию, кузню. Работа шла быстро. После обеда мы уже освобождались и весело проводили время в городе. Уход такой крупной части, как корпус, вызвал оживление в Одессе и большой приток денег в торговлю. На улицах, в ресторанах и театрах – везде было полно офицерства, которое спешило развлечься перед отъездом на войну. Я, конечно, принял участие в общем веселии и, кроме того, отдал немало времени бегам и проездкам. В этот год дела Новороссийского бегового общества шли очень хорошо, разыгрывалась большая и интересная программа. Здесь впервые я познакомился со всеми одесскими охотниками, многими коннозаводчиками и близко сошелся с А. В. Луниным. Над городом стояла удивительная золотая осень, что еще больше способствовало успеху сезона и резвости рысаков, которые, на радость спортсменов, не бежали, а прямо летели. Нужно сказать, что одесский ипподром был самым легким в России, и рысаки, ставившие там свои предельные рекорды, потом не только не могли их повторить ни на одном другом российском ипподроме, но, как правило, приходили на 4–5 секунд тише. Проявлению выдающейся резвости способствовали, с одной стороны, морской воздух, а с другой – поразительно эластичная дорожка бегового круга. Это была естественная, а не искусственная дорожка, и она не требовала почти никаких затрат на содержание. Об одесском ипподроме много говорили в спортивных кругах Москвы и Петербурга, все собирались послать в Одессу лучших русских рысаков, с тем чтобы они поставили новые всероссийские рекорды. Однако эти проекты остались лишь проектами вследствие косности и недостаточной спортивности беговых обществ,

о чем нельзя не пожалеть, так как русские рекорды были бы повышены по крайней мере на 5–7 секунд. Если бы в Одессу в свое время отправили великого русского рысака Крепыша, то несомненно, что он пришел бы ровно в 2 минуты и сравнялся бы резвостью с американскими рекордистами того времени. Однако этому мешали метизаторы, боявшиеся усиления орловцев. Сам Шапшал, владелец Крепыша, если бы был истинным охотником и не считался бы так с карманом, мог бы сделать это за свой счет, тем более что Крепыш ему выиграл 200 тысяч рублей. Но Шапшал кричал, что менее чем за 10 тысяч рублей он не поедет, а Новороссийское беговое общество не могло дать приза крупнее 1000 рублей.

Едва ли когда еще случится говорить о Новороссийском обществе, а потому воспользуемся случаем и поговорим о нем сейчас. Обязанности вице-президента общества исполнял А. А. Анатра. К тому времени из-за вражды двух партий не представлялось возможным выбрать либо А. В. Якунина, представителя орловцев, либо Л. А. Руссо, представителя метизаторов, а потому остановились на Анатре, как человеку нейтральном и, в сущности, безразлично относящемся и к тем, и к другим. Анатра был очень похож на Наполеона, о чем знал и немного кичился. Это был приятный и достаточно воспитанный человек, обладавший весьма крупным состоянием. Он был представителем многочисленной фамилии, занимавшей высокое положение в коммерческих кругах Одессы и имевшей свои мельницы, торговлю, дома, экспортные дела. Родом Анатра были итальянцы и когда-то, в очень давние времена, поселились в Одессе. Сам Артур Антонович Анатра призовой конюшни не держал и лишь время от времени заводил двух рысаков, которых быстро сбывал, всегда теряя на них. Его брат Генрих был охотник и до самой смерти держал призовую конюшню на одесском ипподроме. Вице-президентство для Анатры было вопросом карьеры: лошадами он не интересовался, но, будучи вице-президентом, был у всех на глазах, имел возможность принимать на бегах высших должностных лиц, фамилия его фигурировала в газетах. Он очень ловко пользовался своим положением, становясь все более заметным лицом в городе. Меня он не любил, так как на мне сошлись две партии и на ближайших выборах я прошел бы в вице-президенты. Однако планы одесских охотников расстроились, так как я предпочел более широкую арену деятельности и переехал в Центральную Россию. Когда через несколько лет увлечение одесситов конным спортом ослабло, Анатра немедленно бросил общество и стал во главе модного тогда авиационного клуба, президентом которого был великий князь Александр Михайлович, а вице-президентом – командующий войсками барон Каульбарс. Здесь Анатра быстро получил Владимира IV степени и так укрепил свое положение, что попал в директоры крупнейшего банка. Словом, это был ловкий человек. Вице-президентство он принял от В. П. Микулина, служившего в адмиралтействе и занимавшего крупный пост в Русском обществе пароходства и торговли. Микулин был в генеральском чине и отличался удивительной добротой. Им руководил и делал с ним что хотел Пашка Беляев, его наездник. Конечно, по этой причине Микулин был плохим вице-президентом и должен был уйти. У него был небольшой завод в Волынской губернии, из которого вышло несколько резвых лошадей. Пашка уехал в Петербург, там выдвинулся, поступил в конюшню Брайловского и Петрова и стал знаменитостью и всеми уважаемым Павлом Петровичем.

Старшими членами Новороссийского бегового общества были Л. А. Руссо и И. Е. Марченко. Руссо – знаменитый коннозаводчик-метизатор, один из пионеров этого дела, состоятельный помещик Бессарабской губернии. Подробнее о нем я расскажу, когда приступлю к описанию его завода. В старшие члены он пошел потому, что, обладая крупнейшей призовой конюшней, разу-

меется, должен был иметь влияние на дела общества и составление программ.

Марченко, человек неопределенного происхождения, был большим любителем рысака. Он держал небольшую конюшню, сам ездил на призы, сам готовил своих лошадей. Иногда у него бывали недурные лошади, а его Деспот завода Редькина был лошастью хорошего класса. Ничем другим, кроме бегового дела, Марченко не занимался и каждый день бывал на ипподроме. До этого он держал в аренде имения и нажил известное состояние. У него была очень красивая содержанка, которую звали Джемма, и мы, молодежь, иногда не без успеха за ней ухаживали.

Казначей общества А. Т. Фингертут, из немцев-колонистов, охотился преимущественно на лошадях екатеринославского коннозаводчика Петровского. Лучшими лошадьми немца были Плут 2.19 и Ворон. Немец знал Петровского, так как сам имел имение в Екатеринославской губернии, которое продал и переехал в Одессу. Он был большой интриган и вообще мелкий и паскудный человек; на его средства некий журналист Сегон издавал разные брошюры и листки типа современных «Бедноты», «Гудка» и прочих грязных и пасквильных изданий.

Наконец, достопримечательной фигурой был А. В. Ярославский. Это был одесский присяжный поверенный, еврей по происхождению. Много лет неизменно он приезжал в одной и той же парной извозчицкой коляске, отличался большой точностью и аккуратностью и не прочь был устроить за хороший процент денежные дела членов общества. Он секретарствовал много лет, чуть ли не с основания общества, и, очевидно, находил в этом выгоду. Он единственный из всех получал жалование.

Особую группу членов составляли представители города, вернее, горожане – в противовес группе приезжих коннозаводчиков и охотников. В первой группе были Антропов, чиновник акцизного ведомства, работавший в порту; доктор Вдовиловский; Поглиез, владелец знаменитого магазина братьев Петрокино, и ряд таких же лиц, имена которых я уже не помню. Некоторые любили лошадей, но большинство смотрело на бега не как на дело, а как на развлечение, возможность показать себя и продемонстрировать туалеты своей супруги.

Во вторую группу входили прежде всего основатели общества, знаменитые братья А. В. и Н. В. Якунины, старые столбовые дворяне, род коих поселился в Новороссии более 150 лет назад; Л. Л. Юковский, коннозаводчик и помещик Александрийского уезда Херсонской губернии; Е. Е. Рышкан-Дорожинский, бесарабский богач, коннозаводчик; два Бутовича, князь Кантакузен, С. Г. Карузо и другие землевладельцы и дворяне.

Не могу не поговорить отдельно о двух лицах – стартере Н. И. Паншине и старейшем члене общества Г. Н. Яншеке.

Н. И. Паншин был родным братом известного тульского коннозаводчика А. И. Паншина, из завода которого вышли резвые лошади и которому принадлежала одно время знаменитая Ночка 2-я. Аркадий Иванович был известным спортивным писателем и знатоком орловской породы. Свои статьи он иногда подписывал «Аркадий Пустынник». К тому времени у Паншиных уже не было имения в Тульской губернии, они вообще были небогатые люди. Николай Иванович служил в двух беговых обществах – Одесском и Киевском – и уезжал из Одессы в Киев, как только кончался сезон (в Одессе были бега весной, а в Киеве летом). В обоих обществах он занимал места стартера и казначая. Зимой всегда жил в Киеве. Он не был таким знатоком, как его брат, но хорошо знал технику бегового дела и помнил буквально всех беговых лошадей, выступавших на этих двух южных ипподромах. Это был очаровательно приятный человек – мягкий, добрый, внимательный и услужливый. Я сохранил о нем самые

лучшие воспоминания. Едва ли не самой колоритной фигурой на бегах в Одессе, а также и в Одесском беговом обществе был Г. Н. Яншек, чехословак родом, пешком пришедший в Одессу искать счастья. По профессии – кузнец. Ему повезло, он вышел в люди, разбогател. Его младший сын стал доктором, а старший, плохо учившийся, заведовал кузницей, образцовой и лучшей в Одессе. Все, что нажил Яншек, было делом его рук. Это был достойный человек. Охотник до рысаков страшный: уже старик, он дважды – утром и вечером – посещал ипподром. Он был одним из самых старых членов общества, и все его уважали. В своей призовой конюшне Яншек держал 8–10 лошадей. Его специальностью была покупка брака и отбойных городских лошадей; он с ними возился, лечил, отъезжал и иногда выводил на ипподром, а неспособных продавал в город. Покупал он лошадей за гроши, но так как имел хороший глаз, то у него бывали резвые лошади. Лучший – Дикарь, сын Пегаса и кобылы неизвестного происхождения, а также кобылы завода А. Н. Чеховского – Старосветская и Маруся, которую я купил у него для завода. Маруся, правда, ничего хорошего мне не дала и пала у меня. Много Яншеку выиграл и Кошут, крэк его конюшни. Кошут был резвая и красивая, густая, городского типа лошадь. Я заплатил Яншеку за Кошута 2000 рублей, и тот год или два был у меня в заводе; после я продал его херсонскому коннозаводчику Реммиху. Яншека все любили и очень часто с ним, как с очень опытным человеком, советовались. Я не представлял себе одесских бегов без Яншека, и, когда он умер, бег словно опустел.

В Одессе я ежедневно встречался и проводил целые вечера, а иногда и часть ночи, с моим приятелем С. Г. Карузо. В то время Карузо был в зените своей славы: он редактировал студбук, а авторитет его как писателя по вопросам породы достиг апогея. Карузо жил в доме княгини Лобановой-Ростовской. Она происходила из семьи миллионера Ролли, отец которого был выходцем из Греции. Князь Лобанов-Ростовский женился на ней из материальных соображений и, получив миллионы, проводил время в Петербурге или же в своих родовых поместьях. Так что одесский дом-особняк опустел. В нем жили лишь старик-лакей да тетушка – дальняя родственница княгини, которая одновременно приходилась родственницей С. Г. Карузо. Вот почему он бесплатно занимал комнату в особняке. Тетушка княгини очень кичилась своим родством и любила рассказывать, что когда Лобанов приезжал в Ростов, то церковные колокола звонили в честь потомка ростовских князей. Карузо был сыном херсонского помещика Григория Егоровича Карузо, владевшего в свое время большим и хорошим имением в Тираспольском уезде, богатого человека, который все прожил на лошадях, а главным образом на неумении вести свои дела и хозяйство. Когда я знал Сергея Григорьевича, отец его был совершенно разорен, а деревня Егоровка превратилась в цензовое имение, то есть земли там было ровно столько, сколько было необходимо дворянину на ценз, чтобы служить по выборам. Григорий Егорович был председателем Тираспольской уездной земской управы, на это жил и содержал семью. Его сын зарабатывал как редактор студбука и часто нуждался в деньгах, но никогда ни у кого не занимал, был удивительно скромнен и аккуратен в денежных делах. Сейчас я не буду говорить о заводе и деятельности Карузо на коннозаводском поприще – об этом речь впереди, расскажу лишь о своем отношении к этому человеку и попытаюсь нарисовать его портрет.

Я познакомился с Карузо у А. С. Путилова в Санкт-Петербурге, когда был еще юнкером, то есть в 1901-м или в 1902 году. Мы очень скоро сошлись, так как оба были фанатиками орловского рысака, оба писали, оба были генеалогами и оба ратовали за объединявшее нас дело. Карузо бывал в Петербурге лишь раз в год, когда его по служебным делам вызывали в Главное управле-

ние государственного коннозаводства или на заседания особой комиссии по изданию заводских книг и разъяснению происхождения орловских лошадей. Мы познакомились, но виделись мало, так как Карузо вскоре уехал. Однако стали переписываться, и у нас установилась довольно тесная связь. Особенно интенсивной переписка была, когда я служил в Ломже. Выйдя в запас и попав по призыву чуть ли не на третий день в Одессу, я очень обрадовался, встретив Карузо, и мы уже не расставались с ним все те полтора месяца, что я провел в Одессе перед отъездом на Дальний Восток.

С. Г. Карузо был выше среднего роста, жгучий брюнет с довольно крупными чертами лица и удивительно красивыми и выразительными глазами. Глаза Карузо трудно забыть: в них одновременно была и грусть, и страсть, и что-то тревожное, что, может, и привело его к самоубийству. В личной жизни он был глубоко несчастлив, но мы не позволим себе касаться этой стороны его жизни и тем более писать о ней.

Карузо был тончайшим и величайшим знатоком породы орловского рысака; он писал о породе так, как никто не писал ни до, ни после него. Его труды суть классические произведения, и мы глубоко сожалеем, что переживаемое нами время не позволяет нам собрать и издать отдельной книжкой все его работы. Он был чрезвычайно увлекающийся человек, и когда говорил об орловском рысаке, то зажигался святым пламенем. Слушать его было наслаждение, запас его сведений казался неисчислимым. Мы часто вместе ездили на бега, чтобы в пути не терять времени и иметь возможность поговорить о лошадях. Обедали мы также вместе, всегда за одним столиком петербургской гостиницы, и вели нескончаемые беседы о лошадях. Очень часто к нам подсаживался Л. А. Руссо; хотя он был крайний метизатор, но, как страстный охотник и чуткий человек, чувствовал, что здесь, в этих речах, было много правды, и охотно сидел, молчал и слушал.

Руссо с большим уважением относился к Карузо и часто мне говорил об этом. После обеда я уезжал в штаб транспорта подписать приказ и отдать распоряжение, а Сергей Григорьевич шел к себе отдохнуть. Уже через каких-нибудь два с половиной – три часа раздавался стук в дверь, и входил Сергей Григорьевич в форменной фуражке коннозаводского ведомства, статском пальто, с неизменной тяжелой, сукаватой палкой в руках. Меня он шутя и нежно называл «маститым». Разоблачившись, он обыкновенно усаживался в кресло подле окна, и начиналась «лошадиная» беседа, которая заканчивалась далеко за полночь. Моя мать, которая жила тогда в Одессе, желая перед отъездом подольше побыть со мною, часто присутствовала при этих беседах и разгоняла нас не без труда. Как содержательны и как



*Сергей Григорьевич Карузо,  
коннозаводчик,  
редактор «Заводской книги  
русских рысаков».  
Журнал «Рысак и скакун»,  
04.03.1912 г.*

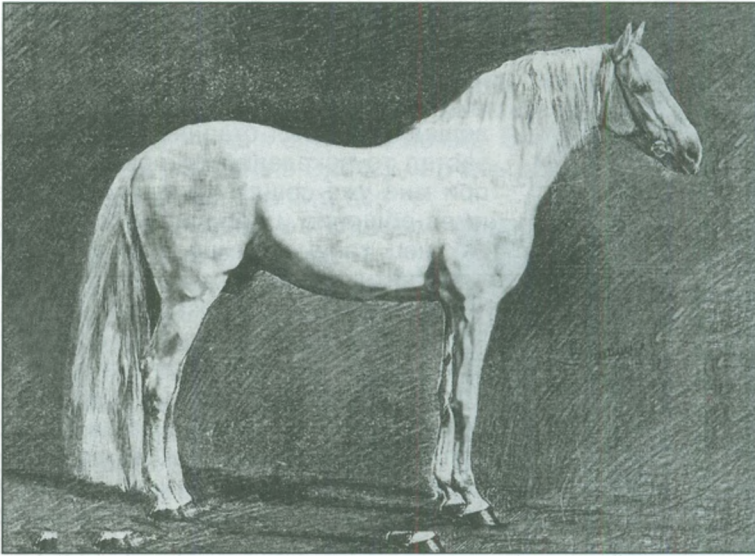


*Его Императорское Высочество  
Великий Князь  
Дмитрий Константинович,  
главноуправляющий государственным  
коннозаводством*

интересны были эти беседы! Я много тогда почерпнул в разговорах с Карузо и значительно расширил свой кругозор. Немало он сообщил мне и различных подробностей о тех или иных лошадях: он был старше меня лет на десять и застал то поколение коннозаводчиков, которое при мне уже сошло в могилу; как редактор, он имел общение и переписку со многими из них; наконец, как в любимце великого князя Дмитрия Константиновича, в то время управлявшего государственным коннозаводством, в нем даже заискивали многие сильные люди коннозаводского мира. Словом, то, что знал Карузо, никто другой так хорошо не знал. Как жаль, что он не написал своих мемуаров! Когда он рассказывал, то так увлекался, что, доходя до своих любимых лошадей и линий, возвышал голос или, как он шутил определил, «рычал» и метался по комнате. Полтора месяца, проведенных в Одессе в обществе Сергея Григорьевича, я считаю счастливейшими и едва ли не интереснейшими в своей жизни. Впрочем, мне пришлось столько знать, чувствовать, переживать, что трудно сказать, когда я был более всего счастлив.

Однажды Карузо сказал, что мне необходимо познакомиться с Бицилли, бригадиром Одессы, так как он якобы выдающийся знаток лошади, уже лет тридцать ездит по ярмаркам и покупает лошадей для одесских пожарных частей, знает и знал многих выдающихся барышников и может рассказать мне о заводе Д. И. Павлова. Я охотно согласился, и Карузо взялся устроить свидание. Через три дня мы должны были приехать к Бицилли, пообещавшему нам показать лошадей своей пожарной части и рассказать, что знает, о старине. Когда мы подъехали, была дана тревога и Бицилли лихо два раза промчался мимо нас по улице – это была исключительная любезность. После он показал нам на выводке лошадей своей части. Все лошади у него были пегари и очень ладные собой; несмотря на массу, в них чувствовалась кровность и влияние рысака. Я поинтересовался, где Бицилли их покупает. Оказалось, в Тамбове, на ярмарке. Несомненно, во многих из них текла кровь цветных лошадей незабвенного коннозаводчика В. П. Воейкова. Бицилли оказался очень интересным и любезным стариком, он много рассказывал занимательного о своих поездках по ярмаркам и сообщил, что знал, о лошадях Д. И. Павлова. Впоследствии я воспользовался этими сведениями для одной из своих работ о рымаревских лошадях, которые все происходили от павловского корня. Бицилли часто бывал на бегах, особенно в прежнее время, и знал многих лошадей. Я спросил о том, какую лошадь он считает лучшей из всех им виденных. Он сейчас же ответил: Бережливого. Мы с Карузо были настолько удивлены, что невольно переглянулись. Дело в том, что Бережливый был и моим любимцем, сыном великого кожинского Потешного. Мне даже в голову не приходило, что Бицилли мог его знать. Современники так ценили эту замечательную лошадь, что называли его не иначе как рысистым Стоквелем, то есть приравняли его как производителя к этому великому деятелю чистой породы. Посещение Бицилли приобрело для меня исключительный интерес! Я попросил Бицилли рассказать нам возможно подробнее о Бережливом, и вот что мы услышали.





*Бережливый, серый жеребец, род. в 1873 г. в заводе М. И. Кожина от Потешного и Бережливой, принадл. Ф. А. Терещенко*

«Я видел Бережливого один раз в жизни, но никогда не забуду эту лошадь, эту минуту. Я был в Киеве и подымался вверх по одной из улиц; мимо меня вихрем пронеслась белая, как кипень, лошадь ослепительной красоты, запряженная в одиночные городские сани и покрытая голубой сеткой. В санях сидел пожилой уже господин в бобрах и сердито говорил что-то кучеру. Они пронеслись мимо меня, но я все же разглядел эту лошадь и побежал вдогонку, так как непременно хотел узнать, кто они. Однако скоро я потерял из виду седока и лошадь. Тогда мне пришла счастливая мысль спросить постового-городового, и он без затруднения ответил, кому принадлежал выезд, и, лениво указав пальцем в переулок, сказал: «Возьмите налево, потом направо, и вы увидите и лошадь, и кучера». Я буквально побежал в указанном направлении и у здания судебных установлений увидел выезд. Лошадь оказалась знаменитым Бережливым, а седоком был не кто иной, как сам Терещенко, киевский миллионер, сахарозаводчик, землевладелец и знаменитый коннозаводчик. В тот день он был присяжным заседателем. Я больше часа любовался Бережливым. В нем было не менее пяти вершков росту, сухости он был непомерной, красоты неопишуемой, голову имел совершенно арабскую, с черно-голубоватой оконечностью храпа и черными же, большими и выразительными глазами. Спинка была как линейка, а хвост, густой и обильный волосом, ниспадал юбкой. Я никогда не видел ничего подобного. Кучер несколько раз трогал с места и проезжал лошадь: на шагу движения Бережливого были плавны, гармоничны, он особенно выступал, как бы гарцуя перед публикой. Наконец вышел Терещенко, сел в сани, кучер перевел вожжи, и Бережливый медленно тронул. Еще через миг они уже летели вниз по улице. Это был какой-то сон – лучшей лошади я не видал и никогда больше, конечно, не увижу», – закончил Бицилли.

Карузо хотел опубликовать рассказ Бицилли, но я попросил его не делать этого, так как, будучи поклонником не только Бережливого, но и всей его великой линии, хотел это сделать сам. Я впервые привожу этот рассказ в печати. Сергей Григорьевич сдержал слово, но несколько раз в беседах возвращался к рассказу Бицилли. Позднее я имел возможность проверить его рассказ,

получив от А. Н. Терещенко в подарок экран, принадлежавший владельцу Бережливого Ф. А. Терещенко и изображающий эту великую лошадь. На экране – лошадь изумительной красоты, причем бросается в глаза ее необыкновенный по волосу и густоте хвост. Бицилли верно запомнил этого сына великого кожинского Потешного!

Как ни хорошо, ни приятно было в Одессе, но пришлось расстаться не только с дорогим Сергеем Григорьевичем, но и с семьей и тронуться с эшелонем в Маньчжурию.

Мы были в пути не менее месяца; в больших городах нередко были остановки на сутки, что дало мне возможность познакомиться со многими сибирскими и другими городами. Пензу я знал хорошо, но с Самарой не был знаком, и осмотр этого большого губернского города на Волге доставил мне удовольствие. В Самаре я навестил известного коннозаводчика И. Г. Курлина и осматривал тех его лошадей, кои были в городе. Курлин был богатейший человек и большой охотник, земли у него было свыше 100 000 десятин. Самара – город сравнительно новый, и я не нашел там никаких достопримечательностей. Во всех городах я прежде всего искал антикваров и старьевщиков в надежде найти что-либо интересное для своего собрания картин, фарфора и бронзы, но здесь я не только ничего не купил, но даже не видел ничего интересного. Следующий большой губернский город – Уфа – поразил меня своим исключительно живописным местоположением: река Белая, горы, покрытые лесом, луга – удивительно живописны, природа края необыкновенно величественна. Я узнавал пейзажные мотивы, прозвучавшие в лучших картинах Нестерова. В Уфе было много башкир, и город, сохраняя русскую физиономию, имел несколько восточный оттенок. Большие сибирские города Курган, Ново-Николаевск, Томск, Иркутск и другие не произвели на меня большого впечатления. Из них Иркутск – наиболее крупный и благоустроенный. Если сибирские города оставили меня совершенно равнодушным, то сибирская природа, величественная и угрюмая, с гигантскими реками и озерами, лесами и тундрами, произвела огромное впечатление. Можно было часами сидеть у окна и любоваться ею. На станциях и остановках я большое внимание обращал на лошадей местного населения. Это были крепкие, сбитые и сильные лошади. Под Томском было много крупных лошадей, здесь чувствовалось явное влияние рысака. Позднее, при описании виденных мною сибирских заводов, я объясню, почему и как проникла туда кровь рысаков и более тяжелых тамбовских выкормков.

Перевалив через озеро Байкал, мы быстро приближались к месту назначения и наконец прибыли в Харбин. Уставшим от дороги лошадям дали отдых, разгрузили, делали им продолжительные проводки. Харбин – маньчжурский город, своеобразный и самобытный. Европейская часть его ничем, кроме роскоши, не отличалась от обыкновенных русских уездных или губерnskих городов. В Харбине был тыл, масса интендантов, обозов, складов, много офицеров и военных чиновников. В ресторанах нельзя было получить места: день и ночь все было полно прибывшими из действующей армии офицерами, которые кутили направо и налево. О кутежах говорили везде, и они нередко принимали безобразные формы. На улице я случайно встретил А. А. Колюбакина. Он окончил Александровский лицей и оттуда поступил вольноопределяющимся в лейб-гвардии конный полк, где через год и был произведен в офицеры. Он был сыном знаменитого коннозаводчика, вице-президента Московского бегового общества А. В. Колюбакина, и я хорошо знал его, так как в лицее он учился на одном курсе с моим покойным братом Григорием Ивановичем. Естественно, что мы с ним разговорились, и эти два дня я провел в его обществе. Это был очаровательный человек, образованный, воспитанный и умный. Он приехал из действу-

ющей армии на отдых. В беседах со мною резко отзывался о Куропаткине и предсказывал наш разгром. Колюбакин пошел на войну добровольцем. Вскоре он был убит на поле брани.

Из Харбина мы двинулись поздно вечером следующего дня, имея назначением Мукден, столицу Маньчжурии. Но, не доехав до Мукдена, мы получили новое распоряжение: выгрузиться с транспортом за две станции до этого города, куда, не медля после выгрузки, следовать походным порядком и остановиться, построив вагенбург, у северных ворот города.

Когда мы прибыли на станцию назначения, было уже темно. Выгрузка закончилась лишь к полуночи. Ночь выгрузки, а затем и марш в темноте по незнакомой стране, в которую мы только вступили, без возможности ориентироваться по компасу и карте, будут долго памяты мне. В пути было страшно, все предметы выплывали неожиданно, принимая чудовищные и невероятные размеры, а встречающиеся своеобразные деревья с их редкими ветками и приплюснутыми вершинами производили жуткое впечатление. Приходилось часто останавливаться, чтобы проверить колонну. Однако все в жизни кончается, с наступлением рассвета кончились и наши мытарства и страхи. Благополучно прибыв к северным воротам Мукдена, мы построили вагенбург. Командир уехал в штаб за распоряжением и вернулся лишь к вечеру, злой и недовольный. Его распекли за то, что он двигался «без всякой нужды» ночью и рисковал. Однако прав был полковник Блажиевский, а не штаб корпуса: в распоряжении, которое я, как адъютант, видел, было ясно сказано немедленно разгрузиться и двигаться туда-то. Как же можно было поступить иначе, будучи на театре военных действий? Я вспомнил слова Колюбакина, и сомнение закралось в мою душу: видимо, путаница и сваливание ответственности с одного лица на другое были в полном ходу и грозили привести к тому результату, к которому в конце концов и привели...

Восьмой корпус двинулся на юг к Ляояну, вслед за ним и мы. Наш транспорт расположился по деревням, в 8–10 верстах от двух штабов дивизий восьмого корпуса. Лошади стояли частью по конюшням, вернее, в китайских мазанках, весьма напоминающих своими размерами наши чуланы, большинство же – у коновязей. Ежедневная служба состояла в подвозе на позиции снарядов, продовольствия и приема с перевязочных пунктов раненых. Хотя мы считались тыловой частью, но находились в непосредственной сфере огня. Впоследствии нас приравняли к действующей строевой части, и мы получали орден с мечами и бантами, как и строевые офицеры. Служба была очень тяжелой и ответственной, дел много. Мы, офицеры, и нижние чины жили по квартирам в китайских фанзах, а столовались все у командира; в свободное время жизнь шла однообразно, все развлечения – карты и вино. Так как я никогда не пил и в карты не играл, то редко оставался в обществе офицеров после обеда и ужина и, уходя домой, занимался чтением и вел переписку с друзьями и родными. Несколько раз я ездил в Мукден и познакомился с этим городом. Посещение лавок антикваров доставляло мне большое удовольствие, хотя я почти ничего не покупал, так как никогда не интересовался разными *chinoiserie*. За все время я купил лишь две замечательные, очень дорогие вазы Клаузоне – не тот рыночный товар, который в изобилии встречается в магазинах Европы, а действительно уника, вполне художественные произведения. Эти вазы целы у меня до сих пор.

Мукден вполне, конечно, китайский город, и поначалу его жизнь меня интересовала, но затем быстро прискучила. Вопреки ожиданию, Мукден оказался очень бойким местом и торговля там шла оживленная: торговцы орали во все горло, зазывая в свои магазины, что плохо вязалось с моим представлением о

китайцах как спокойном и медлительном народе. Интересно было встретить поезд знатного мандарина. Мандарины действительно олицетворяли собой спокойное величие и напоминали тех китайцев, к которым мы привыкли по описаниям книг и журналов. Однажды совершенно случайно мне пришлось видеть, как везли китайца на казнь. Шум и переполох на улице стояли невообразимые, уже издали были слышны заунывные, резкие, протяжные звуки труб и звонкие, резкие удары в литавры. Музыка, если только это можно назвать музыкой, действовала на нервы и вызывала чувство беспокойства. Наконец показался кортеж: впереди, на лошадях, которые шли тропотой (род ускоренного шага маньчжурских лошадей), ехал какой-то начальник, за ним много конных с резными пиками, украшенными бумажными драконами, конскими хвостами – все это было очень ярко и красиво; поспевая за ними, бежала пехота, потом ехали музыканты с литаврами и большими трубами. Преступник стоял на коленях в телеге, запряженной тройкой лошадей, в длину по сторонам и сзади ехала вооруженная стража. Руки преступника были связаны сзади, на груди висела табличка с надписью, голова не покрыта, выражение глаз какое-то неопределенное, как будто он ничего не видел и ничего не понимал. Эта картина произвела на меня жуткое и тяжелое впечатление.

Приблизительно в это же время меня постигла катастрофа: я едва не стал жертвой пожара. Я занимал большую фанзу. Правая сторона осталась у хозяев, середина, по-нашему передняя, была в распоряжении моего денщика, а в левой жил я. (Все китайские фанзы построены по одному образцу и разделены на три части. Две части фанзы (если исключить третью входную) разделены, в свою очередь, на две равные половины: посередине идет узкий проход, а слева и справа – канны, то есть сплошная кирпичная настилка, причем отопление производится из передней и находится в каннах. Высота канн – аршина полтора от земли. На этих каннах и живут китайцы. Вся постройка удивительно легкая и непрочная, крыша из тростника гаоляна, везде дерево, а окна типично китайские, с легкими, в мизинец толщиной, деревянными рамами ажурной сложной работы, затянутые прозрачной бумагой.) В тот вечер я вернулся домой поздно, так как долго был занят в канцелярии, и вскоре лег спать. Засыпая, я смутно слышал какой-то гул, вероятно, в трубе, и подумал, что он похож на шум от едущего хорошего экипажа. Почти сейчас же после этого я заснул. Разбужен я был неистовым криком денщика: «Ваше благородие, спасайтесь!» Спросонья я не понимал, в чем дело. Повторившийся страшный крик денщика привел меня в себя, и я с ужасом увидел, что над моей головой бушует пламя, все трещит и качается. Еще несколько минут, и все это рухнуло бы на мою голову. В минуты страшной опасности, а мне не раз пришлось стоять перед таковой, в особенности в революционные годы, самообладание и присутствие духа никогда не покидали меня. Я мигом вскочил с походной кровати и как был: в одной рубашке, на босу ногу – двумя или тремя ударами кулака высадил рамы и выскочил во двор. Крыша рухнула, и высоко над землей поднялся огненный столб дыма и искр. Если бы я растерялся и промедлил, я бы обязательно погиб в огне. Мой денщик метался по двору как сумасшедший, со всех сторон бежали солдаты, а я стоял на морозе, в снегу, в одной лишь ночной сорочке. На меня накинули шинель, и один из солдат взял меня на руки и так и принес в квартиру командира. Пожар продолжался каких-нибудь двадцать минут, все сгорело дотла – так велика была сила пламени. На другой день выяснилось, что китайцы, жившие на другой половине фанзы, вечером совсем покинули деревню... Такие пожары стали довольно часто возникать и в других частях. Тогда были приняты самые строгие меры, и пожары прекратились. В огне погибло все мое имущество и 5 тысяч рублей денег; уцелели лишь зна-

менитые вазы, да и то потому, что я их временно оставил у командира. Особенно жаль было шелковое белье, замшевые простыни, погребцы и другие необходимые вещи, привезенные из России, которые достать в Маньчжурии не представлялось никакой возможности. Пришлось все наскоро покупать и одеться в походных офицерских магазинах, размещавшихся в вагонах и разъезжавших по фронту.

В нашей и без того тяжелой походной жизни приходилось немало страдать и от ужасного климата. Эта страна вообще отличается обилием ветров, которые нередко достигают силы урагана. Тогда весь воздух затемнен тучами пыли, и она держится в подвешенном состоянии иногда несколько дней. Летом очень жарко, а зимой свирепствуют снежные метели исключительной силы, хотя снега выпадает очень немного и он быстро тает. Воды сравнительно мало, словом, климат отвратительный. Естественно, я обратил особое внимание на маньчжурских лошадей и осмотрел очень многих. Мне хотелось поближе познакомиться с этой породой. Маньчжурские лошади преимущественно светлых мастей: серые всех оттенков и белые. Вороны встречаются крайне редко. Лучшие экземпляры были почти всегда белые. У маньчжурской лошади есть одна отличительная черта, которая бросается в глаза: все они необыкновенно глубоки, а стало быть, низки на ногах; ноги очень плотные, с короткой бабкой, сухие и хорошо поставленные. Грудь широкая, плечо длинное, голова небольшая и породная, спина отличная, зад правильный, движения легки и нарядны; рост небольшой, от одного аршина до 12 с половиной вершков.

Несомненно, что суровые условия климата и маньчжурской жизни оказывают определенное влияние на эту породу, ибо все слабое погибает в молодости и выживает лишь сильное и наиболее приспособленное к борьбе за существование. По тем же причинам маньчжурские лошади развиваются медленно и достигают своего полного развития на седьмом и даже восьмом году жизни. Зато если уж маньчжурская лошадь развилась и окрепла, то она отличается продолжительной и весьма высокой работоспособностью и долговечностью.

По своему происхождению эти лошади – отпрыски монгольских лошадей, представляющих, по мнению профессора Кулешова, самостоятельную, первичную породу. Для местных условий, принимая во внимание состояние дорог и перевозочных средств, такие лошади незаменимы. Но, разумеется, для европейских условий они непригодны и могли бы найти применение лишь на шахтных работах.

Неприятно касаться печального инцидента, которым окончилась служба в Маньчжурии Блажиевского и других офицеров. Известно, что хищения в тыловых частях, имеющих дело со снабжением, а значит, с крупными деньгами, приняли в Русско-японскую войну исключительные размеры. К сожалению, не избежал этой участи и наш транспорт. Блажиевский получал громадные деньги из походного казначейства на довольствие людей и лошадей, и часть этих денег, разные экономии, разницы на количестве и качестве распределялись по карманам офицеров. Происходил форменный дележ. По вечерам у Блажиевского шла крупная игра. Все это, конечно, не могло остаться незамеченным. Пошли доносы, и атмосфера стала очень напряженной и опасной. Совершенно неожиданно я получил срочное предписание явиться в штаб корпуса. Вызов произвел большое впечатление в транспорте. Блажиевский имел со мною объяснение, догадываясь о цели моего вызова. Я сказал ему совершенно откровенно, что, как адъютант строевой части, не принимал решительно никакого участия в денежных делах и оборотах, за все время не подписал ни одной хозяйственной бумаги, а потому совершенно не осведомлен в этих делах, что и скажу в штабе, если меня спросят. Блажиевский успокоился, видимо, и начал меня бла-

годарить, на что я довольно сухо ему заметил, что иначе я и поступить не могу, так как действительно ничего не знаю, а разным слухам, покуда таковые не будут проверены, значения, конечно, придавать не могу.

На другой день я уехал в штаб корпуса. Меня провели к адъютанту командира корпуса ротмистру Папалазарю. Я давно знал Н. К. Папалазаря. Мы встречались в Одесском беговом обществе: он был весьма известным на юге спортсменом, имел скаковую конюшню. Он был женат на херсонской помещице, семью которой я хорошо знал. В разговоре он сразу «взял быка за рога». Он сказал, что командир корпуса генерал Мылов очень встревожен циркулирующими слухами и, зная, что мое имя не запятнано, просит меня откровенно сказать: правда ли, что в транспорте большие хищения и замешаны все офицеры? Затем Папалазарь добавил, что его положение очень трудное и неприятное, так как с Блажиевским он однополчанин, знает и других офицеров, своих однодивизников. На это я заметил Папалазарю, что и мое положение не легче, так как в данное время эти офицеры – мои однополчане, а засим просил доложить генералу Мылову, что, будучи адъютантом, веду строевую часть и решительно ничего по поводу хозяйственных и денежных оборотов не знаю. Меня пригласили к обеду и больше ни о чем не спрашивали. Мылов был любезен, но имел усталый и осунувшийся вид: его тревожили дела на фронте и конечный исход войны.

Прошло не более десяти дней, как совершенно неожиданно к нам в транспорт прибыл командир бригады генерал Воронов, опечатал денежный ящик и приступил к ревизии. Меня ревизия совершенно не касалась, и я остался в стороне. Были раскрыты крупнейшие злоупотребления, Блажиевский отстранен от должности, и, кроме меня, все попали под суд. Вскоре прибыл новый командир транспорта – пехотинец, подполковник лейб-гвардии Волынского полка Гвайта и принял дела и нашу часть. Офицеров судили после расформирования транспорта, в то время я уже был в России. Кажется, все были оправданы, но ушли с военной службы. Еще через несколько лет я встретил в Петербурге, на знаменитом скетинге на Марсовом поле, Блажиевского; он был с молодой дамой, своей второй женой. Я был крайне поражен, узнав, что он член Государственной Думы, куда прошел от Херсонской или Бессарабской губерний.

Я забежал несколько вперед, рассказав эту печальную историю, тогда как ранее следовало рассказать об отступлении от Мукдена, которое наша часть сделала еще под командой Блажиевского и которое навсегда останется у меня в памяти. Это был такой кошмар, что забыть невозможно, и хотя с тех пор прошло двадцать долгих лет, но и сейчас я содрогаюсь при одной мысли, что все это было и могло быть.

Надо отдать должное Блажиевскому: он был храбрый офицер. Большое сражение под Мукденом мы проиграли, и войска спешно отступали на Харбин. Нам было отдано распоряжение стоять севернее Мукдена, у старого, давно заброшенного кладбища. Мы простояли там не менее двух дней. Мимо нас день и ночь непрерывной цепью шли обозы и имущество армии, и это заставляло людей нервничать и роптать: всем хотелось присоединиться к отступавшим обозам. Пошли глухие, зловещие слухи, что Блажиевский хочет предать часть и передать ее со всем имуществом в руки японцев. Оценивая положение трезво, я не находил его очень опасным, но, принимая во внимание беспокойство, охватившее, к вящему стыду, некоторых офицеров, посоветовал Блажиевскому построить часть и пристыдить трусов. Часть была выстроена, и Блажиевский, подкавав на полном карьере (он был превосходный ездок) к части, лихо поздоровался и громовым голосом сказал приблизительно следующее: «Ребята, трусы и малодушные хотят отступить, их смущают идущие на север обозы. По-

мните, что вы не обоз, а транспорт; что каждую минуту вас потребуют ваши братья на позицию и вы повезете продовольствие и снаряды и возьмете оттуда раненых. Да здравствует восьмой армейский корпус! Ура!» Громовое «ура» прокатилось по рядам, и Блажиевский отдал солдатам распоряжение расходиться по взводам и ждать. В эту минуту он был хорош!

Шум и грохот орудий, особый гул в воздухе, который незнаком тому, кто не принимал участия в бое или же не был в сфере огня, ружейные выстрелы, суматоха в тылу – все это сначала было далеко от нас, но теперь быстро приближалось. Было ясно, что японцы напирают, а мы отступаем по всей линии, покидая свои позиции. Обозы давно уже прошли, и людьми вновь начала овладевать паника. Было жутко, снаряды начали ложиться совсем недалеко от нас. В это время по шоссе карьером в коляске промчался какой-то генерал, окруженный взводом казаков. Положение было серьезное, и надо было скорее отступить, иначе мы могли бы нашими повозками заградить путь регулярным частям, отступление которых шло полным ходом. А приказа из штаба корпуса не поступало. Тогда Блажиевский собрал совет офицеров, и все высказались за немедленное отступление. В это время к нам подъехал полковник генерального штаба, или «момент», как их называли в армии, окруженный полевыми жандармами, и как бешеный набросился на Блажиевского: «Чего вы тут стоите, почему давно не отступили? Хотите через час попасть в плен?! Немедленно отступить!» Блажиевский отдал приказ запрягать, и люди бросились к конюшням. Работа закипела, и буквально через пятнадцать минут все было готово к отступлению. Блажиевский и возле него я как адъютант еще стояли с полковником генерального штаба и тихо разговаривали. Он сообщил нам, что сражение проиграно, войска уже отступили в разных направлениях и что о нас, очевидно, забыли и теперь считают, что мы попали в плен. В данный момент шел последний арьергардный бой, а наш корпус был уже далеко на севере, не менее как в двух переходах от нас. После этого грустного сообщения полковник спросил фамилию Блажиевского, сказав, что доложит о нем главнокомандующему, и, пожелав нам счастливо выбраться из этой каши, тронул лошадь и на рысях двинулся на север.

Блажиевский в сопровождении адъютанта и трубача спокойно, шагом двинулся вперед, отдав команду следовать за ним. Все были настолько наэлектризованы и так стремились вперед, что Блажиевский и я опасались, что нервы не выдержат и вся толпа повозок ринется вперед, сначала рысью, затем карьером, а затем все перемешается, сгрудится, свалится и в конечном итоге погибнет. Снаряды начали ложиться по сторонам, и Блажиевский, ехавший рядом со мной, беспокойными глазами спрашивал меня: ну как, выедем или нет, выдержат ли люди? Он приподнимался на стремянах и во весь голос кричал: «Первый взвод, не налезать!» Этот человек был прирожденный военачальник и замечательно владел собой. Тревога передалась и лошадям, они плясали и подымались на дыбы, просясь вперед, едва сдерживаемые солдатами. Мы двигались шагом всего лишь минут пятнадцать, но каких томительных! Каждую секунду все могло обратиться в бегство, превратиться в бесформенную кашу и погибнуть. Спокойствие Блажиевского спасло транспорт. Когда люди немного овладели собой, он поднял высоко шашку, дав сигнал к вниманию, и тронул свою лошадь рысью. Казалось, что вздох облегчения вырвался у всех, и тысячная громада стройно и плавно тронулась на рысях вперед. Еще минут через десять, убедившись, что транспорт отступает в порядке, Блажиевский прищипнул коня и пошел на полных рысях. Мы не отставали от него. Не прошло и двух часов, как мы были вне сферы огня. Блажиевский и я боялись лишь попасть на какую-нибудь обходную кавалерийскую японскую колонну, которые уже на-

чали появляться впереди наших отступавших частей. Этого, к счастью, не случилось. К вечеру того же дня погода резко изменилась: задул холодный северный ветер, густые, темные облака поплыли по небесам, затем совсем стемнело и ветер превратился в ураган. Когда весь воздух затемнило тучами, целыми столбами пыли, которая забиралась в рот, глаза и уши, лезла за воротник и не давала возможности дышать, отступление превратилось в невыразимый ужас. Однако останавливаться было нельзя, и мы двигались, вернее, ползли вперед.

Эта адская погода продолжалась почти сутки, и казалось, что все боги Китая, все силы природы Поднебесной империи возмутились против нас, дерзких пришельцев и нарушителей спокойствия Маньчжурии, и с небывалой силой набросились на нас... Нам удалось благополучно преодолеть эту ужасную погоду, которой не нахожу достаточно яркого определения в русском языке, и на третий день мы наконец установили связь со штабом корпуса. Блажиевский получил за храбрость высокий орден, и получил его по заслугам; не были забыты и офицеры.

Расскажу попутно следующий эпизод, уже в России связавший нас с Дальним Востоком. Я упоминал, что когда мы стояли под Мукденом и мимо нас проходили обозы, то среди солдат пошел ропот об измене и предательстве. Русский человек необыкновенно падок на подобного рода выдумки и готов верить всяким небылицам, в особенности если они направлены против его начальников или же лиц, выше его стоящих на общественном поприще. Эта пагубная черта русского характера уже принесла и, конечно, еще принесет в будущем немало горя и несчастий самому же народу, и надо от всей души пожелать ему избавиться от нее... Уже более года я владел в Тульской губернии вновь купленным имением – селцом Прилепы. Раза три-четыре встречные пьяные мужики кричали мне: «Порт-Артур!» Сначала я не обращал на это внимания, но затем заинтересовался, памятуя пословицу «Что у трезвого на уме, у пьяного на языке». Кучер замялся и сначала отнекивался, но затем сказал: «Это вас, Яков Иванович, прозвали Порт-Артур, так как народ (причем ясно было, что и кучер разделяет это мнение) говорит, что вы были адъютантом генерала Стесселя и нажили с ним деньги в Порт-Артуре». Нечего и говорить, что я не только никогда не был в Порт-Артуре, но даже не был знаком с генералом Стесселем. Что же могло вызвать подобную логику? Очевидно, следующее: знали, что я был на войне, был на Дальнем Востоке, был адъютантом. Затем я купил совершенно разоренное имение и в первый же год стал отстраивать его быстро, «по-военному», как говорили мужики, бросив на это дело крупные деньги. Итак, деньги у меня были, и они решили, что деньги были украдены на войне. Имя Стесселя было сначала очень популярно в народе, ко мне же начали приезжать разные высокопоставленные лица. Крестьяне решили, что я очень важная фигура, и сделали вывод, что я был адъютантом у Стесселя. Вот как в прежнее время, да еще и теперь создавались и создаются легенды. Я рассказал здесь этот эпизод к тому, чтобы предостеречь читателя от веры в разные «народные» легенды: часто они не имеют под собой реальной почвы.

Вскоре после проигранного решительного сражения все почувствовали, что война тоже бесповоротно проиграна. Людьями овладели уныние и апатия, ничего не хотелось делать, и все помыслы были о мире и скорейшем возвращении в Россию. Генерала Куропаткина сменил на посту главнокомандующего генерал Линевиц, и я решил съездить в его ставку, чтобы там, в самом центре, узнать о планах на будущее, выяснить, предполагается ли продолжать войну. Я имел возможность сделать это, так как сын генерала Линевица, который служил при нем ординарецом, был моим хорошим знакомым. Он окончил Пажеский корпус в том же году, когда я – Николаевское кавалерийское училище. Я



был уверен, что молодой Линевиц посвятит меня во все, что было ему известно и не составляло тайну. Так и случилось. Линевиц рассказал мне, что война, вероятно, закончена; что, хотя его отец и настаивает перед государем императором на продолжении ее, на сцену уже вступил граф Витте и вскоре, вероятно, начнутся мирные переговоры. Линевиц просил меня не говорить об этом, и я дал ему слово молчать. Линевиц принял меня мило и сердечно, как старого товарища, стал вспоминать Петербург. Мы сидели и болтали вплоть до обеда. Перед обедом я собрался уходить, зная, что главнокомандующий обедает со своим штабом и, по этикету, мне неудобно было оставаться без приглашения. Однако все устроилось по-другому, и я удостоился чести быть приглашенным к обеду (очевидно, сын попросил отца, и один из адъютантов, если не ошибаюсь, граф Капнист, пригласил меня от имени главнокомандующего). Это была большая, исключительная честь, в особенности принимая во внимание мой корнетский чин, и ей я всецело был обязан тому, что оказался хорош с сыном генерала, а не тому, что был исправный офицер.

Я пошел в столовую вместе с адъютантом, а Линевиц прошел к отцу. Я сейчас же был представлен присутствующим здесь генералам, а таковых было, начиная с начальника штаба главнокомандующего и кончая дежурным генералом, человек 10–12; кроме того, присутствовало несколько высоких чинов, вероятно корпусных командиров или же командующих отдельными армиями. Мое появление среди этой военной знати вызвало недоумение, все с удивлением посматривали на две мои скромные корнетские звездочки. Вскоре вышел генерал Линевиц и поздоровался со всеми. Это был бравый старик с длинными усами и удивительно приятным лицом. Когда он говорил, то иногда по-стариковски шепелявил. Всю свою жизнь он провел, служа на окраинах, вдали от столиц и двора, а потому весь этот почет, эта громадная, казалось, прямо-таки неограниченная власть стесняли его. Во всяком случае, было ясно, что он ее не искал, что она пришла к нему. Генерал Линевиц был во всех отношениях достойный, порядочный и всеми уважаемый человек и храбрый воин. Я смотрел на него и сравнивал его фигуру, лицо и манеру говорить с сыновними. Младший Линевиц был поразительно красив и, воспитанный в Пажеском корпусе, совершенно светский человек. Отец в нем души не чаял. Во время обеда Линевиц спросил меня о моем заводе лошадей; как по мановению волшебной палочки, глаза всех генералов впелись в меня и весь генералитет затих, пока я отвечал. Очевидно, сын подсказал отцу тот вопрос. После обеда Линевиц сейчас же ушел, а ко мне стали подходить штабные генералы и любезничать; они думали, что я будущий адъютант и, как знакомый Линевица-сына, имею должное влияние в ставке.

Пишу эти строки и, вспоминая слова старика Линевица о «моем знаменитом заводе», думаю: если бы тогда, двадцать лет назад, их услышал какой-нибудь выдающийся коннозаводчик того времени, как бы он поднял меня на смех! Знаменитого завода у меня тогда, конечно, не было, я был начинающим коннозаводчиком, но военные круги в этих тонкостях не разбирались, а мой авторитет как писателя по вопросам коннозаводства стоял высоко, потому неудивительно, что мои товарищи искренне считали, что завод у меня знаменитый.

Через некоторое время стали говорить, и уже не на ухо, а во всеуслышание, о скором мире. Наконец перемирие было заключено, и граф Витте выехал в Портсмут. Я не стану здесь описывать скуку, царившую в ожидании демобилизации, и перейду к проекту, который в то время я подал главнокомандующему. В целях успешного проведения и популяризации проекта в штабе я передал проект секретарю скакового общества при ставке главнокомандующего. Старик Линевиц, подготовленный сыном, имел со мной по

этому поводу беседу и вполне сочувственно отнесся к моим предложениям.

Приведу наиболее существенную часть проекта: «Я полагаю, что теперь исключительно удобный момент для того, чтобы прийти на помощь Забайкальскому, Уссурийскому и Приамурскому казачеству в деле создания им полукровной лошади. Не следует терять времени, так как более благоприятный момент едва ли представится ранее 20-25 лет, а в этот промежуток времени казачество успеет создать не одну полукровную и в случае новой войны будет сидеть на таких же лошадях, что и кавалерия всего мира.

Как и чем прийти на помощь казачеству в столь важном для него начинании? Надо улучшить казачью лошадь, с каковою целью, во-первых, приобрести чистокровных и полукровных высокой степени кровности производителей и послать их в Уссурийский, Приамурский и Забайкальский края; во-вторых, лучших по экспертеру кобыл, находящихся ныне в Маньчжурии, передать казачеству.

Мне кажется, что передача лучших кобыл казачеству не может встретить никакого затруднения, ибо лошадей можно выбрать из числа обозных, транспортных, полковых и пр.

Необходимо заметить, что если кобылы будут объявлены в продажу в Маньчжурии, то японцы, вне всякого сомнения, воспользуются этим и, приобретая их через посредство своих агентов, создадут у себя на родине хорошую полукровную лошадь. Мы знаем, что японцы имеют ряд прекрасных производителей, приобретенных в России, Франции, Америке и Австралии. Я вспоминаю приезд в Россию японской коннозаводской комиссии года за два до объявления войны, то радушие, с которым коннозаводчики их принимали и показывали своих лошадей, и знаю их правильный взгляд на верховую лошадь. На основании этого и утверждаю, что кобыл продавать здесь нельзя, ибо они будут куплены японцами, а надо их передать казачеству и сделать на Востоке то, к чему упорно стремились последние годы японцы, то есть создать конницу, сидящую на полукровной лошади».

Далее в проекте я касался сложного вопроса приобретения производителей. Из приведенной выдержки видно, что я предлагал бесплатно передать лучших кобыл казачеству и тем положить прочное основание полукровному коннозаводству на нашем Дальнем Востоке. Следует заметить, что мой проект был крайне сочувственно встречен в России. В № 7 журнала «Коннозаводство и коноводство» за 1905–1906 годы он был напечатан и ему была посвящена передовая статья.

Полностью осуществить проект – передать 22 150 лошадей – сразу не удалось, но уже через несколько дней, а именно 12 октября, главнокомандующий принял депутацию от Уссурийского казачества, которая благодарила его за уступку 1000 лошадей.

Я продолжал работу над уточнением проекта, и вскоре Линевиц сделал представление в Петербург. В середине октября было получено разрешение из столицы, и старания мои увенчались полным и блестящим успехом. В моем архиве сохранился тот исторический приказ.

**Приказ главнокомандующего  
всеми сухопутными и морскими вооруженными силами,  
действующими против Японии.  
17 октября 1905 год. Ст. Годзядань. № 2267.**

Зная близко нужды казаков и крестьян Забайкальской, Приморской и Амурской областей и принимая во внимание, что из названных областей были взяты для нужд войск во время мобилизации и после таковой в течение войны почти все лошади, и цена доблестную службу ка-

заков и крестьян, ставших почти поголовно на защиту края, я ходатайствовал перед Его Императорским Величеством дозволить из лошадей, оставшихся за штатом после демобилизации и подлежащих продаже с аукциона, отделить для казаков и крестьян названных областей 22 500 лошадей, с тем чтобы лошади эти были от имени Его Императорского Величества переданы в дар, безвозмездно, беднейшим казакам и крестьянам. На мою всеподданнейшую просьбу военный министр телеграммой от 4 сего октября за № 44966 сообщил, что Государь Император Высочайше повелеть соизволил, чтобы из числа лошадей, остающихся за штатом после демобилизации маньчжурских армий и подлежащих продаже с аукциона, были отделены по моему усмотрению для казаков и крестьян Забайкальской области 10 000, Приморской – 8000, Амурской – 3000 и острова Сахалин – 1500, и всего 22 500 лошадей, главным образом кобылиц и лучших жеребцов, с тем чтобы лошади эти были от имени Его Императорского Величества переданы в дар, безвозмездно, беднейшим казакам и крестьянам. Счастлив объявить о столь щедром подарке Государя Императора беднейшим казакам и крестьянам вышеуказанных областей. Для исполнения высочайшей воли предписываю...»



*Раненый товарищ. «Журнал спорта», 05.12.1904 г.*

Далее следовали девять пунктов, которые касались подробностей передачи, которые я опускаю, как не имеющие широкого интереса. Засим подпись: главнокомандующий генерал-адъютант Линевиц.

Когда был объявлен этот знаменитый приказ, я в корреспонденции из действующей армии, озаглавленной «Лошагоу» и напечатанной в № 19 журнала «Коннозаводство и коневодство» за 1905–1906 годы, выяснял все значение этой меры и развизвал вторую, так сказать, европейскую часть проекта, то есть обращался уже к Главному управлению государственного коннозаводства и говорил, что теперь очередь за Петербургом, доказывал, что необходима посылка инструкторов, затем культурных жеребцов. Главное управление осталось глухо и слепо, ограничившись перепиской с начальством окраин по данному вопросу да посылкой нескольких десятков жеребцов государственных конных заводов.

После осуществления проекта, демобилизовавшись с сознанием исполненного долга, я покинул Маньчжурию и выехал в Россию.

Обратный путь в Россию прошел скорее, так как я ехал не эшелоном, а в пассажирском поезде. Декабрьское восстание рабочих в Москве оказалось подавлено, но в глубине, в провинциальной России, все устои были потрясены до основания. Казалось, что монархия не выдержит и вот-вот рухнет. Особенно остро переживались эти события в Сибири, там во время моего пути революция была ключом. Вокзалы, особенно в больших городах, служили агитационными пунктами, собиравшими к приходу поездов громадные толпы народа. В поездах была давка; офицеры, которых было много, чувствовали себя неважно. Злобные взгляды пассажиров, крики, невероятный дым от курения, грязь в вагоне. Споры часто превращались в брань. Однажды на моих глазах озлобленные и выведенные из себя офицеры выбросили на полном ходу из поезда какого-то интеллигента, который самыми отборными словами ругал, оскорблял армию. К счастью, это прошло незамеченным, иначе бы нас разорвала толпа на первой же станции. Об удобствах в вагоне думать не приходилось, но мы все были и тому рады, что достаточно быстро продвигаемся вперед. Станции превратились в Содом и Гоморру! Протолкнуться на перроне не было никакой возможности; чтобы подкрепить силы, нужно было ждать ночной остановки на большой станции. А на станциях шли митинги. Лица возбужденные, глаза злые и помешанные – эти люди напоминали зверей. Неизвестно откуда, из каких нор и щелей повывезали совершенно невероятные физиономии, каторжники, преступники, которых так много было в Сибири. Почти у всех в руках – «литература», то есть листки, прокламации и тучи юмористических журналов, которые еще больше разжигали страсти. Их читали запоем, вырывали друг у друга, и это была гнусная, отвратительная картина: страницы журналов, залитые красной краской, ругали, издевались, высмеивали царя, дворянство, духовенство. Самые невероятные по цинизму и подлости карикатуры во множестве украшали эти издания. Кто-то хорошо знал, что делает, и, наводняя подобной литературой Россию, отравлял массы и подстрекал их к убийствам, беспорядкам и бунту.

Мне особенно памятна Чита, так прославившаяся потом революционными эксцессами. Наш поезд подходил к станции ночью, издали было видно яркое зарево пожарища. Жуткую картину усугубляли непрерывные гудки паровозов. Шум гудков принижывал воздух и производил тревожное впечатление. Если бы я не почувствовал этого сам, то никогда бы не поверил, что гудки могут так действовать на нервы и так волновать человека. Вокзальная толпа была особенно возбуждена, яблоку негде было упасть; из вагона никто и не помышлял выходить, и двери везде были заперты. Поезд шел настолько переполненным, что больше не мог принять буквально ни одного пассажира. От толпы отделились несколько хулиганов, взявшиеся ломать двери. Видимо, это занятие понравилось толпе, началась осада поезда, раздались крики «Смерть офицерам!», в окна полетели камни. Мы все были вооружены и готовились дорого продать свою жизнь. Но в это время поезд под гам, свист и вой толпы двинулся в путь. Наверное, немногие из нас остались бы в живых. Находчивости начальника станции мы обязаны своим спасением. За Читой было спокойнее. Чем ближе к центру, тем больше наблюдалось порядка. Входившие пассажиры в страхе только и говорили, что о революции, ее ужасах. Мы их успокаивали и сообщали: здесь просто рай по сравнению с местами, из которых мы едем.





## В МОСКВЕ

На станциях за Волгой стали появляться жандармы и военные, хотя атмосфера все еще была очень напряженной. Власть чувствовала свою неустойчивость, что отражалось и на ее агентах.

Москва, куда я приехал, напоминала военный лагерь, так много было всюду солдат и офицеров. На лицах прохожих – тревожное выражение, зато разные подозрительные физиономии держали себя подчас грубо и вызывающе. Таких было немало на улицах Москвы, но чистка города уже началась, и столица постепенно принимала нормальный вид.

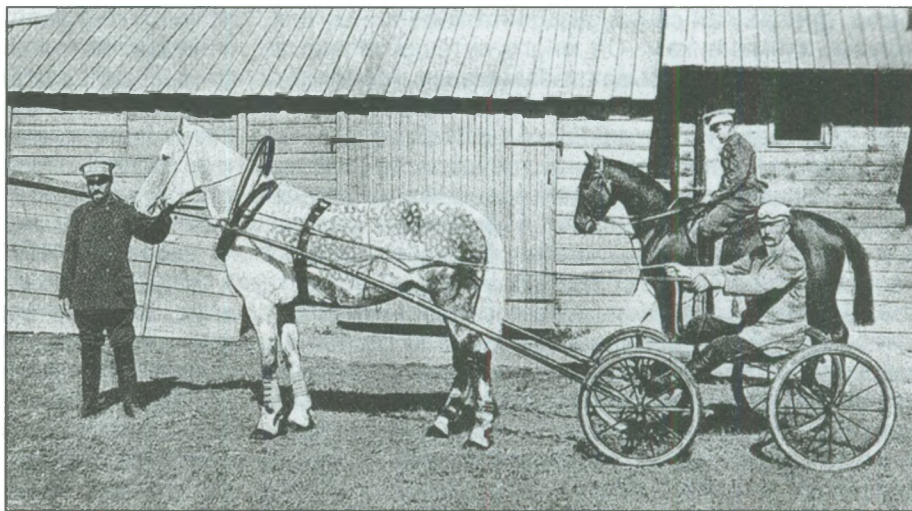
В одно из воскресений я поехал смотреть бега на Ходынку. После годового пребывания в Маньчжурии так приятно было сесть в эти маленькие щегольские сани и лететь на рысаке по Тверской мимо Страстного монастыря, других знакомых и таких милых зданий. Помню, стоял солнечный и морозный день. Яркое солнце, быстрая езда и смена впечатлений – все это приятно возбуждало нервы и радовало; казалось, что прожитый год, увиденные в пути ужасы – лишь тяжелый сон и что в действительности этого никогда не было, что все происшедшее где-то там, далеко-далеко в Сибири, а здесь ничего подобного никогда не может быть... Однако уже через несколько минут я вновь почувствовал дыхание революции и понял, что еще далеко не все кончено и что много еще предстоит тревог и волнений... Подъезжая к Александровскому вокзалу, лихач перевел рысака на шаг, так как в то время виадук еще не был построен и приходилось проезжать под мостом или в стороне по железнодорожным путям, и, обернувшись ко мне, стал что-то рассказывать про свою лошадь, нахваливая ее резвость и силу бега. Я наклонился в левую сторону, чтобы лучше рассмотреть рысака, и в этот миг передо мной выросла как из-под земли отвратительная фигура с озлобленными глазами и, изрыгая проклятия, осыпала меня отборной бранью. Я инстинктивно схватился за шашку, но она была под пальто, а лихач тронул рысака и помчался во весь дух. Обернувшись ко мне, он добродушно улыбнулся и сказал: «Не обращайтесь на него внимания, ваше сиятельство (прежняя привычка московских лихачей так именовать седоков из «благородных»), их теперь вылавливают». Боясь, что я велю ему вернуться, он добавил наставительно: «Теперь его все равно уже не найдем». Очевидно, извозчик боялся терять время, оказавшись в участке. Пришлось подчиниться его мудрому решению.

На бегах царил оживление, и так приятно было видеть красивый бег рысачков, оживленную толпу, приятные лица, несколько не напоминающие зверских физиономий бушевавшей провинции, и, наконец, милых знакомых, с которыми не виделся столько времени и о которых столько думал на далекой окраине. День был праздничный; по традиции, разыгрывался один из именных призов.

В большой членской ложе собрались все знаменитые охотники того времени. Тут были и Малютин, и Коноплин, и Коншин и многие другие. Коноплин своим певучим голосом, слегка присюсюкивая, приветствовал меня и, прихрамывая на левую ногу, направился мне навстречу. Все другие, прервав беседу, посмотрели на меня, а тем временем Коноплин представил меня Малютину и остальным, с кем я еще не был знаком. Малютин произвел на меня большое впечатление, ведь это был знаменитейший коннозаводчик, владелец лучших по резвости и формам орловских рысаков. Я знал, конечно, наизусть весь состав малютинского завода и с особым чувством пожал протянутую мне руку. Малютин был среднего роста, с удивительно приятным, очень барским, тургеневского типа лицом; бел как лунь; говорил он медленно, немного заикаясь. На бегах он бывал редко, и все относились к нему с особенным почтением и предупредительностью. Коноплин – красивый мужчина средних лет, типичный великорус с голубыми глазами, светлыми волосами, рано пополневший, с медленными, ленивыми движениями; воспитанный человек, с которым было приятно говорить и иметь дело. В противовес Малютину он был ярким метизатором, обладал первоклассной конюшней и таким же заводом орловско-американских лошадей. Коншин и Малютин были представителями богатого московского купечества. Но Малютин по образу жизни, воспитанию и убеждениям был чистейшей воды барин. Прошло уже более двадцати лет, как он оставил торговлю, продав паи своей знаменитой фабрики, или, как тогда говорили, мануфактуры, племянникам. Он много путешествовал за границей, летом жил в своем курском имении Быках и занимался исключительно коннозаводской деятельностью. Коншин же, наоборот, был директором своей фабрики, вел крупные торговые дела и постоянно жил в Москве. Это был тип купца воспитанного, с уважением относящегося к государственной власти и господствующему сословию. В лице Коншина и ему подобных мы имели дело с купечеством еще прежнего закала, которое, наживая громадные состояния, двигало промышленность и торговлю и, обогащая себя, обогащало государство. Революция 1905 года и последующее время сбили с панталыку многих таких купцов, а вернее, их сынков. Возомнив себя великими государственными людьми, они жертвовали на освободительное движение, основывали газеты и журналы тенденциозного направления, стремились в Думу, но не для работы, а с мечтой о перевороте и министерских портфелях. Результат их стремлений и чаяний всем известен: вторая революция, купеческое министерство, паскудная трусость, глупость и близорукость этих «великих» государственных мужей с Ильинки, Петровки и Маросейки... Увы, поздно открылись у интеллигенции глаза на сущность всех этих Гучковых, Рябушинских, Третьяковых и tutti quanti. В результате – развитие революции до победного конца, потеря этими великими умниками всех своих капиталов, фабрик и заводов.

Вернемся, однако, к Н. М. Коноплину, о котором я не раз еще буду говорить на страницах этого дневника. Это был обворожительно милый и любезный человек, не лишенный, впрочем, хитрости. Коноплин принадлежал к дворянству Тамбовской губернии; отец его умер, когда он был ребенком. По достижении совершеннолетия он получил во владение миллионный капитал и громадное имение (свыше 10 000 десятин земли) в Тамбовской губернии. Как страстный охотник, он сейчас же завел призовую конюшню и имел с ней исключительный успех. Почти тридцать лет Коноплин был первым призовым охотником в Москве, а стало быть, и во всей России. Позднее он завел конный завод. Потерпев полное фиаско при разведении орловской лошади, перешел на метизацию, поправил дела, вывел двух рекордистов. С большим торжеством Коноплин отпраздновал 25-летие своей деятельности и через несколько лет ушел на по-

кой, распродав в самый короткий срок и весь завод, и всю конюшню, и даже знаменитую дачу на Башиловке, где он прожил свыше двадцати лет. Его решение всех как громом поразило, никто не ожидал, что Коноплин может уйти от любимого дела. Официальным поводом прекращения охоты были выставлены болезнь и категорическое запрещение докторов волноваться, а стало быть, и заниматься охотой, так как последняя без волнения, конечно, невозможна. Коноплин в каких-нибудь два месяца все распродав, затем уехал за границу лечиться, а лето проводил в рязанском имении, где устроил большую доходную молочную ферму. Он совершенно отошел от бегового дела. Когда позднее его просили вернуться, чтобы занять крупнейший выборный пост в обществе, он отказался. В то время я был очень хорош с Коноплиным и один знал истинную причину столь быстрой и решительной коннозаводской ликвидации. Коноплин просил меня помочь распродать завод, что мы совместно и выполнили. Лучших 10 кобыл купил я вместе с А. С. Хомяковым за рекордную сумму – 75 тысяч рублей. Об этой продаже-покупке говорила вся Москва! Остальных 10–12 кобыл расхватали у Коноплина в три дня. Почти так же быстро была распродана и призовая конюшня, а дачу на Башиловке купила известная пензенская коннозаводчица Н. Н. Устинова. Коноплин мне по душе сказал, почему он решил сразу разорвать гордиев узел и навсегда уйти с бега.



*Николай Михайлович Коноплин в начале спортивной деятельности.  
Журнал «Русский спорт», 14.03.1910 г.*

Хотя здоровье его действительно было слабо, но «ослабел» также и его карман. Он, конечно, был еще богат, но средств, необходимых, чтобы первенствовать, уже не доставало. Он не захотел постепенно сходить на нет и предпочел быструю ликвидацию в момент успеха и славы завода. Поступил Коноплин чрезвычайно дальновидно и умно, так как выручил очень крупные деньги и ушел с поля битвы, увенчанный лаврами победителя и с именем первого русского охотника, которого все ценили и которому многие подражали. К сожалению, представители русского дворянства не всегда умели так красиво уходить с арены своей деятельности, и в этом было несчастье всего нашего сословия.

Не могу здесь не сказать, насколько тонко разбирался Коноплин в лошадях, как верно он угадывал, точнее, распознавал шансы своих конкурентов, как умел

предвидеть будущее в конфиденциальной беседе. Далеко за полночь в его симпатичном особняке мы вели душевную беседу о том, как удачнее и безопаснее провести ликвидацию лошадей. Обсуждались малейшие детали, взвешивалось буквально все, что должно быть принято во внимание. В последний раз я попытался склонить Коноплина не уходить из спорта, не покидать ипподром, доказывал ему, что это временная с его стороны слабость, упадок духа и что его конюшня, и далее выигрывая 100–200 тысяч, сама себя окупит. Тогда Коноплин сказал мне буквально следующее: «Нет, Яков Иванович, вы недооцениваете завод Телегина. Сочетание Барона-Роджерса и Могучего – это такое сочетание, которое вскоре заполнит своими представителями (и какими представителями!) все столичные ипподромы и даст многих рекордистов. Если с самим Телегиным ничего не случится, помяните мои слова: он будущий монополист и через три-четыре года все крупные призы будут в его руках. Борьба с ним невозможна». Я знал: Коноплин ежегодно бывал в заводе Телегина и, конечно, учел класс и качество своего молодняка – потому я замолчал. Коноплин оказался прав: следующие 10–12 лет были сплошным триумфом этого знаменитого завода.

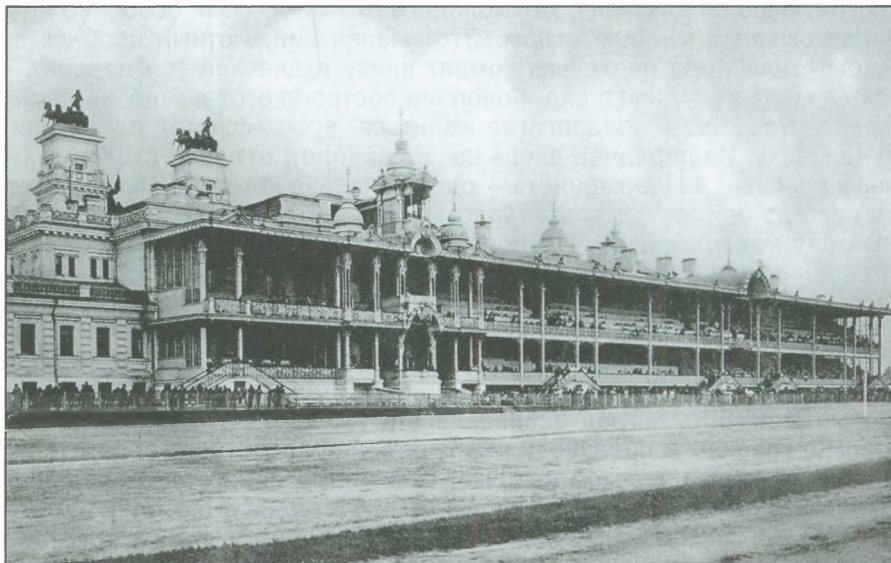
Как приятно было проводить время в увлекательной беседе с Коноплиным в его небольшом особняке на Башиловке! Сначала мы обыкновенно смотрели лошадей главной призовой конюшни – той самой, что была построена на деньги, выигранные знаменитой Ночкой 2-й, и уж затем переходили в остальные две. Порядок в конюшнях был образцовый, инвентарь богатейший, персонал, начиная с знаменитого Вильяши (В. Кейтон), как называл его Коноплин, не оставял желать ничего лучшего, и ценные замечания персонала на выводке коноплинских лошадей для меня, как молодого охотника, были особенно интересны. После выводки мы шли в дом. Этот маленький, уютный особняк в мавританском стиле имел несколько комнат внизу и две или три наверху, очень удобная веранда выходила в сад. Коноплин построил этот домик, когда был холостяком, и, так как не предполагал жениться, все рассчитал для жизни одинокого человека. Из передней дверь вела в кабинет, оттуда в столовую, рядом – спальня хозяина, возле кабинета – одна запасная комната. Наверху, в мезонине, я никогда не был. Зато как тепло, как уютно было в этом небольшом домике. В кабинете хозяина висели портреты его знаменитых рысаков кисти Грекова, Ворошилова и Семенского. К сожалению, Коноплин не являлся любителем или же знатоком живописи, у него не было ни одного сверчковского портрета, ни одного полотна сколько-нибудь знаменитого художника. Тут же в комнате стояли зеркальные шкафы, витрины, где лежали и висели золотые медали и жетоны, кубки, вазы, солонки и подношения – выигрыши призовой конюшни и псовой охоты. Стоимость наград оценивалась в 100 тысяч рублей. Витрины были удивительно красивы и производили впечатление на каждого посетителя, особенно нанизанные на золотой цепочке, осыпанные бриллиантами дербийские жетоны – заветная мечта каждого спортсмена. Их здесь было три или пять. Императорские кубки красовались на столах, рядом с альбомами в золотых, эмалевых и серебряных крышках. Среди призов было немало вещей как высокоценных, так и высокохудожественных. В этом отношении Коноплин был несомненный коллекционер: все ценное, что когда-либо выиграла или взяла на выставке его лошадь или собака, – все было сохранено и находилось здесь, в этой комнате. Нечего и говорить, что нигде и ни у кого в России не было подобной коллекции.

Помимо рысаков и знаменитой охоты Коноплин славился своим гостеприимством. Он любил поесть и держал превосходного повара. Я всегда любил хорошую кухню и умел ее ценить, а потому отдавал должное коноплинскому



стола. Однако я не мог оправдать пристрастия этого повара к сладким мясам (гребни петуха и т. п.) и находил стол Коноплина хотя и исключительно вкусным, но вместе с тем и тяжелым. Коноплинский повар был выучеником знаменитых московских поваров и удивительно делал пироги, вообще тесто, и хорошо жарил дичь, но соусы у него были густы и несколько пряны. Словом, это был типично московский повар старого закала, и после его вкуснейшего обеда хотя и чувствовалось полнейшее удовлетворение, но вместе с тем ощущалась тяжесть.

Раз уж заговорил о кулинарном искусстве, приведу здесь интереснейший рассказ Коноплина о том, как М. И. Бутович гениально и совершенно неожиданно для всех симпровизировал новый род закуски, сборный салат, впоследствии получивший название «салат Оливье» и широко вошедший в обиход русской кухни. По словам Коноплина, дело обстояло так. Однажды – это было в начале восьмидесятых годов – группа охотников во главе с вице-президентом общества А. В. Колюбакиным засиделась на бегах. Так как расходиться не хотелось, то за приятной беседой охотники незаметно провели время до первой ранней поездки. После поездок у всех разыгрался аппетит, так как со вчерашнего дня никто ничего не ел. Тут же было принято решение ехать в знаменитый ресторан, который держал Оливье. Кто-то из охотников заметил, что в такой ранний час в ресторане никого нет. Так и оказалось. Оливье принял гостей, но заявил, извиняясь, что сейчас на кухне решительно никого нет, все съедено, повара разошлись, провизию привезут нескоро и он ничего не может предложить дорогим гостям. Тогда М. И. Бутович, который сам был знамени-

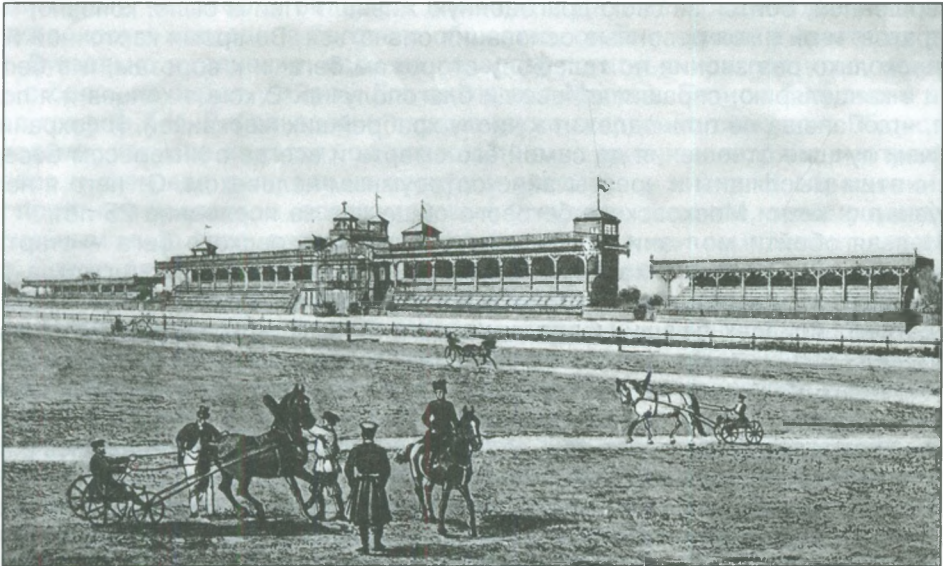


*Трибуны Московского императорского общества*

тым кулинаром и на своем веку проел не одно состояние, отправился на кухню, где убедился, что действительно, кроме остатков дичи и мяса, ничего не было. Тут-то и возникла у М. И. Бутовича гениальная мысль сделать из этих остатков салат, заправить его прованским маслом и в таком виде подать. Оливье принялся рьяно помогать Михаилу Ивановичу. И через какой-нибудь час новое блюдо было создано. Когда Михаил Иванович его подал, гром ап-

лодисментов приветствовал автора и его произведение. Блюдо оказалось действительно вкусным и всем понравилось. Оливье восхищался находчивостью М. И. Бутовича, сумевшего утилизировать остатки, которые в таком ресторане уже не шли в дело. Через несколько дней весть об этом происшествии и новом салате распространилась по Москве, и посетители ресторана стали из любопытства требовать новое блюдо. Оно так понравилось, что Оливье ввел его в карточку своих блюд и назвал, с согласия М. И. Бутовича, салатом Оливье. Нужно ли упоминать, что этот салат вот уже почти сорок лет – одна из любимых и популярных закусок в наших ресторанах.

Однако вернусь к рассказу о впечатлениях, полученных в беговой беседке. В большой ложе было шумно и оживленно, когда вошел плотный господин в меховом пальто с барашковым воротником, в военной фуражке артиллерийского ведомства. Это был Н. С. Пейч, одно время гандикапер бегового общества, затем старший член и наконец вице-президент, правда, лишь исполнявший обязанности такового и вновь уже не переизбранный. Все называли Пейча Папашей, он держал себя очень самостоятельно и с несколько напускной строгостью. Это был умнейший человек, превосходно владевший пером, хорошо знавший технику бегового дела. В обществе его многие не любили и почти все боялись его злого языка и острого пера. Ни о ком не распространялось столько гнусностей и глупостей, сколько о Пейче, и следует сказать, что многое было выдумкой и ложью. Пейч, несомненно, много сделал для Московского бегового общества, почему мы охотно прощаем ему его грехи, наряду с которыми он имел и большие достоинства.



*На летнем ипподроме, построенном в 1881 году  
по плану архитектора Д. Н. Чичагова*

Он вышел в запас в чине артиллерийского штабс-капитана, держал небольшую призовую конюшню, вернее, отдельных хороших лошадей, которых удачно перепродавал преимущественно начинающим охотникам, что, конечно, ставили ему в вину. По натуре он был довольно суровый человек. Большой лоб, угрюмое выражение умных глаз, смотревших из-под насупленных бровей. На

голове у него красовалось несколько шишек, и он тщательно прикрывал их волосами. Пейч был грозой всех наездников, мелких охотников и всего того люда без определенных занятий, который вертелся вокруг бега и норовил сорвать то, что плохо лежит. Голос Пейч имел громкий, на поездках он нередко распекал кого-нибудь чисто по-военному. Со стариком Пейчем у меня как-то сразу сложились хорошие отношения. В тот день он пригласил меня к себе на вечернюю игру в карты. Я охотно принял его приглашение.



*Николай Сергеевич Пейч*

В 9 часов вечера я подъехал к беговой аллее – Пейч жил в членских квартирах так называемого красного флигеля – и увидел, что ворота заперты и охраняются двумя сторожами. Несмотря на то что я сказал сторожам, к кому еду, меня пропустили не сразу, и только после того, как один из стражей сбегал позвонить Пейчу по телефону. Ворота распахнулись, и через каких-нибудь пять минут я был у Пейча. Помимо семьи я застал здесь П. В. Блохина, помощника стартера, и Н. В. Хрущова, одного из старейших коннозаводчиков. Я выразил удивление, что в Москве в такой ранний час принимаются такие предосторожности, на что Хрущов ответил, смеясь, что Папаша – страшный трус и, не считая революцию

завершенной, боится за свою драгоценную жизнь. У Пейча было, конечно, много врагов, и он имел резонные основания опасаться. Во время карточной игры он несколько раз звонил по телефону сторожам бега: и к воротам, и в беседку, и в канцелярию, спрашивая, все ли благополучно. В конце концов и я подумал, что Папаша не принадлежит к числу храбрейших москвичей. Я сохранил с Пейчем лучшие отношения до самой его смерти и всегда с интересом беседовал с этим мыслящим и чрезвычайно остроумным человеком. От него я немало узнал о жизни Московского бегового общества за последние 25 лет.

Нельзя обойти молчанием еще две фигуры московского бега – стартера Крыжановского и его помощника Петиона. Крыжановский служил когда-то в лейб-драгунах и всегда носил военную форму, в запас он ушел в чине корнета. На бег его привлек бывший вице-президент А. А. Конокончицкий, и сначала Крыжановский оказался вполне на своем месте: знал дело, был справедлив и пользовался полным доверием публики. Это был удивительно милый и выдержанный человек; к нему одинаково хорошо относились все партии и лица в беговом обществе, где он прослужил до самой своей смерти, удостоившись в конце концов избрания на пост вице-президента. В жизни Московского бегового общества, бушевавшей страстями и интригами, я не знаю примера, чтобы кто-либо еще пользовался такой любовью. Крыжановский владел небольшим имением, скорее хутором, в Полтавской губернии, куда уезжал осенью по окончании бегового сезона. Свой хуторок он так любил и лелеял, что часто и трогательно рассказывал о нем. Крыжановский происходил из военной семьи, и выправка у него была военная. Здоровьем он обладал железным, и я не помню, чтобы он, несмотря на то что любил выпить, пропустил беговой день или оказался болен. Такие люди не болеют, а умирают сразу. Так случилось и с Крыжановским: он заболел осенью и вскоре умер, оставив по себе добрую память честного и порядочного человека.

Помощник Крыжановского К. А. Петион был полной ему противоположнос-

тью. Потомок французских эмигрантов, бежавших от Великой французской революции в Россию, он был высокого роста, с тонкими и благородными чертами лица, удивительно хорошо сложен, имел благородную фигуру. Одевался Петион по последней моде и напоминал картинку модного журнала. Это был



*Лица администрации Московского бегового общества (слева направо): К. И. Платонов (казначей), А. П. Офросимов, В. К. Кондзеровский, П. С. Окопишников (вице-президент), Н. Н. Шнейдер, Д. Д. Левшин, барон М. И. Черкасов  
Журнал «Рысак и скакун», 22.05.1909 г.*

воспитанный человек и большой дипломат. Не имея решительно никаких средств, кроме жалования бегового общества, он был принят в свете как равный. Буквально ежедневно, если не вечером, то ночью или под утро, возвращаясь с бала, он бывал у «Яра». Его знала вся Москва. Петион был очень дружен с графом Г. И. Рибопьером и служил также стартером скакового общества. Лошадьми, как мне кажется, он совершенно не интересовался и смотрел на беговое и скаковое дело как на службу и средство к жизни. В обращении он был приятным человеком, всегда готовым услужить, впрочем, преимущественно сильным мира сего, всегда имел ласковое слово или комплимент для каждого. Такие люди умеют нравиться и обыкновенно хорошо устраиваются. Коноплин, двадцать лет имевший решительное влияние на все дела Московского бегового общества, часто повторял: «Карлуша – большой дипломат», намекая на то, что при всех вице-президентах, при всех сменах «кабинетов» Московского бегового общества К. А. Петион неизменно оставался на своем месте персоной грата.

Время бега было не только развлечением охотников и коннозаводчиков, но и деловой встречей, когда обсуждались будущие покупки и продажи, смены наездников, шансы производителей. Нередко тут же заключались крупные сделки. Помимо коннозаводчиков, охотников, барышников и лиц без определенных занятий, вертевшихся вокруг бега, в членской ложе бывало немало представителей артистического, финансового и торгового мира Москвы, а также аристократии и военных кругов. Все это смотрело на бега, в антрактах удалялось в залы, где играло, пило чай, закусывало за отдельными столиками, занималось между делом флиртом и обсуждением политических новостей. Словом, на бегах жизнь была ключом. Можно сказать, что туда, в особенности в последние годы до революции, съезжалась вся Москва. Надо отдать должное московскому бегу: порядок всегда был образцовый, дело налажено идеально, программа интересная, трибуны лучшие в мире и все вместе производило грандиозное впечатление.

Рано утром следующего после бегов дня я приехал на поездку. Около 10 часов ко мне подошел секретарь и от имени вице-президента пригласил меня к нему в беговую беседку на ранний завтрак. Около 11 часов я прошел в кабинет вице-президента. Вице-президентом тогда был П. С. Окопишников, первый на этом посту представитель московского купечества. До него почти семьдесят лет общество возглавляли известные коннозаводчики дворянского сословия. Окопишников был приятный человек, очень добрый и снисходительный. Высокого роста, с порядочным брюшком, уже седой, с крючковатым носом и довольно мягкими, несколько расплывчатыми чертами лица. Он владел хорошим состоянием, которое его отцы и деды нажили, торгуя с Азией. Окопишников принадлежал к типу купца-мецената, очень любил искусство и имел большое собрание картин, мебели и бронзы. Однако в его собрании было мало хороших вещей, а картинная галерея, распроданная после его смерти, пошла за гроши, так как картины оказались либо копиями, либо из числа неудачных работ известных художников. Конный завод, который Окопишников держал некоторое время, ничего путного не произвел; его призовая конюшня имела, конечно, некоторый успех, так как пополнялась лошадьми со стороны. Говорят, что он неважно вел и торговые дела, значительно расшатав свое состояние, чему, впрочем, не придавал значения, так как был одиноким холостым человеком. В то время, когда я его знал, Окопишников всецело посвятил себя служению обществу и, кажется, передал или продал свое торговое дело. Окопишников очень любили: он умел сглаживать противоречия, никогда не брал крайнюю линию и ни для кого из китов бегового общества не был опасен. Кроме того, он умел сплотить, хотя бы внешне, те разношерстные элементы, которые составляли общество; он устраивал обеды, мирил, объединял и, наконец, представлял московское купечество, которое к тому времени начинало играть все большую роль в Москве.

Когда я вошел в кабинет, там уже находилось несколько избранных охотников: Коноплин, который через Окопишникова, в сущности говоря, правил обществом, Телегин, Сонцов, Дараган и Щекин. Все это были имена, знаменитые воротилы бегового общества. Бесперывно входили служащие с докладом, отдавались различные распоряжения. Жизнь кипела, громадная машина Московского бегового общества шла полным ходом. В 11 часов началась записка, и мы все прошли в канцелярию. Окопишников вместе со старшими членами, казначеем и секретарем принимал записку. После мы вернулись в кабинет и прошли по винтовой лестнице вниз, где в личном распоряжении Окопишникова находились две комнаты: одна превращена была в большую столовую с камином, другая – в спальне, так как в иные беговые дни, чувствуя себя усталым, он не возвращался домой на Якиманку.

За столом царили веселье и шум, происходил обмен впечатлениями о последнем беге, велись бесконечные «лошадиные» разговоры, столь хорошо знакомые каждому охотнику, возникали споры. Горяч был Телегин, заседал Щекин – спор зашел об орловском рысаке и вреде метизации. Щекин, Сонцов, Дараган и я, ярые сторонники орловского рысака, нападали на метисов. Коноплин и Телегин защищали метизацию. Окопишников мало вмешивался в спор и, как хозяин, старался смягчить некоторые резкие выражения Телегина, который, вообще говоря, был груб и недостаточно воспитан. Щекин горячо, с пеной у рта ругал метисов и выводил метизаторов из себя. Это было время победоносного шествия первого поколения метисов, а потому споры шли яростные и никто никого не мог переубедить. Метизаторы, до того едва-едва сводившие концы с концами, пустив в заводы американских жеребцов и кобыл, получили резвых лошадей, которые легко били орловцев. За успехом пришли крупные выигры-

ши и, кроме того, сознание, что возврата нет, ибо чистота орловской крови уже утрачена. Это был своего рода шкурный вопрос, а потому беспристрастного мнения метизаторы попросту высказать не могли. Доставалось от них, отрицавших породу, и орловским лошадям, и самому Орлову. Орловцы, наоборот, отвергали метизацию, защищали Орлова и перевозносили нашего рысака. Щекин особенно горячился, ведь его Лески хорошо бежали и, если бы не метисы, выигрывали бы еще больше. Сонцов от злости не мог произнести ни одного слова и мычал, вращая глазами в сторону Телегина. Милейший и добрейший, но недалекий Дараган, владелец крупнейшего завода, рассказывал Окопишникову, что, делая подбор, он умеет так смешивать крови, что получается точь-в-точь маседуан – сравнение, понятное в устах Дарагана, старшины Английского клуба (по-видимому, оно ему очень нравилось). Коноплин мне подмигивал, но ядовито. Когда же Щекин произнес что-то о необходимости то ли установления, то ли усиления ограничений, то поднялся невообразимый шум, и мне показалось, что дело не обойдется без скандала. Но в это время раздался рык Пейча: «Что тут за безобразие в помещении вице-президента?» – и он важно, с неизменной сигарой в зубах вплыл в столовую. Это разрядило атмосферу, и бойцы, увещиваемые Окопишниковым, принялись за завтрак. Но через некоторое время спор о метизации возобновился, и на этот раз долго, нудно и непонятно говорил Сонцов. Переход Пейча на сторону орловцев взбесил не только Телегина, но и Коноплина. Коноплин знал, что у Пейча есть партия, голов 15–18, в общем собрании, так что он правильно учитывал опасность с этой стороны. Пейч говорил умно, красиво и хорошо – Коноплин возражал ему не менее удачно. Опять вмешался Щекин, Телегин возобновил резкости, Сонцов замычал, и спор разгорелся с новой силой. Здесь, в этой столовой, решалась, в сущности, судьба орловского рысака и того направления, которое примет в будущем русское коннозаводство. Вскоре должно было состояться собрание, к которому готовилась вся коннозаводская Россия. В повестке опять стоял вопрос об ограничении участия метисов лишь 50 процентами призов. В столовой вице-президента разыгрывалась прелюдия к генеральному сражению. Большинство владели орловцы, так как американских лошадей имели тогда немногие коннозаводчики. Когда спор немного затих, Пейч иронически заметил: «Мы тут решаем и спорим, а вот что скажет Главное управление государственного коннозаводства – не знаем». И он выразительно посмотрел на меня! Можно было подумать, что я, молодой офицер, представляю собой Главное управление – так внимательно и пристально все на меня смотрели и ждали, что я скажу. Впрочем, я был в дружеских отношениях с Ф. Н. Измайловым и пользовался благосклонным покровительством великого князя Дмитрия Константиновича. От великого князя, главного управляющего государственным коннозаводством, зависело, утвердить или нет то или иное решение общества, каким бы важным оно ни было. Измайлов, имевший в то время исключительное влияние на великого князя, должен был, конечно, сыграть немалую роль. Всем собравшимся известны были как мои статьи, так и то, что великий князь разделяет мою точку зрения. Иначе не скоро бы я попал в святая святых беговых дел и тайн Московского общества. Все участники завтрака, затянувшегося далеко за полдень, с видимым нетерпением ждали моего ответа. Я с полной откровенностью сказал, что, насколько мне известно, великий князь сочувственно относится к ограничению метисов и таковое постановление собрания, если оно последует, утверждает. Я знал об этом от Измайлова: он, проездом из Питера на юг, вызывал меня на Курский вокзал и говорил со мною об этом. Мне было поручено сделать подобное заявление в дипломатической форме и при удобном случае. Меня оно ни к чему не обязывало, а если бы его высказал Измайлов, то ме-

тизаторы, несомненно, заявили бы протест «давлению на членов общества». Зная же мою близость к Мраморному дворцу, все прекрасно поймут, каково будет решение главного управляющего. Расчет Измайлова был верен, все так и случилось, как предполагали он и великий князь.

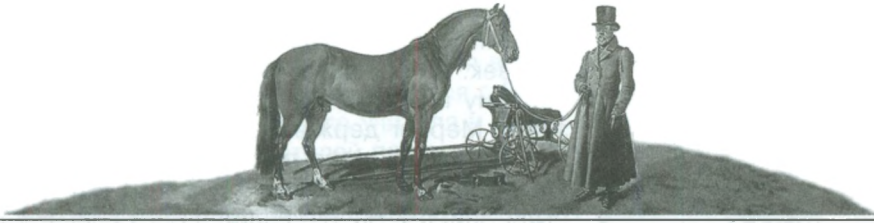
Телегин обрушился на меня со всей злобой невоспитанного и грубого человека; Коноплин поспешил спасти положение, ибо, как человек умный, прекрасно понимал, что сила на нашей стороне и что надо лавировать и ладить. На другой день Телегин был у меня с визитом в «Славянском базаре», а еще через день я смотрел его рысаков, которые тогда стояли на даче Расторгуева. Здесь я имел удовольствие познакомиться с Т. Н. Демидовой, впоследствии Телегиной.

Когда мы наконец разошлись с бурного завтрака, было уже темно; в город я возвращался с Коноплиным в его санях. Он любил править сам, правил мастерски и редко ездил с кучером. В пути он старался сгладить дурное впечатление, которое произвел на всех Телегин, объяснил, что его денежные дела в очень плохом состоянии и что необходимо относиться к нему снисходительно. Быть может, именно с этого вечера началась моя дружба с Коноплиным, которая затем непрерывно продолжалась столько лет.

Ближайшие после завтрака дни бег представлял собой муравейник: всюду собирались группами, пили чай компаниями, только и было речи, что о предстоящем собрании, бурном завтраке у вице-президента, о метизации. Щекин, прирожденный и самый талантливый агитатор, которого я когда-либо знал, без устали говорил. То же самое делали и другие. И метизаторы не спали, потребовав подкреплений у Санкт-Петербурга, откуда приехало несколько их влиятельных сторонников. Наконец Коноплин, хорошо знавший соотношение сил, сказал мне: «Поздравляю, на вашей стороне подавляющее большинство». В тот же вечер я послал об этом телеграмму в Дубровский завод.

Я никак не мог расстаться с гостеприимной Москвой и все откладывал и откладывал свой отъезд. Однако ехать было необходимо. Я уже имел случай упомянуть, что после смерти отца мой завод остался в Касперовке. По взаимному согласию наследников Касперовка перешла в собственность моего старшего брата Николая Ивановича, который не любил лошадей и был против моего занятия коннозаводством. Он предрекал мне неминуемое разорение и сожалел об этом. Вскоре брат женился на баронессе Вере Кондратьевне Мейендорф, и я счел неудобным и далее жить постоянно в Касперовке и держать там завод. Возник вопрос о переводе завода и покупке подходящего имения. Случай представился еще до моего отъезда на войну, и мною было куплено имение Шишкина Высокие Байраки в десяти верстах от города Елисаветграда. При имении был хороший манеж и конюшни. Отличные постройки и близость города прельстили меня, и я купил Высокие Байраки, переименовав их в Конский Хутор. Земли было всего 150 десятин. Так как я не любил хозяйство, то полагал вести завод на покупных кормах. Это было капитальной ошибкой, главным образом из-за нее я впоследствии продал Конский Хутор и купил Прилепы. Завод был переведен на Конский Хутор, когда я находился в Маньчжурии. Заводом тогда управлял Т. М. Алексеенко, добрый хохол, честнейший малый, но то, что называется «шляпа». Он окончил Дубровскую школу наездников и был рекомендован мне Ф. Н. Измайловым. Производство необходимого ремонта, денежные расходы и общее наблюдение взял на себя чиновник государственного банка в Елисаветграде М. Д. Яковлев.





## КОНСКИЙ ХУТОР. КИЕВ. СНОВА МОСКВА

Приехав на Конский Хутор, я стал устраивать дом, думал прочно обосноваться. Жизнь протекала однообразно, служащих было мало; кроме лошадей, – нескольких коров и немного птицы. Дни я проводил на конюшне или же в доме за чтением старых коннозаводских журналов. С наступлением лета ко мне приехали мать и сестра и провели у меня несколько месяцев. Часто гостил добрейший С. Г. Карузо, с которым мы продолжили наши коннозаводские беседы.

Знаменитый впоследствии белый жеребец Кот, выступавший на ипподромах юга России, был тогда еще годовиком, но Карузо его очень хвалил, удивляясь, что Недотрог мог дать такую замечательную лошадь. Карузо не только не любил, но и не признавал Недотрога: он находил его родословную недостаточно фешенебельной и, когда я предложил Карузо покрыть одну из его любимых кобыл, Брунгильду, Недотрогом, пришел в положительное негодование и объявил, что никогда этого не сделает, «ибо случка Брунгильды с Недотрогом была бы величайшим мезальянсом». Однако весной у Карузо не было свободных денег для посылки Брунгильды под одного из лучших производителей, и он решил покрыть любимую кобылу Недотрогом. От случки родился жеребчик, которого Карузо назвал Бреном. Брен оказался классной лошадей, резвейшей, вышедшей из завода Карузо.

Я частенько отлучался на бега в Одессу и Киев и посетил некоторые южные заводы. Свои общие впечатления об одесском обществе я уже изложил, скажу здесь несколько слов о Киеве. Киевское общество было значительно богаче одесского и дело поставило гораздо лучше. Вице-президентом состоял Н. К. фон Мекк, миллионер, коннозаводчик, известный железнодорожный деятель и инженер, председатель правления Московско-Казанской железной дороги. Фон Мекк не жил в Киеве, лишь изредка наезжал туда, а потому беговое дело вел старший член общества В. Ф. Меринг, также богатейший человек и большой любитель лошади, женатый на московской богачке Корзинкиной. Фон Мекк имел большие связи в Главном управлении, пользовался большим доверием великого князя, а потому был очень полезен для общества. В серьезные моменты Мекк всегда приезжал и сам руководил собранием. Именно он не допустил в общество «улицу», выхлопотал большой кредит, устроил хорошую беседу, имел значительные субсидии из Главного управления. Киевское общество было единственным, не допустившим к заездам метисов, там бегали только орловские рысаки. Это решение было принято общим собранием по настоянию фон Мекка и в свое время вызвало серьезное недовольство метизаторов и радость орловцев. Словом, Киевское беговое общество всем было обязано фон Мекку.





Н. К. фон Мекк

Всю текущую работу вел, как я уже сказал, Меринг. Это был очень приятный и воспитанный человек. Он вращался в высшем обществе Киева, поэтому киевские бега посещала вся городская знать. Меринг держал хорошую призовую конюшню, пополнявшуюся рысаками преимущественно завода А. К. Терещенко. Лучшими его лошадьми были Заира и Напев, ездил на его лошадях барон Энгельгардт. Ездок-любитель, он удачно вел конюшню Меринга и пользовался общей симпатией охотников. Энгельгардт плохо видел и ездил в очках; надо удивляться, как он мог справляться со своим делом, будучи настолько близоруким. Энгельгардт любил лошадей, пользовался большим влиянием в обществе, и не только через Меринга, но и лично. Когда Меринг ликвидировал свою охоту, барон, как звал его весь беговой Киев, поступил к полтавским коннозаводчикам братьям Горвицам – там его и застала Октябрьская революция.

Говорят, у Меринга было хорошее собрание картин, но я, к сожалению, его не видел, почему и не могу о нем судить.

Вторым старшим членом был П. Безбородко. У него не было призовой конюшни, и едва ли он являлся охотником до лошадей; полагаю, что он вел дела общества, не связанные с технической стороной. Гандикапером служил Н. И. Паншин, о котором я уже говорил, а старты из года в год делал приезжавший специально для этого из Петербурга А. А. Красовский. Я хорошо его знал, часто и много встречался с ним в Петербурге, когда был юнкером. Красовский принадлежал к дворянской фамилии Орловской губернии. В молодости у него были хорошие средства, но затем он все потерял. Некогда у Андрея Алексеевича был завод, который, несомненно, дал бы хороших лошадей, так как Красовский знал и очень любил это дело. Носились слухи, что в его разорении была виновата жена: будто бы Красовский застал ее в объятиях любовника, после чего велел заложить в дрожки своего любимого жеребца Закраса (он же Пьяница) и навсегда, без копейки денег в кармане, уехал из имения, как говорится, куда глаза глядят. Имение было уже обременено долгами, и без Красовского все в полгода пошло с молотка. О странствиях Красовского говорили очень много. Он ездил на призах и кормился выигрышами Закраса, переезжая с одного провинциального ипподрома на другой; служил у Стаховича; переменил несколько мест и очутился в Париже, где служил наездником; попал в Америку, вернулся в Россию. Здесь после долгих мытарств он устроился наконец на платное место в Санкт-Петербургском обществе. В это время я с ним и познакомился. К сожалению, получив место в Санкт-Петербурге, он стал ярым метизатором и часто выступал в печати против орловского рысака. Мне всегда казалось, что метизаторство – не настоящее его убеждение, а напускное, вернее, вынужденное, ведь Санкт-Петербургское беговое общество состояло сплошь из метизаторов. Именно оно было главной опорой, твердыней метизации. Разумеется, это общество не потерпело бы у себя на службе человека, который выступил бы против его коннозаводской политики. В печати нам с Красовским неоднократно приходилось сражаться, обмениваться едкими, а иногда и резкими статьями, но в жизни мы держались хороших отношений и старик меня очень любил. Я много раз запросто бывал в его более чем скромной квартирке где-то неподалеку от бега и, совсем молодым, еще юнкером, заслу-

шивался его рассказами. В особую заслугу Красовскому следует поставить то, что именно он приохотил и ввел на бег Р. Р. Правохенского, тогда еще студента. Первое время Правохенский находился всецело под его влиянием. Именно у Красовского я довольно близко сошелся с Р. Р. Правохенским. (Впоследствии ученик намного опередил своего учителя и занял видное место среди специалистов-животноводов и писателей по вопросам коннозаводства.) Роста Красовский был небольшого, одет всегда скромно и даже несколько неряшливо; у него была длинная белая библейская борода, всклокоченные волосы, глаза его беспокойно перебегали с одного предмета на другой. Говорил он очень быстро и страстно; писал лучше, чем говорил. В Киеве помощником Красовского был только что окончивший гимназию молодой человек, почти мальчик, которого решительно все звали Ваней. Я так и не узнал его фамилии. У Вани была феноменальная память, он помнил буквально всех призовых лошадей.

Таков был состав администрации. Из семьи Терещенко был в мое время лишь один настоящий охотник – Константин Семенович, имевший большое имение в Курской губернии. Самый бедный из всех Терещенко – состояние его равнялось трем или четырем миллионам. Он держал конный завод, основанный еще его отцом, С. А. Терещенко. У Константина Семеновича была призовая конюшня, лошади которой бежали исключительно на одесском и киевском ипподромах; наездником был Воронцов. Конюшня имела серьезный успех. Сам Терещенко не бывал на одесских бегах, но в Киев иногда наезжал. Это был скромный и приятный человек, нисколько не избалованный своим положением. О нем, о его заводе мы еще будем говорить.

Недурную призовую конюшню имели братья Горвицы, сыновья того Горвица, который нажил громадное состояние на поставках интендантству в турецкую кампанию. Всем известны имена трех поставщиков – Грегора, Горвица и Варшавского, вышедших из войны миллионерами. Как ни странно, ни один из молодых Горвицев не имел европейского типа внешности, все они походили на коренных малороссов. Братья Горвицы были «теплые ребята», их очень любили в киевском обществе. Широкие, щедрые натуры. Когда я познакомился с ними, они произвели на меня впечатление людей недалеких, с крайне ограниченным кругозором. Думаю, если бы папаша Горвиц встал из могилы, он не погладил бы их по головке, а пришел в ужас от того, как они тратят отцовские денежки.

Весьма яркой и чрезвычайно колоритной натурой на бегу был В. М. Сухотин, сын полтавского коннозаводчика М. Я. Сухотина, всю жизнь преклонявшегося только перед одной линией – линией шишкинского Бычка. Всеволод Михайлович блестяще окончил институт путей сообщения, но пренебрег открывавшейся перед ним великолепной карьерой и, все бросив, занялся лошадиным делом. Сначала он ездил в провинции, главным образом в Полтаве, Харькове и Кременчуге, затем перебрался в Москву, где ездил с хорошим успехом, и наконец вернулся в отцовское имение, принял в управление завод и сам тренировал рысаков. В этот последний период он ездил в Киеве весь беговой сезон исключительно на своих лошадях. Я знал Сухотина и по Москве, и по Киеву, но его харьковских и полтавских дебютов не видал, так как он был значительно старше меня, в то время я еще не бывал на бегах. Сухотин всегда носил высокие сапоги и малороссийскую рубаху, поверх которой надевал казакин тонкого черного сукна, отличавшийся от поддевки только тем, что застегивался посередине, а не сбоку и сзади и не имел ряда складок. На голове Сухотин носил шапку из серых мерлушек – и в этом costume действительно напоминал запорожца. Он был очень красив: черты лица тонкие, усы длинные, запорожские. Большой оригинал и в жизни, и в работе. Например, часто ездил на некованных лошадях (помню его резвого жеребца Смеха, который ходил

только некованым). Сухотин имел своеобразные взгляды на наше дело, применял свою систему тренировок и езды. Сухотин, исключительно приятный, воспитанный, действительно порядочный человек, был и спортсменом чистой воды. Генеалогию орловской рысистой породы он знал превосходно, но впоследствии, к сожалению, увлекся американской породой и стал ее изучать, оставив свои занятия генеалогией орловского рысака. Одну из своих весьма ценных работ по генеалогии американского рысака он поместил в «Рысаке и скакуне». Сухотин относился ко мне всегда хорошо, но сначала несколько покровительственно. Когда он жил в Москве на Башиловке со своей конюшней, где в то время лучшими лошадьми были знаменитые кобылы Ведьма и Панцирная, я часто его навещал и мы прекрасно проводили время. У Сухотина собирались охотники и обязательно бывали все южане: Феодосиевы, граф Стенбок-Фермор, Н. А. Афанасьев, Ползиковы, я и некоторые другие. Жена и домашние называли Сухотина «Владыко», и под этим прозвищем он был широко известен в спортивных кругах Москвы. Одно это прозвище указывает на сущность характера В. М. Сухотина. Но владычество его не было тиранией. Вечера, проведенные на даче у Сухотина, горячие споры о породе и отдельных лошадях навсегда останутся для меня одним из самых светлых и приятных воспоминаний далекого прошлого.

Известны были в Киеве и супруги Антоновы. Г-жа Антонова владела большим имением в Харьковской губернии, а ее муж, генерал, был военным судьей. В. В. Антонова держала небольшой, но весьма недурной конный завод. Позднее к лошадиному делу пристрастился и генерал. В Киеве Антоновы бывали весьма редко, но их призовая конюшня долгое время неизменно появлялась в Одессе и Киеве. Ездил на лошадях Антоновой известный на юге наездник Г. Кушныр, сын которого, Ефрем, впоследствии играл известную роль при Т. Н. Телегиной. У Антоновой перебивало немало хороших лошадей, ее конюшня была одной из лучших на юге России.

Еще трое охотников, завсегдадаев киевского бега – Гирня, Бойко и Котиков. П. И. Гирня, родной брат знаменитого С. И. Гирни, владельца Питомца, был киевским лихачом, а когда брат стал, благодаря Питомцу, знаменитостью, решил и сам попытать счастья беговым наездником. Ездоком он был бездарным, несмотря на то что брат помогал ему. Бойко тоже был киевским лихачом, пытавшимся на бегах счастье. Хитрый и умный хохол, недурной ездок, он довольно быстро сделал на этом деле состояние – я знал его уже домовладельцем и владельцем большой призовой конюшни. Котиков был человеком темного происхождения, никто не знал, чем он занимался раньше и откуда появился. Боевой ездок, он сам готовил своих рысаков и сам же ездил на призы. Лошади его были хороши, и он нередко пользовался успехом. Играл в тотализатор и находился у администрации на неважном счету. Котиков, вообще говоря, был большой нахал. Тем не менее его терпели и не преследовали, так как он любил лошадей. Лошади были страстью этого человека, впрочем, как и вино, и карты...

В Юго-Западном крае, столицей которого являлся Киев, всегда проживало немало поляков. Известно, что поляки не терпели ничего русского, а потому рысистым делом польская знать совершенно не занималась, но мелкие польские арендаторы и шляхтичи иногда появлялись на бегу. Имена их давно забыты, но вспомним и по особым причинам отметим одно имя. Я имею в виду А. Н. Чеховского, владевшего рысистым заводом в Киевской губернии. В то время, когда я стал бывать на киевских бегах, Чеховский их уже не посещал, так как разорился и вынужден был где-то служить. Насколько мне известно, А. Н. Чеховский был единственным поляком, имевшим рысистый завод и до-

бывшимся хороших результатов. Из 16 маток его завода 12 были куплены у Ф. А. Терещенко. Кобыл Чеховский купил в 1882 году, когда заводил свое дело, а завод Терещенко еще не прославился. Благодаря покупке кобыл знаменитого впоследствии завода Чеховский стал известным коннозаводчиком и в короткое время вывел таких замечательных лошадей, как Хладнокровный, Роскошная, две Бережливых, Старосветская. Как велика оказалась сила крови старых терещенских лошадей! Резвейшей и едва ли не лучшей лошадью завода Чеховского был, конечно же, Хладнокровный. В охотничьих кругах ходили слухи, что он сын Кокетки не от Щеголя, как показано было в аттестате, а от великого Бережливого. Сведения об этом проникли даже в печать. Будучи поклонником Бережливого, я, конечно, хотел добраться до истины и в первый же свой приезд на бега в Киев стал разыскивать Чеховского, хотя знал, что он уже давно ликвидировал свой завод. На бегах Чеховский уже не бывал, но мне достали его адрес, и на другой день я поехал к нему.

Чеховский жил в номерах какой-то гостиницы, занимая одну комнату; он поджидал меня, так как я обратился к нему предварительно с письменной просьбой принять меня по делу. Когда я вошел, навстречу мне поднялся старик с приятным, но несколько помятым лицом, в пиджаке светло-синего цвета, излюбленного в то время у одесситов и киевлян. Это был типичный поляк. Узнав, что я сын Ивана Ильича, он рассыпался в любезностях, сообщил, что хорошо знал отца, когда еще вел свои дела, встречаясь с ним на контрактах. Я просил его рассказать о заводе. Все, что он сообщил, не представляло особого интереса, видно было, что в этом деле он случайный человек. Одно меня тогда приятно поразило – отсутствие бахвальства и скромность Чеховского. Было ясно, что на его слова можно положиться. Тогда я прямо приступил к делу и спросил его: как должно относиться к слухам о том, что знаменитый Хладнокровный – не сын Щеголя, а сын Бережливого? Очевидно, вопрос был крайне неприятен старику Чеховскому. Он смущенно молчал, и я поспешил ему на помощь, сказав, что ошибки, конечно, всегда возможны и что теперь все это имеет чисто академический интерес, почему и следует сделать авторитетное разъяснение породы этой замечательной лошади. «Если вы дадите мне честное слово опубликовать мои слова только после моей смерти, я вам скажу правду». Я, конечно, дал слово. Тогда Чеховский рассказал, что он купил Кокетку у Терещенко весной 1882 года, когда она уже была случена с Бережливым. Я подумал и сказал: «Да иначе и быть не могло, и на этот раз пустая молва оказалась права. Но каким образом вы решились показать Хладнокровного от Щеголя, раз случка была сделана еще у Терещенко?» Чеховский ответил, что тогда не так следили за этим, на многое смотрели снисходительно и никому бы в голову не пришло наводить справки. Но когда Хладнокровный замечательно побегал, начались толки, так что ему пришлось сказать, что уже у него в заводе кобыла была перекрыта Щеголем.

Как историку породы и генеалогу, мне не раз пришлось иметь дело со всевозможными легендами о происхождении той или иной лошади, а потому я хотел иметь в руках документ о происхождении Хладнокровного, дабы в свое время опубликовать его и раз и навсегда рассеять сомнения. Я попросил Чеховского написать мне такое письмо, дав слово не предавать его гласности при жизни автора. Чеховский ответил, что подумает. На другой день он занес мне письмо. Потом мы долго сидели в знаменитом ресторане гостиницы «Гранд-Отель», где когда-то Чеховский истратил, по его словам, немало денег. На этот раз он был словоохотливее и рассказал много интересного о Ф. А. Терещенко. Разговор наш имел вполне доверительный характер, когда к нам подсел Г. Е. Лянгиа, владелец «Гранд-Отеля», у которого перебивало

немало терещенских рысаков со знаменитым Вулканом во главе, и нам поневоле пришлось перейти на общие темы. Я об этом сожалею и сейчас, так как думаю, что Чеховский хотел еще что-то мне сообщить.

Я сдержал слово, и никому, даже владельцу Хладнокровного Белякову, не сообщил о том, что мне сказал Чеховский. Год его смерти мне не был известен. Порвав связь с югом, я боялся, что преждевременно опубликую письмо. Затем наступила война, за ней революция – было уже не до породы Хладнокровного и опубликования этого важного документа. Следовало бы здесь привести и письмо, но я затрудняюсь его сейчас найти – оно хранится в числе нескольких тысяч писем, составивших за 25 лет мою переписку с коннозаводчиками и охотниками. Со временем, когда будет опубликована моя переписка, читатель найдет там и письмо Чеховского.

Через несколько дней после свидания с Чеховским я вернулся к себе в Конский Хутор, взял том заводской книги русских рысаков, внимательно изучил опись Чеховского, и мне стало ясно, что даже без заявления Чеховского нельзя было признать Хладнокровного сыном Щеголя. Вот по каким основаниям: завод основан Чеховским в 1882 году, что указано в заводской книге; Кокетка куплена тогда же, а в 1883-м она приплодила Хладнокровного от Щеголя. Далее: в 1883-м никакого приплода от Щеголя, кроме Хладнокровного, в заводе нет, в 1884-м и вовсе нет ни одного жеребенка от него. Приплод Щеголя начинается с 1885 года, значит, Щеголь поступил в завод после рождения Хладнокровного. Засим редактор книги должен был обратить внимание на то, почему из всех кобыл, купленных из завода Терещенко, лишь одна Кокетка дала приплод от Щеголя, другие же либо прохолостели, либо дали приплод от терещенских производителей. Ведь маловероятно, чтобы Чеховский перекрыл Щеголем одну Кокетку. Наконец, раз Кокетка состояла заводской маткой у Терещенко, редактор должен был запросить объяснений коннозаводчика: каким образом у кобылы появился приплод от жеребца Щеголя, не состоявшего производителем у Терещенко? Карузо никогда бы не пропустил незамеченными подобные противоречия. Тогда же я решил было написать заметку по данным описи Чеховского, но отказался – не хотел обижать старика, так мило ко мне отнесшегося, с такой сердечной простотой сказавшего правду.

Время шло, приближался день дерби. Надо было ехать в Москву, куда к этому дню стекалась вся коннозаводская и спортивная Россия. Из Конского Хутора я заехал в Дубровку, и вместе с Ф. Н. Измайловым мы отправились в Москву. В тот год, 1906-й, происходил особенно большой съезд: на дерби предстояло единоборство коноплинской Боярышни и Бюджета, о чем много говорили в спортивных кругах.

Мы с Федором Николаевичем приехали в Москву дня за четыре до дерби и тотчас же отправились на бег. Проездки уже закончились, но в беседке собралось много охотников, шли оживленные разговоры и толки о кандидатах на почетнейший приз. На стороне Боярышни, которую большинство считало фавориткой, было то преимущество, что на ней должен был ехать знаменитый В. Кейтон. На Бюджете выступал его владелец. Кобыла Коншина Прости была очень резва, но ее шансы уменьшал ездок А. Константинов. После обеда разнесся сенсационный слух, что у Боярышни поднялась температура. Приехал Коноплин, все устремились к нему, и он категорически опроверг пересуды.

Вечером в Башиловке по балконам и квартирам членов общества и наездников горели огни, допоздна шли бесконечные разговоры о лошадях. Днем в Башиловке, и в Верхней Масловке, и в Петровском парке можно было наблюдать по конюшням выводки лошадей – это приезжие владельцы осматривали своих рысаков и решали их дальнейшую судьбу. Охотники и любители, съехав-

шиеся со всех концов России, группами заходили в лучшие конюшни, прося показать знаменитых рысаков, о которых они столько читали и слышали. Канцелярия работала всюю, выдавая приезжим билеты и справки, а в бухгалтерии трудно было протолкнуться, так как многие приезжие коннозаводчики и охотники приурочивали к дерби получение выигранных денег, подчас порядочных сумм. И в городе – в парикмахерских, летних театрах и ресторанах – только и было разговоров, что о предстоящем дерби.

Настал день розыгрыша приза. С утра буквально вся Москва устремилась на Ходынское поле. Задолго до начала бегов охотники собрались в беседке, где уже накрывались столы для угощения членов и почетных гостей чаем. Парадные комнаты были открыты, уставлены декоративными растениями, устланы дорогими коврами, всюду висели флаги. Петион разрывался и отдавал последние распоряжения для приема гостей. Администрация общества в сюртуках и цилиндрах выглядела торжественно и важно. Все служащие, приодетые в новые ливреи и формы, давно находились на местах. Ровно в два часа раздался звонок, возвестивший начало исторических спортивных состязаний. Трибуны накопили столько народу, что буквально яблоку негде было упасть; в ложах наблюдались первые красавицы Москвы, и в таких туалетах, о которых теперь совершенно никто не имеет понятия. Мундиры военных, цилиндры штатских. Все двигалось, смеялось, шутило, играло и флиртвало. В членском зале было значительно чопорнее, но тоже весело и хорошо: здесь, помимо членов общества, охотников, коннозаводчиков, собралась вся московская знать, представители высшей военной и гражданской администраций.

Настал момент розыгрыша Большого Всероссийского четырехлетнего приза. С места повел Кейтон, но замечательно держался и Лежнев на Бюджете. Боярышня выиграла у Бюджета лишь корпус, и то благодаря мастерской, исключительно боевой езде своего наездника Кейтона. Бюджет прошел тоже блестяще. Обе лошади побили предельный рекорд четырехлеток.

Трудно описать тот подъем, который царит в первые моменты окончания бега. Не успеет затихнуть звонок, как все приходит в движение, мечется, бежит, кричит, машет платками, аплодирует и смеется. Шум над ипподромом стоит невообразимый, и можно подумать, что многотысячная толпа на несколько мгновений потеряла рассудок. Постепенно нервы приходят в порядок, толпа мало-помалу затихает, однако лишь до того момента, пока не покажется откуда-то справа наездник-победитель со своим рысаком. Тогда овациям нет конца, и с большим трудом вице-президент ударами в большой колокол водворяет, наконец, тишину и порядок: следующий бег на приз Его Величества начинается...

В членской беседке вокруг Коноплина царит столпотворение вавилонское, его поздравляют, обнимают, целуют. Коноплин, красный и взволнованный, едва успевает пожимать руки, кланяться и благодарить. Отовсюду слышатся восклицания о резвости бега, гениальной езде Кейтона, замечательной кобыле Боярышне; иные вспоминают ее отца Бойца, другие – мамашу, американскую кобылу Нелли-Р. Все бурлит, кипит и затихает лишь тогда, когда Коноплин в сопровождении вице-президента и всей администрации сходит вниз на дорожку, дабы официально принять от главы общества поздравление и получить дербийский бриллиантовый жетон с золотыми медалями. Красивейшая картина, самый волнующий момент всего торжества! Боярышня стоит на беговой дорожке, ждет хозяина, тут же и ее знаменитый наездник Кейтон. Конюхи держат попону и капор кобылы, как какие-то особые реликвии. Фотографы шмелями вьются вокруг и готовятся уловить момент... Коноплин возле Боярышни, он низко кланяется вице-президенту, принимая от него драгоценный дербийский жетон.

Окопишников дает понюхать умной кобыле золотые медали и вручает их счастливому хозяину. Все рукоплещет, радуется, забывая на миг человеческую зависть и злобу. А вечером, когда у «Яра» зажгутся огни, долго будут пировать охотники в кабинете добродушного и гостеприимного Коноплина, вспоминая блестящий бег Боярышни, езду Кейтона и всех дербистов...

На второй или третий день после розыгрыша дерби Н. С. Пейч пригласил меня в кабинет вице-президента и имел со мной длинную конфиденциальную беседу. Дело заключалось в следующем. Пейча заботило то направление, которое приняло издание Генерозова. Генерозов выпускал газету «Коннозаводство и спорт», которая выходила два раза в неделю и, кроме того, накануне беговых и скаковых дней, то есть в иные месяцы – 5–6 раз в неделю. Газета Генерозова велась очень хорошо, имела большое распространение и являлась авторитетным коннозаводским органом. Под давлением Шубинского, желавшего играть роль в беговом обществе, и партии метизаторов, а также благодаря крупной денежной поддержке от Ушкова, Генерозов избрал резко отрицательное направление в отношении как орловского рысака, так и вообще Московского бегового общества. Пейч, тогда главный вдохновитель и деятель в обществе, подвергался не только критике, но и прямо-таки травле. Положение было чревато последствиями, умный и дальновидный Пейч прекрасно понимал, что надо положить этому конец и обуздать Генерозова. Ему пришла мысль создать новый коннозаводский орган, достаточно авторитетный, чтобы стать противовесом газете Генерозова. Пейч совершенно резонно указывал мне, что еще два года Генерозовской пропаганды против орловского рысака и тех деятелей бегового общества, которые поддерживают политику ограничений, и наши силы растают и дело будет вконец проиграно: в обществе воцарится Шубинский, ограничения отменят – и прощай, орловский рысак, навсегда! Я прекрасно знал, как тенденциозен тот материал, который печатает Генерозов. Ловкая пропаганда начинала приносить обильные плоды: увеличилось число идейных метизаторов, подтачивалось положение администрации Московского бегового общества, которая вся состояла из орловцев. Было ясно, что Пейч прав и надо начинать действовать. Тем более что метизаторы были уже объединены, имели такого лидера, как Шубинский, свой печатный орган, наконец, Ушков не жалел никаких средств на пропаганду. Иначе дело обстояло в орловском лагере. Здесь лидером был Щекин, который не везде пользовался достаточным уважением. Журнала у лагеря не было, средств тоже.

Я предложил Пейчу не основывать нового журнала, а войти в соглашение со старейшим московским спортивным органом «Журнал спорта», который издавался Гиляровским. Пейч справедливо заметил, что на слово Гиляровского нельзя положиться, что в данное время у этого журнала нет никакого направления и что он постепенно теряет свой авторитет и подписчиков. Кроме того, Гиляровский был в родстве с Генерозовым, так что в любой момент они могли столковаться. Свою карьеру журналиста Генерозов начал у Гиляровского. Гиляровский пригласил его, еще студента, в редакцию, и он настолько втянулся в это дело, что уже через три года самостоятельно вел журнал и фактически был редактором. Гиляровский женил его на родной сестре своей жены, думая закрепить его этим за своим изданием. Однако Генерозов все же ушел и основал газету «Коннозаводство и спорт». Между редакциями этих изданий шла постоянная грызня, на всех перекрестках Гиляровский ругал Генерозова, называя его предателем и поповичем.

В Москве существовало тогда еще одно спортивное издание – «Бега и скачки», но это был бульварный листок. Редактировал его Зверев, журналист талантливый, но беспринципный, да к тому же алкоголик. В Санкт-Петербурге вы-

ходил журнал «Коневодство и коннозаводство», но он обслуживал преимущественно петербургские спортивные круги и в Москве решительно никакого распространения не имел. Да и сомнительно было, чтобы осторожный Вильсон променял кукушку на ястреба, так как он имел субсидию от Петербургского бегового общества, а там, в главной цитадели метизации, конечно, не потерпели бы перемены направления журнала в пользу орловского рысака. Выходило: печатного органа нет и его надо основывать.

Пейч весьма подробно объяснил, почему не только он, но и вся администрация общества просили меня взять на себя эту работу. У меня было уже прочное литературное имя, с моим мнением считались, нередко в статьях и заметках ссылались на меня и приводили цитаты из моих работ; наконец, у меня были связи, имя коннозаводчика, что сейчас же привлекло бы подписчиков и вызвало бы известное доверие и к журналу, и к тем взглядам, которые он будет проводить. Несомненно, что основание нового журнала нанесет серьезный удар Генерозову и, главное, заставит его действовать осторожнее. Я признавал правоту Пейча, только мне не хотелось брать на себя такую обузу, поэтому я сказал, что подумаю и напишу о своем решении из деревни.

Я уехал на Конский Хутор. Уже в следующем месяце пришло письмо от Д. И. Иловайского, вице-президента Московского скакового общества. Он писал, что, поставленный «в курс моих переговоров с Пейчем», всецело их разделяет и обещает всемерную поддержку журналу со стороны скакового общества. Далее он указывал, что Генерозов открыто идет против скакового общества и интересов чистокровного коннозаводства. Словом, журнал перестал отражать интересы скакового дела и служит узким целям М. И. Лазарева, владельца крупнейшей в то время скаковой конюшни. В заключение Д. И. Иловайский просил меня приехать для личных переговоров в Москву, где он пробудет всю осень. Но не столько это письмо, сколько уговоры Карузо и других близких мне людей побудили меня ехать в начале сентября в столицу.

Свидание с Иловайским состоялось на скачках, в членском павильоне, куда я пришел вместе с Пейчем. Иловайский произвел на меня хорошее впечатление. Это был, несомненно, очень умный и толковый человек. Большого роста, несколько тучный брюнет с длинными, густыми волосами и небольшой бородкой; лицо его имело недовольное выражение, смотрел он из-под бровей насупившись – по-видимому, он был довольно суровым и замкнутым человеком. Ничего нового по поводу журнала он мне не сказал, лишь заметил, что если я не дам согласия, то он и Пейч вынуждены будут спешно обсуждать вопросы создания журнала на средства обоих императорских московских обществ, так как статьи Генерозова приняты за последнее время такой тон, что постановлением распорядительного комитета ему воспрещен вход на членскую трибуну и отобран корреспондентский билет. При нашем разговоре присутствовал старший член скакового общества И. М. Ильенко, который много сделал для Генерозова, когда тот начинал свой журнал, и теперь в этом сильно раскаивался. Генерозов самым непростительным образом травил Ильенко. А между тем кто не знал, да и теперь не знает И. М. Ильенко?!

Почти сорок лет занимался Ильенко скаковым спортом. Хотя у него и не было лошадей, но он принимал самое деятельное участие в делах и жизни скакового общества. Я редко встречал людей, более любящих свое дело, и никогда не видел никого, кто бы так беззаветно был предан чистокровной лошади и так фанатично верил в нее. В свое время И. М. Ильенко имел выдающийся чистокровный завод, замечательно вел скаковую конюшню. Несомненно, в России среди знатоков чистокровной лошади он был одним из наиболее компетентных. Наконец, как вице-президент Харьковского скакового общества, участник съез-



дов и совещаний, эксперт на выставках, этот человек не только много работал, но и принес действительную пользу своей родине. Ильенко многие не любили и распространяли на его счет всевозможные небылицы и пакости. Все их я считаю преувеличениями и выдумкой. У меня с И. М. Ильенко всегда были наилучшие отношения (они несколько испортились, правда, не по моей вине, во время революции). Ильенко был не только умен, но и чрезвычайно остроумен, обладал злым языком – не потому ли у него оказалось столько врагов?

По наружности Ильенко был типичный хохол. Юмор – отличительная черта его натуры. За словом в карман никогда не лез. Сохранил, несмотря на свои годы, ясность ума. Месяц назад, будучи в Москве, я поехал на проездки и на проводном круге встретил И. М. Ильенко. Мы пошли бровкой беговой дорожки, и один наездник, обгоняя нас на мелкой, паскудной, недокормленной – чисто советской лошаденке, сказал мне: «Яков Иванович, ваших кровей». Мне ничего не оставалось, как, взглянув на эту лошаденку, иронически сказать: «Вот они, драгоценные крови Прилепского завода». На что Ильенко немедленно парировал: «Странно, что такие драгоценные крови заключены в такой скверный сосуд!»

...Переговоры в скаковом павильоне продолжались недолго. Я дал согласие переехать в Москву и с 1 января 1907 года начать издание журнала. Пейч и Иловайский обещали мне всяческое содействие.

В начале октября, оставив завод на попечении Т. М. Алексеенко, я переехал в Москву. С собою взял только библиотеку, обстановку трех комнат и своего повара, к которому привык. Квартиру мне отвели на бегу, в так называемом белом флигеле. Это было двухэтажное здание в восемь квартир, предназначенных для членов общества. Каждая квартира состояла из трех комнат. В каждом этаже – по четыре квартиры, выходящие в длинный, светлый коридор. Оба этажа соединялись парадной и черной лестницами и имели два выхода. Все, конечно, отапливалось. Очень недорогая годовая плата – 250 рублей, потому получить квартиру на бегу было нелегко. Камердинером ко мне поступил некий Густав Герштеттер, который представил вполне надежные рекомендации от графини Генок д'Алтавила, жены покойного М. Кожина. В несколько дней я удобно и хорошо устроился и начал подготовительные издательские работы. Времени было мало, приходилось спешить. Прежде всего следовало озаботиться подысканием надежного секретаря, который бы жил при редакции. Н. С. Пейч предложил своего сына. Александр Николаевич Пейч, гвардии капитан артиллерии, служил в Варшаве, недавно ушел в запас и по слабости здоровья оставил службу. Он охотно изъявил согласие быть секретарем редакции и скоро подыскал для нее квартиру на Петербургском шоссе, там же поселился и сам с женой. Надолго пришлось задуматься о названии нового журнала, ибо все наиболее подходящие названия уже использовали другие издания, а повторений не хотелось. Больше всего мне улыбалось бы назвать журнал просто «Орловский рысак», но дать односторонний заголовок было невозможно – это сразу оттолкнуло бы скаковых охотников и многих других. В конце концов остановиться пришлось на придуманном стариком Пейчем названии «Рысак и скакун». Вместе с А. Н. Пейчем мы съездили в верхние торговые ряды, купили столы, стулья, конторки, и уже через неделю над помещением редакции красовалась вывеска: «Еженедельный иллюстрированный журнал «Рысак и скакун».

Теперь предстояло выработать программу, напечатать плакаты и поместить объявления о новом издании в газетах и журналах. Программа долго обсуждалась и была, на мой взгляд, хорошо проработана, так как охватывала решительно все, что касалось коннозаводского дела и удовлетворяло самым строгим требованиям. Я сам провел переговоры с типографией «В. Чичерин и К<sup>о</sup>», подписав с этой фирмой годовую контракт.

Журнал был задуман мною широко: изящное оформление, печать на хорошей веленовой бумаге, богатые иллюстрации, цветная твердая обложка... Все это очень удорожало издание, но я решил, что стоит пойти на материальные жертвы. Могу смело сказать: всякий, кто познакомится с годовым комплектом «Рысака и скакуна» за 1907 год, скажет, что ни до, ни после в России не было такого красивого, роскошно оформленного периодического спортивного издания.

Немало времени заняло приглашение сотрудников. Должен сказать, что почти все, к кому я обратился, охотно дали свое согласие. Это объясняется тем, что многих я знал лично, других же привлекла цель издания, наконец, третьи были справедливо возмущены направлением, взятым газетой Генерозова. Мне пришлось озаботиться подготовкой материала хотя бы для первых 4–5 номеров, и я засел за работу. Однако уже через неделю-другую в портфеле редакции накопилось столько материала, мы получили столько статей, заметок и даже рассказов, что можно было считать журнал вполне обеспеченным на первые три месяца. Старик Пейч торжествовал. Метизаторы были вне себя от злости, однако относились ко мне очень предупредительно и любезно, понимая, что со мной придется считаться. Умнее всех был, конечно, Коноплин, который избрал свой способ действия. Он, а затем и Телегин частенько заезжали ко мне вечерком, сидели на диване, вели разговоры, несколько раз предлагали даром покрыть моих кобыл американскими жеребцами или же купить метисных маток. Последних, конечно, за гроши, но только потому, что я слыл страстным охотником и просто жаль было бы, если бы я даром потерял время и деньги, ведь с орловцами я не буду иметь никакого успеха, резвых лошадей не выведу, ибо эта порода давно выродилась. Если бы их хитро задуманный план осуществился и я купил бы метисов или же случил своих кобыл с Чарло или Бароном-Роджерсом, то дискредитировал бы задуманное дело и способствовал бы провалу орловского вопроса. Конечно, под шумок в беседе бы говорили: «Смотрите, что вы делаете... Бросайте орловцев, заводите метисов, ведь даже Бутович – какой фанатик, а и тот проповедует одно, а делает другое...» И подобным разговорам не было бы конца. С Коноплиным я был в отношениях настолько приятельских, что все высказал ему прямо, и он больше не подымал вопроса. Но Телегин никак не мог понять, что можно отказаться от такой милости, как даровая случка с Бароном-Роджерсом, и, продолжая бывать у меня, настаивал на том, чтобы я плюнул, как он говорил, на орловцев и заводил скорее метисов, благо представляется такой случай.

Я вступил в спор с Телегиным, обвиняя его в том, что он губит тот выдающийся орловский материал, который не он создал, а получил уже готовым от отца. Надо знать характер Телегина, его самовлюбленность и самомнение, чтобы представить, как он взбесился. Он совершенно вышел из себя и, уходя, заявил, что придет время, когда я все же заведу метисов и брошу орловцев, и что ничего, кроме дряни, не выведу, куда буду иметь орловский завод. Теперь, вспоминая пророчество Телегина, могу сказать: хотя вывел на своем веку немало дряни, но вывел также и немало хороших лошадей. Орловский завод я не только не бросил, но в какие-нибудь десять лет превратил в один из крупнейших питомников орловской лошади в России. Последние годы завод мой занимал по выигрышу одно из первых мест. В одном оказался прав Телегин: я завел гнездо метисов, правда, небольшое. Но вот от него-то я действительно не отвел ничего замечательного, и мои метисы были хуже моих орловцев. Завел я гнездо не по охоте, а исключительно из материальных соображений: были хорошие покупатели на метисов и я продавал приплод от своих метисных маток по телегинским ценам...

Все было подготовлено к выходу первого номера журнала. Я получил нема-



*Метеор после выигрыша приза Его Императорского Величества.  
Н. В. Телегин, Т. Н. Телегина. Журнал «Русский спорт»*

ло писем из самых глухих углов России с пожеланиями успеха, а до января оставалось еще много времени. Однако шло оно незаметно – в посещениях знакомых, бегах, театров. Скажу несколько слов о том, как жилось мне тогда в Москве, у кого я бывал, как жили и проводили время вокруг меня.

Чаще всего я бывал у старика Пейча. Николай Сергеевич жил напротив, в красном флигеле, и не проходило дня, чтобы я не повидался и не посоветовался с ним либо у него на квартире, либо у себя, либо в вице-президентском кабинете. Пейч заходил ко мне неизменно с сигарой в зубах и стеклом в руке. В жизни он был довольно нетребовательным человеком, одна была у него страсть – любил дорогие голландские сигары, курил их много и только лучшие сорта. Он был большой знаток сигар, в чем мы с ним сходились: я тоже курил только сигары и знал в них толк. Иногда по вечерам у Пейча собиралось общество, играли в карты. Частенько заезжали Коноплин, Телегин, старик Лежнев, Бибииков; постоянно заходили судья Сас Дунаевский, Блохин и Хрущов, которые тоже жили в красных номерах. Забегал обязательно и Карлуша Петитон – приложиться к ручке m-me Пейч, осведомиться о здоровье Николая Сергеевича. Если тут был Коноплин, то, неизменно присюсюкивая, он повторял: «Ах, Карлуша, какой ты дипломат». Карлуша делал обиженный вид, но уходил довольный и сейчас же ехал в «Яр». Папаша Пейч был в зените своей славы и могущества. Он упивался властью, наслаждался ею; все его мечты были направлены к тому, чтобы быть переизбранным на новое трехлетие. Увы, мечтам и грезам не суждено было осуществиться! Я никогда не играл хорошо в карты, а потому, когда за неимением лучшего партнера меня сажали в винт, я невероятно путал и всегда проигрывался. Пейч артистически играл в винт, а также очень любил шахматы. Иногда я заводил его в клуб шахматистов, и по дороге он рассказывал мне самые невероятные приключения из жизни некоторых членов нашего общества. В моем распоряжении была очень хорошая пара карачовых жеребцов, которую я помесечно нанимал у известного извозопромышленника Житарева. Иногда по вечерам мы с Папашей ездили в театр, всегда в карете, так как иначе возвращаться ночью было холодно: за заставой ветер дул,

как «во чистом поле», и нередко мело. С удовольствием я вспоминаю беседы и деловые совещания с Пейчем. Я уже имел случай сказать, что это был умнейший человек и очень талантливый рассказчик. Он не лишен был юмора, но юмора злобного. Пейч прекрасно владел пером, писал ясно, коротко и даже красиво. Это был тонкий политик, который долго продержался у власти, умел лавировать, льстить и хитрить. Никто лучше Пейча не мог завязать интригу и затем дать ей надлежащее направление. В интриге он был силен, но иногда ему не хватало выдержки – и он губил тонко обдуманное предприятие. Пейч любил заходить ко мне утрами, когда я еще был в постели, посоветоваться о делах. Он был настолько осторожен, что никогда в этих случаях не начинал говорить, предварительно не посмотрев, не слушает ли кто под дверь. Ах эти тайны бегового дома! Как они теперь далеки от нас!..

Как-то раз утром Пейч сидел у меня на кровати и о чем-то говорил. В спальне была невыносимая жара, и Пейч расстегнул свою тужурку. Я заметил, что у него на шее висит довольно толстый снурок. Меня это удивило, и я стал спрашивать Папашу, что это за снурок. Пейч долго отнекивался, затем заглянул за дверь и шепотом сказал: «Я ношу день и ночь на груди крупную сумму денег – это на случай революции и захвата банков. Советую и вам сделать то же». Я от всей души расхохотался и уверил Пейча, что никакой революции больше не будет и банки никогда не захватят. Теперь я думаю о том, как я был смешон в своем самомнении, как был прав Пейч – видимо, он много лучше меня знал натуру русского человека и верно понимал сущность будущей революции...

Пейч ранее много писал в спортивных журналах. Принимал он участие и в «Рысаке и скакуне», давал статьи и заметки. Лучшим его произведением я считаю повесть «Кабриолеткин» (к сожалению, повесть никогда не была напечатана, а после смерти Папаши ее, в угоду Телегину, сжег А. Н. Пейч). Под именем Кабриолеткина был выведен старик Телегин, о чем все охотники легко могли догадаться. Пейч рассказывал о похождениях Кабриолеткина, об истории его возвышения. Повесть была написана в духе «Мертвых душ» и читалась с неслабевающим интересом. Начало повести – выезд Кабриолеткина в тележке на пегой кобыле и поездка его на завод светлейшего князя Голицына. Мастерски, неподражаемо был сделан портрет самого Телегина, описан его костюм. Хороша сцена приезда в знаменитое Лопандино и прием у светлейшего. Камердинер докладывает, что приехал господин Кабриолеткин и просит его принять. «Кто? Кабриолеткин? – спрашивает удивленный князь. – Не знаю такого. Пошлите в контору». Через смотрителя завода Кабриолеткин приближается к светлейшему, присутствует на выводах, льстит Голицыну, попадает в фавор и получает в подарок знаменитую двадцатитрехлетнюю Молодку, одну из родоначальниц телегинского завода. За Молодкой последовали другие кобылы. Далее описывается поездка в Хреновое, все уловки при покупке Виновной... Шаг за шагом разворачивается вся жизнь Телегина, картины рисуются одна ярче другой. С каким знанием человеческого сердца описывает Пейч переживания Телегина, историю его обогащения и возвышения! Какие яркие страницы посвящены истории завода! Телегин перед нами как живой – умный, хитрый, ни перед чем не останавливающийся, чтобы из мелкой земской сошки пробраться в большие люди... Как жаль, что А. Н. Пейч уничтожил эту повесть. Конечно, Телегин был великий коннозаводчик, но отсюда еще не следовало, что можно было уничтожить это поистине художественное произведение.

Пейч никогда не говорил о своем происхождении. По-видимому, он принадлежал к небогатой семье и своим положением обязан был исключительно себе. Он был женат на Екатерине Павловне Загряжской, имел двух сыновей – оба служили в артиллерии. Его дочь вышла замуж за офицера. Сам он в молодос-

ти тоже служил, в отставку вышел в чине штабс-капитана. Всегда носил артиллерийскую фуражку, а военного мундира не надевал. В Московское беговое общество Пейч вступил в 1874 году; с первых же лет своего избрания в действительные члены стал одним из деятелей общества: уже в 1876 году его единогласно избрали редактором предполагавшегося коннозаводского журнала Московского бегового общества, но вследствие недостатка общественных средств издание так и не состоялось. Выбор общества был вполне понятен: Пейч превосходно владел пером. Обращала на себя внимание дельность его суждений; читая статьи Пейча, читатель ясно видел, что пишет человек, хорошо знающий предмет, и невольно подчинялся его авторитету. Много лет кряду Пейч выступал в спортивной литературе.

Общество неизменно выбирало Пейча почти во все комиссии. Ряд лет он возглавлял ревизионную комиссию, регулируя там правильность ведения дела и отчасти направляя деятельность общества с экономической ее стороны. Когда при графе Адлерберге общество проявило признаки движения вперед: были введены гандикапы, общая дорожка и прочее – Пейч получил назначение гандикапера. Если введение общей дорожки вызвало у многих энергичные протесты, то гандикапы положительно вызвали негодование. Можно смело сказать: только Пейчу удавалось удержать гандикапы в программе, что для того времени, как показало будущее, было, несомненно, прогрессивным.

Сам Пейч оценивал работу гандикапера с трех сторон: во-первых, в гандикапе должно участвовать как можно больше лошадей; во-вторых, игрокам должно быть затруднительно определить победителя; в-третьих, участники гандикапа должны приходить в борьбе, по возможности кучно. В гандикапах Пейча эти три условия были, по мнению очень многих, налицо. Какую роль сыграли гандикапы для Московского общества, известно всем, и я утверждаю, что без гандикапов общество не имело бы того материального положения, которое оно приобрело. Еще большее значение имел другой осуществившийся проект Пейча – проект групповой системы. До того при беговых испытаниях существовала классная система. Разумеется, прежде она была необходима и сделала свое дело, однако новое время настойчиво требовало реформы, и ее дал Пейч. Новая, групповая система была разработана Пейчем-сыном и Телегиным, но главным инициатором ее введения, ее вдохновителем был Н. С. Пейч. Едва ли необходимо касаться плодов этой системы: афиши Московского бегового общества говорят о ней красноречивее всяких слов.

Общественная деятельность Пейча не ограничивалась только рамками бегового общества. Он неоднократно принимал участие в работах разных комиссий, создаваемых Главным управлением государственного коннозаводства, и был экспертом на выставках. Как коннозаводчик и спортсмен, он был исключительно счастлив. Впервые его цвета появились на московском бегу в 1874 году, и тогда же его Отрад выиграл Орловский приз. В конюшне Пейча перебивало немало призовых рысаков, из которых лучшими были Амур, Баклан, Беглец, Дружок, Мимолетный, Ниагара, Сорванец, Сударка, Разлука, Атаман, Грозный-Любимец и, наконец, классный Отелло. Грозный-Любимец в простой американке показывал резвость 4 минуты 58 и 1/4 секунды! Собственного завода Пейч не имел, но одно время ему принадлежало несколько рысистых кобыл, и от них он отвел Грозного-Любимца и Отелло, то есть двух лошадей очень высокого класса – успех несомненный и очень большой. Интересно, что счастье сопутствовало рысакам Пейча и после того, как они ушли от него, ибо от трех его лошадей родилось три дербиста! Разлука дала Коноплину Калинку, выигравшую первое рысистое дерби в Москве; Курочка дала Расторгуеву дербиста Курбского, а от Грозного-Лю-

бимца родился Герой-Дня, выигравший дерби в симпатичных для меня цветах графа Рибопьера.

В том же красном флигеле, этажом ниже, жил Н. К. Феодосиев, человек также выдающийся, но совсем в другом роде. Уроженец Бессарабии, где у него в молодости было имение, он уезжал в Америку и там прожил очень долго. Вернувшись в Россию, он обосновался сначала в Петербурге, затем перебрался в Москву, где умер в преклонных годах. Ходили смутные слухи о том, что он был вынужден бежать в Америку, так как в порыве ревности убил свою жену. Чем занимался Феодосиев в Америке и как жил – об этом никогда не говорилось; известно было лишь, что там он изучил спортивное дело. Вернувшись в Россию, он скоро приобрел репутацию знатока американской лошади и спортивного дела. Некоторое время жил на родине, в Бессарабии, и именно в это время увлек конным делом молодого бессарабского помещика Л. А. Руссо и сделал его коннозаводчиком. Для Руссо Феодосиев выписал американских рысаков Демпсея, Июкондио, Сахару, Винтергрину и этим, так сказать, предопределил всю будущую деятельность Руссо. Однако Бессарабия была чересчур узким прищом для человека такого полета, как Феодосиев, и, перекочевав в Петербург, он выписал из Америки знаменитого впоследствии наездника В. Ф. Кейтона и таких американских лошадей, как Пас-Роз, Сан-Мало, Винтерсет, Ива-С, Альвин и многих других. Можно смело сказать, что Феодосиев первым в России дал толчок к ознакомлению с американским рысаком и в течение ряда лет был наиболее убежденным пропагандистом вывозки американских лошадей в Россию и орлово-американского скрещивания.

В Петербурге Феодосиев держал одно время совместно с молодым богачом Половцевым призовую конюшню. Петербургский период жизни Феодосиева был очень удачным: он много выигрывал, хорошо продавал лошадей, стал своим человеком в Петербургском беговом обществе и одним из влиятельнейших лиц в вопросах спорта. К несчастью, именно в Петербурге обострилась застарелая болезнь Феодосиева: его разбил паралич, у него отнялись ноги и до конца своих дней он был прикован к креслу. Средств у Феодосиева не было, ему приходилось зарабатывать деньги путем комбинаций и таким рискованным делом, как беговая конюшня. Конечно, как умный человек, он понял, что, потеряв здоровье, нельзя вести дело так же, как прежде, и, следовательно, ему грозит потеря последних денег. Он распродал всех лошадей, за исключением своих любимцев Винтерсета и Сан-Мало, получил крупный капитал и переехал в Москву, где беговое общество предоставило ему на самых выгодных условиях квартиру в членском доме. Здесь Феодосиев и доживал свой дни. Жил в двух комнатах, очень скромно. Он имел большое влияние на целый ряд членов общества и коннозаводчиков из числа сторонников метизации.

Еще в Петербурге Феодосиев сошелся с девицей Валерией Маркс, которую переименовал в Веру Александровну и выдавал за свою жену. Это была красивая девушка, хорошо владевшая языками и самоотверженно преданная Феодосиеву. Феодосиев плохо владел руками, ноги его были совершенно парализованы – его приходилось одевать, раздевать, сажать в особое кресло на высоких колесах, в котором он и проводил целые дни. Бедной женщине приходилось нелегко, но она всегда была весела, любезна и мила. После смерти Феодосиева она осталась безо всяких средств, и Петербургское беговое общество пригласило ее на должность библиотечарши с хорошим окладом.

Роста Феодосиев был высокого, довольно полный, лицо удивительно красивое, породистое. Порода в этом человеке чувствовалась во всем, что неудивительно, ведь его мать – урожденная княжна Кантакузен. Несмотря на свою болезнь, одевался Феодосиев очень хорошо, с большим вкусом, всегда носил

монокль. Он был превосходным собеседником, идеально владел французским, английским и немецким. Хуже всего он говорил по-русски, так как за долгое время жизни за границей основательно забыл родной язык.

Феодосиев имел все американские студбуки, и у него можно было навести справку о происхождении любой американской лошади. Кроме того, он получал американские спортивные журналы и находился в курсе всех спортивных дел Америки. Орловского рысака он не особенно любил, но признавал в нем некоторые качества, которые ставил исключительно высоко, даже выше соответствующих качеств американской лошади. Он был самым убежденным и непоколебимым сторонником орловско-американских скрещиваний, заходил в этом вопросе так далеко, что искренне утверждал: будущее принадлежит не орловскому и не американскому рысаку, а метису, то есть орлово-американцу, который-де превзойдет своей резвостью обе составившие его породы. Феодосиев проповедовал это всем и каждому, писал в американские журналы и убедил многих. Близко время, предсказывал он, когда американские богачи приедут в Россию за орловским материалом, дабы создать у себя еще невиданных по резвости и формам лошадей.

Когда я решил продать своего производителя – белого жеребца Недотрога, то Феодосиев написал для американских журналов заметку о продаже и убедил меня дать в американские спортивные журналы портрет Недотрога и объявление о его продаже. Он был уверен, что Недотрог уйдет в Америку, и ждал запросов. Ни одного запроса не поступило, никто из американцев не заинтересовался Недотрогом. Американцы – умный и практичный народ – экспериментам метизаторского характера предпочли, конечно, работу в совсем другом направлении.





## ОРЛОВЦЫ И МЕТИЗАТОРЫ

Теперь, когда прошло много лет, можно с полной уверенностью сказать, что Н. К. Феодосиев ошибся, делая ставку на метиса. Правда, в первом поколении получаются резвые лошади, но им, конечно, далеко до рекордов чистых американцев. Еще хуже обстоит дело, когда происходит скрещивание метисов разных степеней кровности: такие лошади не имеют типа, почти всегда мелки, беспородны и отличаются многими недостатками.

Вечерами у Феодосиева можно было всегда встретить охотников и услышать интересные беседы на коннозаводские темы. Прежде всего следует сказать, что у Феодосиева часто собиралась американская колония: тут бывали старик Кейтон с женой, его сын Вильям, Ф. Стар, Реймеры и, наконец, Ламби. Несомненно, Феодосиев был их главой и вдохновителем. От него они получали директивы по пропаганде американского рысака. Тут не раз обсуждались шансы будущих езд, вырабатывались планы таковых и т. д. Словом, это был штаб, куда сходились все нити и где ушлый и дальновидный Феодосиев был главным действующим лицом. Помимо этой американской колонии, у Феодосиева можно было нередко встретить его земляков. Все бессарабцы, приезжая в Москву, всегда его посещали, и здесь я впервые познакомился с Л. А. Руссо, Е. Е. Рыжкай-Дорожинским, М. Ф. Семигредовым и др. Бессарабцы находились под влиянием Феодосиева и очень считались с его мнением и взглядами. В свою очередь Феодосиев был как бы их представителем в Москве и устраивал им всевозможные коннозаводские дела. Помимо этих двух групп, Феодосиева навещали решительно все метизаторы и по вечерам вели горячие дебаты. Было шумно, оживленно, интересно.

Орловцы не любили Феодосиева и, за исключением меня, у него не бывали. Они называли его далай-ламой и справедливо видели в нем главного врага своих убеждений и карманов. Некоторые шли так далеко, что считали его представителем американских коннозаводчиков и американского капитала. Это, конечно, неверно, ибо в Россию было вывезено во времена Феодосиева сравнительно незначительное количество американских жеребцов и на пустую, с американской точки зрения, сумму.

Я впервые познакомился с Феодосиевым в 1902 году, когда купил у него Недотрога и Злодейку, первых моих лошадей. С тех пор мы поддерживали хорошие отношения; кроме того, я считал полезным быть в курсе того, что делается в стане врагов. Вот почему, живя в Москве, я часто бывал у Феодосиева. Он был воспитанным и чрезвычайно корректным человеком, даже спорил по-европейски, а не по-русски, то есть не кричал и не выходил из себя. Знал он



беговое дело превосходно, постоянно бывал на бегах и с часами в руках следил за ходом наиболее интересных заездов. Он был точно осведомлен о кондициях интересовавших его лошадей и прекрасно разбирался во всех тонкостях езды. Одно время он арендовал много лошадей Дубровского завода, и в его цветах прошли лучшие бега Хваленого и были поставлены предельные рекорды этого рысака. Многие орловцы, недовольные этим, говорили, что Хваленый бежал бы лучше, не будь он в ведении Феодосиева, но я считаю, что Ф. Н. Измайлов поступил правильно и дальновидно, сдав Хваленого в аренду Феодосиеву. Измайлов сам хорошо знал беговое дело и бывал в Америке, он мог оценить познания Феодосиева и потому сделал надлежащий выбор. Я иногда присутствовал при обсуждении работы Хваленого его наездником Ф. Старом и Феодосиевым и должен сказать, что прав оказывался неизменно Феодосиев. Так или иначе, но Феодосиеву было суждено в деле насаждения метизации, ее пропаганды и популяризации сыграть в России исключительную роль, имя его займет совершенно определенное и ясное положение в истории этого движения.

Бок о бок с дверью Феодосиевых находилась дверь квартиры Д. Д. Бибикова. Какая это была колоритная и своеобразная фигура – Бибиков! Огромного роста, кутила, картежник, любитель женщин, спортсмен и поэт – вот облик этого человека. В молодости он промотал недурное состояние, затем женился на француженке, разошелся с ней, торговал лошадьми, завел завод пополам со Смецким, ликвидировал и это дело, много охотился, пил, любил и наконец появился в Москве. Здесь он как-то сразу прижился, попал в беговое общество, что было очень нелегко. Вскоре был избран даже старшим членом, пробыв в этой должности недолго, завел призовую конюшню, затем ликвидировал. Вел крупную карточную игру в московских клубах, определенных средств не имел и, вообще говоря, жил игрой ума. Такова характеристика этого соседа Феодосиевых. Бибиков был живой и очень добрый человек. Если у Феодосиева собирались исключительно завзятые лошадаики, то у Бибикова можно было встретить более широкий круг. У него всегда бывали воронежцы: охотники, помещики и лошадаики средней руки. Это был особый тип людей: одевались они в русские поддевки из тонкого черного сукна особого, воронежского покроя, имели по несколько лошадок и по столько же собачек, любили выпить и закутить. Таковы были Гриша Мамышев, Вася Уманец и другие собутыльники Бибикова. К ним присоединилось немало москвичей несколько иного типа: у Бибикова всегда был открытый стол и карты. Женщины полусвета любили посещать Бибикова, и именно у него впервые появились сестры Саратовы, впоследствии знаменитые красавицы, сделавшие карьеру с легкой руки Бибикова. Одна из сестер вышла замуж за миллионера Ушкова, затем разошлась с ним и вторично вышла замуж за графа Воронцова-Дашкова.

В квартире у Бибикова всегда было шумно, весело и нередко пьяно. Бедный Феодосиев много страдал от этого соседства, так как шум часто не давал ему спать; но, не желая ссориться с Бибиковым и его партией, молчал. Дело в том, что Бибиков был очень хорош с Сонцовым, одним из наиболее влиятельных членов общества. Бибиков был видным членом большой партии Сонцова и постоянным оратором от их группы, в которую входили, помимо двух сыновей Сонцова, В. С. Офросимов, барон Г. Н. Сисан-фон-Гольштейн, барон Н. Н. Штейнгель и другие очень влиятельные и крайне спянные между собой люди. С их группой приходилось считаться не одному Феодосиеву.

К числу страстей Бибикова относилось и увлечение рыбной ловлей. Я всегда подтрунивал над Бибиковым, когда он собирался на знаменитое Онежское озеро. Я думал, что и там, хотя и в совсем другой компании, Бибиков прово-

дит время так же, как в Москве. Однажды он увлек меня с собой на Синеж. Это громадное озеро особенно излюблено рыболовами. Озеро имеет действительно великолепный вид, но природа кругом сурова и как-то тревожна. Я провел с Бибиковым несколько часов и изрядно скучал, так как никогда не увлекался рыбной ловлей. Бибиков же сидел неподвижно и, казалось, весь ушел в созерцание поплавков своих многочисленных удочек. Поздно вечером, усталые, мы вернулись в Москву; больше я никогда не ездил на рыбную ловлю, но зато убедился, что Бибиков на Синеже удил рыбу, а не дебоширил...

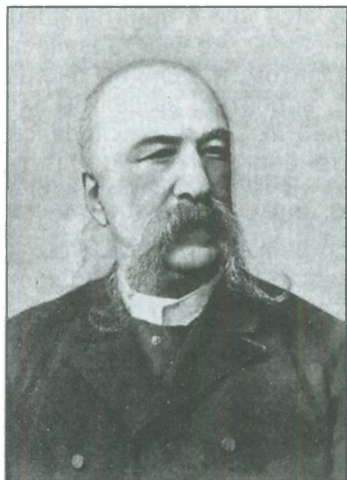
Не могу не рассказать здесь одного трагикомического инцидента, случившегося с Бибиковым еще до моего переезда в Москву. Одно время Бибиков держал лошадей пополам с М. М. Бочаровым. Они что-то не поладили, Бочаров позволил себе какую-то грубую выходку, и отношения у них вконец испортились. Однажды Бочаров пришел к Бибикову с неуместным объяснением, застал его на крыльце и так вывел из себя, что Бибиков схватил посетителя за шиворот и начал угощать его тумаками. Силой Бибиков обладал громадной и, как все добрые люди, в гневе был прямо-таки страшен. Трудно сказать, что случилось бы с Бочаровым, если бы не вышедший на крик старик Пейч, который заорал во все горло: «Сэст алез финитез!» Папаша никогда не говорил по-французски, но здесь, преисполненный волнения, что этакое безобразие происходит на территории бегового общества, он не только вспомнил французский язык, но даже срифмовал три слова. Благодаря тому что потасовка произошла вне стен общества, всё замяли и потом много смеялись над рифмами Папаши. Долго еще, когда в обществе кто-либо начинал чересчур горячо говорить и волноваться, раздавалось знаменитое «Сэст алез финитез!» – и все невольные смеялись и прекращали иногда не в меру горячий спор. Последние 7–8 лет до революции Бибиков, что называется, угмонился: стал жить скромнее, взял платное место судьи в обществе, часто ездил ловить рыбу, изредка выпивал, но карты бросил и лето обыкновенно проводил, после окончания бегового сезона, у своего друга Сонцова. Вскоре после революции, поняв, что все конечно, уехал в Воронеж и там скромно жил. Затем ушел с белыми, умер для красных, но по истечении некоторого времени вернулся под другой фамилией в родной город и кончил свои дни бухгалтером на бойне в Воронеже...

Два-три слова следует сказать и о помощнике стартера П. В. Блохине. Он жил в том же красном флигеле и был постоянным партнером г-жи Пейч и г-жи Коноплюной в преферансе. Это был внук знаменитого коннозаводчика И. А. Блохина. В обществе у нас он не пользовался значением и, вообще говоря, был пустым человеком и большим крикуном. Г-жа Кошкина называла его, шутя, но очень метко, шантеклером; в нем было что-то ноздревское. Средств у Блохина не было. Сохранилось лишь небольшое имение в Козельском уезде, совершенно бездоходное, он трогательно его любил и вкладывал в него каждую заработанную копейку. Блохин пробовал ездить, но потерпел неудачу. Московское беговое общество, всегда широко относившееся к любителям лошади и детям знаменитых коннозаводских деятелей, поддерживало и Блохина, и он служил обществу, получая хороший оклад, до самой революции.

Напротив красного флигеля, через дорогу, стоял так называемый белый дом, где я получил квартиру. Скажу несколько слов о тех его жителях, с кем я был короче и у кого бывал чаще других. Наверху, в крайней квартире, жил председатель Нижегородско-Самарского банка И. П. Дараган. Он, как и Феодосиев, был парализован и уже много лет прикован к креслу. В свое время московский лев, блиставший в обществе, женатый на одной из первых московских красавиц, едва ли Дараган был искренним охотником, скорее, он занялся этим делом в молодости, дабы сделать карьеру, что ему совершенно удалось. Он дол-

го заведовал заводом и конюшней герцога Г. М. Лейхтенбергского, потом завел и свой небольшой завод, из которого вышли две недурные лошади – Секрет и Лобанчик. Благодаря Лейхтенбергскому стал близок к графу Воронцову-Дашкову, бывшему в то время министром императорского двора и главнокомандующим коннозаводством. Сделав карьеру, Дараган надолго отошел от конского дела и уже стариком, имея хорошее состояние и положение, вновь вернулся на бега. Жил он очень уединенно, почти никого не принимал. Ежедневно по утрам дежурный чиновник привозил ему объемный портфель дел Нижегородско-Самарского банка и оставался у него до двух часов. Единственным развлечением Дарагана в этот последний период его жизни была небольшая призовая конюшня, которую он сам вел. Наездником у него служил Харитонов, которого он сам обучил и которому ежедневно читал длинные лекции. Конюшня не имела успеха. В беговые дни он наблюдал за розыгрышами призов со своего балкона (задний фасад выходил на беговую дорожку), который был превращен в стеклянную утепленную комнату. Дараган знал моего отца и очень хорошо относился ко мне. Вследствие этого мне приходилось частенько заходить к нему. Старик всегда радовался моему приходу, но беседа с ним не доставляла никакого удовольствия: это был сухой и черствый человек, к тому же озлобленный болезнью. С полчаса занимал я его разговорами, после чего Иван подавал неизбежный стакан чая с бисквитом, а Иван Петрович в виде особой любезности каждый раз дарил мне сигару «Кабанас» гигантского размера. Сигары эти я очень любил, и он держал их специально для меня. Старик Пейч, также страстный курильщик сигар, узнав об этом, стал заходить к Ивану Петровичу, но хитрый Дараган смекнул, в чем дело, и ни разу не предложил ему сигары. Он сам мне об этом рассказывал и при этом от всей души смеялся, добродушно и долго, что так редко случалось с ним.

Сможет ли мое слабое перо передать, восстановить хотя бы отчасти образ Вани Казакова? Образ яркий, интересный и положительно неповторимый. Сомневаюсь в успехе, тем не менее начну... И. И. Казаков – единственный сын знаменитого коннозаводчика И. Д. Казакова и французенки. Его отец, богатейший человек, полковник гвардии и барин до мозга костей, был одной из виднейших фигур петербургского общества. Поселившись в своем тамбовском имении, он завел завод и вывел замечательных лошадей. Лошади Казакова отличались редкой красотой, и среди них две – Кречет и Серебряный – стали достоянием истории. Кречет был красивейшей лошадей и долгое время состоял производителем в заводе князя Л. Д. Вяземского, где дал много замечательных лошадей. Кречет – основатель замечательной линии, ныне, увы, почти угасшей. Серебряный дал Подарка, от которого происходил хреновской Палач. Словом, И. Д. Казаков был знаменитым коннозаводчиком. К сожалению, Казаков-отец ликвидировал свой завод, после чего долгое время прожил за границей. Когда он вновь вернулся в Россию, его единственный сын Иван Иванович вырос и настолько полюбил лошадей, что отец, передав ему одно из тамбовских имений, сам собрал ему завод. Завод был собран с редким вкусом и со знанием дела, и из него вышло много превосходных лошадей. Вскоре старик Казаков умер, и Иван Иванович стал наследником его громадного состояния. К счастью для него, часть состояния перешла к его матери и двум сестрам. В какие-нибудь 10–12 лет Казаков спустил все состояние отца, продал завод и разорился. Это было своего рода искусство, ибо он промотал состояние, живя в Тамбове. Чего он только не выделял и как только не тратил денег! Словом, Казаков остался без гроша. И тут-то ему пришла на помощь семья. Казаков перебрался в Москву, поселился на бегах и, кроме того, арендовал хутор под Рязанью. Так как он решительно ничем, кроме лошадей, заниматься не мог,



И. Д. Казаков



А. А. и В. А. Шекины. Журнал «Конский спорт», 1910 г.

то опять завел рысистый завод и сделал это очень удачно. Казаков был действительно знатоком, из его второго завода вышло немало замечательных лошадей. Вот в эту-то пору я и познакомился с Ваней в Москве. Он жил с красивой, но довольно вульгарной женщиной, которую выдавал за свою жену. Так как состояния у него не было, то единственный его доход составляли призы и продажи лошадей.

Казаков был небольшого роста, очень живой, говорил он скороговоркой, жестикулировал и очень напоминал француза дурного тона. В нем не было и тени величия, барства и аристократизма его отца. Я часто бывал у него и наблюдал удивительные картины. Казаков был неподражаем во время продажи лошадей. Казалось, он мертвому может продать любую лошадь. В этом отношении с ним никто не мог конкурировать. Врал он немилосердно и расхваливал своих лошадей свыше всякой меры. Тут же на столе стояли неизбежные горячие закуски, вина, водки, и г-жа Казакова усиленно потчевала покупателя. Наездник Казакова В. Дмитриев-Косой был талантлив и тоже мастер уговорить; он всегда присутствовал при этих сделках и помогал хозяину. Дмитриев был косой и при этом продувной плут, на нем вполне подтверждалась пословица «Бог шельму метит». Словом, эта почтенная троица брала в оборот покупателя, доводила его до полного одурения и, наконец, продавала лошадь втридорога. Сплошь и рядом на другой день покупатель, придя в себя, ехал узнавать, какую лошадь он купил. Общество, если только это можно назвать обществом, собиралось у Казакова самое невероятное. Тут были и охотники, и любители, и барышники, и наездники, и цыгане, и какие-то подозрительные дамы, и даже иногда духовные лица. Со всеми Казаков шептался, затевал какие-то дела, плутовал, выворачивался, наживал и терял деньги. Надо сказать, что свободных денег у Казакова никогда не бывало, он вечно нуждался и всегда перехватывал у знакомых. Это была не жизнь, а какой-то водоворот. Конечно, в обществе он не пользовался никаким авторитетом и влиянием, но в уважение к заслугам его отца с ним мирились и на все смотрели сквозь пальцы. По натуре это был очень добрый человек, и его было искренне жаль. Однако мне, как это ни странно, казалось, что он вполне счастлив и доволен своей жизнью.

Описать все проделки и чудеса, которые вытворял Казаков, положительно невозможно. Однажды вечером я зашел к Казакову и застал его одного – это

была редкая удача. Я этим воспользовался и провел часа два в приятнейшей коннозаводческой беседе. Знание Казаковым лошади сейчас же чувствовалось в беседе. Как коннозаводчик, он обладал большим талантом, и, если бы он получил другое воспитание и не сбился с пути, из него, вероятно, вышел бы замечательный во всех отношениях человек. Он особенно любил и преклонялся перед лошадьми двух заводов – герцога Г. М. Лейхтенбергского и М. Г. Петрово-Солового. В этих заводах у него было много маток, и он действительно отвел от них превосходных лошадей. Казакова все любили, и у него не было врагов. Если бы кто-нибудь позволил себе что-то враждебное по отношению к нему, то перед ним закрылись бы все двери. Ване все сходило с рук... Во время революции я как-то случайно встретил его на Молчановке, у него был странный, блуждающий взор и очень потрепанный вид; вскоре после этого он умер в больнице для душевнобольных.

В нижнем этаже жил Андрей Аркадьевич Щекин с женой и единственным сыном Витей, который тогда оканчивал классическую гимназию. Про Щекина можно (да и следовало бы) написать немало. Во время нашего знакомства он был в зените своей славы как коннозаводчик, спортсмен и лидер орловской партии в собрании Московского бегового общества. Это был небольшой человек, сухой и худощавый, но довольно широкий в плечах. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы начинали седеть; он носил пенсне, которое часто поправлял. Отличался чрезвычайной подвижностью: с утра до вечера носился то на бег, то на проездной круг, то на конюшню, то в город, то на собрание, то в баню, то к знакомым или в театр. Я в своей жизни редко встречал более энергичного человека, нежели Андрей Аркадьевич Щекин. Он был крайне невоздержан на язык, потому у него было немало врагов; превосходный оратор, потому его выступления в собраниях всегда имели успех. Щекин происходил из мелкопоместной дворянской семьи Курской губернии. Его отец имел десятин 500 земли и довольно большую семью. По окончании университета Щекин удачно женился, и это положило начало его благосостоянию. Один старый курянин так рассказывал мне о женитьбе Щекина: в Курске проживала одна пожилая уже особа, имевшая недурные средства, с единственной дочерью Марией Викторовной. Отец Марии Викторовны был, кажется, зубной врач, и в ее породе имелась доза еврейской крови. Отсюда та практичность, которой всегда в жизни и делах отличалась Мария Викторовна. Решив жениться на этой особе, Щекин на зиму переехал в Курск и привел с собой свою верховую лошадь. Он часто гарцевал верхом мимо окон Марии Викторовны и наконец покорила ее сердце. Они очень дружно прожили жизнь, и жена имела всегда благотворное влияние на мужа. Выплатив из приданого жены доли братьям и сестрам, Щекин стал хозяином небольшого имения Сергеевки близ станции Золотухино Московско-Курской железной дороги. Он начал ревностно хозяйничать и завел конный завод, который вскоре стал знаменитым и удесятил состояние Щекиных. Мало-помалу Щекин выдвинулся на фоне курской жизни и стал общественным деятелем, работал в земстве. Он слыл либералом, и это помогало ему выдвигаться. Полею его деятельности был родной Щигровский уезд. Вскоре Щекин достиг еще большей известности и был избран щигровским уездным предводителем дворянства. На этом его общественная карьера оборвалась. В Щигровском уезде известный Марков объединил вокруг себя правые элементы и повел наступление на либералов. Эта эпическая борьба получила известность далеко за пределами Курской губернии. Марков выиграл борьбу. Либералов обвинили в разных неблагоприятных поступках, а Щекина даже исключили из числа дворян. Трудно и едва ли интересно разбираться сейчас, кто был прав. Общественная карьера Щекина раз и навсегда кончилась. У меня в библиотеке

имеется брошюра «Моя исповедь, или экспроприация чужой жизни кандидата прав Щекина», в которой он полемизирует с правыми. Вероятно, это единственный существующий экземпляр.

Потерпев крушение в Курской губернии, Щекин со всем рвением отдался коннозаводскому делу и перенес свою деятельность в Москву, избрав ареной Московское беговое общество. К этому времени относится и расцвет его призовой конюшни. Вокруг Щекина объединились орловцы, и он стал их общепризнанным лидером. Следует воздать должное Щекину: в свое время он немало и весьма удачно поработал над тем, чтобы установить ограничения для метисов, чем, конечно, оказал громадную услугу орловскому коннозаводству страны. От природы Щекин был довольно добрый человек, и с ним приятно было иметь дело. Приятной была и его семья: жена Мария Викторовна, умная, дельная и высокопорядочная женщина, и сын Витя, в то время очаровательный, красивый и воспитанный юноша. Я часто бывал у Щекина, который в то время как коннозаводчик и спортсмен гремел на всю Россию, и старался у него почерпнуть сведения по коннозаводству, которыми он всегда охотно делился. Жили Щекины скромно и принимали весьма ограниченный круг знакомых.

Я уже упомянул о том, что у Щекина было много врагов и его нередко травили в печати, иногда прямо-таки смешивая с грязью. Думаю, что главная причина тому – зависть: Щекин был богат, счастлив, имел знаменитый завод и замечательную призовую конюшню. К несчастью, зависть является худшей чертой характера русского человека. Однако и сам Щекин своей экспансивностью, а иногда и мелочностью давал немало поводов к травле. Знаменитому оратору, лидеру, богатому человеку припоминали все грехи молодости и тем отравили немало дней и часов. Так или иначе, дурное погребено временем, хорошее осталось. И фигура Щекина все ярче выделяется на фоне уже ушедших коннозаводских деятелей.

Приближалось время выхода в свет первого номера журнала «Рысак и скакун». Кому из работавших в прессе не известно чувство, охватывающее автора при появлении его первой литературной работы? Нечто подобное испытал и я, когда мой секретарь 6 января 1907 года в 7 часов вечера принес мне из типографии только что вышедший первый номер журнала. На обложке красовалось «7 января 1907 года» и «№ 1» (журнал выходил по воскресеньям, но был готов накануне – в субботу). Обложка плотная, голубого цвета, украшенная сложной виньеткой, с очень удачной и редкой фотографией, подаренной мне Н. П. Малютиным. Получив номер, я пошел с ним к старику Пейчу. Мы внимательно просмотрели весь журнал, и Пейч заметил, что номер отдает любительством. Это было отчасти верно, и дальнейшие номера вышли удачнее. И все же по количеству и качеству материала, роскоши и изяществу издания в России ни до, ни после не было подобного спортивного журнала. Хочется назвать авторов, помещавших свои статьи и заметки в «Рысаке и скакуне». По общим вопросам дали много работ А. Ф. Грушецкий, Г. Я. Политковский, князь С. П. Урусов, князь Д. Д. Оболенский и оба Пейча – отец и сын. Скаковой отдел вел Н. П. Лопатин; писал он много, и большинство его работ подписано различными псевдонимами. По вопросам скакового спорта статьи помещали А. Сабуров, С. Соколов, К. К. Агафонов и С. Л. Носович. По рысистому делу работали и печатались Я. И. Бутович (псевдонимы Б., Я. Б. и др.), В. В. Костенский, Н. Н. Шнейдер, Г. Д. Яньков, Н. А. Сопляков, В. В. Недоброво, Р. Р. Правохенский, В. М. Сухотин, Л. Н. Богаров, С. Трембицкий, А. П. Заннес, В. Кондзеровский, С. Г. Карузо, А. Ф. Тимофеев, А. А. Стахович и многие другие. Круг авторов, писавших о рысаках, значительно превышал число тех, кто писал о скачках и по общим вопросам. Да это и понятно, ведь

в России всегда больше интересовались рысистой лошастью, чем всякой другой, а рысистый спорт по справедливости считался национальной русской охотой. Кроме того, я сам был завзятым рысачником и невольно уделял больше места любимому делу.

Желая дать читателям интересный художественный материал, я очень хотел привлечь к работе в журнале какого-нибудь писателя-беллетриста, обладавшего уже именем в литературе. Необходимо было, конечно, чтобы этот писатель знал коннозаводский быт и любил лошадей. Перебирая в памяти все знакомые мне литературные имена, я пришел к выводу, что лишь один Эртель, если бы дал свое согласие, был бы не только ценнейшим сотрудником, но и украшением журнала. Эртель превосходно знал деревню, имел крупное литературное имя. Кроме того, он не только любил, но и понимал рысистую лошадь, так как вырос на заводах Тамбовской и Воронежской губерний, где его отец служил в различных имениях в должности управляющего. Эртель был автором романа «Гарденины», где столько блестящих страниц посвящено описанию коннозаводского быта. Эти страницы, несомненно, лучшее, что есть в романе. Наше знакомство произошло вскоре. Сейчас я точно не помню, устроил ли встречу кто-либо из общих знакомых или же она состоялась по письму. Эртель принял меня в большой московской гостинице, где постоянно в то время останавливался. Он был, как я тогда узнал, очень богат. Впрочем, богатство ему дали не литературные его работы, а управление имениями наследников известного богача Т. И. Хлудова. В одном из хлудовских имений был рысистый завод, которым Эртель не только управлял, но и очень интересовался. Эртель принял меня крайне любезно. Это был высокого роста и вместе с тем плотный господин с ясными голубыми глазами, выдававшими его германское происхождение, рыжеватый блондин со значительной проседью в волосах. Сидел он в кресле прямо, говорил медленно и имел наружность почтенного дельца, весьма мало напоминая писателя-семидесятника, как мы себе привыкли их представлять. Эртель сказал мне, что очень болен, давно не пишет, но если почувствует себя лучше, то охотно даст рассказ для моего журнала. После этого мы довольно долго говорили о лошадях, затем разговор перешел на его роман «Гарденины». Эртель охотно разрешил мне перепечатать отдельные главы романа и затем, смеясь, рассказал мне весьма интересный эпизод: «Мой роман «Гарденины» печатался в «Русской мысли». Вы, конечно, помните описание привода в Хреновое знаменитого Кролика, его исторический бег и затем трагическую гибель. Так вот, редакция весьма неудачно прервала описание бега, и слова «продолжение в следующем номере» повергли в уныние немало любознательных читателей, заставили их месяц томиться, прежде чем они узнали, вышел ли Кролик победителем приза или же проиграл. Представьте себе, что нашелся такой фанатик и любитель лошадей, который не утерпел и прислал в редакцию телеграмму с оплаченным ответом, прося сообщить ему, выиграл ли Кролик этот бег. По этому поводу в редакции много смеялись, а для меня это было лучшим доказательством того, что я сумел заинтересовать читателя этим своим описанием...»

Все передовые статьи в журнале, за исключением одной, писал я сам, а также всецело взял на себя ведение отдела хроники, как заграничной, так и русской. В то время отделу хроники придавали большой значение, и я знал немало подписчиков, которые только из-за хроники выписывали журнал. Эти отделы я расширил, в них помещал иногда целые заметки. Кроме того, я заведовал художественной частью издания и, просматривая недавно годовую подшивку журнала, с удовольствием убедился, что снимки с картин и фотографии, помещенные там, хороши и до сих пор не лишены интереса.

Хороший подбор сотрудников, корректное направление журнала привлекли

к нему много подписчиков и создали редактору-издателю тот авторитет, которым я начал пользоваться в самых высоких кругах. Журнал у многих вызывал симпатию, благих пожеланий звучало еще больше, но, к сожалению, издание не окупалось, к концу первого полугодия обнаружился крупный дефицит. Надо было сделать крупный платеж типографии – в три или четыре тысячи рублей, а касса пустовала. В то время я на месяц уезжал на юг и просил взять эти деньги под вексель у С. В. Живаго, обещав погасить вексель осенью. Живаго был мой приятель и богатейший человек; к тому же все знали, что он занимается дисконтом. И что же? В деньгах Живаго отказал. Пейч прислал мне об этом телеграмму, прося срочно перевести деньги. Пришлось отправить деньги из Елисаветграда в Москву. Как мало солидарности было у русских людей! Ведь я боролся за общее дело, отстаивал интересы влиятельной группы коннозаводчиков. Но в трудную минуту помощи не оказалось! Как это обидно, как характерно для прежних отношений – говорю прежних, так как теперь, когда я пишу эти мемуары, вообще говоря, нет никаких отношений между русскими людьми, кроме скверных и самых ужасных. Как все сложится в будущем, никому знать не дано...

Чувство справедливости заставляет меня привести и другой случай. Как-то в начале марта я сидел у знаменитого коннозаводчика Н. П. Малютина на его даче по Петроградскому шоссе. Малютин, уже глубокий, больной старик, потечески относился ко мне. Я часто у него бывал и стал в доме своим человеком. Малютин заговорил о том, что он вполне отдает себе отчет в значении моего журнала, но полагает, что материально мне будет очень трудно, и закончил с улыбкой: «Давайте нюхать табачок пополам!» Я его поблагодарил и отказался, сказав: «Думаю, что и сам справлюсь с финансовой стороной вопроса». Это было заблуждение, и в конце года я поплатился крупной суммой за самомнение. Малютин, как деликатный человек, смолчал и больше не возвращался к этому вопросу. Он умер летом 1907 года. В трудную минуту он, конечно, поддержал бы меня, но, увы, его уже не было в живых! Малютин был редкий и во всех отношениях замечательный человек. Память о нем я свято чту и по сей день.

Год работы «Рысака и скакуна» дал, как принято теперь выражаться, большие результаты. Прежде всего следует сказать, что в основном вопросе – вопросе об орловском рысаке – удалось достичь положительных результатов. Ряд статей, напечатанных в защиту орловского рысака, талантливая постановка этого вопроса имели прямым следствием продление ограничений, без чего орловская порода не могла тогда существовать. Главное управление государственного коннозаводства вынуждено было пойти на уступки. Ранее же, когда положение освещала одна газета «Коннозаводство и спорт», и освещала тенденциозно, в пользу метизаторов, коннозаводское ведомство решительно не считалось с нами, принимало нас за ничтожную величину и шло на поводу у метизаторов. Всему этому был положен конец, в чем едва ли не главная заслуга принадлежит журналу и тем людям, которые объединились вокруг него. Засим большой и неоспоримой заслугой журнала была та поддержка, которую он оказал возникшему в середине 1907 года Всероссийскому союзу коннозаводчиков и любителей орловского рысака. Призыв учредителей союза, его устав, передовые статьи по этому случаю – все находило место на страницах «Рысака и скакуна». Словом, журнал стал как бы органом союза: он вел пропаганду за союз, напечатал немало статей, популяризируя идею объединения коннозаводчиков орловских лошадей в одну дружную семью.

Наблюдая коннозаводскую и спортивную жизнь в Москве, все время вращаясь в коннозаводских кругах, ведя обширную переписку с провинцией, я, естественно, был в курсе всего и не мог не обратить внимания, что орловцы не



были объединены. Даже в Москве у них не было центра. Они не могли организовано выступить. И мне пришла счастливая мысль создать такой союз, который бы объединил нас всех и, главное, дал бы возможность выступить принципиально перед правительственными учреждениями. Кроме того, я имел в виду привлечь в союз великих князей и использовать их влияние для защиты и укрепления позиций орловских коннозаводчиков. Общеизвестно, что великий князь Дмитрий Константинович был ярким сторонником орловского рысака. Другой великий князь, Петр Николаевич, имел орловский завод, и, наконец, великий князь Николай Николаевич всегда интересовался спортом и лошадьми, хотя был больше любителем собак, чем лошадей. Я поддерживал хорошие отношения с Дмитрием Константиновичем и был хорош с дворами двух других великих князей. Но когда в разгар борьбы за орловского рысака я хотел использовать влияние великих князей на управляющего коннозаводством генерала Здановича, то неожиданно наткнулся на решительный отказ. Дмитрий Константинович объяснил мне, что и ему, и Петру Николаевичу, и Николаю Николаевичу неудобно вмешиваться в борьбу, не будучи официально уполномоченными и не служа по коннозаводскому ведомству. Тогда же великий князь сказал мне, что помощь, и весьма решительная, могла бы быть оказана в том случае, если бы с подобной просьбой обратилось Московское беговое общество. Однако об этом нечего было и думать, в собрании вышел бы форменный скандал. События 1905 года были еще свежи в памяти, и великие князья избегали, насколько могли, вмешиваться в общественную и административную жизнь, ибо таково было категорическое желание государя императора. Этот разговор с великим князем еще больше укрепил меня во мнении о необходимости союза. Хорошо продумав этот вопрос, я решил, что настало время действовать. Первый, к кому я обратился с этой идеей, был С. В. Живаго. Он горячо принял мой план, вполне его одобрил и даже назвал гениальным. Гениального в плане, конечно, ничего не было, но задуман он был удачно и принес вскоре обильные плоды. Это был тонкий дипломатический ход против метизации, и удался он вполне. Вместе с Живаго составили мы проект устава, собрали группу учредителей и без шума зарегистрировали союз. Московский градоначальник утвердил его устав. Большая передовая статья и устав были напечатаны в «Рысаке и скакуне». Метизаторы, среди которых были такие головы, как Шубинский, пришли в бешенство. Дело дошло до того, что меня хотели вызвать на дуэль и убить, но все ограничилось одной болтовней и угрозами.

На первом же собрании почетным председателем союза был избран великий князь Петр Николаевич, а Дмитрий Константинович и Николай Николаевич – почетными членами. Председателем союза мы избрали почтенного Н. И. Родзевича, виднейшего коннозаводчика, рязанского городского голову, превосходного оратора. Родзевич был юрист по образованию и присяжный поверенный по профессии – таким образом, по моей мысли, мы имели для общих собраний и других общественных выступлений хорошего оппонента знаменитому Шубинскому. Помимо председателя были избраны шесть членов правления, и мы с Живаго, естественно, были избраны единогласно. Орловские коннозаводчики встретили союз горячо и поддержали его на первых порах даже материально, ибо все поняли его значение. Метизаторы и враждебное нам Главное управление коннозаводства в значительной степени смягчили тон и вынуждены были считаться с новой силой. Великие князья охотно приняли избрание и оказывали нам поддержку официально, вплоть до давления на государя императора. Союзу суждено было сыграть совершенно исключительную роль в деле спасения орловской рысистой породы лошадей. Через несколько лет, после того как Родзевич отказался от поста, председателем был избран граф Г. И. Рибопьер. При нем союз выиг-

рал последнюю и решительную битву за орловского рысака. Выиграть ее он мог только потому, что мы действовали от имени организации, представляли в глазах общества крупную объединенную силу.

В «мирное» время союз дремал, ничего не делал и лениво собирался раза два в год, но, когда метизаторы подымались и под талантливым водительством хитрого Шубинского, опираясь то на всесильного Столыпина, то на Государственную Думу, то на Государственное коннозаводство, открывали против нас поход, союз немедленно приходил в движение, собирался, печатал, посылал петиции и депутации, шумел, взывал ко двору, земским и дворянским собраниям – и так трижды победил!

1907 год – год, для меня интересный и полный жизни, – подходил к концу. Считая свою миссию выполненной и дальнейшее ведение журнала не столь интересным, я продал это издание полтавскому коннозаводчику Н. А. Афанасьеву, поставив два условия, закрепленные нотариально. Первое: «Рысак и скакун» не меняет 10 лет направление по отношению к орловскому рысаку; если этот пункт нарушается, то издание бесплатно возвращается ко мне. Второе: уплата через 6 месяцев, считая с 1 января 1908 года, 10 тысяч рублей за обстановку, издание и журнал. Первое условие Афанасьев выполнил свято; что же касается второго, то я не получил от него ни копейки, но был далек от мысли требовать эти деньги. Однако Афанасьев всегда должен был считаться с этой возможностью, а потому журнал велся во вполне желательном для меня направлении, проводил мои взгляды, поддерживал мой завод. Кроме того, все мои статьи и заметки должны были печататься без всяких изменений и поправок. По моему желанию мой секретарь А. Н. Пейч стал редактором журнала, а Афанасьев лишь издателем.

Укрепив орловский фронт, обеспечив тыл, то есть создав возможность вести орловский завод без боязни, что ранее 15-летнего срока ограничения будут отменены и придется, из-за невозможности бороться с метисами, вылететь в трубу, я всецело и в крупном масштабе перешел к практической и творческой коннозаводской работе. Вновь начал посещать заводы, скупал не только отдельных лошадей, но и целые заводы; с головой окунулся в эту работу, не забывая, впрочем, и общественно-коннозаводских дел, ибо в то время я уже был признанным лидером партии. Об этом периоде моей жизни скажу в свое время, а теперь вернусь назад и в общих чертах обрисую те дома и те лица, которые удостоили меня своей дружбой в течение 1907 года. Некоторые из завязанных тогда личных отношений сохранились и до сего времени.

С начала зимы 1907 года я особенно часто бывал у знаменитого курского коннозаводчика Н. П. Малютина. Я особенно дорожил знакомством и отношениями с Малютиным, так как видел, что его здоровье слабеет и что ему недолго осталось жить. Малютин меня очень любил и охотно делился со мной воспоминаниями, а прошлое его было исключительно богато и интересно. Жил он много лет на своей даче по Петербургскому шоссе и на лето уезжал в Быки. Дача, где он имел обыкновение проводить зиму, ранее принадлежала знаменитому конноторговцу Г. С. Бардину. Расположена она была по левому Петербургскому шоссе и занимала очень большую площадь. Спереди находился сад, заканчивающийся домом, затем небольшой круг для проводки и рядами несколько корпусов конюшен, потом шли помещения для служащих и другие постройки. Перед домом стояла главная конюшня, выстроенная уже Н. П. Малютиным, особенно роскошно отделанная. Там стояли лучшие малютинские рысаки. Остальные постройки сохранились еще со времен Бардина. Нечего и говорить, что все содержалось в блестящем порядке. Дом, который занимал Малютин, был двухэтажный, деревянный, как и другие постройки этой дачи. В



*Николай Павлович Малютин.  
Журнал «Коннозаводство  
и спорт», 15.07.1907 г.*

сад выходила большая веранда, по фасаду имелось большое специальное окно, а перед ним – выводка. Нередко старик Малютин, часто хворавший, смотрел на выводку своих рысаков через это окно. Приемные комнаты у Малютина помещались наверху: там находились его кабинет, приемная и большая столовая, в которой протекала большая часть времени за бесконечными обедами, завтраками и чаями. У Бардина эта столовая была парадной купеческой гостиной, где хозяин принимал своих именитых покупателей, среди которых встречались не только высочайшие, но и коронованные особы. Со времени Бардина уцелело лишь четыре обитых красным бархатом кресла; на спинках этих кресел были прибиты дощечки с указаниями, что тогда-то здесь сидел Александр II, великий князь Николай Николаевич старший, государыня императрица и другие высочайшие или же коронованные особы. У Малютина эти кресла стояли в правом углу столовой на небольшом возвыше-



*В. А. Серов  
Летучий*

нии, кругом огороженные небольшим снурком малинового бархата. Забавно и трогательно было видеть эти реликвии недавнего прошлого. Вот что гласили позолоченные дощечки, прибитые к этим креслам: «1867 года Мая 1-го дня Его Императорское Высочество Государь наследник Цесаревич Александр Алексан-

дрович после осмотра лошадей удостоили своим посещением Григория Савельевича Бардина и изволили сидеть на этом кресле. Потому я в ознаменование для меня столь радостного дня оставляю сие кресло на память моего потомства». На втором кресле было написано: «1869 года Марта 16-го дня Его Императорское Высочество Государь Великий Князь Николай Николаевич старший...» На третьем: «1871 года Января 26-го дня Его Императорское Высочество Государь наследник Цесаревич...»

Обстановка на даче Малютина была роскошной и богатой. Собственно старины там, конечно, не водилось, ибо дом Малютин меблировал заново в восьмидесятые годы и во вкусе того времени. Здесь были очень дорогие вещи лучших мебельных мастеров Москвы и Петербурга, преимущественно работы Фишера. Стены украшали картины охотничьего или коннозаводского содержания, портреты знаменитых малютинских рысаков. Однако среди этих картин находилась одна замечательная вещь. Я говорю о портрете Летучего кисти Валентина Серова. Этот портрет висел у Малютина в спальне, над изголовьем, и Малютин очень им дорожил. От Малютина я знаю историю написания этого портрета и, принимая во внимание, что Летучий – дед Крепыша и вообще одна из лучших лошадей российского коннозаводства, расскажу об этом портрете подробно.

Серов еще совсем молодым человеком жил в доме Малютина на Тверском бульваре. В это же время, в 1886 году, Летучий закончил свою беговую карьеру и должен был уйти в завод. Серов жил очень скромно, и Малютин, зная об этом, предложил ему вместо годовой квартирной платы, которую тот должен был внести, написать портрет Летучего. Молодой художник с радостью согласился. Русское искусство обогатилось замечательным художественным произведением, а иконография нашего коннозаводства – замечательным изображением этой знаменитой лошади. Кроме того, Серову удалось передать тип и формы Летучего. Малютин и не предполагал, давая этот заказ, что оба имени – и Серова, и Летучего – войдут в историю искусства и коннозаводства. Этот портрет достался П. А. Чернову, долгое время служившему наездником у Малютина, и у него был куплен мною. Помимо этого замечательного произведения Малютину принадлежали две оригинальные статуэтки из воска очень тонкой работы известного скульптора Лансере. Из них одна, изображавшая знаменитую нероновскую Закрасу, ныне находится у меня. В течение моей долгой собирательской деятельности я больше никогда не встречал подлинных работ Лансере из воска, то есть тех моделей, по которым делались многочисленные отливки из бронзы. Несомненный исторический интерес представлял и ящик со ста акварелями знаменитых малютинских лошадей, преимущественно заводских марок и жеребцов-производителей. Художественная ценность акварелей была невелика (акварели Берга), но их иконографическое значение было бы теперь исключительно высоко. К сожалению, ящик с этими акварелями, вероятнее всего, погиб во время разгрома малютинского имения.

Прежде чем говорить о самом Малютине и моем отношении к нему, остановлюсь на тех лицах, которые его тесно окружали и составляли тот заколдованный круг, проникнуть в который было почти невозможно. Малютин не имел детей, и все эти лица считали себя его наследниками, и не без основания, ибо им он оставлял значительную часть своего громадного состояния, и таковая его воля, уже выраженная в духовном завещании, была им хорошо известна. Вот почему они так рьяно охраняли Малютина, боялись всякого нового человека, нового влияния, и, да простит им Бог, если не спаивали старика (Малютин не был, конечно, пьяницей), то, во всяком случае, сквозь пальцы смотрели на его страсть к красному вину. Малютину совсем не следовало пить, а он выпивал не менее двух бутылок красного вина в день, и оно, как яд, отравляло его и

приближало момент развязки. Столь же вредны были и те дорогие гаванские сигары, которые Малютин не выпускал изо рта, и тот стол, полный лучших яств, которые тяжело действовали на организм и разрушали его, тем более что за столом, в накуренной и натопленной комнате, сидели по нескольку часов кряду, ведя бесконечные беседы об охоте и лошадях. Попасть к Малютину было почти невозможно, и в 1907 году кроме меня решительно никто из посторонних у него не бывал.

Первое лицо, которое вырастает в моей памяти, когда я вспоминаю дом Малютина, – высокий, худощавый и благообразный лакей с длинными седыми бакенбардами, который всегда открывал дверь на мой звонок. Увидев меня, он многозначительно улыбался, кланялся и молчаливо сторонился, давая пройти. Однажды на крыльце я случайно встретился с одним видным охотником, который хотел видеть Малютина по делу: речь шла о продаже какой-то лошади. Он уже позвонил, когда я подошел, и почти сейчас же старик лакей отворил дверь. Пропустив меня, он загородил дверь охотнику и, несмотря на все просьбы и угрозы, не пустил его. Я был невольным свидетелем этой довольно-таки неприятной сцены и тут только понял, почему дверь всегда открывал только один человек – он также был в числе наследников.

Второй лакей одновременно и помогал у стола, и был камердинером. Видную роль в доме играла экономка – имя и отчество, к стыду своему, позабыл. Уроженка Риги, она была немкой. Вела она дом удивительно: везде была образцовая чистота, стол всегда превосходно сервирован и все было подано вовремя и хорошо. Особый стол самых разнообразных закусок составлял ее гордость, и надо отдать ей должное – таких вкусных закусок я больше нигде не едал! Особенно хорошо всегда бывал горячей картофель, подаваемый к закускам, он был приготовлен по особому способу и особого сорта. Выписывался этот картофель из Риги. Здесь, в этих хоромах, среди тончайших закусок и деликатесов, он кушался с особым аппетитом и никогда не надоедал. Заговорив о столе, не могу не упомянуть, что малютинский повар славился на всю Москву. Однако кухня его, типично московская, была тяжела и изобиловала пряностями. Нередко после обеда у Малютина мне приходилось чуть ли не сутки ничего не брать в рот съестного. Малютинская экономка была милейшая женщина: она давно жила в России, но по-русски говорила презабавно. Во время завтрака и обеда она неизменно сидела в конце стола, но больше наблюдала за порядком, чем ела. Малютин всегда сидел с правой стороны от нее. Самое приятное впечатление производил Яков Никонович Сергеев, управляющий конным заводом и той дачей в Москве, где жил по зимам Малютин. Высокий, тучный, тяжелый человек с русой курчавой бородкой, типичный русак по складу ума, образу жизни и убеждениям. До поступления к Малютину он был народным учителем и интересовался русской словесностью. Всем известны красивые, чисто русские и подчас поэтические имена малютинских лошадей: Лель, Горыныч, Лад, Ларчик, Зверобой... Называл лошадей или крестил их Яков Никонович, и это он так обогатил коннозаводский словарь. Служил он у Малютина лет двадцать, если не более. Был душой и телом предан своему хозяину, и, как мне кажется, из всех наследников единственно он любил Малютина вполне бескорыстно. Малютинским лошадям он поклонялся слепо и считал, что лучших лошадей и быть не могло. Впрочем, он несколько не ошибался. Случалось, что Малютин, под влиянием раздражения или проигрыша, решал продать ту или иную лошадь, но тут всегда появлялся на сцену Никоныч и уговаривал своего хозяина не делать этого. Вот почему было так трудно что-нибудь купить у Малютина. Немногие коннозаводчики могли похвастать тем, что имели в своих заводах малютинских лошадей. Яков Никонович не был знатоком в строгом

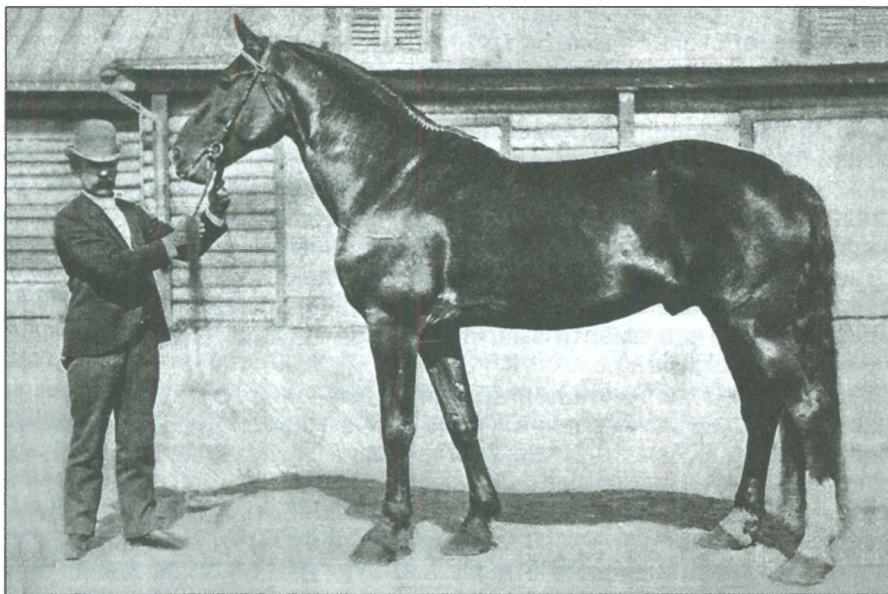
смысле этого слова, но, конечно, понимал лошадь и любил ее. Главная его заслуга – в преданности заводу, который он берег и лелеял. Благодаря этому малютинские рысаки были всегда превосходно воспитаны, что является, как всем известно, коренным условием успеха в нашем деле.

Почти два десятилетия «персоной грата» в малютинском доме был знаменитый наездник П. А. Чернов, имевший столько славных побед на лошадях малютинского завода. Малютин любил Чернова и верил ему слепо. Это не помешало Чернову под конец возмутительно поступить с Малютиным, за что, впрочем, судьба жестоко наказала его. Чернов – человек невысокого роста, с крупными и выразительными чертами лица и усами моряка. Вел свой род от знаменитого наездника графа Орлова-Чесменского Семена, прозванного Черным. И отец, и дед, и прадед Чернова были знаменитыми наездниками. Павел Алексеевич пошел по их стопам и одно время был лучшим русским наездником. Это совпало с эпохой расцвета малютинского завода. Чернов ездил

тогда с таким исключительным мастерством и успехом, имел такие исторические езды, что Коноплин прозвал его божеством – прозвище, которое сохранилось за ним навсегда. Естественно, эти успехи сблизили Чернова с его хозяином и сделали своим человеком в доме Малютина. Чернов вел очень не-



*В. Ф. Кейтон, П. А. Чернов*



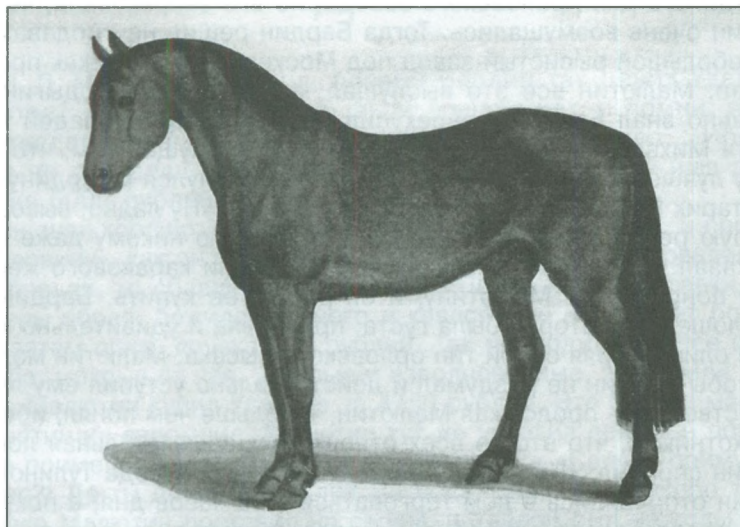
*Лель, гнедой жеребец, род. в 1885 г. в заводе Н. П. Малютина от Удалого и Ларочки; наездник Павел Чернов.*

умеренный образ жизни, кутил и мотал деньги направо и налево. За все платил, конечно, Малютин. Работал Чернов рысаков очень мало и ездил только на резвую, и то не всегда, да на приз. Ночи проводил в кутежах и, как большинство талантливых русских людей того времени, должен был либо спиться, либо начать дурить. Чернов пил много, но не спился, поэтому стал чудачить. Вообразив себя меценатом и знатоком искусства, он стал собирать картины и вскоре обзавелся «галереей». Немало недобросовестных людей нажило на этом денег. Когда Чернов «отошел» от Малютина и впал в бедность, то, решив продать галерею, был жестоко наказан за свое невежество и самодурство. За исключением нескольких картин все полотна оказались подделками, и все пошло за гроши. Вслед за «галереей» Чернов увлекся охотой, завел борзых и гончих, держал их в малютинском имении, где для этого построили специальный псарный двор, в котором число охотников и охотничьих лошадей доходило до пятнадцати. Всё, конечно, на средства Малютина. Еще глупее была затея с чистокровными лошадьми, которых Чернов завел было, но быстро в них разочаровался. Чернов самодурствовал немало, и все ему сходило с рук. Сорвался он вот на чем. В то время Малютин жил с некоей А. А. Гильбих, уже молодой женщиной еврейского типа и такого же происхождения. Она была некрасива, криклива и невероятно кривлялась. Малютин очень ее любил и был невероятно чуток к тому, как к ней относились. Тяжело было видеть этого почтенного барина-старика под башмаком такой недостойной женщины. Малютин баловал ее до безобразия, у нее не было только птичьего молока. С Малютиним она жила уже лет 10–12 и вдруг якобы влюбилась в Чернова, которого знала те же десять лет и почти каждый день виделась с ним за одним столом. Она бросила старика и вышла за Чернова замуж. О любви или увлечении здесь, конечно, не могло быть и речи, и вообще вся эта история носит оттенок чего-то загадочного и крайне непорядочного. Малютин был возмущен, и больше Чернов никогда не переступал малютинского порога. На его место наездника поступил Никита Марков, до того ездивший с большим успехом на лошадях Расторгуева. Все были возмущены поступком Чернова, даже русское общественное мнение, столь терпимое ко многому, было против него. Чернов оставил езду и уехал с женой в подаренное ему когда-то Малютиним имение в Тверской губернии. Там они три года вели, подражая Малютину, широкий образ жизни, но затем разорились, переехали в Москву, поселились на даче Гильбих на Верхней Масловке (также, конечно, подарок Малютина). Чернов пытался ездить, но счастье его покинуло: ездил он с таким скромным успехом, что было даже жаль знаменитого когда-то наездника, гремевшего на всю Россию и всех восхищавшего своим мастерством. К Чернову больше не вернулась его слава, он окончил свои дни скромно, живя у сестры на пенсию, которую ему назначило Московское беговое общество. Анна Адольфовна Гильбих бросила его еще при жизни, а после его смерти вышла замуж за красивого молодого человека без определенных занятий.

В самой скромной и самой деликатной форме я коснусь здесь «жен» Малютина. Действительно женат он был один раз в молодости, детей не имел, с женой разошелся, и она вторично вышла замуж за доктора Бетлинга. Сын от ее второго брака, В. Н. Бетлинг, был усыновлен Малютиним и после его смерти получил все состояние. После развода Малютин имел три или четыре привязанности, с которыми жил как муж и требовал к ним от посторонних самого корректного и джентльменского отношения. Этих дам он представлял не иначе как «моя жена» и тем предопределял форму отношений. Я знал двух его «жен» – А. А. Гильбих, о которой уже сказал, и А. К. Чернышеву. Последняя была молоденькая и красивая женщина из бедной семьи, потерявшая голову от той

роскоши, в которую попала. Ей суждено было прожить с Малютиным только два или три года. Я позволил себе коснуться этих отношений лишь потому, что пишу о лицах, окружавших Малютина, а женщины в его жизни имели на него подчас решающее влияние, почему обойти их молчанием вряд ли возможно.

После того как я описал окружение, позвольте мне перейти к выдающейся и светлой личности самого Малютина, этого величайшего коннозаводчика своего времени. Н. П. Малютин происходил из именитой купеческой семьи, его предки обладали миллионами. Он был представитель, если можно так выразиться, старой купеческой аристократии. Вид у Малютина был действительно вполне аристократический. Среднего роста, довольно плотный, с крупными, но красивыми чертами лица, седой как лунь. Я никогда более в жизни не видел



*Удалой, каракоровый жеребец, род. в 1871 г. в заводе В. И. Тулинова от Бойца и Упорной, родоначальник завода Н. П. Малютина*

таких ослепительно белых волос. Усики он носил небольшие и такую же бородку. Говорил тихо, протяжно и немного заикаясь. В движениях был медлителен и спокоен. От всей его фигуры веяло спокойной важностью и чувством собственного достоинства, тем чувством, которое, увы, так редко встречается у русских людей. Нигде, никогда и ни в каком обществе этот человек не мог пройти незамеченным. При его появлении неизбежно раздалась бы и раздавались вопросы, любопытные возгласы: кто это? Он не только обращал на себя всеобщее внимание, но и невольно и как-то сразу привлекал к себе сердца. Нечего и говорить, что он был европейцем с ног до головы, подолгу живал за границей, превосходно владел языками, был хорошо и разносторонне образованным человеком. Говорил мало и очень медленно, однако то, что говорил, оказывалось всегда необыкновенно уместно и умно. Говорили, что его глаза и вообще лицо очень напоминали глаза и лицо Тургенева. Я не видел Тургенева, но, судя по портретам нашего певца дворянских гнезд, нечто общее, несомненно, было, в особенности в выражении глаз. Малютин был чрезвычайно добрый и мягкий человек. Многие считали его гордым и недоступным, но то, что принималось за гордость, в действительности было застенчивостью. Те, кто пользовались, как я, его расположением, никогда не забудут этого очаровательного человека.



Однажды, сидя за столом после чая, я спросил Малютина, как он купил Удалого. Рассказ, который мне довелось услышать, навсегда остался в моей памяти и представляет несомненный интерес. Вот он. Малютин подыскивал производителя, и так как у знаменитого в то время конноторговца Бардина было немало знаменитых лошадей, то Малютин приехал к нему и заявил о своем желании купить в завод жеребца, предупредив, что он ценой не стесняется, но желает получить действительно первоклассную лошадь. Началась выводка. Лошадей было показано много, но ни на одной Малютин не хотел остановиться: то порода ему не нравилась, то лошадь была хоть и резва, но не хороша собою... Малютин уехал домой, ничего не купив. На другой день он виделся с известным знатоком рысистого дела Н. Д. Лодыгиным, который расхвалил ему Удалого и настоятельно советовал его купить. По словам Лодыгина, Бардин предлагал Удалого для Хреновского завода, но его забраковали, чем Лодыгин и сам Бардин очень возмущались. Тогда Бардин решил не продавать Удалого, а завести небольшой рысистый завод под Москвой с Удалым как производителем во главе. Малютин все это выслушал, поблагодарил Лодыгина и уехал. Малютин давно знал Бардина, перекупил у него немало лошадей для себя и своего брата Михаила Павловича, а потому был возмущен тем, что Бардин не показал ему лучшей лошади своей конюшни. Он вернулся к Бардину и стал его упрекать. Старик Бардин, потеряв терпение, сказал: «Ну ладно, выведу тебе лошадь, которую решил было оставить сыну и которую никому даже не показываю». Он сказал что-то приказчику, и вскоре вывели каракового жеребца. Лошадь сразу понравилась Малютину, и он решил ее купить. Бардин молчал и любовался лошадью, которая была густа, правильна и удивительно хороша собой, вполне олицетворяя собой тип орловского рысака. Малютин молчал и тихо молился, чтобы Бардин не раздумал и действительно уступил ему жеребца. «Я сразу почувствовал, – продолжал Малютин, – больше чем понял, ибо тогда был молодым охотником, что это во всех отношениях замечательная лошадь». Наконец Бардин спросил: «Ну что, хороша? Это Удалый завода Тулинова». Малютин и Бардин отправились в дом торговаться в 12 часов дня, а покупка закончилась в 6 часов вечера. Усердно и долго торговались оба охотника, ибо Бардин был не только барышник, но и охотник. Малютин рассказывал о покупке весьма картинно и со всеми подробностями. Торговались в кабинете. Бардин, по обыкновению, все время тянул трубку с длинным чубуком, Малютин курил сигару за сигарой, и оба частенько уходили вместе в столовую, где пили чай с калачами.

– Знаешь ли ты, что покупаешь? – спрашивал Бардин, который всем говорил «ты».

– Еще бы не знать! Тулиновского Удалого покупаю, – отвечал Малютин.

– То-то! Удалого! Да есть ли вторая такая лошадь в России? Нет, и нескоро будет! – замечал Бардин и опять принимался за чай с калачами.

Приведу со слов Малютина некоторые, правда, весьма краткие подробности о самом Бардине. Показывать почетным гостям выводу лошадей Бардин имел обыкновение из кабинета, где было большое окно: перед окном водили лошадей, а затем ставили на выводку. Рядом с кабинетом находилась столовая, где за самоваром, кипевшим целый день, Бардин делал дела, торгуясь с покупателями «до седьмого поту». Он очень любил торговаться, без чего не мог себе и представить продажу лошади. К чаю ничего не подавалось, кроме калачей, и исключения из этого правила не допускались ни для кого. Малютин был прав, говоря, что в этом доме прошла одна из славных страниц истории нашего коннозаводства, а я от себя добавлю, что здесь же началась слава завода и самого Малютина.



## УДАЛОЙ. КРЯЖ. ЛИХАЧ И ДРУГИЕ

Когда Н. П. Малютин спросил, почему Бардин так ценит Удалого, то услышал в ответ: «Знай, что второй такой лошади нет, и помни: если от Удалого не отведешь знаменитых лошадей – брось все дело... Ибо никогда и ни от кого не отведешь ничего путного! Эта лошадь тебе имя даст!» И назначил цену 6000 рублей.

Малютин знал хорошо, что Бардин любил запросить вдвое, и предложил ему «любую половину», как он говорил, то есть 3000 рублей. Торговались шесть часов, то набавляя, то сбавляя по 50 рублей. После каждой сбавки Бардин сымал со стены образ, божился на него и клялся, что не уступит больше ни копейки, но затем опять спускал 50 рублей. Так продолжалось все шесть часов. Наконец оба, мокрые от чая, усталые и взволнованные, закончили торг: в 6 часов вечера Малютин купил Удалого за 4750 рублей. Это было в мае 1876 года, числа Малютин не запомнил. Малютин тут же уплатил деньги и получил аттестат. «Когда примешь лошадь?» – спросил Бардин. – «Сейчас приму и уведу». – «Как сейчас?! Да ты очумел, что ли? На ночь глядя! Ведь скоро темь на дворе...» Однако Малютин поставил на своем, и Удалой был не только принят, но и сейчас же отправлен в подмосковную усадьбу Малютина, Мысово.

К рассказу Малютина считаю необходимым добавить, что в спортивной литературе указывается, что Малютин купил Удалого за 6000. Я спросил об этом Малютина, он вновь повторил, что заплатил за лошадь 4750 рублей. Возможно, Бардин для поддержания коммерции сам пустил слух, зависив полученную сумму.

Уже из одного этого рассказа можно заключить, что Малютин обладал тем чутьем, без которого нет не только гениального, но и просто хорошего животновода, а Бардин был не только крупнейшим барышником, когда-либо бывшим в России, но и настоящим знатоком лошади.

Как-то я спросил Малютина, почему он продал серого жеребца Полканчика, выигравшего в его цветах Императорский приз? В то время я готовил к печати свою большую монографию об англо-нормандской породе лошадей, о том влиянии, которое оказала орловская порода на резвость некоторых линий англо-нормандской лошади. Малютин, продавший Полканчика во Францию, на вопрос ответил коротко: «Лошадь не заводская». В этих трех словах кроется глубокий смысл: хотя Полканчик был и резов, и выиграл почетнейший приз, но он был недостаточно хорош собой, поэтому Малютин не допустил его в завод и продал. Многие ли коннозаводчики удержались бы от соблазна пустить в завод первоклассную по резвости лошадь, хотя бы и с некоторыми дефектами?! А Малютин не пускал. Вот почему он отвел таких исключительных по формам и

породистости лошадей, каких ни одному другому коннозаводчику отвести не удалось. Уже в то время Малютин исключительно высоко ценил формы и завод собрал почти из безупречных лошадей. Удивительно ли, что, обладая еще и редким чутьем, и громадным талантом, он стал одним из величайших русских коннозаводчиков!

В другой раз у нас зашла речь о Талисмане, давшем много хороших и резвых лошадей в заводе В. И. Кублицкого. Я довольно опрометчиво заметил, что Талисман мог бы дать знаменитых детей и у Николая Петровича. Малютин покачал головой и сказал: «Одно время я хотел его купить, но, когда мне составляли родословную жеребца, я от него отказался: порода мешаная». Придя домой, я взял десятый том заводской книги русских рысаков и, пробежав породу Талисмана, покраснел. Как мог рекомендовать его, вернее, выразить сожаление, что он не попал к Малютину! Малютин был совершенно прав, говоря, что у жеребца порода мешаная: отец Талисмана – знаменитый Табор не вполне выясненного происхождения со стороны матери, а прабабка Талисмана по прямой женской линии имеет только четверть рысистой крови.

Малютин не был генеалогом, но умел разбираться в породе лошади и требовал если не абсолютной чистоты крови, то во всяком случае не допускал никаких посторонних примесей для лошадей, участвующих в заводском деле, – глубоко верный взгляд тонкого знатока. Немногие коннозаводчики того времени придавали такое значение породе. Впрочем, никто из них и отдаленно не достиг тех результатов, которые получил Малютин; имена их давным-давно забыты, а имя Малютина и сейчас – украшение истории коннозаводства. Как ни странно, мне не раз приходилось слышать, что Малютин ничего не понимал в лошадях и что всё, мол, сделали деньги, Чернов да Яков Никонович Сергеев. Это мнение укоренилось у некоторых лиц потому, что Малютин был не только скромный, но и чрезвычайно застенчивый человек. Он не кричал о своих познаниях, не спорил и не вступал в дебаты, вообще держался замкнуто и в стороне. Русский человек, к несчастью, любит говорить о своем ближнем и конкуренте скорей дурное, чем хорошее, вот почему зависть пыталась отнять у Малютина его знания. Попытка с негодными средствами, над ней, конечно, смеялись люди серьезные, порядочные, знавшие Малютина. И Черновы, и Сергеевы были хороши и знамениты у Малютина. Но вот Чернов отошел от него, занялся заводским делом – и разорился, ничего путного не отвел. То же после смерти Малютина произошло и с Яковом Никоновичем.

Никогда не забуду одной беседы с Николаем Павловичем, в продолжение которой он меня поучал. Вообще, Малютин никогда никого не поучал, не в его характере это было. Здесь же он сделал исключение. Тепло и сердечно относясь ко мне, он решил дать мне урок, так как знал, что я его не просто запомню, но и сделаю для своей будущей коннозаводской деятельности надлежащие выводы. Я выразил сожаление, что в заводе Малютина всегда так мало маток, а значит, другим коннозаводчикам чрезвычайно трудно почерпнуть для своих заводов их материнской крови. Малютин улыбнулся и ответил: «Если бы у меня было больше маток, то я никогда бы не отвел таких лошадей, какими вы так восхищаетесь». Поясняя мысль, он стал рассказывать долго и пространно, как важно иметь в заводе не количество, а качество. Он говорил о значении матки, о том, что ее происхождение обязательно должно быть выдающимся, что она должна быть «самых лучших форм» (его точное выражение) и иметь хорошую беговую карьеру. Тут же он указал, как трудно купить подобных кобыл, и заключил: и этого мало, ибо когда найдешь такую кобылу, то нельзя быть уверенным в том, что она обязательно даст в заводе хороших лошадей или же не перестанет жеребиться. Он привел как пример свою любимицу Зиму 2-ю, ко-

торая перестала жеребиться после первого жеребенка: «Теперь вы видите, как трудно иметь большое количество маток. Лучше меньше, но чтоб все были хороши». Перейдя к вопросу о производителе, Малютин прочел мне целую лекцию. Вывод был таков: жеребец в заводе – это краеугольный камень в заводе для создания типа. Как это верно, как хорошо я это усвоил, когда стал в широком масштабе вести заводскую работу. Чтобы еще рельефнее подчеркнуть значение заводского жеребца, Малютин сказал: «Вот вы все так восхищаетесь моими лошадьми, но если бы вам сейчас нужен был производитель, то, знаете, я не рекомендовал бы вам ни одного жеребца из моей ставки или призовой конюшни: нет ни одного, достойного быть производителем». Если так говорил знаменитый коннозаводчик, чьи лошади гремели по всей стране, как же мне, тогда молодому, начинающему охотнику, не призадуматься было над тем, как действительно трудно найти в завод жеребца и какое решающее значение имеет производитель. «Вот Ловчий, – продолжал Николай Павлович, – это была настоящая заводская лошадь, я никогда не продал бы его». Тут я с удивлением посмотрел на Малютину, ведь именно он продал за 10 000 рублей Ловчего в Хреновской завод. Малютин понял мой вопрошающий взгляд: «Я его не продал, я его уступил Хреновскому заводу. И мог уступить только Хреновскому заводу. Цена ему не десять тысяч, а десять раз по десять тысяч. Дерфельден мне поверил и теперь будет с лошадьми. Никому другому и ни при каких обстоятельствах я не продал бы эту лошадь!»

Только теперь, вновь переживая впечатления от этого разговора, я вполне могу оценить, каким же знатоком был покойный Малютин. Как сейчас помню критику в охотничьих кругах на поступление Ловчего в Хреновской завод. Известно, что у Ловчего под конец его беговой карьеры было нечистое дыхание. Коноплин стал острить: «Я люблю оркестр в Большом театре, но терпеть не могу оркестр в конном заводе», намекая на то, что дети Ловчего будут на езде храпеть на все лады. Острота язвительная и жестокая, но говорилась она Коноплиным в свойственной ему манере – вкрадчиво, улыбочиво и добродушно. В знаменитом «фонаре» на петербургском бегу также шумели на все лады (в членской зале Санкт-Петербургского бегового общества есть большой стеклянный выступ в виде фонаря, где во время зимнего бега сидела вся знать: граф И. И. Воронцов-Дашков, князь Л. Д. Вяземский, К. Л. Вахтер, Шереметевы и другие. Эта святая святых, куда простому смертному проникнуть было невозможно, и называлась фонарем). Конечно, тут нападали не на Дерфельдена, чересчур мелкую фигуру для знати, метили гораздо выше – в главного управляющего государственным коннозаводством великого князя Дмитрия Константиновича. Он был орловец и поддерживал орловского рысака, а все петербуржцы – метизаторы, так как же было не позлословить над покупкой Ловчего, как не забрызгать грязью идейного врага! А кто же в результате оказался прав? Не остроумный Коноплин и не петербургская чиновная, родовитая и коннозаводская знать, а скромный генерал Дерфельден, который не мудрствуя лукаво послушал Н. П. Малютину и взял Ловчего. Ловчий возродил Хреновской завод, дал такого исключительного сына, как Лужок, оставил забываемую группу заводских маток, немногим частным коннозаводчикам, пославшим под него кобыл, подарил таких выдающихся ипподромных бойцов, как Безнадежная-Ласка, Ловчая, Ловкий и др.

Не только о заводских жеребцах и матках говорил мне Малютин. Немало интересного и тогда еще неизвестного сообщил он о содержании и воспитании лошади. Эта часть его поучения сводилась к трем словам: «Кормите, кормите и кормите, а затем работайте». Никто лучше Малютину не знал о том, как мы, русские коннозаводчики, недокармливали лошадей, испытывая от этого столько



*Сергей Алексеевич Сахновский.  
Журнал «Рысистый и скаковой спорт»*

бед и разочарований в нашей деятельности.

Многому я тогда научился у Малютина. И всегда вспоминаю с чувством глубокой признательности и восхищения этого замечательного русского человека, великого коннозаводчика, моего наставника на коннозаводском поприще.

Почти рядом с дачей Малютина, но ближе к Тверской заставе, рядом с известной фабрикой Сиу, находилась дача С. А. Сахновского. Большое владение: главный двухэтажный дом во дворе занимал фабрикант Сиу; один дом, выходящий на шоссе, длинное здание в два этажа, был разбит на квартиры; наконец, во дворе, против ездных ворот, в маленьком одноэтажном домике, вросшем в землю, жил сам Сергей Алексеевич Сахновский. Сахновский был настоящим гигантом и по росту, и по сложению, и по весу: могучая фигура русского богатыря, приветливое и красивое

лицо, огромная физическая сила – и при этом кротость и доброта ребенка, большое великодушие. Одевался он всегда в русскую поддевку, носил окладистую бороду, волосы зачесывал назад. Он производил внушительное впечатление, которое в дальнейшем неизменно развивалось в открытую и горячую симпатию. Я его знал уже глубоким стариком, беседы с ним успокоительно действовали на душу и всегда останутся в моей памяти как нечто отрадное и чистое. Человек прежней эпохи, невозвратно ушедшей, а потому милой и близкой сердцу.

Маленький домик, в котором жил Сахновский, внутри был уютен, как могут быть уютны и милы только те старые дома, где мирно много лет течет спокойная жизнь. Обстановка в домике была незамысловатой и скромной: небольшая гостиная уставлена ореховой мебелью сороковых годов работы известного мастера Гамбса, рядом – столовая с мебелью в русском стиле, далее – спальня с многочисленными образами и теплящимися перед ними лампадками, наконец, небольшой, продолговатый кабинет хозяина. В кабинете письменный стол и небольшая оттоманка, на которой по целым дням лежал старик Сахновский с книгой и карандашом в руке, делая бесконечные заметки в тетради и выписки из заводских книг. Вообще, книг в доме было очень много. Старушка Сахновская целыми днями либо вязала, либо читала. Сергей Алексеевич, также любя чтение, проводил за ним большую часть дня. В гостиной, столовой и кабинете были развешаны портреты знаменитых рысаков, когда-то принадлежавших либо Сахновскому, либо Шибяеву. Здесь я часто любовался знаменитым Кряжем, белым Лебедем (купленным у М. И. Бутовича), от которого родился знаменитый Лихач Шибяева, белым Пашой 2-м завода Кожины, вороным Бархатным, прославившимся потом своими дочерьми в заводе герцога Г. М. Лейхтенбергского, казаковским Ловким. Все портреты – кисти

художника и коннозаводчика А. Д. Чиркина, с которым Сахновский очень дружил. Во время революции почти все они перешли в мою собственность. Лишь один портрет Кряжа был передан старушкой Сахновской С. С. Шibaеву, одному из сыновей С. М. Шibaева, с которым Сахновский дружил всю жизнь.

Одна из дверей гостиной выводила на небольшую крытую галерею, обращенную к довольно большому и запущенному саду с прудом посередине и беседкой в конце. Двери кабинета выходили на другой балкон, с видом во двор; здесь старики любили летом пить чай и наблюдать кипучую жизнь двора и Петербургского шоссе. Во дворе дачи Сахновского находилось много конюшен с призовыми лошадьми. Сергей Алексеевич неизменно останавливал проходивших наездников и вступал с ними в беседы по поводу вверенных им рысаков. У Сахновского был единственный сын Юрий, которого он очень любил; Юрий Сахновский жил в одной из квартир большого дома и ежедневно навещал отца. Старший Сахновский был большим любителем лошадей и всю жизнь ничем другим не занимался. Его сын не унаследовал страсти отца и увлекся музыкой. Хороший музыкант, он работал серьезно и нередко выступал в консерватории, дирижуя оркестром. Впоследствии он стал писать о музыке в «Русском слове», где вел музыкальный раздел. Его дочь, стало быть, внучку Сергея Алексеевича, старики Сахновские боготворили. Когда я ее знавал, ей было лет 10–12, это была девочка редкой красоты, с длинными золотистыми волосами и красивыми голубыми глазами, очень милая, прекрасно щебетавшая по-французски.

Сахновские жили скромно и, хотя ни в чем себе не отказывали, нисколько не гонялись за модой, громкими знакомствами и прочим. Эти люди знали себе цену, к ним все относились с большим уважением.

С. А. Сахновский происходил из столбовых дворян Калужской губернии, родился он в 1833 году. Первоначально определился на службу по Министерству внутренних дел. Во время Крымской кампании был назначен, несмотря на молодость, членом комиссариата, ведавшего хозяйственной частью русской армии. По окончании Крымской войны Сахновский оставил государственную службу и всецело отдался любимому делу, то есть лошадям. Молодой охотник решил завести завод. Завод Сахновского находился в Богородском уезде Московской губернии, он купил его в полном составе в 1869 году у братьев Кудриных. Начиная с 1871 года Сахновский значительно увеличил состав завода, купив лошадей в наиболее известных заводах России. К числу покупок относятся хреновский Бархатный, прославившийся, как я уже упоминал, своими дочерьми: Баядеркой, внучкой знаменитой зотовской Самки; Славной, матерью Кряжа, и Франтихой завода Охотникова. Первые две кобылы знамениты потомством, а последняя, как мне говорил сам Сахновский, дала лошадей необыкновенной красоты, которые за громадные деньги шли в городскую езду. Впрочем, и кудринские лошади оказались неплохи, одна из них – Дуброва – основала знаменитую букву «Д» в лейхтенбергском заводе, иначе говоря, дала ряд дочерей, целое замечательное женское семейство, все представительницы которого получали имя на первую букву имени матери.

В том же Богородском уезде, а именно при сельце Пушкине, был завод С. М. Шibaева, почти целиком собранный и поставленный С. А. Сахновским. Словом, между двумя заводами существовала тесная связь, а первоначальное знакомство и деловые отношения между Сахновским и Шibaевым вскоре превратились в сердечную дружбу, связывавшую их всю жизнь. Между прочим, именно Сахновский купил у Лихарева двух внучек знаменитой зотовской Самки – Баядерку, которую оставил себе, и Беговую, которую уступил Шibaеву. Именно от Беговой родилась Быстрая, мать знаменитого шibaевского Кряжа-Быстрого. В заводе, собранном Сахновским для Шibaева, были и другие за-

мечательные кобылы, например воронинская Заноза, давшая знаменитого производителя Лихача (был жеребцом у М. Г. Петрово-Солового), ряд толевских кобыл исключительной красоты и высочайшей породы и, наконец, знаменитая голицынская Роговая-Дуброва. Как говорил мне Сергей Алексеевич, оба завода настолько тесно были связаны постоянными продажами и обменами, что Сахновский стал смотреть на шибаетовский завод как на свое детище, а вскоре и принял заведование оным. Вскоре Шибаетов предложил Сахновскому продать свой завод и работать на него. Выслушав предложение Шибаетова, Сахновский, как он мне об этом рассказывал, всю ночь не спал и раздумывал. Жаль было расставаться с собственным заводом, но он решил уступить, приняв во внимание обещание Шибаетова ассигновать крупные средства на покупку тех лошадей, которых сам Сахновский, человек относительно небогатый, приобрести в свой завод не мог. Сахновский хотел повести дело в широком масштабе, надеялся вывести замечательных лошадей, потому, как истинный охотник, пожертвовал своим самолюбием и поступил на службу к Шибаетову. Жертва большая, ведь он, столбовой дворянин, принадлежавший к калужскому и московскому дворянству, которое всегда первенствовало среди остального дворянства Российской империи, поступал на частную службу к купцу. Это произошло в конце семидесятых годов, когда дворянские традиции были еще очень сильными, потому в полной мере оценим жертву, принесенную Сахновским на алтарь коннозаводства.

Поступив к Шибаетову, он рьяно принялся за дело и в первую очередь произвел сортировку завода, оставив только действительно хороших лошадей. Засим, пользуясь открытым ему кредитом, стал покупать как жеребцов, так и кобыл. Особенно удачной была покупка Лебеда, отца Лихача, у М. И. Бутовича, приобретение Седобокоего, сына Велизария, а также Табора 2-го и Бурливого завода Зевлева. О покупке Красивого-Молодца, отца Кряжа, мы подробно расскажем дальше, так как эта покупка имела исторические последствия для всего русского коннозаводства.

Заводской матке Сахновский всегда придавал большое значение. Он обратился за материалом в завод Кожина, не побоявшись немодной тогда белой и светло-серой рубашки, и купил там замечательнейших кобыл, имена которых принадлежат истории нашего коннозаводства. При этой покупке Сахновский в полной мере проявил свое высокое дарование. Среди кожинских кобыл, а их было около десяти, оказались такие жемчужины, как Бархатная, дочь Паши, Гроза, дочь Потешного, Лестная, родная сестра Похвального (деда вяземского Зенита), Метелка, дочь Потешного, и Плотная, по матери – сестра великого Потешного. Бархатная, Гроза и Метелка прославились необыкновенным приплодом.

Следующую группу кобыл Сахновский купил у В. П. Охотникова, обогатив шибаетовский завод чистейшими орловцами, прошедшими через талантливые руки Шишкина. Во всех покупках Сахновский проявил знание генеалогии и настоящий дар распознавать хорошее. Он приобрел Персиянку, дочь Волнистой, у П. А. Степанова, а кто не знает теперь, что много лет спустя Волнистая, через заводы Соловцова и княжны Голицыной, основала феноменальную, прямо-таки сверхъестественную женскую семью.

Итак, Сахновский с редким мастерством, истинным вкусом, большим знанием дела собрал шибаетовский завод и повел его к славе и процветанию. Все сулило большое будущее заводу, но собрать плоды, и притом обильные, суждено было другому лицу.

Молодежь шибаетовского завода подавала блестящие надежды, отдельные лошади уже поехали, прославляя имя молодого заводчика, и даже город узнал

шибаевскую лошадь, оценил ее, а барышники охотно покупали целые ставки и отдельных лошадей. Наконец, появился Кряж (родился в 1876 году) и, еще будучи двух лет, ездил так, что Сахновский спокойно взирал на будущее и уверял своего хозяина и друга, что они отвели феноменальную лошадь. Когда Кряжу исполнилось два года, случилась беда. Шibaев решил продать завод во что бы то ни стало и как можно скорее. Как раненый зверь зарычал и заметался по комнате Сахновский, просил, убеждал и умолял Шibaева изменить решение. Ушел, вернулся и опять просил. Шibaев прослезился, но сказал, что изменить решение не может. Тогда Сахновский, взбешенный, встал, в нем сразу проснулась вся его дворянская гордость, заговорила барская спесь: он обругал Шibaева последними словами и, уходя, сказал, что больше никогда не желает иметь с ним дела и всю жизнь будет сожалеть о том, что связал свое имя с продажным купцом, алтынником и аршинником, для которого дороги на свете только деньги! И хлопнул дверью. Поздно ночью Шibaев пришел к Сахновскому, который не спал и переживал самые тяжелые минуты своей жизни. Что произошло между друзьями, о чем они говорили – никто и никогда не узнал. Но наутро они примирились, и Сахновский взял на себя ликвидацию шibaевского завода. Тяжелая миссия, ибо надо было собственными руками разрушить то, что с такой любовью, знанием и увлечением создавалось почти десять лет. И в какой момент разрушить – когда слава стучалась во все ворота! Одну лошадь Сахновский не согласился продать, а именно Кряжа, и не ошибся, оставив его за собой!

В заводе Шibaева было до 80 заводских маток и немало молодежи разных возрастов. Разумеется, распродать такой завод было нелегко, и тем более тяжело было продать его с условием Сахновского, заявившего, что завод продается в одни руки и не может быть раздроблен. Напрасно некоторые охотники заезжали с заднего крыльца к Сидару (Шibaева звали Сидором, но Сахновский называл его Сидар и так всегда произносил это имя, заменяя «о» на «а») и предлагали большие деньги за отдельных лошадей. Сидар Шibaев остался верен своему слову и не вмешивался в ликвидацию завода. Трудно было найти покупателя, помог делу приятель Сахновского, М. И. Бутович. Бутович был хорош с герцогом Лейхтенбергским, которого и убедил купить шibaевский завод в полном составе. В том же 1878 году сделка состоялась, и шibaевский завод тронулся в Тамбовскую губернию, в село Ивановку, имение герцога Лейхтенбергского. С этого времени началась и стала разрастаться слава лошадей Ивановского завода, слава, докатившаяся до наших дней и померкшая лишь совсем недавно, во время ужасов революции и Гражданской войны.

Лейхтенбергский был большой любитель лошади, но ни в коей мере не мог почитаться знатоком. Герцогский завод, основанный еще в 1846 году при покупке лошадей у графа Кутайсова, состоял из лошадей весьма посредственного происхождения, с некоторым, впрочем, преобладанием орловской крови. Естественно, что кутайсовские лошади, отличаясь разнотипностью, не могли конкурировать с орловскими рысаками. После того как бывший шibaевский завод пришел в Ивановку, герцог, в сопровождении генералитета, М. И. Бутовича и свиты, выехал на вновь купленный завод, который произвел на всех такое впечатление, что участь старого кутайсовского гнезда сразу решилась: его назначили в продажу. Напрашивался вопрос: кого же пригласить управляющим Ивановским заводом? Сам герцог и разрешил этот сложный и важный вопрос, и сделал это блестяще. За обедом, обратившись к Михаилу Ивановичу, он сказал, что естественнее всего назначить управляющим Сахновского, создавшего тех замечательных лошадей, которыми все только что любовались. Бутович ответил в весьма осторожной форме, что едва ли Сахновский опять пойдет



служить. Тогда герцог удивленно спросил: «Как? Он служил купцу, а мне не может?» На что Михаил Иванович весьма дипломатично и умело ответил классической фразой из Вольтера... Герцог понял, улыбнулся, и разговор перешел на другие темы. Больше герцог не возвращался к этому вопросу и, казалось, забыл о необходимости назначить вполне сведущего управляющего в Ивановке. Когда же они приехали в Москву, Лейхтенбергский, садясь в открытую коляску, просил Михаила Ивановича его сопровождать. «Едемте к Сахновскому», – сказал герцог, и коляска покатила. Так совершенно запросто, без предупреждения Лейхтенбергский приехал с Бутовичем на дачу к Сахновскому. Пил у него чай, просидел около двух часов, беседуя о лошадях, и совершенно очаровал хозяина. Наконец, подымаясь, герцог предложил Сахновскому принять управление заводом с назначением директором одного. Не успел Сахновский ответить, как Михаил Иванович обнял своего друга и поздравил его с тем, что он не расстается со своим любимым детищем и продолжит вести завод так же, как вел его и ранее. Сахновскому ничего не оставалось, как благодарить и принять предложение. Так состоялось назначение Сахновского директором Ивановского завода. Судьбе было угодно не только не отстранить его от любимого дела, но и вознести в общественном мнении на большую высоту. Помимо финансов, средств побольше шибаетовских, в распоряжении Сахновского оказалось новое и могущественное орудие, именуемое властью, ибо герцог был близок и хорош с тем, в чьих руках находились тогда судьбы России... Воздадим же должное Сахновскому за то, что он не возгордился, не забыл старых друзей и, главное, остался верен своей дружбе с Сидаром Шибаетовым, которому вскоре сумел оказать исключительную услугу.

Теперь прервем нить рассказа, который мы ведем хотя и не по памяти, но со слов покойного нашего друга С. А. Сахновского, и обратимся к описи завода герцога Лейхтенбергского. Ее напечатали в 1888 году, через десять лет после покупки герцогом завода Шибаетова. Опись включает всего 130 заводских маток. Из них собственно завода Шибаетова – 71, происходящих от шибаетовских кобыл – 33, итого 104 кобылы шибаетовских кровей. В оставшейся доле всего лишь 26 заводских единиц, которые распределяются приблизительно следующим образом: от кутайсовских кровей осталось 4–5 кобыл, из них лишь две – Генриада, мать Милого 1-го, и Храпунья – дали хороший приплод. Из четырех кобыл, купленных у М. И. Бутовича, три оказались замечательными матками: резвых детей дала Хозяйка; Радость произвела Редкость, мать знаменитой Русалки; Метелица завода Тулинова, ходившая у М. И. Бутовича в городе, дала знаменитого Кремня, Метелку и Марио. Остальные кобылы, числом до 15, купленные в разных местах, ничего путного не дали и после двух-трех жеребят их выбраковали из завода. Я привел эти статистические данные, чтобы показать, что знаменитый Ивановский завод решительно всем своим величием обязан Сахновскому и никому другому. Кому неизвестна слава лейхтенбергских лошадей и то исключительное распространение, которое они получили в России?! Лошади Ивановского завода отличались не только резвостью, но и выставочными формами, а эти качества вкупе с происхождением составляют то, к чему должен стремиться каждый коннозаводчик.

Сахновский управлял Ивановским заводом несколько лет и пользовался полным доверием Лейхтенбергского. Однако этого широкого и простого человека подчас утомляли и раздражали распоряжения из петербургской конторы, и он решил уйти. Как говорил мне сам Сергей Алексеевич, он считал свою миссию законченной, завод – стоящим на твердых ногах. А главное: достигнутые результаты настолько себя оправдали и принесли Сахновскому такое полное удовлетворение, что он уступил настояниям своего друга Сидара Шибаетова и подал

в отставку. Напрасно Лейхтенбергский просил его остаться, Сахновский решительно отказался. Тогда герцог спросил его: кому же следует передать в управление уже тогда знаменитый Ивановский завод? Сахновский указал на своего друга М. И. Бутовича, который к тому времени прожил все свое состояние и не прочь был устроиться. Герцог с удовольствием согласился, и Михаил Иванович, получив высокое звание шталмейстера герцога, принял от Сахновского завод. На мой вопрос, почему он указал на Бутовича, Сахновский отвечал приблизительно следующее: Михаил Иванович был известным ездоком-охотником, на призы ездил сам и со значительным успехом, был хорошим теоретиком этого дела, написавшим в шестидесятые годы брошюры о езде и выезде. В Ивановском заводе именно эта отрасль стояла слабо. Бутович блестяще ее наладил, при нем на ипподроме появились многие выдающиеся лошади, и, главное, в лице Якова Игнатьевича Кочеткова он оставил своего выученика, который почти тридцать лет кряду прослужил в Ивановском заводе. Еще каких-нибудь пятнадцать лет назад можно было видеть в конторе Ивановского завода инструкции выездки и тренировки, составленные М. И. Бутовичем, по которым и велась вся работа как Кочетковым, так и его помощниками. Резвость и хороший ход, всегда отличавшие лейхтенбергских лошадей, служат доказательством того, что Сахновский не ошибся, указав на Бутовича как на своего заместителя, ибо Михаил Иванович дал рысаку то, что для него так важно и чего так не хватало заводу.

Лейхтенбергский завод решительно всем был обязан Сахновскому и очень многим его другу Бутовичу. Но когда в 1905 году вышла великолепно изданная опись Ивановского завода, снабженная предисловием и кратким историческим очерком, имена Сахновского и Бутовича не были там даже упомянуты. Так иногда у нас пишется история!

Все рассказанное относится к первому, быть может, самому блестящему этапу коннозаводской работы Сахновского. Не без цели, не без умысла С. М. Шibaев просил своего друга уйти от герцога Лейхтенбергского. Продав завод, Шibaев заскучал по лошадям и задумал завести их вновь. Разумеется, нужно было опять привлечь Сахновского, в исключительное дарование которого он теперь верил слепо. Не без колебаний Сахновский дал свое согласие. Для завода было куплено специальное имение в Чембарском уезде Пензенской губернии – Аргамаково, где были хорошие постройки, манеж и замечательные угодья. В завод, основанный между 1883–1884 годами, вошли 35 кобыл. У меня имеется подарок Сахновского – составленная им в 1884 году опись завода с его пометками. Из описи видно, с каким вкусом всего за год собран был новый завод. В него вошло 14 кобыл завода де Бове, 9 лейхтенбергских и шibaевских первого завода, 6 кожинских, 4 завода Головнина, то есть примыкающих к кожинской группе, и еще две кобылы – телегинская Удачная и угримовская Потеха, о которых имеется пометка: «Ездовые Е. В. Шibaевой на пенсию в завод». Самая многочисленная и притом интересная группа – кобылы завода де Бове. Сахновский сделал ставку на кровь голохвостовского Петушка и ознобишинского Кролика. И не ошибся: почти все эти кобылы себя оправдали и дали беговой приплод. Особенно хороши были Задорная, призовая Ласточка и Самка. Так же удачно были выбраны и шibaевские кобылы из первого завода, ибо среди них оказалась знаменитая по приплоду Разгара. Однако ядро завода составляли шесть кожинских кобыл и примыкавшие к ним по крови четыре кобылы завода Головнина. Все без исключения кожинские кобылы дали призовой приплод: Боевая – известного в свое время Боевого; Бедовая – классную кобылу, имени которой не помню; Полтава через свою дочь прославилась первоклассными лошадьми в заводе Расторгуева, а Приказчица 2-я

дала Подарка, которого я ставлю выше Кряжа и считаю лучшей лошадью, вышедшей из творческих рук Сахновского.

Здесь совершенно уместно обратить внимание читателя на то, с каким постоянством, с каким упорством возвращался Сахновский к кожинскому материалу и пользовался им. И при создании первого завода, и в еще большей степени при основании второго шibaевского завода, и, наконец, при ведении им в дальнейшем завода Е. В. Шibaевой. В двух последних заводах он берег, ни за какие деньги не выпуская, кобыл, в которых текла кровь драгоценных кожинских лошадей. Изучая историю орловской рысистой породы, не поверхностно, а основательно знакомясь с ее генеалогией, я не мог не спросить Сахновского, почему он так высоко ценит кожинских лошадей. Вместо ответа Сахновский, будто юноша, вскочил с дивана и, на ходу поправляя халат, бросился к этажерке, достал оттуда большой альбом шibaевских лошадей, вошедших в первый завод. Он показал мне фотографии Бархатной (дала знаменитую Боевую, заводскую матку у М. В. Оболонского), Грозы (призовой приплод в Ивановском заводе – дочь Потешного) и Метелки, этой лучшей дочери Потешного и лучшей кобылы во всем лейхтенбергском заводе. Дивно красивые кобылы, в особенности Метелка! Я тогда же, попросив разрешения, переснял их для себя. Эти три фотографии и сейчас еще целы у меня, по ним можно судить, что представляли собой кожинские лошади.

Я долго любовался фотографиями и со вздохом заметил, положив наконец их на стол: «Теперь уж нет таких лошадей». На это Сахновский ответил, что метизация совершенно погубит орловского рысака. Затем он сказал: «О, знаете ли, что кожинские кобылы Боевая и Полтава, которые были у меня во втором заводе, еще лучше Метелки?! К сожалению, фотографии второго завода у меня не сохранилось». Я с недоверием посмотрел на старика, так как считал, что лучше Метелки кобылы быть не может. Сахновский понял меня и весь загорелся, лицо его преобразилось, он встал во весь свой гигантский рост и начал, все более увлекаясь и возвышая голос, говорить о кожинских лошадях, их необыкновенных качествах и красоте: «Кто не видел кожинского завода – тот не имеет понятия, каким должен быть орловский рысак!» Говорил он так громко, с таким жаром и так взволнованно, что из соседней комнаты пришла испуганная жена с вязаньем в руках. Узнав, в чем дело, она сказала мне: «Пожалуйста, больше никогда не говорите с ним о кожинском заводе – это его больное место». Затем, обратившись к мужу, заметила: «Сережа, не волнуйся, пожалуйста, и успокойся, тебе ведь так вредно волноваться». Старик затих, лег на свой неизменный диван, и беседа наша мирно потекла дальше.

Через несколько лет после этого эпизода, навсегда оставшегося у меня в памяти, я гостил у князя Л. Д. Вяземского. Почти такими же словами и так же восторженно князь отзывался о кожинском заводе, говоря, что лучших лошадей он никогда не видел. Значит, действительно хороши были кожинские лошади, если два величайших знатока – Сахновский и Вяземский – так отзывались о них.

Из второго завода, основанного Сахновским для Шibaева, вышло немало превосходных лошадей, в том числе одна поистине первоклассная – Кряж-Быстрый. Словом, и второй завод вполне себя оправдал и доставил Сидару Шibaеву на склоне его лет много радости и утешения.

После скоропостижной кончины С. М. Шibaева (где-то во второй половине восьмидесятых годов) его вдова Евдокия Викуловна наследовала завод. Сахновский не только продолжил любимое дело, но стал и одним из опекунов малолетних Шibaевых. Он действительно был другом дома и ближайшим советчиком Евдокии Викуловны. Жил он постоянно в Москве, на своей даче, но

заводом руководил: делал подбор, сортировал, продавал, покупал материал. В заводе же верные люди вели дело по его указаниям. Если при жизни Шибаева Сахновский до известной степени считался с его взглядами и вкусами и иногда даже давал заводское назначение его любимцам, то после его смерти он фактически полностью распорядился в заводе и вел его так, как хотел. Этот третий период его заводской работы продолжался тринадцать лет.

Следует упомянуть, что, продолжая оперировать тем же материалом, что и во втором периоде работы, Сахновский купил десять жихаревских кобыл и несколько изменил генеалогическую картину завода. По его словам, он переживал тогда полосу увлечения представителями дома Кролика. Так как я никогда не был поклонником жихаревских лошадей, считая их недостаточно фешенебельными по происхождению, то и спросил Сахновского, считает ли он эту покупку оправдавшей себя. Старик с полной искренностью ответил, что ожидал от них большего. Я заметил Сахновскому: «Как генеалог считал и считаю, что именно эти кобылы испортили общую, столь красивую генеалогическую картину завода Е. В. Шибаевой. Почему вы для введения крови Кролика остановились именно на жихаревских кобылах, когда это можно было сделать через более интересных кобыл, хотя бы, например, В. И. Ознобишина?» Сахновский, взяв том, открыл его там, где была закладка, и, потрясая книгой и стуча ладонью по листам, громко сказал: «Вот ответ». Он протянул мне второй том заводской книги русских рысаков. Я посмотрел и увидел, что это описание завода А. Д. Чиркина. Красным карандашом была отмечена кобыла Красавица завода С. М. Шибаева, дочь Красивого-Молодца и Пушки. Вокруг имени Красавицы были мелко написаны имена других лошадей и поставлены какие-то цифры. Известно, что Красавица – мать знаменитого Машистого... Я улыбнулся и сказал Сахновскому, что понял, почему он купил именно жихаревских кобыл. Дело в следующем. Красавица – дочь Красивого-Молодца, ее мать – дочь Кролика и жихаревской кобылы Забавы. У Шибаева в числе производителей было два сына Красивого-Молодца – Козырь и Красавец, для них-то и купил Сахновский жихаревских кобыл, имевших кровь и Кролика, и жихаревских лошадей. Имелось в виду сначала повторить комбинацию Красавицы, а потом и ее сына Машистого, что было уж совсем легко, купив жеребца этой линии. Сахновский, увлекшись представителями славного дома Кролика и желая ввести его кровь в завод, сделал это через уже испытанную комбинацию.

Почему же не получились те блестящие результаты, которых ожидал Сахновский? «Неудача была в том, – ответил Сергей Алексеевич, – что я не учел мозаику в родословных жихаревских кобыл, отступил от своего принципа – выше всего ставить чистоту крови, увлекся готовым рецептом. И нарвался». Здесь, в домике Сахновского, я впервые услышал и «мозаику родословной», и «рецепт», и прочие его термины, такие меткие и верные. Приведенный пример хорошо показывает вдумчивость Сахновского в заводской работе, то, как он искал новые пути работы. Это и пример того, как вообще трудна заводская работа. Казалось, все в комбинации было продумано, рассчитано и сулило быстрый и верный успех. Но не был учтен один фактор – и вся операция, отнявшая столько времени, труда и денег, оказалась менее удачной, чем можно было ожидать. При современном состоянии науки о наследственности явление понятное и объяснимое, но тогда, когда Сахновский осуществлял свою комбинацию, наука еще не так продвинулась в этих вопросах и ему пришлось самому делать выводы. Он сделал их правильно, научился сам и научил других.

Два слова о жеребцах третьего периода работы Сахновского. Прежде всего, он оперировал представителями уже «своих» основанных линий, например Красивого-Молодца, но счел нужным ввести другие крови и купил несколько

жеребцов. Из них ознобишинский Колдун ничего не дал, Гордый и Серебряный себя вполне оправдали. О Гордом Сахновский отзывался как о лошади капитальной, густой, но сырой; Гордый нужен был для производства городских лошадей, в нем Сахновский нашел то, что искал, ибо Гордый «лепил, как блины» (опять подлинное выражение Сахновского) крупных вороных, густых и правильных лошадей. Конечно, нельзя было не считаться с требованием рынка, а в то время за хорошую городскую пару платили и 5000, и 6000 рублей. Сахновский дорожил Гордым, который к тому же был хорош и по породе, как сын Удалого и Гранаты. Происхождение Гордого позволило ему дать немало резвых лошадей, появлявшихся на московском бегу.

Если Гордого ввели в завод для производства городских лошадей, то покупка белого казачьего жеребца Серебряного отвечала совсем другим стремлениям и чаяниям маститого охотника. В Серебряном Сахновский нашел ту лошадь, которую давно искал. Серебряный олицетворял собой тип настоящего орловского рысака: он был необыкновенно красив, исключительно породен, чрезвычайно сух и вместе с тем росл и достаточно широк. Происхождения он был самого высокого, действительно аристократического: сын Чародея и внук Лебеда 5-го, а со стороны матери – внук Непобедимого 2-го и Персиянки, этой лучшей дочери Горностая 4-го! Серебряный и сам бежал, и дал такую лошадь, как шибаетский Подарок – лучшее после Кряжа произведение, вышедшее из рук Сахновского. Где-то существует превосходный портрет Серебряного, написанный Чиркиным в Аргамакове. Портрет принадлежал Шибаетым; где он находится теперь – неизвестно. Еще интереснее портрет уже старого Серебряного, написанный известным художником Н. А. Клодтом для Расторгуева; ныне этот портрет принадлежит мне. Наконец, московскому барышнику Силину принадлежит редкая по красоте серебряная статуэтка этого жеребца работы Сазикова, купленная Силиным во время революции у Н. С. Шибаета. Таким образом, иконография Серебряного сохранилась в достаточном количестве и мы вполне можем судить о формах этой необыкновенной лошади.

Немало хороших лошадей вывел Сахновский, руководя заводом Е. В. Шибаетой. В 1899 году, когда Евдокия Викуловна умерла, завод перешел по разделу между братьями в собственность Н. С. Шибаета. Естественно, Сахновский продолжал вести дело с тем же успехом, что и ранее. Николай Сидорович был еще совсем молодой человек, от природы очень недалекий; он потом спился, выздоровел, во время революции дважды сходил с ума и, наконец, умер в страшной нищете от голода. Первое время Шибает-младший не противоречил Сахновскому, и тот единолично вел завод. Но так продолжалось недолго, не более пяти лет. Шибает подпал под влияние разных недобросовестных людей, запил, стал вмешиваться в дела завода, продавать лошадей, покупать всякую дрянь, и Сахновский, возмущенный всем этим, ушел. Прошло всего несколько лет, и Николай Сидорович, сам ведший завод, довел его до полного упадка и затем распродал за гроши. Так бесславно закончил свое существование знаменитый когда-то шибаетский завод. Годы заводского упадка, его гибели и ликвидации были тяжелым временем для Сахновского. Он страдал, часто говорил со мной об этом, повторяя: «Эх, если б мне годков десять скинуть со счета, я показал бы этому молокососу, что такое шибаетский завод, и никогда бы не допустил его гибели». Эти пять лет, отданные заводу Н. С. Шибаета, были последним этапом работы на коннозаводской ниве почтенного ветерана, его лебединой песнью.

После ухода от Шибаета Сергей Алексеевич Сахновский уже не вернулся к заводскому делу. Годы брали свое, Сахновский хворал и целые дни проводил за чтением любимых заводских книг, почти не вставая с дивана. Несмотря

ря на очень почтенный возраст, ум его, казалось, нисколько не устал. Не удивительно, что, ведя завод и для Н. С. Шибеева, Сахновский продолжал представлять превосходных лошадей и даже организовал призовую конюшню, которой Е. В. Шибеева никогда не держала. Призовую конюшню старик вел сам, и очень удачно. Он взял ученика хреновской школы В. Гусакова почти мальчиком и сделал из него хорошего наездника. Никогда не забуду тех вечеров, когда я сживал у старика Сахновского с сигарой, присутствуя при его наставлениях молодому Гусакову. Тот переминался с ноги на ногу, слушал, изредка спрашивал или отвечал на вопрос, а старик Сахновский давал указания, как работать ту или иную лошадь. И научил многому.

В последние пять лет своей работы Сахновский выставил поистине первоклассную лошадь – вороную кобылу Чару, призовая карьера которой, к сожалению, преждевременно оборвалась. Имея нужду в производителе, он, еще при Е. В. Шибеевой, удачно купил Нежданного. Нежданный оказался удивительным производителем, дав почти 80 процентов призового приплода. Плодами воспользовался молодой Шибеев. Не могу отказать себе в удовольствии напомнить лишний раз о том, какой был верный глаз у Сахновского, подчеркнуть его знание заводского дела. Для Н. С. Шибеева он купил лишь трех кобыл – Кашу, Невзгоду и Варлянку. Все три оказались замечательными матками. Каша дала трех кряду безминутных лошадей у Сахновского и уступлена мне с наказом беречь как зеницу ока. Что дала Каша в Прилепском заводе – уже известно. Невзгода была дочерью Нагиба, отца стольких замечательных лошадей господ Молоствовых, и охотниковской Самки, дочери Битвы 2-й! По породе тогда, пожалуй, не было в России кобылы выше и интереснее. Наконец, голицынская Варлянка происходила по прямой женской линии от великой Метелицы! Вот каких кобыл сумел найти и купить Сахновский! К несчастью, приплод Варлянки и Невзгоды погиб в тех случайных условиях, в какие был поставлен уже при Н. С. Шибееве.

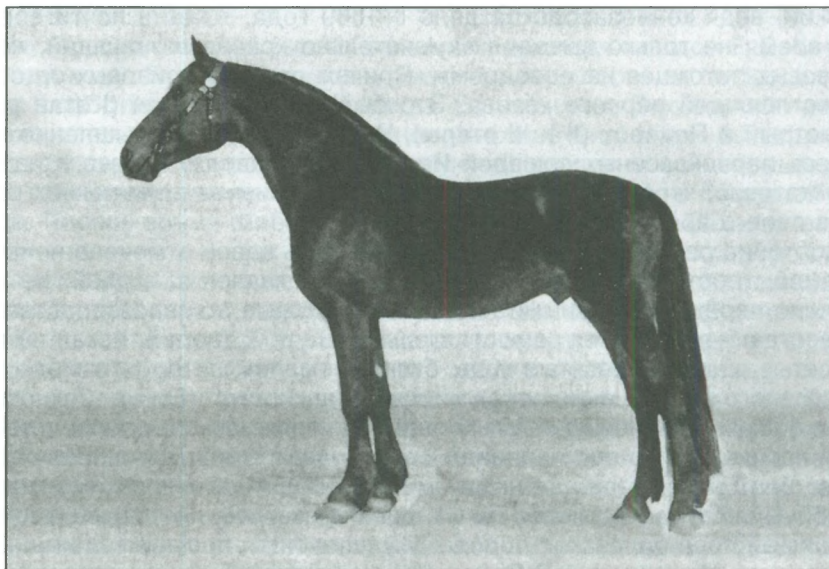
Вот все четыре этапа коннозаводской деятельности Сахновского. Можно в немногих словах подвести ее итоги. Прежде всего бросается в глаза то, что Сахновский, ведя коннозаводское дело с 1869 года, то есть почти сорок лет, все это время не только выводил замечательно красивых лошадей, но и дал массу резвых питомцев на ипподромы. Причем помимо призовых он создал и несколько лошадей первого класса. Это были Кряж и Лихач (I этап работы), Кряж-Быстрый и Подарок (II и III этапы), Чара (IV этап). Я умышленно не привожу здесь первоклассных лошадей Ивановского завода, однако и названных имен достаточно, чтобы признать Сахновского одним из величайших коннозаводчиков своего времени.

Что достойно особого внимания и должно быть здесь отмечено непременно – это самобытность таланта Сахновского. Он не гнался за модой, не преклонялся слепо перед популярными линиями (а таковые в коннозаводстве всегда были и всегда будут), а шел самостоятельным путем, творил, искал и находил! Семидесятые и восьмидесятые годы были временем не просто моды, а прямо-таки слепого преклонения перед линией шишкинского Бычка. Сахновский не поддавался общему увлечению и только один раз взял нескольких представителей этой крови, да и то под влиянием своего друга Сидара, говорившего: «Как же можно без Бычка, ведь над нами смеяться будут!» Сахновскому мы ставим это в особую заслугу, ибо линия Бычка, давая резвость, принесла вместе с тем неисчислимый вред орловской породе, ухудшив тип и провалив спины. Сахновский же создал свою линию. В Замоскворечье из бочки он выпряг старого жеребца, возившего воду, – это был Красивый-Молодец, отец Кряжа и родоначальник той линии, которая играла в коннозаводстве решающую роль в течение двадцати пяти лет. Затем он обратился к забытой линии Лебеда 5-го и Сереб-

ряного, отца Подарка, одной из величайших лошадей, когда-либо появлявшихся на русских ипподромах. Если бы не преждевременная смерть этой великой лошади в Хреновой, то весьма возможно, что первенство в создании лошади столетия было бы не за линией Полкана 3-го, а за линией Лебеда 4-го. Далее Сахновский взял Лебеда, сына Полкана 7-го, и создал Лихача, положив начало новой линии, могучей и боевой, с которой связаны лучшие успехи завода Петрово-Солового и многих других заводов. Наконец, уже глубоким стариком, он останавливается на линии Крутого 2-го: берет Нежданного и хотя не успевает отвести непосредственно от него первоклассного представителя, но указывает и предвосхищает его грядущую славу!

О, это был талант! Настоящий! Не прошедший никакой школы, но блестящий столькими цветами своего дарования, давший русскому коннозаводству столько нового и значительного! Нельзя умолчать также и о том, что Сахновский первым после Н. И. Родзевича угадал Вармика, провидя в нем замечательного производителя. По его настоянию С. В. Живаго купил Вармика у Л. И. Вирского.

Прежде рассказа о том, как все было, несколько слов о беговой карьере этой лошади. На состязаниях Вармик впервые выступил, когда ему было пять лет – в 1899 году. От имени своего заводчика он три раза пробежал в Москве, выиграв три первых приза; засим проехал два раза в Питере, раз придя первым и раз на платном месте. Лучшая его резвость в том году – 2 минуты 24 секунды. Ездили на нем Мордвинов в Питере и Финенко в Москве. В следующем году Вармик не бежал. В 1901 году, семи лет, опять-таки от имени заводчика он пробежал 4 раза. Выиграл три первых приза в Москве под управлением Кочеткова и раз проехал в Рязани. В 1902 году опять ездил 4 раза, один раз в Москве был на платном месте и два первых выиграл в Рязани. В 1903-м он вовсе не бежал и, по-видимому, в конце года его продали Л. И. Вирскому. Следующие два года Вармик бежал от его имени. В 1904-м – в Москве, Санкт-Петербурге и Козлове; в Козлове показал на версту замечательную резвость –



*Вармик, гнедой жеребец, род. в 1894 г. в заводе Н. И. Родзевича от Варвара-Железного и Войны, один из лучших русских производителей. Журнал «Рысак и скакун», 16.03.1914 г.*

1 минута 32 секунды, а на гит не был резвее – 2 минуты 25 секунд на столичных ипподромах. Ездил часто, но первым был всего лишь пять раз и пятнадцать раз на платном месте. В 1905 году, уже одиннадцати лет, он бежал в Москве, Козлове, Санкт-Петербурге; дважды был первым, имел двенадцать платных мест, в Москве показал свое предельное время – 2 минуты 18,4 секунды. Выигрыш его составил 21 500 с чем-то рублей.

Карьера довольно скромная, не предвещавшая, что Вармик станет замечательным производителем. В коннозаводских кругах о нем никто не говорил серьезно, и он не имел решительно никаких шансов поступить в первоклассный завод. Только два лица держались совершенно противоположного мнения и считали Вармика феноменальной по резвости лошадью – Сахновский и Родзевич, в заводе которого он родился. Родзевич искренне верил в Вармика, дал ему в своем заводе несколько маток. Сахновский же ежедневно внимательно следил за бегами и проездками и, как мне сам говорил, видел у Вармика феноменальные четверти. Кроме того, Сергей Алексеевич часто наблюдал Вармика в конюшне Вирского у себя на даче. Словом, Сахновский влюбился в эту лошадь и несколько раз принимался мне говорить о ней. Однажды вечером, когда я сидел у него за бесконечной беседой о лошадях, старик вдруг сделал большие глаза, приподнялся на диване, облокотился и почти шепотом заговорил: «Вы знаете, Яков Иванович, как я вас люблю и уважаю, послушайте старика – возьмите к себе в завод Вармика. Для вас я устрою его за 5000, и, если нужно, Вирский денги подождет». После чего Сахновский с жаром пылкого юноши стал убеждать меня, что Вармик будет феноменальным производителем, приводя тому различные доводы и соображения. Признаюсь, не без удивления я слушал старика и наконец ответил: «Вас ли я слышу, Сергей Алексеевич! Таков ли должен быть орловский производитель? Это ли тот идеал, о котором вы столько раз мне говорили? Ведь Вармик – небольшая лошадь, трех верхков. Сырватая и простая». На этом наша беседа закончилась. Идя домой чудной лунной ночью по беговой аллее, думая о словах Сахновского, я решил, что старик, зная тяжелое материальное положение Вирского, желает помочь ему продать лошадь. Через несколько дней ко мне неожиданно приехал Сахновский и опять принялся убеждать купить Вармика; он вошел в такой азарт, что даже воскликнул: «Я кровью распишусь, что Вармик будет феноменальный производитель!» Вместо ответа я вынул большую родословную Недотрога, которым в то время очень увлекался, и, показывая его породу Сахновскому, спросил: «Неужели Недотрог не выше по породе, чем Вармик?» Я решительно уклонился от покупки Вармика, а огорченный Сахновский сказал мне: «Не пройдет и трех дней, как Вармик будет продан», встал, простился, обнял меня и ушел. Действительно, через несколько дней Вармика купил Живаго, который слепо верил Сахновскому и прямо-таки боготворил старика.

Сахновский оказался тысячу раз прав: Вармик стал феноменальным производителем. Плоды этого собрал Живаго, и очень скоро: в заводе Родзевича подросли дети Вармика, побежали необыкновенно и цена на них невероятно возросла. К этому времени у Живаго оказалась для продажи ставка детей Вармика. Сахновский не дождался этой счастливой минуты, а старик Родзевич не раз трунил надо мной, вспоминая мое упорное нежелание купить Вармика. Всего два раза Сахновский предлагал мне купить лошадей. Первый раз он продал мне Кашу, сказав, что не продает ее мне, а уступает. Каша стала одной из лучших маток не его романа, но диапазон коннозаводского таланта Сахновского был настолько широк, что он сумел и оценить Вармика, и предугадать в нем великого производителя.



Помимо интересов коннозаводства Сахновский очень дорожил интересами спорта. Он не только любил, но и знал беговое дело. Уже глубоким стариком, он постоянно посещал бега, внимательно следил за ходом состязаний, делал пометки в афише и был в курсе всех беговых новостей. За «его» столиком на верхнем балконе всегда собиралась постоянная компания: С. В. Живаго, Л. И. Вирский, В. В. Костенский, Н. И. Родзевич и ветеринарный врач В. Е. Оболенский. К ним то и дело подходили охотники и коннозаводчики, все с одинаковым уважением относившиеся к Сахновскому. Несомненно, значительная доля успеха, выпавшего ему, объясняется его правильным взглядом на значение работы и испытаний для рысака. В свое время С. А. Сахновский был новатором и в этом вопросе, еще в семидесятые годы выступив за необходимость тренировки и систематической работы молодняка.

Расскажу мало кому известный эпизод из спортивной жизни Сахновского, а именно трагический случай с Кряжем. Кряж уже в двухлетнем возрасте отличался удивительными способностями. Но, по условиям того времени, начать выступать мог лишь в возрасте четырех лет, ибо трехлетние призы к розыгрышу в столицах не были назначены. В 1880 году состоялось всего лишь два трехлетних приза: один разыграли в Таганроге, а другой, по мысли Г. Д. Янькова, в Ефремове. Впервые Кряж выступил перед публикой 6 января 1880 года. Афиша этого бега с собственноручной пометкой Сахновского была им подарена мне. Кряж пришел первым, покрыв две версты в 3 минуты 53 секунды. С ним никто не решился записаться, и он выиграл, как пожелал, так как ехал один. На проездах же до приза он показывал большую резвость. В Москве 8 июня того же года он выигрывает приз Государственного коннозаводства и получает приз целиком, так как Бодрый 2-й остался за флагом, а знаменитый впоследствии Дивный проскакал. Следующий бег на московскую премию Кряж пришел первым – в 5 минут 9 секунд, бросив на три секунды Дивного, но сделал проскачку на перебежке и, по правилам, лишился приза. Такой же неудачной оказалась езда на следующий, Ходынский приз: Кряж съехал на первой версте из-за поломки американки. Ходынский приз – один из крупнейших в сезоне, первая лошадь получала 3000, сумму по тем временам очень значительную. Поломка экипажа, случайное несчастье, как громом поразила Сахновского, и он, желая доказать, что Кряж не мог проиграть приз, делает заявление вице-президенту общества и, на основании § 76 и 77 Устава, через час после розыгрыша Ходынского приза едет на Кряже в беге на свидетельство. Кряж блестяще покрывает дистанцию в 5 минут 10,3 секунды. Всего час тому назад Ходынский приз был разыгран в борьбе в 5 минут 18 секунд – почти на 8 секунд тише! Публика устроила Сахновскому и Кряжу овацию, а Дациаро, жеребец которого, Дивный, благодаря несчастному случаю выиграл приз, чувствовал Сахновского обедом, на котором присутствовал почти весь состав членов Московского бегового общества.

Сезон и первый год своей беговой карьеры Кряж закончил блестящим выигрышем приза общества в 1500 рублей: он пришел за 5 минут 20 секунд, оставив всех соперников за флагом и целиком выиграв приз. В 1880 году на Кряже ездил И. Федин, а тренировал его сам Сахновский. Таким образом, Кряж являлся моральным победителем всех призов, в которых выступил. Величайшие надежды возлагались на жеребца, Сахновский спокойно взирал в будущее и готовил Кряжа к предстоящему сезону. Среди охотников Кряж считался резвейшей лошадей десятилетия, ему заранее отдавались все призы. Однако судьба готовила иное: 1881 год оказался для Кряжа не только тяжелым, но и фатальным.

Езда Федина не удовлетворяла Сахновского, и он пригласил П. Чернова, в

руках которого Кряж впервые выступил в 1881 году в призе Государственного коннозаводства, придя только третьим в 5 минут 14 секунд. Сахновский говорил мне, что Чернов проехал отвратительно и всю дистанцию только и делал, что боролся с Кряжем. После одного бега Сахновский не хотел менять ездока, но Чернов сам отказался, сказав, что лошадь ему не по рукам. Сахновский оказался в очень трудном положении: сезон в разгаре, все лучшие наездники на местах. Посадить было некого. Выручил Сахновского его старый приятель Бутович: он согласился ехать на Кряже и начал его работать. До приза оставалось десять дней, Кряж у Михаила Ивановича пошел замечательно.

Вечером накануне бега Бутович пил чай у Сахновского и был в прекрасном настроении: Кряж имел замечательную проездку и чувствовал себя как никогда. Михаил Иванович рассчитывал не только выиграть, но и приехать в рекордные секунды. Вскоре подошли охотники, и оживленная беседа затянулась за полночь. Разделить общее оживление Сахновскому мешало какое-то смутное предчувствие, ему было не по себе. Вице-президент общества Коллюбакин стал мягко шутить над Сахновским, предложив пойти и посмотреть Кряжа, дабы убедиться, что лошадь здорова и чувствует себя хорошо, но воспротивился Михаил Иванович, не хотевший тревожить лошадь.

Когда гости ушли и друзья остались одни, они отправились на конюшню. Кряж спокойно стоял в деннике, в конюшне было тихо, едва мерцал фонарь, да пахло свежим сеном и опилками. Сахновский открыл денник, Кряж доверчиво потянулся к нему, скосив умный глаз. Сахновский потрепал жеребца по шее, поласкал, потом запер дверь денника, попробовал два или три раза, хорошо ли она закрылась, и друзья покинули конюшню. Сахновский пошел провожать Михаила Ивановича, сказав, что ему не хочется спать и вообще что-то не по себе. Бутович успокаивал друга, уверенно заметив ему, что Кряж проиграть не может, так как ни Бодрый, ни Дивный ему не конкуренты, а воронцовский Батыр хотя и резов, но разлажен. Михаил Иванович убежденно утверждал, что он никогда не ехал на приз с такой полной уверенностью в победе. «А что касается секунд – увидишь завтра!» – на этом друзья расстались и разошлись по домам. Всю ночь Сахновский не мог уснуть, а когда под утро заснул, то ему привиделся Кряж, выбегающий из конюшни. Он сразу проснулся. «Не к добру сон», – сказал он жене и пошел на конюшню.

По программе приза, в котором должен был участвовать Кряж, а именно Московская премия, разыгрывался первым. На афише – имена четырех лошадей: воронцовский Батыр, Дивный И. И. Дациаро, Кряж и Бодрый 2-й. Кряж был в духу и на проезде шел как никогда. Раздавались голоса, шум, говор – в его честь, все были уверены в его блестящей победе. Наконец раздается звонок, и на Кряже выезжает Михаил Иванович. Он тоже в духу, тоже в ударе: он вихрем пронесется на старт мимо шумных трибун, мимо сосредоточенных лиц в членской и белая борода старика развеивается от быстрой езды, его высоко поднятые руки туго держат натянутые, как стрелы, голубые вожжи. Публика шумит, волнуется и приветствует знаменитого старого ездока на знаменитом Кряже. Звонок. Бег начат! Кряж летит, как выпущенная из лука стрела, часы показывают феноменальные четверки и восьмушки... Он не только выигрывает премию вне конкуренции, но и намного побивает всероссийский рекорд... Ах, этот крик! Стон вырывается из тысячи уст, и затем наступает жуткая тишина. А Кряж, как раненая птица, как подстреленный зверь, сначала вздернул, а потом мотнул головой и, улекая за собой ездока, камнем повалился на землю. Только один человек из этой тысячной толпы, тот, кто больше всех в эти минуты надеялся, волновался и страдал, не растерялся. Все кругом еще безмолвствовало, а Сахновский уже мчался во весь дух среди дорожки, спешил на помощь

Кряжу, размахивая руками, без шапки, кудри развеваются по ветру. Толпа приходит в себя, кричит, волнуется, вмиг опрокидывает решетку и бросается на дорожку, устремляясь к Кряжу. Но уже раздается громкий, властный голос, который отдает приказ конной полиции оттеснить публику и водворить порядок. Это распоряжается со своего вице-губернаторского балкона Колюбакин, спесивый и гордый барин, небрежно играя выхолненным бакенбардом. На нем вылощенный цилиндр и модного покроя сюртук. От всей его фигуры веет достоинством, он действует спокойно и властно, зная, что здесь ему все подчиняется. Полицейские оттесняют толпу, очищают дорожку и почти водворяют порядок. А там, в повороте, разыгрывается душу раздирающая сцена: Сахновский подбежал к Кряжу, бросился на колени, обнял его за голову. Вскочил и завопил так, что его услышали на всем Ходынском поле: «Ножа! Ножа!» Как часто бывает в подобных трагических минуты русской жизни, нашелся и для Сахновского свой Платошка Каратаев: вынырнул он откуда-то из-за угла, из-за куста и бросился к Сахновскому, на ходу вынимая складной нож из-за голенища. Мигом обрезав гужи, чересседельники и подбрюшники, Сахновский освободил Кряжа. Но конь только еще больше завалился и не встал...

В беседке Колюбакин находит, что эта сцена чересчур долго продолжается, и посылает стартера узнать, что случилось с Кряжем. «Сломал ногу», – через несколько минут доложил стартер, и доклад мигом пронесится по всем трибунам. «Пристрелить его», – роняет небрежно Колюбакин и продолжает лорнировать дам. Вокруг Кряжа тем временем все кипит: с него сняли сбрую, откатали дрожки, наездники и конюхи хлопчут кругом, а Сахновский ждет розвальни и ломового, чтобы, уложив Кряжа, везти его домой. Напрасно стартер, сопровождаемый доктором и фельдшером, докладывает Сахновскому, что Кряжа велено пристрелить. Сахновский не понимает, молчит, он ждет сани, за ними ведь давно побежали верные и преданные люди. Доктор берет его за руку, отстраняет от лошади и подходит к ней с револьвером в руках. Сахновский только тут понимает, в чем дело, понимает, что хотят пристрелить Кряжа – его друга, лошадь, в которую он вложил столько надежд и упований. Он мигом выхватывает из рук доктора револьвер. Боже, как он страшен и гневен в эту минуту! Громовым голосом ко всем обращается, кричит, что того, кто только посмеет подойти к Кряжу, мигом положит наповал... Подъехали розвальни, Кряжа положили на душистое сено и увезли с бега. Увезли того, кто должен был победить.

Бега шли своим чередом, а на даче Сахновского, куда привезли Кряжа, – Содом и Гоморра. Бегают люди, суетятся горничные, выноса из дому простыни и одеяла, снуют конюхи, связывая вожжи и неся веревки. И все это покрывает громовой голос Сахновского, который уже вполне овладел собой, командует и распоряжается. Еще несколько минут – и Кряж на белоснежных голландских простынях подвешен в конюшне. Начался долгий период его лечения. Так закончилась беговая карьера этой лошади. Только страшная сила воли Сахновского, его упорство и любовь спасли Кряжа. Нога срослась, и Кряж, хотя и никогда больше не появлялся на бегу, но вполне оправдал надежды Сахновского, сделавшись одним из величайших орловских производителей.

Я передал историю Кряжа со слов Сахновского, который и через много лет не мог говорить о нем спокойно. Но в анналах спорта этой эпопее посвящены лишь четыре бесстрастные строчки: «С. А. Сахновского гн. жер. Кряж от Кразивого-Молодца и Славной (ехал М. И. Бутович) сломал ногу в конце первого круга» («Рысистый календарь 1881 года», с. 93).

В связи с разговором о Кряже приведу здесь крайне характерный для личности Сахновского эпизод. Как-то у меня в деревне гостил мой друг, извест-

ный знаток генеалогии С. Г. Карузо. По его просьбе я подробно рассказал ему историю Кряжа. Он долго молчал, охваченный волнением, а затем достал с полки книжного шкафа 24-й том заводской книги русских рысаков, открыл 330-ю страницу и попросил меня прочесть примечание, где было сказано: «В означенной заводской книге неправильно показано, что Кряж родился у Сахновского; он родился у С. М. Шibaева. – Ред.». Я заметил Карузо, что это, конечно, мне известно. Карузо, улыбнувшись, сказал, что я его не понял. Дело оказалось в следующем. До 1901 года – года напечатания примечания – Кряж во всех заводских книгах указывался как лошадь завода Сахновского, и потому не только фактически, но и юридически вся слава создания знаменитой лошади принадлежала Сахновскому. Это никем не оспаривалось. И вот, представляя к напечатанию опись своего доверителя Н. С. Шibaева, Сахновский обратился в 1901 году с особым письмом к Карузо, как к редактору, и просил его напечатать подобное примечание. Честный и прямой, он счел ниже своего достоинства присвоить юридические права на создание Кряжа, так как эти права принадлежали С. М. Шibaеву. Через 25 лет, когда решительно никто не оспаривал прав Сахновского, он пожелал восстановить истину. Поступок благородный и характерный для Сахновского.

Я уже обещал рассказать историю не совсем обычной покупки Сахновским Красивого-Молодца, отца Кряжа. Вот что мне известно. Осенью 1874 года Сахновский как-то раз ехал по Замоскворечью; в пролетку была запряжена хотя и городская, но очень резвая лошадь. Его на рысях обогнал крупный караковый жеребец, впряженный в бочку с водой, которым правил молодой парень. Повозка скрылась в одном из многочисленных переулков Замоскворечья. Сахновский погнался за ней, так как лошадь водовоза произвела на него громадное впечатление. Сахновский был поражен ее ходом и резвостью. Когда он настиг парня, тот уже успел въехать во двор и отпрягал у сараев лошадей. Сахновский осмотрел жеребца. Это была крупная, темно-гнедая, почти караковая лошадь, рослая, несколько сырая, с уже наеденной, но превосходной шеей, с разбитыми и исковерканными ногами и следами старых, давно заживших побоев по всему телу. Глаз жеребца горел, по выражению Сахновского, огнем агата. Уже немолодой лошади было на вид лет десять, не больше. Ясно было также, что на своем веку жеребец много повидал, прошел сквозь огонь, воду и медные трубы. «Хорошая лошадь», – не удержавшись, вслух заметил Сахновский. Парень простодушно улыбнулся и похвалил жеребца: «А уж резов, барин, до чего! Когда захочет побежать, ни одна лошадь его не обгонит, даром что едет с полнотой бочкой воды». В том, что это рысистая лошадь, и притом лошадь замечательная, Сахновский уже совершенно не сомневался. Он спросил: «Малый, кому лошадь принадлежит?» – «Нашей хозяйке», – отвечал парень. Поднявшись на крылечко небольшого домика, Сахновский вошел к хозяйке. Ею оказалась премилая старушка, сидевшая в больших креслах за вязанием; на коленях у нее лежал большой сибирский кот, в комнате везде висели клетки с канарейками и другими певчими птицами. «Что тебе нужно, батюшка?» – приветливо спросила старушка. Сахновский представился и сказал, что хотел бы купить жеребца, если на него имеется аттестат. «Как не быть, бумага есть, только найдем ли мы ее?» После долгих поисков аттестат нашелся в шкафчике с лекарством. Сахновский взял его и медленно развернул.

«Взглянул я на аттестат, – рассказывал Сахновский, – да так и обомлел: Красивый-Молодец, читаю, а далее – от Непобедимого-Молодца и Каролины завода графини Орловой-Чесменской. Больше ни слова, а подпись – светлейший князь Меншиков. Ну, думаю, попал я на лошадку. Сын знаменитого меншиковского Непобедимого-Молодца 2-го и, стало быть, внук знаменитого шишкин-

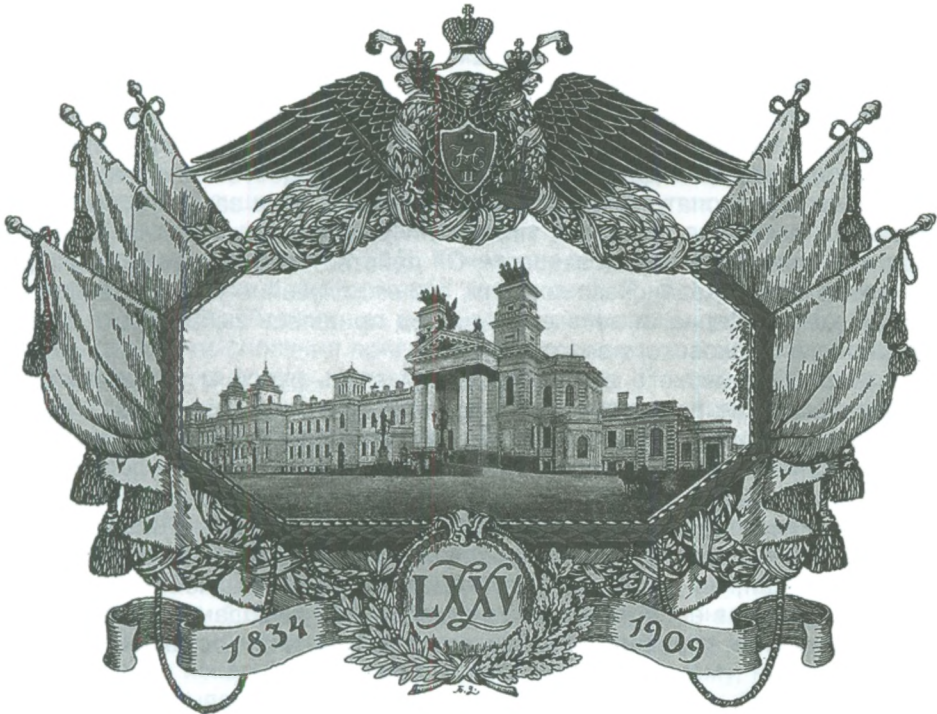
ского Молодецкого! Держу аттестат в руках, а руки, верите ли, так и ходят. Думаю: удастся ли купить лошадь? Положил аттестат на столик, стоявший возле старушки, сел. А старушка сморит мне прямо в глаза и спрашивает: «Ну что, понравилась порода? Много народа у меня его покупало, да я не продаю, жаль лошадь, уж очень он зол был раньше. Сколько народу перекалечил, сколько пролеток переломал, много бед на своем веку наделал. Все от него отказались, и меня-то хотели обмануть, когда его продали. Да вот Федя, парень простой, из деревни, а поладил с лошастью. И живут они друзьями уже третий год, как работает он у меня». Ну, думаю, беда, не продаст старушка лошадь или обрет. Опять взял аттестат, развернул, внимательно читаю и глазам не верю: лошади девятнадцать лет! А она как живая у меня перед глазами: никак нельзя на глаз дать ей ее годов. После такой-то трепки сохранилась – значит, думаю, лошадь стальная. Задумался и над породой: отец-то знаменитый, а вот мать – «Каролина завода графини Орловой-Чесменской» – и ни слова больше. Имя немецкое, и пришло мне в голову: уж не верховая ли орловская кобыла? Но нет, не может того быть: лошадь по типу – настоящий рысак. Нет тут верховой крови, да и быть не может! Просто Меншиков не стал себя утруждать: что тут, мол, долго расписывать породу? От Непобедимого-Молодца и Каролины, и быть по сему. А там, кому нужно, разыскивайте по книгам. Положил опять аттестат и говорю: «Продайте лошадь». – «Да ты, батюшка, зачем покупаешь?» – «В завод покупаю». – «Ну, это дело другое. В завод отдам». И старушка назначила за жеребца 150 целковых. Уплатил я деньги, поблагодарил и во двор вышел еще раз посмотреть жеребца. «Ну, малый, выведи лошадь». А Федя-то молодец оказался, успел уже его убрать, подготовил для выводки. Вышел Красивый-Молодец, вытянулся, стал, да так и замер. Смотрю и думаю: «Боже мой! Счастье-то какое! Конь-то какой: каракровый в масле, густой, правильный и передистый». Словом, влюбился окончательно. Хотел погладить, подошел, а он как бросится в сторону, как захрапит, как фыркнет, и глаза кровью налились. Нет, думаю, без Феи беда будет. Вынимаю целковый, даю ему на чай и говорю: «Вечером приеду за лошадью, а ты проси хозяйку, чтобы с нами и тебя отпустила ко мне на завод».

Так я купил Красивого-Молодца. Через несколько дней разнесся слух, что-де с ума спятил Сахновский, из водовозки купил за 150 целковых жеребца в завод, да с ним еще взял в придачу малого-деревенщину. Много охотников приезжало посмотреть лошадь, нравилась она очень, а все ж смеются: как так – из бочки да в знаменитый завод производителем? А о том, что он обогнал меня, я никому ни гу-гу. Ладно, думаю, смейтесь, а лошадь-то замечательная, да и резвости – пропасть. Сидару я рассказал обо всем, а он недовольно говорит: «Брось, Сережа, дурить, срамить меня только хочешь. Не возьму его к себе в завод». Вот почему Красивый-Молодец в опись-то завода Шибаева и не вошел...

Живаго в некрологе Сахновскому дает другой вариант покупки Красивого-Молодца. Вот что написал он по этому поводу: «Проезжая как-то мимо Сухаревской башни, покойный С. А. увидел у водовоза гнедого жеребца, худого и замороженного, но такого, в котором его опытный глаз сразу оценил высокую породность. Заинтересовавшись этим жеребцом, С. А. узнал от водовоза, что лошадь принадлежит некоему владельцу железной лавки на Неглинном проезде. Немедленно отправившись к владельцу лошади, С. А. убедился, что не ошибся и первое впечатление не обмануло его, так как у лошади оказался аттестат, выданный светлейшим князем Меншиковым. Владелец был человеком не слишком сговорчивым и, указывая, что лошадь очень добра в работе, продать ее не хотел. После долгих разговоров С. А. сумел, однако, купить ее за

150 рублей и сам торжественно привел в поводу за извозчиком к С. М. Шибаву, на Новую Басманную, где тот давно ожидал его к обеду». Таков вариант Живаго. В главном (Красивый-Молодец ходил в бочке и куплен за 150 рублей) он сходится с моим. Я лично слышал приведенный мною вариант от самого Сахновского, в свое время его записал и ручаюсь за верную и правдивую передачу эпизода.

Покупка Красивого-Молодца имела исторические последствия. Первое, положительное, заключалось в том, что Сахновский выдвинул могучую и боевую линию Красивого-Молодца, лучшим представителем которой был, несомненно, Кряж. Второе имело неисчислимы вредные результаты для всего русского коннозаводства. Давным-давно известно, как неудачны подражания и как обыкновенно бездарны бывают сами подражатели. Естественно, когда так блестяще побежал Кряж, а затем Кремень и другие, то история с Красивым-Молодцем получила среди коннозаводчиков положительно всероссийскую известность. Сейчас же нашлись подражатели, и началась буквально эпидемия выпрягания из бочек, полков и прочих перевозных средств никуда не годных лошадей с назначением их в завод в качестве производителей.



Ловкие барышники действовали на воображение легковверных, легкомысленных людей и устраивали специальные *mise en scene*. Приводили какого-либо степняка-тамбовца или другого провинциала в Замоскворечье или другое подобное место, там сначала украдкой показывали какого-нибудь старого жеребца, рассказывая о нем всевозможные небылицы и самые невероятные легенды, а потом и продавали его. Всякому было лестно в своей глуши прослыть за тонкого знатока и похвастать, что вот, мол, каков я, вот где раскопал этукую

лошадь да еще за такую цену. И когда такого Ивана Ивановича или Петра Петровича с завистью спрашивал сосед: «Где купили?» – по проследовании короткого ответа: «В Москве», уточнялось: «У Ильюшина? На бегу? У Волкова?» Следовал ряд имен знаменитых охотников и барышников, и тогда Иван Иванович хитро отвечал: «Это, батенька, целая история. Раскопал лошадь за Таганкой у огородника... Ну да я это вам все расскажу после обеда». И все эти жеребцы поступали в заводы и принесли страшный вред орловской рысистой породе. То, что удалось Сахновскому, не удалось повторить никому. Сахновскому еще и повезло: ведь надо же было именно ему, с его-то громадным чутьем и знаниями, наскочить на Красивого-Молодца! А на что наскочили другие – хорошо известно изучавшим историю орловской рысистой породы.

Примером великого обаяния таких поступков может служить завод Живаго. Завод, всецело собранный по принципу «из бочки», стоивший своему владельцу немалых денег, но решительно никаких, кроме плачевных, результатов не давший. Живаго дружил с Сахновским и в коннозаводстве хотел ему подражать, однако же он не слушал старика, а сам раскапывал лошадей. Когда я вполне добродушно предложил Живаго вместо покупок разных водовозок послушать доброго совета Сахновского, он на меня так обиделся, что три недели со мной не разговаривал. Впрочем, как уже было сказано, именно по совету Сахновского Живаго купил Вармика, переформировал завод и только тогда действительно вывел хороших лошадей. Однако то, что мог позволить себе Живаго, богатейший москвич, конечно, не было доступно нашим степнякам и провинциалам, потому они неуклонно разорялись, ругая везде и нещадно орловского рысака. Наибольший размах покупок различных «водовозок» пришелся на девяностые годы, когда и для Ф. Н. Измайлова не существовало большего удовольствия, как раскопать такую лошадку и пустить ее в завод. Вспомним хотя бы Кенаря. Тем же заразился и милейший Дерфельден, управляющий тогда Хреновским государственным заводом. Он действительно купил из полка Дерна (Дерн возил муку с Казанского вокзала, где его случайно увидал Дерфельден), однако и самого Дерна, и весь его приплод пришлось выбраковать комиссии по сортировке Хреновского завода.

Да, лавры Сахновского долго не давали спать русским коннозаводчикам. Пока Сахновский не рассказал мне о покупке Красивого-Молодца, я недоумевал, изучая историю орловского рысака, почему коннозаводчики брали в заводы таких решительно неинтересных в смысле породы и резвости лошадей. Только после его рассказа я понял это. Тогда же я поделился мыслями на сей счет с Карузо и с некоторыми другими знатоками и любителями. Все согласилось со мной, а Путилов прямо-таки потребовал, чтобы я напечатал об этом статью. Статью я написал, но решил все же показать старику Сахновскому. Тот очень огорчился, прочитав ее, хотя и согласился с моими выводами. Увидев, что статья ему неприятна, я решил тогда ее не печатать, так и осталась она в моем архиве.





## КОННОЗАВОДЧИКИ И ОХОТНИКИ

Прославленный коннозаводчик и спортсмен, Сахновский был также весьма активным деятелем на беговом поприще. Старейший член Московского бегового общества, он в разное время играл в нем видные роли. Когда в 1900 году великий князь Дмитрий Константинович созвал особое совещание по вопросу об орловском рысаче, совещание, которому не только вся коннозаводская Россия, но и правительственные органы придавали огромное значение, то к голосу Сахновского прислушивались с особым вниманием. Потому не удивительно, что в самых широких кругах Сахновский пользовался исключительным авторитетом. К нему нередко приезжали совершенно незнакомые коннозаводчики, спортсмены и просто охотники, просившие советов и указаний. Многие верили ему слепо и лишь по его указаниям делали покупки для своих заводов. Наконец, по желанию герцога к Сахновскому ежегодно приезжал смотритель Ивановского завода, почтенный Я. И. Кочетков, делал ему доклад и просил советов. Когда знаменитый костромской миллионер П. Г. Миндовский основал известное не только в России, но и в Европе коннопромышленное общество, то именно Сахновский получил приглашение производить все закупки лошадей для этого громадного по тем временам предприятия. Он дал согласие, и до тех пор, пока дело находилось в его руках, оно процветало. Когда же Сахновский ушел, знаменитое коннопромышленное общество вскоре прекратило свою деятельность, ибо некому стало руководить покупкой лошадей, этим главным нервом всего дела.

К сожалению, Сахновский не владел пером и не выступал в печати. Происхождение Каролины, матери Красивого-Молодца, равно как и кожинский завод – вот два его слабых места. О кожинском заводе он не мог говорить равнодушно, без восторга, а выяснению происхождения Каролины посвятил буквально всю жизнь: не было периода в его жизни, когда бы он не возвращался к этому вопросу, не искал бы его разрешения. Ни Сахновскому, ни кому другому так и не удалось выяснить происхождение Каролины. Но он был убежден, что она – дочь Чистяка 3-го (см. мою статью о происхождении Каролины).

В нашей спортивной среде Сахновский был тот редкий человек, который не имел врагов, его решительно все любили и уважали. Людей привлекали к нему его богатый рост, и доброта, и громадные знания, и, наконец, его авторитет. Человек, имевший много от самородка, очень самобытный, он вместе с тем представлял определенную и высокую культуру. Быть может, в девяностых годах Сахновский был последним олицетворением эпохи шестидесятников. Он воспитывался на идеалах Хомякова и Аксакова, во всем, конечно, славянофил, а не западник, начиная от русского национального костюма, который он посто-



янно носил, типично великорусского лица, краснобайства, к которому иногда прибегал, и горячий, восторженной любви и веры в Россию. В нем еще была та удаль, та непосредственная, чисто черноземная сила, которая порождала легенды. Говорили, что как-то раз в веселой компании он на пари в три удара разрушил кулаком печь. В другой раз, едучи с Шибаевым в санях по сугробистой деревенской дороге, он, когда сломалась оглобля, обмотал руку в мешок и, взяв обломившийся конец в руку, благополучно доехал до дому. Неважно, происходило ли все это в действительности. Легенды могли возникнуть и возникли именно вокруг Сахновского. Великой силой и мощью обладал человек, если о нем так говорили и так думали.

У Сахновского я часто встречался с С. В. Живаго, давно дружившим не только с самим Сергеем Алексеевичем, но и со всей его семьей. Я познакомился с Живаго раньше, но сблизился с ним именно благодаря Сахновскому. Живаго был очень богатый человек. Его отец стал в свое время известнейшим дисконтером, от дисконта и пошло громадное состояние семьи. У Живаго было несколько братьев, каждый чем-либо увлекался: Сергей Васильевич был любителем лошадей и коннозаводчиком; один его брат занимался собаками и имел замечательный питомник сеттеров; другой увлекался музыкой, превосходно играл на скрипке и имел редкую коллекцию инструментов до Гварнери и Страдивариуса. Старший брат любил только деньги, вел большие финансовые операции и стоял во главе одного из крупнейших банков Москвы. Наконец, младший ничего не любил, ничем не увлекался и вообще был неудачником в жизни. Замечательно, что из всех братьев женился лишь один, кажется, Роман, единственный сын которого должен был наследовать громадное состояние братьев Живаго. Несмотря на богатство, трое из братьев, в том числе и Сергей Васильевич, потихоньку занимались столь малопочтенным занятием, как дисконт. Это, видимо, было у них в крови. Основным делом семьи, которое обогатило ее первоначально, еще при деде, была торговля офицерскими принадлежностями. Фирмой, основанной дедом более ста лет тому назад, уже отец братьев Живаго мало интересовался, уйдя с головою в дисконт. Внуки же вели фирму отчасти по традиции, отчасти потому, что она не давала убытков, а главным образом потому, что благодаря фирме поддерживалось известное положение в торговых кругах Москвы. Более ста лет фирма Живаго занимала одно и то же помещение на Тверской, недалеко от Лоскутной гостиницы, то есть в самом центре Москвы. Вел магазин и ведал делами фирмы Сергей Васильевич, и я частенько гуляя по Тверской, заходил в магазин перекинуться двумя-тремя словами с приятелем.

Живаго всегда восседал со своим бухгалтером в особой комнате при магазине, где угощал меня чаем и различными городскими новостями. Он знал дело превосходно, вел его хорошо и находился в курсе всех назначений, повышений и наград как по военному, так и по морскому ведомству. Дабы показать, насколько он был осведомлен, приведу следующий пример. Во время последней европейской войны я как-то приехал в Москву и, по обыкновению, остановился в «Славянском базаре». Утром лакей мне докладывает, что мальчик из магазина Живаго желает меня видеть. Я велел его позвать, и он вручил мне маленькую коробочку, передав, что Сергей Васильевич просит принять подарок и поздравляет меня. Я поблагодарил и отпустил мальчика. Открываю коробочку и вижу Владимирский крест с орденской ленточкой. Я догадался, в чем дело, и позвонил Живаго. Сергей Васильевич рассыпался в поздравлениях и уверял меня, что хотя приказ еще не опубликован, но уже подписан, что он точно знает, и я пожалован этим высоким орденом. Приказ был опубликован только через три недели после того, как Живаго прислал мне орден.

Сергей Васильевич окончил Московский университет по юридическому факультету, обладал даром слова, увлекательно говорил и писал; человек умный, но по натуре довольно замкнутый и, может быть, недостаточно сердечный. Гостей он принимал чрезвычайно мило и радушно. Бывать у него доставляло большое удовольствие, и мы часто собирались у него тесным кружком, приятно проводя время. Роста он был небольшого, некрасивое, но приятное лицо, волосы какие-то выцветшие; носил пенсне и напоминал скорее интеллигента, нежели представителя одной из старейших купеческих фамилий Москвы. Жил он на Садовой, в пяти минутах ходьбы от Курского вокзала, в великолепном особняке, построенном в стиле позднего николаевского ампира. Перед домом был разбит цветник и когда-то давно посажены деревья, ставшие на рубеже веков уже столетними гигантами. Своим фасадом с колоннадой дом выходил на парадный двор; позади дома находились многочисленные постройки, сараи, конюшни и даже баня. Когда-то в этом владении, очень большим, жила знатная московская семья, принадлежавшая к сливкам московского дворянства. Дом содержался в удивительном порядке и образцовой чистоте.



*Сергей Васильевич Живаго*

Внутреннее убранство было замечательно и очень богато: гостиные с лепными потолками, танцевальный зал с колоннадой, столовая, отделанная дубом, несколько уютных маленьких будуаров и гостиных – весь верх назначался под приемные комнаты. Здесь, по-видимому, когда-то жизнь была ключом, много танцевали, много веселились – словом, жили широко, на барскую ногу. Обстановка дома вполне отвечала его архитектурному назначению и, очевидно, сохранилась в полной неприкосновенности от прежних владельцев: и карельская береза, и гостиная в стиле Людовика-Филиппа, и туровский обворожительный дамский кабинет, и готическая мебель столовой, и прочие предметы мебели, которые не покупаются на рынке, а накапливаются годами. Были в доме и великолепные люстры, и превосходная синяя с белым саксонская посуда, и фарфор в огромном количестве. Несколько старинных курантов тикали на все лады, а когда били четверти своими тонкими-тонкими колокольчиками, то можно было подумать, что находишься где-нибудь очень далеко от столицы, в какой-нибудь старой барской усадьбе. Когда все это освещалось и электрический огонь играл на хрустале люстр и фарфоре, затем причудливо отражаясь на узорных паркетах, картина наполнялась не только очарованием, но и величием. В первое мое посещение этого замечательного особняка меня прямо-таки поразило единство ансамбля и красота старинной обстановки и утвари. Меня удивило, как Живаго мог собрать столько замечательных вещей. Ларчик открывался просто. Дом буквально со всем его содержимым, до последней пепельницы включительно, остался по закладной за отцом Сергея Васильевича. Заслуга отца и сына заключалась в том, что они оказались достаточно культурны, не разрушили, а целиком сохранили очаровательный ансамбль прошлого, этот обломок старины и прежнего быта. Словом, в приемных комнатах еще витал барский дух, а в жилых помещениях наверху в полной неприкосновенности сохранился старый купеческий уклад жизни, с его своеобразной обстановкой, громадными киотами, образами, многочисленными лампадами, духом ладана и старых счетных книг.

Живаго занимал весь дом. С ним жила его мать, но почтенной старушке было чуть ли не сто лет, и она никогда и ни к кому не выходила. С Сергеем Васильевичем жил также тот самый брат-неудачник, наверху у него была своя небольшая половина, но он никогда не показывался. Другие братья имели свои дома в других частях города.



*Н. И. Родзевич*

Особенностью дома Живаго были еще горничные, всегда две или три очень хорошие лицом и очень молодые – от шестнадцати до двадцати лет, не более: старый холостяк хорошо разбирался в этом вопросе. Они никогда не подавали к столу, этим занимался старый лакей, но я их видел и знал, потому что часто ночевал у Живаго. Он особенно любил, чтобы я приезжал к нему «с ночевкой». Бесконечно беседуя о лошадях, мы с ним просиживали за столом до двух-трех часов ночи, и было утомительно уезжать домой. Утром из серебряного рукомыльника мне сливала на руки одна из этих султанш, а Живаго в соседней комнате отфыркивался и шутил. В столовой уже ждал горячий кофе, а затем рысак хозяина уносил нас по московским улицам сначала ко мне, а потом Сергея Васильевича на Тверскую в магазин. Хорошее было время!

Изредка у Живаго бывали Д. А. Расторгуев и К. К. Кноп, а собственно кружок состоял из С. А. Сахновского, Н. И. Родзевича, В. В. Костенского и

меня. Среди этих лиц наибольший вес имел, конечно, Сахновский. В то время, к которому относится этот рассказ, он с трудом покидал свой диван, ведь ехать к Живаго ему предстояло через весь город. Однако несколько раз в году, когда он чувствовал себя несколько бодрее, Сахновский сносился с Живаго, и мы все собирались в гостеприимном особняке на Садовой. Живаго звонил нам по телефону и торжественно сообщал, что будет «подымать» Сахновского. Читателю, конечно, хорошо известно, что старые москвичи всегда так говорили о чудотворной иконе Иверской Божьей Матери, когда узнавали, что ее собираются везти в тот или иной дом. Эта словесная форма выражала особенную почтительность: икону не «везли», а «подымали». Вот почему некоторые москвичи, говоря об особенно близких и особенно почтенных людях, употребляли слово «подымать». Впрочем, обычай этот распространился лишь в купеческом быту. За Сахновским ездил сам хозяин в особенно удобном экипаже, и старик покидал гостей не позднее двенадцати часов ночи. Сахновский удивительно рассказывал, и время в его присутствии летело незаметно. Не отставал от него и известный коннозаводчик Н. И. Родзевич, достигший в те времена зенита своей славы. Естественно, что они составляли центр внимания всего нашего кружка. Любил поговорить и В. В. Костенский, беспрерывно уснащавший свою речь словами «извольте ли видеть». Так как далее мне едва ли представится случай говорить о Костенском, то здесь несколько подробнее сообщу о личности этого охотника.

Произведенный в офицеры в один из кавалерийских полков, стоявших на западной границе, он очень полюбил лошадей и принялся изучать конное дело. Вскоре в спортивных журналах появились его статьи и заметки, обратившие на себя внимание знатоков. Когда Костенский представлялся графу Воронцову-Дашкову, граф, поговорив с ним, предложил ему место помощника управляющего Хреновским заводом. Костенский прослужил в этой должности несколько лет, после чего получил назначение управляющим Рязанской заводской конюшней. Хреновскому заводу он, особенно интересовавшийся ездой и подготовкой молодежи, принес немало пользы, и его уход стал несомненной потерей. Переехавшись в Рязань, Костенский, как единственный в городе представитель Главного управления государственного коннозаводства, сразу занял среди коннозаводчиков должное положение. Настоящий любитель лошади и рысачник, он объехал лучшие заводы губернии и познакомился с их составом. Вскоре к нему стали обращаться коннозаводчики, прося советов и указаний. Именно по его настоянию в Рязанскую заводскую конюшню назначили знаменитого Кремня, сына Красивого-Молодца, и от Кремня отвели немало хороших лошадей. Когда Н. И. Родзевич захотел приобрести в Хреновском кобылу для своего завода, то обратился к Костенскому, и именно Костенский посоветовал ему купить Волну, что Родзевич и сделал заглазно. От Волны родился знаменитый Вармик. Можно было бы привести и другие весьма удачные советы, данные Костенским коннозаводчикам Рязанской губернии.

Костенский сам имел небольшой завод, но средства его были очень ограничены. Удивительно, что, давая другим хорошие советы, у себя он решительно ничего не умел отвести путного. Позднее, уйдя в отставку, он держал призовую конюшню, лошади которой бежали с незначительным успехом. Костенский был знаком с А. П. Воейковым, мужем М. В. Воейковой, урожденной светлейшей княжны Голицыной, к которой по наследству перешел знаменитый Лопандинский завод. Одно время Костенский арендовал там для беговой карьеры молодых лошадей и имел влияние на выбор и направление в этом заводе.

В то время, о котором я сейчас рассказываю, Костенский был уже полковник в отставке, состоял на должности судьи в Московском беговом обществе. Надо ли говорить, что он был ярким сторонником орловского рысака, как все, составлявшие кружок Живаго. Таковы лица, собиравшиеся у Живаго, особенно зимой.

Хозяин встречал нас обыкновенно в большой гостиной, затем мы переходили в ярко освещенную большую столовую, и начиналась интереснейшая беседа. Все единомышленники, все друг друга понимали, не было ни криков, ни споров, беседа лилась приятная: мы обменивались мнениями, частенько обсуждали новые приобретения коннозаводчиков. Сахновский и Родзевич рассказывали истории из коннозаводского прошлого. Костенскому особенно удавались воспоминания о Хреновском его времени, о том, как там воровали овес и сено, недокармливали лошадей и каждый утаскивал все, что только мог. Именно Костенский первым открыл нам один секрет, впоследствии мне очень пригодившийся при обследовании Хреновского завода. По традиции, управляющие этим заводом, их помощники и другие служащие держали много собственных лошадей и скота. И держали так, что казенные лошади оказывались худы, а свои, конечно, в превосходном виде.

Состав Хреновского завода Костенский знал хорошо. Особенно высоко он ставил породу Усердного, все его потомство. Он считал Усердного замечательной во всех отношениях лошадью, и думаю, он не увлекался. Что Усердный хорош, можно было судить уже по тому, что одно время девять его сыновей состояли производителями Хреновского завода. Точно так же Костенский ув-

лекался охотниковским отделением этого завода, отдавая должное замечательным лошадям. Его возмущало хреновское начальство, не сумевшее должным образом после его ухода оценить охотниковских лошадей, производившее неудачный подбор маток и почти погубившее охотниковское отделение. Немало тогдашних коннозаводчиков почерпнуло в Хреновском охотниковской крови. От этих-то кобыл или их дочерей и явились такие лошади, как Вармик Родзевича, Вожак, Ментик, Молодец (все завода Щекиных), Сорванец Есинова, Гектор (2.16), Безымянка Оболонского, хреновские Гранит, Уж, Ветер-Буйный и многие другие. Основанием презрительного отношения хреновского начальства к охотниковским лошадям был их небольшой рост и недостаточная капитальность, крайняя сухость. Штутмейстера завода называли их верховым сортом или арабами (известно, какое значение всегда имели в Хреновском эти самые штутмейстера). Костенский неустанно повторял, что от охотниковского материала можно и должно отводить не только выдающихся лошадей, но прямо-таки рекордистов. И конечно, был прав. Волна, купленная Родзевичем по совету Костенского, была дочерью охотниковского Ветерка.

Сам хозяин принимал живейшее участие в беседе, еще больше оживляясь, чем обыкновенно, за бесконечным ужином, а иногда и в третьем часу ночи. Сахновский к тому времени уезжал домой, но зато Живаго любил рассказывать без него про него. От Живаго я впервые услышал о разрушенной в три удара печи, о поездке в сугробах с поломанной оглоблей в руке. Однажды он пересказал эти эпизоды при Д. А. Расторгуеве, тот усомнился: возможно ли рушить печи при помощи трех ударов? Живаго начал волноваться. Кто-то спросил, кажется, Родзевич: какова была печь, русская или голландская? А я добавил, что почтенный рассказчик не сообщает нам, в каком состоянии находилась печь: быть может, она едва держалась. Добродушный гомерический хохот стал ответом моим словам. Живаго любил рассказы «о печке», но еще больше он любил вспоминать со всеми подробностями про покупку Красивого-Молодца. Он передавал этот рассказ мастерски; если память мне не изменяет, еще студентом напечатал его в каком-то журнале. Кульминационным пунктом рассказа он сделал то, как Красивый-Молодец мчался, а бочку так и бросало из стороны в сторону. «Подумайте, как же резва была лошадь, ведь бочка была сорокаведерная и полна водой!» – Живаго часто говорил с редким подъемом и увлечением. Он не любил и совершенно не признавал коннозаводского ведомства и весьма часто прохаживался на счет коннозаводских генералов и их, как он считал, невежества.

Однажды, во время одной из наших встреч, Живаго рассказал нам, как князь Л. Д. Вяземский покупал у Н. П. Малютина знаменитого своей красотой белого жеребца Смельчака, сына Летучего. Я приведу этот интересный рассказ так, как он сохранился у меня в памяти. В то время Л. Д. Вяземский управлял Удлами и, как известно, был очень влиятелен в коннозаводских делах – своей дружбой с графом Воронцовым-Дашковым, и благодаря своей личной репутации знаменитого коннозаводчика. Он нуждался в производителе для своего Лотаревского завода и мечтал купить первоклассного жеребца у Малютина. Я уже писал о том, что Малютин очень редко продавал лошадей, а классных в особенности, что, конечно, знал Вяземский. Трудному делу обещал помочь Г. Н. Вельяминов, дядя Л. Д. Вяземского, управляющий Московским удельным округом, также коннозаводчик. С Малютиным он не был знаком, но, наведя справки, услышал и узнал мало утешительного. Боясь получить отказ, который бы и Вяземского обидел, и лично его поставил бы в неловкое положение, он временно отказался от мысли непосредственного обращения к Малютину. Один из москвичей, хорошо знавший нашу среду, посоветовал ему действовать че-

рез Живаго, сказав, что тот хорош с Малютиным. Действительно, Живаго одно время был вхож к Малютину и купил у него несколько интересных маток, в том числе мать Загадки. Правда, когда он получил Заветную, Загадка еще не стала знаменитостью. Малютин трудно сблизился с людьми, но в своих отношениях оставался человеком верным и постоянным. Вельяминов лично приехал к Живаго и просил его посредничества, конечно, «не из-за куража, а по охоте, дабы посодействовать Лотаревскому заводу обогатиться малютинским производителем». Вельяминов, дипломат не из последних, так ловко повлиял на Живаго, что тот согласился, хотя и предупредил, что дело трудное. Зная Малютина, Живаго сказал, что, прежде чем ехать говорить с ним, надо уже знать, какую лошадь хотел бы купить князь. Вельяминов согласился и тут же составил и послал срочную телеграмму в Петербург. На другой день в первом часу Вельяминов опять при-



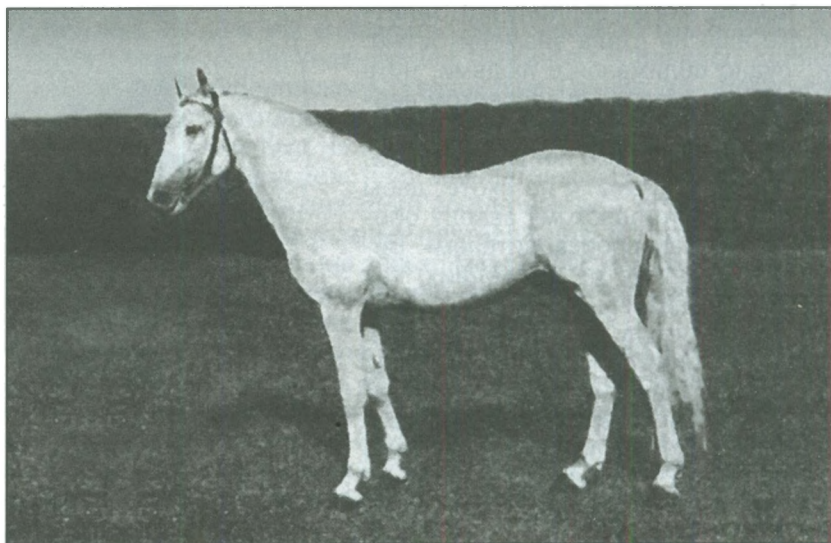
*Князь  
Леонид Дмитриевич  
Вяземский*



*Дом князя Л. Д. Вяземского*

ехал к Живаго и показал ему телеграмму, в ней стояло четыре лаконических слова: «Смельчака любой ценой. Вяземский». Прочитав телеграмму, Живаго только руками замахал и сказал, что об этом даже говорить невозможно, так как Смельчак – писанный красавец, любимец Малютина, который считает его лучшим сыном Летучего, о Смельчаке только и разговору на бегу, все им восхищаются, а про его резвость рассказывают прямо-таки чудеса. Наконец, ему доподлинно известно, что Малютин оставляет Смельчака для своего завода производителем. Вельяминов опять пустил в ход дипломатические способности и достиг того, что Живаго пообещал говорить с Малютиным, предупредив, что надежды на успех нет никакой и что вообще дело потребует немало времени. Затем, прощаясь с Вельяминовым, он со вздохом присовокупил: «Сколько же мне придется из-за князя выпить красного вина!» – намекая на то, что Малютин пил, и пил только красное вино, и что немало придется провести вечеров за бутылкой вина, прежде чем наступит удобный момент сделать подход к Смельчаку. Прошло три недели, а Живаго не подавал никаких вестей на Поварскую, где в своем великолепном особняке проживал Вельяминов. Живаго зачастил к Малютину и так удачно повел дело, что Николай Павлович как-то сказал-таки: «Я был бы рад, если бы лошадь моего завода поступила в Лотаревский завод», чем Живаго ловко воспользовался, показав телеграмму князя, которую имел при себе. Малютина прежде всего тронуло то, насколько деликатно действовали князь и Вельяминов: так высоко ставя малютинский завод, они даже не решились прямо вести переговоры. Произвела решающее

впечатление и широта князя в оценке лошади. За столом все затихло: Яков Ни-  
конович, Анна Адольфовна и Чернов умолкли, затаив дыхание. Сейчас Малю-  
тин ответит на предложение Вяземского. Все ждали отрицательного ответа, но



*Смельчак*

Малютин сказал: «В Лотаревский завод уступаю. Цену назначит сам князь». Взорвись в помещении бомба, сидящие за столом люди удивились бы ей меньше, чем словам Малютина. Живаго торжествовал, а вся остальная компания приступила уговаривать Малютина не продавать Смельчака. Анна Адольфовна неосторожно заметила, что наутро можно ждать другое решение. Малютин, сделав вид, что не слышит, встал, любезно попрощался с Живаго и сказал ему: «Прошу вас послать князю телеграмму». В ту же ночь Живаго звонил Вельяминову. Того разбудили, он подошел к телефону и рассыпался в благодарностях, особенно за то, что Живаго даже не подумал о своем отдыхе и так поздно ему позвонил, дабы сообщить столь радостное для Лотаревского завода известие.

Вельяминов не напрасно носил свой придворный мундир: узнав подробности беседы, он понял, что вопрос цены такой знаменитой лошади, как Смельчак, столь любезно оставленный хозяином на усмотрение князя, очень щекотлив. Поэтому он просил Живаго прозондировать почву о цене, дабы именно эту сумму предложить за лошадь. Здесь Вельяминов явно шел ва-банк, но другого выхода не было. К тому же он не без основания рассчитывал на порядочность Малютина. Малютин назначил 30 тысяч рублей, цену пустую, принимая во внимание хотя бы то, что и сам Смельчак еще мог выиграть от 20 до 25 тысяч рублей. Когда о продаже стало известно на бегу, там все заволновались и зашевелились. Никто, что называется, ушам не верил, а Живаго стал героем дня! Напрасно Анна Адольфовна два дня устраивала несчастному Малютину сцены, до обмороков включительно, Малютин остался верен слову. Все уже считали Вяземского счастливым обладателем лошади, которую я как-то давно в одной из своих статей назвал «Аполлоном среди жеребцов». Удивительно хорош был Смельчак!

Вяземский немедленноотреагировал на великодушие Малютина: он прислал замечательную телеграмму, где между прочим писал, что немедля выезжает в

Москву, дабы лично принести Малютину глубокую благодарность. В этом заключалась роковая ошибка князя: его приезд погубил и ловкость Живаго, и всю дипломатию Вельяминова, а сам Вяземский остался без Смельчака. Я хорошо знал князя Леонида Дмитриевича: человек государственного ума, но очень резкий, крайне вспыльчивый и, как это ни странно, не всегда тактичный. Князь хорошо знал, что все это приносит ему в жизни немало бед, но совладать со своим характером все же не мог. Так и тут: бестактность обидела чуткого Малютину и погубила все дело. Вот как это произошло.

Узнав о дне приезда князя, Вельяминов через Живаго условился о свидании и всех подробностях встречи двух знаменитых русских коннозаводчиков. Князь вместе с Вельяминовым приехал на дачу Малютину к двенадцати с половиной часам дня. Малютин встретил князя в передней и, проводя в гостиную, представил «жене». Гордый князь знал, кто эта «жена», но даже бровью не повел, поцеловал руку Анне Адольфовне. После чего ему представили виновника торжества Живаго, Якова Никоновича, Чернова и домашнего доктора, всегда находившегося при Малютине. После пятиминутного разговора Малютин предложил осмотреть рысаков. Вяземский предложение принял, и началась выводка. Выводили мастерски, с той роскошью и помпой, как это всегда делалось у Малютину. Он, видимо, был в превосходном расположении духа и даже против своего обыкновения стал разговорчив. Вяземский искренне восхищался почти всеми лошадьми. Наконец вывели Смельчака. Вяземский молчал, затем нерешительно обратился по-французски к Вельяминову, что было, конечно, очень бестактно, ибо он не знал, говорит ли на этом языке Малютин, и выглядело так, будто князь не желает быть понятым окружающими: «Поразительно хорошо, но все же мой Кречет был лучше». Напрасно Вельяминов поспешил с диверсией, Малютин весь покраснел и сказал князю на этот раз тоже по-французски, что лошадь он ему уступить не может, так как видит, что Смельчак недостаточно нравится князю. И затем добродушно уже по-русски добавил: «Не жалеете, князь, что лошадь вам не нравится, и верьте вашему первому впечатлению – оно самое верное. Мы с вами, как старые коннозаводчики, это хорошо знаем». Конечно, никто из окружавшей младшей братии слова не проронил, когда произошла эта словесная дуэль, ибо хорошо понимали, что это не было бы прощено ни той, ни другой стороной. Так купец Малютин дал урок такта родовитому Рюриковичу, князю Вяземскому.

Предполагавшийся завтрак затянулся ненадолго. У Вяземского хватило воли его принять, а у Малютину такта оставаться самым очаровательным и милым хозяином. Когда князь и Вельяминов уехали, Малютин пожалел о том, что Смельчак не поступил производителем в Лотаревский завод, а Живаго, вернувшись домой, застал у себя визитные карточки Вяземского и Вельяминова.

Кружок лиц, беседы, которые они вели, навсегда остались в моей памяти, и теперь, когда пишу эти строки, я вновь переживаю прошлое и с грустью думаю о том, что все члены этого кружка, за исключением меня, уже сошли с житейской арены и покоятся мирным сном. Сахновский умер давно. Родзевич скончался во время революции, похоронен в Москве. А сам Живаго в 1921 году выехал в Германию и там умер на руках своей сестры.

С другим московским коннозаводчиком, старейшим после Сахновского, Г. Д. Яньковым я познакомился у К. К. Кнопа. Несмотря на значительную разницу лет, мы сблизились и часто бывали друг у друга. В это время Яньков уже не имел конного завода, но лошадей любил по-прежнему. Средств у него не было: все уже давно прожили. Служил он в Московской казенной палате. Ранее Яньков считался очень состоятельным человеком, а созданный им в Рязанской губернии завод быстро прославился на всю Россию. Дело в том, что ры-



жая масть в рысистой породе встречалась довольно редко, и преимущественно по линии хреновского бурого жеребца Доброго 2-го. И вот Яньков основал завод только из рыжих лошадей, сделав исключение лишь для одной кобылы – белой Потешной, дочери великого кожинского Потешного. Естественно, это вызвало немалый интерес и внимание. Завод Янькова основан был по особому плану и преследовал определенную цель, а именно – вывести рыжую рысистую лошадь, и притом резвую – призовую и правильных форм. Собственно, завод этот собрал для сына в 1872 году Д. А. Яньков, большой любитель и знаток генеалогии орловского рысака. Когда опись завода впервые представили к печати, в ней указали все случаи, когда и в какой генерации в породу яньковских лошадей входила кровь бурого жеребца Доброго 2-го, бывшего первым знаменитым рысаком этой масти в Хреновском заводе. Опись составили очень интересно и разработали превосходно.

Результаты Яньков получил блестящие: он не только вывел рыжих лошадей, но и создал много хорошего, а подчас и первоклассного материала. Благодаря распространению своих лошадей Яньков закрепил в орловской рысистой породе рыжую масть (до его заводской работы эта масть встречалась редко, как исключение, а после – упрочилась и получила довольно широкое распространение). Остается пожалеть, что Яньков сравнительно рано прекратил столь интересную идейную работу и распродал свой замечательный завод. От яньковского завода основалось несколько заводов рыжих лошадей. Еще недавно, до метизации, встречались рыжие или бурые рысистые лошади, в девяти случаях из десяти происшедшие от яньковских лошадей. Жаль, что Яньков не имел последователей. Какие богатые ростки, какие обильные плоды дала бы орловская рысистая порода, если бы нашлись другие коннозаводчики, которые стали бы культивировать, например, исключительно линию Полкана 3-го или Лебеда 4-го и т. д. Но за исключением М. И. Кожина, который был высокоидейным коннозаводчиком, преследовавшим в первый период своей выдающейся работы накопление в своем заводе крови Полкана 3-го, затем добавление к ней крови Лебеда 4-го. Все остальные работали без плана, случайно, без достаточного знания генеалогии. Что создал Кожин – известно всем и каждому. Но он также не имел последователей.

В мое время Яньков жил на Тверской, в номерах «Якоря», в пяти минутах ходьбы от Тверской заставы. Он занимал хорошую комнату; так как жил исключительно на жалованье, то всецело был занят по службе. Однако по праздникам и воскресеньям он неизменно посещал бега, продолжая интересоваться спортом и коннозаводством. Он деятельно участвовал в спортивной литературе как один из виднейших авторов по вопросам орловского коннозаводства. Печатался он исключительно у меня, в «Рысаке и скакуне». Обладал хорошим стилем, писал красиво, но иногда несколько напыщенно; любил вставлять в статьи французские пословицы и фразы. Читались его статьи с интересом и нередко вызвали полемические ответы из другого лагеря.

Яньков был очень красив, по происхождению – барин. Человек по натуре добрый, он несколько фанфаронил, но всегда оставался безупречно честен, порядочен и, что называется, джентльмен с головы до ног. Высокого роста, достаточно, несмотря на годы, строен, с тонкими чертами лица и очень красивыми руками. У Янькова были удивительно красивые бакенбарды, хотя седые, однако еще украшенные, несмотря на годы, отдельными золотисто-рыжими прядями. Чего греха таить, любил он и попозировать. Не в меру обижался, был крайне щепетилен, поэтому с ним приходилось держаться на чеку. В молодости служил в Петербурге, пользовался большим успехом в свете, там-то и расстроил свое состояние. Собственно, он не служил, а как большинство

молодых дворян хороших фамилий, лишь числился на службе в одной из многочисленных канцелярий. Его знал буквально весь Петербург по замечательной паре рыжих рысаков, рыжему кучеру, рыжей содержанке-француженке, да и сам Яньков был им под масть. Разумеется, не обратить на это внимания было невозможно; многие над ним трунили, другие пытались подражать. В Москве, где я с ним познакомился, уже ничего не осталось от его петербургского величия, но сохранились манеры, умение жить и такт светского человека. Я бывал у Янькова очень редко: не имея средств, он не мог принимать сам. И потому неохотно принимал приглашения других. Мы с ним обменивались лишь визитами, а встречались в зиму несколько раз, в домах Расторгуева и Кюпа. С ними он был очень хорош и, не стесняясь бывать у них, непременно участвовал во всех парадных обедах этих двух симпатичных домов. Особенный интерес он вызывал тогда, когда собирался кружок охотников и он говорил о дорогом ему деле. У старика имелись некоторые слабости: когда, например, заходил разговор о какой-либо рязанской семье коннозаводчиков или выдающихся деятелей, Яньков не без гордости вставлял: «Да это наши рязанские!» То же выражение употреблялось и по отношению к тамбовским, и к саратовским. Этим безобидным способом Яньков как бы подчеркивал широту круга своих знакомств и принадлежность к ряду дворянских обществ различных губерний. Словом, на сцену являлись «наши рязанские, наши тамбовские, наши саратовские» и пр. Кто-то заметил и добродушно сказал мне об этой его черте, после этого я с трудом удерживал улыбку, когда речь заходила о «наших».

Никогда не забуду одной комичной сцены с участием Янькова, очевидцем которой я был. Яньков ревностно следил за успехами тех призовых рысаков, которые происходили от его лошадей. На бега с их участием он приезжал неизменно. Как сейчас помню, бежал рыжий Стрелец, сын знаменитого яньковского Желанного.

Стрелец – очень резвая и вообще превосходная во всех отношениях лошадь. Яньков очень им интересовался и всегда с особым вниманием и волнением следил за его бегом. Во время одного из таких бегов Яньков стоял на скамейке, а рядом с ним Расторгуев; между скамейкой и решеткой находились другие охотники, и среди них одна чуйка, очевидно охотнорядец. Бег был на три версты, и ехали не резво, часто менялись местами. Стрелец шел то впереди, то сбивался и отпадал. Затем опять нагонял, и исход бега был еще не ясен. Яньков, волнуясь и грассируя, несколько раз спросил чуйку: «Послушайте, любезный, кто там идет впереди?» Чуйка ответила раз, ответила другой, а засим в сердцах повернулась к Янькову и громко воскликнула: «Что ты ломаешься, слепой что ли, сам не видишь?» Эффект получился полный! Яньков, однако, не растерялся, полуобернулся к Расторгуеву и презрительно сказал: «Quelle cohon!»\* На бегу, а в особенности у Расторгуева, где было много сыновей, мальчуганов, долго смеялись над ответом Янькова, и на некоторое время «quelle cohon!» стало у детворы любимым изречением.

Я не припомню сейчас, чтобы Яньков сообщил мне что-либо новое, чего я не знал бы о прежних лошадях и коннозаводчиках, однако, как это ни странно, он был больше связан с современностью и находился в курсе спортивных дел. Это ему, конечно, очень помогло, когда он, выслужив полную пенсию в казенной палате, ушел в отставку и получил у нас на бегу должность судьи по определению возраста лошадей и верности их примет. В исполнении своих обязанностей он отличался чрезвычайной пунктуальностью и аккуратностью. Яньков был, конечно, человеком, не поднявшимся над общим средним уровнем. Од-

\* Какая-то свинья! (фр.)

нако не они ли, эти заурядные люди, лучше всего представляют нам свою эпоху? Личности выдающиеся, таланты, всегда господствуют над эпохой и ее превосходят, они как бы выходят из рамок своего времени. Я не видел Янькова в течение нескольких лет революции, а затем узнал от его приятеля Шнейдера, что он работал в Калуге и приехал в Москву искать место. Это было в 1920 году либо 1921-м. Я хотел его навестить, но старик был так слаб, что через несколько дней по приезде в Москву скончался от истощения. Да, он получил место, но только не на службе, как хотел, а там, где каждому из нас в конце концов оно уготовлено... После смерти Янькова его дочь продала мне очень интересный альбом с фотографиями лошадей яньковского завода. Там были и Грозный, и Вероник, и Горка, и многие другие. Особенно важна и интересна фотография знаменитой Горки, никогда и нигде не печатавшаяся. К сожалению, в альбоме недостает нескольких фотографий, которые, вероятно, были подарены еще самим Яньковым разным лицам, но и в том виде, в каком альбом дошел до меня, он представляет огромный интерес. Все эти фотографии – работы знаменитого в свое время фотографа Кампиона. У Янькова был также гипсовый бюст коннозаводчика И. И. Петровского. Этот бюст был продан доче-



*Дмитрий Алексеевич Расторгуев*

рю Янькова в главмузей и там, наверное, погиб как ненужный хлам, когда началась переоценка ценностей и деятельности главмузея! Янькову же принадлежал полный комплект «Журнала коннозаводства» за первые пятьдесят лет его существования, то есть все 600 книжек; редчайшее собрание, ибо полные комплекты «Журнала коннозаводства» были лишь в Публичной библиотеке и в Главном управлении государственного коннозаводства. Яньковский комплект купил К. К. Кноп, а мне удалось собрать четвертый полный комплект, на что ушло пятнадцать лет. Впрочем, теперь опять-таки осталось лишь три комплекта, ибо один, принадлежавший государственному коннозаводству, разворован.

Приятель Янькова Д. А. Расторгуев, представитель старинной купеческой семьи и глава знаменитой торговой фирмы «Д. и А. Расторгуевы», тоже был в то время уже немолодым человеком. Когда-то они были очень богаты, вели громадные дела не только в России, но и в Азии, но лет за десять до моего знакомства с Дмитрием Алексеевичем фирма потерпела колоссальное банкротство, что-то на 30 миллионов рублей, и прекратила платежи. Назначили администрацию, и Расторгуев стал во главе ее. Однако его положение было, конечно, уже не таким, как раньше, и он получал жалование, как и все другие служащие. Если бы дела дома начали процветать, то по выплате всех долгов дело вновь стало бы собственностью Расторгуева. Однако мечтать о выплате 30 миллионов не приходилось. Благодаря всяческим уловкам, хитрости и настойчивости Расторгуев еще лет пятнадцать провертелся в роли главного администратора, а затем фирма окончательно лопнула и навсегда прекратила свое существование. Дома Расторгуева занимали на Солянке целый квартал. Они начинались от угловой церкви, стоявшей на их земле и выстроенной еще дедом, и упирались в следующий переулок. Это было громадное владение с большими амбарами, флигелями, домами и складами во дворе. По фасаду, посередине всего владения, находились главная торговая контора и магазин; здесь же было правление, где постоянно можно было застать как самого

Д. А. Расторгуева, так и его братьев Сергея и Петра. Далее шел двухэтажный особняк, где жил сам Расторгуев, а угловой дом занимали одно время Кноп и еще кто-то. Я застал Расторгуева еще стоящим во главе администрации, но затем на моих глазах дело лопнуло, как мыльный пузырь. Расторгуев снял в бывших своих домах маленький угловой магазин и открыл небольшую конфетную фабрику, где делали только мармелад и пастилу. На это он жил. Кроме того, некоторым подспорьем была продажа вещей и торговля лошадьми, которую Расторгуев вел успешно. Торговал он лошадьми преимущественно своего завода, но иногда у него бывали и чужие лошади. Его знаменитая призовая конюшня, а также дом на Башиловке перешли по закладной к С. И. Бабенышеву. Словом, от всего колоссального состояния уцелела квартирная обстановка особняка да конный завод, правда, очень сокращенный и значительно пощипанный кредиторами. Имение, в котором завод находился, было продано администрацией по делам торгового дома братьев Д. и А. Расторгуевых господину Копену; Дмитрий Алексеевич арендовал там постройки для завода и покупал корма. Таково было материальное положение этой семьи на протяжении последних десяти лет (1907–1917). В начале десятилетия Расторгуев дышал еще сравнительно свободно, так как от грандиозного краха кое-что, вероятно, было припрятано, но чем дальше шло время, тем ему становилось тяжелее.

Сам Дмитрий Алексеевич был высокий мужчина, и притом худой, как жердь. Когда он говорил, то иногда перегибался пополам: казалось, что ему тяжело носить голову высоко на плечах и она как бы сама клонилась книзу. Рассказывали, что этот человек много пережил перед разорением и что подвел его другой миллионер – П. И. Харитоненко. Рассказывали даже душераздирающую сцену последнего их свидания перед объявлением расторгуевского банкротства. Словом, со времени этого свидания и после всего того, что он тогда пережил, Расторгуев и стал тем Расторгуевым, которого я знал.

У него были очень тонкие черты лица и удивительно красивые руки – руки музыканта или, вернее, артиста. Говорил он заикаясь, притом страдал этим недугом в такой сильной степени, что иногда не мог 5–6 минут выговорить следующего слова и все повторял предыдущее. Очень тяжелая картина. Расторгуев никогда не принадлежал к старообрядцам, но во всей его фигуре было что-то сектантское. Душою это был добрейший и превосходнейший человек, который, вероятно, на своем веку никогда и никого не обидел. Он понимал музыку, любил театр и обладал культурой, умом и достаточной дальновидностью. Однако в свое время он не получил никакого образования, кроме коммерческого, и это, конечно, чувствовалось. Лучше всего он знал и больше всего любил лошадь.

Расторгуев очень нежно и трогательно относился к своей жене, которую называл Анеточкой. В мое время это могло звучать несколько иронически, но нет, Расторгуев всегда так обращался к жене, сердечно и искренне. Анеточке было далеко за пятьдесят лет. Дама весьма солидной комплекции, жгучая брюнетка, добрая и простая – типичная купчиха в стиле восьмидесятых годов. У них была очень большая семья, человек десять, преимущественно мальчишки. Некоторые так походили друг на друга, что их трудно было различить.

Расторгуевы занимали целый особняк – лучший дом в их владениях. Обстановка дома была самая разнообразная, тут и дедовские вещи, и модная мебель времен упадка стиля – приданое Анеточки, и отдельный первоклассный предмет мебели, случайно купленный у промотавшегося барина. Вещи носили тот же случайный отпечаток, и рядом с первоклассной бронзовой фигурой стоял гипсовый кот, когда-то купленный у уличного итальянца-формовщика. Что было

хорошего в доме Расторгуева – это картины. Правда, их было немного, но среди них – не олеографии, не копии, а оригиналы, и притом хорошие. В столовой висело большое полотно Поленова – горелый лес с крестьянками, собирающими грибы. Замечательная картина, одно из лучших произведений знаменитого художника. Я всегда любовался этой картиной и жалел о том, что в тяжелую минуту Расторгуев должен был ее продать. Тут же висели две-три картины кисти популярного художника Маковского. В других комнатах находились портреты кисти Чиркина со знаменитых лошадей, бывших в заводе Расторгуева. Особенно хорош был портрет Удалого, отца Мраморного. Все чиркинские портреты, принадлежавшие Расторгуеву, после его смерти разошлись, к сожалению, по рукам, и ныне не известно, где они находятся. Гордость хозяина составляли работы кисти Н. А. Клодта – портреты знаменитого Серебряного и мосоловского Быстрого (оба жеребца состояли производителями в расторгуевском заводе). Жеребцы были написаны превосходно, и я неоднократно предлагал 1000 рублей за портрет Серебряного, но Расторгуев его ни за что не продавал. Уже во время революции этот портрет я купил из третьих рук.

В комнатах детей висело несколько рисунков Сверчкова, и, наконец, в доме находилась масляная картина кисти Сверчкова – портретная тройка на шагу. Расторгуев уверял, что это тройка светлейшего князя Меншикова, что вполне возможно. Мне эта тройка никогда особенно не нравилась, и я удивился, когда магазин Дациаро заплатил за нее 800 рублей. Впрочем, в то время цены на сверчковские картины стояли очень высокие. Купив эту картину, директор магазина Дациаро позвонил ко мне и просил приехать ее осмотреть. Я отказался, говоря, что картину знаю и она мне не нравится; Пачче продолжал настаивать и сказал: «Вас ожидает сюрприз». Делать нечего. Заинтересованный, еду на Кузнецкий мост, и у Дациаро мне показывают хорошо знакомую мне тройку. «А где же сюрприз?» – спрашиваю Пачче. Он нажал пружинку сбоку рамы, и из-за первого подрамка появился второй, уже без рамы, и на нем – следующая сцена: великолепный жеребец кроет кобылу, тут же кучер с уздечкой в руках так же поступает с бабой. Я от души рассмеялся, смеялись вокруг меня и итальянцы, а милейший Пачче приговаривал: «О! Это Сверчков, это только он мог придумать!» Когда я рассказал об этом Расторгуеву, он очень жалел, что не знал об этом и, провладев картиной двадцать лет, упустил столько случаев показать друзьям эту диковинку и насладиться их удивлением.

В мое время Расторгуев уже не устраивал приемов, но несколько раз за зиму у него собирались друзья-лошадники. Это был кружок вроде кружка Живаго, такой же тесный и еще более замкнутый. В него входили К. К. Кноп, Г. Д. Яньков и я. Мы были завсегдатями расторгуевских обедов и «лошадных» собеседований в этом доме. Очень редко бывали и другие лица. Одно имя – К. Г. Шубовича – мне сейчас припомнилось. Молодой человек, путеец, уроженец Херсонской губернии, сын колониста, он увлекался лошадьми и купил у Расторгуева в трудную минуту за 3500 рублей жеребца Пекина. Покупка оказалась чрезвычайно удачной: Пекин напропалую брал первые призы и заявил себя одним из первоклассных рысаков года. Это было как раз в 1907 году. Само собой понятно, что молодой человек держал страшный фасон и возомнил себя знатоком лошади. Расторгуев очень тонко и мило над ним потешался, но наш херсонец чувствовал себя гордо и поучал самого Расторгуева. Можно было подумать, что не Расторгуев, а он вывел Пекина, о котором только и было разговоров. Впрочем, Шубович был случайным гостем.

Опишу здесь один из этих обедов. Большая столовая в расторгуевском доме была уютнее других комнат. Во всю длину стоял большой обеденный стол, вдоль стен – буфеты, серванты и две-три горки со старой отцовской

посудой. На отдельной тумбочке – замечательные нортоновские часы, которые я очень любил. Их мелодичный, мягкий бой, тонкие переливы колокольчиков и красивая музыка прямо очаровывали слух. Расторгуевым эти часы были затем проданы за большие деньги в Англию. Обедали не только гости и хозяева, но и вся семья, начиная от старшего сына Алексея и кончая младшим трехлетним карапузом, за стульчиком которого стояла няня. Во главе стола всегда сидел хозяин, и по обе стороны от него обыкновенно помещались Яньков и я. Хозяйка сидела у середины стола, окруженная детьми. У Расторгуева был очень хороший стол: он любил поесть и знал толк в еде. Иногда, раза два в году, в особенно торжественных случаях, он устраивал обеды, которые именовал «зваными».

Это бывало обыкновенно в день именин хозяина или хозяйки и на таких обедах присутствовали, кроме нас, и близкие родные Расторгуевых. В подобных случаях Расторгуев приглашал своего знаменитого повара, который уже не служил у него, а был одним из шефов в «Метрополе». Во времена богатства Расторгуева этот повар за десять лет нажил в его доме порядочное состояние. Теперь же он не отказывал прийти к своему бывшему хозяину, руководил приготовлением кушаньев и не брал за это ни копейки. Это был артист своего дела. Особенно замечательно он приготавливал пирожки и тот зеленый, тонкий, душистый укроп, тронутый на огне, который таял во рту и был еще лучше самих пирожков. После обеда он неизменно являлся в столовую, поздравлял хозяина или же хозяйку, причем Дмитрий Алексеевич подносил ему бокал шампанского, чокался и лобызался с ним. После этого повар торжественно удалялся и просил его не забывать. Расторгуев почти ничего не пил, но к концу обеда, когда камин особенно ярко разгорался, вина и хорошая еда оказывали на всех свое благотворное влияние, хозяин очень оживлялся и все мы с большим удовольствием его слушали. Я уже упоминал о том, что Расторгуев был заика; заикался он особенно сильно, когда волновался или же в обществе малознакомых людей. Здесь же, среди своих, он говорил довольно уверенно и заикался сравнительно мало.

Расторгуев превосходно знал прежний купеческий быт и все, что с ним соприкасалось. От него мы услышали много интересного о прежней городской езде, и Кноп, который особенно этим интересовался, всегда его расспрашивал и наводил на эту тему. Признаюсь, я никогда не увлекался и не придавал значения городской езде, но здесь, слушая Расторгуева, я понял, что смотрел на это дело односторонне и неправильно. Расторгуев рассказывал преимущественно о восьмидесятих, отчасти семидесятих и девяностых годах. По его словам, нередко лучшие лошади из ставок попадали за крупные деньги в пары и одиночки. Среди городских лошадей было много замечательных рысаков. Помню, как Расторгуев говорил о том, что и Серебряный, и затем его знаменитый сын Подарок ходили в городе. Меншиковский Кролик, выигравший Императорский приз, попал на ипподром только после того, как не мог уже ходить в городской езде. То же произошло с Удалым завода князя Черкасского и многими другими. Таких примеров, по словам Расторгуева, можно было бы привести весьма много. Ясно, что следовало изменить мнение о городских лошадях. В мое время бега уже настолько развились, призами разыгрывались столь крупные суммы, что стало действительно невыгодно продавать лошадь в город, и туда шли либо посредственные рысаки, либо же отработанные призовые невысокого класса. Словом, развитие бегового дела нанесло удар городской охоте, и это я хорошо понял только после рассказов Расторгуева. Мне пришлось сделать еще один вывод из этих бесед: во времена незначительного развития бегового дела городская езда служила хорошей и незаменимой школой для

рысаков. Здесь они упражнялись в резвом беге, выказывали свою силу, выносливость и здоровье, после чего лучшие из них и поступали в заводы. Словом, тогда городская езда заменяла ипподром. Отсюда мне стало понятно, почему в орловской рысистой породе столько не бежавших рысаков оказались не только хорошими, но и выдающимися производителями. Ларчик открывался просто: жеребцы-то эти не бегали, но в действительности прошли хорошую тренировку и много поработали. Я столь подробно останавливаюсь на этом вопросе потому, что в печати тема прошла незамеченной. Будущему историку орловской рысистой породы придется учесть это обстоятельство и посвятить ему немало строк. Оно важно и значительно.

В рассказах Расторгуева городская охота оживала, было очень интересно его слушать. По его словам, существовали настоящие городские охотники – те, кто любил лошадей и держал их не из чванства и не для удобства, а по охоте; у них имелось по восемь, десять пар. Другие имели знаменитых лошадей и показывали их всей Москве. Третьи щеголяли не только рысаками, но упряжью работы знаменитого Сазикова, коя была вся из серебра (разумеется, прибор). Наконец, один, не зная, что бы еще придумать, ковал своих рысаков на серебряные подковы. Нередко по Москве можно было встретить во всех отношениях замечательного рысака, запряженного в скромные купеческие дрожки. По словам Расторгуева, то, что делалось на гуляниях и во время катания, и представить себе сейчас невозможно. Так хороши были выезды, так их было много и так замечательно правили кучера! О некоторых кучерах ходили легенды! Иногда устраивались заклады – чей кучер лучше проедет. Как сейчас помню один такой рассказ. На Кузнецком мосту переделывали мостовую и долго возились с этой работой; наконец в одном месте была положена узкая полоска мостовой, а по бокам еще не замостили. Здесь-то и открылось состязание, чей кучер на полном ходу пролетит по Кузнецкому и проедет по этой узкой полоске. Нужно было иметь верный глаз и замечательную приездку лошадей, чтобы именно на полном ходу попасть на узкую полоску мостовой, не сдрейфить и не дать лошадям закинуться. Пари было выиграно знаменитым кучером Серебрякова. «Да, были мастера езды в свое время», – закончил рассказ Дмитрий Алексеевич Расторгуев.

Как-то раз, когда Расторгуев был в особенно хорошем расположении духа, он рассказал нам про знаменитую пару купца Залогина, которую все москвичи, конечно, городские охотники, прозвали Бетховены и которой Залогин невероятно гордился, так как второй такой пары не было ни у кого в Москве. «Как вы думаете, почему москвичи прозвали эту пару Бетховенами?» – спросил нас Расторгуев. Посыпались разного рода догадки, но все их отверг Расторгуев как неверные. «Бетховены, Бетховены, Бетховены...» – начал, опять сильно заикаясь, Расторгуев и, повторяя, по привычке заик, несколько раз одно и то же слово, объяснил наконец, что лошади названы в честь знаменитого композитора Бетховена. Мы все пришли в недоумение и не могли понять, при чем тут великий Бетховен и пара жеребцов купца Залогина. Оказалось, что эта пара жеребцов во время езды так громко отфыркивала, что обратила на себя внимание всех охотников и даже гуляющей публики. Когда знаменитая пара вовсю неслась вверх по Кузнецкому мосту, этот отхрап особенно усиливался и превращался в очень громкую мелодию. Правда, это была своеобразная мелодия, и ее-то шутники называли бетховенской, а жеребцов тогда прозвали Бетховенами. Они стали знаменитыми на всю Москву, и Залогину предлагали за них громадные деньги, но он их, конечно, не продал. Нашлись и подражатели, стали искать подобных Бетховенам, но таковых никому найти не удалось. Пара Залогина осталась единственной в своем роде. Ловкие барышники и тут, на этой

шутке московского остряка, не преминули нажиться: на первых порах им удалось продать неопытным франтам две-три пары лошадей со свистящим удушьем, уверяя при этом, что таковы настоящие Бетховены. Однако когда эти пары появились на катанье, то их немедля осмеяли и презрительно над ними поиздевались, ибо чуткое ухо москвичей сейчас же отличило разницу между этими хрипунами и приятным отфыркиванием настоящих Бетховенов!

Не только о городской охоте много и интересно говорил Расторгуев; он знал почти всех прежних коннозаводчиков и охотников, и именно от него я узнал много занимательных подробностей о жизни и деятельности М. И. Бутовича. Расторгуев был очень хорош с ним, и кое-что из его рассказов о Бутовиче я приведу здесь, так как в спортивной литературе об этом охотнике встречается весьма мало сведений, да и то отрывочного характера.

Бутович был сверстником Коптева. Их связывали дружеские отношения, и в своих многочисленных статьях Коптев не раз упоминал имя Бутовича. Михаил Иванович был богатейшим человеком своего времени: ему принадлежали большие родовые поместья в Киевской губернии, где он в молодости служил по выборам и был предводителем дворянства. Мать Михаила Ивановича происходила из родовитой дворянской семьи, давно обосновавшейся в Калужской губернии. Именно от нее Михаил Иванович наследовал имения в Калужской губернии, где он и держал впоследствии свой конный завод. Таким образом, как по своим имениям, так и по родовым связям Михаил Иванович был тесно связан и с югом (Киевская губерния), и с севером (Калужская губерния). Михаил Иванович родился в 1819 году в знаменитой Бровке Киевской губернии, родовом имении той линии Бутовичей, которая среди других линий того же рода была наиболее богатой и известной. Отец Михаила Ивановича, Иван Федорович Бутович, родился в 1759 году, служил в гвардии, затем занимал много почетных должностей, а с 1807 года был киевским губернским маршалом, то есть в течение длинного ряда лет стоял во главе дворянства своей губернии (губернские предводители в то время назывались губернскими маршалами). Брат Михаила Ивановича Николай (родился в 1792-м) – отставной лейб-гвардии поручик, киевский уездный предводитель с 1832 года; другой брат – Владимир (родился в 1817 году) – киевский предводитель дворянства с 1844 года. Единственная их сестра Наталия была замужем за князем Жеваковым. Таким образом, предводительство было как бы фамильной привилегией этой знатной и богатой семьи, которая занимала в Киевской губернии особенное положение. Первым прославившимся предком в этой линии был знаменитый зеньковский сотник Илько (Илья) Бутко (родился в 1680-м), имя которого вошло в историю Малороссии.

Не удивительно, что Михаил Иванович, происходя из столь богатого и знатного рода, получил блестящее образование, с детских лет был записан в гвардию, затем предводительствовал и, наконец, увлекшись лошадьми (удел многих Бутовичей), все бросил и переехал в Москву, где всецело отдался любимой страсти. Благодаря счастливой случайности мы имеем возможность привести здесь некоторые данные о первых шагах Михаила Ивановича на спортивном поприще,



*Михаил Иванович Бутович*



еще в то время, когда он предводительствовал в Киеве. В журнале «Зритель» за 1862 год (№ 18, стр. 593) помещен портрет жеребца Уборного, принадлежавшего М. И. Бутовичу, и приведены сведения, вряд ли кому известные, так как «Зритель» – журнал не спортивный и давно составляет библиографическую редкость. Вот что там сказано: «Уборный – вороной жеребец 14 лет, роста 2 ар. 4 верш.; ныне принадлежит кн. Б. Д. Черкасскому и есть тот самый, который не раз упоминался в нашей спортивной хронике бегов, принадлежа тогда М. И. Бутовичу. Замечательный по свежести, сухости и красоте ладов, Уборный, без сомнения, был бы знаменит и на рысистом ипподроме, если бы не превратности судьбы, ему не благоприятствовавшей. Сын шишкинского Уборного, сына Молодецкого и Дубровы, он родился в Харьковской губернии на заводе Р. М. Шидловского, у которого был куплен под маркой К. А. Даховским в Киевскую губернию. Здесь он в трехлетнем возрасте заезжен в упряжи. Однажды на поездке наездник пьяный свалился с дрожек. Уборный разбил их и прибежал домой и с той минуты до того озлился, что никого не подпускал к себе с хомутом. Тогда его стали ездить под верх. Под седлом он четырех лет бежал так резво, что за ним не поспевала поддужная из степных. Пяти лет он был приведен в Белую Церковь, где бежал под верхом 4 версты с кровной поддужной, которая на третьей версте отстала. Секунд, к сожалению, мы не знаем. В 1858 году Уборный куплен М. И. Бутовичем, вновь отъезжен им в упряжи, причем ни одна хорошая поддужная долго не выдерживала под ним, и потом продан кн. Любомирскому в Киев. Затем он вновь приобретен г. Бутовичем, был на московском бегу в 1860 году и, наконец, нынешнею зимою на поездке его самим владельцем делал 4 версты в 7 мин 51 сек. Уборный как производитель имеет то достоинство, что его дети, даже от верховых и простых маток, все рысаки и т. д.»

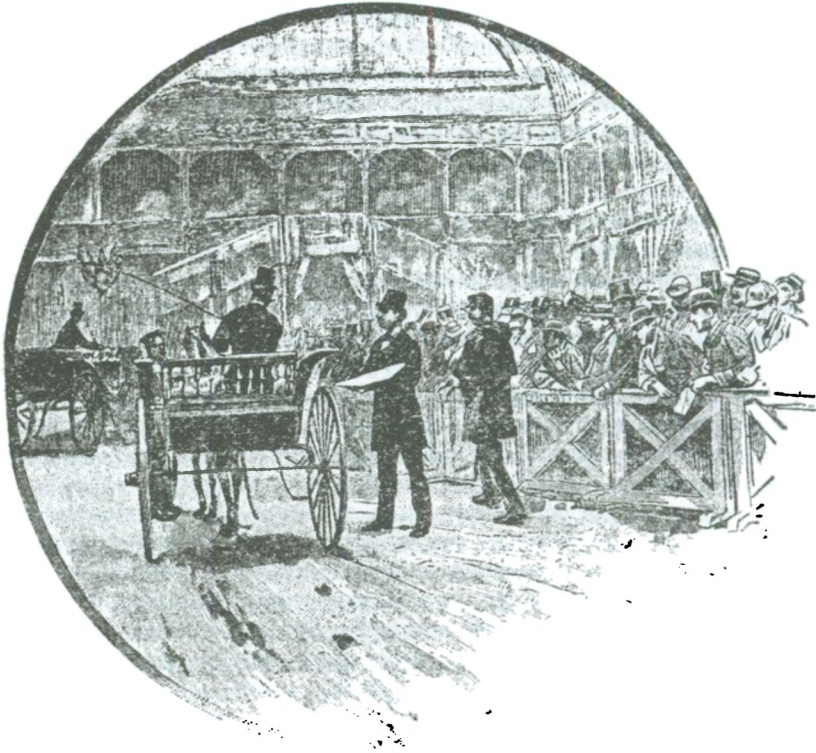
Из этой выдержки прежде всего можно заключить, что М. И. Бутович не только в Москве, но и в своем киевском имении занимался лошадьми и уже тогда славился своим умением укрощать и отъезжать строптивых лошадей. Интересны также данные о том, что Уборный родился не у Даховского, а у Шидловского. Дело в том, что в заводских книгах по этому поводу существует разногласие: Уборный показывается как лошадь то завода Шидловского, то завода Даховского. После прочтения заметки «Зрителя» вопрос о том, где действительно родился Уборный, выясняется с полной точностью. Чтобы в дальнейшем не возвращаться к Уборному, скажем, что Михаил Иванович его очень ценил, крыл им своих кобыл, а затем уступил его, как говорил нам Расторгуев, князю Черкасскому после настоячивых просьб этого последнего. Бутович не ошибся в Уборном: жеребец оказался хорошим производителем и среди других лошадей дал в 1863 году от Буйанки знаменитую Арабку, одну из резвейших кобыл своего времени, которая была настолько хороша, что получила высшую премию на всероссийской выставке. Арабка – мать известной добрынинской Баядерки.

От Черкасского Уборный перешел к Колемину, и его имя встречается у лучших призовых рысаков как этого завода, так и завода Терещенко, куда впоследствии поступила часть колеминского завода. Его же кровь течет и у некоторых лейхтенбергских кобыл, так как М. И. Бутович в свое время продал герцогу несколько дочерей Уборного. Однако еще до покупки Уборного Михаил Иванович уже имел лошадей и особенно увлекался троечной ездой. С начала пятидесятих годов он приводил в Москву, как свидетельствует Коптев, свои знаменитые тройки, собранные из арабских лошадей. Коптев очень поэтично описывает появление на бегу Михаила Ивановича, который сам лихо управлял тройкой, и тот прием, который ему оказывали охотники и московская публика. Около десяти лет тройки Бутовича были лучшими в Москве, но затем он завел рысаков, и, думается, Уборный сыграл тут немалую роль.

Заговорив о езде, скажем, что Бутович был одним из лучших ездоков своего времени в течение тридцати лет (60–80-е годы): он постоянно принимал участие во всех призах для ездоков-охотников и неизменно выходил победителем из большинства состязаний, в которых участвовал. О том, как он ехал на Лихаче и Кряже, нами уже было рассказано, здесь же следует добавить, что когда в Россию впервые привезли американку (кажется, в 1869 году), то никто из наших наездников не решался на ней ехать. Тогда Михаил Иванович, по просьбе членов общества, первым проехал на американке на своем Баловнике и блестяще выиграл приз. В память этого события общество поднесло ему ценный жетон и запротоколировало событие в журнальном постановлении общества. Михаил Иванович так же превосходно знал и теорию езды, он много раз выступал в печати со статьями и заметками о езде на приз, заездке молодых лошадей и прочем; наконец, по просьбе генерал-адъютанта Р. Я. Гринвальда написал руководство по выезде рысака, которое под инициалами М. Б. напечатал казенный «Журнал коннозаводства» и которое долгое время служило учебником в Хреновском заводе – еще тогда, когда там не было школы наездников, а работали наемные ездоки. Поэтому неудивительно, что Московское беговое общество, когда пришло время изменить и дополнить устав, поручило это особой комиссии из трех лиц, в число коих вошел и М. И. Бутович, на которого была возложена обязанность проработать для устава всю техническую часть, связанную с ездой на призы.

Вообще, следует здесь сказать, что М. И. Бутович пользовался исключительным авторитетом среди членов Московского бегового общества, куда он вступил в 1853 году. Это было время полного расцвета общества, и Михаил Иванович играл в нем одну из виднейших ролей, на что давали ему право и его специальные знания, и его любовь к лошади, и, наконец, его высокое положение в свете. Бутович избирался также в старшие члены, много раз исполнял обязанности вице-президента и долгое время был председателем суда чести, который в то время существовал в Московском беговом обществе. Бутович знал не только езду, но, по отзыву Расторгуева, был действительным знатоком лошади. Именно ему Д. А. Расторгуев обязан тем, что собрал замечательный завод и затем достиг таких выдающихся результатов. Расторгуев, человек очень правдивый и справедливый, говорил мне, что только М. И. Бутовичу обязан покупкой своих лучших маток и жеребцов, которые потом прославили его завод. «Много денег я истратил на завод, – говорил Расторгуев, – еще больше меня обманывали. И я жалею теперь, что мало слушал Михаила Ивановича, тогда бы у меня был не такой завод, а в два раза лучше».

Когда в 1869 году на II Всероссийский конскую выставку прибыл по поручению французского правительства первый генерал-инспектор французских заводов господин Перо де Таннберг с целью ознакомления с лошадьми России и закупок, то Главное управление государственного коннозаводства просило М. И. Бутовича помочь инспектору коннозаводства Франции в этом деле. М. И. Бутович, авторитет и знания которого управление высоко ценило (он был неизменно назначаем экспертом по рысистому отделу), охотно дал свое согласие, и закупка вскоре совершилась. Французское правительство было довольно лошадьми, прислало Михаилу Ивановичу орден «Pour le merite», но результат выбора Михаила Ивановича сказался через много лет. Он настоял на покупке во Францию светло-серого жеребца Ворожея, сына знаменитого толевского Гранита, и этот Ворожей оказался дедом Жокея (2.09), резвейшей лошади, рожденной во Франции до 1914 года. Михаил Иванович высоко ценил Гранита и всячески пропагандировал его поступление в один из первокласснейших заводов России – к графу Воронцову-Дашкову. К сожалению, его тогда не послушали и тем, быть может, лишили орловскую породу нескольких рекордис-



*Экипаж. С французской гравюры*

тов класса 2.10 и резвее. Лодыгин вполне разделял мнение Михаила Ивановича и в 1874 году написал специальную передовую статью в своей газете о Граните, где приводил, между прочим, отзывы о нем Михаила Ивановича и ту характеристику, которую Бутович дал этой лошади на выставке. Эта характеристика крайне интересна, так как в ней описан Гранит и ему предсказано великое будущее как производителю. Замечательно, что в этой характеристике Бутович несколько раз подчеркнул, что Гранит даст особенно знаменитых дочерей. Это предсказание сбылось для России полностью: Гранит поступил в завод Голубцовой и дал призовой приплод. К сожалению, здесь он не удержался, так как Коробьин, соблазнив Голубцову высокой ценой, купил эту лошадь. Известно, что Коробьин очень быстро увлекался какой-либо знаменитой лошадей, но затем так же быстро разочаровывался. То же было и с Гранитом: Коробьин продержал его год или два и продал господам Борисовским. У Коробьина от Гранита родилась знаменитая Бриллиантка, одна из лучших маток русского коннозаводства. У Борисовских Гранит дал много замечательных лошадей, но следует сказать, что по кровям он не подходил к этому заводу и, стало быть, непроизводительно погиб для рысистого коннозаводства. Однако уже во времена Елисеева, который купил борисовский завод, появилось немало резвых лошадей, и многие из них происходили по женской линии от дочерей Гранита. Внучка Гранита Зима оказалась у Терещенко замечательной заводской маткой, то же следует сказать про ее сестру Весну, которая дала у Сахарова Ветрогонку, одну из лучших маток Прилепского завода. Наконец, еще на призовой конюшне у Аласина Гранит покрыл знаменитую Грозу – мать Грозы 2-й, от которой происходит Громада – мать Громадного и Горыныча! Таким

образом, предсказание Михаила Ивановича сбылось полностью: Гранит дал замечательных лошадей. Однако и среди его сыновей были такие лошади, как Ворожей, Мастак и другие. Как жаль, что граф Воронцов-Дашков не послушал Бутовича и не взял Гранита в свой завод: при обилии крови Горностая в этом заводе лучшего подбора, чем Гранит, и придумать было нельзя!

М. И. Бутович как коннозаводчик – вполне определенная и выясненная величина. Но, как это ни странно, опись его завода никогда не была напечатана, а между тем элементы, вошедшие в этот завод, крайне интересны. Основанием завода послужила покупка в полном составе старинного ладомирского завода, основанного с давних времен в Воронежской губернии и в 1833 году переведенного в местечко Гремяч Черниговской губернии. Ладомирскому принадлежал также завод кровных лошадей, находившийся в Московской губернии. Генеалогия лошадей завода Ладомирского велась неудовлетворительно, а потому Михаил Иванович вскоре после покупки превратил этот завод в полукровный, пустив туда чистокровных жеребцов. Некоторые кобылы были им оставлены в рысистом заводе, однако ничего серьезного не дали. Судить о составе завода М. И. Бутовича весьма трудно, ибо опись, как я уже сказал, никогда не была напечатана и сведения о лошадях этого завода можно почерпнуть лишь из заводских книг и из описей тех коннозаводчиков, которые имели в своих заводах лошадей М. И. Бутовича. И вот по этим отрывочным сведениям можно заключить, что у Бутовича были кобылы преимущественно заводов А. Б. Казакова и хреновские. Из хреновских кобыл у него особенно прославилась женская семья Залетной. Залетная, как известно, была матерью нарышкинского Льва; ее внучку Бабуру М. И. Бутович и купил в Хреновском. Насколько этот выбор оказался правилен, можно судить по тому, что младший брат Бабуры Бравый получил впоследствии заводское назначение в Хреновской и дал много замечательных лошадей. Матерью Бабуры была Лебеда, дочь Лебеда 4-го и Залетной, о которой я уже упоминал. Таким образом, в лице Бабуры М. И. Бутович получил замечательную кобылу, чья заводская деятельность оказалась блестящей: от Бабуры родилась у М. И. Бутовича Боевая, от которой у Уборного произошла Радость (родилась в 1877 году) – мать Редкости, одной из лучших маток лейхтенбергского завода. Редкость – мать знаменитой Русалки. Прямая женская линия Радости и до сего времени играет видную роль в рысистом коннозаводстве, в особенности же в Прилепском заводе, где четыре заводских матки происходят из этой женской семьи. Я слышал также, что одна из лучших современных кобыл в Хреновском заводе (кажется, ее зовут Волга) принадлежит к той же семье. Из казаковских кобыл лучшими у М. И. Бутовича оказались Гранитка, дочь Полкана 6-го, давшая призовой приплод, и Защита, также дочь Полкана 6-го. Дочь Защиты Заноза (от Кота) была заводской маткой у С. А. Терещенко и дала в семидесятых годах много хороших лошадей. Ее сын Горностай (родился в 1876 году) долгое время был производителем у Терещенко. Интересно отметить, что Защита и Гранитка были, как говорил Расторгуев, очень красивы и до поступления в завод ходили у Бутовича в паре.

Была у М. И. Бутовича и другая замечательная пара, которую знала вся Москва, – белые жеребцы завода графа Соллогуба, сыновья Добродея; с правой стороны ходил Хвальный от знаменитой Хвальной, матери сапожниковского Кролика, а с левой стороны – Лебеденок от тулиновской Лебедки. Эта пара была очень резва и появлялась на московском бегу. В 1863 году, 23 января, пара Бутовича блестяще выиграла приз, оставив соперников за флагом. В том же году Бутович продал Хвального. Хвальный попал в завод Е. Г. Шверц, где дал бежавшее и выставочное потомство; стариком двадцати лет он был куплен в завод другого курского коннозаводчика Картавцева, где и окончил свои

дни. Если я так подробно останавливаюсь на Хвальном, то лишь потому, что это была замечательная лошадь и ее имя вошло, через телегинский завод, в породу многих рекордистов. В 1874 году господа Борисовские купили у Колюбакина рыжую кобылу Червонную, по одной версии – жеребой от Хвального, а по другой – с серым сосуном от него же. Борисовские называли этого жеребенка Чародеем, и он бежал как лошадь их завода (по произведенным мною изысканиям, есть большие основания считать Чародея лошадью завода Колюбакина). Бежал Чародей с большим успехом, а поступив производителем в завод Телегина, дал Искру – мать Ириса и других замечательных лошадей. Таким образом, из городских лошадей Бутовича две – Хвальный и Метелица – оказались выдающимися. Метелица дала, как я уже, кажется, говорил, у герцога Лейхтенбергского знаменитого Кремня, Марио и других.

Была еще одна кобыла в этом заводе, а именно Горностайка, которая дала классную лошадь – вороного жеребца Колдуна. Так как в заводских книгах происхождение Горностайки показывается не всегда одинаково, то мы посвятим ей несколько слов и точно выясним ее происхождение. В одних изданиях она показывается так: «Горностайка происхождения неизвестного», в других: «Горностайка от Горностая 5-го и Горностаихи завода А. Б. Казакова». Последнее неверно: в действительности Горностайка была завода графа Ефимовского, но аттестата не имела. По словесному объяснению М. И. Бутовича, она происходила от кутайсовского жеребца и зубовской кобылы. Когда резво побегал Колдун, а затем и сам он, и его сестры поступили в завод, то один знаменитый рязанский коннозаводчик и изобрел происхождение Горностайки от Горностая 5-го и Горностаихи завода А. Б. Казакова. Лодыгин, получив этот документ для напечатания в заводской книге и хорошо зная истинное происхождение лошади, запросил официально М. И. Бутовича, и рязанский коннозаводчик был посрамлен. Надо признаться, что происхождение было придумано очень удачно, так как у М. И. Бутовича было несколько казаковских кобыл, поэтому всякий другой редактор, не столь опытный, как Лодыгин, попался бы на эту удочку. Ввиду того что имя Колдуна еще и сейчас встречается в некоторых родословных, следует помнить, что его мать хотя и рысистая кобыла завода графа Ефимовского, но происхождения невыясненного.

На московском ипподроме бежало шесть лошадей из завода Бутовича, а именно: серый Буйный, вороной Гром, гнедой Закрас, вороной Колдун, серая Метелица и серая Лебедка. Принимая во внимание вообще ограниченное число лошадей, бежавших из заводов на наших ипподромах до 1880 года, надо признать число призовых лошадей, вышедших из завода Бутовича, очень хорошим.

Из производителей Бутовича лучшим был, конечно, Уборный, затем призовой Кот и, наконец, Баловник. От Кота бежали лошади, и сам он был известным призовым рысаком; то же следует сказать и про Баловника. Однако громкое имя производителей, притом до сих пор имеющее значение, приобрели Уборный и еще один жеребец – белый Лебедь. Бутович недолго пользовался последним и продал его Сахновскому. От Лебеда родился известный Лихач, отец Бойца и целой серии резвых лошадей завода М. Г. Петрово-Солового. Как показывают заводские книги, главное распространение лошади М. И. Бутовича имели в заводах герцога Г. М. Лейхтенбергского, Терещенко, князя Б. Д. Черкасского и Суходолова. Коннозаводская деятельность Бутовича прервалась в восьмидесятых годах, и Расторгуев пояснил мне почему. Бутович не был женат, но у него было увлечение, которое длилось всю его жизнь. Он был безумно влюблен в графиню Е., и не было тех трат, на которые бы он ни шел ради этой женщины. Графиня была одной из первых красавиц не только Москвы, но и Петербурга; она блистала при дворе, тратила направо и налево, ездила за

границу, где жила с царской роскошью и прожила все громадное состояние мужа. Туда же пошло и миллионное состояние Михаила Ивановича. Сначала были проданы калужские имения, потом киевские, дом в Киеве, в котором когда-то его отец, старый маршал, принимал высочайших особ и знатных киевлян, затем завод, лошади и все прочее. Словом, Бутович должен был продать завод и отказаться от коннозаводской деятельности. Ликвидируя окончательно свой рысистый завод, он продал его в полном составе князю С. М. Голицыну, который с лошадями М. И. Бутовича и начал свою охоту. Голицын вел завод около сорока лет, нередко имел хороший успех на бегах и вывел недурных лошадей. Впоследствии сам он переехал за границу и увез в Ниццу, где всегда жил, часть своих лошадей. Во Францию были взяты главным образом дочери и внуки кобыл М. И. Бутовича, и их дети не без успеха подвизались на бегах в Ницце, где князь Голицын долгое время стоял во главе бегового общества. Из этих кобыл лучшими были Гремислава (от нее и Кота – серый Грозный, долгое время состоявший производителем у князя Голицына в его тульском заводе Голуни), ее дочь Везувиана, Дюжачка от Уборного (от нее Ида князя Голицына, мать лучших лошадей в этом заводе) и две дочери Кота – Метелица (от хреновской Прискорбной, дочери Любимца 3-го) и Швейцарка 1-я (от Гремиславы). Из линии этой последней было несколько заводских маток в голицынском заводе. Возможно, что и сам Кот был продан М. И. Бутовичем С. М. Голицыну, так как в заводских книгах встречаются указания на приплод этого жеребца в заводе Голицына, но не от кобыл Бутовича, а от других голицынских маток (смотри, например, кобылу Венецию от Кота и Затмены). Затмена никогда не принадлежала Бутовичу, она была куплена С. М. Голицыным у князя Б. А. Голицына.

Вскоре Бутовича постиг новый удар: скончалась графиня Е. И он загрустил. От его громадного состояния, конечно, кое-что осталось, и Михаил Иванович решил отречься от мира, принять схиму и уйти в монастырь. Надо сказать, что по этой линии бутовичевского рода насчитывалось уже не одно лицо, принявшее монашеский сан, и Михаил Иванович как бы следовал по тому пути, по которому когда-то уже шли его предки. Дочь графини Е., этой легкомысленной, блестящей красавицы, рано начала тяготиться мирской жизнью и давно говорила о том, что собирается уйти в монастырь. Смерть матери и разочарование жизнью еще более укрепили ее решение, и молодая графиня быстро распродала остатки имущества и решила стать монахиней. Мне неизвестны подробности всей этой интимной драмы, а драма здесь, несомненно, была. После долгого раздумья дочь графини Е. решила основать женский монастырь в Царстве Польском, и Святейший синод дал на это свое благословение. Монастырь был основан в Седлецкой губернии и просуществовал до великой европейской войны, когда был эвакуирован в Петербург. Сама графиня приняла постриг и вскоре была назначена игуменьей монастыря. Михаилу Ивановичу было дозволено с особого разрешения, принимая во внимание его старость и крупный вклад (все остатки его состояния), поселиться в этом монастыре; там на руках игуменьи он в глубокой старости тихо почил, совершенно отрекшись от мира и всех земных благ.

Так окончил свои дни этот выдающийся коннозаводский деятель, имя которого в продолжение почти половины столетия гремело в России и не сходило с уст многих охотников и любителей лошадей. Во время войны мне суждено было встретиться у графини Игнатьевой монахиню того монастыря, где скончался М. И. Бутович. Она проживала тогда в Петербурге, в Смольном, куда эвакуировали все имущество монастыря и где нашли себе приют и все монахини. От нее я узнал подробности последних лет жизни и смерти Михаила Ивановича.

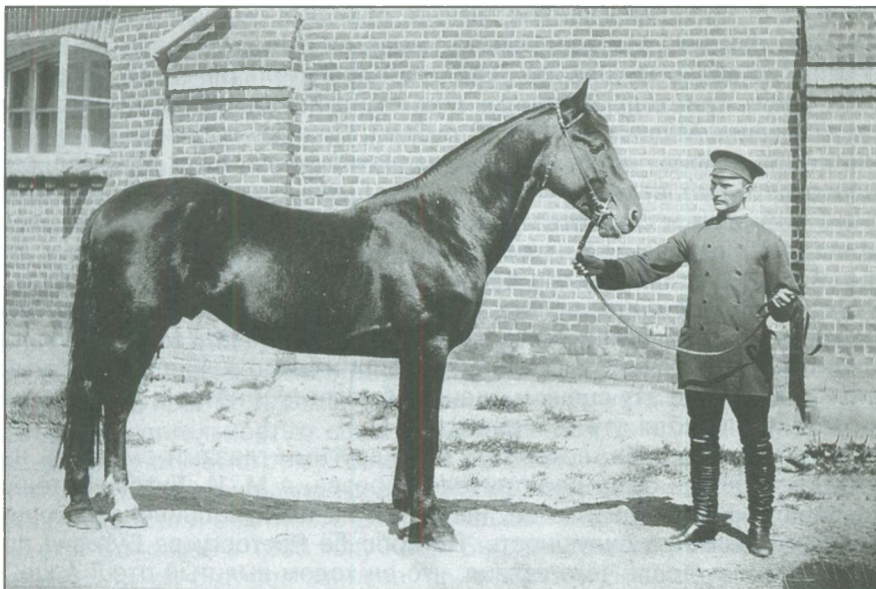
ча. Хотя он не мог принять постриг, так как проживал в женском монастыре, но вел жизнь чисто монашескую и не интересовался мирскими делами. Время он проводил в молитве и труде, помогая вести сельское хозяйство и давая советы и указания игуменье, которая когда-то выросла у него на руках. Монастырь, несмотря на то что находился в центре католицизма, вскоре завоевал симпатии самых широких кругов населения и стал центром православия в Царстве Польском. Александр III, будучи на больших маневрах в Варшаве, специально заезжал благодарить игуменью, молился в монастыре, осматривал мастерские и хозяйство, остался всем очень доволен и пожелал видеть Михаила Ивановича. Около полудня провел с глазу на глаз Александр III с Михаилом Ивановичем в его келье и вышел оттуда видимо взволнованный и растроганный. О чем они говорили, Михаил Иванович никогда и никому не сказал.

Из-за своего фанатического отношения к истории коннозаводства и к сверчковским портретам я не мог не спросить почтенную игуменью, не известно ли ей, куда девались портреты Уборного, Защиты, Гранитки и Радости кисти Сверчкова, которые украшали кабинет М. И. Бутовича в Москве, о чем мне говорил Расторгуев (репродукция с портрета Уборного была помещена в журнале «Зритель» за 1862 год, так что я не имел оснований сомневаться в справедливости этих слов). Оказалось, что портреты этих лошадей были сохранены Михаилом Ивановичем, а равно и некоторые портреты его предков. Они хранились в кладовых монастыря: Михаил Иванович отказался их повесить в своей келье. Кроме того, осталось немало бумаг и дневник, который Михаил Иванович начал было вести за несколько лет до поступления в монастырь, но в монастыре его уже не продолжал. Все это эвакуировали в Смольный и монахиня выразила надежду, что эти четыре портрета и бумаги будут мне переданы как память о представителе того рода, к которому я принадлежу. К сожалению, передача этих вещей откладывалась до возвращения в Седлецкую губернию, ибо в Петербурге невозможно было разобраться среди громадного монастырского имущества. Однако монахиня не вернулась в Седлец и, конечно, никогда больше не увидела основанного ею монастыря, где мирно покоится прах Михаила Ивановича. Началась, продолжилась и углубилась революция. В России все изменилось, и самой России не стало. Смольный превратился в цитадель большевизма, и рассеялись по белому свету или были уничтожены вещи монастыря, а с ними погибли и бумаги, и картины М. И. Бутовича. И от этой жизни, когда-то столь кипучей, и от этой деятельности, когда-то столь многогранной, не осталось ничего, даже этих нескольких клочков исписанной бумаги и нескольких портретов предков и любимых лошадей... *Sic transit gloria mundi!*\*

Все, что я сообщил о жизни и деятельности М. И. Бутовича, отчасти рассказано Расторгуевым, частично взято из других источников. Немало интересного рассказывал нам Расторгуев и о других охотниках; привести все эти рассказы, конечно, невозможно, но о том, как и при каких обстоятельствах Расторгуевым был куплен Кряж-Быстрый, поведать необходимо, тем более что в печати об этом нет никаких данных и указаний. Имя Кряжа-Быстрого принадлежит истории коннозаводства, а потому все подробности об этой лошади не только интересны, но и важны; они тем интереснее, что даются в освещении и со слов ее бывшего владельца.

«Вы будете удивлены, – начал свой рассказ Расторгуев, – если я вам скажу, что владельцем Кряжа-Быстрого я стал случайно. Я его купил у Малича, когда Кряжу-Быстрому исполнилось три с половиной года. Однажды, это было поздней осенью, сижу я, по обыкновению, в конторе и занимаюсь делами. Тогда

\* Так проходит мирская слава! (лат.)



*Кряж-Быстрый, гнедой жеребец, род. в 1885 г. в заводе С. М. Шибаева  
от Кряжа и Быстрой*

дела фирмы шли блестяще, и все, казалось, предвещало в будущем полное благополучие и успех. Настроение у меня было хорошее, и я охотно покупал резвых лошадей для своей призовой конюшни. Малич это знал и хотел этим воспользоваться. Поэтому, когда он вошел в контору и предложил мне купить Кряжа-Быстрого, я несколько не удивился. Ехать посмотреть Кряжа-Быстрого на езде решено было на другой день утром. Кряж-Быстрый ехал хорошо, обещал быть резвой лошадей, но Малич хотел за него 10 тысяч рублей – цену по тому времени очень высокую. Когда я его осмотрел на выводке, он мне не понравился: это была довольно грубая, очень костистая и широкая лошадь с плохой спиной. Что было хорошо у Кряжа-Быстрого – это ноги, правильные, с отбитыми сухожилиями, мускулистые и прочные. Но спина уже тогда (это у молодой лошади!) была некрасива: при хорошей связке она шла все понижаясь к холке, что сейчас же бросалось в глаза. Я категорически отказался купить лошадь и уехал в амбар. Через несколько дней Малич врывается в контору, забрасывает меня тысячью фраз о Кряже-Быстром, сообщает о его последней прикидке – четверть версты без семи – и начинает меня уговаривать взять лошадь. В это время у меня сидел покупатель-оптовик из Сибири, и только за несколько минут до прихода Малича мы закончили крупную сделку на сахар и он вынул и положил на стол задаток 10 тысяч рублей. Деньги лежали еще на столе, и Малич вскользь меня спросил, сколько в этой кипе. Я ему ответил: «Ровно столько, сколько вы просите за вашего Кряжа». Тогда Малич быстро берет деньги, кладет их в карман, бросает на стол аттестат Кряжа-Быстрого и, заявив мне, что я век буду его за это благодарить, исчезает... Я не успел прийти в себя, как Малича уже и след простыл. Я бросился в контору, сказал, в чем дело, и там начался переполох. Тотчас же старший приказчик с аттестатом в руках поехал к Маличу получать обратно деньги. Тем временем я пришел в себя и обдумал все случившееся. Хорошо зная Малича, я не сомневался в том, что деньги он не отдаст и что придется взять Кряжа-Быстрого, а то не будет ни денег, ни лошади. Надо было знать Малича! Как делец он был мастер на все руки, ни



перед чем не останавливающийся, умный, ловкий и смелый! Репутация Малича была известна всей Москве, тем не менее он жил припеваючи и всегда выходил сухим из воды! Вышло так, как я предполагал. Вечером, когда уже закрыли магазин, приехал ко мне на дом старый приказчик, привез обратно аттестат и вексель Малича на 10 000 рублей. Приказчик рассказал, что Малич денег не отдал, заявил, что он ими уже заплатил долги, а так как, мол, он честный человек, то дает вексель на эту сумму. Емельяныч недаром был старшим приказчиком фирмы и с детства работал в деле Расторгуева. Он смекнул, что дело дрянь, взял вексель, но аттестата не отдал, а привез его хозяину. На другое утро Маличу был послан его вексель со строгим наказом его отдать лишь тогда, когда будет принята лошадь. Так я стал собственником Кряжа-Быстрого», – закончил свой рассказ Расторгуев. (Надо было знать Малича так, как его знали все мы, сидевшие за столом гостеприимного хозяина, чтобы вполне представить себе всю эту сцену и оценить быстроту и натиск, с которыми действовал Малич, проводя эту «операцию»!)

По словам Расторгуева, вскоре он стал другими глазами смотреть на Кряжа-Быстрого. Лошадь была действительно резва, а М. И. Бутович утешил нового хозяина лошади, признав ее, несмотря на плохую спину, выдающейся и предсказав ей большую будущность. По просьбе Расторгуева Бутович проехал на Кряже-Быстром, после чего заявил, что он ходом вылитый отец! А как ценил М. И. Бутович старого Кряжа – было известно решительно каждому. Расторгуев вполне утешился после отзыва такого знатока и отдал лошадь в езду Скопину.

Я попросил Расторгуева рассказать нам о призовой карьере Кряжа-Быстрого, что он и сделал очень охотно. Впервые на бегу Кряж-Быстрый появился в 1889 году, когда ему было четыре года. Бежал он от имени нового владельца, в цветах которого прошла и вся остальная его карьера. Четырех лет он выиграл один первый приз за недурную резвость. Кряж-Быстрый был очень неустойчив на ходу, местами шел страшно резво, но слетал. Вообще, по езде это всегда была очень трудная лошадь. Уже на моих глазах развернулась карьера многих детей Кряжа-Быстрого, и я могу здесь утверждать, что лучшие его сыновья – Молодой-Кряж и Пекин – имели тоже трудный ход, были страшно резвы, но неустойчивы. Словом, их отец вполне передал детям особенности своего хода. Пяти лет Кряж-Быстрый показывает свои лучшие секунды 2.29–1 и 5.06–3 – это было хорошо для того времени. На Кряже-Быстром по-прежнему ездил старик Скопин, но лошадь шла местами необыкновенно резво, и старику было трудно с ней справиться, он не мог выявить всей ее резвости. В 1891 году Кряж-Быстрый не бежал, так как Расторгуев послал его в завод. К этому времени дети его отца Кряжа поехали с выдающимся успехом, и естественно, что Расторгуев пожелал скорее воспользоваться им как производителем.

Однако в 1892 году Кряж-Быстрый опять появляется на ипподроме и выступает семь раз на московском бегу с переменным успехом. Что побудило Расторгуева взять производителя вновь в призовую конюшню? При средствах Дмитрия Алексеевича выигрыш в две-три тысячи рублей не имел никакого значения, и естественно, что здесь преследовалась другая цель. Невольно напрашивался вопрос: какая? И он был поставлен мною Д. А. Расторгуеву. Вот что оказалось. Расторгуев пригласил управлять заводом опытного англичанина господина Варли. Именно по совету Варли Кряжа-Быстрого вновь взяли в тренировку. Англичанин доказал Расторгуеву, что это ничего, кроме пользы, не принесет жеребцу, а наоборот – поспособствует тому, что он лучше и вернее будет передавать приплоду свои качества резвости. Такой взгляд тогда был нов и встретил немало возражений среди охотников. Многие держали производителей, что называется, в заводском теле, то есть безобразно перекармливали

лошадь и любовались упитанным выставочным телом жеребца. Такой жеребец в тех редких случаях, когда его выводили, иногда из полутемной конюшни, выглядел зверем, взвизвался на дыбы, таскал конюхов, принимал позы, раздувал ноздри, отделял хвост, фыркал и не знал, куда поставить ноги от радости, что увидел свет божий! Это нравилось, это приводило в восхищение, поощрялось и наконец вошло в систему при содержании жеребцов-производителей на заводах. Подобных жеребцов мне на своем веку не раз приходилось видеть во время осмотра и объезда мною заводов в черноземной полосе России.

Такое содержание принесло, конечно, немало вреда породе в целом и, несомненно, послужило одной из причин, почему орловский рысак отстал в резвости от своего американского собрата. В Америке придерживались как раз обратного принципа: там производители выполняли правильную и регулярную работу буквально до последних дней своей жизни. Расторгуев имел благоразумие послушать совета Варли и был широко вознагражден за это замечательной заводской деятельностью своего жеребца. Вот почему и в 1893 году, и в 1894-м, когда Кряжу-Быстрому было уже 8 и 9 лет, он бегал в Москве, вернее, почти полгода нес правильную тренировку на призовой конюшне. Здесь также сказались мудрость и опытность Варли, который не гонял жеребца на призы, а работал его. В Москве в 1893 году Кряж-Быстрый выступил лишь три раза, а в следующем году он был раз записан, но не бежал. После этого, то есть с десяти лет, его уже больше не приводили в Москву, и он нес правильную работу в заводе Расторгуева. Кряж-Быстрый до последних лет своей заводской деятельности давал замечательный приплод, а его лучший и, несомненно, первоклассный сын Молодой-Кряж (2.17.5), к несчастью, павший в четырехлетнем возрасте, родился от двадцатитрехлетнего отца. (Молодой-Кряж родился в 1909 году, Кряж-Быстрый – в 1885 году. Стало быть, он покрыл Милую, мать Молодого-Кряжа, в 1908 году, имея двадцать три года от роду.)

Иногда Расторгуев не прочь был побалагурить и рассказать что-либо забавное или комичное из своих встреч и отношений с охотниками. Я уже упомянул, что дача с призовой конюшней – не лошади, а здания, манеж и конюшни – остались по закладной за Бабенышевым. К тому времени, к которому относится этот рассказ, естественное чувство обиды и, быть может, некоторой зависти к новому владельцу его имущества совершенно утихло, и Расторгуев относился к Бабенышеву вполне объективно. Одно время ему по делам пришлось довольно часто встречаться с Бабенышевым. Как-то раз они поехали в «Эрмитаж» обедать. Надо сказать, что Бабенышев был очень умный человек, купец по происхождению, но позировал под барина-степняка, матерого тамбовца. Этому необыкновенно способствовала его наружность: среднего роста, плотный, широкий в плечах, с мягким тембром голоса, длинными шелковистыми усами и хорошей осанкой, он действительно очень напоминал помещика средней руки, завязатого охотника и борзятника. Говорил он выразительно, с ударениями, причем так хорошо подражал этому типу людей, что мне, например, не приходило в голову сомневаться в его принадлежности к нашему сословию. Итак, они приехали в «Эрмитаж», где Расторгуева знали, конечно, все: и метрдотели, и лакеи, и мальчики, и сам хозяин. Уселись за столик, и Бабенышев, играя карточкой меню, заказал обед. Затем он небрежно бросил метрдотелю: «И дайте крющон «по-бабенышевски», после чего гордо встал и на несколько минут ушел из залы. Расторгуев был удивлен и тону, и крющону «по-бабенышевски» и спросил метрдотеля, что это за специальный крющон? На что метрдотель, смеясь, ответил: «Черт его знает, мало их тут шляется!» Крющон подали, он был действительно великолепен, а Бабенышев гордился тем впечатлением, которое произвел хотя и на разорившегося, но все же Расторгуева. Увы, если бы он

слышал реплику метрдотеля, то едва ли этот крющон показался бы ему так сладок и вкусен! Мы от души смеялись вместе с хозяином, но смех наш достиг апогея, когда на стол подали крющон и Расторгуев, заикаясь, сказал: «Крющон «по-бабенышевски!»»

Я всегда увлекался линией Лебеда 4-го и выше других его сыновей ставил вороного Лебеда 5-го – вот причина, почему я так высоко ценил Серебряного и хотел купить к себе в завод одного из его сыновей. Резвый Сарацин мне не нравился, и оставался лишь один Лоэнгрин, состоявший производителем в заводе Расторгуева. Порода матери Лоэнгриня Лихой-Любы меня не вполне удовлетворяла, но, принимая во внимание, что от этой лошади был такой высококлассный сын, как Леший (4.36), с ней можно было смириться. В заводе Расторгуева от Лоэнгриня уже начали появляться резвые лошади, в том числе классная Пальмира (1.33). Пальмира происходила от шибавевской кобылы, дочери кожинской кобылы, так что она являлась продуктом классического сочетания Полкан 3-й – Лебедь 4-й. У меня в заводе линия Полкана была очень сильна, а в матках, через терещенских кобыл, было много кожинской крови. Все это и заставило меня принять все меры к покупке Лоэнгриня. Его рекорд был очень скромный – 2.28 с дробью, но Расторгуев говорил, что в молодости Лоэнгрин был очень резов, но его поломали, после чего он поступил в городскую езду и был одиночкой у жены Расторгуева. По городу он ехал так, что с ним редко какая лошадь могла сравняться, и это служило, конечно, хорошей аттестацией его силы и резвости. Уже изломанным и немолодым, он несколько раз выиграл на московском бегу и показал свою безминутную резвость. Словом, хотя я его никогда не видел, но все говорило за то, что эту лошадь надо приобрести. Прежде чем приступить к переговорам, я поделился своими мыслями с Кнопом, и он обещал позондировать почву и переговорить с Расторгуевым, с которым виделся, живя в его доме, почти ежедневно. Расторгуев наотрез отказался продать Лоэнгриня, что было, конечно, вполне понятно. Однако Кноп, зная дела Расторгуева, не терял надежды и вскоре, улучив момент, пригласил меня с Расторгуевым на обед. Во время обеда Расторгуев произнес небольшую речь, смысл которой сводился к тому, что он только мне, как фанатику орловской породы и в память М. И. Бутовича, уступает Лоэнгриня и назначает за него 3500 рублей. Это была, конечно, небольшая цена, и я поспешил купить лошадь. Следует сказать, что покупка Лоэнгриня была сделана не в 1907 году, к которому относится настоящий рассказ, а в 1909-м.

Дабы в будущем больше не говорить о Лоэнгрине, сообщу об этой лошади кое-какие данные. Когда Лоэнгриня привели ко мне на завод, а это было, как сейчас помню, в десять часов вечера, я тотчас же пошел на конюшню его осмотреть. Там меня уже ждали. Ситников, управляющий заводом, открыл денник, и мы вошли к лошади. Первое впечатление от лошади почти всегда бывает наиболее верным и ценным. Ему я придавал и придаю исключительное значение. Лоэнгрин мне не понравился, и я, обратившись к Ситникову, спросил: «Кого вам напоминает эта лошадь?» – «Магомета», – ответил Ситников, и это было верно. Лоэнгрин чрезвычайно напоминал Магомета. Магомет – один из серии знаменитых братьев от Бережливого и Тени; одно время состоял производителем в заводе Терещенко, где ранее служил Ситников. Такое разительное сходство двух жеребцов объяснялось весьма просто: Лоэнгрин по отцу был прямым потомком Лебеда 5-го, а Магомет происходил от Тени, дочери старого Крутого, представителя той же линии. Лоэнгрин имел четыре вершка росту, был круторебер, имел хорошую спину, превосходный зад и был сух. Шея его была тяжела и имела неприятный выход с ясно обозначенным кадыком. Следует заметить, что такая же шея была у Магомета, затем у многих детей Неж-

данного – сына Крутого 2-го, у моего Недотрога – сына Нежданного, у детей Магомета и, наконец, у некоторых детей Лоэнгрин. Словом, эту неприятную шею следует, очевидно, приписать линии Лебеда 5-го. К счастью, не все представители этой линии имели такую шею, и даже среди детей Серебряного ее имели только Сарацин и Лоэнгрин.

Голова Лоэнгрин была суха, но ухо излишне наклонено вперед. Глаз открыт, ярк и хорош. Поглядев на Лоэнгрин, я был очень огорчен: далек от идеала орловского рысака, каким я его себе представлял; в нем не было ничего и от Серебряного, этой замечательной лошади. Но делать нечего, жеребец куплен, по породе подходит к основным кровям завода, и я решил им крыть кобыл. Лоэнгрин давал красивых, эффектных и блестящих лошадей, но они были чистоваты ногами и плохо выдерживали работу. Раскупались они по хорошим ценам, среди них были и классные лошади, например Соперник (1.32) трех лет, к сожалению, павший в столь раннем возрасте. Из детей Лоэнгрин у меня в заводе осталась одна Порфира, которая не показала резвости, но имела выставочные формы. Порфира была результатом классического сочетания «Лебедь 5-й + Полкан 3-й» через кожинскую кровь, а потому как заводская матка оказалась очень хороша, приплод ее бежал и бежит; и уже две ее дочери пущены в завод, а две предназначены к поступлению в матки. Дочь Порфиры и великого Крепыша Похвала, созданная по рецепту накопления полкановской крови, – одна из красивейших и правильнейших кобыл, которых мне вообще когда-либо пришлось видеть среди рысистых лошадей. Кноп, увидев ее в Москве, правильно заметил, что она очень похожа на знаменитую Волшебницу графа К. К. Толя, увековеченную мастерской кистью Сверчкова.

Вернемся к Расторгуеву, которому я через три или четыре года обратно продал Лоэнгрин, и скажем несколько слов о его подмосковной даче при селе Тарычеве. Сельцо Тарычево расположено в двадцати минутах езды от станции Расторгуево – третьей или четвертой от Москвы станции в направлении на Саратов. Раньше здесь у Расторгуева было большое владение, а после разорения сохранилась лишь дача с прилегающими постройками и садом. На этой даче семья Расторгуева ежегодно проводила лето, и Дмитрий Алексеевич каждый день после окончания дел ездил к семье, а утром возвращался в город. В Тарычеве же находились большие, удобные деревянные конюшни, манеж и небольшой беговой круг; сюда из воронежского имения ежегодно приводились ставочные лошади и те матки, которые предназначались в продажу. Фабрика – конный завод – находилась в ведении Варли, а продажа молодняка и его окончательная подготовка были всецело в руках Расторгуева. Очень удобное и целесообразное разделение труда. В глушь, в Воронеж, едва ли стали бы ездить московские богачи, а на дачу Расторгуева часто собирались просто проехаться или посмотреть лошадей, что нередко кончалось покупкой той или другой лошади. Кроме того, многие постоянные покупатели фирмы из Сибири, с Урала, из Астрахани, бывая по делам в Москве, принимали приглашение любезного хозяина приехать к нему на дачу, а там, смотришь, и лошадку покупали. Расторгуев был великий мастер продать лошадь и приохотил немало провинциалов к призовой охоте. Из этих последних вышли впоследствии крупные охотники, такие как астраханский Козлов, сибирский Кузнецов, татары Шимургановы и многие другие.

Порядок в тарычевской конюшне был образцовый, подбор конюхов великолепный – все это были конюхи со знаменитой московской призовой конюшни Расторгуева. Наездник был старый и опытный по работе молодняка, молодежь у него была на превосходных ходах и ехала резво. Выводчик был мастер своего дела. Словом, там умели показать товар лицом, брали за это деньги, но, надо отдать должное Расторгуеву, товар был первого сорта. Обыкновенно по

приезде на дачу обедали, затем шли смотреть лошадей – на выводке, а иногда и на езде. Время шло весело и незаметно: шутили, гуляли вечером в саду, пили чай на веранде, где и обменивались впечатлениями об осмотренных лошадях. Молодежь в ставке была очень ровная и превосходно воспитанная; сами по себе лошади были хороши и сухи, и лишь потомков Кряжа-Быстрого отличали неважные спины. Из каждой ставки выходили не только призовые лошади, но и классные рысаки.

Расторгуев был несомненный талант, человек, хорошо знавший лошадь, имевший верный глаз и, как говорится среди охотников, «баловень судьбы». Он не только знал дело – ему везло. Одна история покупки Кряжа-Быстрого вполне это подтверждает. В охоте он был очень счастлив, и если первоначально за науку дорого заплатил, то впоследствии, призами и продажами, с лихвой получил обратно все когда-то затраченные деньги. Можно даже смело сказать – и это будет вполне соответствовать действительности, – что последние 10–12 лет он жил исключительно на доходы от продажи лошадей. А для жизни ему требовалось немало денег, так как семья была громадная, Анеточка избалована, да и сам Расторгуев не любил себе отказывать ни в чем – все это лошадики оплачивали и позволяли хорошо и безбедно жить этой семье.

Первоначально Расторгуев держал завод в Московской губернии, именно при селе Тарычеве. Все здания строились во времена богатства и славы и, рассчитанные на большой завод, были хороши, удобны и велики. Однако содержание завода под Москвой стоило очень больших денег, и, когда дела начали шататься, пришлось подумать о переводе завода в такие места, где его содержание обходилось бы по возможности дешевле. Кроме того, Варли также настаивал на переводе завода, находя, что климатические и почвенные условия Московской губернии чересчур суровы и пагубно отражаются на ходе развития молодых лошадей. Тогда-то и было куплено воронежское имение, куда перевели завод. Расторгуев основал свой завод в 1887 году; все производители, кроме Серебряного, первоначально вошедшие в состав завода, были куплены у разных лиц самим Расторгуевым, однако же по совету тех или других знаменитых охотников. Кроме Кряжа-Быстрого особенно удачной была покупка у Чиркина двухлетнего Машистого, который оказался знаменитым призовым рысаком и по окончании карьеры получил заводское назначение. Очень дорого был дан победитель Императорского приза Быстрый, купленный у Мосолова и себя не оправдавший. Удалого (Добряк – Лихачка) Расторгуев купил сам у купца Овсянникова, из городской езды. По словам Расторгуева, Удалой был поразительно красив и правилен. В свое время это была едва ли не резвейшая лошадь в городе. Расторгуев всегда сожалел, что мало крыл маток Удалым. Лучший его сын – красавец Мраморный – уже стариком дал необыкновенных по резвости лошадей у княгини А. С. Голицыной. Основанием маточного ядра послужили две группы маток, отобранных для Расторгуева М. И. Бутовичем в двух заводах – у Шибаева и герцога Г. М. Лейхтенбергского. Вместе с шибаевскими матками пришел и Серебряный – отец Подарка. Вот как описывал Расторгуев Серебряного: настоящий араб, но четырех с лишним вершков; вокруг ноздрей, верхней и нижней губ и вокруг глаз – розовые пятна; масть серебристо-белая, по которой такие же яблоки, что было удивительно красиво; грива и хвост тонкого нежного волоса. Сух непомерно, верх превосходный, но ребра маловаты. Эффектен был на выводке Серебряный невероятно и всегда приводил всех в восторг.

Характер имел хороший и, даже будучи стариком, когда его проезжали для моциона, был очень пылок и горяч. Две названные группы маток послужили основой завода. Остальные кобылы были куплены у разных лиц и по-

чти исключительно в Москве. Однако еще одна группа кобыл была куплена в заводе, притом очень дешево, по совету и указанию известного знатока-коннозаводчика В. А. Свечина. Свечин бывал у Расторгуева, был с ним хорош; именно он посоветовал купить новокшеновских кобыл, среди которых многие дали хороший приплод, а Лихая Люба – Лешего! Любимой кобылой Расторгуева была вороная Маруся. По своему происхождению она была действительно замечательна: дочь Мужика линии Усана 4-го, а по матери «тут сидели», как выражался Карузо, Полкан 6-й, Усан, Чистяк 3-й, Летун! Маруся родилась в заводе Роговых, по породе происходила от лошадей А. Б. Казакова. По словам Расторгуева, она была необыкновенно хороша, идеальная matka. В заключение надо отметить, что некоторая доля успеха Расторгуева как коннозаводчика должна быть отнесена к Варли, который очень хорошо управлял заводом и превосходно, чисто по-английски воспитывал жеребят. Его влиянию завод был обязан введением английской крови, но это введение носило непостоянный, частичный характер, поэтому изменить даже сколько-нибудь орловскую физиономию завода в конечном счете и не могло, и не изменило.

В трудные годы революции я был два или три раза у Расторгуева. Расторгуев овдовел, старший его сын Алексей бежал сначала на юг, потом за границу; младшие опустили и выглядели как-то страшно. Сам Дмитрий Алексеевич постарел, осунулся, ходил в дырявом халате и в валенках, очень нуждался и жил исключительно продажей вещей. Он всегда был очень религиозен, а теперь весь ушел в молитву и только в ней находил утешение. Скончался он в двадцатом или двадцать первом году. Семья распалась и разъехалась кто куда. И ничего не осталось на Солянке от расторгуевского гнезда, которое засело там так давно, более ста лет тому назад, видело много горя и радостей. Все безвозвратно кануло в Лету. Впрочем, в те годы эта горькая участь постигла не одну семью Расторгуевых...

В противоположном конце Москвы, на Плющихе, в Неопалимовском переулке, жил с семьей Н. Н. Шнейдер. Именно в 1907 году на почве его постоянного сотрудничества в моем журнале мы сблизились, хорошо сошлись, и эти отношения сохранились по сей день. Шнейдер владел конным заводом, который в то время еще не имел никакой известности, очень любил лошадей и принимал активное участие в делах и судьбах Московского бегового общества. Он был богатый человек, но чрезвычайно расчетливый и аккуратный. На конное дело он ежегодно тратил определенную сумму денег и дальше этой суммы не шел. Словом, рассудок над страстью всегда брал верх у этого человека. В Неопалимовском переулке у него было два или три дома, в одном из которых он проживал со своей матушкой, женой, сыном и дочерью. Почти рядом, на Смоленском бульваре, у него было еще одно большое владение с доходными домами. Кроме собственности в Москве, ему принадлежало небольшое имение в Симбирской губернии, имение Плоский Колодец в Орловской, где и находился его конный завод и где он летом постоянно жил. У Шнейдера были и наличные деньги, и акции сахарного завода, и прочие процентные бумаги – явление довольно редкое в дворянской семье того времени.

Отец Шнейдера был когда-то строителем и директором конных железных дорог в Москве. Он-то и нажил честным трудом большое состояние, которое затем, благодаря разумному ведению дела и росту цен на земли и дома, превратилось в богатство.

Матушка Николая Николаевича Шнейдера была урожденная Гамалей. Очень приятная и любезная дама, превосходная хозяйка, пользовавшаяся общим уважением и симпатиями всех знакомых. Жена Шнейдера происходила из рода Скобельциных, то есть также принадлежала к поместной дворянской семье.

Елизавета Петровна, так ее звали, небольшая, худенькая женщина, приятная и хорошо воспитанная, рьяно помогала мужу вести хозяйство и тоже интересовалась лошадьми. Семья состояла всего лишь из двух детей, в то время еще подростков.

Уклад жизни этой семьи в Москве был скромный, без кутежей и лишних затрат, но жили они хорошо, бывали в обществе, сами принимали и были хорошо приняты у других. Сам Николай Николаевич Шнейдер – крупный, рыхлый и, если можно так выразиться, сырой человек, с окладистой бородой, с красивыми чертами лица, довольно живой и подвижный. Превосходный рассказчик, он любил и умел поговорить, знал бесконечное множество анекдотов и любил их рассказывать. Он недурно владел пером, был, несомненно, талантлив, но его специальные работы не отличались глубиной и достаточным знанием генеалогии. Лучшими его работами оказались те, которые имели описательный характер, например рассказ о Кракусе; они читались легко и даже увлекали. В беговом обществе он пользовался уважением и занимал вполне определенное место. Принадлежал он к лагерю орловцев и был одним из самых ярких и крайних врагов метиса и метизации. Коннозаводчики-метизаторы буквально не могли слышать его имени. Орловцы же поддерживали, проводили в разные комиссии, и одно время он являлся старшим членом общества. Шнейдер был очень добрый и мягкий человек, чрезвычайно привязанный и верный в дружбе – ве-



*Н. Н. Шнейдер и М. М. Шапшал*

роятно, эту последнюю и столь дорогую черту своего характера он заимствовал у своих тевтонских предков.

Два или три раза в году Шнейдер устраивал приемы для своих знакомых и единомышленников из спортивного мира. Собирались наиболее близкие к нему лошадаики. Обыкновенно бывали у Шнейдера на этих его приемах Шапшал, Левшин, Щекин, Бочаров, барон Черкасов, Кривцов, Яньков и я. Собирались обыкновенно довольно рано, не позднее восьми часов вечера, разъезжались

тоже не слишком поздно, часов в двенадцать, а то и раньше. Около девяти обыкновенно переходили в столовую, где пили чай с различными печениями и сладостями, а заканчивался вечер в небольшом кабинете хозяина, где висело два-три портрета предков и старая литография шишкинского Бычка, превосходно сохранившаяся в окантовке сороковых годов. Вообще говоря, обстановка в этом доме не представляла большого интереса – это были вещи эпохи царствования Александра II, ее конца, то есть времени полного упадка стиля и вкуса. Лишь три картины вызывали интерес: из них одна большая, висевшая в гостиной, была выиграна в лотерею, которая когда-то была устроена в Большом Кремлевском дворце, а две другие – оригиналы Ван Остаде – некогда принадлежали Гамалеем.

Темы разговоров и сам тон бесед были здесь совсем другие, нежели в кружках Живаго и Расторгуева. Говорили почти исключительно на злободневные темы. Обсуждались новые кандидатуры к предстоящим выборам, спорили о тех или иных мероприятиях, которые должно было провести на ближайшем общем собрании общества, о езде тех или иных наездников или лошадей, общали новости и сплетни из беговой жизни, пробирали метизаторов. Оратором кружка неизменно оказывался А. А. Щекин – он тогда был в зените славы как коннозаводчик и спортсмен, и к его голосу особенно прислушивались. Я никогда не переоценивал Щекина (хотя и отдавал ему должное), ибо личный элемент заинтересованности всегда брал верх над всеми действиями и поступками этого охотника. К тому же в своих коннозаводских убеждениях он был чрезвычайно односторонен и кроме своей лавочки, то есть Лесков, ничего не признавал на божьем свете. Яньков говорил мало, больше слушал, держал себя сдержанно. В этом обществе, где все подчинялось современности, где все были в той или иной степени знаменитостями дня, он чувствовал себя бывшим человеком: его коннозаводская деятельность была вся в прошлом, его жизнь – также, и этот чуткий человек не мог здесь особенно явственно этого не осознавать, тем более что Щекин не всегда был сдержан на язык и достаточно корректен. Как-то раз он не совсем деликатно отозвался о яньковских лошадях, любезный хозяин поспешил загладить эту «гаффу», а я заметил Щекину, что и в его знаменитом заводе одна из лучших заводских маток – мать рекордиста Грамотея – происходит от яньковской кобылы. М. М. Шапшал всегда бывал интересен, и о нем я буду говорить отдельно, а сейчас скажу несколько слов о Д. Д. Левшине. Левшин – помещик средней руки, имел небольшое имение в Ефремовском уезде Тульской губернии. Он был очень дружен с Яньковым, еще их отцы дружили всю жизнь. Высокий, уже пожилой господин, с окладистой седой бородой, довольно медлительный в своих движениях, то, что называется «тяжелодум». Говорил он так же медленно и не всегда свободно. Однако это был высоко порядочный человек, дворянин с ног до головы и к тому же страстный поклонник орловского рысака. В молодости он служил в лейб-гвардии Семеновском полку и любил рассказывать о своей службе в Петербурге. Его любимым был рассказ, как однажды на больших маневрах в Красном Селе в высочайшем присутствии он был колонновожатым полка и удостоился благодарности. В отставку вышел рано и, поселившись в деревне, скромно там жил, занимался хозяйством и ведением небольшого конного завода, который ему достался от матери. Этот завод был составлен таким знатоком лошадей, как Яньков, однако сам Левшин ничего не отвел серьезного. Причину этого следует искать в его крайне ограниченных средствах, которые не позволяли ему хорошо кормить и правильно воспитывать своих лошадей. Тем не менее сила крови в левшинских лошадях была достаточно сильна, иногда появлялись доволь-



но резвые лошади и кое-что выигрывали. Когда дела Московского бегового общества настолько окрепли, что оно стало назначать большие оклады даже лицам, служащим по выборам, Левшин переехал в Москву и был вскоре после этого избран в старшие члены. Он служил с честью и пользовался полным уважением. Незадолго до войны его избрали от дворянства Тульской губернии в члены Государственного совета, и он переехал в Петербург. Левшин был очень хорош со Шнейдером и всегда бывал у него желанным гостем. Он не мог внести большого оживления в беседу, но с ним считались, и ловкий Щекин его «обрабатывал» для проведения тех или иных своих планов. Когда шли споры и разговоры на самые животрепещущие темы, Левшин имел обыкновение входить в беседу, неизменно говоря: «Предыдущий оратор предвосхитил мою мысль». Мы к этому уже привыкли, но после общих собраний, где Левшин неизменно так же начинал свою речь, его враги-метизаторы злобно над ним трунили в перерывах во время переговоров.

Барон М. И. Черкасов, также помещик Тульской губернии, был богатый человек, владевший большим имением с виноваренным заводом в Телевском уезде. Приятель Левшина, он одно время служил по избранию общества старшим членом. До того – предводительствовал в своем уезде, и об этом времени рассказывают немало трагикомичных эпизодов. Дело в том, что барон Черкасов был человеком ограниченным и тупым, но при этом чрезвычайно упрямым и настойчивым. Отсюда то неловкое положение, в которое он нередко сам попадал и ставил других. По натуре же он был благородный человек и рыцарь своего слова. За эти-то свои качества он и удостоился избрания в старшие члены: думали за него другие, а барон выполнял, и можно было быть уверенным, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не покривит душой – ни для приятеля, ни для сильного человека, ни из соображений корысти. Черкасов имел, конечно, завод, но вел его безобразно: Москва, не говоря уже о бегах, не видала и не знала его лошадей. Так же плохо он вел и свое большое хозяйство, потому постоянно нуждался в деньгах. В обращении он был грубоват, но прям и никогда не имел задних мыслей. Приезжал он обыкновенно к Шнейдеру вместе с Левшиным, вместе они и уезжали. Как собеседник он не был интересен, но принимал всегда самое деятельное участие в разговоре, во всех дебатах и спорах. Революция окончательно разорила и погубила этого человека. Он не мог никак приспособиться и страшно бедствовал. Служил не то сторожем, не то курьером в каком-то советском учреждении. Когда возобновились бега, он приехал в Москву; рассчитывая получить место, обратился ко мне, и я сделал все, что мог. К несчастью, дни его были сочтены, он скончался в Москве вскоре после своего возвращения. Чтобы похоронить этого когда-то богатого человека, бывшего предводителя дворянства, старшего члена богатейшего бегового общества, Шнейдер продал его золотые часы – все, что осталось от огромного когда-то состояния.

С. Кривцов был приятелем Шнейдера еще с юношеских лет, они вместе кончили Поливановскую гимназию. Большой охотник и любитель лошади, владелец небольшого имения в Орловской губернии и очень приличного состояния, он служил в своем уезде земским начальником. Завод он вел хорошо, и даже кое-что выигрывал. Это был приятный человек, который в нашем обществе больше слушал, чем говорил, и жадно, как провинциал, глотал мысли знаменитых московских авгуров.

М. М. Бочаров был человек с хитринкой, очень ловкий, но мелкий и несерьезный. Это была креатура Бибикова, который его знал по Воронежу. У Бочарова в Воронежской губернии имелось кое-какое именьеце десятин 150–200

скверной землишки, заложенной и перезаложенной. Это именице ему служило для ценза, так как он был либерал, очень левый, и поддерживал революцию, конечно, не социальную, а такую, которая бы дала ему, кадету, в будущем возможность получить теплое местечко и урвать жирный кусочек. Увы и ах! Эти ожидания не оправдались, и революция по кадетскому катехизису не прошла. Бочаров, как и его присные, остался у разбитого корыта! У него был скверный конный заводик, где, кроме дряни, он ничего не отвел, и когда он окончательно запутался в делах, то появился в Москве с большой работой об орловском рысаке. Бибиков, этот добрейший человек, оказал ему поддержку, везде носился с его работой и всячески ее рекламировал. Бочаров ловко подошел к Щекину, польстил ему, а на лесть Щекин был необыкновенно падок, и заручился его поддержкой. Не обошел Бочаров, конечно, и меня. Я принял его сдержанно и любезно, о его работе дал отрицательный отзыв, впрочем, добавив, что мешать ему не буду. Бочаров передал мне несколько своих статей для журнала – детский лепет о породе и рысаке, все несерьезно, без глубокого знания генеалогии и верного подхода к вопросу. Написано было легко и охотно читалось тем особым кругом читателей, который имеется у каждого журнала и без которого обойтись нельзя. Словом, Бочаров – герой не моего романа; я давал ему должную оценку, не мешал ему, но относился к нему совершенно равнодушно. У Шнейдера он держал себя скромно, поддакивал Щекину, когда тот восхищался охотниковскими лошадьми, и рассказывал, захлебываясь, о Соболях и Охотниковском заводе, который знал с детства, живя неподалеку от Охотниковского имения.

Во время революции Бочарову представилась возможность послужить истории коневодства, в частности Охотниковскому заводу, который он так расхваливал когда-то у Шнейдера Щекину. И вот что он в действительности сделал. Наступило странное время разграбления помещичьих усадеб, кругом все горело и металось в пьяном и диком угаре убийств, преступлений и ужасов начавшейся резни и пугачевщины. Чрезвычайная комиссия по охране племенного животноводства без устали работала в Москве, посылала деньги и комиссаров на места, выводила лошадей, скот и спасала все, что только можно было спасти. Я работал в комиссии и потребовал немедленного вывоза из знаменитого Охотниковского имения культурных ценностей, а именно портретов и некоторых книг. Свой завод Охотников еще в 1883 году пожертвовал правительству, но имение перешло к его племяннику В. Н. Охотникову. В имении сохранились масляный портрет В. И. Шишкина, лично им подаренный Охотникову, 10–15 замечательных портретов кисти Сверчкова с охотниковских лошадей первого периода (тут были знаменитые шишкинские родоначальники породы Соболя 1-й, Задорная – мать Горюна, Соболя 2-й). Все это во что бы то ни стало надо было спасти. Охотников их не продавал и ни разу не дал репродукции в печать. Комиссия со мной согласилась, и послана была телеграмма Бочарову (он в это время сделался специалистом по коневодству в губернии) в Воронеж с распоряжением немедленно вывезти и сдать в музей все эти ценности. Бочаров этого не сделал, не потрудился даже ответить, а через три месяца все погибло в погроме, а из портретов шишкинских лошадей крестьяне сделали лапти, оценив по-своему добротность холста, на котором были написаны знаменитые лошади! Что же делал в это время Бочаров и почему он не выполнил данного ему распоряжения? Господин Бочаров, как я потом точно узнал, был увлечен в это время писанием революционных пьесок, постановкой их на сцене воронежского театра и услаждением пролетариата! Правда, это не помогло, через год-другой этот пролетариат выгнал его вон из Воронежа, и он переехал в Москву. Как видим, одно дело было восхвалять формы Соболей по

знаменитым портретам группе охотников и лошадиников тогда, когда она была в силе, на вершине своего могущества и славы, и совсем другое – в действительности спасти для потомства эти исторические ценности русского коннозаводства!

Вот те лица, которые бывали у Шнейдера и поддерживали с ним приятельские отношения. Мои отношения со Шнейдером именно в 1907 году приняли тот сердечный характер, который они имеют и по сей час.

Я никогда не был в заводе Н. Н. Шнейдера. Желая восполнить этот пробел, я просил его самого написать о его коннозаводческой деятельности, и он любезно прислал мне четырнадцать мелко исписанных листов, которые здесь я и привожу. Вот что пишет Шнейдер о себе как коннозаводчике. (Здесь должно быть перепечатано с рукописи Шнейдера, при сем прилагается на отдельных листах.)

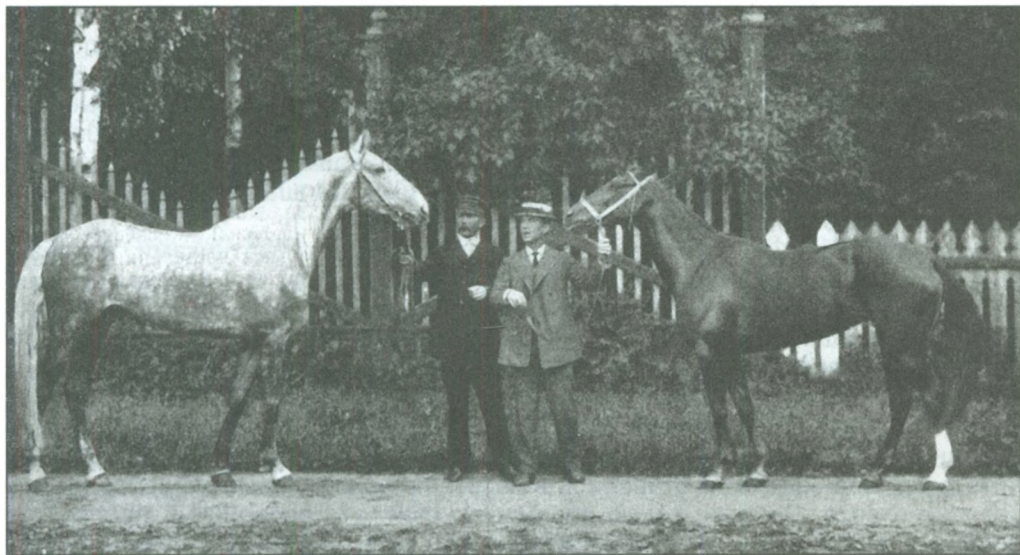
Заговорив о Шнейдере, вполне естественно будет перейти к его приятелю М. М. Шапшалу, которого я знал и у которого иногда бывал. Шапшала со Шнейдером связывали узы старой, почти что двадцатилетней дружбы.

М. М. Шапшал был родом из Крыма и происходил из очень бедной каримской семьи. Совсем молодым, он кое-как добрался до Петербурга и здесь попытался устроиться и найти какое-либо занятие. Чем он только ни занимался в это время: и торговал папиросами, и служил, и мотался по разным мелким поручениям и делам и... Словом, ему было очень трудно. Природный ум, хорошая смекалка и большая ловкость помогли ему выбраться в люди и кое-как встать на ноги. Лошади, которые впоследствии играли такую решающую роль в его жизни, помогли ему выдвинуться и дали возможность заработать первую копейку. Ему было поручено не то продать пару рысистых кобыл, не то он их взял без денег, а затем удачно их продал и добросовестно рассчитался. С этого и началась его карьера. Он покупал бракованных и отбойных лошадей в городе, подлечивал их, приводил в порядок, а затем продавал. Встав немного на ноги, он пробрался на бег, начал присматриваться к этому делу, завел кое-какие знакомства, купил удачно лошадку, кое-что выиграл – и дело пошло. Конечно, ему еще приходилось трудно: нужда часто стучалась к нему в ворота, но он был уже на ногах, имел посетительский билет в членскую ложу, из Муссы превратился в Михаила Михайловича. Мало-помалу он стал завязывать в Петербурге знакомства и завоевывать симпатии. Лет через семь после его первого появления на бегу был избран в члены-соревнователи. К тому времени он имел небольшую призовую конюшню из нескольких лошадей. Шапшал занимался исключительно лошадьми, потому неудивительно, что вскоре он стал действительным знатоком. Приблизительно в это время очень богатый петербургский купец Н. Н. Каретников решил заняться бегами и торговлей рысистыми лошадьми. Шапшал начал делать крупные дела с Каретниковым и нажил недурные деньги, что позволило ему расширить свою собственную призовую конюшню и еще глубже уйти в спорт. Он не ограничился одним петербургским ипподромом, а стал на летний сезон приводить своих рысаков в Москву, и вскоре как призовой охотник стал известен всей спортивной России. Он был необыкновенно счастлив в своих покупках, на его конюшне перебивало немало знаменитых призовых рысаков. Шапшал обладал каким-то особым, чисто собачьим нюхом распознать и выискать резвую лошадь. Откуда он их только не добывал: из города, из брака призовых конюшен, из ставки барышника – словом, он искал везде, умел найти и очень редко ошибался. В этом отношении у него был исключительный природный талант. Конечно, кроме нюха и счастья, помогали и настоящие знания, приобретенные долгой и упорной работой, но все же счастье играло не

последнюю роль в судьбе этого человека. Ведь надо же было именно Шапшалу купить великого Крепыша, хотя эту великую лошадь предлагали многим охотникам! Однако и помимо Крепыша у него бывали знаменитые рысаки. Вспомним хотя бы Подарка, выигравшего Императорский приз, Мага, победителя того же приза, Мандарина, Пирата, Забавника... Крепыш явился последним и был венцом охотничьей карьеры Шапшала. После Крепыша он мог думать и мечтать о двухминутном рысаке, но революционные события прервали его деятельность.

М. М. Шапшал за несколько лет до покупки Крепыша выехал из Петербурга и поселился в Москве. Он снял небольшой домик на втором дворе дачи Малютина. Это был крохотный домик с маленькой передней, гостиной, крохотной спальней и кухней. Шапшал был не избалован жизнью, холост и в лучшем помещении не нуждался. Убранство домика было очень скромно, но везде царил поразительная чистота, к которой восточные люди так требовательны и привычны. Гостиная имела восточный ковер, красные занавески, того же цвета мягкие оттоманки и две-три полки с медной посудой татарского происхождения. Заходили и бывали у Шапшала самые разнообразные люди; иногда он приглашал на чай с восточными сладостями, и за его столом собирались Шнейдер, Щекин, я, иногда Коноплин или кто-нибудь другой. Говорили исключительно о текущих делах и иногда с интересом слушали рассказы Шапшала о его необыкновенных приключениях в молодости...

Шапшал был человеком небольшого роста, с умными глазами, большими, точнее, густыми усами, некрасивый и довольно энергичный в своих движениях и решениях. Он не получил, конечно, никакого воспитания и образования, держал себя просто и часто говорил многим охотникам самые непозволительные дерзости. Его боялись, но с ним считались. В то время он был уже действительным членом Московского бегового общества и мог в собрании, когда горячился или волновался, наговорить самых невероятных вещей. Несмотря на то что он всю жизнь прожил в Петербурге и Москве,



*Крепыш – Лу Диллон, 1.58<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Свидание знаменитостей в Москве.*

Шапшал так и не научился правильно изъясняться по-русски и писал так, что лишь с трудом можно было прочесть его фамилию, не говоря уже о дальнейшем содержании. Иметь с ним дело было чрезвычайно трудно, так как он всегда исключительно высоко ценил своих лошадей, иногда забывал то, что обещал, или неверно уяснял себе смысл договора, а отсюда иногда после его покупок и продаж возникали недоразумения. Имя Шапшала, само собой разумеется, самым тесным образом связано с именем Крепыша. Однако говорить здесь об этой славной эпопее не стану, так как имею сведения, что Шнейдер, который лучше меня знал Шапшала, пишет историю Крепыша и сделает это лучше и подробнее, нежели я.

Не могу здесь не отметить и не подчеркнуть одного обстоятельства, связанного с эксплуатацией Крепыша, на которое как-то недостаточно было обращено внимания в спортивных кругах, но которое, с моей точки зрения, заслуживает величайшего внимания. Крепыш был первым орловским рысаком, который пришел ранее 2 минут 10 секунд. Его рекорд – 2 минуты 8 секунд с дробью, на проезде он был 2.06 по льду – этого оспаривать нельзя, это факт, факт неопровержимый, доказанный и записанный. Хотя московский ипподром легче петербургского, но в России был еще один ипподром легче московского на 4 секунды, и рысаки, бежавшие на этом ипподроме, скажем, 2.20, приходили в Москве лишь в 2.24. Это ипподром Новороссийского общества, расположенный в Одессе. Крепыша следовало привезти в Одессу и специально там проехать на рекорд. Тогда теоретически его 2.06 московского ипподрома превратились бы в 2.02! О необходимости отправить Крепыша в Одессу для побития рекорда говорили многие, но Московское беговое общество, где в то время большинство составляли метизаторы, этому всячески препятствовало и не соглашалось назначить премию за побитие Крепышом рекорда в Одессе. Со своей точки зрения метизаторы были правы, но орловцы недостаточно настойчивы, а Щекин – в то время лидер орловской партии – в душе находил, что Крепыш и без того чересчур резов. Другое дело было бы, если бы это был один из Лесков. Тогда полились бы и медовые речи, и обращения к «дорогим товарищам по охоте», и прочее, и такого Леска, конечно, свели бы в Одессу. И вот я ставлю «по охоте» в вину Шапшалу, что он сам не свел Крепыша в Одессу, на этот идеальный по своим грунтовым и климатическим условиям ипподром. Крепыш выиграл ему горы золота, прославил его имя на оба полушария, и Шапшал должен был это сделать не только для своей великой лошади, но и для всего рысистого коннозаводства страны! И все же имя Шапшала будет жить в анналах спорта рядом с именем великого Крепыша.

Мне пришлось на моем веку немало встречаться с охотниками, коннозаводчиками и прочим людом, причастным к конному делу, и я всегда стремился пополнить свои знания о прежних лошадях и охотниках. Много интересного мне пришлось услышать и увидеть, кое-что я забыл, многое сообщу здесь, в этих воспоминаниях, в частности, сейчас приведу ответы многих лиц на те два вопроса, которые я имел обыкновение задавать. Эти ответы в свое время заносились в записные книжки. Теперь, перелистывая и просматривая сделанные когда-то записи, я вновь переживаю прошлое. Те два вопроса, на которые я просил ответ, ставились в категорической форме и требовали такого же ответа. Первый: какую лошадь вы считаете резвейшей, безотносительно к проявленному ею рекорду, из всех вами виденных? И второй: какую лошадь вы считаете лучшей по формам и самой красивой также из всех вами когда-либо виденных? Речь шла только об орловских рысаках. Приведу ответы, которые я получил и записал.

КОННОЗАВОДЧИКИ И ОХОТНИКИ

Имя лица	Ответ о резвости	Ответ о красоте
1. М. М. Шапшал	Пират завода Е. В. Шибяевой	Пират завода Е. В. Шибяевой
2. Н. Н. Шнейдер	Крепыш	Барс завода Рогова
3. Н. М. Коноплин	Крепыш	Громадный
4. И. П. Дерфельден	-*	Ловчий
5. Н. П. Малютин	-	Полотер
6. Князь Д. Д. Оболенский	Крепыш	Гранит завода графа К. К. Толя
7. Г. Д. Яньков	Крепыш	Потешная
8. А. П. Офросимов	Питомец	Краля
9. А. А. Стахович	Кролик Ознобишина	Лебедь 4-й
10. С. И. Гирня	Проворный	Бережливый
11. Князь Л. Д. Вяземский	Потешный	Потешный
12. А. Ф. Грушецкий	Потешный	Потешный
13. С. А. Сахновский	Потешный	Потешный
14. Д. А. Расторгуев	Крепыш	Удалой князя Б. Д. Черкасского
15. А. Н. Паншин	Проворный	Бережливый
16. С. Г. Карузо	Подарок	Подарок
17. А. В. Якунин	Петушок	Петушок
18. Л. А. Руссо	Петушок	Громадный
19. Н. К. Феодосиев	Хваленый	Смельчак
20. А. Н. Фон-дер-Ропп	-	Лель
21. И. А. Лисаневич	-	Неприступный, Ловчий
22. П. Н. Пономарев (штупмейстер Хреновского завода)	-	Усердный
23. Ф. Н. Измайлов	Колдун	Лель
24. Н. А. Павлов	-	Эммин-Варвар
25. Графиня А. Ф. Толстая	Крепыш	Громадный
26. И. В. Прохоров	Ментик	Дар
27. П. А. Чернов	Искра	Лель

28. В. П. Ильюшин (знаменитый конноторговец)	-	Кречет завода Лейхтенбергского
29. И. П. Дараган	Кряж	Лель
30. А. А. Щекин	Крепыш	Кречет завода Казакова
31. Д. Д. Сонцов	Полотер	Полотер
32. А. Ф. Тимофеев	Полотер	Полотер
33. Н. К. Ващенко	Полотер	Полотер
34. Великий князь Дмитрий Константинович	Бедуин-Молодой	Бедуин-Молодой
35. В. Д. Муханов (управляющий заводом господ Миллер и Г. Г. Елисеева)	Гроза	Громадный
36. Я. Н. Сергеев (управляющий заводом Н. П. Малютина)	Горыныч	Лель
37. Г. Е. Карузо	Проворный	Бережливый
38. А. Н. Горшков	Крепыш	Хладнокровный
39. Д. Д. Бибигов	Крепыш	Кречет завода Казакова
40. Н. П. Шубинский	-	Лебедь 4-й
41. Н. Ф. Беляков	Крепыш	Крепыш
42. С. В. Живаго	Кремень	Лель
43. А. Н. Чеховской	Проворный	Бережливый
44. И. И. Казаков	Эльборус	Кречет завода Казакова
45. С. С. Шибаяев	Эльборус	Серебряный
46. Граф Г. И. Рибоьер	Эльборус	Досада
47. Профессор П. Н. Кулешов	Крепыш	Полотер
48. Барон Н. Н. Штейнгель	-	-
49. В. О. Витт	Крепыш	Чудачка
50. К. К. Кноп	-	-
51. Я. И. Бутович	Крепыш	Мимолетный

\* Если вместо имени лошади поставлена черта, это значит, что ответа от данного лица на вопрос получено не было.

Здесь приведены отзывы пятидесяти одного крупнейшего коннозаводчика и охотника. Некоторые ответы настолько неожиданны или же настолько интересны, что на них следует остановиться и сказать по их поводу несколько слов. Прежде всего бросается в глаза то, что Шапшал, владелец Крепыша, считал резвейшей лошадью не Крепыша, а Пирата, имя которого едва ли сейчас кому-либо что-либо говорит. Пират был родным братом знаменитого шибаетовского Подарка, но на год его старше. Он попал к Шапшалу уже изломанным, появился на бегах, обратил на себя всеобщее внимание, выиграл, но затем с ним случилось большое несчастье – наездник его гонял в манеже и поломал ему спину! Шапшал меня уверял, что не было у него никогда лошади резвее и лучше. По красоте он его также ставил определенно выше всех других рысаков. Мы уже упоминали об опытности Шапшала и полагаем, что он, выделяя Пирата, не ошибался и отнюдь не увлекался. Косвенное тому подтверждение – резвость Подарка. Шапшал, когда погиб Пират, разыскал Подарка, взял его, уже изломанного, из городской езды, и Подарок стал одним из лучших призовых рысаков своего времени. Трудно сказать, каковы были бы его секунды, если бы он сразу попал на ипподром и прошел бы своевременную правильную тренировку. Как производитель Подарок оказался решительно необыкновенной лошадью: поступив в Хреновской завод, он дал самое ограниченное число жеребят и был в случке не более двух сезонов, так как пал от неудачной прививки против сибирской язвы. И тем не менее в числе этих нескольких жеребят оказались Палач (2.12), Первенец (2.18), Мимоза (2.20) и Пуля с резвостью, близкой к резвости Первенца. Что бы дал Подарок, если бы он поступил в завод призового направления? Подарок был вороной, его брат Пират – белый, он был лучше своего отца Серебряного и, очевидно, напоминал своего предка Лебеда 4-го.

Н. М. Коноплин считал Крепыша самой резвой орловской лошадью из всех виденных и говорил мне, что это феномен, счастливый случай, не более, и что никогда второго Крепыша не будет. Он считал, что эта лошадь могла бы прийти близко к двум минутам. По красоте же Коноплин не мог представить себе лошади лучше Громадного. Когда он его увидел в 1910 году на всероссийской выставке, то буквально прибежал ко мне, весь красный, и с волнением сказал: «Пойдем смотреть Громадного, ах, какая лошадь!» Нам вывели Громадного, он действительно был хорош. Коноплин с восхищением смотрел на него и только приговаривал: «Как породен, как аристократичен, все остальные лошади по сравнению с ним Егорки-сапожники!» Громадный на выводе всегда как бы осознавал свое величие: он косил свой умный, красивый глаз, настораживал уши и спокойно стоял, давал зрителям полную возможность им не только любоваться, но и восхищаться. Коноплин был прямо-таки влюблен в эту необыкновенную лошадь. Действительно, сколько было в этой лошади аристократизма и подлинной красоты! Как хороша была шерсть, серебристо-белая, на какой-то синевато-розовой подкладке, с просвечивающей сеточкой жилок! Таких лошадей, как Громадный, нельзя описывать: их надо видеть! Приходя ежедневно на выставку, Коноплин первым делом шел к Громадному и давал ему кусочек сахара, который каждое утро знаменитый коноплинский камердинер Иван (тоже страстный лошадиник) заворачивал ему в папиросную бумагу и клал в жилетный карман. Да, необыкновенно хорош был Громадный, но я знал и видел одну лошадь, которая была лучше Громадного! Впрочем, о ней я скажу после.

Н. П. Малютин на первый вопрос ничего не ответил. Это было естественно: я знал, что он считал резвейшей лошадью Горыныча, но так как Горыныч был его завода, то он считал неудобным его называть. Самой красивой лошадью Малютин считал знаменитого кожинского Полотера, сына великого Потешного. По отзыву Малютина, Полотер был необыкновенно сух, белый как кипень, с



лебединой шеей, красивой головой и дивным черным глазом. Малютин говорил мне о нем в восторженных выражениях. Напомним, что Малютин был, во-первых, сдержанным человеком, а во-вторых, сам имел и вывел замечательных по красоте лошадей. Тем ценнее, тем важнее именно его оценка, данная Полотеру. Не только Малютин, но затем и другие охотники – Сонцов, Ващенко, Тимофеев – не задумываясь ответили мне, что самой красивой лошадейю был, конечно, Полотер. Профессор П. Н. Кулешов, выпуская в свет первое издание своего учебника «Коневодство», поместил в нем портрет Полотера, считая его замечательной лошадейю. Такие лошади рождаются нечасто! У меня имеется превосходная фотография Полотера, подаренная мне Малютиным, и я всегда сожалел о том, что у меня в заводе никогда не рождалась лошадей подобной красоты. Заговорив о Полотере, приведу, кстати, один случай из его жизни. Князь Д. Д. Оболенский, которому одно время принадлежал Полотер, рассказывал мне, что он однажды отправил его из Тулы на бега в Москву. За Серпуховом во время хода поезда конюх открыл дверь, а сам заснул. Полотер отвязался, перекладина от вагонной тряски упала, и Полотер на полном ходу поезда выскочил из вагона! При этом он не только не убился, но не получил ни одной царапины.

Князь Д. Д. Оболенский ставил на первое место по резвости Крепыша. Он был ему особенно дорог: в Крепыше была кровь лошадей завода Ознобишина. По красоте он отдавал первенство Граниту графа К. К. Толя. Оболенский хорошо знал Гранита. Что Гранит был действительно красавец – это факт, но то, что им увлекался Оболенский, тоже кое-что значит. Оболенский в коннозаводческом деле был талант Божьей милостью, и он сам мне говорил, что если бы он не был вынужден распродать свой завод, то обязательно взял бы Гранита себе в производители. Когда я купил Громадного, Оболенский приехал в Прилепы



*Гранит завода графа К. К. Толя*

специально, чтобы осмотреть его. Вывели Громадного и не успели его поставить, как князь, обращаясь ко мне, сказал по-французски: «Да ведь это настоящий Гранит. Какое сходство!» У меня имеется портрет Гранита, и притом портрет чрезвычайно удачный, и я сам был поражен сходством этих двух лошадей. Объяснялось это сходство весьма просто: мать Громадного, Громада, – внучка Гранита. Я считаю, что свою необыкновенную породность, аристократизм и формы Громадный получил по женской линии, и именно от Гранита. Резвость, сила, высокий класс, несомненно, наследие отца, Летучего, то есть линии Добродеев. Я знал всех без исключения сыновей Летучего, но они были совсем другого рисунка, чем Громадный, в них часто чувствовалась, например, округлость форм, от чего не был свободен даже красавец Смелычак. И шея у потомков Летучего хотя и не имели кадыков (у Летучего он был), но и не были лебедиными. Громадный же имел идеальную лентистую шею и классические, отнюдь не закругленные формы. Я был несказанно рад словам Оболенского, установившего сходство между Громадным и Гранитом.



*Александр Александрович  
Стахович*

Г. Д. Янков резвейшей лошадей считал Крепыша, а самой красивой – белую кобылу Потешную, дочь кожинского Потешного. Потешную Янков купил в 1873 году, то есть уже после смерти М. Н. Кожина; ей было всего лишь несколько месяцев, ибо купил он ее под матерью. Потешная выросла на заводе Янкова, была, между прочим, у него единственной лошадей не рыжей масти. «Так была хороша, – говорил мне Янков, – что рука не поднялась ее продать». В 1873 году Янков, собственно говоря, покупал для своего «рыжего» завода не Потешную, а мать ее, рыжую кобылу Каменную. Потешная оказалась выдающейся заводской маткой и среди других дала знаменитого Желанного-Грозного, выигравшего Императорский приз. Фотография Потешной сохранилась; судя по фотографии, это была необыкновенно сухая, чрезвычайно породная и красивая кобыла – тип кожинских лошадей. Н. И. Родзевич видел Потешную в заводе Янкова и высоко ее ценил, считая одной из лучших маток того времени. Как только представилась возможность, Родзевич поспешил купить дочь Потешной, белую кобылу Желанную-Потешную, которая дала знаменитых лошадей как у него в заводе, так и потом в Дубровке, у С. Г. Карузо.

А. А. Стахович считал резвейшей орловской лошадей ознобишинского Кролика. Он увлекался этой породой всю свою жизнь и имел в своем заводе именно Кроликовы крови. Стахович не мог без волнения говорить о старом Кролике. И когда я его расспрашивал об этой лошади, то старик, рассказывая, начал так волноваться, трести своей длинной седой бородой, что кто-то из его детей, присутствовавших при разговоре, начал его упрасивать: «Папа, только не волнуйтесь, ведь вам это так вредно». Стахович считал Кролика литой лошадей, обладавшей поразительным ходом и феноменальной резвостью; по красоте, утверждал Стахович, он никогда не видел лошади лучше Лебеда 4-го. Стахович видел Лебеда 4-го уже стариком, в заводе воронежского коннозаводчика Плотникова. У этой лошади был, по словам Стаховича, такой сильнейший запал, что, даже будучи стариком, Лебедь 4-й необыкновенно «парадно» выступал и на шагу отделял хвост. Эти две особенности Лебеда 4-го подметил Свер-



*А. Б. Казаков*



*А. А. Болдарев*



*В. П. Воейков*



*М. И. Кожин*



*И. Д. Ознобишин*



*В. П. Охотников*



*В. Я. Тулинов*



*Н. И. Тулинов*

*Коннозаводчики, первые продолжатели дела гр. А. Г. Орлова-Чесменского и В. И. Шишкина. Лошадей, произошедших в основном из их заводов, обсуждают на этих страницах современники Я. И. Бутовича*



*Н. Е. Сверчков  
Приезд А. А. Болдарева в табун гр. К. К. Толя*

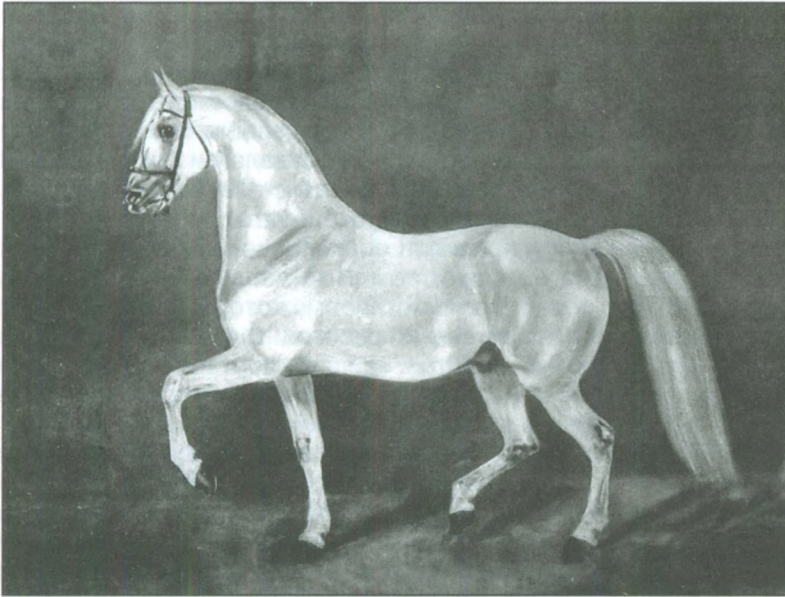
чков и хорошо их изобразил на портрете. Этот портрет принадлежал Стаховичу, и он им чрезвычайно дорожил. Особенностью экстерьера Лебеда 4-го были замечательная сухость при слегка фризистой ноге, необыкновенной красоты круто поставленная шея, замечательная голова с маленьким ухом, короткая и ровная спина, большая глубина туловища и ложного ребра. Прежние охотники говорили, что лучше Лебеда 4-го лошади не было и не будет. Словом, красота и правильность форм Лебеда 4-го настолько общеизвестный и общепризнанный факт, что о нем нет необходимости долго распространяться. Стахович сообщил мне, что в Лебеде 4-м было три с половиной вершка росту и что даже в старости у него на крупе и вокруг скакательных суставов сохранились, правда, в незначительном количестве, серые яблоки, тогда как в остальной части тела он был совершенно белый. В описи Хреновского завода от 1845 года, то есть тогда, когда Лебеда 4-му исполнилось четырнадцать лет, он все еще писался серым, а не белым. Я обращаю внимание на эти факты, потому что в спортивной литературе о Лебеде 4-м пишут всегда как о лошади белой масти, тогда как он побелел лишь с годами, да и то не вполне. В Хреновском заводе были белые лошади, например Непобедимый 2-й или Полкан 6-й, и среди их потомства встречалось немало, в особенности в породе последнего, чисто белых лошадей уже в самом молодом возрасте. Лебеда же 4-го и его потомков надо причислить к серым и светло-серым лошадям, белые среди них попадались значительно реже. Интересно отметить, что эти оттенки масти очень стойко передавались в линии Лебеда 4-го, и я это наблюдал у себя в заводе, на детях Недотрога и его сына Кронпринца. Из их сыновей и дочерей белыми были только Кронпринц, Фурия и Ловчий. Если я скажу здесь, что один из самых ярких и убежденных метизаторов, Н. П. Шубинский, был поклонником Лебеда 4-го, то это, несомненно, вызовет немалое удивление у многих лиц, знавших этого черствого и сухого человека, столь далекого от всяких увлечений прошлым нашей коннозаводской старины. А вместе с тем Шубинский считал Лебеда 4-го лучшей орловской лошадей по формам, красоте и даже заводской деятельности. Он увлекался Лебедем 4-м и купил, как он мне сам это говорил, Крылатую только потому, что в ней по матери сильна была кровь этого жеребца. Крылатая его не обманула: она была не только рекордисткой, но и лучшей маткой во всем заводе Шубинского. Коноплин, который долгое время был очень дружен с Шубинским, нередко трунил над Николаем Петровичем и вышучивал его пристрастие к Лебеде 4-му. Прав, однако, оказался не Коноплин, а Шубинский и все те, кто вместе с ним верил в этого великого жеребца.

М. П. Плотников от него не получил жеребят, так как Лебедь 4-й к случке был непригоден. Эти последние слова Стаховича поясняют весьма многое. Известно, что Лебедь был продан с аукциона М. П. Плотникову в 1848 году, когда лошади было 17 лет – года, небольшие для производителя. До того как Стахович сообщил о запале и бесплодии Лебеда 4-го, меня не только возмущало, но и удивляло, как могли его продать вообще из Хреновского завода, да еще тогда, когда этим заводом управлял знаменитый коннозаводчик и знаток лошади В. П. Воейков. Желая пролить больше ясности на этот темный вопрос, я в один из моих приездов в Хреновский завод разыскал в архиве дело о продаже хреновских лошадей на аукционе в 1848 году и из него узнал, что знаменитый Лебедь 4-й был продан за 155 рублей! Сопоставляя эти данные со словами Стаховича, я понял, почему Воейков выпустил из Хреновского завода Лебеда 4-го. Конечно, было бы благороднее такую великую лошадь не продавать за гроши, а перевести на пенсию или же совсем уничтожить, но это, по-видимому, было не во власти Воейкова, так как завод был казенным и следовало строго соблюдать установленные правила, по которым непригодных

выбракovaných лошадей надлежало продавать с аукциона. После всего сказанного становится понятным, почему Лебеда 4-го не купил никто из знаменитых коннозаводчиков и он попал в малоизвестный завод Плотникова.

Стахович тогда же говорил мне, что из двух известных портретов Лебеда он замечательно похож на тот, который находится у него. На нем Лебеда 4-й изображен на шагу. Я тогда это принял к сведению, даже записал, но не придавал этому большого значения. Портрет, принадлежавший Стаховичу, мало известен, тогда как другой, литографированный и изданный фирмой Фельтена в 1866 году, был очень популярен, имелся буквально у всех коннозаводчиков и любителей лошади. Все считали, что это Лебеда 4-й; следует, однако, иметь в виду, что этот портрет был опубликован Фельтеном без имени лошади. Только теперь, через много лет после того как Стахович сказал мне, что Лебеда 4-й похож на тот портрет, который находится у него, а не на другой, я могу вполне оценить эти слова, ибо второй портрет (литографированный) – портрет не Лебеда 4-го, он изображает белого жеребца Непобедимого, сына Чистяка 4-го, состоявшегося производителем у тамбовского коннозаводчика С. М. Мона. В моей большой и основной работе о коннозаводских портретах Сверчкова я документально и подробно выяснил этот вопрос, доказав, что это это не Лебеда 4-й, а Непобедимый, и здесь вновь этих доказательств приводить не стану. Не могу, однако, не выразить удивления, что шестьдесят лет русские коннозаводчики судили и говорили о формах Лебеда 4-го, а смотрели на портрет Непобедимого! Факт совершенно невероятный и едва ли когда-либо еще имевший место в истории коннозаводства!

С. И. Гирня, вышедший из низов и сделавший себе карьеру, состояние и положение исключительно ездой, выше всех других лошадей по резвости ставил Проворного. Проворный был один из семи сыновей знаменитой терещенской Тени. От нее и Бережливого родились Проворный, Вулкан, Тенистый, Громкий, Магомет и Мимолетный и от Бобка Типа – Тип. Все эти семь жеребцов выигрывали и показывали класс, а Проворный и Вулкан были лошадьми выдающимися и близкими к рекордной резвости. До пяти лет, не менее года, Проворный ходил в Киеве у лихача и в тяжелой пролетке гранил ужасную киевскую мостовую. К несчастью, эта замечательная лошадь пала в шестилетнем возрасте: ее просто загоняли в погоне за мелкими призами и не сумели сберечь. Гирня определенно говорил, что Проворный был резвее Питомца, и при этом добавлял: «Вот если бы теперь, да при моей бы опытности, дали мне Проворного, я бы показал, что это была необыкновенная лошадь». Не только Гирня, но и другие охотники, почти исключительно южане, так как в Москву Проворный так и не попал, говорили то же: А. И. Паншин, брат знаменитого Н. И. Паншина, опытный спортсмен Г. Е. Карузо, А. Н. Чеховский и Г. П. Яншек. Лично я думаю, что Гирня не преувеличивал класс Проворного, так как уже через много лет после гибели лошади, когда я стал посещать ипподромы Киева и Одессы, слава Проворного еще не померкла и его все еще вспоминали тамошние охотники и спортсмены. По формам Гирня особенно ценил Бережливого (Потешный – Бережливая), знаменитого производителя в заводе Ф. А. Терещенко. Гирня хорошо знал Бережливого, так как много раз бывал на заводе Терещенко, немало там перекупил лошадей и имел в езде многих сыновей и дочерей Бережливого. Он говорил, что Бережливый был самой красивой лошадию, которую он когда-либо видел. На мою просьбу описать его подробно Гирня сказал, что Бережливый был большого роста, не менее пяти вершков, что у него было «все хорошо и довольно», как он выразился. Недостатков не было никаких, сух был очень, и красивее его представить себе невозможно. На мой вопрос, был ли он лучше Хладнокровного, Гирня не



*Лебедь 4-й, серый жеребец, рысак парадного типа, рост 2 арш. 3 1/2 верш., род. в 1831 г. в Хреновском заводе от Добрыни 1-го и Ехиды*

только ответил утвердительно, но и добавил, что их даже сравнивать нельзя и что у Хладнокровного к тому же были большие наливы в скакательных суставах. Из особенностей Бережливого Гирня отметил необыкновенной густоты, тонкости и красоты гриву и хвост. Из лиц, которых я еще спрашивал и имена которых перечислены в списке тех, кто отвечал, видим, что еще А. Н. Чеховский, А. И. Паншин и Г. Е. Карузо разделяли точку зрения Гирни. Все эти люди немало видели на своем веку лошадей, но Бережливого они ставили выше других. Хорошо также знал Бережливого, правда, глубоким стариком, А. А. Щекин. Именно он купил для графа И. И. Воронцова-Дашкова этого жеребца, и он же отзывался о нем с особой похвалой, находя, что это была необыкновенная по красоте лошадь. К сожалению, я никогда не спрашивал графа о Бережливом, о чем теперь сожалею, так как отзыв такого знатока был бы особенно важен и интересен.

Князь Л. Д. Вяземский определенно и безоговорочно выдвигал на первое место и по резвости, и по красоте великого кожинского Потешного. В одной из своих работ я подробно, со слов самого князя, описал его поездку в кожинский завод и осмотр там совместно с Г. Н. Вельяминовым Полканчика и его потомства – Потешного, Полкана, Лебеда, Любезного, Пригожую и других. Вяземский и через много лет не мог равнодушно говорить обо всех этих лошадях и считал Потешного исключительной во всех отношениях лошадью.

Из опрошенных лиц А. Ф. Грушецкий, который хорошо знал кожинский завод, дал такой же ответ, как и князь Л. Д. Вяземский, назвав Потешного и резвейшим, и красивейшим рысаком из всех тех, которых он знал. Мнение Грушецкого особенно важно потому, что это был известный ремонтер, тонкий знаток экстерьера и человек вполне свободный от увлечений породой и резвостью. Грушецкий на первое место ставил формы и подходил к лошади не как коннозаводчик или спортсмен. В Потешном он видел прежде всего лошадь идеального сложения и красоты и об этом убежденно заявлял. Нако-

нец, и маститый Сахновский, хорошо знавший Потешного и купивший многих его сыновей и дочерей, превыше всех лошадей ставил именно эту лошадь.

Д. А. Расторгуев никогда не увлекался Крепышом, но отдавал должное его феноменальной резвости. Удалого (князя Б. Д. Черкасского), который был у него производителем в заводе, считал красавцем, равного которому ему вторично встретить не пришлось. Только из-за красоты Удалой и был куплен у Овсянникова из городской езды, и он вполне оправдал себя в детях. По словам Расторгуева, Удалой не был особенно велик, около четырех вершков росту, но был необыкновенно гармоничен и правилен во всех своих статьях, на езде пылок и прямо-таки блестящ, а на выводке, помимо идеальных форм, подкупал глаз белой рубашкой с тем серебристым отливом, который свойствен некоторым линиям в роду Полканов, изяществом и красотой. Существовал портрет Удалого кисти Чиркина, и жаль, что не известно, где этот портрет сейчас находится, ибо он хорошо дополнял рассказ Расторгуева, воскрешая перед нами Удалого.

С. Г. Карузо является главным «виновником» того, что шибаетский Подарок поступил производителем в Хреновской государственной завод. Карузо в этой лошади не ошибся; еще когда Подарок бегал, Карузо, будучи в Петербурге, ездил на конюшню Шапшала его осматривать. Карузо считал, что Подарок вышел из казаковских лошадей и в высокой степени наделен тем блеском и аристократизмом, который был присущ лошадям этого завода, главным образом по линии Полкана 6-го. После осмотра Подарка Карузо повел в кругах коннозаводского ведомства энергичную кампанию за покупку этой лошади для Хреновского завода и сумел довести это дело до благополучного конца. Карузо утверждал, что Подарок – резвейшая и лучшая лошадь из тех, которыми он в разное время увлекался (надо полагать, что здесь он был не так далек от истины). Хреновское начальство и хреновские старожилы ставили в упрек Подарку его якобы небольшой рост (полных четыре вершка) и некоторую узковатость. С этим никак нельзя согласиться. Прежде всего, четыре вершка – вполне хороший рост для рысака. Далее: они судили с точки зрения того времени, а это было время упадка Хреновского завода и почти полной утраты персоналом вкуса и понимания рысака. Лишь один Дерфельден высоко ставил Подарка, он один видел и понимал, в каких истуканов, в каких сырых тихоходов превратили когда-то знаменитых хреновских лошадей... Хреновской возродился именно при Дерфельдене, и Подарок сыграл не последнюю роль в этом возрождении!

А. В. Якунин выше всех лошадей по резвости и по красоте не только в России, но и во всем мире ставил своего рыжего Петушка. Слов нет, Петушок был замечательной лошадейю и резвости очень большой (2 минуты 17 секунд и 4 минуты 43 секунды). Он был также чрезвычайно хорош по себе. Но Якунин все же преувеличивал. Он умел, и притом совершенно искренне, столь пылко перевозносить Петушка, что увлек такого положительного человека, как Л. А. Руссо, такого фанатика, как Карузо, и, наконец, меня, грешного. И Руссо, и я – мы десять лет мечтали о покупке этой лошади, и мне удалось это осуществить. Но какой ценой! Я заплатил за него, уже старика, 35 тысяч рублей! Что дал Петушок у меня в заводе – это известно всем, кто изучал или изучает орловскую породу. По его приплоду за него нельзя было заплатить даже 1000 рублей! Кто оказался прав относительно заводской деятельности Петушка, так это Феодосиев. Я так перевозносил всегда Петушка, так сожалел, что не могу его купить (Якунин за него просил тогда 50 тысяч рублей), что буквально выводил из себя спокойного и сдержанного Феодосиева. Он неизменно мне повторял: «Vons verez» («вы увидите» – это было его любимое начало фразы), он ничего не даст: это шарлатан, он всех обманет, все его бега были шарлатанством». Я еще много интересного сообщу об этой загадочной лошади, когда буду описывать якунинский завод.

Руссо, считая резвейшей лошадью Петушка, все же по формам ставил выше Громадного. Едва ли многим известно, что он торговал и хотел купить Громадного. Он вовремя понял и оценил эту великую лошадь. Это ему как коннозаводчику следует поставить в величайший плюс, но вместе с тем надо искренне порадоваться, что Громадный не попал к Руссо, ибо тогда в России не было бы Крепыша. Как мне рассказывал Руссо, он поехал в Быки к Малютину специально покупать Громадного, но оказалось, что Громадный несколько дней назад продан Н. А. Афанасьеву. Лошадь настолько нравилась Руссо, что он послал в Тамбов Афанасьеву телеграмму, прося уступить ему Громадного. Ответ пришел через три дня: Афанасьев категорически отказывался. Именно от Руссо я узнал точную цену, за которую Громадный был куплен Афанасьевым. Тот заплатил за него 3500 деньгами и дал в придачу замечательную призовую кобылу Картинку, которая расценивалась в 3500 рублей. Так что Громадный обошелся ему в 7 тысяч.

Дабы правильно оценить ответы некоторых лиц, необходимо, конечно, принимать во внимание время, к которому они относились. Так, например, Феодосиев считал резвейшей русской лошадью Хваленого; Крепыша он не знал, ибо карьера последнего развернулась уже после смерти этого охотника. По мнению Феодосиева, Хваленый был резвее Питомца и всех других лошадей, которых он знал. Феодосиев мне частенько жаловался на Измайлова, говоря, что тот не дает ему возможности выявить всю необыкновенную резвость Хваленого. «Как только мы со Старом, – говорил Феодосиев, – подготовим его надлежащим образом, а на это надо не месяц и не два, а полгода, а иногда и больше, Измайлов его забирает в завод на случай, а через пять месяцев надо опять начинать все сначала». Дело в том, что Хваленый последние пять лет и бегал, и на весну уходил в завод. Феодосиев был убежден, что если бы ему оставили Хваленого на год, то рекорды Питомца были бы побиты. На мой вопрос о самой красивой лошади Феодосиев сначала отвечал иронически, находя, что если есть красота, то нет дела, и наоборот. Зная мое пристрастие к белым лошадям, Феодосиев над ним добродушно подтрунивал, говоря: «Раз «белый в гречке», значит, вы уже влюблены в лошадь и ничего не видите. Впрочем, не вы один». Когда же я его все-таки просил назвать имя, он, подумав, сказал: «Малютинский Смельчак. *C'est une salle rosse*, но красив». Этим Феодосиев хотел сказать, что таких лошадей, как Смельчак, разводить нельзя. У Смельчака был необыкновенно строптивый характер, на езде он кипел и совершенно не выносил компании, так что П. А. Чернов ездил на нем, завалившись назад, едва удерживая и ведя его далеко от других лошадей. Ездил, как говорили охотники, «по заборам», то есть делал значительно большую дистанцию в бегах, нежели другие лошади. Феодосиев долго прожил в Америке, заразился от практичных американцев меркантильным духом и таких лошадей ненавидел. Он находил, что нельзя никогда быть уверенным, что такая лошадь выиграет бег, который она теоретически не может проиграть. А Феодосиев был игрок. Кроме того, он всегда говорил мне, что жеребцов такого характера, как Смельчак, в заводы не пускают, как бы они ни были резвы, а из-за того, что русские коннозаводчики никогда не обращали внимания на эту сторону дела, у нас столько злых, отбойных и никуда не годных лошадей. Я вполне оценил мнение Феодосиева, когда порядочно-таки поработал на коннозаводском поприще. Позднее обращал мое внимание на характер лошади и поучил меня на ту же тему Н. И. Родзевич. Он вывел у себя в заводе лошадей, которые отличались первоклассным характером, терпели борьбу, благодаря чему имели большее преимущество перед строптивыми соперниками. Феодосиев был, несомненно, первым, кто указал на важ-



ность характера при современных условиях беговых состязаний, когда собираются большие поля лошадей и едут исключительно по общей дорожке. Старых могижан нельзя было упрекнуть в том, что они просмотрели этот вопрос: при них призовая езда шла по отдельным дорожкам и характер лошади не имел большого значения.

Восьмидесятники и следующее поколение прозевали этот важный фактор. Впрочем, эти два десятилетия – время упадка, сумерки талантов, эпоха, когда орловская порода едва не погибла от невежества и метизации. Коннозаводчики И. А. Лисанович, Н. А. Павлов и А. Н. Фон-дер-Ропп, обер-унтер-штутмейстер Хреновского завода П. Н. Пономарев и крупнейший конноторговец последнего двадцатилетия И. П. Ильюшин преклонялись только перед формами рысака, главным образом перед его массой, а резвость, езду ставили на второй план. В своем увлечении они заходили очень далеко, и если бы все шло по их следам, то, несомненно, орловская порода из рысистой превратилась бы в шаговую. Из них лишь один Фон-дер-Ропп под конец понял свое заблуждение и в своем когда-то столь знаменитом заводе положил почин призовому, то есть верному направлению, купив у меня Недотрога. Среди коннозаводчиков этого периода наиболее знающим и опытным был Лисанович. Он выше всех лошадей по красоте и правильности форм ставил хреновского Неприступного. Об этой лошади он много писал и в разговоре любил приводить похвалу, которой удостоился Неприступный от знаменитого коннозаводчика кровных лошадей: тот сказал, что Неприступный – лучшая лошадь, которую он когда-либо видел. Кто сколько-нибудь знает кровных лошадей и правильность их экстерьера, вполне поймет и оценит эту похвалу! Лисанович однажды сказал мне: «Поставьте все же Ловчего завода Малютина». Я улынулся и сказал, что надо избрать из двух одного. «Тогда Неприступный», – последовал ответ. И тут же: «Сейчас идет Ловчий». Вот как ценил Ловчего Лисанович.

Н. А. Павлов, один из представителей знаменитой коннозаводской семьи, считал лучшей по красоте лошадью Эммина-Варвара. Это был жеребец завода Борисовских, сын колюбакинского Варвара. Он ходил в Москве в городской езде, был куплен Павловым в завод чуть ли не за 10 тысяч рублей. В свое время, время упадка городской езды, это была лучшая одиночка Москвы. И когда Эммин-Варвар ехал по городу, прохожие останавливались и даже оборачивались, чтобы посмотреть на него. Расторгуев и особенно Кноп тоже восторженно отзывались об Эммине-Варваре. Судя по тому, как Павлов, Расторгуев и Кноп обрисовывали мне эту лошадь, я думаю, что она была похожа на малютинского Ловчего.

А. Н. Фон-дер-Ропп превыше всех по красоте ставил Леля, Пономарев – хреновского Усердного, а Ильюшин – лейхтенбергского Кречета. Последний нажил немало денег на детях Кречета, и это, вероятно, играло некоторую роль в столь повышенной оценке этого жеребца. Я знал и дважды видел на выводке в Ивановском заводе Кречета. Это была настоящая, в полном смысле слова заводская лошадь, но, конечно, не Лель, не Ловчий, не Громадный, не Мимолетный и не Подарок.

П. И. Пономарев, который родился, вырос и умер в Хреновском, остался верен заветам и традициям завода и, конечно, выше всех других лошадей по красоте форм ставил хреновскую лошадь – Усердного. Интересны обстоятельства, при которых я получил этот ответ. Осмотр завода особой комиссией, в которую входил и я, только что закончился. Члены комиссии обменивались мнениями. Тут же находились управляющий коннозаводством генерал Зданович, управляющий Хреновским заводом генерал Дерфельден и некоторые другие высокие чины коннозаводского ведомства. Почтенный

П. И. Пономарев, увешанный, как иконостас, медалями, стоял поодаль в почтительной позе.

Я обратился к нему и задал уже хорошо знакомый читателю вопрос. Пономарев приложил руку к козырьку и ответил: «Затрудняюсь ответить; позвольте подумать». На другое утро превосходным осенним днем я гулял по заводу, на душе было радостно и хорошо... Платон Иванович подошел ко мне, поздоровался и сказал: «Яков Иванович, генералу не скажете?» Я сначала не понял, в чем дело, но затем вспомнил свой вчерашний вопрос и рассмеялся: «Даю вам слово ничего не говорить». – «Ну так я вам скажу по секрету: все-таки наш Усердный был лучше!» Пономарев имел в виду, что хреновская лошадь лучше всякой другой, поэтому Усердный был лучше Ловчего, затем – что не следовало этого говорить Дерфельдену, ибо он купил Ловчего, любил его чрезвычайно и не допускал мысли, что другая лошадь могла превосходить его любимца.

Все пять почтенных любителей ничего не ответили на мой вопрос о самой резвой орловской лошади, резвость их очень мало интересовала.

Ф. Н. Измайлов знал хорошо, конечно, своего Хваленого, видел Питомца и Крепыша и тем не менее утверждал, что самая резвая орловская лошадь – светло-серый жеребец Колдун завода Колюбакина. Этот жеребец состоял производителем в заводе смоленского коннозаводчика Д. А. Энгельгардта. Измайлов благоговел перед памятью Энгельгардта, считал его во всех отношениях выдающимся коннозаводчиком и величайшим знатоком лошади. Чтобы купить Колдуна, Энгельгардт вынужден был либо заложить имение, либо продать хутор, так как он был человеком с весьма ограниченными средствами. В свое время Колдун отличался рекордной резвостью и, весьма возможно, обладал теми способностями, которые ему склонен был приписывать Измайлов. Среди детей Колдуна рождалось немало светло-серых лошадей, которые к трем, а иногда уже к двум годам превращались в белых. Энгельгардт объяснял Измайлову, что это особенность потомства Миловидного, сына старого Горностая. Миловидный, по утверждению некоторых охотников, лучший сын Горностая, был белой масти. Добавим от себя, что во всей туманной родословной Колдуна одно лишь имя Миловидного заслуживает упоминания. Самой красивой лошадью Измайлов считал Леля, но... У Измайлова всегда и во всех вопросах было это «но», а потому добиться от него ответа было нелегко. Измайлов сейчас же начал расчленять вопрос, подразделяя рысаков на легких (восточного типа) и густых (голландского типа), и говорил: если в легком типе, то, несомненно, наш Бедуин-Молодой – он всегда о дубровских лошадях говорил «наши лошади»; если в тяжелом типе – Лель. После долгих споров, в которых приняли участие и генерал Скаржинский, приятель Измайлова, и жена Измайлова, и другие, он все-таки должен был сдаться и назвать одно имя. Тогда он сказал: Лель. В те времена обаяние малютинских лошадей ценилось исключительно высоко, они были тем идеалом, к которому стремились все, кто работал на коннозаводском поприще. Кроме Измайлова, еще целый ряд охотников (Чернов, Дараган, Сергеев и Живаго) считали Леля красивейшей лошадью в России.

П. А. Чернов на первое место по резвости ставил Искру завода Телегина, впоследствии давшую знаменитого Ириса. Наездник, который ездил на всех малютинских лошадях и имел столько побед, который знал и ценил Крепыша, все же считал резвейшей лошадью Искру! Насколько же резва была Искра? Чернов говорил: «Не знаю, предела резвости не имела; принимала как пуля и версту шла в двухминутную резвость; потом становилась в обрызг, но все же приезжала около без сорока гит». На версту с ней не только ехать, но даже и равняться не могла ни одна лошадь – ни русская, ни американская. В это время в Москве подвизался Рассвет (William C. K.), лошадь, близкая к американ-

скому рекорду, но и он не смел и думать взять Искру ранее версты, а иногда она его так резала своим пейсом, что он проигрывал ей уже не версту, а полторы, то есть гит, а с ним и приз. Малютин, никогда не разрешавший Чернову ездить на посторонних лошадях, для Искры сделал исключение, и один сезон она была у Чернова в езде. Малютин предлагал Телегину за Искру по окончании ее беговой карьеры 35 тысяч рублей, но Телегин не продал и поступил правильно, ибо Искра дала ему Ириса – лошадь, создавшую эпоху в метизации, не говоря уже о заводе Телегина. То же могла сделать Искра и в заводе Малютина, ибо она, помимо всего прочего, и породой очень подходила, например, к Летучему: в приплоде получался интереснейший in-breeding на Добродея и вводилась драгоценная кровь воейковской Победы. По моей просьбе Чернов подробно описал мне формы Искры; впрочем, мне пришлось не только увидеть ее самому в Москве, куда Искру привезли из завода для случки с Крепышом, но и по моему распоряжению фотографом Завадским с нее был снят фотографический портрет. Это единственное имеющееся изображение Искры, ибо господа Телегины были весьма малокультурные люди и такими пустяками, как портреты лошадей, не интересовались. В 1907 году, когда Завадский снял портрет Искры, ей было 16 лет. В последующий год, жеребой от Крепыша, она, к величайшему горю всех истинных охотников, пала. Ходили слухи, что ее обкормили клевером. Телегин получил известие о смерти Искры во время общего собрания; ему подали телеграмму, он ее прочел, побледнел, встал и вышел из зала, направившись в библиотеку. Через несколько минут ко мне подошел Прохор (он заведовал библиотекой) и доложил: «Вас просит Николай Васильевич». Встаю и иду. Взволнованный Телегин молча подает мне телеграмму, а слезы у него так и текут по щекам. Я понял, что случилось большое несчастье, подумал, что умер старик Телегин, но, признаться, такого несчастья, как гибель Искры, да еще жеребой от Крепыша, я не ожидал. В телеграмме стояло два лаконических, но страшных слова: «Искра пала». Подпись, и больше ничего. С Телегиным мы были враги и в жизни, и в убеждениях. Да, кажется, во всем. Но в эту страшную для него минуту он понял, что я, как фанатик орловского рысака, больше, чем кто-либо другой, пойму его горе и ту утрату, которую понес не только он, но все рысистое коннозаводство страны.

Надо подробно описать здесь формы Искры. Чернов находил, что она была не блестящей, но чрезвычайно гармоничной, имела хорошие окорока и легкий воздушный ход, от природы превосходно сбалансированный. Я могу добавить, что это была кобыла вершков трех с половиной, не больше, рыжей масти, переходящей в бурый оттенок; в возрасте шестнадцати лет по ней пошла такая седина, что ее можно было тогда без особой натяжки считать рыже-чалой. Голова у нее была средней величины, причем бросалась в глаза ширина лба; шея тонкая, без особого гребня вверху; ноги сухи и поставлены идеально правильно; окорока замечательные; верхняя линия превосходная. Мимо этой кобылы нельзя было пройти, но в то время были лошади, с красотой которых Искра не выдерживала сравнения. Взять хотя бы малютинских или воронцовских кобыл: первые гуще, массивнее и крупнее при полной породности, а вторые суше, элегантнее и аристократичнее. Искра была дочерью Чародея и внучкой Хвального, о котором я уже писал и который ходил справа в московской паре у М. И. Бутовича.

Группа курских охотников – Сонцов, Тимофеев и Ващенко – считали резвейшим орловским рысаком Полотера. По их мнению, Полотер был лошадейю, настоящая резвость которой известна немногим и лишь по причине неудачной езды Полотер не побил рекорд Перца. Полотер, рекордист своего времени, держал два рекорда – полторы версты за 2 минуты 26 секунд и три вер-

сты в 5 минут 2,5 секунды; оба показаны в шестилетнем возрасте. Остальные рысаки того времени, кроме Перца, бежали намного тише. Ровно через год знаменитый Перец пришел в 2 минуты 25,5 секунды, то есть повысил рекорд Полотера на полсекунды. Этот рекорд простоял очень долго. Рысаки того времени – мы говорим о лучших – еще не скоро достигли этого предела. Лишь один Полотер фактически был равен Перцу по резвости, ибо полсекунды – такая незначительная величина, что она могла зависеть от многих случайных причин. Как видим, курские охотники не напрасно считали Полотера резвейшим орловским рысаком. Несомненно, что этот сын феноменального Потешного был исключительной лошадей. Вероятно, были правы куряне, говорившие, что Полотер неправильно эксплуатировался. Князь Д. Д. Оболенский, которому одно время принадлежал Полотер, утверждал, что этот рысак был очень несчастлив в своей призовой карьере. Князь, смеясь, рассказывал мне, как Полотер выиграл один крупнейший приз, но лицеприятный судья счел его вторым. Все было возмущено, а Оболенский переименовал Полотера в Ограбленного и на следующий бег записал его под этим именем. Скандал вышел форменный, но Ограбленный, он же Полотер, весь сезон пробегал под новым именем.

Полотер был достойным сыном великого Потешного и, несомненно, если не резвейшим, то во всяком случае одним из резвейших орловских рысаков. Про красоту его уже говорилось. Как же так могло случиться, что Полотер, если учесть его исключительное происхождение, не оказался одним из лучших орловских производителей? Если не бежавший сын Потешного Похвальный дал классного Пашу и создал линию Зенита, если посредственно бежавший Бережливый был таким производителем, что современники прозвали его Стоквелем рысистой породы, то что же должен был бы дать Полотер, этот рекордист?! Полотер не дал ничего. Его дети бежали и выигрывали; некоторые сыграли большую роль в коннозаводстве, например Предмет, от дочери которого произошел рекордист Мужичок, или Мачта – мать Маковки, одной из лучших маток в заводе Щекина. Но разве таких лошадей должен был дать Полотер?! Конечно, нет, тысячу раз нет! Он должен был достойно продолжить род своего отца и дать такого рекордиста, какими были он сам и его великий отец. Кто же виноват в неудачной заводской деятельности Полотера: жеребец или его коннозаводчик Д. Д. Сонцов? Приходится винить только одного Сонцова. Сонцов был большим любителем лошади, писал по вопросам коннозаводства, владел большим рысистым заводом; его великолепное Никольское гремело на всю Россию; наконец, он был старшим, а потом почетным членом бегового общества и пр. – и при всем том оказался бездарнейшим коннозаводчиком! У него был большой завод и хорошие жеребцы: знаменитый Полотер, классный соллогубовский Безымянка, Отрад князя Черкасского, бардичевский Могучий, голицынский Пепел и другие. Все перечисленные жеребцы были не только призовыми, но и весьма известными в свое время лошадей. Но состав маток был ниже посредственного и не выдерживал никакой критики: старинные сонцовские крови с большой примесью верховых и неинтересных северцевских линий. В заводе имелось только несколько приличных кобыл: воронцовская Ладья, мазуринская Светлая да две кобылы завода Малютина. Правда, одной из неинтересных и малопородных сонцовских кобыл была бабка рекордистки Прости, но это исключение, которое всегда и везде возможно. История завода Сонцова лишний раз доказывает, что, даже обладая первоклассными жеребцами, но не имея хоть сколько-нибудь приличных кобыл, нельзя вывести первоклассных лошадей. Не только состав, но и воспитание и работа были в заводе Сонцова неудовлетворительными. Все шло, так сказать, одно к одному и в конечном результате привело к тому, что Полотер как производитель погиб для

русского коннозаводства. Через много лет после смерти Полотера я беседовал о нем с Сонцовым и осторожно заметил: «Жаль, что эта лошадь не попала на подходящих кобыл, потому что ничего выдающегося не дала». «Как ничего не дала! – воскликнул возмущенный Сонцов. – Да знаете ли вы, что я продавал много лет кряду всех детей Полотера ставками за границу по 1200 рублей за голову, и это тогда, когда лучший завод того времени, Тулиновский, продавал своих ставочных лошадей лишь по 1000 рублей за голову. Вот как хороши были дети Полотера! За границей их бежало немало, в особенности в Вене», – заключил Сонцов. Таким образом, идеалом Сонцова было получить 1200 рублей кругом за каждого жеребенка от Полотера и засим хвастать перед охотниками тем, что дороже его никто не продает ставочных лошадей. Скромные были у него идеалы, чтобы не сказать более! Я так всегда увлекался породой этой лошади, и не только породой, но и самой лошадью, что буквально не мог выносить старика Сонцова, и это несмотря на то, что мы были в дальнем родстве (моя мать – урожденная Сонцова) и что Сонцов очень хорошо относился ко мне. Я никогда не мог ему простить Полотера и часто сожалел, да и сожалю теперь, о печальной судьбе этой замечательной лошади...

Очень интересно мнение В. Д. Муханова о резвейшей лошади. Муханов в то время, когда я его знал, состоял управляющим завода Г. Г. Елисеева. Долгое время до этого он служил на заводе господ Миллер и был учеником А. Н. Миллера. Муханов происходил из обедневшей дворянской семьи, но службе предпочел конское дело и специализировался на нем. Долго прослужив на заводе Миллера, он затем поступил к Елисееву, у которого проработал лет двадцать, то есть до самой гибели этого завода, случившейся вскоре после октябрьского переворота. Муханов был очень дельный человек и лошадь знал. Он утверждал, что резвейшей орловской лошадью была миллеровская Гроза, и это утверждение особенно ценно потому, что высказывалось оно еще до славы Вармика и Варвара-Железного. Когда резво поехали эти лошади, Муханов торжествовал и говорил мне: «Ну что, я оказался прав: каковы внуки Грозы! Порода Варвара-Железного всем обязана Грозе. Резвей ее не было в России лошади!»

Именно такая оценка Грозы вызвала во мне повышенный интерес к этой кобыле, и я ознакомился с ее беговой карьерой. Карьера эта оказалась выдающейся, а для кобылы прямо-таки замечательной! Гроза родилась в 1867 году у господ Миллер от Пригожая и Хвальной. В четырехлетнем возрасте она появилась на бегах в Тамбове и побежала два раза. Для дебюта она выиграла трехверстный заезд в 6 минут 2 секунды и сделала пробежку в 6 минут 17 секунд. Ехала кобыла произвольно, так как обе ее соперницы явно не попадали во флаг и предпочли проскакать. После этого Гроза вновь выступает на том же ипподроме и приходит за 5 минут 30 секунд, то есть скидывает со своего рекорда 32 секунды! Подобная резвость для четырехлетней кобылы была замечательна, почему столичные охотники усомнились в правильности этих секунд. Хотя, как говорил мне Муханов, кое-кто все же прислал телеграммы, запрашивая цену Грозы. Миллер ее не продавал и на телеграммы не отвечал. Зимой кобыла провела в имени Миллера и весной была отправлена в Москву. Летом она появилась на московских бегах, имея пять лет от роду, и выиграла один первый и один второй приз. Она дебютировала с легким выигрышем в 5 минут 37 секунд, причем ехала одна, ибо никто из соперников не записался, зная по проездем резвость миллеровской кобылы. Как значитса в рысистом календаре, бег был совершен после проливного дождя, по грязи. Следующее выступление среди класснейших лошадей ипподрома закончилось выигрышем второго приза, но при этом кобыла дала резвость 5 минут 29 секунд, проиграв рыжему Грозному князя Оболенского и опередив ознобишинских жеребцов Атласного-

Кролика и Усердного, Чудилу (Н. В. Хрущова), знаменитого Похвального, столь же знаменитого охотниковского Гордого и, наконец, Зареза. Семи лет Гроза бежит замечательно и не проигрывает ни одного приза. Она дебютирует проскачкой, но так как в этом призу с ней никто не записался и она ехала одна произвольно, то, собственно говоря, этот бег и нельзя считать таковым, ибо самый элемент состязания в нем отсутствовал. Вторично она выступает на почетный Мейендорфский приз и блестяще проходит четырехверстную дистанцию в 7 минут 37 секунд, оставляя своих соперниц – серую Грозу, Сударку и Кастеламаре – за флагом. Третье выступление – и опять легкая победа в резвость 5 минут 49 секунд, затем следует еще один первый приз в резвость 5 минут 42 секунды, причем Гроза ехала произвольно, ибо ее единственная соперница Аптека снялась. После этого следует выступление Грозы в Гринвальдовском призе, который кобыла выигрывает (бег – 5 минут 24 секунды, перебежка – 5 минут 31 секунда), оставив позади соперников – Кряжа Стаховича, Волокиту, Грозного и Зареза. Кобыла заканчивает сезон и свою беговую карьеру выигрышем одного из почетнейших призов Петербурга – в честь Дубовицкого – в 5 минут 27 секунд, оставляя сзади Кряжа, Волокиту и других. Как видим, это была исключительно блестящая карьера для кобылы: Гроза была не только кобыл, но ехала с жеребцами и легко справлялась с ними. Анализируя беговую карьеру Грозы, приходится прийти к заключению, что Муханов был прав, ставя ее так высоко. Весьма вероятно, что именно Гроза из всех орловских кобыл была резвейшей. Отец Грозы – Пригожай, непобедимая в свое время лошадь, выиграл 34 первых приза. В моей картинной галерее имеется превосходный портрет Пригожая кисти Сверчкова, приобретенный мной у г-жи Миллер.

Следует допустить, что именно ген Пригожая сыграл решающую роль в создании Вармика. Матью, некоторой коротковатостью туловища, выражением и живостью глаза и, наконец, общим типом Вармик и его лучший сын Барин-Молодой повторяют Пригожая. Они не удержали только сухости и блестящести, которыми он был наделен в высшей мере. Муханов говорил мне, что у Миллера был портрет Грозы кисти Сверчкова и изображение ее головы кисти того же художника. Когда я купил у г-жи Миллер портреты шести миллеровских жеребцов-производителей, то других портретов у нее не оказалось и г-жа Миллер не знала об их существовании. Хочется верить, что портреты Грозы еще могут где-то найтись. Н. И. Родзевич высоко ценил Грозу и считал ее кобылой необыкновенной резвости; только из-за Грозы купил он ее дочь Гордую, тоже призовую кобылу, и не ошибся: Гордая дала Варвара-Железного, с именем которого связана слава завода Родзевича.

Наиболее прямыми противниками орловского рысака были всегда те коннозаводчики, которые ранее занимались разведением орловской лошади, а потом перешли на метизацию. Среди них Н. Ф. Беляков занимал не последнее место. Завод Белякова существовал около ста лет и был получен им по наследству. Это был большой завод, находившийся в Симбирской губернии, в основу которого легли очень хорошие крови. Однако надо сказать, что он никогда не имел большого значения как призовой завод и велся «по старинке». Последнее время из него выходили лишь хорошие городские лошади, не более. Не помог делу и Хладнокровный, которого за очень крупные деньги купил для завода уже Н. Ф. Беляков. Хладнокровный был лошастью почти что первого класса, кроме того, он был необыкновенно хорош собой. О его красоте немало писали в свое время, и многие думали, что он возродит беляковский завод. Однако случилось по-иному: Хладнокровный не оправдал возлагавшихся на него надежд. Лично я этому нисколько не удивился, так как Хладнокровный совершенно не подходил к составу маток беляковского завода и дать там ничего не мог. Пос-

ле этого Беляков попытался взять малютинскую лошадь, но сделал это крайне неудачно: лошадь взял не бежавшую и сырую и опять получил только городских лошадей. Тогда он решил перейти на метизацию и стал брать в аренду американских жеребцов. От них у него появились лошади, которые хорошо побежали. Продавать лошадей Белякову стало выгодно. А так как в деньгах он постоянно нуждался, понятно, почему он стал ярым сторонником метиса. Тем не менее когда я ему задал вопрос о резвейшей и красивейшей лошади, то, к моему удивлению, он сейчас же ответил: «Вне всякого сомнения, Крепыш – и по резвости, и по формам. Я только недавно был в заводе графини Толстой и видел Крепыша в заводском теле – это прямо-таки какая-то серебряная громада. Лучше, породнее и красивее лошади нельзя себе и представить».

Разговор происходил в знаменитом петербургском «Фонаре». Тут находился весь цвет метизаторов, а потому шум поднялся невообразимый: Вахтер закачал головой, граф Стенбок-Фермор и другие начали издеваться над Беляковым, говоря, что если трудно сомневаться в том, что Крепыш – резвейший орловский рысак, то сам по себе это дрянь, урод, что это, мол, всем известно, давным-давно установлено и что удивительно, как Беляков может говорить такую ересь... Словом, ответ Белякова всех поднял на дыбы, начался спор. Прежде у метизаторов было хоть то утешение, что орловская лошадь не может быть во всем хороша, и вдруг Беляков пытается разрушить это прочно установленное мнение. С точки зрения метизаторов, это было опасно и вредно, так как Беляков был известным коннозаводчиком, крупным земским деятелем и членом совета Главного управления государственного коннозаводства. Его слова имели определенный авторитет и могли немало повредить метизации. Надлежало как можно скорее его опровергнуть, разубедить и вернуть в свою веру. За обработку тут же взялись наиболее рьяные метизаторы В. Н. Петров, граф Стенбок-Фермор и Телегин. Последний сначала не мог говорить от злости, а только презрительно улыбался и изредка вставлял едкие замечания. Беляев так и не сдался. Он определенно заявил, что Крепыш в тренинге – это одно, а в заводском теле – совсем другое: он сел, стал глубок и широк. При этом он необыкновенно породен, имеет превосходную шею, хорошую голову и такой же верх. Грива у Крепыша доходит почти до колен, и в лошади столько типа, что лучшего производителя невозможно себе представить. Беляков предлагал пари и утверждал, что на ближайшей всероссийской выставке Крепыш будет признан лучшим и ни одна лошадь не сможет с ним конкурировать. Что в заводском теле Крепыш необычайно разделался и похорошел, лично я уже знал от Шнейдера и молодого охотника Силина, которые тоже недавно видели Крепыша в заводе и говорили о нем, захлебываясь от восторга. Я хорошо знал Громадного, отца Крепыша, в моем заводе родилось от него немало лошадей, поэтому ни слова Белякова, ни слова Шнейдера и Силина меня нисколько не удивили. Нередко у меня в заводе о двух- и трехлетках от Громадного и я, и другие охотники говорили: «Это не лошадь, это кандал! Как высок на ногах, легок и нет ребра». Это было верно для такого жеребенка даже и тогда, когда он бегал, то есть находился в тренинге. Оканчивался тренинг, лошадь поступала в завод или в город, и через полгода ее буквально нельзя было узнать. Откуда что бралось – появлялись и глубина, и ширина! Правильно судить о лошадях этой породы можно было только в их зрелом возрасте, а до того всякие суждения были ошибочны. Словом, всем тем, кто имеет лошадей этой линии, необходимо помнить, что эта линия позднеспялая. Крепыш и отзыв о нем Белякова служат тому лучшим подтверждением.

Из всех остальных ответов я остановлюсь как на наиболее типичных лишь на ответах трех лиц, назвавших наиболее красивой лошадью Кречета, и затем,

в заключение, позволю себе привести и собственное мнение по интересующему нас вопросу. Такие знатоки, как А. А. Щекин, Д. Д. Бибииков и И. И. Казаков, считали Кречета лучшей лошадей среди всех остальных. Щекин даже купил Кречета к себе в завод, правда, уже глубоким стариком, так что получить от него что-либо замечательное ему уже не удалось. Мы также знаем, что князь Вяземский, в заводе которого Кречет состоял производителем, ставил его выше красавца Смелычака и только одного Потешного не мог с ним сравнить. Родился Кречет в заводе И. Д. Казакова в 1871 году от Чародея и Крали; он был не только замечательным красавцем, но и весьма успешным производителем. Его сын Беркут широко прославился сначала в Лотаревском заводе, а потом у княгини А. С. Голицыной, создав самостоятельную и весьма известную линию в орловском рысистом коннозаводстве. Кречет по своему происхождению – результат слияния двух лучших наших линий – Полкана 3-го и Лебеда 4-го, и мы намереваемся здесь и сейчас разрешить вопрос, какая же из этих двух линий лучшая как по резвости, так и по красоте форм.

Ответ на первый вопрос чрезвычайно легок. Определенно и ясно следует ответить, что линия Полкана 3-го резвее линии Лебеда 4-го – это не подлежит никакому сомнению и легко доказывается статистически. Уже двадцать с лишним лет тому назад я печатно много раз обращал внимание специалистов на линию Полкана 3-го, но с тех пор она настолько выдвинулась, что вопрос о ее первенстве решается сам собой. Следует еще иметь в виду, что эта линия по-прежнему сохраняет свою самую драгоценную особенность – создавать, помимо массы резвых лошадей, рекордистов. Если мы возьмем хотя бы последние тридцать лет, то увидим, что рекордистами были Питомец, Крепыш и Эльборус, все трое – прямые потомки Полкана 3-го, причем в двух последних его кровь весьма сильна и с женской стороны. Рекорды этих трех лошадей остались недосыгаемыми для других.

Более сложен вопрос о формах. Так как Полканы и Лебеда, несомненно, лучшие по формам и наиболее красивые лошади среди всех остальных орловских рысаков, то этот вопрос необходимо попытаться разрешить. Я имею на этот счет вполне определенное мнение, основанное на долголетнем изучении не только генеалогии, но и истории орловской рысистой породы, а потому мне кажется, что мой ответ будет довольно близок к истине. Но прежде чем приступить к изложению своей точки зрения, я нахожу нужным обратить внимание на следующее: родоначальником всех Полканов принято считать Полкана 3-го, и это совершенно правильно, ибо от звена к звену у Полкана 3-го всегда были знаменитые мужские потомки, например Полкан 5-й, Полкан Рогова, Степенный и т. д. Почти для всех без исключения мужских представителей этого рода нет выпадающего звена в прямой мужской цепи. Не то в линии Лебедей. Собственно, первым великим Лебедем был Лебедь 2-й, однако в главной линии он уже не дал равного себе сына, а повторился только во внуке, Лебеде 4-м. Только Лебеде 4-му его дед Лебедь 2-й обязан тем, что и донныне существует его столь знаменитая прямая мужская линия. Таким образом, мы наблюдаем выпадающее звено: Добрыня 1-й, отец Лебеда 4-го, не был знаменитой лошадей. Однако следует иметь в виду, что у Лебеда 2-го были два поистине знаменитых сына: Горностай 4-й и Летун 1-й, правда, их порода весьма быстро пресеклась в Хреновском: для Горностае 4-го – на нем самом, а для Летуна 1-го – на следующем поколении, Летуне 3-м. В дальнейшем в Хреновском заводе играли огромную роль лишь дочери этих жеребцов, то есть Лебедь 2-й проявил себя могучим фактором именно в кобылах. Благодаря заводу Шишкина линия Горностае, конечно, прославилась в частном коннозаводстве (шишкинский Горностай – сын Горностае 4-го, а не Молодого-Атласного), но в ней



опять оказались выпадающие звенья. Принимая во внимание все вышесказанное, мы считаем более верным видеть Лебеда 4-го родоначальником Лебедей, несколько отодвигая назад его деда, Лебеда 2-го. Словом, по нашему мнению, Лебедь 4-й затмил своего деда Лебеда 2-го. Кроме того, за вымиранием Горностаев и Летунов генеалогу уже приходится иметь дело почти исключительно с потомками Лебеда 4-го. Вот почему мы считаем более правильным принимать Полкана 3-го родоначальником Полканов, а Лебеда 4-го (не Лебеда 2-го) – родоначальником Лебедей.

Прежде чем говорить о красоте этих двух линий, будет вполне естественным привести отзыв о формах этих рысаков, который дошел до нас благодаря историческим заботам Коптева. Вот что представлял из себя первый из них: «Полкан 3-й был очень большого роста, более двух аршин пяти вершков, густ, фризист, имел несколько опущенный зад и коленки с подсадом, то есть погнутые, он также славился своими превосходными копытами. Голова у него, по отзыву ветеринара С. П. Курлина, была с лобочком». О втором: «Лебедь 2-й был корпусом тонок, имел хвост очень жидкий, гриву тонкую и короткую; был высок на ногах (цибат) и с тем вместе имел длинный фриз на ногах, начиная от колен, копыто имел узкое, продолговатое. На выводке, а равно и на езде, тотчас отделял хвост и высоко держал его фонтаном; словом, был очень хорош собою и наряден, более всего приближаясь к арабским жеребцам, имел 2 аршина 4 вершка росту».

Формы Лебеда 4-го чрезвычайно характерны, и крайне важно иметь в виду, что именно он из всех хреновских родоначальников более других «приближался к арабским жеребцам». Удержали ли эти типичные и столь характерные формы прямые предстатели Лебеда 2-го? По-видимому, нет. Во всяком случае, это верно для третьего поколения, в частности для Лебеда 4-го. Мы имеем превосходный портрет Лебеда 4-го, и он представляется нам лошадей глубокой, отнюдь не цибатой, а скорее низкой на ноге. От Лебеда 2-го этот жеребец, по-видимому, унаследовал легкий фриз (у Лебеда 2-го фриз был очень значительный). У Лебеда 4-го были красивые движения, которые Стахович метко прозвал «парадными». Как видим, Лебедь 4-й уже отклонился от форм своего деда. То же произошло и в других разветвлениях этого рода. Мы имеем точное описание шишкинского Горностаев и многих его детей – здесь различие с родоначальником еще значительнее (см., например, описание линии Горностаев, сделанное Комарницким для завода Охотникова). Наконец, мы имеем точные данные о формах внука Лебеда 2-го, знаменитого Летуна 3-го, бывшего производителем у графа К. К. Толя. Это была идеальная лошадь и тоже очень глубокая. Лебедь 2-й был далек от этого идеала.

Лебедь 2-й лучше сохранялся и более точно передавал себя, несомненно, в дочерях. Не забудем, что Полкан 6-й был сыном дочери Лебеда 2-го и многое взял от форм своего деда. Рост Лебеда 2-го – четыре вершка – стойко передавался во всей линии. В Лебеде 4-м было три с половиной вершка, в Летуна почти столько же. Словом, Лебеди имели пределом четырехвершковый рост, оставшийся крайне типичным для всей линии. Даже в наше время лучшие предстатели Лебеда 4-го – Лесок, Недотрог, Кронпринц – были лошадьми некрупными и в массе дали такой же приплод. После всего сказанного мне кажется разумным и для форм в прямой мужской линии иметь в виду родоначальником Лебеда 4-го. Потомство последнего (а только с ним теперь приходится считаться) уже вполне постоянно передавало своим предстателям формы родоначальника. Отсюда такая слава за породой Лебеда 4-го и утверждение охотников, что это красивейшие лошади своего времени. В моем распоряжении имеется весьма большая иконография потомков Лебеда 4-го, и я должен здесь

подтвердить, что эти лошади недаром заслужили название красавцев. Я сужу как по хреновским жеребцам этой породы – Лондону, Ловкому 3-му, Любезному, Лютому, Волне и многим другим, так и по тем, которые родились от них в частных заводах. Иногда встречались отклонения от масти, и довольно часто к вороной (Лебедь 5-й) – здесь почти всегда сказывалось влияние полкановской породы с материнской стороны, – но формы, основной тип и красота передавались от Лебедей.

Подводя итоги сказанному, я нахожу, что потомки Лебеда 4-го не только высокопородны, очень красивы, но и очень правильны. Они глубоки и дельны, имеют свой характерный рост – до четырех вершков – и до наших дней сохранили удивительно эффектные движения. Когда мой Кронпринц выезжал на бег, публика нередко встречала его аплодисментами, так наряден и поразительно красив был его ход. То же можно сказать и о ходе Крутого 2-го, которого в свое время считали красивойшей лошадей на ходу и в движении. Общий уровень резвости и процент бегущих лошадей в этой линии очень высок, но появление рекордистов – скорее исключение.

Перейдем теперь к Полканам. Об их резвости мы уже говорили, в вопросе же красоты и правильности форм дело обстоит более сложно, ибо этот знаме-



Н. С. Самокиш. *Кронпринц на ходу*

нитый род разбился по формам на два совершенно самостоятельных и сильно отличающихся друг от друга типа. Формы Полкана 3-го были чрезвычайно типичны и очень определенно выражены. Он стойко передавал потомкам и свой крупный рост, и свои формы, и даже такие особенности, как лобочек, а иногда и козинец. Вороная масть у его детей и внуков была преобладающей. Из сыновей Полкана 3-го вороной роговский Полкан был, несомненно, одним из лучших и в свое время создал не только массу резвых лошадей, но и основную линию, которая до сих пор имеет свое значение. Его дети были крайне типичны. Сохранилось немало описаний и даже портретов роговских лошадей. По формам они точно повторяли не только своего отца, но и деда, Полкана 3-го.

В заводе князя Вяземского была чрезвычайно сильна кровь роговского Полкана, в особенности первые пятьдесят лет существования этого знаменитого завода. Эта кровь широким ручьем заполняла родословные лотаревских лошадей как с отцовской, так и с материнской стороны. Отсюда тип, который был так постоянен для этого завода. Еще каких-нибудь двадцать лет назад, когда я впервые посетил Лотаревский завод, я не мог не обратить внимания, насколько типичны были лотаревские лошади, и Вяземский сказал мне тогда же, что это влияние роговского Полкана. Полканы имели свой крайне характерный экстерьер и тип и передавали его в потомстве с исключительной устойчивостью. Этот тип является не только главным, но и преобладающим для всего Полканова дома, или рода. Лошади были вороные, густые, очень крупные, имели головы с лобочком – словом, повторяли своего родоначальника Полкана 3-го.

Один из сыновей Полкана 5-го, а именно светло-серый Полкан 6-й, родившийся в 1838 году, первый отошел от типа своего отца. Он был лошадей другого направления, совершенно других форм и совершенно другой породности. Благодаря тому исключительному значению в орловской породе Полкана 6-го, его формы и его тип имеют для нас величайшее значение. Прежде всего, Полкан 6-й утерял ту вороную рубашку, которая была очень стойкой в роду Полканов. Затем, судя по словам Стаховича, он был необыкновенно породен, поразительно красив, исключительно сух, блесок свыше всякой меры, крайне энергичен на езде, но при всем том высоковат на ногах. Однако, несмотря на это, его считали лучшей лошадей своего времени и А. Б. Казаков не продавал его ни за какие деньги. Известно, что даже граф Толь, купивший многих знаменитых лошадей в заводе Казакова, не мог купить Полкана 6-го, хотя и предлагал за него целое состояние! Казаков решительно отказался вести переговоры на эту тему и заявил, что Полкан 6-й не продается. «Себе дороже», как он при этом заметил. Полкан 6-й был не просто величайшей лошадей. Лично я склонен считать его лучшим представителем орловской породы за все время ее существования. Говорить же о значении Полкана 6-го в заводе – то же, что приводить здесь историю Рима или вспоминать падение Карфагена!

Весьма часто приходилось не только от лиц, недостаточно знакомых с историей коннозаводства и генеалогией породы, но даже от весьма опытных коннозаводчиков слышать то одно мнение о типе в этой линии, то другое, совершенно противоположное первому. Это происходило оттого, что одна группа лиц имела в виду старых Полканов и их славное потомство, другая думала о Полкане 6-м и обо всем том, что дал этот великий жеребец! Первое время такая двойственность характеристики типа полкановской линии приводила меня в недоумение, но затем, по мере углубления в изучаемый предмет, по мере ознакомления со всей имеющейся иконографией орловской породы, я понял, в чем дело. С середины сороковых годов, благодаря уже начавшейся заводской деятельности Полкана 6-го, дом Полкана начал распадаться на два самостоятельных типа: тип старых Полканов, почти точно повторявших своего родоначальника, и тип новых Полканов, блестящих красотой, благородством и изяществом при совершенно другой, столь типичной именно для них одних серебристо-белой рубашке! Этот второй тип через заводы Казакова и Кожина широко распространился по всей России и создал многих великих лошадей последнего столетия!

Теперь же введем для краткости и удобства пользования следующую терминологию. Первых Полканов, так верно отражающих своего родоначальника, поименуем вороными Полканами, а вторых – серыми Полканами, разумея под этим все, что началось от Полкана 6-го и идет непосредственно от него или через него. К серым Полканам примкнули также и Добродеи, восхождение ко-

торых к славе началось с пятидесятых годов прошлого столетия, и это следует обязательно иметь в виду.

Посмотрим теперь, кому был обязан Полкан 6-й той внешностью, которой так щедро наградила его природа и которая так стойко сохранилась во всем его потомстве. Полкан 6-й был сыном вороного Полкана 5-го, то есть внуком вороного Полкана 3-го, его мать, серая Награда, была одной из лучших дочерей Лебеда 2-го. Не может быть никакого сомнения, что Полкан 6-й и своей матерью, и своей внешностью вышел в материнскую линию и почти точно повторил своего деда, Лебеда 2-го. Если мы вспомним характеристику, данную Коптевым Лебедю 2-му, то сейчас же увидим, что Полкан 6-й всецело обязан своей внешностью именно жеребцу. Описание форм и типа, данное Полкану 6-му Стаховичем, а равно и другие источники ясно указывают нам, что ошибки здесь быть не может. Полкан 6-й отражал все формы Лебеда 2-го. Даже та цибатость, которая часто отмечалась в специальной литературе и у Полкана 6-го, и даже у его весьма отдаленного потомства, – наследие Лебеда 2-го, который сам был «корпусом тонок». Это «корпусом тонок» означает, конечно, не что иное, как цыбаст. Эта характеристика была принята в те времена и приведена Коптевым в его описании Лебеда 2-го. Стахович про Полкана 6-го уже говорил «цибат», ибо так выражались охотники его времени. По существу это, конечно, одно и то же.

Итак, Полкан 6-й свои внешние формы, свое сходство с первыми арабскими жеребцами, свою блестящую, свою красоту и породность, необыкновенную пылкость и красоту езды наследовал (наряду с некоторыми недостатками) из другой линии – линии Лебеда 2-го. От обоих Полканов, своего отца и деда, он получил рост, резвость и ту способность создавать великих призовых лошадей и рекордистов, что, как нами уже доказано, является главной, почти исключительной прерогативой Полканова рода. Таким образом, только что описанные формы являются характерными и чрезвычайно типичными для серых Полканов. Если иногда впоследствии серые Полканы утрачивали под влиянием женских элементов своих родословных светлую рубашку, то тип, формы, энергия, резвость и красота оставались неизменными признаками этих лошадей, по которым их легко было узнать.

Как известно, Полкан 6-й родился в Хреновском заводе, то есть в Воронежской губернии, а ровно через одиннадцать лет, то есть в 1849 году, почти на противоположном конце России, в Рязанской губернии, в знаменитом заводе Болдарева, родился серый жеребенок, которому было дано имя Чародей. Чародей был сыном Досадного. Его отец родился в заводе Рогова и был сыном роговского Поспешного, внуком Полкана Рогова и правнуком Полкана 3-го. И Досадный, и его отец Поспешный, и его дед Полкан, и его прадед Полкан 3-й были вороной масти и крайне типичны для своего рода: густые, крупные, костистые лошади. В самом Досадном, отце Чародея, Полкан 3-й был еще закреплен тем, что мать Досадного, Гильдянка, и мать Поспешного, Поспешная, были дочерьми Полкана 3-го. Таким образом, Досадный был в свое время наиболее близок по формам и типу к родоначальнику дома – Полкану 3-му. И вот этот самый Досадный дает в 1849 году Чародея, одну из замечательнейших лошадей рысистого коннозаводства и рекордиста своего времени. В три года Чародей уже белой масти, ростом меньше отца, а по себе так хорош, что Коптев и другие охотники не могут говорить о нем без восторга и постоянно сравнивают его с арабом. Словом, Чародей по своему наружному виду и типу ничего не имеет общего с вороными Полканами, кровь которых так сильна и в его отце Досадном. В кого же вышел Чародей? Эта, казалось, неразрешимая загадка после всего того, что мы знаем о серых Полканах, разрешается просто. Мать Чародея, Заветная, – дочь Непобедимого 2-го, внучка Кривой, од-

ной из лучших дочерей Лебеда 2-го! Словом, Чародей, как и Полкан 6-й, вышел в Лебеда 2-го и от него взял тип, красоту и формы. Мы имеем печатное свидетельство известного коннозаводчика Стаховича, знавшего Заветную, а также ее сына Чародея и утверждавшего, что Чародей вышел в мать и был столько же похож на нее, сколько на своего деда Непобедимого 2-го, в котором, по удачному выражению Коптева, воскресла породность белого арабского Сметанки!

Итак, мы видим, что наряду с Полканом 6-м к родоначальникам серых Полканов надо причислить и все потомство знаменитого Чародея. Имя Чародея до сих пор значимо в рысистом коннозаводстве страны, так как его родной внук Говор дал Корешка, одного из лучших производителей последнего времени. К сожалению, в Корешке тип Лебеда 2-го, или серых Полканов, не был закреплен в дальнейших женских поколениях, так как ни мать Корешка, ни мать его отца Говора, ни мать его деда Ворожея, сына Чародея, не имели крови Лебеда 2-го. Вследствие этого тип серых Полканов, так ярко представленный в самом Чародее и его сыне Ворожее, в Говоре и Корешке значительно утрачен. Однако серая и белая рубашки остаются господствующими в этой линии, несмотря на то что матери Говора и Корешка сильно инбридированы на вороного Кролика. В нашем распоряжении имеется масляный портрет Чародея кисти Сверчкова, фотография этого жеребца в старости и фотографический портрет Ворожея. При сравнении их изображений с лошадьми из рода серых Полканов ясно просматривается фамильное сходство.

Не менее интересен и другой пример. Известно, что одним из лучших сыновей Полкана 3-го был вороной Мужик 2-й, сын знаменитой Крестьянки. Он прожил до девятнадцати лет и дал немало хорошего приплода. Один из его сыновей, Усан 3-й, родился в 1834 году и пал в 1839-м, то есть в пятилетнем возрасте. Это была замечательная по породе лошадь. Мать Усана 3-го Самка дала Хреновскому трех производителей – Усана 3-го, Добрыню 3-го и знаменитого красавца Неприступного. Самка была дочерью Усана 2-го, и так как прямая мужская линия этого жеребца в Хреновском заводе к тому времени пресеклась, то ее сын, очевидно, и был назван Усаном 3-м. Усан 3-й хотя и был серой масти, но, согласно имеющимся данным, густ, широк и крупен, то есть был типичным представителем вороных Полканов. Усан 3-й покрыл небольшое число маток, но все же в 1839 году, то есть в год его смерти, в Хреновском заводе от него родился серый жеребец, названный Усаном 4-м. Этот последний Усан был поразительно хорош по себе и, судя по сохранившимся и дошедшим до нас описаниям, типичный серый Полкан. Коптев и другие авторы приводят легендарные сведения о нем. Усан 4-й был высок на ноге и узковат, но красоты, элегантности, породности и резвости необыкновенной. К несчастью, эта замечательная лошадь заразилась страшной болезнью, подседалом, и в 1851 году была выхолощена и продана с завода. Уже после этого он появился на московском бегу и ехал концы с рекордной скоростью. Усан 4-й успел оставить в Хреновском заводе приплод, и его дочери были не только украшением хреновского табуна, но и лучшими матками по приплоду. О дочерях Усана 4-го Стахович и другие прежние коннозаводчики очень много писали и восторгались ими. Менее счастлив был Усан 4-й в сыновьях: один из них, Усан 5-й, состоял производителем в Хреновском заводе; другой, Усач, дал хороший приплод и кончил свои дни у рязанского коннозаводчика Коробьина; наконец, его внук Удалой 2-й прославился через одну из своих дочерей, о которой мы еще будем говорить. На Усаче и Усане 5-м линия Усанов в Хреновском заводе, к сожалению, пресеклась.

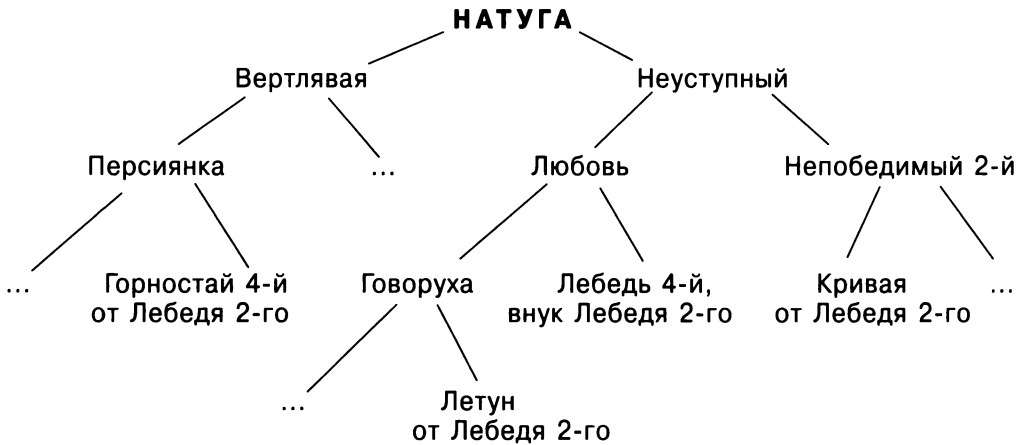
Как мы уже сказали, Усан 3-й был внуком Полкана 3-го и типичным пред-

ставителем вороных Полканов. Каким же образом его сын Усан 4-й стал во всех отношениях типично серым Полканом? Если мы обратимся к родословной Усана 4-го, то увидим, что его мать Резвая – дочь Лебеда 2-го!!! Здесь, следовательно, то же сочетание.

Невольно хочется еще заметить, какие феноменальные результаты можно было получить, скрещивая между собой потомство Усана 4-го и Полкана 6-го, то есть все усиливая влияние серых Полканов. Думаю, что результаты по резвости и красоте получились бы замечательные. Когда один из сыновей Полкана 6-го, серый Полкан, покрыл у Дурасова Умницу, дочь Удалого 2-го (родного внука Усана 4-го) и Сороки 1-й от Булата, внука опять-таки Лебеда 2-го, то получился дурасовский Полкан – рекордист своего времени. Родители дурасовского Полкана не были замечательными лошадьми, и своей славой их сын Полкан обязан не им, а удачному сочетанию, то есть усилению в приплоде влияния серых Полканов. Что скрещивание, давшее дурасовского Полкана, было сделано случайно, не подлежит никакому сомнению. Теперь можно лишь пожалеть, что лучшие сыновья Полкана 6-го не крыли знаменитых дочерей Усана 4-го и обратно или что сам Полкан 6-й ни разу не покрыл дочери Усана 4-го. Замечательно, что Полкан 6-й был всего лишь на год старше Усана 4-го. Какие феноменальные результаты получились бы от подобных скрещиваний!

Интересно отметить, что Полкан 3-й родился в 1817 году, а Лебедь 2-й – в 1815-м, то есть они были почти ровесниками. Лебедь 4-й, родоначальник Лебедей, родился в 1831-м, а Полкан 6-й, родоначальник серых Полканов, родился в 1838 году, значит, и эти два жеребца были почти ровесниками. Приведем теперь два-три генеалогических примера чтобы показать, как повторение имени Лебеда 2-го усиливало тип этого родоначальника и позволило создать несколько лошадей необычайной красоты уже более близкого к нам времени, а именно Серебряного и Кречета. Вот схема их родословных.

Лебедь 4-й	Внук Лебеда 2-го, родословная его матери не имеет крови Лебеда 2-го
Лебедь 5-й	Правнук Лебеда 2-го; с материнской стороны Лебеда 2-го нет
Чудный	Праправнук Лебеда 2-го, мать этой крови не имеет
Чародей	Прапраправнук Лебеда 2-го, мать имеет два раза кровь Лебеда 2-го – по Полкану 6-му и, через материнскую линию, по Летуну 1-му. Значит, Лебедь у Чародея повторен три раза.
Кречет	По типу три раза Лебедь 2-й. Мать – Краля, внука Полкана 6-го, следовательно, Лебедь 2-й имеется еще раз. Мать Крали, Дуброва, тоже имеет Лебеда 2-го. Итого 5 раз Лебедь 2-й плюс дважды повторено имя Воронихи, которая была типичной представительницей Лебеда 2-го
Серебряный	По отцу, Чародею, Лебедь 2-й повторен три раза. По матери, Натуге, Лебедь 2-й повторен еще 4 раза. Итого 7 раз! Для наглядности у Серебряного приведены течения Лебедевой крови со стороны его матери Натуги

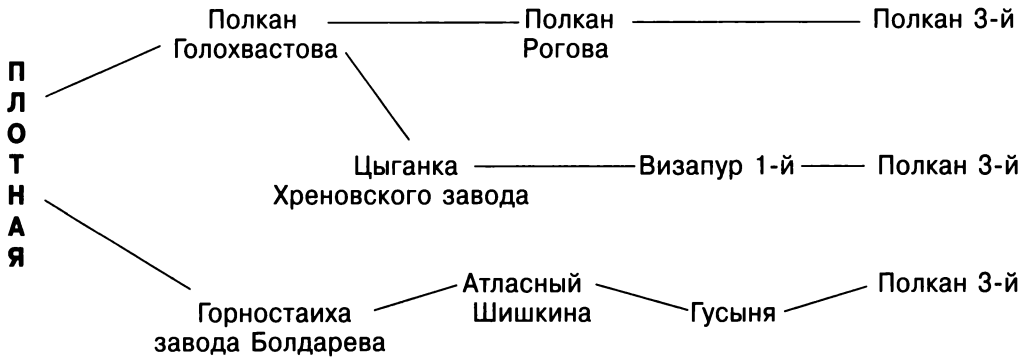


Что прежде всего бросается в глаза при рассмотрении этой цепи из семи жеребцов? Первые три – Лебедь 4-й, Лебедь 5-й и Чудный – имели кровь Лебеда 2-го лишь по одному разу и были довольно далеки от типа этой лошади. Еще дальше от Лебеда 2-го отстоял по типу вороной Лебедь 5-й, и, наконец, о Чудном, также вороном, можно лишь предполагать (точных данных нет), что он был близок к своему отцу. Иное представляет родословная следующего жеребца, Чародея. Здесь со стороны матери вводится кровь Лебеда 2-го дважды, а всего она повторяется в нем три раза. Что особенно важно отметить: мать Чародея, Подара, – дочь Полкана 6-го, этого типичного по формам Лебеда 2-го. Чародей был замечательно хорош по себе, о нем мы уже имеем хотя и отрывочные, но все же кое-какие сведения, дающие нам возможность вывести заключение, что он, хотя еще был вороным, но уже значительно более своего отца и деда приближался к формам Лебеда 2-го. В следующем поколении для двух полубратьев, Кречета и Серебряного, почва уже была, так сказать, подготовлена, и когда к их отцу чисто случайно подвели таких кобыл, как Краля (два раза Лебедь 2-й) и Натуга (четыре раза Лебедь 2-й), то появились Кречет и Серебряный – знаменитые по своей красоте жеребцы, крайне типичные для линии Лебеда 2-го и оказавшиеся выдающимися производителями.

Можно было бы привести еще немало интересных соображений об этих двух родословных, но так как мы пишем не генеалогическую работу, а лишь воспоминания, то приходится поневоле ограничиться.

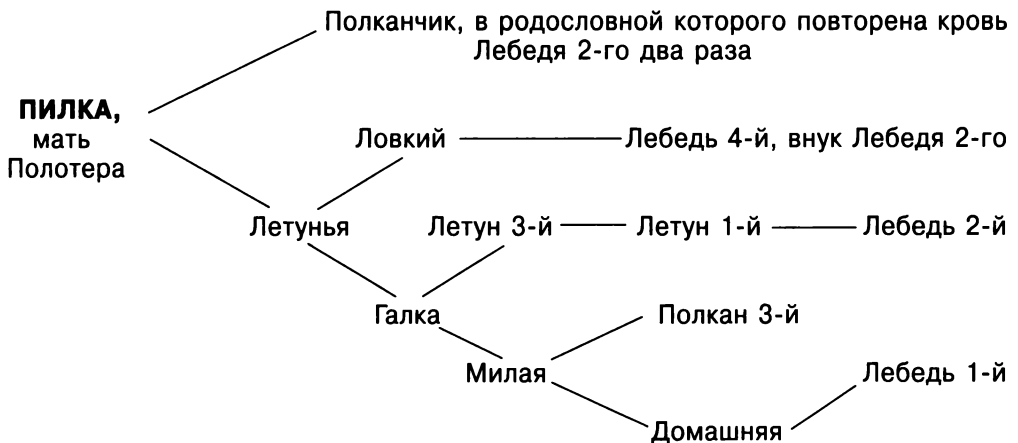
Приведенный выше пример был взят нами из линии Лебедей. Обратимся теперь к другому примеру – из рода серых Полканов. Вероятно, лучшим сыном Полкана 6-го был светло-серый Полканчик, родившийся у А. Б. Казакова и состоявший производителем у М. И. Кожина. В Полканчике все то, что было в его отце Полкане 6-м, не только зафиксировалось, но и, быть может, проявилось в еще более яркой степени. Мы видим, что мать Полканчика внесла новую могучую струю крови Лебеда 2-го в родословную своего исторического сына.

Лучшим сыном Полканчика был первый русский безминутный рысак – феноменальный белый жеребец Потешный. Его родословная крайне интересна и, несомненно, идейно построена, ибо Кожин был передовым коннозаводчиком, человеком науки, имел ясный и определенный план ведения завода и производил исключительно красивые и удачные комбинации кровей. В 1859 году Кожин подвел к Полканчику кобылу Плотную. В следующем году от этой случки родился Потешный. Вот схема родословной Плотной, цитируемая по описи Кожина, не принимая варианта ее родословной, данного в свое время Карузо.

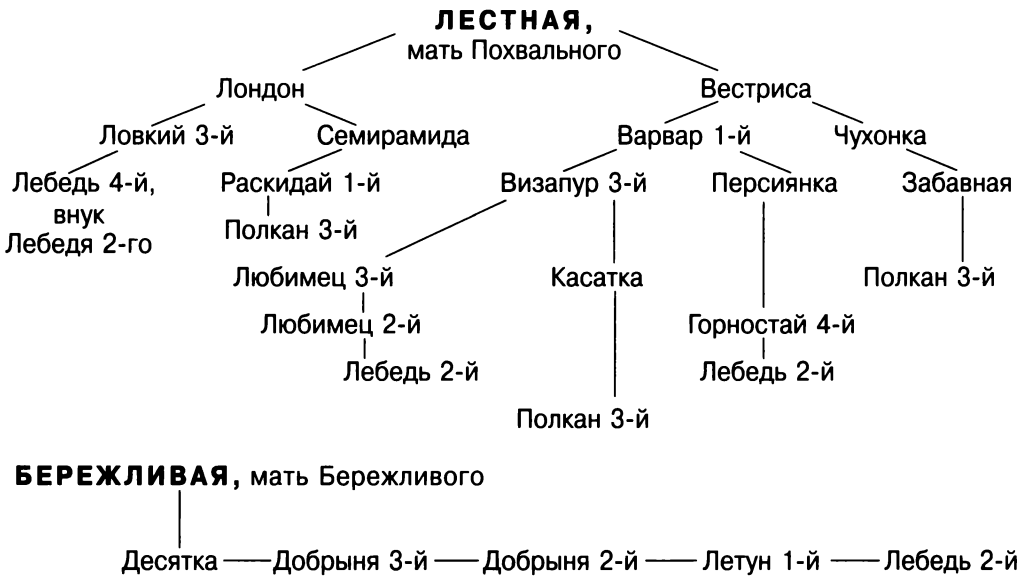


Как видим, предпринимая это скрещивание, Кожин стремился усилить в будущем приплоде влияние Полкана 3-го и тем увеличить резвость и создать выдающуюся лошадь. Это ему удалось вполне: в Потешном он получил резвейшую орловскую лошадь, исторический рекорд которой был много лет недосыгаем ни для одного орловского рысака.

Весьма интересно посмотреть теперь, как отразилось на формах Потешного это усиление элементов вороных Полканов в его родословной. Об этом можно судить уже совершенно точно и определенно, так как в нашем распоряжении имеются фотографические портреты и Полканчика, и его сына, Потешного. Прежде всего, Потешный был крупнее отца, несколько гуще, капитальнее и, что особенно интересно отметить, имел голову с лобочком, столь характерную для вороных Полканов. Все эти черты своего экстерьера он получил благодаря усилению в его родословной имени родоначальника вороных Полканов, Полкана 3-го. Изучая оба портрета, Полканчика и Потешного, мы видим, что в Потешном оба направления – и вороных, и серых Полканов – слились чрезвычайно удачно и теоретическим соображениям Кожина словно помогла сама природа, создав столь блистательную лошадь, как Потешный. Если мы теперь обратимся к трем самым красивым и правильным по формам сыновьям Потешного, то увидим, что для их создания Кожин взял другой рецепт и усилил в их родословной влияние Лебеда 2-го. Таким образом он получил своих знаменитых по красоте Полотера, Похвального и Бережливого. Вот схема их родословных.







Из приведенных трех схем прежде всего видно, что все они повторяют имя Лебеда 2-го. Наиболее яркой в этом отношении является схема родословной Пилки, где имя Лебеда 2-го повторено четыре раза и один раз встречается имя Лебеда 1-го, отца Лебеда 2-го. Нельзя также забывать и о том, что отец Полотера, Потешный, был сыном Полканчика, так что всего у Полотера имя Лебеда 2-го встречается шесть раз! Сам Полотер произошел от случки полубрата с полусестрой. Мы уже знаем, что Полотер отличался необыкновенной красотой и был обязан этим серым Полканам или, иначе говоря, усилению в его родословной имени Лебеда 2-го. Полотеру ставили в упрек, что он цыбат, хотя и незначительно, но иначе и быть не могло, так как в нем была усилена кровь Лебеда 2-го. Вот как мастерски, с генеалогической точки зрения, был создан Кожиным Полотер.

Матерью Похвального, на долю которого выпала историческая задача возрождения линии Потешного, была Лестная, в родословной которой имя Лебеда 2-го было повторено трижды. Здесь Кожин был смелее, и вот почему. Мать Лестной была дочерью Варвара 1-го, то есть жеребца достаточного сырого и совершенно противоположного по типу тому, что представляли из себя кожинские лошади. Следовало опасаться воздействия либо самого Варвара 1-го, либо его отца, Визапур 3-го, но расчеты Кожина оказались правильными: кровь Лебеда 2-го, дважды введенная через Варвара 1-го, оказалась сильнее и дала те положительные результаты, к которым стремился Кожин. Создавая сочетание Потешный – Лестная, Кожин трижды вводил через Лестную имя Полкана 3-го, в чем также была своего рода опасность для типа серых Полканов, но сила крови Лебеда 2-го на этот раз оказалась сильнее, и получился Похвальный, которого многие коннозаводчики считали лучшим сыном Потешного. Не забудем, что Похвальный – родной дед Зенита!

Еще два слова о Бережливом. Его мать Бережливая была дочерью Десятки от Добрыни 3-го из линии Лебеда 2-го. У Бережливой по отцу Булату дважды есть кровь Полкана 3-го, но и здесь она подчинена крови Лебеда 2-го. Из приведенных примеров становится ясно, каким образом в роду серых Полканов кровь Лебеда 2-го сыграла решающую роль при создании их типа и форм.

На этом остается поставить точку и перейти еще к одному мнению о резвейшей и красивейшей по формам орловской лошади. Мы имеем в виду нашу собственную точку зрения.

Из всех виденных мной на бегу лошадей я считаю резвейшим Крепыша. Эта лошадь была весьма близка к двухминутной резвости, и после всего того, что пережила орловская рысистая порода лошадей в годы революции, появление вновь такой лошади едва ли возможно в ближайшем будущем. Крепыш – прямой потомок серых Полканов. Это соединение и создало лошадь столетия, как многие справедливо именовали Крепыша. Мы со своей стороны лишь добавим, что в этом столетии было две лошади, которые с равным правом могут носить этот гордый титул, – Крепыш и Потешный! И как первый, так и второй созданы буквально по одному заводскому методу, ибо Потешный также по прямой мужской линии – потомок серых Полканов, а по женской в нем чрезвычайно сильна кровь Полканов вороных.

Будем надеяться, что Россия еще не оскудела талантами, что орловская рысистая порода еще таит в себе громадные возможности и что, быть может, настанет время, когда появится новый Крепыш. Его появления с большим нетерпением ждут все охотники и все любители лошадей, и мы думаем, что если только суждено ему появиться, то в нем тоже будут сочетаться крови как серых, так и вороных Полканов!

Я всегда придавал большое значение формам, а потому весьма тщательно присматривался к лошадям и изучал их. Мне пришлось видеть немало замечательных орловских лошадей, и среди них я всегда ставлю по красоте, гармонии и правильности форм на первое место белого жеребца Мимолетного, родившегося в заводе Терещенко от Бережливого и Тени. Эту лошадь почти никто не знал, почти никто не видел. Мимолетный никогда не был ни на одной выставке и скромно доживал свой век сначала в Червонном у Ф. А. Терещенко, а затем в Шпитках под Киевом у А. Н. Терещенко. Мимолетного знала лишь небольшая группа киевских спортсменов, но это были все настолько скромные люди, что если бы они даже начали трубить о Мимолетном, их голос не был бы услышан. Мимолетный был резов и выигрывал на киевском бегу. Он имел несчастье попасть в неудачную полосу жизни старого терещенского завода. Старик Ф. А. Терещенко его высоко ценил и предназначил в производители, но после смерти владельца завод, как это часто бывает в России, осиротел. Дети Федора Артемьевича были малолетними, его вдова вовсе не интересовалась лошадьми, и завод вскоре начал влечить жалкое существование. За границу и местным охотникам в какие-нибудь два-три года продали всех лучших лошадей, продать которых нельзя было ни за какие деньги. В заводе осталось 10–15 маток, Мимолетный и еще один жеребец, посредственный по формам, Бобок (завода Щекиных).

Мимолетный был в самом тесном родстве либо со стороны отца, либо со стороны матери почти что со всеми кобылами завода, потому ему давали в год 5 – 6 кобыл, из которых половина была переведена из разъездных конюшен, хотя и происходила от старых терещенских корней. Когда-то, в блестящие времена жизни завода, все эти кобылы как худшие не продались и были розданы на хутора. Вот какую партию по числу и каких по качеству кобыл имел этот жеребец. Сила крови и его препотенция все же были так велики, что он и от этих браковок умудрился дать резвых, иногда близких к 2 минутам 20 секундам лошадей, которые бежали на киевском ипподроме. Именно в Киеве я услышал о Мимолетном и о его необычайной красоте. Я всегда мечтал приобрести для завода сына Бережливого, а тут как будто представлялась легкая возможность купить Мимолетного, родного брата Вулкана и Проворного, да еще и лошадь

необычайной красоты. Меня все уверяли, что в Червонном никто уже лошадыми не интересуется и что там можно купить любую лошадь. На другое же утро я поехал в главную контору наследников Ф. А. Терещенко, которая занимала красивый особняк на одной из лучших улиц города. Это был целый департамент, да, впрочем, и было чем управлять: 100 тысяч десятин земли, сахарные и винокуренные заводы, дома в Киеве, виллы и дома за границей, громадные капиталы, акции и пр., и пр. Главнoуправляющим в то время был барон Штейнгель. Он принял меня крайне любезно, но, выслушав, сказал: «Мимолетный не продается». Затем добавил: «Вы можете купить у нас любую лошадь, но только не Мимолетного. Госпожа Терещенко, зная, как любил ее покойный муж эту лошадь, распорядилась ее не продавать ни за какие деньги, и она останется на пенсии в Червонном. Что касается остальных лошадей, то вы можете купить любую, так как мы ликвидировали завод». Я был крайне разочарован этим ответом и попытался уговорить Штейнгеля, указывая ему на нецелесообразность губить Мимолетного как производителя. Он только пожал плечами и заметил, что продать лошадь права не имеет. Тогда я решил послать телеграмму г-же Терещенко за границу, где она в то время находилась с семьей, и просить ее уступить мне Мимолетного. Штейнгель тотчас же позвонил и велел составить телеграмму, а обратившись ко мне, сказал: «Только не ждите положительного ответа – ответ будет обязательно отрицательный». Я распростился с любезным бароном и обещал зайти к ним в контору дня через два. Когда я пришел, ответ был уже получен, Терещенко не соглашалась продавать Мимолетного. Зло меня взяло необыкновенное, но делать было нечего – приходилось подчиниться. Вернувшись в гостиницу, я впал в мрачное настроение духа и был очень рад приходу милейшего Паншина, которого очень любил. Он начал утешать меня и посоветовал «по охоте» ехать смотреть Мимолетного и, если лошадь мне действительно понравится, то попытаться специально съездить за границу и там упросить г-жу Терещенко, чтобы она уступила мне жеребца. Совет был мудрый, я тут же просил Паншина созвониться по телефону с бароном Штейнгелем и получить разрешение на осмотр завода. Через какие-нибудь пять минут все уладилось, а с ночным поездом я уже въехал по направлению на Бердичев, направляясь в знаменитое Червонное, резиденцию Терещенко. На вокзале меня провожал Паншин, мы долго ходили с ним по перрону, говорили о прежних терещенских лошадях, которых он хорошо знал. Паншин возмущался, что такая лошадь, как Мимолетный, погибнет, и выражал надежду, что, быть может, мне все-таки удастся его вырвать. «Вот, говорите теперь о борьбе с метисами, – резонно говорил Паншин, – когда такие лошади, как Мимолетный, гибнут и не служат в заводе орловскому делу».

Ранним утром поезд пришел на станцию, откуда было рукой подать до Червонного. Здесь, на станции, уже чувствовалось царство свекловицы, вдали виднелись здания громадного сахарного завода, стояли груженные платформы, и по дебаркадеру сновали юркие маклеры-еврейчики и комиссионеры. Когда я приехал в Червонное, то меня провели прямо в контору и сейчас же предложили осмотреть завод. Наскоро напившись чаю, я вместе с одним из служащих пошел на завод; жуткое впечатление производили эти громадные конюшни, где когда-то стояло столько лошадей. Теперь все корпуса, кроме одного, были пусты. Мы прошли в выводной зал, и я просил вывести первым Мимолетного. Когда он показался в дверях, я увидел, что мое воображение не в состоянии было даже представить лошадь такой совершенной красоты, что лошадь эта лучше, чем я ожидал и предполагал. Когда первый момент охватившего меня восторга миновал, я стал спокойно рассматривать Мимолетного. В нем было четыре с небольшим вершка, но он был так гармоничен, что

казался значительно меньше своего роста. Масти он был совершенно белой и имел храп нежный, с каким-то особым кобальтовым отливом. Голова, глаз, рисунок шеи, линия спины были идеальными по красоте и какой-то особой плавности. Ноги были сухие, превосходные по форме и имели мягкий тонкий фриз. Грива и хвост тонкие. На выводке он был очень спокоен. В нем не было того чрезмерного блеска, который так характерен для некоторых серых Полканов, особенно для тех, которые прошли через творческие руки Кожина, но аристократизма и какой-то особой нежности столько, сколько я никогда больше не видел ни у одной другой лошади. В нем, несомненно, чувствовался и Лебедь 4-й, но я бы сказал – облагороженный, да простят мне эту поправку тени тех великих коннозаводчиков, которые считали, что лучше Лебеда 4-го не было лошади и никогда не будет.

Словом, Мимолетный был не только необыкновенно красив, но и правилен так, как редко бывает правильна рысистая лошадь. Мимолетный не имел ни одного недостатка, все в нем было хорошо и на своем месте. Представить себе лошадь лучше, чем Мимолетный, я не могу – и до сих пор держусь того мнения, что он – самая красивая рысистая лошадь, которую я когда-либо видел. После Мимолетного смотреть других лошадей было совершенно невозможно, и когда уже вывели Бобка, то он мне показался не только уродом, а прямо-таки какой-то несуразной образиной... Выводка быстро закончилась и, посидев часок у старого маточника, который подарил мне фотографию знаменитой Тени, матери Мимолетного, и спросив его как о самом Бережливом, так и многих других терещенских лошадях, я уехал обратно в Киев. На бегу я делился с охотниками своими впечатлениями о Мимолетном и все сожалели, что эта необыкновенная лошадь погибает в Червонном. Мимолетный так запал мне в душу, так покорило мое сердце, что я решил во что бы то ни стало его купить. Однако все мои попытки оказались тщетными – г-жа Терещенко его мне не продала. Я писал к ней за границу, затем два раза приезжал в Киев специально тогда, когда там бывала владелица Мимолетного, просил сам, просил через других, но потерпел фиаско.

Я считаю, что в Мимолетном погибла одна из замечательнейших орловских лошадей, когда-либо родившихся в России. Вторично мне было суждено увидеть Мимолетного уже в Шпитках у А. Н. Терещенко. Г-жа Терещенко продала ему весь свой завод, за исключением Мимолетного, о котором было оговорено, что он идет при заводе и никогда не может быть продан, а должен был остаться там до смерти. А. Н. Терещенко дал слово так поступить и сдержал его: Мимолетный был передан ему бесплатно, так сказать, «на хранение», с правом крыть кобыл, так как Терещенко боялась, что с продажей завода и уходом опытных людей с Мимолетным в Червонном может что-то случиться. У А. Н. Терещенко Мимолетный плохо садился на кобыл и все время болел; за ним ходили, как за ребенком, он имел небольшую левяду в парке, куда мы с А. Н. Терещенко несколько раз ходили его навещать и где маленькие дети хозяина всегда его баловали сахаром. Когда Мимолетный пал, он был похоронен на беговом кругу в Шпитках. Жаль эту лошадь и вместе с ней жаль русское коннозаводство, которое могло терять и теряло таких лошадей! Если бы не умер Ф. А. Терещенко, а пожил бы еще годков десять, каких бы он лошадей отвел от Мимолетного!..

Теперь, когда мы закончили обзор наиболее интересных мнений, приведем некоторые статистические данные или, вернее, просто подсчеты, вытекающие из обзора, и поспешим оговориться, что они имеют, конечно, весьма субъективный характер, но тем не менее кое-что отражают.

Потомство Полкана 3-го		Потомство Лебедя 4-го		Потомство других жеребцов	
По резвости	По типу	По резвости	По типу	По резвости	По типу
Крепыш с.*	Барс с.	Пират	Пират	Кролик	Ловчий
Он же	Громадный с.	Подарок	Лебедь 4-й	Петушок	Гранит
Он же	Полотер с.		Подарок	Он же	Краля
Он же	Потешная с.			Хваленый	Петушок
Питомец в.	Бережливый с.			Колдун	Лель
Проворный с.	Потешный с.			Ментик	Ловчий
Потешный с.	Он же			Кряж	Неприступный
Он же	Он же			Бедуин- Молодой	Лель
Он же	Удалой с.			Кремень	Варвар
Крепыш с.	Бережливый с.				Дар
Проворный с.	Громадный с.		Кречет завода Казакова		Лель
Крепыш с.	Смельчак с.		Он же		Кречет завода Лейхтен- бергского
Искра с.	Усердный в.		Он же		Лель
Крепыш с.	Громадный с.		Лебедь 4-й		Бедуин- Молодой
Полотер с.	Полотер с.		Серебряный		Лель
Он же	Он же				Лель
Он же	Он же				
Гроза с.	Громадный с.				
Горыныч с.	Бережливый с.				
Проворный с.	Хладнокровный с.				
Крепыш с.	Крепыш с.				
Он же	Бережливый с.				
Он же	Мимолетный с.				
Проворный с.					
Эльборус с.					
Он же					
Крепыш с.					
27	23	2	8	9	16

Из приведенной таблицы\* видно прежде всего огромное, подавляющее преобладание потомства Полкана 3-го при создании резвейшей лошади. Двадцать семь охотников поставили на первое место по резвости потомков Полкана 3-го (следует иметь в виду, что некоторые имена повторяются), тогда как потомство Лебеда 4-го указано лишь дважды, а на долю всех остальных линий русского рысистого коннозаводства осталось девять имен! Среди Полканова рода, как видно из приведенной таблицы, линия серых Полканов почти целиком занимает это генеалогическое поле. Если еще говорить о красоте, то здесь картина несколько более благоприятна для других линий, но все же и здесь преобладают Полканы. Их имена были названы 24 раза, имена потомков Лебеда 4-го – 8 раз, и 15 раз названы представители других линий, и то благодаря главным образом Лелю и его сыну Ловчему.

Лично я придаю очень большое значение этим мнениям и вытекающим из них выводам. Нельзя забывать, что опрошенные были, так сказать, соль коннозаводского дела. Буду очень рад, если и мои размышления встретят сочувственное отношение нового поколения охотников, принесут ему пользу и подтолкнут к изучению основной линии русского рысистого коннозаводства – линии Полкана 3-го, которого недаром еще во времена Орлова называли «главою бегового рода»!

Пора, однако, вернуться к рассказу. К концу 1907 года относится мое знакомство с целым рядом охотников и коннозаводчиков.

Мое знакомство с Кнопом относится, собственно говоря, не к 1907 году, а к 1905-му. Однако только в 1907 году я, живя в Москве, с ним близко сошелся и стал часто бывать у него. Теперь, когда я пишу эти строки (1926 год), минуло свыше 20 лет нашей дружбы, и за все это время наши отношения ни разу не омрачились. Во имя этих отношений я с полной обстоятельностью останавлиюсь на светлой личности моего друга и расскажу здесь все, что о нем знаю.

Как-то однажды, засидевшись поздно вечером у Кнопа, я услышал от него о прошлом его семьи. С этого и начну свой рассказ.

Семья Кнопов происходит из Голландии. Van der Knoor (Кноор в переводе на русский язык – Пуговкин) в XV столетии перебрались в свободный город Гамбург, принадлежавший к тому великому Ганзейскому союзу, в который в старину входили и наш Псков, и Новгород, и Архангельск. Здесь, кстати, замечу, что представители Ганзы первыми ввели в свои вольные русские города клепперов, от которых произошли лошади, на севере известные под именем мезенок и обвинок, а на северо-востоке – казанок и вяток. Утверждение русских историков, что клепперы были впервые выписаны Петром Великим, явно неверно. Возвращаясь к семье Кноп, должен сказать, что существует и другая версия, согласно которой они прибыли в Гамбург не в XV веке, а в XVI, именно в то время, когда Голландия изнемогала под игом испанского владычества. Испанцы всячески преследовали голландцев как протестантов, тогда-то многие голландские семьи и обосновались в Гамбурге. Отец Кнопа более верил во вторую версию, так как он лично видел в одной из древнейших церквей Гамбурга золотую надпись: «Caspar Knoor в 15\*\* году сделал пожертвование на такую-то больницу». Это был знаменитый собор Св. Николая, который сгорел в 1830 году. По обычаю того времени, все семейные бумаги гамбургских патрициев хранились при соборе, а так как к этому сословию принадлежали и Кнопы, то их бумаги также погибли в огне. По традиции, старший сын в этой

\* У потомства Полканов буквы (с) и (в) обозначают принадлежность к линии серых (с) или вороных (в) Полканов.

семье всегда назывался Caspar, по имени одного из трех волхвов, прибывших поклониться младенцу Иисусу. Семейство Кнопов было одним из старейших и весьма уважаемых на родине. В Гамбурге представители этой семьи играли видную роль, и их занятием была торговля сахаром, в то отдаленное время еще тростниковым. Есть упоминание, что один из предков Кнопа приезжал в Московию с первым посольством свободного герцога Гамбурга, в память чего этот город преподнес ему ларец черного дерева, отделанный серебром. Этот ларец уже К. К. Кноп на моих глазах передал своему племяннику.

Но что положило конец благополучию этой почтенной семьи? Наступил, а затем и минул приснопамятный 1812 год, сначала принесший столько бедствий России, а затем вознесший ее влияние и значение на недостижимую до этого высоту. Навсегда закатилась звезда великого Наполеона, но еще некоторое время судороги и ужасы войны давали себя чувствовать. Маршал Даву занял Гамбург и, выражаясь современным языком, «национализировал» там все, в результате чего родной дед К. К. Кнопа остался нищим и в 1813 году навсегда покинул Гамбург, уехав вместе со своею семьей искать счастья в Петербург. Мне со стороны такое бегство с родины в то время, когда все ее верные сыны встали на ее защиту и повели борьбу за ее освобождение, казалось малопонятным, и я с этим вопросом обратился к Кнопу. Кноп мне ответил, что в то время Гамбург уже подпал под влияние немцев (известно, что в 1870–1871 годах он вошел в состав Германской империи), а его дед терпеть не мог пруссаков.

Итак, семейство Кноп переехало в Петербург и прочно там обосновалось. Дед Карпа Карповича (Каспара Каспаровича), приехав в Петербург, стал торговать сахаром, то есть и здесь, на новой родине, продолжил традиционное занятие своего рода. Позднее тем же занимался его сын, а его внук Карп Карпович стал маклером по хлопку, сахару и чаю, но уже в Москве. Дед Кнопа очень любил лошадей, и я, между прочим, видел замечательный бокал с изображением лошади, подаренный дедом одному из племянников и затем перешедший в собственность Карпа Карповича. Отец моего приятеля был старшим, но далеко не самым любимым сыном. Родился он в Санкт-Петербурге в 1835 году и окончил курс высшего коммерческого пансиона с серебряной медалью и званием личного почетного гражданина – в то время это было очень важно и давало право ездить четвериком.

В то далекое от нас время все иностранцы, считавшие Россию своей родиной, были, однако, настолько благоразумны, что не переходили в русское подданство, поэтому могли ездить за границу во всякое время и когда им заблагорассудится и не должны были просить лично у Николая I разрешения выехать, представлять при этом объяснения, зачем и для чего предпринят вояж, как то имело место, к стыду нашему, в отношении русских подданных. Около 80 лет Кнопы пробыли в финляндском подданстве, хотя как курьез могу здесь сообщить, что при этом отец Кнопа ни разу не был в Финляндии. Мать Кнопа была урожденная Болин. Она родилась в Санкт-Петербурге, и ее крестной матерью была императрица Александра Федоровна. Болины были шведы, обосновавшиеся в России; принадлежали они к весьма известной фамилии моряков. Так, дед и дядя m-те Кноп погибли во время крушения шведского военного судна, а ее отец был в Петербурге известным ювелиром. Ювелирная фирма Болин существовала до самого последнего времени. Второй сын ювелира Болина был страстным лошадиником, он-то в этой области и стал руководителем своего племянника, а моего друга К. К. Кнопа. Следует еще заметить, что отец Кнопа не любил лошадей, боялся их, но ценил и понимал хорошую езду. Около двух лет Кноп-отец провел в Англии, где изучал чайное дело; вернувшись в Петербург, он сделался агентом разных первоклассных европейских фирм по

разным отраслям торговли, но главным образом по чаю. Кноп был дружен с известным казанским купцом М. И. Поповым, основателем знаменитой чайной фирмы. Именно Попов убедил Кнопа завести своих лошадей, говоря, что ему по положению неудобно ездить на извозчичьих. Кноп-отец умер в 1909 году, а его жена – в 1915-м.

Карп Карпович Кноп родился в 1871 году в Санкт-Петербурге и был вторым и последним ребенком в семье. Двумя годами раньше родилась его сестра. По традиции, он получил имя Каспар. С ранних лет у Кнопа проявилась страсть к лошадям. Во времена молодости Кнопа те лица, которые не имели своих выездов, за людей не почитались и по качеству выездов и количеству лошадей на конюшне было и уважение челяди к господам. Когда у Кнопов было четыре лошади, то прислуга говорила: «А вот у вашего дедушки их было восемь, да два кучера, да четырехместный сарай».

В 1886 году отец Кнопа продал свою последнюю лошадь в завод фон Эссена около Дерпта, но, несмотря на это, страсть к лошадям у его сына все увеличивалась. Младшему Кнопу тогда минуло пятнадцать лет, о средствах и состоянии родителей он не имел ни малейшего понятия. Когда же он выразил вслух желание купить со временем имение и завести там завод, отец ответил, что он бы этого никогда ему не посоветовал и что во всяком случае, прежде чем осуществить свою мечту, Кнопу-сыну придется сперва заработать деньги: на подобную затею он не получит ни одной копейки. Это был удар для молодого Кнопа, но тем не менее он стал более прилежно учиться. В то время он был в пятом классе гимназии при Евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины и ниже третьего ученика никогда не шел. С января 1887-го и по 1889 год Кноп болел, вследствие чего вынужден был покинуть гимназию. В дальнейшем, поправившись, он получил специальное коммерческое образование, и отец решил, что сын будет его преемником в деле. Несколько лет Кноп провел в Англии, где работал в одной чайной фирме; затем, вернувшись в Петербург, вошел в дело отца, но потом перебрался в Москву, где с трудом завоевал себе положение. Как человек знающий и безукоризненно порядочный, он сделал себе в торговом мире имя и нажил порядочное состояние. В 1907 году он занимал хорошую квартиру и в средствах уже не стеснялся. В то время он был женат на дочери Р. Р. Ферстера, и от этого брака у него было двое детей – сын Каспар и дочь. Впоследствии Кноп разошелся с женой, которая уехала с дочерью за границу, и вторично женился на очаровательной женщине, русской красавице, с которой счастливо живет и поныне.

В коннозаводстве Кноп, если можно так выразиться, выбрал три специальности: 1) генеалогии (по преимуществу орловского рысака); 2) историю конских пород; 3) городскую езду у нас и за границей. На почве любви к генеалогии Кноп подружился со знаменитым русским генеалогом С. Г. Карузо. Эта дружба была трогательной и продолжалась до самой смерти Карузо. Кноп превосходно знает генеалогии орловского рысака. Следует еще отметить, что он умеет читать заводские книги, а этот дар дан немногим любителям, даже генеалогам.

В истории конских пород он, несомненно, один из наиболее образованных спортсменов, причем важно здесь отметить его совершенно объективный и беспристрастный подход к этой отрасли знания. Как-то однажды мы разговорились о графе Врангеле и его «Книге о лошади», и Кноп, взяв из своей библиотеки немецкий подлинник этого сочинения, показал, а потом и перевел мне следующие слова графа: «В 1879 году, побывав в Санкт-Петербурге, я удивлялся, чему так восхищались охотники, когда представляли перед ними эти узкогрудые, лещеватые уроды». Речь шла об орловском рысаке, и эти слова в русском



переводе книги Врангеля выпущены переводчиком, почему я их и не знал. Далее Кноп сообщил мне, что, увидев в 1900 году на выставке в Париже Ветра-Буйного, граф Врангель взял все им сказанное об орловском рысаке назад. Не правда ли, этот интересный факт заслуживал того, чтобы быть отмеченным.

Наконец, в вопросах городской охоты у Кнопа положительно нет равных. Беседы с таким глубоким знатоком и чутким любителем составляли для меня лучшее утешение даже в самые тяжелые моменты моей жизни. Стоило только прийти к Кнопу, начать с ним беседу о лошадях – и все забывалось, все тяжелое куда-то и незаметно отлетало, и я всегда уходил от него, узнав что-либо новое и значительное.

Не чужд был Кноп и литературе. Так, в 1895 году (первая его работа) он написал свою «Маленькую заметку», которая была напечатана в журнале «Коннозаводство и коневодство» и обратила на себя внимание. Тогда же по совету Кнопа редактор-издатель этого журнала Вильсон повысил подписную плату до десяти рублей, но зато журнал стал выходить два раза в неделю. Приблизительно в то же время на имя великого князя Дмитрия Константиновича Кноп написал свой доклад по вопросу реформирования коннозаводского ведомства. Доклад лишь в 1898 году был вручен великому князю. Это была блестящая работа, и если бы хоть частица того, что в докладе предлагалось, была бы осуществлена, то Государственное коннозаводство стало бы в России на подобающую высоту. В декабре 1899-го Кнопом была написана вторая статья в защиту орловского рысака. Статья была направлена против А. А. Стаховича, который, выражаясь вульгарно, зарпортовался в одной из своих работ и чуть ли не стал уверять, что орловские рысаки происходят от ремонтных конногвардейских жеребцов!.. Само собою разумеется, что статья Стаховича вызвала взрыв негодования в коннозаводских кругах и среди орловцев, но зато метизаторы торжествовали. Ответ Кнопа, написанный горячо и убедительно, произвел на всех большое впечатление, и по распоряжению августейшего управляющего статья была перепечатана в официальном «Журнале коннозаводства». Наконец, в 1902 году в «Журнале спорта» была помещена статья Кнопа о необходимости, пока не поздно, приступить к собиранию старых фотографий и портретов лошадей, ибо все это гибнет, исчезает, а при часто случающихся в России пожарах будет неминуемо уничтожено. Вместе с тем этот материал представляет драгоценнейший вклад в сокровищницу истории коннозаводства, и нужно приняться за его собирательство и классификацию. Блестящая статья Кнопа осталась, к сожалению, гласом вопиющего в пустыне. Как сейчас помню, на меня она тогда произвела огромное впечатление, ибо я уже начал сам делать в миниатюре то, что так настоятельно рекомендовал делать Кноп в государственном масштабе и что, к величайшему сожалению, сделано не было. Статья еще больше укрепила меня в желании создать коннозаводскую галерею, но средства, которыми я в то время располагал, были ограничены – многое пришлось упустить, ныне же оно безвозвратно погибло.

После 1902 года Кноп уже не выступал в спортивной литературе, так как был чересчур занят своим прямым делом, которое и давало ему средства к существованию. Он стал, так сказать, платоническим любителем коннозаводства и спорта. Выписывал спортивные журналы, тщательно пополнял свою замечательную коннозаводскую библиотеку вновь выходящими книгами, принимал охотников у себя, говорил о лошадях, но активного участия в делах спорта и коннозаводства не принимал. Одно время он хотел служить по коннозаводскому ведомству, но оклад, который ему предложили, был настолько мизерен, что он вынужден был отказаться и окончательно посвятил себя коммерческой деятельности.

После своей знаменитой статьи в защиту орловского рысака Кноп был приглашен членом особого совещания по определению чистоты породности орловского рысака, которое было создано при Главном управлении в 1899 году. Именно здесь состоялось его знакомство со многими коннозаводчиками и деятелями спорта, в том числе с С. Г. Карузо.

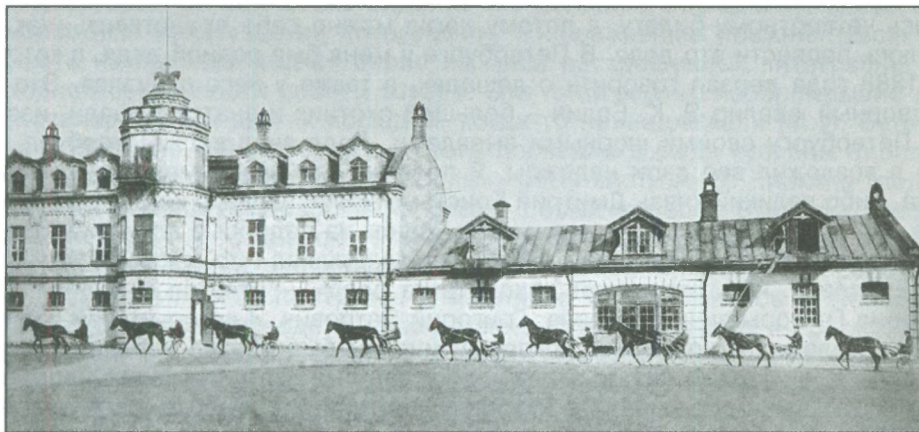
Совершенно необходимо сказать хотя бы несколько слов об увлечении Кнопа городской охотой. Первоначально такое увлечение казалось мне не заслуживающим внимания, но затем я понял свое заблуждение. Карп Карпович превосходно знал городскую охоту, с удовольствием знакомился не только с прежними городскими охотниками, но и с кучерами, много их расспрашивал, собирал фотографии прежних выездов. Он был также несомненным знатоком-теоретиком всего того, что касалось вопросов упряжной езды, и остается пожелать, что об этой отрасли своих знаний он не оставил никаких трудов. Кноп всегда мне говорил, что если бы в свое время знаменитые коннозаводчики, как баре, так и первостатейные купцы, имели бы выдающиеся выезды из лошадей собственного завода, то, несомненно, им бы подражали более мелкие охотники, а также и широкая богатая публика.

Кноп, конечно, был прав, что наше коннозаводство велось по ложному пути, то есть по исключительно призовому направлению, а отсюда забвение и городской езды, и форм и веса рысака. По этому поводу он любил приводить выражение графа Врангеля, который говорил, что зачастую там, где «тёрф пожинает триумфы, коневодство побирается с сумой».

Приведу здесь интересный рассказ о том, как моему приятелю, еще совсем молодому человеку, удалось провести такую крупную и исторического характера сделку, как продажа знаменитого когда-то борисовского завода петербургскому миллионеру Г. Г. Елисееву. Вот как это произошло. Впрочем, предоставляю для рассказа слово самому К. К. Кнопу.

«В 1892 году я совершенно случайно сделался посредником при продаже когда-то столь известного завода М. Борисовского с сыновьями петербургскому богачу Г. Г. Елисееву.

В декабре 1890 года один знакомый нашей семьи, к которому я зашел проститься перед отъездом на рождественские праздники в Санкт-Петербург, сказал мне как бы в шутку: «Вы ведь лошадиник, окажите мне большую услугу и про-



*Конюшни петербургского охотника Григория Григорьевича Елисеева в Москве. Журнал «Коннозаводство и спорт», 23.03.1914 г.*



*Вид залы для выводки лошадей в заводе Г. Г. Елисеева.  
Журнал «Коннозаводство и спорт», 01.04.1907 г.*

дайте-ка конный завод, а то он мешает мне сделать большое дело. Я являюсь посредником между администрацией по делам Борисовских и немецкими колонистами, покупающими у администрации землю; теперь большая часть земли продана, остается лишь часть, которую администрация считает неотъемлемой от конного завода. Однако они лошадей, которые колонистам совершенно не нужны, так дорого ценят, что благодаря им земля выходит слишком дорогой для покупателей и сделка расстраивается. У вас же есть знакомые охотники – отчего бы вам не попытаться счастья и не заработать?» Мне было 19 лет, иппологическая библиотека моя была еще крайне скудна, жалованье мое равнялось четвертному билету, а потому легко можно себе представить, как мне хотелось провести это дело. В Петербурге у меня был родной дядя, с которым я с 1888 года дерзал говорить о лошадях, а также у него поучался. Это был придворный ювелир Э. К. Болин – большой охотник и знаток лошади, известный Петербургу своими шорными выездами. Дядя знал весь Петербург, и на него я возложил все свои надежды. Я полагал, что завод может купить либо казна, либо великий князь Дмитрий Константинович. Однако когда я сказал это дяде, тот сразу мне ответил, что у казны денег на подобные покупки нет, а великий князь уже составил свой завод. Я тогда сказал, что также подумывал о Г. Г. Елисееве. «Да, это может походить на дело», – ответил мне дядя. Отец Григория Григорьевича Елисеева, Григорий Петрович, с которым мой отец состоял в деловых отношениях, которому многим был обязан и перед которым благоговел, несколько лет до этого принужден был взять от одного неплательщика Саватюгина его имение в Могилевской губернии вместе с конным заводом, благодаря чему Григорий Григорьевич Елисеев пристрастился к лошадям. Этот заводик крайне сомнительного качества был подарен Григорию Григорьевичу, и вслед за тем для него была куплена у Е. П. Тулиновой целая ставка

кобыл и в производители жеребец Могучий, сын Мужика 4-го. Жеребец был от-вратителен, кобылы далеко от него ушли, и надо было удивляться, как превос-ходительный В. В. Логинов, приглашенный управлять этим заводом, мог купить подобный материал. Старик Елисеев не особенно радовался любви сына к ло-шадям. С молодым Елисеевым я не был знаком и познакомиться мог только че-рез своего отца, но инстинкт мне ясно подсказывал, что мой отец не только меня с ним не познакомит, но и строжайше запретит мне даже говорить на эту тему. Ввиду этого я разыскал знакомого, хорошо принятого в семье этих петербург-ских богачей, и, пообещав поделить с ним куртаж, просил его узнать, как буду-щий молодой миллионер отнесется к мысли о покупке борисовского завода.

Как раз в этот год Н. Н. Каретников купил борисовскую ставку и уплатил в круг за жеребцов по 1050 рублей и за кобыл по 550 рублей. Мой знакомый переговорил с молодым Елисеевым, который загорелся желанием купить борисовский завод. Я возвращался в Москву если не вполне героем, то во вся-ком случае преисполненным надежд, упований и ожиданий, а моему компа-ньону было поручено узнать у администрации по делам господ Борисовских цену и все другие подробности относительно имения и все это безотлага-тельно сообщить Елисееву-сыну. Однако когда Елисеев сообщил о своем желании отцу, то старик вознегодовал, немедленно вызвал к себе моего отца и задал ему, ни в чем не повинному, здоровую головомойку, которая, не-смотря на расстояние между Петербургом и Москвой, отразилась и на мне, грешном. Словом, приходилось ждать, пока старик прикажет долго жить, а это случилось в скором времени. Переговоры сейчас же вновь начались, и в августе 1892 года весь конный завод Борисовских с частью земли был по весьма недорогой цене куплен Г. Г. Елисеевым. Во время этих переговоров я познакомился с В. В. Логиновым. В декабре 1892 года Г. Г. Елисеев со-брался на свой новый завод и, проезжая Москву, пригласил и меня с собой. Он справедливо называл меня виновником своего счастья, однако за все оказанные услуги я не получил ни гроша...»

В то время, когда я стал бывать у Кнопа, он жил на Солянке, в доме Д. А. Расторгуева. Это был дом-особняк, в котором Кноп занимал весь бе-льэтаж. Позднее, когда Расторгуев разорился и его дома перешли в соб-ственность Харитоненко, Кноп переехал на Николаевскую улицу, где в доме № 11 имел большую квартиру. Как только вы входили в переднюю кнопов-ской квартиры, вы сейчас же видели, что попали к лошадинику: здесь висе-ли известные сверчковские литографии, изображавшие прежних рысаков. В кабинете находилась редкая серия из семи раскрашенных литографий пре-восходной сохранности работы Швабе. Эти литографии, изображавшие Акте-ра, Кавалергарда и других лошадей, когда-то принадлежали М. И. Бутовичу, от него перешли к Лезерсону и у этого последнего были куплены Кнопом. В кабинете же висели два портрета белых кобыл кисти А. Д. Чиркина (подарок Расторгуева) и портрет работы Коптева – серый жеребец Бубенчик. Позднее Кноп купил у С. А. Сахновского все портреты работы Чиркина, за исключе-нием портрета Кряжа, перешедшего к С. С. Шibaеву. Во время революции Кноп уступил мне эти портреты. В кабинете же находилась и знаменитая библиотека по коннозаводству, несомненно, одна из лучших в России. Отдел иностранных книг был представлен очень полно, а из русских изданий имел-ся полный, начиная с 1842 года, комплект «Журнала коннозаводства», чего ни в одной частной библиотеке не было. Мне удалось собрать такой же комп-лект лишь недавно, во время революции, когда, как известно, продавалось решительно все. Свою библиотеку Кноп сумел удержать, и, хотя она сейчас находится в запакованном виде, в ящиках, надо надеяться, что она сохранит-

ся. Следует еще отметить, что у Кнопа было хорошее собрание фотографий, которое также уцелело. В особую заслугу Кнопу надо поставить, что он за свой счет переснял все портреты собрания М. В. Воейковой, которое состояло из портретов лошадей М. В. Пашкова, светлейшего князя В. Д. Голицына и В. П. Воейкова. Ныне это собрание, вероятно, погибло, но благодаря кноповским снимкам уцелели изображения таких знаменитых лошадей, как Самка, Победа, Лебедь, Феномен, Метелица...

Обстановка у Кнопа была очень удобна и хороша. Среди вещей некоторые, наследованные от отца или деда, имели и несомненное художественное значение. Приятно поражали образцовая чистота, с которой держалась квартира, первоклассное столовое белье, превосходная сервировка и хорошо вышколенная прислуга. Здесь все было на иностранный лад и весьма мало напоминало матушку Москву. Стол у Кнопа был изысканно вкусный и даже тонкий. Сам Капочка, так я его называл (да и не я один), был знатоком вин и вообще большим гастрономом. Готовила знаменитая кухарка, и готовила так, что за ней не всякий первоклассный повар мог бы угнаться. Эта кухарка была выученицей мамы Кнопа, великой мастерицы кулинарного искусства. Я особенно любил одно из сладких блюд, которое подавалось у Капочки и носило название «баварских булочек». Нигде и никогда более вкусного пирожного я не едал, и гостеприимный хозяин меня частенько баловал этим лакомством.

Кружок лиц, собиравшихся у Кнопа «по охоте», был почти тот же, что и у его соседа Расторгуева: Яньков, Расторгуев, Шibaев, Куприянов и я, одно время Живаго и позднее Витты, отец и сын, – вот завсегдатаи этого кружка. О Карузо я не говорю, так как он редко бывал в Москве, но зато, приезжая сюда, не только бывал у Кнопа, но и останавливался обычно у него. Ввиду того что сам хозяин был поклонником коннозаводской старины, разговоры шли преимущественно об этой последней и спортивным новостям дня мало уделялось внимания. Здесь приятно было отдохнуть душой, послушать Янькова и Расторгуева, да и сам Кноп знал немало. Собирались обыкновенно вечером, к чаю.

Все мы не только уважали, но и ценили Карпа Карповича. Два или три раза мне пришлось присутствовать на званых обедах у Кнопа, когда все бывали во фраках, чего так не любили москвичи. Тогда преимущественно собирались деловые люди, почти исключительно иностранцы, директора правлений, мануфактур или прочих предприятий, и обеды бывали особенно тщательно продуманы, великолепно сервированы и очень хороши. Впрочем, иначе и не могло быть, раз они носили полуофициальный характер. Я, конечно, любил больше наши коннозаводские собрания, но должен сказать, что круг лиц, собиравшихся на званых обедах, был также крайне интересен, а для меня в то время и нов, так как я тогда еще не имел никаких знакомств и связей в торговых кругах.

Время шло, и мои отношения с Кнопом мало-помалу из очень хороших, а затем дружеских превратились в самые близкие, и нас уже связывала настоящая дружба. Когда двух людей связывает такая дружба, когда общность интересов, в особенности идейных, их объединяет, то таким людям уже не нужны посторонние лица: они могут довольствоваться беседой друг с другом, ибо в ней находят и отдохновение, и успокоение, и отраду. Так было и у меня с Капочкой Кнопом. Последние годы я любил бывать у него один и проводить с ним долгие зимние вечера.

Обыкновенно, приехав к Кнопу и усевшись сейчас же в мягкое кресло, я, бывало, еще не успею протянуть ноги, как Капочка уже меня спрашивает: «Ну, что новенького по портретной части?» И если я что-нибудь купил или же только видел, то я должен был делать ему самый подробный доклад: что за портрет, какая лошадь изображена, как и кем написана, сколько заплачено за портрет. У

Кнопа при его громадных познаниях исторического характера по коннозаводской части было и то особое чутье, которым нередко наделены историки. Так, несколько раз, совершенно не зная, что за лошадь изображена на портрете, он делал предположение о заводе, в котором она родилась, типе, а иногда прямо угадывал имя лошади! В своих определениях некоторых спорных портретов я всегда принимал во внимание его указания, а иногда и находил истину, руководствуясь ими.

Летом, приезжая в Москву, я обыкновенно ездил с ночевкой на дачу к Кнопу и вместе с ним возвращался в город к тому часу, когда торговый люд начинал уже свои дела. У Кнопа была превосходная, великолепно обставленная дача под Москвой, которая была арендована им на несколько лет, заново отделана и совершенно приспособлена к его вкусам и укладу жизни. В начале пятого часа я приезжал к Боярскому двору, где у Кнопа была контора; у подъезда уже ждала коляска, запряженная парой. Эта коляска нанималась на все лето и была всецело в его распоряжении. Ровно в пять мы двинулись в путь и через час или немного более приезжали на дачу. Я редко видел на своем веку более красивые местности, чем те, что окружают Москву, и дача Кнопа в этом отношении не составляла исключения. Поездка на дачу была сплошным удовольствием, и уже этот час езды в хорошей коляске после тяжелого рабочего дня успокаивал нервы, и мы приезжали на дачу свежими и бодрыми. Иногда я ездил с Кнопом в субботу, чтобы воскресенье погостить у него, и тогда в нашем распоряжении были целые сутки. При даче был сад и живописный спуск к реке. Я всегда любил осень в средней полосе России, в особенности же когда бабье лето удавалось погожим и стояли такие чудные, чисто летние дни. Ясный и прозрачный воздух был спокоен и как-то особенно чист; солнце грело и светило ярко, но не утомляло своим зноем; в полях паутина летела понизу, и деревья напоминали ярко позолоченные шатры. В такие дни мы углублялись с Капочкой в сад, убранный последними цветами осени: яблони стояли сизые, клены и липы золотые, рябины красные. Среди этой тишины разноцветный, то желтый, то уже красный, лист медленно сыпался с деревьев и без шума ложился под ноги. Мы садились где-нибудь на скамейке и вели долгие и дружеские разговоры... Золотые, счастливые годы, где вы?!

Незадолго до войны Кноп решил, что он настолько уже обеспеченный человек, что может себе позволить удовольствие покупки и содержания собственной лошади. Это было, несомненно, событие в его жизни, и притом крупнейшее.

Кноп осмотрел ставку продажных жеребцов куприяновского завода и выбрал себе серого жеребца, которого и купил у Х. В. Куприянова. Это была крупная, правильная и породная рысистая лошадь – словом, вполне хорошая городская одиночка. Кучером был приглашен какой-то знаменитый по езде старец, особенно чтимый среди других кучеров. Сбруя, экипаж, шарабан – все было заказано, что называется, по-любительски, и первое время Кноп держал своего жеребца на даче. Старик кучер выезжал к нему навстречу обыкновенно в шарабане, и Кноп пересаживался, брал вожжи и сам правил. Надо было его видеть в это время, чтобы затем понять и оценить: он не правил, а положительно священнодействовал...

Кноп был небольшого роста, блондин. Одевался он всегда очень хорошо, и платье сидело на нем превосходно. Это был чрезвычайно мягкий, добрый и отзывчивый человек, всегда готовый помочь своему ближнему. Его характерная особенность – полное отсутствие зависти в охоте и к чему бы то ни было. Я уже сказал, что он последние годы имел очень большое влияние на С. Г. Карузо и на меня. Влияние Кнопа было самое благотворное: он поддерживал наш дух, не давал нам унывать, своими пламенными речами и письма-

ми призывая к работе на пользу родного коннозаводства и столь любимого всеми нами орловского рысака. Позднее, когда на арену спорта вышел молодой охотник и страстный фанатик орловского рысака В. О. Витт, Кноп принял в его судьбе живейшее участие, помогал ему советами и указаниями, предоставил в его пользование свою богатейшую библиотеку и всячески поддерживал его. Желая ему показать Европу, Кноп пригласил его с собою за границу, взяв все расходы путешествия на себя. Словом, Витт многим был обязан Кнопу, и тот относился к нему отечески и с горячей любовью, видя в нем преемника по работе и генеалогическим изысканиям своего незабвенного и к тому времени уже трагически погибшего друга Карузо. Эти строки, посвященные Кнопу, я позволю себе закончить следующим изречением: «Ubi officium, ibi beneficium» (где долг, там и заслуга), ибо эти слова лучше всего подходят к жизни и личности Кнопа.

Год закончился для меня удачно. Журнал я передал Н. А. Афанасьеву, и надо было подумать о том, чтобы серьезно взяться за творческую коннозаводскую работу. До этого времени, то есть с 1900 года, когда я получил отцовское наследство, и до 1908 года я хотя и вел завод, но отдавался делу не всецело, так как сначала служил, потом был мобилизован и долго пробыл в Маньчжурии, затем полтора года ушло на журнальную работу. Словом, эти первые семь-восемь лет меня практически ничему не научили: лошади, родившиеся у меня в заводе, не так воспитывались, как нужно, бежали плохо или вовсе не бежали, так что завод давал большой убыток. Надо было или ликвидировать дело, или же заняться им серьезно. Не задумываясь, я выбрал второе.





# МОЙ КОННЫЙ ЗАВОД

К тому времени я уже имел весьма серьезную теоретическую подготовку, большое литературное имя, спортивные связи и известность, оставалось все это увенчать удачной коннозаводской работой. Таковы были планы, которые я лелеял в душе, и с ними я вступил в новый год. Что он готовил, что предвещал мне? Решение принято большое, но игра уже сдана, и надо добиться того, чтобы карта была не бита, а выиграна... Я видел ясно, какие трудности лежат передо мною, как много дела, как трудно будет собирать выдающийся материал, но бодро смотрел в будущее и предстоящей работы не боялся. Передав журнал, я уехал в Петербург, где по зимам постоянно жил мой старший брат Николай с женой; погостив у них месяц, отправился на юг Франции, на Ривьеру, чтобы навестить мою матушку, которая имела виллу в Ницце и там жила с моей слабогрудой сестрой Е. И. фон Баумгартен. Ницца, Монте-Карло, потом Париж, Вена, наконец, Варшава – все это промелькнуло, как сон, как какой-то счастливый миг.

В последних числах марта я вернулся в Россию. Здесь была ранняя весна, а там, откуда я приехал, уже цвели розы и жасмины, по-летнему грело южное солнце, на все лады пели птицы и голубое море ласкало взор и убаюкивало слух своим мягким и вечным прибоем – там, далеко, было лето... После угара счастливой жизни, полной отдыха, рулетки, балов, маскарадов и увлечений, после всего этого шума и европейского блеска было как-то странно и первое время тоскливо в деревенской глуши. Однако человек привыкает ко всему, и я мало-помалу стал втягиваться в эту скучную и однообразную жизнь. Лишь по вечерам, сидя с сигарой и французским романом у камина, я подолгу мечтал, иногда грустил... Я мало тогда бывал на конюшне, совсем не ходил по хозяйству: все это меня раздражало, утомляло и казалось каким-то мелким, скучным и ненужным. Письма подолгу лежали на столе, не хотелось на них отвечать; в душе назревал перелом, как будто намечалось что-то новое, чего я сам боялся и чего не хотел... Однако все обошлось в конечном счете благополучно: как-то, проснувшись ранним утром, я подошел к окну и долго стоял, как зачарованный: весна бурно вступила в свои права, все кругом зацветало, чирикала и пело, переливалось изумрудной краской пробивающейся травы и зеленью молодых почек, а над всем, как шатер, расстилалось, сколько видел глаз, весеннее голубое небо, такое нежное, чистое и прозрачное. На душе сразу стало хорошо и легко. Все в природе возобновлялось, все оживало и возвращалось к жизни после долгой зимней спячки – как же было не поддаться очарованию и не воскреснуть душой! Красивое и счастливое время весна – как не верить тебе, как тебя не любить!

С приходом весны пришли и новые силы. Я почувствовал себя бодро, целые дни проводил в конюшне или в саду, а в свободные часы уже не книжка французского романа была у меня в руках, а какой-нибудь коннозаводский



журнал, специальная книга, а еще чаще – описи рысистых заводов. Словом, я возвращался, как после болезни, к своим прежним любимым занятиям и делам. Европа, культура Запада, галереи, веселье, яркие и тонкие увлечения, дававшие полное удовлетворение страстям, – все было позади, забылось, и жизнь входила в свою будничную колею. Но было это словно передышкой, кризис оказался еще впереди.

В то время мой конный завод находился в десяти верстах от Елисаветграда, в небольшом, специально купленном для него имении, которое я назвал Конским Хутором. Здесь жизнь шла мирно и однообразно: даже в ближайшем городе я почти никогда не бывал и до середины лета жил замкнуто, один, совершенным анахоретом, всецело уйдя в свои коннозаводские планы. Много времени я проводил над генеалогическими работами, составил список тех заводов, которые той же осенью хотел посетить и, наконец, присматривался к своему небольшому заводу, где среди двухлеток уже обращал на себя внимание белый жеребец Кот, впоследствии гроза всех ипподромов юга России.

Этим летом меня посетил лишь один С. Г. Карузо, приезде которого я был сердечно рад. Сергея Григорьевича я любил искренне, сердечно и совершенно бескорыстно. Это был тонкий знаток генеалогии, фанатик орловской породы, писатель по вопросам своей специальности совершенно выдающийся, романтик, человек чистой души и высоких идеалов. Такие всегда и везде редки. Кто знал, как я, этого человека, тот не мог не любить его.



*Барский дом. Конский Хутор Я. И. Бутовича.  
Журнал «Рысак и скакун», 25.01.1909 г.*

Приезд Карузо пришелся как нельзя кстати: именно в это время я переживал очередной кризис, налетевший как ураган и охвативший меня. Тогда я чуть было не продал имение и не покинул Россию навсегда, не уехал туда, где еще так недавно пережил одно из самых сильных и счастливых увлечений, где я любил и был страстно любим... Именно в эту пору, когда я каждую минуту мог все бросить, такой человек, как Карузо, и только он один, с его кристально чистой душой, его верой и фанатизмом, мог повлиять на меня – и повлиял. Все забывается, даже самые пылкие, мучительные страсти – и те проходят, но как тяжело, как трудно они проходят... Карузо понял состояние моей души, с удивительной чуткостью подошел ко мне, увлек рассказами (как он хорошо рассказывал!) о прежних рысаках, имена Полканов, Лебедей, Любезных и Соболей запестрели и заиграли в нашем разговоре. Он предсказывал мне громадное будущее как коннозаводчику, как деятелю и борцу за орловского рысака; он увлекал, гипнотизировал меня, не давал надолго задумываться и, как нянька, не отходил от меня буквально ни на шаг, прожив около двух месяцев на Конском Хуторе. Я стал чувствовать себя уверенно, слова лести и предсказания будущей славы подействовали на меня. Да и на кого они, читатель, не действовали и не действуют еще и теперь? Время также брало свое: мне стало легче, проснулась уверенность в том, что мне предназначено сделать что-то здесь,

у себя на родине, и я постепенно всей душой, и на этот раз уже навсегда, окунулся в коннозаводское дело, много принес ему жертв, много из-за него перестрадал, но и много видел счастливых и радостных минут!

А тем временем мои чуткие петербургские друзья – не лошадаики, а друзья на жизненном пути – граф Зубов, Сережа Палицын и Борис Огарев, обеспокоенные моим молчанием, начали звать меня в столицу. Почти одновременно великий князь Дмитрий Константинович приглашал к себе в Дубровку – отказаться было просто неприлично и неудобно. Здесь я увидел руку Карузо, понял, как он боится за меня, и еще больше стал его уважать и ценить. Впрочем, хорошо ли поступил тогда Карузо по отношению ко мне? Не лучше ли было бы, чтобы я навсегда уехал за границу? Там меня ждала спокойная жизнь среди высокой культуры, в благоустроенной стране, и я, конечно, нашел бы применение своим способностям и был бы счастлив. Оставшись здесь, я много пережил и еще больше испытал; на своих плечах вынес все тяготы, ужасы и унижения революции. Теперь, когда пишу эти строки, вокруг себя вижу полный развал, гибель родины и один сплошной ужас. Да, видно, мне суждено испытать эту чашу до дна: каждому по делам его!

Карузо стал собираться домой, а я уехал в Дубровку. Оттуда я предпринял путешествие по лучшим заводам Тамбовской и Воронежской губерний, чтобы ознакомиться с их конским составом, приобрести новый материал и понаблюдать за тем, как велось дело на этих лучших заводах России. Я проездил три месяца и лишь в ноябре вернулся домой. Я посетил заводы Вяземского, Воронцова-Дашкова, Лейхтенбергского, Афанасьева, Хреновской, Чесменку, был у Роппа и попутно осматривал менее значительные заводы, попадавшие на моем пути: Секерина, Бабенышева, Савельева, Шкарина, Паншина, Петрова, Коломенкиных, Вердеревского и другие. Я вынес очень много из этой поездки и понял, что тот материал, с которым я работал, не отвечал своему назначению. За исключением 5–10 лошадей, все остальное в моем заводе необходимо было выбраковать и заменить. Там, где мне представлялась возможность, я покупал маток, например у Афанасьева – Комету и Ужимку, у Л. Д. Вяземского – Тайну. Внимательно присматривался к тому, как кормили и работали лошадью на этих заводах, и понял, что у меня все это делается не так, что прежде всего необходимо озаботиться приисканием дельного и вполне знающего управляющего. С этой целью я проехал в Киев и вызвал для переговоров из Шпиток Н. Н. Ситникова. Он управлял конным заводом А. Н. Терещенко и достиг блестящих результатов: получив от наследников Ф. А. Терещенко завод в полном беспорядке, привел все в порядок, правильно поставил дело, стал хорошо кормить лошадей и, наконец, сумел организовать тренировку так, что лошади А. Н. Терещенко в последние три года занимали первое место на ипподромах юга России. Я хорошо знал Ситникова, так как часто бывал у Терещенко и в Шпитках, и в Киеве и купил в этом заводе около десяти лучших маток. А. Н. Терещенко решил ликвидировать завод из боязни, что его единственный сын увлечется лошадьми. Ситников уже около десяти лет служил у Терещенко, и тот его очень ценил. Это был энергичный и подвижный человек, не только знаток конного дела, но и превосходный сельский хозяин. У него была репутация честного, порядочного и неутомимого работника. Заполучить Ситникова было моей мечтой, и ей суждено было осуществиться. Ситников мне прямо сказал, что бросить Терещенко он не может и никогда этого не сделает, так как многим ему обязан, но что если А. Н. Терещенко его отпустит, то он с наслаждением перейдет ко мне, так как лошадью любит «больше всего на свете», а завод Терещенко, собственно говоря, уже более не существует: лучшие матки – Услава, Неаглядная, Светлана, Ундина – у меня, многих кобыл раскупили киевские охотники, а то, что осталось,



*Александр Николаевич Терещенко*

неинтересно. Ситников просил меня проехать в Шпитки и лично переговорить с Александром Николаевичем. Я усомнился в успехе, зная, как Терещенко ценит Ситникова, однако другого выхода не было, и я согласился.

На другой день утром я поехал к Терещенко; на одиннадцатой версте по Житомирскому шоссе, где заканчивается линия электрического трамвая, меня ждала удобная коляска, запряженная парой великолепных белых кобыл, внучек Соболька, сына толевского Гранита, о котором я уже несколько раз упоминал. Это была личная и любимая пара самого хозяина, и ее присылка означала особое внимание и благоволение ко мне. По тому, как низко и радостно раскланивались и приветствовали меня кучер и выездной гайдук, я понял, что являюсь желанным гостем. Впрочем, я это и сам знал, на это мне очень осторожно намекнул во время нашего разговора Ситников, которому Александр Ни-

колаевич как-то обмолвился, что я ему очень нравлюсь. У Терещенко была дочь, отсюда его близкие стали делать всевозможные выводы и, надо отдать им справедливость, были очень близки к истине. Терещенко принял меня не только любезно, но и сердечно; после завтрака я ему объяснил, в чем дело, и он, видимо, был разочарован, что я приехал не в гости. Однако он велел сейчас же позвать Ситникова и при мне прямо его спросил, желает ли он оставить службу и перейти ко мне. Ситников смутился, покраснел и заявил, что он Терещенку никогда не оставит и без согласия или против его желания не уйдет. Тогда Александр Николаевич подумал и сказал: «Я знаю, ты любишь лошадей, к Якову Ивановичу тебя отпускаю. Если не поладишь, в любое время можешь вернуться. Вели в конторе выписать себе в награду годовой оклад жалования».

Ситников благодарил хозяина, а я просил освободить управляющего как можно ранее. Решили, что 15 ноября Ситников уже переедет ко мне. «Успеешь ли ликвидировать остатки завода и последних лошадей?» – задал ему вопрос Терещенко. «Едва ли, – отвечал Ситников, – времени мало осталось». Тут я счел нужным прийти на помощь и разрубить это последнее препятствие, предложив оставить за мной всех еще не проданных лошадей. «Я согласен», – отвечал Терещенко и назначил за них по 150 рублей



*Князь Л. Д. Вяземский на Шайке.  
Журнал «Русский спорт», 13.07.1914 г.*

голова в голову. Это была неприлично низкая цена, но мне пришлось подчиниться, ибо дороже Терещенко не хотел их оценить. Этих лошадей Ситников в три дня распродал в Киеве, да так удачно, что все деньги, истраченные мною в заводах Афанасьева, Вяземского и других, окупились. Нескольких кобыл мы с Ситниковым решили оставить. Среди них оказались Паллада и Уганда. Я их не оценил и, продержав год, продал: Палладу, жеребой, Деконскому, а Уганду – А. С. Голицыной. От Уганды родилась классная Кикина, пришедшая от меня также в брюхе, ныне одна из интереснейших маток Хреновского завода.

Так состоялся переход ко мне на службу Ситникова; он прослужил у меня девять лет и умер от рака желудка через две или три недели после Февральской революции, то есть в 1917 году.

Ситников служил мне верой и правдой, защищал мои интересы, как свои, был предан делу всецело, работал неутомимо. Я ему многим обязан в правильной постановке завода и хорошем ведении сельского хозяйства. К нему относится часть тех успехов, которые выпали на мою долю. Ситников похоронен в ограде церкви села Кишкина, в двух верстах от сельца Прилепы.

Столь важный вопрос, как приглашение управляющего, был разрешен блестяще, и я не мог, конечно, не быть глубоко благодарным А. Н. Терещенко и на несколько дней остался погостить в Шпитках. В это время там собралось большое общество: гостили Терещенки из Курской губернии (линия С. А. Терещенко) и Терещенки из Червоного (линия Ф. А. Терещенко); из Киева приехал генерал Сухомлинов, впоследствии военный министр и похититель жены моего двоюродного брата В. Н. Бутовича. Надо отдать должное Сухомлинову, в обществе это был очаровательный человек и большой «шармер». Неудивительно потому, что впоследствии государь император Николай Александрович подпал под его влияние... Впрочем, оставим эти мысли и скорее уйдем в воспоминания, подальше от политики, подальше от тех лиц и поступков, которые вели и фатально привели к русской революции. Помимо Сухомлинова, из Киева тогда же приехал, а затем вечером уехал В. Ф. Меринг, владелец призовой конюшни, и еще кое-кто из киевского «гай-лайфа». О лошадях никто, конечно, не говорил, интересы преобладали совсем другие: здесь были туалеты от лучших парижских портных, сказочная роскошь и полное довольствие во всем – словом, светская жизнь была ключом. Вечером, когда дворец утопал в электрическом свете (у Терещенко был не дом, а дворец), аккорды рояля неслись и замирали в громадных комнатах, а молодежь или старики либо танцевали, либо флиртовали, либо играли в карты или «petit jeu», и можно было подумать, что находишься не в Киевской губернии, а где-нибудь далеко на Ривьере, в роскошной вилле американского миллиардера.

Три дня быстро пронеслись, и я решил ехать домой, где не был почти три с половиной месяца. Вечером накануне отъезда у меня состоялся знаменательный разговор с А. Н. Терещенко. Он спросил меня, сколько мне лет, а затем сказал, что хорошо знал и уважал моего отца, который был хорош еще с его отцом и делал с ним большие дела. После этой прелюдии он спросил прямо, почему я не женюсь. Я уверен, что мог тут же просить руки его старшей дочери и не получил бы отказа, но я тогда менее чем когда-либо думал жениться и чистосердечно сказал об этом Александру Николаевичу. Он был, видимо, удивлен, покачал головой и заметил, что не понимает современную молодежь. «Да вы, вероятно, и сами себя не всегда понимаете». Последнее было сказано замечательно верно и подмечено очень умно. Терещенко расстался со мной очень сердечно и даже обнял меня; этим, вероятно, он хотел показать, что не все пути отрезаны и возвращение возможно. Это было нашим последним свиданием: вскоре я навсегда простился с югом и переехал в центральную полосу России,

а Терещенко через несколько лет умер за границей. Удивительно, что два раза намечались браки между нашими семьями (вернее, со стороны родителей было большее к тому желание), между Бутовичами и Терещенко, и оба раза дело не пошло дальше одних пожеланий. Видно, не судьба была соединиться узами родства этим двум малороссийским родам, из которых один был старейшим, а другой – наиболее богатым из всех остальных.

Приехав на Конский Хутор, я стал поджидать Ситникова. Он не замедлил прибыть и рьяно взялся за дело. Начали мы с того, что пересмотрели всех лошадей и обменялись впечатлениями. Ситников недурно знал лошадь, но был чрезвычайно пристрастен к терещенским лошадям: он их так любил, что решительно не замечал у них недостатков, а иногда и пороков. Пожив недолго на Конском Хуторе, я уехал в Одессу и лишь к рождественским праздникам вернулся в деревню. Мы стали обсуждать с Ситниковым положение завода, и я озвачился с его докладом. Он совершенно освоился с делом, и выводы его сводились к тому, что рядом надо прикупить еще десятин 500 земли, иначе правильно вести хозяйство невозможно: своих кормов будет всегда не хватать, а вести завод на покупных кормах и дорого, и убыточно. Эта точка зрения была верна, я и сам ранее пришел к ней. Когда я продал в Касперовке свой участок земли, то купил Конский Хутор, где было около 200 десятин с очень хорошими постройками для конного завода, лишь потому, что в то время совершенно не хотел заниматься хозяйством и считал более выгодным вести дело на покупном корме. Кроме того, мне хотелось поставить завод так, чтобы все внимание сосредоточилось именно на нем и другие заботы не отвлекали служащих. Это была ошибочная точка зрения, в чем я скоро убедился. Поэтому доклад Ситникова совершенно совпал с моими желаниями, но только я считал нужным не прикупать землю к Конскому Хутору, а продать его и купить имение в центральной черноземной полосе России, по возможности ближе к Москве.

Москва всегда была центром коннозаводской жизни страны, и выгоды ведения дела вблизи Москвы были налицо. Прежде всего, отправка лошадей из южных губерний в Москву трудна и дорога: лошади находились в пути не менее 7–8 дней, после южных условий не сразу привыкали к довольно суровым условиям севера. Кроме того, на юге рысистыми лошадьми почти никто не интересовался, ибо это был район производства верховой ремонтной лошади, – продать здесь рысистую лошадь было очень сложно и нельзя было рассчитывать на приезд покупателей или охотников, ибо кто же поедет за тридевять земель киселя хлебать. Наконец, к тому времени лично мои интересы и знакомства также были связаны с обеими столицами – все это вместе взятое и привело меня к решению продать Конский Хутор и перебраться в центр России. Я поделился с Ситниковым своими мыслями, и он пришел в восторг: Ситников, уроженец Орловской губернии, хорошо знал условия хозяйства средней полосы России, и ему очень улыбалось покинуть юг. Около месяца я прожил в деревне. Уезжая в конце января в Москву, я не думал, что больше уже не вернусь на Конский Хутор.

Новый 1909 год я встречал у себя в деревне один; на душе было спокойно, но как-то недоставало уверенности в успехе дела. Я все еще стоял от этого далеко. Хотя лошади и завод были уже приведены Ситниковым в полный порядок. Ситников, поздравляя меня с Новым годом, уверенно говорил, что с весны лошади побегут, завод начнет завоевывать репутацию, а с ней придут и успехи, и слава.

Коту было уже два с половиной года, он подавал громадные надежды. Ситников ездил его смотреть в Одессу и уверял меня, что это первоклассная лошадь, – так что он имел все основания оптимистически смотреть на будущее.

Надо сказать, что по моей просьбе брат Владимир, всегда живший зиму в Одессе, обладавший очень большими средствами, завел призовую конюшню из лошадей моего завода, которые пока что должны были бегать на южных ипподромах. Это было сделано им исключительно для меня, дабы дать возможность моим лошадям выдвинуться, так как покупать их еще никто из охотников не хотел, а другого способа выдвинуть завод не существовало. Это была братская услуга, и Владимир выполнил ее блестяще, за что я ему и теперь очень признателен. На конюшню он истратил много денег, снял против бега дачу, превосходно ее оборудовал, а наездника пригласил я, и очень удачно, именно А. Е. Петрова. До того он с исключительным успехом ездил на лошадях бессарабского коннозаводчика Л. А. Руссо и лишь осенью, после десятилетней службы, отошел от него. Я, конечно, недаром до конца декабря прожил в Одессе: тщательно наблюдал за работой рысаков, вернее, нашей молодежи (часть лошадей я продал брату, а Кота и лучших кобылок сдал в аренду), и был уверен в успехах. Одесские бега открывались в марте, а специальностью Петрова было умение рано подготовить и в первый же день выставить к старту трехлетних лошадей.

В Москву я приехал в конце января. Сейчас же, конечно, поехал на бега. Там было, по обыкновению, шумно, весело, жизнь была ключом. Меня встретили как старого знакомого с распростертыми объятиями, и начались разговоры, расспросы, предложения купить лошадей и все прочее в таком же роде. Я с головой ушел в эту жизнь и на время забыл обо всем остальном. К тому времени я уже сдал свою квартиру в белом членском доме, отослав вещи в ступинский склад на хранение, и теперь, чтобы быть ближе к бегу, к лошадям и, так сказать, в самом водовороте спортивной жизни, я просил вице-президента предоставить мне комнату для приездов. Мне было предложено помещение в «Красных номерах» – то, в котором когда-то жил и умер Карлуша Петион. Это были две светлые, удобные комнаты. Я оставил их за собой, мебелировал, и они были в моем распоряжении с 1909 года по 1917-й, то есть восемь лет. Правда, последние годы я останавливался там изредка и лишь тогда, когда приезжал в Москву на день или на два специально на бег или по беговым делам.

В Москве я начал расспрашивать охотников и вообще лиц, причастных к беговому делу, нельзя ли недалеко от Москвы купить имение десятин в 500–600, непременно оборудованное или же запущенное, но такое, где ранее был какой-либо известный конный завод. С моей точки зрения, последнее служило гарантией того, что уголья в нем вполне удобны и хороши для ведения конского дела. Об этом заговорили на бегу, и комиссионеры, что называется, стали на ноги. Начались предложения, но их было немного и все неподходящие. Предлагали кое-что в Тамбовской, Воронежской или Курской губерниях. Из старых коннозаводческих гнезд, а мне хотелось обязательно купить одно из них, ничего не предлагалось. Особенно меня привлекала Рязанская губерния: там в то время работал Н. И. Родзевич, там были когда-то знаменитые заводы Дубовицких, Болдарева, Дивова, Коробьина и других. Я даже специально ездил в Рязань, где пользовался гостеприимным кровом Родзевича, но подыскать ничего не удалось. Это было время известного расцвета помещичьих хозяйств: после революции 1905 года цены на земли поднялись, хозяйства стали приносить доходы, да и вообще все в России двинулось гигантскими шагами по пути обогащения, развития техники и культуры. В то время хорошее имение купить почти невозможно, и до конца февраля я, живя в Москве, тщетно его искал и ничего не находил.

Однажды вечером ко мне заехал Г. М. Сушкин, который в то время занимался комиссионерством и состоял в должности не то управляющего, не то

друга дома при московском миллионере Смирнове, а потом при тульском богаче Платонове. Он мне сообщил, что я могу купить имение Прилепы в 17 верстах от Тулы и в 10 верстах от станции Козловой Засеки Московско-Курской железной дороги, столь хорошо известной всем русским людям по близости к ней Ясной Поляны. Прилепы, как он мне объяснил, принадлежали вдове А. Н. Добрынина, знаменитого когда-то тульского коннозаводчика, в заводе которого родилась целая плеяда резвых рысаков. Там до последнего времени был завод, но теперь Олимпиада Платоновна Добрынина окончательно разорилась, все в Прилепах до последнего стула было продано с молотка, а имение осталось по закладной за Платоновым. Платонов предлагал мне его купить. Вместе с тем мне было хорошо известно, что Платонов покупал кобыл и основывал завод, который хотел иметь под Тулой, так как постоянно жил в этом городе и вел в нем большие торговые дела. Я прямо спросил Сушкина, какова же причина, по которой Платонов вдруг решается продать мне имение. Сушкин мне на это сказал: «Вам, Яков Иванович, всегда везет. Можете теперь купить Прилепы. Только спешите, а то, если узнают, охотников будет очень много». Естественно, этот ответ меня не удовлетворил, и я продолжал настаивать на более подробной информации. Ларчик открывался просто. Не только Прилепы, но и Волохово, имение Ливенцова, было заложено у Платонова. Платонов мечтал купить именно Волохово, но Ливенцов исправно платил по закладной проценты и Волохова не продавал. Платонов держал про запас Прилепы и никого туда не допускал. Он уже совсем было решил обосноваться в Прилепах, но в это время дела у Ливенцова вторично и окончательно пошатнулись и он уступил Волохово Платонову. Прилепы стали не нужны и были тотчас же мне предложены.

Я знал Волохово, так как еще в 1902 году молодым офицером тотчас же после производства приезжал в Тулу, дабы специально осмотреть и купить у Ливенцова белую кобылу Пилку, дочь Пильщика, родного брата Полотера. Пилка была замечательно хороша по себе, я ее купил, но, когда из Касперовки приехал приемщик за кобылой, Ливенцов кобылу не отдал и деньги вернул. Его успели разубедить, объяснив, что я его «уговорил» и что такую замечательную кобылу продавать нельзя. Ливенцов поступил, конечно, некорректно, я мог на него жаловаться, но махнул рукой и ограничился тем, что не кланялся с ним десять лет, и лишь мой переезд в Тулу нас вновь примирил. Как говорил мне Ливенцов, глаз у меня оказался тяжелый: в тот же год Пилка не разжеребилась и пала. Итак, благодаря Пилке я знал Волохово. Это было очень красивое, живописно расположенное большое имение в пяти верстах от города. Дорога туда шла по Киевскому шоссе пять верст, затем полверсты вправо по красивой аллее, специально посаженной Ливенцовым. Конюшни, дом, манеж – все было хорошо и прочно устроено. Естественно, что для Платонова, которому приходилось каждый день бывать в своей тульской конторе, ничего лучше и представить было нельзя. Ближе и удобнее, чем Прилепы. Я поблагодарил Сушкина, условился с ним о куртаже, и на другой день была назначена моя встреча с Платоновым. Тот принял меня крайне любезно в своем особняке на Скаковой улице – это был дом Смирнова, который Платонов «наследовал» по закладной от своего друга (Смирнов и Платонов одно время были очень большими друзьями, но эта дружба кончилась с разорением Смирнова), и мы в два слова порешили дело. Платонов выразил удовольствие, что среди коннозаводчиков Тульской губернии появится новое имя, и как вице-президент Тульского бегового общества просил меня вступить в члены оногo. Это было очень любезно и мило, и я сердечно благодарил Платонова. Скажу здесь же, что при покупке он оказал мне и материальную услугу, которой, правда, я пользовался

весьма недолгое время. Словом, Платонов сделал меня тульским коннозаводчиком. Мы решили вместе ехать в Тулу в начале марта: спешить было нечего, так как дело находилось в его руках, да и в Туле против него, конечно, никто и никогда не решился бы выступить. Я послал брату Владимиру телеграмму в Одессу, прося его приехать в назначенное время в Тулу, так как сам не хотел иметь дело с нотариусами и, главное, наследниками Добрынина, ибо у них была вторая закладная. Я знал, что брат это легко устроит, так как человек он деловой и коммерческий.

Приближалось время ехать в Тулу смотреть Прилепы, об этом уже знали на бегу и говорили. Большинство меня приветствовало, говоря, что в старом коннозаводском гнезде «и стены помогают». Наконец, мы с Платоновым в сопровождении Сушкина выехали.

Курьерский поезд пришел в Тулу около четырех часов дня, было уже темно, и везде горели фонари. Платонов любезно предложил довезти меня в гостиницу, но я отказался и поехал в гостиничной карете в знаменитую гостиницу Чайкина. И карета, и кучер, и провожатый были точно такие, как в Москве, люди были одеты в русские поддевки, и все напоминало Москву, близость которой чувствовалась во всем. Гостиница Чайкина, лучшая в городе, заслуживает того, чтобы о ней здесь упомянуть. Это было длинное двухэтажное здание, с двумя подъездами, выходящими на главную улицу города – Киевскую, и третьим по Площадной улице. В гостинице Чайкина останавливалось все дворянство Тульской губернии, это было аристократическое заведение. Ресторан занимал большой зал, и там было прокучено немало дворянских денежек. Пообедав и отдохнув, я вышел подышать свежим воздухом и пройтись. Начиная от Кремля и кончая Киевской заставой, шло катанье, между Площадной и Посольской улицами на тротуаре яблоку негде было упасть – так густа была толпа гуляющих.

Тула – город рабочий: ружейный и патронный заводы дают много дела населению, за рекой образовались даже специальные поселки рабочих. Их обитателей называли в городе «зареченскими», «козюками». Они поселились за рекой давно, еще во времена Петра Великого. Молодежь из-за реки составляла главный контингент гуляющих; интеллигентных и интересных лиц было очень мало. Тульская аристократия предпочитала Киевской другие, более спокойные улицы города. Езда шла всюду; тульские охотники выехали себя показать да лошадьми своими хвастнуть. Лучшей парой в городе была пара богатого купца Ермолаева-Зверева. Этот чудака никогда сам не ездил, его кучер выезжал один, а Ермолаев-Зверев в это время ходил по тротуару и любовался своими лошадьми. На паре рыжих лошадей в шорах выезжал другой купец – Салищев. Этот выезд он, как я потом узнал, случайно купил у бывшего тульского губернатора Арцымовича. Салищевы, типичные русские купцы провинциального города, довольно комично выглядели с этим своим европейским выездом. У Платонова была очень хорошая пара вороных жеребцов завода Рымарева, платоновский кучер считался первым в городе и ездил действительно мастерски. Однако «сам» редко ездил с ним, каталась больше его жена. Платонов предпочитал небольшие сани призового типа и правил лично. Надо сказать, что он был первоклассный ездок и никто в городе с ним состязаться не мог. В это время у него ходил очень красивый серый жеребец Кряж (2 минуты 19 секунд) завода Вяземского. Хороши были и другие выезды, но все же больше попадалось одиночек в маленьких санях под личным управлением владельцев – мелких купцов, фабрикантов, кустарей и прочего торгового люда, который находил утеху в резвой езде на рысаках. Тут же по Киевской в самый разгар катанья лихо подлетал на своей паре с отлетом бравый высокий офицер, и нетрудно было догадаться, что это местный полицеймейстер. Несмотря на



запрещение, ездили очень резво, а за Площадной, вверх к Киевской заставе, шли прямо состязания. Хороших лошадей попадалось довольно много, и здесь, на таком гулянии, можно было видеть, насколько русские любят рысаков и резвую езду.

Мой первый тульский вечер прошел в гостях. Я был приглашен к Платоновым, куда, по провинциальной привычке, созвали местную знать и знакомых. Платоновский особняк, некрасивое двухэтажное здание, напоминавшее скорее большой магазин, чем жилой дом, находился на Киевской улице почти против гостиницы Чайкина. Когда я пришел, было уже довольно много народу и почти все охотники оказались в сборе. Дом Платонова меблировали сравнительно недавно. Все было ново, блестело, все было дорого, но безвкусно, аляповато и чересчур уж по-мещански богато. Платоновы были очень богатые люди, первые богачи в городе, но люди малоинтеллигентные – еще их отец торговал за прилавком рыбой. Сам Константин Игнатьевич Платонов был ниже среднего роста, уже с брюшком, блондин с выцветшими волосами и выражением глаз, как у судака, почему и носил прозвище Судак. Жена его с виду типичная купчиха: большого роста, полная, пухлая, дебелая, с пышными волосами и большими синими глазами. Одевалась она ярко, сильно румянилась и так же сильно подводила брови и губы, носила громадные шляпы и такие же бриллианты, правда, не первоклассные, а желтоватой воды, вышедшие из рук второклассных ювелиров. Как ни странно, купчихой она не была, окончила в молодости тульскую гимназию и происходила из бедной дворянской семьи, по всей вероятности, выслужившей дворянство весьма недавно. Как и большинство русских людей, Платоновы были крайне гостеприимны и радушны. Из гостей здесь оказались, конечно, полицеймейстер, кое-кто из родных и человек десять крупнейших местных охотников. Я поразился тому, насколько это были малоинтересные, малоразвитые и даже малокультурные люди. Разговор шел исключительно вокруг местных интересов, местных сплетен и новостей и совершенно не касался общих вопросов. О лошадях также говорили мало, больше интересовались вопросами программы, предстоящими выборами, ссорами и прочим. Это была типичная провинциальная среда, и я понял, что мне здесь делать будет нечего. Впоследствии я убедился, что мои первые тульские впечатления верны и у меня, действительно, мало общего с этим кругом людей. Живя под Тулой, я редко бывал в городе, чаще всего лишь проезжал город не останавливаясь, спешил прямо на вокзал к одному из курьерских поездов. Мне никогда в жизни не приходилось видеть второго подобного города (хотя я русских городов перевидал на своем веку великое множество), где было бы столько сплетен, интриг, грязи, мелких ссор и плутовства. В этом отношении Тулой поставлен несомненный рекорд, недаром же народ сложил про туляков пословицу: «Хорош заяц, да беляк, славный малый, да туляк!»

На следующий день я поехал смотреть Прилепы. Получить хорошую ямскую тройку в Туле было нетрудно. Знаменитый извозпромышленник Лабызов имел свое заведение на Посольской улице, и у него всегда наготове было несколько троек, хорошие сани с теплыми полостями, а для лета – удобные коляски, экипажи и даже кареты. Лошади были ямские, хорошо втянутые, а ямщики отлично знали дороги. От Тулы до Прилеп – семнадцать с половиной верст. Дорога живописная, местность холмистая, местами покрытая мелким лесом и кустарником. Сначала верст семь надо ехать по Воронежскому шоссе, затем проселками. На хорошей зимней дороге ухабов еще не было. Ехалось приятно, стоял яркий, солнечный денек, и я с удовольствием наблюдал, как ямщик ловко управлялся со своим длинным кнутом и, голосом понукая лошадей, давал им верное направление. Ехали тройкой гусем. Эта езда всегда мне доставляла удовольствие.

В полтора часа ямщик довез меня до Прилеп, я и не предполагал, что по летнему пути эта дорога – одна из самых ужасных дорог в России и что осенью добираться до шоссе – сущее мучение. Худшей дороги, чем между Прилепами и Тулой, я думаю, не существовало нигде, и если бы я знал об этом, то, конечно, никогда бы не купил Прилеп. Прилепы еще в давние времена принадлежали князьям Гагариным. Во время крепостного права Прилепами владели Скаржинские, а в начале шестидесятых годов имение было куплено знаменитым тульским богачом купцом Добрыниным, который с 1866 года имел в Прилепах свой известный рысистый завод. Затем имение перешло к его вдове, и она-то прожила и промотала все состояние мужа. По тому же пути пошли и дети, так что к моменту осмотра мною Прилеп Добрынины уже не жили в Туле. Их дело и дома были проданы, оставалось лишь это небольшое имение, обремененное двумя закладными и назначенное в продажу.

В Прилепах меня поразила прежде всего живописная местность и хорошее местоположение усадьбы. Прилепы расположены на горе, с одной стороны окружены яблоневыми садами, а с другой – насаждениями хвойных деревьев, еще дальше и правее, за оврагом, к усадьбе примыкает небольшая запущенная роща из берез, лип и кленов. Дорога к дому идет по спуску между садами. Перед домом – куртины деревьев. Ниже, сейчас же за садом, река Упа и заливные луга. За рекой находился старый добрынинский бег, где когда-то столько рысаков добрынинского завода делали свои первые шаги, в том числе знаменитая Баядерка и известная Эсмеральда – мать Эльборуса (2 минуты 10 секунд!). Словом, все было живописно и красиво, особенно радовали глаз березы, покрытые инеем, чистота и прозрачность воздуха, близость знаменитой Козловой Засеки и, конечно, река. Лучшее время года в Прилепах, как и вообще в этой довольно северной полосе России, зима. Мне суждено было осматривать это имение именно зимой, а потому неудивительно, что я купил Прилепы.

Значительно хуже дело обстояло с постройками: барский дом, одноэтажный, маленький, рассчитанный не для постоянной жизни, а для приездов, был плох. Два новых деревянных флигеля оказались в хорошем виде и еще могли служить – один для приезжающих, а другой для управляющего. Затем большие конюшни, разграбленные внутри, и старый, покосившийся на один бок манеж. Никаких других построек в Прилепах не было. С инвентарем, как живым, так и мертвым, дело обстояло еще хуже: все было продано, ничего не сохранилось. Каким-то чудом в одной из комнат дома уцелел лишь литографированный портрет Александра III в раме, но без стекла, да в чулане стоял стул без одной ножки, имевший в свое время определенное назначение, о котором нетрудно догадаться... Вот все, что осталось от когда-то хорошей обстановки. Походив по усадьбе и поговорив с крестьянами, я решил, что имение надо купить, хотя и ясно видел, что придется вколотить в Прилепы немало денег, прежде чем все это примет надлежащий вид. Однако делать нечего. Нет возможности купить готовое, насиженное коннозаводское гнездо, а тут оно, хоть и полуразрушенное, было налицо, да еще живописная местность и близость Москвы. И я сказал Платонову по возвращении в Тулу, что имение оставляю за собой.

Мой брат Владимир уже приехал из Одессы и на другой же день вступил в официальные переговоры. Как ни странно, все это заняло много времени, посыпались протесты кредиторов, которых оказалось очень много, и на имение наложили арест. Словом, поверенный Платонова нотариус Косяков советовал нам махнуть рукой и, как он говорил, «плюнуть на это дело», ибо волокита затянется на год или два и примирить кредиторов не будет никакой возможности. Мне жаль было оставить Прилепы, и я просил брата решить

вопрос. Брат немедленно ушел с головой в дело, и началось писание докладных записок, посещение старшего нотариуса, переговоры с нотариусом Румянцевым и частным поверенным Кузнецовым, свидания с кредиторами и прочими таинственными личностями. Дело было запутанное и трудное, но на юге брат имел репутацию крупного дельца и, как говорили, еврейские мозги, то есть был мастер придумать и провести самую хитроумную комбинацию. «Надо купить – и купим, – наконец сказал мне Владимир Иванович. – Только завтра выпишу на помощь из Одессы двух ловких ребят: они мне нужны». Я не стал возражать и, так как тяготился всей этой процедурой, просил брата принять от меня полную доверенность и самому закончить дело, а мне позволить уехать. Брат возмутился и сказал, что он делает дело и живет в Туле только ради меня, а если я уеду, он немедля все бросит и тоже уедет домой. Делать было нечего, пришлось остаться. Дня через три после нашего разговора в гостинице появились два новых лица, на которых не без удивления смотрела прислуга. Это оказались евреи Литвак и Хаим Дувидович Чегельницкий, верные «адъютанты» брата Владимира Ивановича в его наиболее серьезных делах комбинативного характера. Я уже писал на страницах этих мемуаров, что мой отец имел пристрастие к евреям, делал с ними большие дела и всегда был окружен почетной еврейской свитой человек в десять. Некоторые остряки на юге смеялись над этим и называли это «кагалом Ивана Ильича». Брат пошел по следам отца, также ценил евреев, как деловых людей, но по масштабу вел дело менее крупное и окружен был не таким блестящим еврейским кольцом, как отец. Отсюда понятно, почему в одно прекрасное утро появились Чегельницкий и Литвак, которые первым делом осведомились у брата, все ли в порядке. Это означало: разрешат ли им жить в Туле – черта оседлости! Литвак был гигант, в плечах косая сажень, какой-то еврейский Голиаф, а Чегельницкий, худой, с тонкими чертами умного лица и длинной, до пояса, седой бородой, напоминал древнего патриарха.

На следующее утро у меня в номере было совещание. Накануне Литвак и Чегельницкий ознакомились с делом, и теперь предстояло вынести решение. Признаться, я не думал, что вся сцена разыграется так интересно, и довольно безучастно сидел у окна, наблюдая уличную жизнь. Брат сел на диван перед столом, а Литвак и Чегельницкий поместились в креслах. Разговор сначала шел довольно тихо, Владимир Иванович излагал положение дела и объяснял, в чем заключалась опасность совершения купчей: можно было потерять деньги и не получить имения. Часто упоминалось имя старшего нотариуса при тульском окружном суде, как сейчас помню его фамилию – Соловьев, и говорилось, что это формалист, капризный и взбалмошный человек. Надо было действовать быстро, чуть ли не в три дня утвердить купчую, и брат сомневался, что это удастся сделать. «У меня идея», – вдруг сказал Литвак и, вскочив, начал горячо излагать свою «идею». Чегельницкий саркастически улыбался и спокойно гладил свою длинную седую бороду. «Идея» Литвака была отвергнута, но он не сдавался и отстаивал, весь красный, свою мысль. Следующая «идея» пришла в голову брату, но и она была отвергнута. Спор пошел горячее и становился все интереснее и интереснее. Литвак то вскакивал с кресла и, весь красный, метался по комнате, то опять садился с такой силой, что кресло под ним трещало. Было видно, что мозг его работает усиленно и создает тысячи комбинаций, которые он тут же излагал, часто сам опровергая: «Нет, я дурак, это глупо». Наконец, брат что-то сказал, и начался общий гвалт. Чегельницкий прямо заявил: «Владимир Иванович, вы – гений». Идея брата была принята, дополнена и уточнена Чегельницким так тонко и ловко, что брат пришел в восторг и начал в свою очередь величать

его «гением». После чего все стали говорить, ходить и уславливаться насчет завтрашнего решительного дня. «Ш-ша, ш-ша, ш-ша», – часто раздавалось в комнате, когда не в меру горячий Литвак, дрожа от делового задора, начинал с яростью чегельничком громко говорить. «Кредиторам ни копейки!» – этот лозунг был брошен Чегельничком и подхвачен остальными. «Кредиторам ни копейки!» – повторяли на все лады увлеченные брат и Литвак и тут же, смеясь, рассказы-вали, как надо поступить с ними...

Эта сцена и сейчас как живая стоит перед моими глазами, и когда я пишу эти строки, то от души смеюсь задору Литвака, гениальной комбинации брата и дьявольской хитрости Чегельничкого.

Кредиторы действительно не получили ни копейки: на следующее утро появился какой-то таинственный Курт Федорович (фамилии его не помню) с доверенностью от Добрыниной на продажу Прилеп, купчая была совершена в конторе нотариуса Румянцева и в три дня утверждена старшим нотариусом Соловьевым. Свои деньги полностью получили Платонов и молодой Добрынин (первая и вторая закладные) и кое-что (остатки) сама Добрынина. Денежки кредиторов плакали, а с Добрыниной искать было нечего, ибо имущества у нее никакого не осталось, а я стал владельцем Прилеп...

После утверждения купчей брат и оба «адъютанта» собрались ехать домой на юг, но прежде чем их отпустить, я устроил им обед в большой зале гостиницы Чайкина. О покупке Прилеп уже все, конечно, знали, и когда в залу вошел я с братом в сопровождении Литвака и Чегельничкого, то это произвело положительный фурор. Было обеденное время, и господа дворяне кушали. Мое появление в таком обществе (не забудьте время и условия жизни), вид Литвака, его костюм (один костюм чего стоил!), вид Чегельничкого и его патриархальное лицо старого раввина привели в негодование не одно спесивое дворянское лицо, а несколько дам сощурились и, презрительно улыбнувшись, вынули свои батистовые платочки из красивых сумочек, как бы говоря: какое неприличие, кого это Бутович привел?

К стыду моему, должен здесь признаться, что мне частенько в жизни пришлось попирать некоторые установленные обычаи и предрассудки нашей среды, и если это сходило с рук, то лишь потому, что нельзя же было не считаться с тем, что я дворянин не от вчерашнего дня, а имею пятьсот лет дворянского достоинства. Как-никак мое имя вошло в историю не только Малороссии, но и России, да и в эту последнюю – в довольно отдаленные времена Ярослава Мудрого, поэтому кое-что мне можно было простить. И прощали...

В Туле до окончательной покупки Прилеп пришлось прожить довольно долго. Естественно, что в это время я преизрядно скучал. Утром гулял или пешком ходил на Киевскую заставу, затем завтракал и до обеда проводил время за чтением. Брат же в это время хлопотал, ездил, суетился и вел дело. Также хлопотали и ездили по делам другие обитатели гостиницы, и лишь к обеду все освобождались и собирались в ресторане. Тут только начиналась настоящая жизнь: разговоры об охоте, собаках, лошадях, женщинах шли без конца. Все между собою были знакомы. Я говорю о дворянстве, так как чиновники не посещали ресторан, а коммивояжеры и случайные приезжие в счет не шли: они держали себя скромно и, пообедав, спешили удалиться. Местное же купечество если же и покупивало, то предпочитало это делать не на глазах, а в отдельных кабинетах. Еще по Москве я знал тульских помещиков Левшина, барона Черкасова, Офросимова и других дворян. Кое-кого я звал и встречал в Питере: Кривцова, князя Гагарина, князя Оболенского, обоих Бобринских, троих Языковых и нескольких других. Те из них, кто были в то время в Туле, и познакомили меня с остальными. Приняли меня крайне радушно, в разговоре со



*Яков Иванович Бутович.  
Журнал «Конский спорт», 18.07.1910 г.*

мной указывалось, что я должен войти в тульскую дворянскую семью, и это было, конечно, большой честью, так как тульское дворянство являлось одним из старейших дворянских обществ в России. Некоторые особенно экзальтированные уже предсказывали мое избрание в ближайшем будущем в тульские уездные предводители дворянства и вообще заходили чересчур далеко в своих предположениях. Я, конечно, благодарил и сказал, что как только поселюсь в Тульской губернии, то возьму свои бумаги из Херсонского депутатского собрания, но держал себя сдержанно и осторожно. Иное поведение было бы нетактичным и неудобным, и я это хорошо понимал. Служба по выборам меня, вообще говоря, никогда не привлекала, и хотя я впоследствии не раз имел возможность быть избранным, но всегда это отклонял и не шел ни на какие выборные должности. Я был занят и увлечен

своим делом и считаю, что, поступая так, я поступил правильно.

Приезжие в гостинице менялись очень часто, так как громадное большинство приезжало из своих деревень по делам и, освободившись и покутив, спешило вернуться по домам. Лишь князь Оболенский и С. Н. Попов весь месяц прожили в Туле, и естественно, что мы виделись иногда по нескольку раз в день. О князе Оболенском я вскоре буду говорить довольно подробно, а о С. Н. Попове хочу сейчас сказать несколько слов, да кстати привести небольшой и довольно невинный эпизод пикантного характера, разыгравшийся почти что в моем присутствии. Попов был сыном известного тульского коннозаводчика Н. Д. Попова, имение которого Узупово находилось в Велевском уезде и было им получено по наследству от известного коннозаводчика Григорова. Когда-то знаменитый григоровский завод совсем растаял в руках Попова-отца, и его сын Сергей Николаевич, поселившись в Ефремовском уезде, завел новый завод, главным образом из заборовских и добрынинских лошадей. Позднее он увлекся метизацией, стал ярым сторонником метиса и взял в свой завод бесклассного жеребца Роз-Паса, сына Пас-Роза, который и дал ему таких же бесклассных лошадей. Лошади его были без вершков, на тонких ножках, но с большими головами и тяжелым туловищем. Я их много перевидел в Тульской губернии, в особенности в этот первый месяц, ибо Попов мне их показывал не только на своей конюшне, но и у других охотников. Все эти Роз-Пасы были безобразны. Лишь двух метисных лошадей высокого класса вывел Попов – это

были Гамлет и Гватимозин. Но они были детьми не Роз-Паса, а другого американского жеребца. Попов был очень образованный человек, по своей профессии – педагог, как это ни странно для дворянина того времени. Он превосходно знал много новейших и несколько мертвых языков, и тульские охотники с гордостью говорили о нем: «Наш генерал говорит на всех языках», делая ударение не на последнем, а на втором слого этого слова. В то время Попов пребывал в чине действительного статского советника, и его все именовали «ваше превосходительство». По избранию дворянства он долгое время служил директором тульской гимназии и пансиона при ней и вышел в отставку лишь год тому назад. Это был очень милый человек, высокого роста, с крупными чертами уже морщинистого лица, очень умный и приятный собеседник. Наши номера оказались рядом, и мы вели с ним бесконечные споры о метизации и вообще о лошадях. Как-то вечером мы условились с ним идти утром следующего дня на реку. Там, ниже моста, у ружейного завода, хотели прикидывать по льду новую лошадь завода Попова, которую он только что продал некоему Щеголькову, одному из совладельцев крупного магазина обуви. Выхожу я в коридор и стучу в дверь генеральского номера; оттуда, как бомба, весь красный, вылетает сам генерал и шепотом, задыхаясь, шепчет мне: «Нельзя, нельзя, подождите!» Затем дверь затворяется, и через несколько минут Попов торжественно, уже успокоившись, выходит ко мне вторично, берет меня за руку, и мы идем вниз, в швейцарскую. По дороге генерал мне рассказывает, смакуя каждое слово: «Представьте себе, какое приключение. Пошел я сегодня утром за свежими булками. Возвращаюсь, вхожу в номер. И что же вижу?! Любовь Ефимовна в одних кальсончиках умывается. Такая была красивая картина, такая соблазнительная, что у меня булки полетели из рук и я напугал Любовь Ефимовну».

О том, что последовало в дальнейшем, он благополучно умалчивал, но и без слов можно было догадаться, что на генерала напал любовный стих, что с ним, по слухам, весьма редко случалось. Я от души его поздравил, на что он сначала не знал – рассердиться ему или же рассмеяться, но затем предпочел последнее. Попов был очень умный и образованный человек и говорил, по словам туляков, «на всех языках», но в женщинах разбирался, по-видимому, плохо. Его Любовь Ефимовна была некрасивой, обрюзглой особой, с неприятным голосом и вечной папиросой во рту. Много лет тому назад почтенный генерал познакомился с ней в некоем пансионе, где о древних языках не имели никакого представления, и, к ужасу отца-предводителя и брата, извлек ее оттуда, а затем и женился на ней...

Из Тулы я вернулся в Москву и вызвал туда с Конского Хутора Ситникова. Прежде всего для того, чтобы он познакомился с Прилепами, а затем пожил в Москве и завел бы кое-какие связи, которые ему были нужны как будущему управляющему Прилеп. Ситников имел распоряжение остановиться в Туле и осмотреть вновь купленное имение. Когда он приехал в Москву, он был в курсе буквально всего. Прежде всего он меня расстроил сообщением, что на колесах в Прилепы ужасная дорога; затем его не удовлетворило расположение земли и чересполосица одного клина и, конечно, в ужас привели постройки. Словом, он был очень расстроен и боялся тех расходов, которые предстояло сделать. После его доклада мой пыл значительно спал, но дело было сделано.

В этот свой приезд Ситников сумел завязать отношения с Синегубкиным, что впоследствии сыграло весьма значительную роль как в прославлении прилепского молодняка, так и при продажах, так как среди наездников Синегубкин и Ляпунов были самыми крупными покупателями и дороже их за молодых лошадей никто не платил. Завод, а также обстановку дома и весь инвентарь мы с Ситниковым решили эвакуировать из Херсонской губернии в Тульскую в мае, с

тем расчетом, чтобы к моему приезду в начале июня в доме все было уже устроено. Ситников все выполнил в точности: в мае перевез весь завод, и очень удачно, без единой потери. Когда я приехал в начале мая в Прилепы, в доме все было уже убрано, приведено в порядок и по возможности расставлено так, как в Херсонском имении. Не было лишь моего старика-повара, который не захотел покинуть родину, и на кухне «оперировала» Лыкова, жена обер-кондуктора курьерских поездов Николаевской дороги, гостившая в это время в Прилепах и изъявившая согласие временно готовить новому барину. Она гордо заявила, что умеет приготовить «все что угодно». Я и сейчас еще вспоминаю ее кухню... не иначе, как с отвращением...

Итак, в июне 1909 года я окончательно поселился в Прилепах, где живу и сейчас, правда, теперь в другой обстановке и в качестве не хозяина, а лишь управляющего, но по теперешним временам и этому будешь рад.

Поселившемуся в деревне новому дворянину надлежало, по традиции, незамедлительно сделать три визита в губернском городе, а именно к архиерею, губернскому предводителю дворянства и губернатору. Я поехал в Тулу и первым своим долгом почел сделать визит преосвященному Парфению, епископу Тульскому и Белевскому. Он постоянно проживал в архиерейском доме. Это было целое владение с церковью, большим садом, оранжереями и прочими постройками. Дом, красивый, старинный, в духе елизаветинского времени, был интересен не только снаружи, но и внутри. Меня провели наверх, в архиерейские покои. Мягко ступавший келейник сообщил, что преосвященный сейчас выйдут. Я оглянулся кругом: в гостиной пахло ладаном, горели лампы перед большими образами, на столах были книги духовно-религиозного содержания и на стенах несколько портретов духовных лиц в архиерейском сане, очевидно, портреты бывших тульских епископов. Чистота везде образцовая, и паркет блестел, как зеркало. Соседняя дверь бесшумно отворилась, и в сопровождении высокого, худого священника вышел ко мне преосвященный. На нем был черный клобук и такая же ряса; в руках четки и на груди панагия, осыпанная кругом довольно крупными бриллиантами. Войдя, преосвященный Парфений поклонился мне, потом, благословив, отпустил священника и только после этого протянул мне руку, которую я поцеловал, прося благословения. Это был мужчина среднего роста, плотный, с седеющей черной бородой, довольно сурового вида и весьма медлительный и торжественно-важный в своих движениях. Он уже знал мою фамилию, и разговор прямо начался о южных знакомых. Парфений был уроженцем Малороссии, молодость провел в Лубенском монастыре, очень интересовался историей Малороссии и долго был викарным архиереем в Полтавской епархии. Он очень любил родину, и в его словах проскальзывал тот малороссийский шовинизм, который был мне всегда так чужд. Ко мне, как представителю одной из древнейших малороссийских фамилий, он отнесся особенно тепло и с большим уважением. Мы проговорили с ним минут пятнадцать, после чего он первый встал, провел меня в соседнюю комнату, небольшую молельню, стал перед образами, помолился и затем, благословив меня, пожелал мне полного успеха в моей деятельности. Во время молитвы вид у него был необыкновенно торжественный и даже вдохновенный. Я был тронут и растроган до глубины души.

От преосвященного я отправился к губернскому предводителю. В Туле в то время предводительствовал Рафаил Дмитриевич Еропкин. Я делал ему официальный визит, а потому поехал прямо в Дворянское собрание. Здесь также все было чинно и торжественно, но, конечно, в другом роде. Еропкин принял меня немедленно. Он находился в малом зале заседаний, перед ним стояло два секретаря и шел очередной доклад. На Еропкине был форменный сюртук, на шее

– Владимирский крест, и он напоминал скорее важного петербургского сановника, нежели губернского предводителя дворянства. Он восседал на высоком стуле, сиденье которого было обито алым бархатом и на спинке красовался герб Тульской губернии. По бокам стола, покрытого красной скатертью с золотыми кистями, стояли такие же стулья, но несколько меньшего размера, с гербами уездов на каждом из них – для уездных предводителей.

Еропкин встал, отпустил секретарей и предложил мне сесть. Он был высокого роста, тонкий, красивый и породный. Говорили, что он не отличается большим умом, и это, пожалуй, верно, но такт, природное чутье, благородство и знание света так удачно это маскировали, что он производил на многих большое впечатление. Мы беседовали с ним всего лишь несколько минут; я видел, что он очень занят, и хотел встать, однако он не отпустил меня, пока не показал парадные комнаты тульского губернского Дворянского собрания. Танцевальный зал, приемные, гостиные, зал собраний, столовая, кабинет предводителя – все было роскошно убрано и великолепно устроено. Масса старинных вещей, первоклассной и притом настоящей мебели, стекла, посуды, фарфора и люстр. Много больших, в рост, царских портретов и портретов бывших губернских предводителей. Попав в эту обстановку, человек, даже чуждый нашим традициям, не мог не почувствовать их красоты. Здесь ощущалась мощь сословия, его прежнее величие, и трудно было представить, что через какие-нибудь пятнадцать лет все это погибнет и канет в Лету. Еропкин спросил меня, предполагаю ли я войти в состав тульского дворянства, на что я ответил, что сочту это за особую честь, если получу на то его предварительное согласие. Еропкин просил меня подать заявление, которое тут же и было написано в его кабинете. Ровно через неделю мое заявление было рассмотрено в заседании предводителей под председательством самого Еропкина, и я стал дворянином не только Херсонской и Полтавской губерний, как мой отец, но и дворянином Тульской губернии.

Еропкин был ставленником молодой дворянской партии, в его лице сословие возглавил дворянин-бюрократ. Отошел в предание, по крайней мере для Тульской губернии, предводитель-хлебосол из тех, кто так ярко воспет Терпигоревым, Тургеневым и другими певцами дворянских гнезд. Старики-дворяне недолюбливали Еропкина. Им все хотелось второго Свечина – балы, концерты, обеды для всей губернии и прочее. Однако времена изменились, и такой предводитель был уже невозможен. Новое время выдвинуло новые условия жизни, а с ними новых людей – это хорошо поняла молодая дворянская партия и правильно поступила, выдвинув и проведя в губернские предводители Еропкина. Еропкин любил лошадей и имел небольшой завод в Тамбовской губернии. На этой почве мы с ним сошлись, если не сошлись, то ближе познакомились. Обыкновенно губернский предводитель отдавал визит дворянину в тот же день, редко на другой, заезжая в гостиницу. Молодежи просто посылалась с дежурным визитная карточка. Лишь к особо влиятельным и старым дворянам Еропкин ездил в имение; это исключение было сделано и для меня, так как Еропкину хотелось попутно посмотреть мой завод. В то время приезд губернского предводителя считался целым событием для уезда; окружные дворяне обязательно приглашались хозяином дома, куда ехал дворянский предводитель; наконец, уездные власти – исправник, становой, урядники и стражники – приходили в движение и наводили по пути следования порядок. Значение губернского предводителя в таких губерниях, как Тульская, где дворянство пользовалось особым влиянием и имело большой вес при дворе и в высших бюрократических сферах Петербурга, было чрезвычайно велико. Предводитель значил больше, чем губернатор, и последний нередко, не поладив с главою



дворянства, немедля отзывался в другую губернию или даже уходил в отставку.

Губернатора я не застал дома и оставил ему свою карточку. Губернией в то время управлял господин Кобеко.

Освоившись в своем новом имени, я должен был взяться за работу, а также наладить все в доме. Это было не так-то легко, ведь вопрос с прислужгой всегда в России стоял довольно остро: трудно было подыскать подходящих честных и вполне знающих свое дело людей, а если таковые находились, то неохотно шли в деревню. Мой камердинер Густав Герштеттер, выросший в доме Кожина, к тому времени женился, отошел от меня и открыл свое небольшое дело в Липецке. Мне очень посчастливилось с его заместителем, и в лице Никиты Никаноровича я нашел верного и преданного человека; он прослужил у меня двадцать с лишним лет и здравствует еще и поныне, служа в Прилепах в должности ночного сторожа при маточной конюшне. Труднее обстоял вопрос с поваром: его не так-то легко было найти. Вся наша семья была очень избалована по части стола: у отца служили всегда первоклассные повара-французы, а потом знаменитый Мирон Павлович. В течение лета мне пришлось переменить несколько поваров, пока мой приятель Путилов не прислал мне Ивана Андреевича, выученика рязанского губернского предводителя Драшусова, замечательного повара и превосходного по характеру человека. Он прослужил у меня лет шесть и затем, скопив деньжонок, купил в Скопинском уезде Рязанской губернии небольшой участок земли с яблоневым садом. После него поваром у меня был ставленник светлейшего князя Лопухина-Демидова. С князем я был в хороших отношениях и, бывая в Петербурге, часто у него обедал. Лопухин-Демидов, владелец знаменитого майоратного имения Корсунь (Киевская губерния), имел изысканный стол и слыл одним из первых гастрономов Петербурга. Его обеды, всегда с ограниченным числом приглашенных, славились в столице и действительно являлись верхом совершенства. Его ставленник быстро приобрел репутацию не только в Тульской губернии, но и за ее пределами. Он прослужил у меня до самой Октябрьской революции и, когда уже оставаться было совершенно невозможно, уехал на родину в Петербург. Всем был хорош этот повар, но очень дорог.

В то время как я был занят в доме, управляющий Ситников проявлял самую кипучую деятельность по организации хозяйства. Запущенные поля приводились в порядок; рабочие, дворня и староста были организованы, и каждый делал свое дело. Главное внимание Ситников обращал на восстановление построек, в первую очередь конюшен. Были приглашены лучшие подрядчики Тулы: Лазеев, Морозов и другие. Работа кипела вовсю, и большие артели каменщиков, плотников, маляров и прочего мастерового люда наполнили усадьбу. Окружные крестьяне подвозили лес, известь, кирпич и камень. Деньги сыпались, как из мешка, и, когда я подписывал чеки, Ситников только отирал свою лысину носовым платком и приходил в ужас от этих расходов. Он боялся за мой карман, но я был совершенно спокоен: хотя я и привык тратить деньги, но умел все же их и зарабатывать. Что же касается размаха, который первое время так пугал Ситникова, то я всегда и во всех делах отличался широким размахом и большой смелостью – пожалуй, им я главным образом обязан тем, что кое-что сделал как в заводе, так и по части картинной галереи, равной которой нет не только в Европе, но и, пожалуй, нигде.

Как ни велики были затраты на все ремонты 1909 года, но это были лишь ремонты, а я уже намечал на будущее строительную программу новых конюшен, служб, амбаров, мастерских, каретного сарая, электрической станции, водопровода, канализации и, наконец, большого дома, специально приспособленного для картинной галереи. От этих планов у Ситникова кружилась голова, и

он со страхом смотрел на меня; соседи ждали моего разорения с часа на час, а наш земский начальник фон Зиссерман говорил Ситникову, что у меня все построено на песке и в один прекрасный день рухнет, как карточный домик. Беспокойство охватило и моих родных, но я ни на что не обращал внимания и шел к намеченной цели. В эти же первые годы я много покупал лошадей, и расходы в общей сложности оказались очень велики. Деньги добывались всеми путями: учеты векселей, закладные, доходные статьи, продажа 1500 десятин земли в Херсонской губернии, небольшое наследство сестры, полученное в это время, – все пошло в Прилепы, все пригодилось, все обернулось положительными результатами. План постройки Прилеп был осуществлен полностью, и я не только не разорился, но к началу революции утроил свое состояние, погасил закладную, оплатил все векселя и имел уже свободные деньги. Мои продажи лошадей, равно как и мои покупки, стали в коннозаводских кругах историческими: дважды Никита Понизовский, приехав в Прилепы, подписывал чек на 60 тысяч рублей, мои аукционы в Москве выручали ежегодно от 35 до 40 тысяч, много раз я продавал отдельных лошадей по 10 тысяч рублей. Итак, я не разорился, а утроил свое состояние и создал орловский завод, который по выигрышу рождавшихся в нем лошадей стоял в первых рядах среди 2000 заводов России. Все те, кто каркал о моем разорении, умолкли и с завистью смотрели на мое обогащение и возмраставшую славу моего завода! А давно ли земский начальник, да и другие, видя постройку грандиозного дома, твердили, что это моя последняя затея, последняя ошибка, которая сведет меня в могилу. Яньков с сочувствием и соболезнованием говорил – не мне, конечно, а моему приятелю Кнопу: «Не выдержит, погибнет! То есть он уже умер. Но еще не похоронен!» При постройке дома была допущена ошибка, но заключалась она не в том, в чем видели ее Яньков и другие; я рассчитал галерею на 1500 картин, а их у меня сейчас свыше 2000! Надо было сразу строить дом и галерею на 3000 картин.



*На аукционе рысистых лошадей завода Я. И. Бутовича.  
Журнал «Русский спорт», июнь 1914 г.*

Когда в доме все было налажено, предстояло подумать и о визитах к соседям. Меня ждали с нетерпением, которое плохо скрывалось, особенно дамами и молодежью.

Я начал визитировать с Офросимовых. Офросимовы жили в Солосовке, в верстах шести-семи от Прилеп. Солосовка – небольшое и крайне живописное имение на Упе. Большой деревянный дом, сравнительно недавней постройки, хороший и вместительный; все же остальные постройки, кроме манежа, были крайне просты и убоги: каменные, сложенные на глине, с железными крышами, окрашенными сажей, с самой дешевой отделкой внутри. Жил А. П. Офросимов с женой Анной Михайловной, урожденной Римской-Корсаковой. Их единственный сын был женат на Араповой и в то время состоял в чине подполковника, служа в лейб-гвардии Гусарском полку. Свои отпуска он обыкновенно проводил в Пензенской губернии, в имении жены, где держал большую охоту. В Солосовке почти никогда не бывал. В мое время старики Офросимовы жили скромно, одиноко, но раньше в своем большом доме они много принимали, и по воскресеньям туда съезжалась вся Тула. У Офросимова было от отца очень большое состояние, затем он получил наследство от дяди, М. А. Офросимова, который когда-то был московским генерал-губернатором. Все это состояние было прожито Офросимовым на цыган, кутежи, лошадей и собак. Причем замечательно то, что А. П. Офросимов никогда не имел ни хороших лошадей, ни хороших собак. Как он умудрился прожить все и куда девал деньги, просто непостижимо! К старости у него оставалось лишь имение Гранки в 3000 десятин земли в Епифанском уезде, заложенное и перезаложенное, да маленькая бездорожная Солосовка. Сам Офросимов был очень недалекий человек с большими странностями и порядочный самодур. Однако при всем том высокопорядочный и очень добрый человек. Он прекрасно пел цыганские романсы и сам себе аккомпанировал; несмотря на почтенные годы, его все называли не иначе как Сашет Офросимов, чем он был очень доволен и молодился. Одно время он был епифанским уездным предводителем дворянства, но не дослужил своего трех-



*Группа тульских коннозаводчиков: Г. Г. Апасов, А. П. Офросимов, Я. И. Бутович, гр. А. Л. Толстой и Лесковский. Журнал «Русский спорт», 01.06.1914 г.*

летия, так как подобно другому предводителю, белевскому Черкасову, наделал много невообразимых глупостей. О его коннозаводской деятельности я буду говорить особо, а теперь замечу, что сам он до страсти боялся лошадей и всегда ездил на паре старых кляч собственного завода, беспреестанно покрикивая на кучера, чтобы тот ехал тише и осторожнее. Это, впрочем, выглядело совершенно бессмысленно: бедные клячи и без того едва передвигали ноги.

Его супруга Анна Михайловна была очень милой женщиной, простой и умной. Беговые дамы считали ее очень гордой и прозвали Anne d'Autriche. Она нисколько не была горда, но держала себя с достоинством, с беговыми дамами не сблизилась. Это неудивительно и понятно: на бегу большинство дам было либо из полусвета, либо прямо от «Яра», либо, наконец, не венчаны со своими мужьями. Естественно, что Анна Михайловна, выросшая и воспитанная в других традициях, не находила никакого удовольствия от такого общества.

Я частенько бывал у Офросимовых. Александр Павлович, несмотря на то, что много видел на своем веку, никогда ни о чем толком рассказать не мог, то и дело в разговоре приговаривая «вот и вот». Это у него настолько вошло в привычку, что его иногда шутя называли «Вот и вот». Платонов даже назвал так одного из сыновей американского жеребца К. Бекона, и жеребец Вот и Вот оказался очень резвой лошадей. Здесь будет интересно сообщить, что когда у меня в заводе Офросимов впервые увидел Недотрога, то он от него пришел в восторг, сказав, что тот как две капли воды похож на Залетного. Офросимов очень увлекался добрынинскими лошадейми и очень ценил Залетного. Должно также отметить, что другой тульский коннозаводчик, А. Н. Кривцов, катаясь со мною в шарабане по бегу на Недотроге, говорил мне то же. Удивительно, что Недотрог так походил на Залетного, ибо в происхождении между ними ничего общего, разве лишь Сметанка да Барс – родоначальник, от которого, впрочем, происходили решительно все орловские рысаки!

Между Солосовкой и Прилепами лежит село Лабынское, там когда-то находился знаменитый чистокровный завод П. Н. Мяснова. После смерти Мяснова Лабынки переходили из рук в руки и наконец были куплены четой Фигнер (известные в свое время солисты Его Величества и популярные артисты нашей оперы). Когда я узнал, что Лабынки лежат так близко от Прилеп, то поспешил съездить туда, дабы осмотреть это историческое коннозаводское гнездо. Фигнеры были еще в Петербурге (они проводили в деревне не более двух месяцев), и потому я мог свободно осмотреть все, что меня интересовало. От мясновских времен остался лишь один парк с прудами, столетними липами и дубами – замечательно красивый и живописный, да здание скотного двора – двухэтажная, капитальной кирпичной кладки постройка в английском стиле, выдержанная в своем ансамбле и без всяких отечественных прикрас и причуд. Существование такой интересной в архитектурном отношении постройки именно в Лабынках вполне понятно, так как Мяснов был ярым англоманом. Тогда же в Лабынках я разыскал одного древнего старика, которого все звали Дорофеичем, и он мне показал, где у Мяснова были конюшни и скаковой круг. Он это знал от отца, который был в мальчиках при лошадях Мяснова, то есть жокеем. Тот же Дорофеич уверял меня со слов отца, что круг посыпали мелкими жжеными пробками, но я оставляю это сообщение на его совести – вероятнее всего, здесь старику изменила память. Очень явственно и хорошо он помнил рассказ о том, как выбирали мальчиков для конюшен, как их испытывали и потом тренировали. Эти воспоминания, несомненно, верны, так как они затрагивали интересы деревни – это был своего рода принудительный набор среди крепостных. В Лабынках мне не удалось разыскать каких-либо бумаг или же других исторических материалов времен Мяснова, о чем очень сожалею, так как сам

Мяснов – выдающаяся и весьма интересная личность. Он был одним из десяти учредителей первого в России скакового и бегового общества, а именно Лебединского, и первым секретарем этого общества. Его перу принадлежало несколько интересных сочинений, среди которых книжка «Опыт теории коннозаводства. Сочинение П. Мяснова. С-Пб. 1845 г.» представляет некоторый интерес и сейчас.

Вторично я был в Лабынках уже тогда, когда m-те Фигнер приехала на лето из Петербурга в свою деревню. Она уже не жила с мужем. И ее сопровождали две дочери и два сына. Насколько была красива и интересна сама Медея Ивановна, настолько же были некрасивы и неинтересны ее дети. Фигнер была очень милая, обворожительная женщина, и проводить время в ее обществе было большим удовольствием. При ней лабынская усадьба содержалась в образцовом порядке: в парке все было подметено, дорожки расчищены, кусты стрижены и красивые цветники хорошо устроены. В парке имелись большой грот и туннель, на стенках которого сохранились автографы многих интересных лиц, посещавших Лабынки. Достопримечательностью парка был более чем столетний дуб, который рос в специально вырытой для него грандиозной воронке, так что его верхушка совпадала с уровнем земли. К подножью дуба по воронке вела витая дорожка. По преданию, дуб этот был посажен пленным французом в 1812 году. Дом в Лабынках был также очень красив: большое здание, выстроенное по проекту и под личным наблюдением известного архитектора Султанова, немало потрудившегося над созданием и улучшением русского стиля. Дом был деревянный, с балкончиками, теремами, лестничками, наличниками в виде петушков, коньков и т. п. Я никогда не любил этот стиль, но должен признаться, что из всех зданий подобного рода, которые мне пришлось видеть, фигнеровский дом был лучшим и наиболее интересным: он производил цельное впечатление и в деталях был обработан мастерски. Этот дом обошелся Фигнеру около 200 тысяч рублей. Внутри все было так же роскошно и хорошо, много подарков высочайших особ, особенно Александра III, который очень любил чету Фигнер. Наверху имелась комната, где стоял рояль и где Чайковский написал два последних акта одной из своих знаменитых опер (к сожалению, не помню, какой именно). Тут же висело несколько портретов композитора, лежали ноты и, в отдельной папке, фрагменты партитур с его карандашными пометками. Я всего лишь два раза был у М. И. Фигнер: уже в следующем году приезжали лишь дети с гувернанткой, а Медея Ивановна проводила лето где-то в Италии в обществе богача П. И. Харитоненко, который, по слухам, ею увлекался давно. Лабынский дом сгорел во время войны: к тому времени Фигнер решила продать имение, но когда об этом узнали крестьяне, они ночью подожгли дом, дабы Медь Ивановна, как они ее называли, поскорее выполнила свое намерение и не имела бы возможности приехать в Лабынки и передумать. Главными покупателями имения выступали лабынские крестьяне, но когда Фигнер узнала об их проделке, то поклялась Лабынки им не продавать. Тогда я повел переговоры о покупке имения, где хотел содержать ставочных жеребцов, и, если б не революция, оно было бы, конечно, куплено мною.

По Воронежскому шоссе на десятой версте от Тулы, на низком месте у самого берега реки Упы, лежит старинная усадьба господ Языковых. Старый высокий каменный дом, еще принимавший в своих стенах екатерининских орлов, хорошо виден всем, кто едет по большаку из Богородицка в Тулу. Все в этом доме возвращает нас к давним временам и напоминает о прошлом: и его архитектура, и толстые, как у крепости, стены, и незатейливая мебель из красного дерева, ясеня и русской березы, работы крепостных людей, и, наконец,

небольшие стрельчатые окна, разные каморки, закуты, решетки и кладовые нижнего этажа. Кругом дома все запущено. Уныло и сурово глядят конюшни и амбары – сверстники старого дома – и будто удивляются и не понимают, что происходит кругом. А кругом разросся парк со своими столетними липовыми аллеями, березовыми куртинами, искусственными курганами, прудами, поросшими молодым камышом. Дивно хорошо в этом запущенном парке, особенно осенью, когда уже чувствуется приближение зимы и умирающая природа спешит упиться последними лучами солнца. В парке тихо и темно; лишь изредка яркий луч солнца проникнет в аллею и бросит свое отражение на уже пожелтевшую зелень или кучу увядшей листвы. Эта заброшенная, поэтичная усадьба Языковых вот уже много лет как не живет полной жизнью, а лишь тихо дремлет. Только на месяц или два в году туда приезжают из Петербурга старая хозяйка да ее сын, молодой и страстный охотник. Но и при них в Сергиевском так же тихо и спокойно: не съезжаются гости, не звенят бубенцы троек, не слышно людского говора и не спуют рабочие и дворовые; хозяйство здесь не ведется вовсе: все сдано крестьянам в аренду. И неотразимое впечатление покоя и тишины производит эта запущенная усадьба...

Семья Языковых состояла из Софьи Александровны, похоронившей мужа уже давно, двух дочерей и двух сыновей; дочери не жили с матерью и были давно замужем, старшая – за Крупенским, а младшая – за Княжевичем. Старший сын, Василий Александрович, был холост и служил в Петербурге мировым судьей, а младший, Петр, был вторым секретарем посольства в Берлине и почти никогда не приезжал в Сергиевское. Зато его брат месяца полтора, а иногда и два жил в деревне, занимаясь исключительно охотой. Нередко, возвращаясь с охоты, он заезжал ко мне в Прилепы выкурить сигарку и поболтать. Это был милый, воспитанный и образованный человек. С. А. Языкова ни у кого не бывала и отдыхала в деревне; почти ежедневно у нее бывали Офросимовы, так как с этой семьей они состояли в близком родстве.

Неподалеку от Сергиевского, ближе к Туле, лежало имение Топтыково, принадлежавшее графу А. Л. Толстому – одному из пяти сыновей Льва Николаевича. Я не стану описывать графа Андрея: о самом Льве Николаевиче и его семье писали так много, что я решительно ничего не могу сообщить в дополнение к уже написанному. Ограничусь поэтому двумя-тремя личными впечатлениями. Топтыково отстроено А. Л. Толстым; там было довольно уютно, но неприятно поражаало желание блеснуть и представить все в несколько напыщенном свете. Сам хозяин был женат на г-же Арцымович, которую он похитил у мужа, бывшего тульским губернатором. Эта история наделала много шума. Г-жа Арцымович была милая женщина, вероятно, в душе сильно раскаивалась в своем поступке. Момент увлечения прошел, и Андрей Толстой предстал перед ней таким, каким он был в действительности: кутилой, мотом и довольно грубым человеком. Трудно читать в чужой душе, но мне кажется, что я верно прочел мысли и чувства графини, которая не была счастлива со своим новым мужем... Толстой любил лошадей, но не настоящей, а тщеславной любовью. У Офросимова – завод, у Бутовича – завод, у Кулешова – завод, как же было не завести завод графу Толстому?! И он его завел, потом продал, а затем, под впечатлением прилепских успехов, вторично завел, на этот раз купив у меня вороного жеребца Самолета от Мага и Скалы. Я хочу сказать здесь несколько слов об этом единственном сыне Скалы, родившемся в моем заводе.

Скала была одной из самых выдающихся орловских кобыл и поставила четырехлетний рекорд 2 минуты 20,5 секунды. Я приобрел ее в составе знаменитого Лопандинского завода. На своем веку она дала лишь двух жеребят – одного у своего прежнего владельца и другого, Самолета, у меня. Жеребен-

ком Самолет был очень хорош и подавал большие надежды, но поломал ногу и навсегда погиб для беговой карьеры. Нога срослась, и он поступил в завод Толстого. Я его продал, что называется, «по охоте», не дороже 900 рублей. Уже во время революции я видел от него очень резвую лошадь, и при нормальных условиях от Самолета были бы призовые дети. Помимо Самолета Толстой купил у меня несколько кобыл, из них одна, Хартия, ушла жеребой от известного Смелычака. Она принесла Толстому превосходного жеребенка, которого он назвал Холстомером. Этот Холстомер потом недурно бежал в Санкт-Петербурге. Когда министром внутренних дел был назначен Маклаков, то некоторые тульские дворяне, к чести сказать, немногие, поспешили получить хорошие места. Дело в том, что Маклаков был женат на княжне Оболенской, а мужем ее сестры был наш крапивинский предводитель, милейший Долин-Иванский – отсюда легкая возможность хорошо пристроиться. Андрей Толстой вдруг почувствовал рвение к службе, продал немедля завод, сдал именьице в аренду и переехал в Петербург, где получил хорошее место. Таким образом, и свой второй завод Толстой вел очень недолго... Перед отъездом в Петербург он заехал ко мне проститься. Было уже поздно, и он остался на ужин. В Прилепах в это время никого, кроме меня и известного художника-баталиста профессора Самокиша, не было. Толстой любил выпить, Самокиш тоже, а потому ужин протекал очень шумно. Самокиш был превосходным рассказчиком и очень нас смешил. В конце ужина вдруг Андрей Толстой обратился к нам с вопросом: «Скажите, пожалуйста, какое лучшее произведение Льва Николаевича Толстого?» Это было сказано настолько неожиданно, что мы с Самокишем пришли в недоумение и переглянулись. Затем Самокиш расхохотался от всей души, а Андрей Толстой торжествовал произведенным впечатлением и гордо молчал! Наконец Самокиш, придя в себя, сказал: «Конечно, «Война и мир». Я с этим не согласился, считая лучшим произведением Толстого «Холстомера». Граф Андрей Львович презрительно улыбнулся и затем изрек: «Ничего подобного. Лучшее произведение Льва Николаевича Толстого, конечно, Андрей Львович Толстой!» Самокиш пришел в неопишуемый восторг и покатился со смеху, а я только и мог, что сказать: «Однако, милый граф!»

Между языковской усадьбой и Прилепами были расположены два небольших имения: одно – господина Линка, другое – фон Зиссермана. Рядом с имением Зиссермана находилась еще усадьба купца Лагунова, где почти не было земли.

У Линка были 150 десятин и превосходный фруктовый сад при сельце Брыкове. Никто не знал, откуда Линк приехал (лет двадцать тому назад) и чем раньше занимался; он ни у кого не бывал, и у него также никто не бывал; вел он образ жизни чрезвычайно замкнутый и целый день проводил в саду. Собственно, я не должен был делать ему визита, так как он не входил в наше общество, но, возвращаясь от Языковых, решил заехать к нему посмотреть сад да кстати с ним познакомиться. Линк был небольшого роста, сухой старичок, очень подвижный и живой. Появление гостя в его доме переполошило всех и вся. Здесь не привыкли к гостям. Наконец вышел хозяин, рассыпался в любезностях и поспешил мне предложить закусить. Я категорически отказался и в свою очередь попросил его показать сад. Линк сейчас же оживился. Сад, действительно образцовый, содержался в удивительном порядке: он разделялся на два сада – старый и новый. Старый сад был куплен, а новый насажен уже самим Линком. Особенно замечательным оказался именно новый сад, где были учтены все последние данные садовой или, как он говорил, плодовой науки. Старый сад был хорош; с моей, то есть поэтической точки зрения, он был красивее и интереснее нового, но, когда я сказал это Линку, он пришел в ужас от такой ереси. Я с большой охотой слушал объяснения Линка: он не только страстно любил

свое дело, но и знал его, а ведь в этом залог успеха всякого предприятия. Линк разводил фрукты огромных размеров, вкусные и красивые. Сад приносил ему очень большой доход, и только этим он и жил. Сад сдавался в аренду ежегодно, а не «на года», как почти все другие помещичьи сады, и цена зависела от урожая. Этот сад мелким тульским садоводам был не по плечу, и обыкновенно сымался кем-либо из крупных московских перекупщиков. Линк, очень милый человек, чрезвычайно скромный и застенчивый, впоследствии сошелся с моим управляющим Ситниковым и часто у него бывал. Ко мне он иногда вечером заходил посидеть, и то лишь в тех случаях, когда знал, что я один и в доме нет гостей.

Почти рядом с усадьбой Линка располагалось небольшое имение Зиссермана, нашего земского начальника, того самого, который все предрекал мое разорение и говорил, что я строю свое дело на зыбучем песке. Его усадьба была типичной для помещика нашего района: небольшой дом с балконом, скромные постройки, палисадник и небольшой фруктовый сад на 700–800 корней. Это имение купил отец Зиссермана, и оно по наследству перешло к его сыну. Старик Зиссерман всю жизнь прослужил на Кавказе в линейных войсках и в чине подполковника вышел в отставку. Зиссерман-сын не пользовался любовью окружающих и не имел никакого влияния в уезде, не говоря уже о губернии. Это был красивый молодой человек, всегда корректно одетый, сдержанный и сухой. Во время войны он получил хорошее место в одном из петербургских банков и, сдав свое имение в аренду, переехал в столицу. Я слышал, что после Октября он уехал с семьей на Кавказ и там умер в большой нужде.

Через дорогу от зиссермановских владений находилась усадьба купца Лагунова. Когда-то она принадлежала блестящему князю Сонцову-Засекину, едва ли не последнему представителю этого знатного рода. И Брыково Линка, и зиссермановское имение, и половина фигнеровской земли когда-то были хуторами князя, и жизнь в княжеской усадьбе при селе Лутовинове текла широко и привольно. От всего этого достатка к Лагунову перешла лишь главная усадьба да десятин сто мелкого вырубленного леса. Усадьба была очень хороша: там стоял красивый и поместительный деревянный дом, флигеля службы. Все вместе взятое составляло красивый архитектурный ансамбль. Но что было замечательно, так это парк. Самый большой в уезде и, пожалуй, самый красивый. Много лип, дубы, ясени, клены, голубые сосны и другие деревья, которые то расходились радиусом, то шли аллеями вперед, вытянутые, как по линейке, далеко-далеко, сколько видел глаз. Гулять в этом парке было истинным наслаждением, и я иногда, едучи из Тулы в Прилепы, останавливался в Лутовинове. За парком сейчас же начинался фруктовый сад, тоже один из самых больших в губернии. Лагунов жил во флигеле, очень скромно, а дом стоял пустой, и мебели в нем не было никакой, так как ее давно продали московским антикварам. Во всей усадьбе всего-то и была что одна лошадь, тележка да бочка для воды. Хозяин усадьбы зиму жил в Москве и на лето приезжал в Лутовиново, которое давно продавал, но не находил покупателя, так как при этой большой усадьбе, кроме парка и вырубленного леса, земли не было.

Здесь я вынужден несколько забежать вперед и, дабы больше не возвращаться к Лутовинову, рассказать, как Лагунов обманул доверчивого знаменитого художника Маковского и как Маковский со всей семьей прожил одно лето в Лутовинове.

Приблизительно за год до войны, читая как-то «Новое время», я случайно наткнулся на объявление, что, мол, в Тульской губернии, в десяти верстах от Тулы, сдается на лето бывшая усадьба князя Сонцова-Засекина с великолеп-



ным парком и домом. Потом следовало описание дома с розовой гостиной, белым колонным залом, синим кабинетом и прочим. Тут же упоминаясь, что можно иметь по недорогой цене все продукты и лошадей, затем сообщался московский адрес хозяина и указывалась арендная цена. Я от души расхохотался этому трюку и подумал, удастся ли Лагунову поймать кого-либо на удочку? Объявление было очень ловко составлено. Все эти розовые, синие и голубые комнаты действительно существовали и были так названы по цвету обоев и окраске; что касается продуктов и лошадей, то в Туле их можно было достать сколько угодно, но в самом Лутовинове ровно ничего не было! Я давно позабыл об этом объявлении, но как-то вечером Ситников сообщил мне после доклада, что в Лутовинове вот уже больше недели живут Маковские. На другой же день я решил поехать с визитом к Маковским и познакомиться с ними. Я всегда увлекался живописью и вообще искусством и много вращался в художественных кругах, а потому был чрезвычайно рад этому соседству, мечтая уже о том, чтобы просить Маковского написать хотя бы один конский портрет. После обеда подали белую тройку (я обыкновенно ездил только на пегих лошадях), которую мне прислал в подарок брат; она была заложена в казаковскую коляску на красном ходу работы знаменитого московского каретника Маркова. Эта коляска была сделана по особому заказу Окрюмгеделова и была удивительно красива, удобна и хороша. Именно в этой троечной коляске ходил в корню знаменитый Ворон и окрюмгеделовская тройка получила массу наград на конкурсах и состязаниях. Окрюмгеделов, бросив троечную езду, продал коляску Казакову, а от него она перешла ко мне. Когда подали тройку, она в этой коляске выглядела очень эффектно и я ею залюбовался. Прежде чем сесть, я велел кучеру проехать несколько раз по кругу перед домом и не мог не прийти в восторг – так хорош и так красив был этот выезд. Белая тройка была куплена братом случайно; это были уже немолодые, но очень эффектные лошади.

Когда кучер Василий Маслов, знаменитый троечный ездок, поступивший ко мне после смерти Малютина, мягко вкатил во двор лутовиновской усадьбы, то моим глазам представилась следующая картина. Перед домом, на заросшей травой площадке, среди кустов роз, дико растущих и превратившихся в шиповник, играла в теннис девушка удивительной красоты. На ней было простенькое светлое платье, она была стройна и изящна, и каждое ее движение полно грации и красоты. Дивная русая коса ниспадала с плеч, румянец заливал щеки, а глаза, большие, синие, лучистые, с чудными ресницами, смотрели удивленно и как бы испуганно. Как мила, как хороша была эта девушка! Она вскрикнула от удивления и неожиданности, когда увидела подкатившую вдруг тройку, и ракетка выпала у нее из рук. Ее партнер, интересный молодой человек, поспешил поднять ракетку, а я подошел к девушке, чтобы представиться. В доме нас приняла г-жа Маковская и сейчас же начала рассказывать о том, что им пришлось пережить, приехав в Лутовиново, и как они были обмануты. Для этой красивой и избалованной женщины все случившееся было настоящей трагедией. Правда, положение оказалось трудное: мебели никакой, кроватей нет, лошадей тоже, все продукты и посуду пришлось купить в Туле. Сидеть нам пришлось на балконе, так как в доме имелось всего три стула, стол и табурет, наскоро купленные в городе. «Когда мой муж прочел объявление, – продолжала свой рассказ г-жа Маковская, – он пришел в восторг и сейчас же решил снять на лето лутовиновский дом, так как ему хотелось поработать и пописать с натуры в Центральной России, которую он очень любит. Напрасно я просила его послать кого-нибудь все осмотреть. Он только мне отвечал: «Что ты! Зачем это нужно? Старинная усадьба князей Засекиных, да и Лагуновы – это достаточная гарантия, это старинные дворяне: обманывать не будут».

Сейчас же после этого разговора была послана телеграмма в Москву, а затем и арендная плата. Лагунов прислал расписку в получении денег и сообщил, что все распоряжения в Лутовинове сделаны. В мае семья Маковского выехала в Тулу. Константин Егорович только приговаривал: «Не берите лишней вещей, я хорошо знаю старые дворянские усадьбы, там все найдете». Когда Маковская вместе с дочерью, сыном и его гувернером приехали в Тулу, то, несмотря на заранее посланную предупредительную телеграмму, на вокзале никаких лошадей и подвод для сундуков не оказалось. Маковская была в ужасе и хотела следующим поездом вернуться в Петербург, но молодежь запротестовала, и через несколько часов на двух лабызовских тройках Маковские въехали в Лутовиново; сундуки со всеми туалетами дам остались пока что на вокзале в Туле. «Вошла я в дом, – рассказывала Маковская, – вижу кругом одно запустение: никакой мебели, ни сесть, ни лечь не на чем. Села я на пол в белом колонном зале, расплакалась и не придумая, как быть». Молодежь принялась утешать мать. Решили остаться и на другой день послать гувернера в Тулу за всем необходимым. Чудный парк произвел свое впечатление, и молодежь носилась в нем и открывала все новые виды. Утром на трех крестьянских телегах гувернер торжественно поехал в Тулу и привез посуду, самовар, койки, стулья, стол и табуреты. Маковская, которая рассчитывала блистать и выезжать с дочерью и взяла несколько сундуков туалетов, была разочарована, увидев, что здесь не до приемов и не до выездов. Она написала отчаянное письмо мужу и ждала со дня на день его приезда. Мне были несказанно рады, а когда я предложил им прислать назавтра двух коров, экипаж, лошадей, умывальник и кровати и пригласил к себе, благодарностям не было конца. На следующий день Никанорыч с транспортом вещей тронулся в Лутовиново, сзади вели коров, а спереди ехала коляска. Ситников, который имел удивительную способность всегда и везде поспевать, сам распоряжался отбытием этого транспорта. Почти каждый день я бывал у Маковских или же они у меня, и я находил большое удовольствие в обществе очаровательной Елены Константиновны. Скажу откровенно, в первый раз в жизни я был на волосок от женитьбы!

Через несколько дней приехал К. Е. Маковский и поспешил ко мне в Прилепы, дабы меня поблагодарить. Этот высокий, стройный, необыкновенно красивый старик держал себя с достоинством, был вполне светским человеком и говорил умно и очень интересно. Ум его отличался большой ясностью, здравостью суждения и значительной степенью оригинальности. Словом, очаровательный человек и интереснейший собеседник. Он очень много видел на своем веку, путешествовал, водил знакомство и дружбу с выдающимися людьми своего времени и сам был знаменит – одно время имя его было у всех на устах не только в России, но и за границей. Маковский был близок к Александру II, его ценил и любил Александр III, а знаменитый русский меценат граф Строганов в нем души не чаял. Маковский имел колоссальные заказы, зарабатывал громадные деньги и жил полной жизнью, по-царски, никогда и ни в чем себе не отказывая. Он был несколько раз женат; его жены слыли первыми красавицами Петербурга, а сам он был для женщин неотразим. Наконец, Маковский славился как страстный коллекционер и большой знаток старины, особенно русской. Его коллекции фарфора, бисера, финифти, утвари, уборов, мебели и картин были известны даже за границей. Маковский пробыл у меня весь день, обедал, ужинал и лишь поздно вечером уехал домой. Он с большим интересом хвалил некоторые полотна Сверчкова и тогда же сказал мне, что такого идейного собрания он нигде не встречал не только в России, но и за границей. «Я обязательно напишу вам вашу любимую лошадь», – пообещал он.

К сожалению, вскоре его по делам вызвали в Петербург, оттуда он проехал

в Нижний, там заболел и, вернувшись в Петроград, осенью того же года трагически погиб, так и не исполнив своего обещания. Портрет остался ненаписанным, и я больше никогда не увидел Маковского. Этот эстет, этот человек, всю свою жизнь преклонявшийся красоте, умер. Извозчик, на котором он ехал, налетел на ломового; Маковский упал, был буквально раздавлен ломовым и с окровавленной головой унесен дворниками соседнего дома в один из дворов, где положен на голую грязную землю и прикрыт, как покойник, рогожей... Несчастный старик был еще жив, все чувствовал и понимал. Наконец пришел околоточный, сразу понял, что несчастье случилось с большим человеком, потребовал карету скорой помощи и отправил Маковского в больницу. Там его узнали, сообщили семье, а к вечеру Маковского не стало...

Река Упа, протекая у самого подножия прилепской усадьбы, разделяет имение на две части: верхнюю, или нагорную, где на крутой горе стоит дом и постройки завода, и низменную, или луговую, где расположен беговой круг и остальная земля. По водоразделу реки идет и деление губернии на уезды. Верхняя часть – это Тульский уезд, нижняя, за рекой, – Крапивинский. Все только что описанные люди жили в Тульском уезде, но у меня были соседи и в Крапивинском.

При большом и богатом селе Ломинцево, где было волостное правление и обосновались сельские власти, стояла усадьба А. Н. Кривцова.

Кривцов имел в свое время небольшой конный завод. Из него вышло несколько резвых лошадей, в том числе рыжая кобыла Люба, впоследствии давшая хороший приплод в заводе Щекиных. Кривцов очень любил лошадей и интересовался генеалогией. Он недурно знал породу рысака и любил о ней говорить; в молодости он писал по вопросам спорта, но статьи его не отличались глубиной, были злободневны и сейчас, естественно, утратили всякий интерес. Им же был составлен алфавитный указатель всех рысистых заводов России, выдержавший два издания и в значительной мере облегчивший справки в тех случаях, когда надо было разыскать, где упомянут тот или иной рысистый завод. Юрист по образованию, Кривцов служил по судебному ведомству. Довольно долго он работал в Москве и именно в это время вошел в состав Московского бегового общества, был его действительным членом и недолгое время – старшим членом. Его беговая карьера прервалась очень скоро, после чего он продал завод и лет пятнадцать-двадцать вовсе не бывал на бегах и в спортивных кругах. Дело в том, что, состоя старшим членом, он продал какую-то лошадь, отсюда вышли большие неприятности, и он должен был вернуть свой членский билет обществу. Все это произошло в тесном беговом кругу, широкой огласки не получило и на дальнейшей судебной карьере Кривцова не отразилось потому, что он имел благоразумие отойти от бегового дела, так что неприятную историю решено было предать забвению. Ему не совсем удобно стало оставаться в Москве, и он перевелся на юг. В дальнейшем судебная карьера Кривцова шла очень быстро, он занимал много высших судебных должностей и наконец был назначен сенатором. Переехав в Петербург, он вновь стал бывать на бегах. Старая московская история позабылась, и его избрали в действительные члены Петербургского бегового общества. Давно не имея завода, а стало быть, решительно ничем не рискуя, он вдруг стал ярим метизатором. Вскоре после этого он был назначен первоприсутствующим в сенате и награжден одним из высших орденов. Словом, карьера Кривцова завершилась блестящим успехом. Такова в самых кратких и общих чертах канва его жизни и служебных успехов. По зимам он жил в Петербурге и лишь месяца на два летом приезжал в Ломинцево отдохнуть. Я познакомился с Кривцовым тогда, когда у него уже не было завода, но он держал двух рысистых маток и несколько голов приплода.

Его имение было невелико: десятин пятьсот земли с хорошими лугами, которые он сдавал крестьянам в аренду, так как сам хозяйства не вел. Ломинцево было родовое имение, наследованное им от отца, и он этим очень кичился. Кривцов тогда, когда я с ним познакомился, перевалило за пятьдесят лет; это был коренастый и довольно плотный человек, необыкновенно подвижный, живой и энергичный. В молодости он, вероятно, был красив, и глаза его сохранили необыкновенный блеск и юношеский задор. Несомненно умный и талантливый человек, он обладал громадной памятью, был недурным оратором, и говорили, что свое дело – судебное – он знал хорошо и считался одним из лучших юристов. Наряду с положительными у Кривцова имелось много отрицательных черт характера. Он был неуравновешенным человеком, чрезвычайно экспансивным и большим карьеристом. В угоду карьере он мог принести какую угодно жертву и приносил их немало на своем веку. Он был крайне вспыльчив и горяч; говорил очень быстро, иногда глотал слова, при этом жестикулировал невероятно, горячился и брызгал слюной. Слушая и наблюдая его, я не раз удивлялся, как этот человек мог сделать такую карьеру по судебному ведомству. Мне все казалось, что он не мог и не был беспристрастен и объективен в решениях, но весьма возможно, что он был таков лишь в жизни, а не при исполнении своего служебного долга. Перед сильными мира сего Кривцов заискивал и лебезил; слабых и маленьких людей если не презирал, то, во всяком случае, держал на определенной дистанции и любил им показать свою власть. Мне как-то пришлось читать воспоминания Лемке, озаглавленные, если не ошибаюсь, «Сто дней в отставке», и там он дает убийственную характеристику Кривцову, прямо называя его клоуном за то, что тот заискивал и угодничал перед близкими царя и паясничал, чтобы их позабавить. Быть может, Лемке и сгустил немного краски, но для получения очередной звезды или ленты Кривцов, конечно, шел на многое. Он очень любил, между прочим, всякий эффект, любил произвести впечатление и заставить о себе говорить. Один старый тульский дворянин, смеясь, рассказывал мне, что еще в молодости, когда Кривцов служил в Москве в прокурорском надзоре, приезжая в Тулу на выборы, он никогда не приходил в собрание вместе со своим отцом, они всегда шли друг другу навстречу, затем бросались в объятия и при этом один восклицал: «Mon pere!»\* – а другой отвечал: «Mon fils!»\* Эта трогательная картина так и просится на подмостки мелодрамы. Кривцов любил похвастать и мне, как новому человеку, рассказывал о том, как роскошно и по-барски жил его отец. Все эти рассказы были в значительной мере преувеличением. В действительности Кривцовы, хотя и были давно дворянами Тульской губернии, ни знатностью, ни большим богатством никогда не отличались. Любимым у Кривцова был рассказ про прежний дом отца. Тут он, схватив меня за руку, прямо орал от восторга: «Вы видите весь этот дом, где мы сейчас сидим, так знайте, что зала моего отца была больше этого дома. Какое несчастье, что старый дом сгорел!» Кривцов мнил себя величайшим знатоком лошади, но в этом он жестоко ошибался. Он знал беговое дело, как и любой рядовой охотник, вел завод по-рядовому, и ничто не давало ему права на звание знатока. Когда я ему показывал лошадей в Прилепах, то был удивлен, насколько мало он разбирается в тонкостях дела. Суждения его были поверхностны и очень примитивны. Такие люди не могли повести орловскую породу по пути совершенствования, и они ее чуть не погубили.

Однажды после вывода Кривцов просил заложить в американский кабриолет производителя Недотрога, отца Кронпринца, сказав, что он мне покажет, как ездили в старину. Я не знал за Кривцовым этой удали, но так как Недотрог

\* Отец! (фр.)

\* Сын! (фр.)

по езде был очень милой и спокойной лошастью, то опасности не было решительно никакой, и я велел его заложить. Американский шарабан был для двоих седоков и очень удобен. Выехали на бег. Я сидел рядом с Кривцовым, он правил; размяв лошадь первый круг, он затем выпустил ее, забрал руки кверху и заорал благим матом: «Хау, хау!» Этот концерт продолжался всю версту, несчастный Недотрог не знал, куда ему ногу поставить, все время поводил ушами и сжимался на ходу. Я едва сдерживал приступы смеха, а Кривцов был очень доволен собой. Видимо, в этом крике и заключалась старинная езда.

От Кривцова я, между прочим, слышал любопытный рассказ об арабской кобыле Эвену-Окей, матери Щеголя. «Эвену-Окей – чистая, арабской породы, завода г. Куликовского. Год рождения кобылы неизвестен» – так лаконически упомянута Эвену-Окей в наших заводских книгах. В заводе Н. С. Завалиевского Эвену-Окей дала в 1842 году гнедого жеребца Щеголя, который выиграл Императорский приз в Туле в 1850-м. Щеголь вошел впоследствии в породу некоторых призовых рысаков более близкого нам времени, и Кривцов им особенно интересовался, так как кровь этого жеребца текла в некоторых лошадях его небольшого завода. Несомненно, лучшей маткой кривцовского завода была Кокетка, мать весьма резвой Любы, принадлежавшей Щекину. Кокетка происходила от Щеголихи завода графа С. Н. Толстого (родного брата Льва Николаевича), которая была дочерью Щеголя. Ее родная сестра Красотка была буланой масти и изредка давала интересных по себе буланных лошадей, что я объясняю влиянием арабских предков Эвену-Окей. Кривцов чрезвычайно ценил как Кокетку, так и Красотку и любил рассказывать про завод Завалиевского, который якобы хорошо знал. Этот завод находился в Тульском уезде, при деревне Мелеховке. По словам Кривцова, вот при каких обстоятельствах эта арабская кобыла получила имя Эвену-Окей.

Завод Куликовского был за Окой, то есть в Московской губернии. Когда Завалиевский купил там гнедую арабскую кобылу, которая ему очень понравилась, то, вернувшись домой, рассказал об этом своим родным. Из барского дома весть о покупке замечательной кобылы разнеслась по дворне, а потом достигла и деревни. Это было еще до отмены крепостного права, и крестьяне живо интересовались всем, что делалось на барском дворе. Прошло несколько дней, и стали снаряжать за Оку подводу и людей за кобылой. Когда приблизилось время ее привода, Завалиевский, как истинный охотник, не находил себе места от нетерпения и в то утро два раза посылал верховых узнать, не ведут ли кобылу. Наконец прискакал верховой и сообщил, что кобыла прошла уже соседнее село и скоро будет здесь. Завалиевский, его семья, кое-кто из знакомых и дворни пошли навстречу. В Мелеховке, которая была тут же за оврагом, уже знали о том, что господа вышли встречать знаменитую кобылу, и мужики гурьбой присоединились к процессии. Запад тихо догорал, когда вдаль за пригорком показалась в попоне и капоре арабская кобыла. Ее торжественно вел под уздцы конюх. Сзади на телеге ехал кучер с сынишкой.

Кобылу подвели к барину, и господа начали любоваться и хвалить ее формы. Это была небольшая, сухая и очень кровная кобыла – словом, типичная лошадь восточных кровей. Однако мужики иначе реагировали на эту сцену: они, согласно вкусам того времени, ожидали увидеть массивную, мохноногую и густую кобылу-жеребятницу. Естественно, что они были разочарованы этой поджарой кобылкой, и один из них не утерпел и с неодобрением громко сказал: «Эвоно Ока!» – что должно было означать: вот, мол, что привел барин из-за Оки! Это восклицание настолько понравилось Завалиевскому, что он назвал гнедую арабскую кобылу Эвоно-Ока, но в студ-буке она появилась под более благозвучным для арабской лошади именем Эвену-Окей! «Эвона-Ока – Эвену-Окей!»

– так закончил свой рассказ Кривцов и при этом немилосердно вращал глазами, жестикулировал и в порыве страсти прямо кричал.

Кривцов был женат и имел двух дочерей: красивую Тату, бывшую замужем за тульским помещиком Гояриным, и некрасивую, но любимицу отца Фофочку – барышню. Г-жа Кривцова первым браком была за господином Золоторевым и от этого брака имела трех детей: дочь Ольгу, старую деву, и двух сыновей – оба служили. Один из них делал блестящую карьеру и стал уже прокурором палаты. Родом г-жа Кривцова была гречанка, и это ясно чувствовалось в ее типе. Эта милая, очень добрая, но при этом весьма практичная женщина хорошо знала цену деньгам. Кривцов в ее присутствии любил говорить о ее красоте и что ее одну он любил в своей жизни. Это вошло у него в привычку и едва ли было искренне.

У Алексея Николаевича состояние было небольшое: доход от аренды заложенного имения и жалованье. Супруга имела хорошие деньги и главным образом этим держала в руках пылкого «генерала», ибо иначе его высокопреходительство давно бы вышел из всякого повиновения... Кривцов у себя в доме очень любил угостить и принять гостей. Он сам понимал толк в еде и любил лично заправлять тонкие блюда. При этом закармливал своих гостей невероятно, и в конце обеда или завтрака совсем ошалевшие гости поневоле вспоминали о демьяновой ухе. Он умел уговорить гостя съесть лишний кусок, расхваливал блюда, подливал вино, потчевал, просил, настаивал. После его завтраков и обедов я долго не мог прийти в себя. Надо отдать ему должное, уговорить он был великий мастер и, кажется, способен был бы и мертвого накормить. Сейчас вспоминаю, как однажды я сделал «гаффу». Произошло это во время завтрака по случаю назначения господина Кассо министром народного просвещения в кабинете Столыпина. Приказ еще не был напечатан, и я до этого никогда не слыхал фамилии Кассо. В Португалии в это время произошла революция, и бедный король Мануэль расстался со своим троном. Газеты были полны подробностями и приводили имена новых португальских деятелей. Перед поездкой к Кривцовым я читал газеты, и эти события были еще свежи в памяти. Во время завтрака г-жа Кривцова обращается ко мне по-французски (она любила говорить на этом языке): «Месье Бутович, мой племянник Кассо назначен министром народного просвещения». – «Поздравляю вас, сударыня, – отвечал я ей на том же языке. – Где ваш племянник получил портфель? Вероятно, в Португалии?» Представьте себе всеобщее молчаливое изумление и негодование «генерала». Он начал мне объяснять, что Кассо, знаменитый Кассо, назначен Столыпиным и вошел в кабинет министров. Мне ничего не оставалось более, как замять разговор, сославшись на свою рассеянность и те хорошие вина, которые успели уже воздействовать на меня. В действительности, когда г-жа Кривцова сообщила мне эту новость, то, вспомнив, что она иностранка, и сопоставив иностранную фамилию ее племянника и текущие португальские дела, я решил, что назначение состоялось в Португалии, а не в России!

С Кривцовыми я довольно долго поддерживал хорошие отношения, но они оборвались затем раз и навсегда. Случилось это незадолго до войны. Пасынок Кривцова Золоторев получил назначение помощника министра внутренних дел, и ему был вверен такой важный департамент, как департамент полиции. Назначение Кассо, затем назначение пасынка, собственное возвышение до сана первоприсутствующего сенатора – все это окончательно вскружило голову Кривцову. Когда он после этого приехал в деревню, то не считал нужным первым бывать у меня, как всегда ранее делал и как того требовал долг вежливости. Я, разумеется, не поехал к нему; в то же время другие соседи, узнав о приезде Кривцова, поспешили к нему на поклон и поздравили его с высоким назна-

чением. Если Кривцов почему-либо не мог приехать ко мне первым, то он мог написать мне записку и позвать к себе: он был настолько старше меня, что я, конечно, не стал бы считаться визитами и побывал бы у него. Так произошел наш разрыв. Я слышал потом, что Кривцов об этом жалел. Офросимов пытался меня уговорить приехать к Кривцову, указывая, что он занимает такое положение, что всегда может мне пригодиться, если не сейчас, то в будущем. На это я отвечал милейшему Сашету Офросимову, что именно потому, что Кривцов занимает такое высокое положение, он должен быть в своих отношениях с соседями особенно корректен, а что касается его полезности для меня в настоящем или будущем, то я в этом не нуждаюсь, так как вообще не собираюсь служить, а по департаменту полиции, который возглавляет его пасынок, в особенности. После этого я всего лишь раз, и то случайно, повстречал Кривцова. Последний раз я его видел во время войны, ранней весной. Мы встретились на перроне тульского вокзала и, как оказалось, оба ехали в Петроград. Кривцова провожало несколько человек, и у него в руках был букет первых весенних фиалок. Он очень шумел и громко рассказывал, что нарвал эти фиалки лично и везет их жене.

Совсем другие люди были Кулешовы. Их имение Горячкино находилось верстах в десяти от Ломинцева. Они круглый год безвыездно жили в деревне и были всецело поглощены интересами своего хозяйства, конного завода и общественной жизнью уезда. Ольга Павловна Кулешова давно овдовела, и ее семья состояла из трех сыновей и дочери, которая развелась с мужем и вернулась к матери. Один из сыновей Ольги Павловны, женатый на вдове Тулубьева, жил в имении своей жены, верстах в трех от Горячкина. Два других сына, Дмитрий и Алексей, были холосты и жили всегда с матерью. Алексей, неподвижный и сонный толстяк, интересовался только лошадьми и вел конный завод. Когда-то у их отца был весьма недурной завод, но постепенно он пришел в полный упадок и утратил свое былое значение. В то время, когда я знал этот завод, он уже занимался производством метисов, и производителем в заводе был небезавший сын Барона-Роджерса Раскол. Его дети были относительно резвы, кое-что выигрывали, но дальше посредственности все же не шли.

Завод Алексей Дмитриевич Кулешов вел скверно: он не кормил лошадей и плохо воспитывал молодежь. То же было и при его отце. Словом, не кормить лошадей было фамильной традицией Кулешовых. Третий брат, Дмитрий, интересовался главным образом жизнью уезда и вел хозяйство. Кулешовы, очень милая, простая и для всех доступная семья, были богатыми людьми и имели несколько имений. На именины Ольги Павловны собирался весь уезд, так как ее все очень ценили и уважали. Горячкино было центром, куда на огонек съезжались многие соседи и где постоянно обсуждались земские дела, предстоящие выборы и прочее. Словом, отсюда исходили директивы земской жизни. По вечерам у Кулешовых можно было застать и местного доктора, и агронома, и ветеринарного врача, и статистика. Все разговоры и интересы кружились вокруг земских дел; здесь предварительно решались многие вопросы, впоследствии лишь формально проходившие через земское собрание. Я очень редко бывал у Кулешовых – обыкновенно раз в год, на именинах хозяйки, но всегда выносил самое приятное впечатление от этого посещения.

У нашего уездного предводителя милейшего Ивана Михайловича Долин-Иванского я был всего лишь раз с официальным визитом после покупки Прилеп. Он не был моим соседом, так как его имение находилось верстах в сорока от Прилеп, но я предпочел проехать к нему на лошадях, нежели по железной дороге.

Долин-Иванский жил в своем Каромышеве круглый год и выезжал лишь в

Крапивну по своим служебным делам или в Тулу на дворянские или губернские земские собрания. В молодости он служил в кавалерии, затем вышел в запас, поселился в деревне и женился на княжне Оболенской. У него были сын и дочь, в то время подростки. Сам Долин-Иванский, очень мягкий, воспитанный и чрезвычайно приятный человек, был образцовым предводителем, хорошо вел дело, очень им интересовался, знал дворянство своего уезда, его нужды и желания. Он был тактичен, всегда умел взять верную линию, а если нужно, то и отстоять ее, и пользовался всеобщим уважением. Последние годы он замещал губернского предводителя, когда этот последний должен был выезжать из губернии по тем или иным делам. У Долин-Иванского имелось хорошее состояние, и он образцово вел свое хозяйство, в чем ему помогал его брат Тихон Михайлович. В Каромышеве стоял хороший дом превосходной постройки. Я единственный раз был в Каромышеве и вынес оттуда самое лучшее впечатление.

Вот круг соседей, с которыми мне пришлось познакомиться в 1909 году и с которыми я прожил, поддерживая те или иные отношения, до самой революции.

Прежде чем вновь взять нить воспоминаний и перейти к дальнейшим событиям моей жизни, я расскажу здесь о моей поездке в том же 1909 году в знаменитое село Шаховское к князю Д. Д. Оболенскому. Оболенский тоже не был моим соседом: его имение лежало верстах в тридцати от Прилеп, по ту сторону Упы и в другом уезде. Однако я решил съездить к Оболенскому, которого знал уже давно, как по Москве, так и по Петербургу, чтобы осмотреть Шаховское, откуда вышло столько знаменитых рысаков. В Шаховское меня еще влекло собрание сверчковских портретов, которое было у князя.

Кроме того, я справедливо полагал, что в деревне и на досуге князь, как гостеприимный хозяин, расскажет мне много интересного о своей прежней деятельности, и в этом я не ошибся. Поездка в Шаховское на всю жизнь оставила у меня самые приятные воспоминания, и те два дня, что я провел там, я считаю не только не потерянными, но и весьма значительными днями моей жизни.

Князь Оболенский настолько крупная фигура, его жизнь настолько сложна, интересна и многогранна, наконец, его выдающаяся коннозаводская и спортивная деятельность имеет такое огромное значение, что мне придется посвятить этому выдающемуся человеку небольшой очерк.

Князь Дмитрий Дмитриевич Оболенский, как говорит уже одно его славное имя, принадлежал к родовой русской знати и всю свою жизнь посвятил деревне. Он родился в Шаховском, здесь протекла вся его жизнь и коннозаводская деятельность, и если он не умер в своем любимом имении, то лишь потому, что революция его изгнала оттуда и обрекла на скитания. Он устроился сначала в Туле, затем лет через пять выхлопотал разрешение и покинул пределы России, направившись сначала в Висбаден, затем в Париж, потом снова в Германию, где проживает и поныне. Совсем молодым человеком, кажется, даже еще ребенком, Оболенский потерял отца, который погиб трагически: его зарезал бритвой во время бритья крепостной камердинер. Князь остался сиротой и был воспитан своей матерью. Все предвещало молодому человеку



*Князь Дмитрий Дмитриевич  
Оболенский*

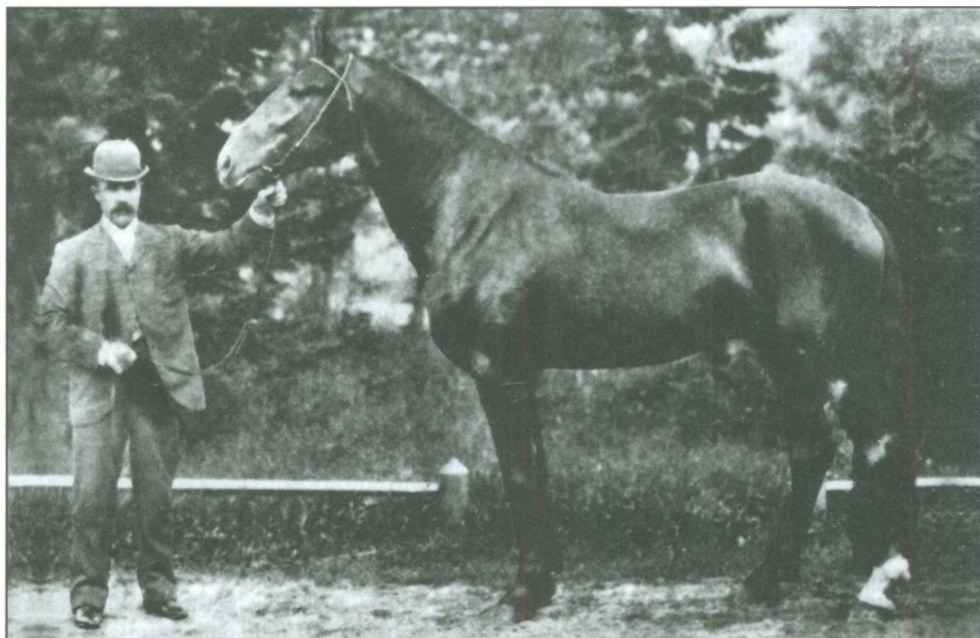


блестящую будущность, и первая половина его жизни была именно такой. Он рано окончил университет, был красив, богат, умен, принят и ценен при дворе, и его карьера разворачивалась с головокружительной быстротой. Его очень любил покойный император Александр II, и князь, совсем молодым человеком, был пожалован шталмейстером высочайшего двора – редкая милость для того времени. Оболенский мне рассказывал, что он был в поезде, в котором следовал Александр II на южный берег Крыма, когда этот поезд потерпел страшное крушение, не помню уже возле какой станции, вследствие подготовленного покушения на государя. Александр II и все бывшие с ним спаслись каким-то чудом, и князь рассказывал много интересных подробностей об этом кошмарном покушении. От него же я слышал, что вскоре после освобождения крестьян Александр II приехал в Москву и имел продолжительную беседу с московским предводителем дворянства, известным коннозаводчиком Д. Д. Голохвастовым. Оболенский был хорош с Голохвастовым и в точности передал мне суть этой исторической теперь беседы. Александр, обратившись к Голохвастову, сказал, что ему хорошо известно, что некоторые московские дворяне будируют и недовольны тем, что он не дает конституции. «Неужели, – добавил государь, – они не понимают, что Россия держится только монархией? Стоит мне дать конституцию, за ней последуют новые требования, и Россия расплзется по швам. Трудно управлять Россией одному, и мне тяжелее, чем кому-либо другому; я много об этом думаю и рад бы был разделить, как в Англии, бремя власти с представителями всех сословий, но для России это сейчас невозможно. Мое убеждение, что с падением монархии погибнет и Россия. И я, исполняя свой долг, не даю конституции, так и скажите дворянам», – закончил государь. Теперь мы можем судить о том, насколько этот мудрый государь был прав. Его слова оказались пророческими, а его внук Николай и Россия на себе это испытали... Оболенский не только преклонялся, но прямо-таки боготворил Александра II; в кабинете, на письменном столе, в гостиной, в комнатах князя было немало фотографий, представлявших государя в разное время его жизни.

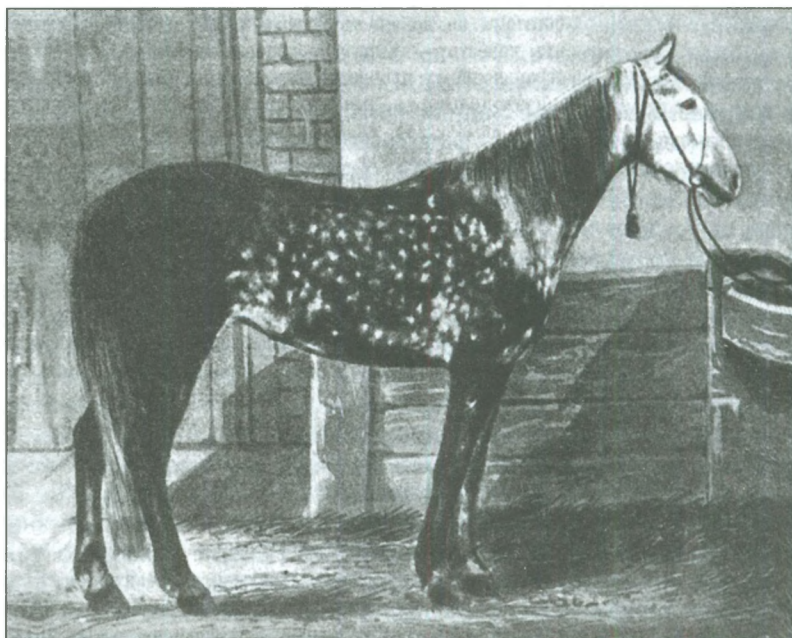
Еще молодым человеком Оболенский начал служить дворянству и был избран предводителем своего уезда. Затем, с введением земства, он неизменно принимал в нем активное участие и стал одним из виднейших деятелей губернии. Его интересовали также финансовые и экономические вопросы, при его содействии был открыт в Туле первый городской банк и построена Сызрано-Вяземская железная дорога. Он принимал активное участие в главном комитете по сооружению этой дороги, отстаивал направление, которое считал лучшим, и ускорил, благодаря своим связям и положению, прохождение этого вопроса в правительственных сферах. Правление дороги поднесло ему золотой жетон, на котором было указано, что он имеет право бесплатного проезда по этой дороге. Этот жетон Оболенский всегда носил, и на Сызрано-Вяземской дороге его знали все. Оболенскому же принадлежит приоритет открытия залежей угля в Тульской губернии. Он первый начал делать изыскания и обнаружил угольные залежи в районе станции Оболенской, главным образом на своей земле. Он долго пытался устроить акционерную компанию и в конце концов достиг успеха. Оболенские шахты стали крупным предприятием, начали приносить доход, но случилась революция, и другие воспользовались результатом его инициативы. По его примеру начались изыскания и в других уездах, и уголь был обнаружен возле станции Щекино Московско-Курской железной дороги. Этот угольный район получил название Московского угольного района и сыграл очень большую роль при устранении топливного кризиса в первые годы революции.

Любя с детства лошадей, князь завел завод и призовую конюшню, вернее, два завода и две конюшни чистокровных и рысистых лошадей. Князь был избран действительным членом многих спортивных обществ и, наконец, вице-президентом Императорского московского скакового общества и таковым же Тульского бегового общества. Таким образом началось его общественное служение на скаковом и беговом поприщах, которое продолжалось немало лет. Так как Оболенский обладал очень трезвым умом, был европейски образованным человеком с очень широким кругозором и верным взглядом на спорт, то не удивительно, что с ним чрезвычайно считались и еще больше ценили. Зная вице-президента Императорского скакового общества он держал очень высоко и обществом руководил твердой рукой. Ильенко рассказывал мне, что когда всеильный московский генерал-губернатор Владимир Андреевич Долгорукий попытался было умалить prerogative общества, то Оболенский, будучи вице-президентом, стал на защиту общества и блестяще отстоял независимость этого старейшего спортивного учреждения. Оболенский, по словам Ильенко, был не только дельным, энергичным и знающим вице-президентом, но также превосходным администратором и одним из самых блестящих представителей общества в московском свете. Однажды к утренней записке он подкатил в открытой коляске на великолепной серой четверке, приехав прямо из Шаховского, и после этого путешествия принимал записку, потом председательствовал за традиционным завтраком и всех покорила своим юмором, живостью и неподкупной веселостью. В то время в свете его звали Миташей Оболенским, и был он одной из самых популярных фигур в Москве и Петербурге.

Все, казалось, предвещало князю и в дальнейшем продолжение этой столь блестяще начатой карьеры, но все погубила страсть к обогащению, которая не только не принесла желаемого увеличения и без того хорошего состояния, но и вконец разорила Оболенского. Вот как это случилось. Во время Русско-турецкой войны главными поставщиками армии были Греггер, Горвиц и Варшавский – известная троица. В обществе ходили легенды о тех злоупотреблениях, какие имели место в интендантстве, и о сказочном обогащении этих трех главных поставщиков, державших в своих руках все продовольствие и снабжение действовавшей армии. Оболенский, по одной версии, возмущенный этими злоупотреблениями, а по другой – желая стать миллионером, подал в ставку главнокомандующего контрпроект снабжения армии сухарями, который был принят, а Оболенскому сдан подряд. Он получил большой аванс для своих операций по сушке и доставке сухарей, но вместе с тем договор, который он подписал, обязывал его крупной неустойкой в случае несвоевременной доставки или же недоброкачества товара. Речь шла о миллионах, и игра, которую вел Оболенский, была крупная. Он ее проиграл и вышел из нее почти что нищим. Для осуществления своего грандиозного предприятия Оболенский оставил все другие дела и взял кредиты в разных банках на очень крупные суммы. Когда сухари были уже готовы и частично даже подвезены к армии, интендантство их не приняло, забраковало как непригодные, некондиционные. Оболенский знать не хотел интендантства, полагался на свои связи при дворе и жестоко поплатился. Говорили, что если бы он тогда вошел в сделку с интендантством, то сухари были бы приняты и Оболенский нажил бы большие миллионы. К чести его, он на сделку не пошел и предпочел разорение бесчестию. Греггер, Горвиц и Варшавский торжествовали. По слухам, часть сухарей Оболенского все-таки попала в армию, но в мешках других поставщиков и после должных переговоров с интендантством. Оболенский на этой операции потерял все свое состояние и превратился в нищего. Спаслось лишь одно его знаменитое Шаховское, потому что оно было на имя жены, но и Шаховское было сильно заложено для сухарных операций.



*Горыныч, гнедой жеребец, род. в 1896 г.  
в заводе Н. П. Малютина*



*Гроза 2-я, темно-серая кобыла, род. в 1876 г. в заводе кн. Д. Д. Оболенского  
от Волокиты А. И. Сабурова и Грозы Н. И. Аласина.  
Прабабка Крепыша, мать Громады*

Оболенских ждала жизнь скромных помещиков. Князь сдался не сразу, он ездил, просил, хлопотал, судился, взывал к общественному мнению, но юридически право было на стороне интенданства, и Оболенский везде и во всех инстанциях проиграл. Малютин рассказывал мне, что Оболенский, еще питая надежду выиграть процесс, но нуждаясь в деньгах, специально приехал к нему в Париж, прося займы крупную сумму. Малютин отказал, ибо знал, что процесс выиграть невозможно и деньги все равно пропадут. Положение князя было критическое: денег нет, а надо уезжать из Парижа в Россию. Тогда Оболенский предложил Малютину купить у него Волокиту и лучших пять маток. Завод Оболенского спасся, так как тоже находился в Шаховском. Малютин согласился, и в Париже были куплены для завода в Быках знаменитая Гроза 2-я, Пилка (мать Полотера), Самка, еще две кобылы и, кроме того, Волокита. Малютин, желая выручить князя, не торгуясь заплатил за них назначенную крупную цену. Его великодушие было вознаграждено сторицей: Громадный, Горыныч, Смелычак, Сейм и другие происходят от этих княжеских кобыл, не говоря уже о том, каких дочерей оставил Малютину Волокита.

Трагедия была разыграна, блестящий князь Миташа вынужден был снять свой шталмейстерский мундир, ликвидировать обе конюшни, оба конных завода, удалиться от блестящей жизни при дворе. Разоренный, с разбитым сердцем и израненной душой, он очутился в деревенской тиши. Злые языки, а их всегда немало, прозвали Оболенского «сахарным князем», и это прозвище так и осталось за ним.

Поселившись в Шаховском, Оболенский не мог и не хотел успокоиться. Уже через несколько лет после краха он пытался войти в новые крупные дела, но фортуна, которая так долго к нему благоволила, теперь окончательно от него отвернулась, и князь потерпел новые неудачи в своих предприятиях. Жизнь князя предвещала в будущем мало радости и утешения. Она таковой и была, и ему пришлось многое пережить, прежде чем он поставил на ноги своего единственного внука и в нем увидел повторение своей когда-то столь блестящей карьеры. Все эти годы, вплоть до великой европейской войны, жизнь князя была сплошной героической борьбой за Шаховское. Имение было так обременено долгами, что каждый год назначалось банками в продажу с торгов. Двадцать пять лет князь снимал Шаховское с торгов то при помощи дворянских субсидий, то при помощи связей и распоряжений из Санкт-Петербурга, то, наконец, при помощи государя, который несколько раз вносил проценты банку из своих личных средств. Надо было обладать исключительной настойчивостью и изворотливостью, чтобы столько времени спасать имение от продажи, а главное, надо было страстно любить Шаховское, чтобы столько перестрадать и пережить из-за него. Князь страстно любил свое родовое гнездо и целью своей жизни поставил не допустить продажу имения и передать его единственному внуку. Этого он добился, и внук его по достижении совершеннолетия получил Шаховское и уплатил все долги, так как был очень богат, наследовав состояние своего деда по материнской линии. Этого счастливого момента князь ждал двадцать один год, а дождавшись, недолго утешался сознанием, что Шаховское наконец спасено. Года через два после этого случилась революция, и Шаховское было национализировано.

Долгие годы князь жил в деревне, занимался хозяйством и вел борьбу за Шаховское. Именно к этому времени относятся первые его статьи в конно-заводских журналах. По его инициативе в 1890 году в Москве был основан журнал «Конская охота», и с 1890-го по 1893-й включительно Оболенский был редактором этого журнала.

«Конская охота» была органом Тульского общества охотников конских испы-

таний. Дело в том, что после своего разорения князь Оболенский все же остался тульским вице-президентом, так как это не было связано с крупными расходами, а Оболенскому часто приходилось бывать в Туле по делам Шаховского. В 1890-м Оболенский выпустил небольшую, но очень интересную книжку воспоминаний, главным образом о своих встречах и знакомствах с выдающимися коннозаводчиками и спортивными деятелями.

Хотя Оболенский разорился, но связи у него, конечно, остались и он был дружен и хорош со многими выдающимися людьми. Его дружба с Львом Толстым хорошо известна всем. Именно Оболенский продал Льву Николаевичу чистокровную кобылу своего завода Фру-Фру, дочь салтыковской Квин-оф-Гройпс и внучку знаменитой Экзекютрис, принадлежавшей Александру II. Портрет Экзекютрис кисти Брюллова (жокей) и барона Клодта (лошадь) ныне находится у меня, он был куплен мною во время революции у внука знаменитого художника Сверчкова. Кому из образованных людей не известно теперь имя Фру-Фру? Толстой этим именем назвал лошадь Вронского, давая свое замечательное описание первой красносельской скачки в «Анне Карениной»!

Оболенский был также хорош с П. Ф. Самариным, А. А. Столыпиным, светлейшим князем П. Д. Салтыковым, Д. Д. Голохвастовым, Мосоловыми, графом К. К. Толем и, наконец, графом И. И. Воронцовым-Дашковым. Это были все лучшие люди своего времени и знаменитые коннозаводчики, спортсмены или общественные деятели. Приятельские отношения поддерживал Оболенский и с графом Соллогубом, автором «Тарантаса», и со Сверчковым. С последним он был в переписке, и у него хранилось несколько писем знаменитого художника – скорее всего, их уничтожили или покурили на сигарки.

Общение со столькими замечательными людьми своего века (а Оболенский вращался, кроме того, в литературных и политических кругах) не могло не наложить своего отпечатка на этого интересного человека, и Оболенский сам стал знаменит. Он пользовался большой популярностью, хотя я считаю, что его все же недостаточно оценили. В Америке или Англии Оболенский бы занял одно из первых мест в государстве или стал бы миллиардером, а у нас он натолкнулся сперва на интендантство, затем на рутину и косность тогдашних капиталистов и погиб. Я хорошо знал Оболенского, часто с ним встречался: Оболенский был превосходный и неутомимый рассказчик, обладал ясным и прозорливым умом, был, что называется, орлом по полету. Энергии, инициативы и настойчивости у него был непочатый край.

Оболенский был женат на дочери известного тамбовского коннозаводчика П. И. Вырубова. Княгиня очень любила лошадей, и князь утверждал, что она лучше, нежели он, знает рысистую лошадь. Князь был счастлив в своей супружеской жизни. Даже стариками, когда я их навещал во время революции в Туле, они были очень трогательной и нежной парой. У них было двое детей – сын Сергей и дочь, которая не совсем удачно вышла замуж, затем развелась, вторично вышла замуж и со своим вторым мужем уехала в Америку.

Сын Сергей Дмитриевич хотя и получил самое лучшее образование, но не блистал талантами. Так как средств у отца не было, он вышел после производства в офицеры в Нижегородский драгунский полк, который был расквартирован на Кавказе и имел стоянку в Тифлисе. Обыкновенно в этот полк выходили из Пажеского корпуса обедневшие представители аристократических фамилий. По своему офицерскому составу это был как бы добавочный гвардейский полк, он считался самым блестящим среди других армейских кавалерийских частей. Сергей Дмитриевич был мужчиной среднего роста, довольно плотный и некрасивый. Во времена наместничества графа Воронцова-Дашкова он сделал административную карьеру и стал на Кавказе губернатором, на каком-то посту его

и застала революция. Первый раз он был женат на очень богатой девушке и от этого брака имел сына. Его жена была дочерью генерал-адъютанта Дундукова-Корсакова, занимавшего много высших административных постов и одно время, если мне не изменяет память, бывшего наместником Кавказа. Жена Сергея Дмитриевича была богата. Когда она умерла, князь Дундуков распорядился, чтобы Оболенский получил лишь необходимые деньги на воспитание сына, а затем этот последний по достижении совершеннолетия должен был вступить во владение своим громадным состоянием. Сергей Дмитриевич женился вторично – на Терениной, после чего его отец взял на себя воспитание его сына, своего внука, в котором буквально не чаял души и который был действительно замечательным мальчиком. Князь Дмитрий Дмитриевич в нем справедливо видел не только продолжателя своего славного рода, но и блестящего во всех отношениях юношу. Я знал молодого князя, иногда видел его у деда. Он окончил Пажеский корпус очень молодым, что-то в девятнадцать лет, и был выпущен в лейб-гвардии Конный полк. После этого он сейчас же отправился на театр военных действий и через два года был не только адъютантом полка, но и имел золотое оружие за храбрость и Владимира 4-й степени с мечом и бантом. В этом юноше было львиное сердце, он отличался безумной отвагой. Карьера его складывалась самым лучшим образом, и после того, как он прослужил бы два-три года полковым адъютантом, государь, по традиции, должен был пожаловать его во флигель-адъютанты. В двадцать три года флигель-адъютант государя, блестящий офицер одного из лучших гвардейских полков и если не герой, то один из храбрейших офицеров гвардейского корпуса! Вот карьера, которую делал внук Оболенского. Молодой князь был очарователен во всех отношениях: высок ростом, строен и очень красив. Черты его лица были тонкие, необыкновенно приятные, мягкие и несколько женственные. Глаза голубые, с каким-то особым, привлекающим выражением. Волосы золотистые, с редким отливом. Сложен он был замечательно. Он привлекал к себе сердца, через какой-нибудь час после знакомства вы чувствовали себя с ним легко и свободно, как с родным и близким человеком. Таких людей любят, и такие люди бывают счастливы. Молодой князь превосходно владел языками, получил прекрасное образование. Он был умен, и, несомненно, его ожидало большое будущее. Лошадей он любил, но только верховых, и, смеясь, говорил мне: «Яков Иванович, я не люблю ваших рысаков, они так просты по сравнению с чистокровными лошадьми».

Когда разразилась революция, а позднее Гражданская война, он с опасностью для жизни перебрался на юг и принял участие в военных действиях против красных. Этого блестящего молодого человека пощадила война, но не пощадила гражданская междоусобица, и он погиб геройской смертью, пораженный во время атаки пулей в сердце. Когда в Туле об этом узнал старый князь, он принял этот последний удар судьбы стоически, однако с Россией его ничто уже не связывало, он всем тяготился и при первой возможности покинул ее пределы.

Сам Дмитрий Дмитриевич Оболенский, когда я его знал, находился в очень преклонных годах – ему было за семьдесят лет, но, несмотря на это, он сохранял ясность ума и большую подвижность. Князь был среднего роста, не сухощав, но и не полон, имел мелкие черты лица. Говорят, что в молодости он был очень красив. Стариком он носил небольшую бороду и коротко стриг волосы, которые, несмотря на годы, были у него густы и хороши. Князь имел немало врагов, так как не всегда был воздержан на язык. Говорили, что он любил сплетни, но в моих отношениях с ним мне не пришлось этого заметить.

Что представляло собой Шаховское, которое так любил и которое с такой

самоотверженностью, так долго отстаивал Оболенский? Большое имение, тысячи три десятин земли. Для нашей полосы это было очень крупное земельное владение. Земля хорошая – тульский довольно глубокий чернозем, местность ровная и неоднобразная, так как река Упа и ее приток Шат очень оживляют картину. Лугов много по обеим рекам, и сена хороши как на заливных лугах, так и в низинах. Само Шаховское расположено на ровном месте и окружено садами и паддоками, которые обсажены деревьями. Благодаря этому оно производит впечатление не нашей дворянской усадьбы, а имения в западном крае или же за границей. Паदдоки были разбиты англичанином, который служил у Оболенского, в них воспитывались и чистокровные, и рысистые лошади. Со станции Оболенское Сызрано-Вяземской железной дороги ведет прямая, как стрела, дорога. Хотя станция находилась недалеко, верстах в шести-семи, но для князя устроили специальную платформу, от которой было рукой подать до княжеской усадьбы. Все постройки – кирпичные, под железом, прочно и красиво сделанные.

При имении была паровая мельница, а также много служб. Все хорошо и прочно стояло на своем месте, что, увы, так редко встречается в большинстве русских усадеб. Дом – двухэтажный, старинный, очень поместительный и удобный. В архитектурном отношении он был наименее удачной постройкой, но так как это был еще дедовский дом, то князь его не тронул, ограничившись лишь необходимыми переделками внутри. Надо сказать, что Оболенский ценил старину и понимал в ней толк. Постройки усадьбы как бы венчала белая церковь со многими золотыми куполами, и к ней вела старая липовая аллея. При доме был небольшой парк, а далее – два хороших фруктовых сада. Часть огороженных паддоков окружали деревья, а другие паддоки – особый кустарник, который подстригался по шнуру, что было очень красиво. Несомненно, эти паддоки, окружавшие Шаховское, составляли украшение усадьбы. Я посетил все лучшие заводы России, но таких паддоков нигде не видел.

Общее впечатление, которое оставляло Шаховское, было самое благоприятное; здесь ни в чем не было видно самодурства и затей, чувствовалось много вкуса и подлинной красоты. Дом хозяина, когда вы только переступали его порог, ясно давал вам понять, куда вы попали. Все просто, скромно и уютно, но просто и скромно той простотой, которая дается не всем и стоит дороже всякой позолоты и мишуры. В вестибюле висела известная серия литографий Сверчкова, изображавшая хреновских, толевских и других лошадей сороковых и пятидесятих годов, а также несколько фотографий преимущественно знаменитых английских чистокровных жеребцов, в разное время выведенных в Россию. Уже в этом вестибюле вы чувствовали, что попали в дом коннозаводчика или, во всяком случае, страстного лошадики. В кабинете хозяина по стенам были развешаны портреты лошадей и собак работы лучших наших художников и две-три первоклассные картины охотничьего жанра. Мягкая ореховая мебель кабинета располагала к уюту и покою. Этот стиль, созданный петербургскими мастерами Туром и Гамбсом, был высшим достижением николаевской эпохи и одно время пребывал в непростительном небрежении. Перед самой революцией его вновь «открыли» и стали искать и платить за него большие деньги.

В гостиной было много интересного стекла и фарфора в старинных горках, которым пользовались еще деды и бабки Оболенских и Вырубовых. Столовую, большую и длинную комнату, украшали трофеи охоты, а в небольшой угловой гостиной висели фамильные портреты. Среди них некоторые, правда немногие, кисти первоклассных мастеров прошлого столетия. Очень удобны и уютны были комнаты гостей, там все было предусмотрено, чтобы вы могли себя чувствовать как дома. Наконец, одна комната в верхнем этаже отводилась под биб-

лиотеку, была увешана старыми, весьма ценными английскими гравюрами лошадей и охоты. В библиотеке стояли шкафы, наполненные книгами, кресла, два-три стола с блокнотами и карандашами для заметок. В этой комнате можно было не только спокойно читать, но и работать.

Очень интересен был по живописи большой портрет княгини Оболенской верхом на ее любимой чистокровной кобыле. Сверчков взял для портрета красивый пейзаж и изобразил лошадь на шаг; тут же рядом бежит белая левретка – любимая собака княгини. Кисти Сверчкова принадлежали портреты Красавца (подарок Голохвастова), Волокиты, чистокровных Клары Мак-Айон, Каро и Эсмеральды и акварель, изображавшая князя верхом со сворой собак. Кисти Франца были Грозный на ходу, Волокита на ходу, Волокита-Молодой и несколько акварелей охотничьего жанра.

Портрет Красавца князь подарил мне в благодарность за крупную услугу, которую я имел удовольствие в свое время ему оказать. Свой портрет, уезжая за границу, он подарил казанскому помещику Лебедеву-Бедокурову, Каро остался у г-на Борисова с некоторыми другими вещами князя, а остальные портреты я купил у Оболенского во время революции. Помимо этих портретов, у Оболенского были чрезвычайно интересные фотографии, например, знаменитой Грозы и Железного.

Все это погибло, но у меня имеется портрет Грозы, который был переснят по моей просьбе еще до войны. Фотография Железного уцелела – князь очень любил эту лошадь. Уезжая, почти спасаясь бегством из Шаховского, князь все же взял фотографию Железного. Это была небольшая фотография, оправленная в серебряную подкову и всегда висевшая у князя в спальне возле кровати. Вот почему я не знал о ее существовании. Впервые я увидел эту фотографию уже в Туле, в маленькой комнате Оболенского, но переснять ее в то время не представлялось возможным. К несчастью, когда князь уезжал за границу и укладывался, кто-то из мальчишек, помогавших укладываться, стащил фотографию. И она погибла. Насколько мне известно, это было единственное изображение Железного, и нельзя не пожалеть об этой потере.

Не только портреты и фотографии имел Оболенский, он интересовался также прошлым нашего коннозаводства и собрал весьма интересный архив: тут были написанные протоколы Лебедянского скакового общества, переписка по вопросам коннозаводства того же общества, много писем Голохвастова, Толя, Мяснова, Дунина, Петровского и других. Частично архив погиб, но самое интересное было спасено и приобретено мною.

Оболенский, как он мне сам об этом рассказывал, с детства любил лошадей, но так как он вращался среди скаковых охотников и любителей кровной лошади, то сердце его больше лежало к ней, нежели к лошади рысистой. Кроме того, Оболенский унаследовал от своего деда Бибикина страсть к псовой охоте, а она требовала верховой езды – отсюда знание верховой лошади. Рысистым охотником, а потом заводчиком Оболенский, честно говоря, сделался случайно. У его тестя П. И. Вырубова в Козловском уезде Тамбовской губернии был превосходный рысистый завод, с которым Оболенский познакомился в то время, когда еще был женихом. Вырубов подарил Оболенскому несколько превосходных рысистых лошадей, и Оболенский говорил мне сам, что он увлекся их красивыми формами и стал ценить рысака. После этого он начал посещать бега, заинтересовался этим делом и под влиянием Д. Д. Голохвастова завел рысистый завод. Так Оболенский стал рысачником и достиг на этом поприще выдающихся результатов. Первая опись завода Оболенского была напечатана по сведению от 1 ноября 1870 года.

Эта первая опись включает в себе пять заводских жеребцов и столько же



маток. Таким образом, бросается в глаза полное несоответствие между количеством жеребцов и маток. Это объясняется тем, что завод был еще в периоде формирования и далеко не представлял законченного целого. Здесь вполне уместно заметить, что вообще описи наших рысистых заводов печатались, по раз принятому обыкновению, в заводской книге сейчас же после своего основания, то есть тогда, когда еще не успели выявить своего лица, подчас имели ограниченное число лошадей и были еще далеко не сформированы. Такие описи и не представляют никакого другого интереса, кроме исторического. Так как согласно установленным Главным управлением государственного коннозаводства правилам каждая опись завода могла быть напечатана лишь один раз, то коннозаводчики, печатая описи сейчас же после основания своих заводов, тем самым лишали себя возможности в будущем вторично напечатать опись завода. Когда завод разрастался, видоизменял свой состав, накапливал приплодных лошадей, напечатанная опись не давала о нем решительно никакого представления. Поэтому по первой описи невозможно судить о том, чем стал в будущем замечательный завод князя Оболенского.

Более интересные данные мы встречаем в книге Лодыгина, где вторично печатается опись завода. Среди заводских производителей мы уже находим четырех победителей Императорского приза, а именно Волокиту, Грозного, Залетного и Светляка. К ним добавлен купленный в 1873 году у И. М. Кученева знаменитый Железный, отец Грозного, а из старых жеребцов сохранен один лишь вырубовский Поспешный. Можно смело сказать, что ни в то время и никогда впоследствии ни один рысистый завод не имел одновременно среди производителей четырех победителей Императорского приза! Маточный состав был пополнен выдающимися кобылами: двумя родными сестрами Буйной и Грозой Аласина (Гранит – Буянка), Воровкой (Баловень – Послушная) – матерью Грозного, Ветрянкой Вяземских, двумя коробынскими кобылами, Досадницей и Дунайкой – дочерьми старого хреновского Бедуина, дочерью Железного кученевской Индюшкой, двумя воронцовскими кобылами Недотрогой и Полканшей, знаменитой ершовской Самкой и одной хреновской кобылой Убористой. Из старых маток остались яньковская Флейта да три-четыре кобылы от вырубовских и пашковских лошадей. Налицо уже все те элементы, которые создали славу Шаховскому заводу, и к ним впоследствии, после напечатания этой описи, Оболенский добавит одну лишь Пилку, мать знаменитого кожинского Полотера. Князь Оболенский вел свой рысистый завод всего лишь десять лет. Он почти целиком распродал его в 1880-м, и лишь две-три кобылы были проданы позднее. Переформировывая завод в середине семидесятых годов, Оболенский продал все, казавшееся ему менее ценным, Варшавскому, но среди этого менее ценного все же должен был дать несколько таких маток, с которыми он расстался с трудом.

Думал ли тогда князь, уступая этих лошадей Варшавскому, что последний через каких-нибудь несколько лет сыграет такую роковую роль в его судьбе? Во второй половине семидесятых страшное несчастье обрушилось на завод князя. Ночью случился пожар, сгорела ставочная конюшня и жеребятник, причем в огне погибли лучшие молодые лошади: трехлетки, двухлетки, годовики и отъемыши. В последней конюшне, как особенно теплой, стоял также производитель – старик Железный. Всего в огне погибло около пятидесяти лошадей. Хотя причина пожара не была выяснена в точности и виновник не обнаружен, но князь мне говорил, что это была месть одного из конюхов англичанину, заведовавшему этими двумя конюшнями и бывшему очень требовательным и строгим. Удар, нанесенный коннозаводской деятельности Оболенского, был из числа тех, от которых не только трудно, но почти невозможно оправиться.

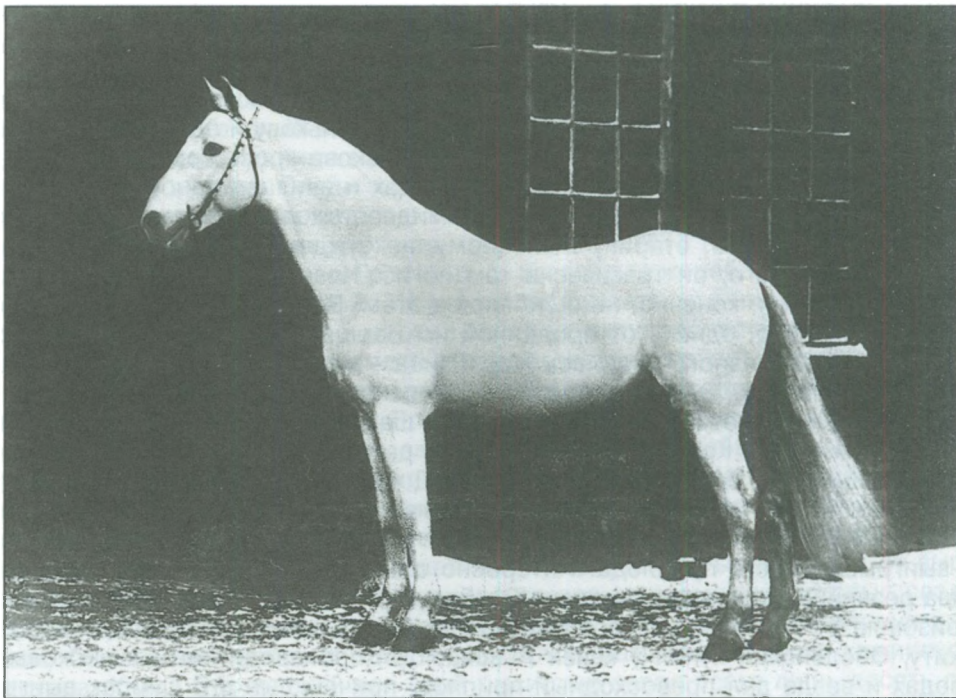
Оболенский особенно жалел детей Железного и говорил мне, что с ними он покорил бы всех остальных рысаков и никакие конкуренты ему были бы не страшны. Князь в отчаянии решил распродать рысистый завод, но княгиня уговорила его этого не делать, хотя Оболенский, потеряв лучших молодых лошадей, не мог смотреть на остальных и около года не был на рысистом заводе.

Но завод Оболенского пережил все и, несмотря ни на что, вошел в историю коннозаводства страны. Старый князь мог гордиться тем, что два таких рекордиста, как Крепыш и Питомец, происходили по прямой женской линии от кобыл, родившихся в его заводе! Плодами того, что создал Оболенский, результатом его знаний, исключительно умелым и талантливым подбором жеребцов и маток воспользовались другие. И как воспользовались – вывели массу резвых лошадей и даже рекордистов!

Производители князя Оболенского, как, впрочем, и все остальные его рысистые лошади, разошлись по разным рукам. Волокиту купил Н. П. Малютин. Грозный попал к рязанскому коннозаводчику Г. Д. Янькову и один создал в этом заводе призовое направление. Через завод Янькова кровь Грозного получила широчайшее распространение в наших заводах и явилась одной из наиболее устойчивых при передаче резвости в восьмидесятых и девяностых годах. Третьему производителю, старику Железному, не суждено было пожать лавры в заводе Оболенского, он трагически там погиб. Но князь его считал великим производителем и, конечно, не ошибался в этом. Все, что дал Железный Оболенскому, сгорело; однако от проданной им Варшавскому жеребой полукровной кобылы и Железного родилась Жар-Птица – мать Питомца, о котором когда-то говорила и думала вся спортивная Россия. Что же представлял из себя остальной приплод этого жеребца и лучших шаховских кобыл? И как не согласиться с покойным Карузо, что орловского рысака преследует какой-то злой рок! Маленький Залетный был продан А. Н. Добрынину и буквально создал этот завод и его славу, которая в свое время была немалой. Залетный оказался решительно необыкновенным производителем и стоял на одном из первых мест по выигрышу своего приплода. Интересно отметить, что в России после Крепыша резвейшей лошадей считался Эльборус (2 минуты 10 секунд), а его мать произошла от Ратника, лучшего сына Залетного. Светляк, которого, как и Волокиту, Оболенский купил у князя Львова, был производителем в нескольких заводах и везде дал превосходный приплод, причем сын его Сумрак выиграл Императорский приз. Наконец, Полотер, которого Оболенский по окончании беговой карьеры предназначал в завод, оказался также замечательным во всех отношениях жеребцом. Он умудрился давать призовой приплод даже в заводе Сонцова и сам оказался рекордистом.

Приведу здесь отзывы князя об этих жеребцах, которые я записал тогда же в Шаховском. Больше всех других любил и ценил князь Железного, затем шел Полотер. Железный, по словам Оболенского, после Гранита был лучшей рысистый лошадей, которую он знал. Оболенский был положительно влюблен в Железного, который был под пять вершков росту, очень глубок, капитален, костист и при этом породен, как араб. Масти он был белой и имел редкую особенность: его грива достигала колен, так была она велика. Судя по фотографии, он был очень костист, крупен, делен, имел превосходную линию верха и был правилен так, как редко бывает правильна рысистая лошадей вообще. Однако он показался мне скорее простоват, чем арабист. Когда я высказал это князю, он пришел в положительное негодование и несколько раз повторил: «Я уже вам говорил, что Железный был настоящий араб!» Фотография была снята зимой, и остается предположить, что зимняя шерсть, обросшая грубым волосом

нога и прочее не давали верного представления о типе этой лошади и упрощали ее; вероятно, в летнем уборе Железный отвечал тому, о чем так настойчиво говорил мне Оболенский. То же чувство некоторого разочарования мне пришлось испытать, когда я впервые увидел фотографию великого кожинского Потешного. По ней нельзя было вполне понять те восторженные отзывы об этой лошади, которые давали князь Вяземский, Сахновский, Грушецкий и другие знатоки. Так как Потешный тоже снят зимой, то теперь я понимаю причину своего разочарования. На Железном Оболенский думал базировать всю свою заводскую работу, затем ему на смену пустить Полотера, когда тот закончит свою призовую карьеру. На том, чтобы Железному давать лучших маток и притом в



*Потешный*

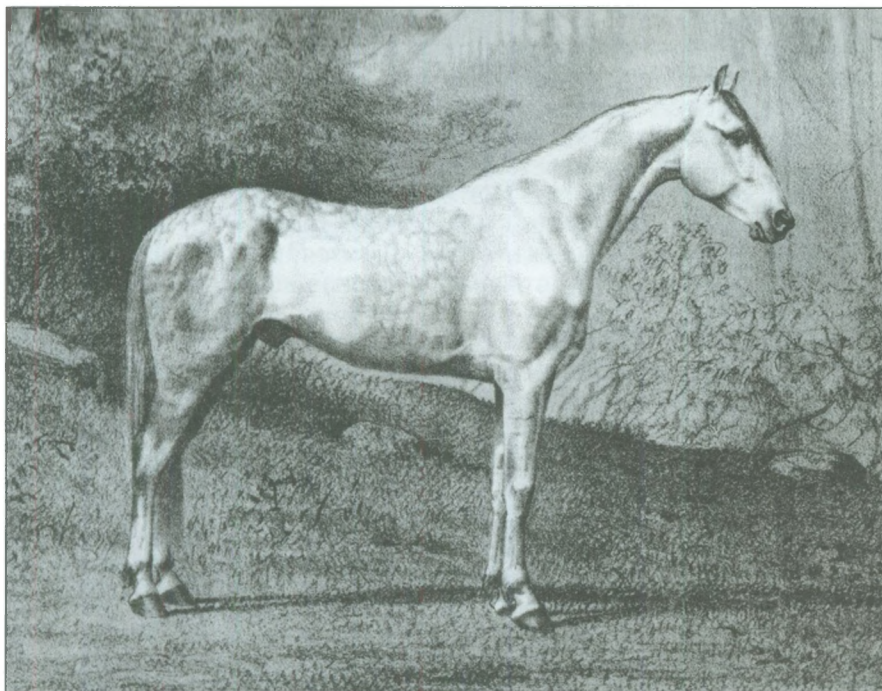
возможно большем количестве, настаивал англичанин-управляющий, говоря: «Если вы его считаете лучшим и он это доказал по приплоду, давайте ему решительно всех маток. Знаменитые производители редки. Это каждое десятилетие подтверждается у нас в Англии». Князь же, имея кроме Железного одновременно Светляка, Волокиту и Залетного, уделял и им кобыл, утверждая, что они тоже будут знаменитые жеребцы. На это англичанин говорил: «Не может быть, чтобы все эти жеребцы оказались замечательными производителями. Кто-нибудь один будет великим, и это, наверное, Железный». Слова англичанина подтвердились вполне, ибо Грозный не дал такого сына, как он сам, Волокита был хорош лишь по дочерям, а Светляк имел хорошую заводскую карьеру, но не больше. Железный же дал Грозного и много других выигравших детей. Его дочь Жар-Птица, мать Питомца, лучше всяких слов подтверждает, что представляли собой дети Железного, родившиеся в заводе Оболенского.

Полотер, по мнению Оболенского, был высок на ноге, но во всем остальном – идеальной красоты. Оболенский справедливо полагал, что в заводе он

сядет на ногах и не будет казаться цыбатым, это временное явление, отчасти вызванное тем, что лошадь находилась с двухлетнего возраста в тренировке. О резвости Полотера Оболенский был самого высокого мнения и говорил мне, чтонисколько не удивился, когда Полотер побил рекорд. Когда Оболенский купил Полотера (1876 год), Железному было уже двадцать лет, так что поступление Полотера в завод было вопросом года или двух. Я задал Оболенскому вопрос, почему он, так ценя Полотера и предназначив его в завод, продал его в 1877 году известному охотнику Волкову. На это Оболенский ответил, что он продал Полотера только потому, что под влиянием скандального лишения Полотера приза переименовал его в Ограбленного и решил ликвидировать навсегда призовую конюшню.

Оболенский взял с Волкова слово, что тот обязуется Полотера не продавать, а по окончании призовой карьеры уступить его в завод Оболенского. Цена 3500 рублей была заранее обусловлена. Волков сдержал слово и, продав Полотера Сонцову, обязал его распиской уступить Полотера Оболенскому, если тот пожелает. Начавшаяся в следующем году Русско-турецкая война, а затем разорение князя и ликвидация его завода повернули дело так, что Полотер навсегда остался в заводе Сонцова.

Грозного Оболенский считал резвейшей лошадейю в своей призовой конюшне. Помимо Императорского приза, Грозный выиграл ряд других именных призов. По себе Грозный был нехорош: у него был козинец, торцовое копыто и он был прост. Однако Оболенский его продал только после того, как купил его отца Железного, которого во всех отношениях ставил выше сына. Князь говорил мне, что М. И. Кожин в 1871 году был на бегу. Ему настолько понравился Грозный на ходу, что он просил разрешения князя осмотреть лошадь и на выводке. Князь



*Полотер, серый жеребец, завод М. И. Кожина, род. в 1872 г. от Потешного и Пилки. Выигрывал и от него выигрывали*

лично показывал Грозного Кожину. Кожин восхищался его мускулатурой и сухостью и предсказывал ему блестящую призовую карьеру, что, как известно, сбылось полностью. Как говорил мне Оболенский, он тогда был разочарован словами и похвалами Кожина, думая, что последний просто наговорил ему любезностей, но впоследствии князь не раз вспоминал пророческие слова знаменитого коннозаводчика. Оболенский всегда сожалел, что продал Грозного Янькову, говоря, что попади лошадь в завод призового направления и на настоящих кобыл, от Грозного были бы необыкновенные дети. Нужно сказать, что Оболенский не любил Г. Д. Янькова, а главное, не ценил его как коннозаводчика.

Волокита был на высоком ходу, очень хорош по езде, резов, но не так силен. Сложен превосходно и чрезвычайно гармоничен. Оболенский его демонстрировал на выставке, и Волокита был премирован. Сверчков по просьбе князя его так и изобразил на своем портрете – с медалью на шее.

Залетный был невелик ростом, очень сух, арабист, но имел шею с кадыком. Был очень строг на езде и чрезвычайно строптив. Вследствие этого князь и продал его А. Н. Добрынину. Интересно отметить, что Залетного очень любила княгиня, которая была против этой продажи, предсказывая Залетному большую будущность.

Светляк был небольшого роста, красно-гнедой масти, как и его прадед, шишкинский Бычок, портрет которого в то время принадлежал Оболенскому. Это тождество даже в оттенке масти отмечалось Оболенским. У Светляка имелась лысина во весь лоб, он был очень густ, имел правильные ноги, хорошую спину, но был простоват.

Посмотрим теперь, куда распределились заводские матки Шаховского завода после его ликвидации.



*Полотер в возрасте*

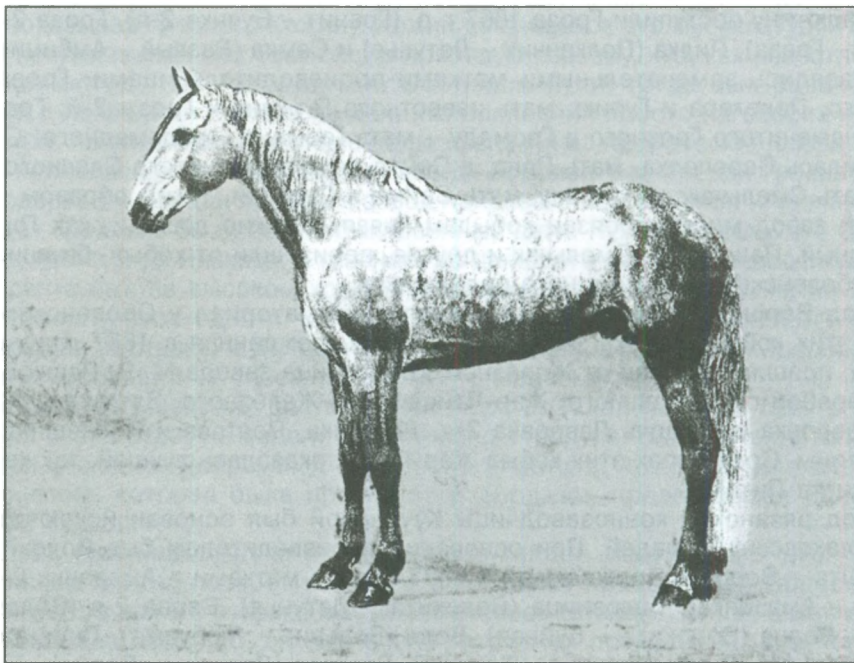
К Малютину поступили Гроза 1867 г. р. (Гранит – Буйанка 2-я), Гроза 2-я (Волокита – Гроза), Пилка (Полканчик – Летунья) и Самка (Резвый – Амбиция). Все они оказались замечательными матками-производительницами. Гроза дала Грозного, Полотера и Гурию, мать известного Гетмана и Грозы 2-й; Гроза 2-я дала знаменитого Грозного и Громаду – мать Горыныча и Громادного! От Пилки родилась Перепелка, мать Пана, а Самка дала знаменитого Славного, Смелую, мать Смелычака, и Сирену, мать Сейма и Сударки. Таким образом, малютинский завод многим обязан кобылам князя, и такие лошади, как Горыныч, Громадный, Пан, Сейм, Смелычак и другие, произошли от кобыл, бывших в заводе Оболенского или же у него родившихся.

Завод Варшавских широко почерпнул свой материал у Оболенского. Вот имена этих кобыл: Арабка завода Вырубовых, рожденная в 1867 году, внучка Рысака, пришла жеребой от Железного; Баловница завода М. В. Пашкова пришла жеребой от Поспешного; Жар-Птица, дочь Железного. Затем идут Залетная, Лавровка и ее дочь Лавровка 2-я, Любушка, Полтава и Поспешная, мать Жар-Птицы. Среди всех этих кобыл Жар-Птица оказалась лучшей, так как дала рекордиста Питомца.

Завод рязанской коннозаводчицы Кученевой был основан исключительно из-за шаховских лошадей. При основании производителем был Волокита 3-й (Волокита – Воровка), рожденный в 1877 году, а матками – Амазонка 3-я (Волокита – Амазонка), Баловница (Волокита – Летунья), Варна 2-я (Волокита – Варна), Волна (Волокита – Буйная), Воля (Вольник – Любушка), Галица (Волокита – Галица), Лихая (Барчук – Лихачка), Светлая (Светляк – Варна) и другие. Кученевские лошади очень прославились, и Амазонка 3-я (дочь старой Амазонки, которую очень ценил князь) дала Амазона и Добряка, имя которого встречается в родословной некоторых первоклассных лошадей. От дочери светлой Метелицы был классный Косматый (1.33). И вообще из кученевского завода вышло немало хороших лошадей. Словом, завод г-жи Кученевой следует рассматривать как прямое продолжение завода Оболенского. Большое влияние лошади Шаховского завода имели как на формирование, так и на будущие призовые успехи Д. А. Кулешова. Там производителем состоял Проворный (Волокита – Полканша). Из кобыл лучшими оказались Амазонка-75, дочь Волокиты, давшая знаменитого Атамана и затем Аврору; Буйная-78 (Светляк – Буйная); Виктория-78 (Волокита – Полканша); Волостная, дочь яньковской Флейты, и ее дочь Выюга (от Волокиты). Все эти кобылы дали призовой приплод, сами выигрывали, а Аврора основала замечательную женскую семью, из которой вышло много резвых лошадей.

К Офросимову поступили Залетная-74 (Залетный – Самка), Краля (Волокита – Гроза) и Светелка-78 (Светляк – Забава). Из них первые же две дочери Залетной выиграла, а Краля дала Азу, лучшую матку завода Офросимова, из потомства которой вышел бесконечный ряд офросимовских Амбиций. Князь мне говорил, что к Офросимову попали две едва ли не лучшие кобылы его завода – Залетная и Краля, но он не отвел от них знаменитых лошадей. Краля была родной сестрой Грозы 2-й, а Залетная – дочерью Самки, а мы знаем, каких замечательных лошадей дали Самка и Гроза 2-я у Малютина. Оболенский всегда сожалел, что Краля не попала в первоклассный завод; судя по деятельности ее родной сестры Грозы 2-й, от нее также следовало ожидать рекордистов!

Свечин имел от Оболенского целых трех заводских производителей – Быстрого, Сурьезного и Усердного, а также заводских маток – Азарную, коробынскую Досадницу, Пилу, Пилку и других. Следует заметить, что Свечин ничего замечательного не отвел от лошадей Оболенского, как, впрочем, и от многих других, бывших у него в заводе.



*Волокита завода А. И. Сабурова*

Князь С. М. Голицын купил Волокиту-Молодого-76 (Волокита – Буйная), Барыню (Барчук – Азарная) и Зазнобу (Залетный – Забава). Эти лошади дали резвых лошадей, и их потомство долгое время появлялось на ипподромах и бежало даже за границей.

Наконец, следует иметь в виду, что целый ряд более мелких заводов Тульской губернии (Ливенцовых, Вознесенского и других) имел лошадей из завода Оболенского и воспользовался им с большим успехом.

Выше всех других своих кобыл Оболенский ценил Грозу, дочь Гранита и Буйянки 2-й. Он подарил мне превосходную фотографию этой кобылы, переснятую с акварели Френца. Гроза была суха, имела, по словам князя, почти пять вершков роста, была очень породна и женственна. Масти была темно-серой со светлыми гривой и хвостом, потом серой в яблоках и, наконец, белой. Как и отец, она сначала была узковата, но только до поступления в завод. Накоротке была страшно резва, но дистанцию не доходила. Интересно, что и ее внучка Громада была резвости феноменальной, но накоротке, дистанцию же не доходила и становилась в обрез.

Гроза была любимицей князя. И это лишний раз подтверждает, какой верный глаз он имел и каким удивительным чутьем к лошади обладал. Теперь для всех очевидно, что старая Гроза – одна из лучших кобыл рысистого коннозаводства. Судя по прежним описаниям и изображению Грозы, я считаю ее по формам типичной представительницей Горностая, которому она приходилась всего лишь внучкой. Я знал многих дочерей Громадного, и среди них лучшие ходили на Грозу, даже точно повторяли ее рубашку.

Из двух дочерей Грозы Оболенский выше ставил Кралю, которая попала к Офросимову. Князь не мог без раздражения говорить об Офросимове и только повторял: «Дурак, дурак, погубил такую кобылу, она бы ему целое состояние дала!» Фотография Крали сохранилась в Фатееве, бывшем имении Офро-

симова; по ней можно судить, как в действительности была хороша эта кобыла. «Я не любил претенциозных названий, – говорил князь, – но Краля была так хороша жеребенком, что я согласился с маточником, который предложил мне ее назвать Кралей, и это имя было дано дочери Волокиты и Грозы».

Если старая Гроза была любимой кобылой князя, то самой правильной он считал Самку. Самка была белой масти, широка, костиста и густа. Я знал ее дочь Сирену в заводе Малютина и должен сказать, что даже в этом знаменитом заводе она была одной из лучших и, по-видимому, по формам повторяла мать. Если бы меня попросили назвать пять лучших рысистых кобыл, которых я видел на своем веку, то Громаду я бы не назвал, а Сирену назвал бы обязательно.

Пилку Оболенский называл не иначе как арабской кобылой и добавлял, что, если бы она не была матерью Полотера и не пришла от Кожина, он бы ее никогда не пустил бы в рысистый завод, решив, что она происходит либо от арабского жеребца, либо же от какой-нибудь стрелецкой кобылы.

Еще об одной кобыле упоминал Оболенский, об Амазонке, которая попала к Кулешову. О коннозаводских талантах последнего Оболенский был приблизительно такого же мнения, как и о таланте милейшего Сашета Офросимова. Он считал, что Амазонка – выдающаяся кобыла, и она это подтвердила своей заводской деятельностью. По себе она была длинна, суха, угловата, имела головку с довольно длинным ухом. Была очень резва и за это ценилась князем. Насколько был прав князь, видно по тому, что дочь Амазонки – Амазонка 3-я впоследствии дала Амазона и Добряка – двух выдающихся жеребцов.

Отличную характеристику Оболенский давал кобыле Воровке, матери знаменитого Грозного, которую он купил уже в восемнадцатилетнем возрасте у И. М. Кученева. Воровка была трех вершков, гнедая, очень сухая, скорее верховая, нежели рысистая лошадь.

Жар-Птица, мать Питомца, Оболенский и не знал, но по моей просьбе подробно рассказал о матери ее и бабке. Жар-Птица была лишь на 3/4 рысачка, ибо ее мать, кобыла Поспешная, – дочь вырубовского Поспешного и кобылы завода г-на Астафьева Любушки, чье происхождение неизвестно. Когда так резво побежал Питомец и начал ставить свои рекорды, сейчас же нашлись охотники утверждать, что эта Любушка была чистокровной кобылой. Князь мне рассказывал следующее: «Любушку я не помню; она была куплена моим дедом Бибиковым и ходила у нас под охотой, а стало быть, была резва и вынослива, ибо в охоте были и кровные лошади. Она родилась в заводе Астафьева, где и чистокровные производители были, и полукровные лошади разводились. Возможно, что была дочерью или внучкой чистокровного жеребца. Ее дочь Поспешную помню хорошо: густая, вороная, довольно сырая кобыла, вся вышла в вырубовских лошадей. Ходила в четверке моей матери, была покрыта по моему распоряжению Железным, который был сух и араб. Жеребой от Железного и была продана Варшавскому».

Сын Жар-Птицы Питомец был по призовой карьере феноменом, а по заводской – неудачником. Видимо, Любушка сказалась...

Теперь необходимо сказать несколько слов об Оболенском как призовом охотнике и о его спортивной карьере.

Прежде всего следует обратить внимание, что князь часто менял ездоков. У него ездили А. Чебурок, Еф. Иванов, Герасев, В. Морозов, Е. Пашков и другие. Князь мне сам рассказывал, что после корректных и дельных англичан-жокеев и тренеров его возмущали и выводили из себя грубые и подчас пьяные российские ездоки. Известен печальный конец посылки Грозного в Вену на международные бега. Грозный имел исключительные шансы на выигрыш и, по отзывам венской спортивной прессы, должен был легко взять приз. Одна-



ко Еф. Иванов выехал вдребезги пьяным и не был допущен к участию в беге! Такое безобразие едва ли могло с кем-либо случиться, кроме русского человека... Первые годы (1866 и 1869) Оболенский является случайным участником провинциальных бегов, но начиная с 1870 года, когда он основал завод, он уже ведет своих лошадей в Москву и считает нужным принимать серьезное участие в спорте. Годы с 1871-го по 1875-й – расцвет его спортивной деятельности. В это время он выигрывает почти все крупнейшие призы, имеет на своей призовой конюшне лучших рысаков своего времени, три года кряду выигрывает в Петербурге Императорский приз: в 1873 году на Грозном, в 1874-м на Волоките, в 1875-м на Светляке. Я выразил князю удивление по поводу этих трех выигранных призов, а он улыбнулся и сказал, что, если бы не упрямство и не самомнение Телегина, он выиграл бы и четвертый Императорский. «Осенью 1875 года я был в Орле, – рассказывал князь. – Я увидел у Телегина очень резвого и сильного пятилетка. Лошадь работалась на орловском бегу. Телегин в то время служил в Орле председателем уездной земской управы и каждодневно сам наблюдал за своим рысаком. Лошадь мне понравилась. Я прикинул, что при правильной подготовке она может зимой выиграть Императорский приз и, решив его купить, предложил Телегину хорошие деньги. Тот наотрез отказался. Тогда, чтобы убедить его, я ему сказал, что обязательно на его лошади выиграю Императорский приз и специально для того покупаю лошадь, то есть открыл ему свои карты. И добавил: «Какая слава ожидает завод Телегина, как это благоприятно отразится на продажах лошадей!» Телегин с самомнением ответил, что он и сам сумеет выиграть Императорский приз на такой резвой лошади. «Нет, не выиграете! – ответил я. – Держу пари, что даже не приведете лошадь в Санкт-Петербург: мало иметь лошадь, надо еще иметь ездока и уметь ее подготовить к такому призу». Все-таки Телегин лошади не продал, и Оболенский уехал из Орла. Слова его сбылись полностью: телегинский рысак был поломан и даже не пришел в Санкт-Петербург. 1876 год блестяще начался для Оболенского: ему посчастливилось купить Полотера, который через какой-нибудь год стал не только резвейшей лошадью на ипподроме, но и рекордистом. Стало быть, на смену Грозному, Волоките, Светляку появился новый крэк, а с ним императорские, именные, медали, кубки и слава! Все предвещало блестящее продолжение этой спортивной карьеры, но вдруг Оболенский ликвидировал призовую конюшню из-за неправильно отнятого у Полотера приза. Нечего таить, такие дела бывали на московском бегу, но князь, который, как он мне сам говорил, уже давно тяготился кругом лиц, вращавшихся в то время на бегу, и порядками, которые там существовали, решил круто порвать со всем этим.

В следующем году, 1877-м, ни одна лошадь уже не бежала от его имени. В 1876-м и 1879 году его лошади имели всего лишь три выступления на ипподромах. В 1880 году имя Оболенского в последний раз значится в числе лиц, записавших своих лошадей по предварительной подписке, и затем навсегда сходит со страниц беговых афиш и рысистых календарей.

В чем крылась причина успеха князя Оболенского в коннозаводстве и спорте? Когда я прямо задал этот вопрос Оболенскому, он не задумываясь ответил мне: «Я с первых же дней моей коннозаводской деятельности кормил, хорошо воспитывал и работал лошадью. В этом вижу главную, если не единственную причину успеха!» Далее, развивая ту же мысль, Оболенский рассказывал мне, что в то время, когда он начал заниматься коннозаводским делом, в Тульской губернии ни один коннозаводчик своих лошадей не кормил: богатые потому, что не находили это нужным, мало интересуюсь делом, а бедные, но страстные охотники, вроде Янькова, потому, что не имели для этого средств.

Не меньшее значение имело воспитание лошади, которое действительно давалось на заводе Оболенского англичанами. Что особенно важно отметить, рысаки Оболенского кормились и воспитывались как чистокровные лошади, а кто из нас, грешных, не знает, насколько воспитание чистокровной лошади в России стояло выше, чем лошади рысистой. У князя уже жеребята получали овес – и это в то время, когда среди рысистых охотников существовало убеждение, правда, очень выгодное для кармана, что до двух лет молодой лошади давать овес вредно! Кроме того, жеребята подпаивались коровьим молоком и им давались яйца. Вместо табунов жеребята ходили в паaddockах и несли с самого раннего возраста правильную и систематическую работу. Этот режим для рысистого завода был установлен управляющим, убедившим князя, что если он желает иметь хороших лошадей, то он должен воспитывать их как чистокровных лошадей и прежде всего сделать культурными. Оболенский был настолько умен, что согласился с англичанином и установил режим, какого в те времена, можно смело сказать, не было ни на одном рысистом заводе в России.

Конечно, немалую роль сыграли и знания, и счастье. Оболенский был исключительно счастливым охотником, а кроме того, действительно всесторонне и хорошо знал лошадь. Он был учеником кровных коннозаводчиков, а тот, кто хорошо знает кровную лошадь, знает и всякую другую. Постоянное общение с англичанами – управляющим, тренерами и жокеями – тоже принесло князю немалую пользу и способствовало тому, что он знал все тонкости и мелочи нашего дела, которые подчас имеют очень большое значение и оказывают весьма важное влияние на весь ход коннозаводского мероприятия. Как это ни парадоксально, особенно в моих устах, но было крайне важно именно то, что Оболенский в рысистом деле был человеком новым, без предрассудков, не связанным обычаями старины, а потому смело поставил всё на новый английский лад. Ему не приходилось вести борьбу со своим старым коннозаводским персоналом, с рутинной, дикими взглядами и прочим, а предстояло создать все заново. И он справился с этим блестяще.

Я много часов провел в интересных беседах с князем, с ним был судьей на выставках лошадей и могу сказать, что он был настоящий и тонкий знаток лошади. Глаз у него был необыкновенно верный и точный, и он не только видел, но и чувствовал лошадь.

Генеалогию орловского рысака Оболенский не знал и ею не интересовался. Однако он сам и безо всякой посторонней помощи – помощи генеалогов – составил столь замечательный завод, что имя его навсегда вошло в историю рысистого коннозаводства страны! Я не мог не задать ему вопроса, чем он руководствовался, покупая маток для завода. «Прежде всего их прошлой заводской карьерой», – последовал лаконический ответ. По этому принципу были куплены Слава Болдарева, Азарная князя Черкасского, Воровка, мать Грозного, и Пилка, мать Полотера. Несколько кобыл было отобрано из старых лошадей Шаховского завода, но только таких, которые доказали на деле, своей службой и повседневной работой, здоровье, силу и резвость. Среди этих кобыл оказалась Амазонка, основавшая через своих дочерей в двух заводах (Кулешова и Кученевой) замечательные женские семьи. Отдельную группу кобыл составляли те, которые прошли через призовую конюшню и вообще через ипподром, и среди них оказалась Гроза. Таким образом, не будучи генеалогом, Оболенский составил завод, на развалинах которого впоследствии расцвели и создались многие заводы России...

Почти весь конец 1909 года я прожил безвыездно в Прилепах. Зимняя деревенская жизнь в средней полосе России, несомненно, имеет свои прелести, и я всегда любил деревенскую зиму. В небольшом доме было тепло и уютно,

дрова потрескивали в каминах, в окна глядело ясное синее небо, деревья в саду были покрыты красивым инеем, река замерзла, и по ней уже шла езда. Утром после кофе и первой выкуренной сигары, которая доставляет такое удовольствие каждому настоящему курильщику, я отправлялся на конюшню, смотрел лошадей, наблюдал за гонкой в манеже и иногда ходил на реку посмотреть езд



*Яков Иванович Бутович. Журнал «Русский спорт», 22.07.1912 г.*

двухлетних рысаков. Частенько я делал выводку заводских маток и жеребцов и обсуждал с наездниками и Ситниковым коннозаводские новости Москвы и наши деревенские происшествия. Особенно я любил присутствовать на маточной во время обеденной уборки и после того, как кобылы поедят овес и примутся за свежее зеленое сено. Я обходил вместе с маточником Андреем Ивановичем Руденко всех кобыл, заходил к каждой в денник и некоторыми из них подолгу любовался...

Наконец все кобылы пересмотрены, и в конюшне, кроме меня и маточника, никого нет: ребята давно уехали обедать. Пора уходить и нам. Я отпускаю маточника, конюшню запирают до четырех часов дня – времени проводки маток, и я ухожу домой. Здесь, в теплом и уютном доме, тоже хорошо: со стен смотрят портреты знаменитых рысаков, яркий луч солнца иногда играет на золоте фарфора и в кабинете пахнет сигарами. Время до обеда летит незаметно: посмотришь газету и коннозаводские журналы, ответишь на письма. И вот пора обеда. Иногда к обеду придет кто-либо из соседей или охотник из города, и разговор всегда вертится вокруг лошадей и событий деревенской жизни. Летит время: не успеешь выкурить сигару и всласть почитать последний французский роман, как уже стемнело и настало время вечерней уборки. Нельзя отказать себе в удовольствии лишний раз посмотреть на своих любимцев, и опять идешь на конюшню, опять наблюдаешь знакомую жизнь, слышишь нетерпеливое ржание кобыл, беспокойное ржание и волнение жеребцов и тонкий, как бы нерешительный голос жеребят. Кругом спуют конюхи, медленно, важно раз-

дает порции овса Андрей Иванович, а Ситников нервными шагами ходит по коридору и все замечает, все видит. На ставочной и в конюшне производителей еще оживленнее: здесь оба наездника громко обсуждают завтрашнюю работу; один из них, Лохов, кого-нибудь смешит или пробирает; сами лошади, молодые, полные жизни и огня, ведут себя в денниках беспокойно и нервно. Глаза у них горят, они скалят зубы, вертятся и не берутся за корм до тех пор, пока в конюшне не настанет полная тишина и люди не удалятся по домам. В этом лошадином царстве и у людей, и у животных сытый и довольный вид: люди живут для лошадей, все помыслы, все интересы усадьбы сосредоточены на сыне Каши или сыне Боярской, на детях Недотрога, успехах Кота в Одессе и прочем. Как-то хорошо и радостно на душе, и этот довольный вид людей кажется таким естественным и понятным, и сердце еще не чувствует того, что близок, близок момент, когда человек человеку станет зверь и улыбка довольствия надолго исчезнет с лиц... Долгие зимние вечера проводишь за чтением, почти всегда один, с сигарой и книгой в руках. Иногда на огонек зайдет приходский священник отец Михаил. Оставишь его ужинать, и батюшка рассказывает все новости о свадьбах и крестинах, что уже были или еще предстоят в Прилепах и Кишкине...

Так мирно и спокойно текла жизнь той зимой в Прилепах; я отдыхал душой, работал, много читал, занимался лошадьми и строил планы на будущее. Вот подошли, а затем миновали рождественские праздники; отстояли всем миром в церкви, помолились Богу, приняли, по обычаю предков, в доме и на усадьбе духовенство с иконами и хоругвями, и жизнь опять вошла в свою обычную трудовую колею. Сейчас же после праздников я уехал сначала в Москву, а потом в Санкт-Петербург; там я встретил Новый год, который мне сулил столько успехов и радостей на коннозаводском поприще и который был так удачен для меня.





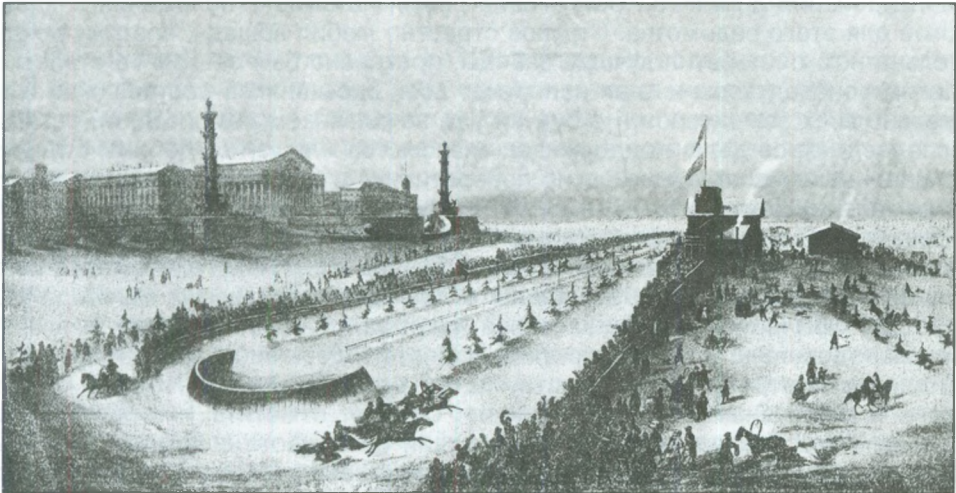
## В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Новый 1910 год я встретил в семье моего старшего брата Николая Ивановича в Санкт-Петербурге. Брат Николай окончил Александровский лицей и затем служил в канцелярии Совета министров, которая находилась в Мариинском дворце. Он делал блестящую карьеру и еще сравнительно молодым человеком принял участие в комиссии статс-секретаря Куломзина, которая по высочайшему повелению ревизовала только что построенный Сибирский путь и проводила всестороннее обследование Сибири. Труды этой комиссии вышли через несколько лет в десяти или двадцати томах; каждый член комиссии получил отдельную отрасль для исследования, и брату моему, очевидно как сыну помещика, было поручено земледелие и скотоводство. Этот том, написанный братом (на каждом томе была фамилия автора), и сейчас хранится в моей библиотеке. Блестяще начатая карьера прервалась в 1890 году, то есть в год смерти отца: все мы, наследники, избрали брата Николая душеприказчиком для ликвидации крупных дел отца, раздела и прочего. Николаю переходило и наше родовое имение Касперовка с очень большим хозяйством, винокуренным, черепичным и другими заводами, и вполне естественно, что он должен был оставить службу. Брата настолько ценили, что предложили ему числиться при канцелярии Совета министров для особых поручений, чтобы он мог приезжать в Петербург не более как на два-три месяца в году, все же остальное время вести хозяйство. Брат так и поступил и тем не порвал тех связей, которые у него образовались в высших бюрократических кругах Петербурга.

В 1910 году он был уже действительным статским советником и камергером высочайшего двора. Он настолько хорошо усвоил как свои, так и наши дела, что зиму уже постоянно жил в Петербурге. Незадолго до этого он женился на баронессе Вере Кондратьевне Мейендорф и поселился с женой на Английской набережной, 52, в доме генерала Струкова. Это был превосходный особняк, причем низ занимал хозяин, а верх – мой брат. Часть зимы, с января по март 1910 года, я прожил у брата; поделюсь здесь некоторыми впечатлениями об этой жизни. Не стану описывать квартиру брата: это была обычная обстановка богатой и знатной петербургской семьи, все было устроено с большим вкусом и удобством. Однако не могу умолчать о поразительном по красоте и величии виде, который открывался из окон приемных комнат. Нева, окованная гранитными берегами, застывшая и оледенелая, с ее пешеходами, далями, Петропавловской крепостью с золотым, уходящим ввысь шпилем. Особенно вечером, когда потушишь, бывало, огни в гостиной и глядишь в окно, этот вид производил прямо-таки волшебное впечатление...

Жена брата была дочерью одного из братьев Мейендорф, которые имели весьма большое влияние при дворе и высокое положение в свете. Старший из братьев, дядя Богдаша, как мы его называли, был старейшим генерал-адъютантом государя, а до этого командовал лейб-гусарами и занимал много

высших должностей в гвардии. Он был женат на графине Шуваловой, и у него была большая семья. Второй брат, Александр, генерал-майор свиты, одно время командовал собственным Его Величества конвоем и был женат на княжне Васильчиковой – сестре князя Сергея Илларионовича, командира гвардейского корпуса. Третий брат жил постоянно со своей семьей в деревне и был женат на графине Олсуфьевой. Жена брата Вера была дочерью последнего из братьев Мейендорф, крупного помещика и сахарозаводчика Курской губернии. Огромные связи Веры, положение и средства Николая, а также наши собственные связи и родство – все это позволяло брату и его жене вести жизнь на широкую ногу и возвращаться в том заколдованном кругу, который именуется светом и куда доступ для посторонних так затруднителен. Я никогда не любил общества, этой веселой, шумной и блестящей жизни, всегда предпочитая уединение, чтение, искусство, лошадей, поэтому такая жизнь меня особенно не привлекала. Однако два-три месяца, проведенные в семье брата, навсегда остались у меня в памяти. И я сохранил о них самые приятные воспоминания. Приходилось много бывать в обществе, на званых обедах и на приемных днях моей belle-soeur, ездить на конкурсы и выставки – все это после деревенской жизни было и ново, и интересно. Жена брата была милая и обворожительная женщина; она не была красива в настоящем смысле этого слова, но в ней чувствовалось много породы и шарма – того такта и умения себя держать, которые отличают настоящую аристократку от мнимой. Бывать в ее обществе, быть ее гостем и родственником оказалось не только легко, но и приятно.



*Старый зимний бег в Санкт-Петербурге*

К несчастью, эта чудная, прекрасная и во всех отношениях достойная женщина, которую брат боготворил, рано умерла, заразившись во время войны сыпным тифом. Болезнь свела в могилу и ее, и ее единственную дочь. Жена брата заразилась, ухаживая за ранеными в лазарете, который устроил в Касперовке мой брат. Эта страшная трагедия – смерть любимой жены и единственной дочери – чуть не свела брата с ума, и одно время мы серьезно опасались за его здоровье.

Как часто в Петербурге после хорошего обеда в интересном обществе, где все друг друга знали и понимали, оставаясь вечером дома и лениво куря сига-

ру, я провожал брата и жену, когда они ехали куда-либо в театр или на бал. Они уезжали счастливые, нарядные и довольные, и мне в голову не приходило, что судьба уже наметила в лице Веры свою жертву и что смерть похитит ее в полном расцвете сил и молодости...

Жизнь людей того круга, в котором я вращался, была интересна и полна разнообразия. Именно с того времени начинаются мои встречи и знакомства со многими замечательными людьми. Подробно хочу остановиться на личностях А. П. Струкова и графа Г. И. Рибопьера. Именно с этого года начались наши сердечные и деловые отношения с ними.

Генерал-адъютант Струков был популярной фигурой в петербургском свете, при дворе и в рядах высшей военной администрации. Он пользовался любовью государя, и, когда уезжал в отпуск министр императорского двора барон Фредерикс, Струков замещал его. В молодости он служил в гвардии, затем командовал уланами Ее Величества полка, почему и носил всегда мундир этого полка. Долгое время он пробыв начальником управления ремонта армии, затем оставил эту должность; получив генерал-адъютантские аксельбанты, числился в свите государя и нес дежурства при дворе. Струков был очень богатый человек: ему принадлежало громадное имение в Курской или Полтавской губернии, особняк в Петербурге и большой капитал. Генерал жил хорошо, как и полагалось в его положении, но был скуповат. Хорошо разбирался в лошадях и в свое время был лихим кавалеристом. Он сделал турецкую кампанию на чистокровной лошади, писал в военных журналах по вопросам спорта и считался большим авторитетом в военно-кавалерийских кругах. Как начальник ремонта армии, он был в свое время на высоте положения и сделал многое для этого ведомства. Струков страстно любил лошадь, поэтому не удивительно, что он посетил лучшие заводы, прекрасно был знаком со степным и донским коневодством и знал наперечет всех барышников-поставщиков и решительно всех ремонтеров. Не будучи уже начальником ремонтов, он оставался вполне в курсе дела, поддерживал знакомства и связи со своими бывшими подчиненными, из которых многие превратились в председателей или же членов ремонтных комиссий.

Завтраки генерала были известны всему Петербургу. Они начинались в час дня и затягивались до пяти-шести часов вечера. Пили много, стол был изысканный и тонкий, говорили все более о лошадях и различных кавалерийских вопросах. Обычно стол для завтраков накрывался не в столовой, а в очень длинной и довольно узкой портретной комнате. Здесь висело по стенам около пятидесяти портретов особ царствующего дома Романовых, среди которых многие – кисти знаменитых художников. Следует отметить, что обстановка у Струкова была замечательная; впоследствии она вместе с домом и всем состоянием перешла к его брату, члену Государственного совета Ананию Петровичу Струкову. Из коннозаводских вещей была интересна коллекция лошадей всех русских пород кисти А. А. Красовского и его же работы портрет с натуры лошади ремонтного сорта. Очень был хорош портрет самого генерала на сером коне, прыгающем через барьер, работы профессора Ковалевского. Это произведение Ковалевского Струков подарил Вахтеру. У генерала был и другой его портрет – на гнедой лошади, и тут художник изобразил Струкова идущим на барьер. Этот второй портрет писал Мазуровский, работы которого пользовались одно время большим успехом среди представителей петербургской гвардии. Литографированный оттиск этого портрета Струков с трогательной подписью подарил мне. Ковалевский одно время сопровождал Струкова во время турецкой кампании, а потому не удивительно, что у Струкова имелось несколько превосходных картин этого художника.

Генерал был старый холостяк и, несмотря на почтенные года, удивительно хорошо сохранился: был высок, очень строен, с талией юноши. Ему очень шел синий лейб-гвардейский мундир. Особенностью его лица были длинные, ниспадающие, как у запорожца, усы. Струков каждый день ездил верхом. Во дворе его особняка располагались конюшня и специальный манеж для верховой езды. Он ездил всегда утром, а если погода стояла хорошая, то в сопровождении вестового отправлялся на острова и его иногда можно было видеть проезжающим по набережным. На генеральской конюшне всегда стояло несколько великолепных верховых лошадей, преимущественно выводных, но бывали и лошади наших, русских заводов. Здесь следует сказать о маленькой слабости генерала: он любил поторговать лошадьми и в скромных размерах доставлял себе это удовольствие, продавая в год пять-шесть лошадок. Его покупателями были исключительно кавалерийские офицеры. Разумеется, что при тех громадных средствах, какими обладал Струков, несколько сот рублей прибыли не могли его интересовать, для него это был своего рода спорт – хорошо продать лошадь. Струков владел большим заводом ремонтных лошадей, что называется, лошадей *Pres du sang*, то есть близких к чистокровным по степени кровности. Во время войны, будучи членом полтавской ремонтной комиссии, я познакомился с сортом тех лошадей, которых разводил Струков на своем заводе, и должен сказать, что это замечательные кавалерийские лошади и что Александр Петрович как коннозаводчик был, несомненно, талантлив. Его ставка 12–17 почти чистокровных рыжих лошадей, которых мне пришлось вместе с генералом Яковлевым принимать в городе Константинограде Полтавской губернии, лучшее, что я видел среди ставок ремонтных заводов Полтавского района.

Я был знаком со Струковым и до 1910 года, но сблизился именно в этом году, живя с ним в одном доме и на одной лестнице, часто с ним встречался. После приезда к брату я сделал Струкову визит, но ежедневно стал бывать у него только после того, как генерал, узнав, что я встаю рано, пригласил меня ежедневно пить с ним по утрам кофе. Я был готов обыкновенно к десяти часам утра, но тот, кто знает уклад жизни больших домов тогдашнего Петербурга, хорошо поймет, что этот поздний для деревни час был для Петербурга часом самого сладкого второго сна. Мы пили с генералом кофе ровно в десять, потом курили, шли в конюшню смотреть лошадей; затем генерал садился в седло, и я иногда оставался в манеже. Само собой разумеется, что за эти два с лишним месяца я очень сблизился со Струковым и стал вполне своим человеком в его доме. Мы вели с ним беседы о лошадях, а об этом он, как истинный и настоящий лошади, любил говорить больше всего. Струков мне показывал свои коллекции фотографий и даже подарил один из снимков. Эта фотография изображала замечательного серого орловского рысака, снятого на придворной конюшне в Вене. Лошадь действительно была удивительно хороша, и ею нельзя было не восхищаться. Струков знал и сначала очень ценил рысистую лошадь, именно орловского рысака, но к тому времени, к которому относится настоящий рассказ, он уже был сторонником метиса. Дело в том, что Струков давно дружил с Вахтером, и этот последний, как ярый метизатор и один из вернейших клеветников графа Воронцова-Дашкова, уверил Струкова, что орловского рысака уже нет, все метизировано и погибло. Велико же было удивление Струкова, когда я развивал противоположный взгляд и доказывал ему, что именно теперь орловский рысак мало-помалу, под влиянием правильного ухода, кормления и тренировки догоняет американского рысака и не только ничуть не ухудшается, а наоборот, улучшается.

На одном из знаменитых струковских завтраков присутствовали Вахтер, ге-



нералы Винтулов, Химец, Сенявин, князь Багратион и другие знатоки лошади и светила ремонтного дела. Струков навел разговор на орловского рысака и выразительно посмотрел на меня – я принял вызов. Между Вахтером и мной произошла словесная дуэль. И хотя Вахтер остался при своем мнении, но большинство, в том числе хозяин, были на моей стороне. Спорили, конечно, в самой любезной форме, но Вахтер все принимал очень близко к сердцу, волновался, однако, как воспитанный человек, сдерживал себя и лишь нервно подергивал головой, выдавая, что ему не по себе и что он очень волнуется. Сейчас же после завтрака Вахтер уехал домой. После его отъезда начался оживленный обмен мнениями: Сенявин заметил, что если без тяжеловоза нельзя иметь хорошей артиллерийской лошади, то для ее создания нужен также и рысак. Затем он сказал, что видел метисов и что для армии они непригодны. Более мягко выражался генерал Химец. Но в общем все признавали, что я был прав, что надо во что бы то ни стало поддержать орловского рысака и что ремонтное ведомство, стало быть, и армия в этом заинтересованы. Струков меня поздравлял и сказал: «Да, Яков Иванович, ваша точка зрения верна: не следует пресекать и преследовать метизацию, но Главное управление государственного коннозаводства должно создать такой порядок вещей, чтобы орловские коннозаводчики могли бы также разводить лошадей. Они нужны стране и армии. Наконец, положение, когда русскую лошадь невыгодно и даже невозможно разводить в своей собственной стране, возможно только в России! Я вижу, что здесь интересы спорта и отдельной группы очень влиятельных лиц взяли верх над интересами большинства коннозаводчиков и государственными».

Я не сразу отдал себе отчет во всей важности этого разговора, но, приехав дня через два на бег, понял: то, что случилось, значительно важнее победы, одержанной в словесном турнире. В знаменитом «фонаре» все волновалось и спорило. Вахтера обвиняли в неловкости и неумении отразить доводы, придавали очень большое значение мнению Струкова и других заправил военного ведомства. Я был встречен группой петербургских орловцев горячо, а метизаторы своей корректной сухостью хотели подчеркнуть непримиримость и даже, скажу без обиняков, откровенную ненависть ко мне.

Я на два или три дня уехал в Осиновую Рощу погостить к Вяземским, с которыми был всегда хорош, а когда вернулся в Санкт-Петербург, мне доложили, что Его Высочайшее Превосходительство несколько раз присылали за мной. На следующее утро мы опять пили кофе с Александром Петровичем Струковым, и он мне сказал, что орловские коннозаводчики и наш союз могут вполне рассчитывать на него и на его влияние в высших военных сферах. Я горячо благодарил Струкова и сказал ему, что, вероятно, придется к нему обратиться скорее, чем он думает, ибо положение орловских коннозаводчиков с каждым месяцем становится все труднее и труднее. Последняя перед войной и революцией борьба за орловского рысака была выиграна. В этой борьбе решающую роль сыграл А. П. Струков: именно он устроил прием и свидание у государя императора, что в конечном счете и решило тогда вопрос. Воздадим здесь должное Струкову и с благодарностью вспомним его имя. После 1910 года, вплоть до самой смерти Струкова, я неизменно его посещал, бывая в Санкт-Петербурге, и пользовался полным его расположением и поддержкой.

Года через два или три после этих событий, как-то летом в Прилепах, открывая почту, я увидел знакомый почерк генерала и поспешил распечатать его письмо. Оно было, как всегда, интересно и живо написано, и ничто не предвещало в нем рокового известия, которое я узнал через несколько минут после прочтения этого письма. Прочтя письма и отложив их в сторону, я взял газеты

и развернул «Новое время». На первой странице находилось объявление о неожиданной и скоропостижной кончине генерал-адъютанта Струкова. Позднее мне сообщили, что Струков умер от припадка аппендицита; старик камердинер, которого генерал очень любил, когда случился первый приступ болей, посоветовал принять, пока приедет доктор, касторовое масло. Струков его послушал и тем себя погубил. О смерти Струкова сожалели многие: это была крупная и видная фигура старого Петербурга, в могилу сошел один из последних могикан!

Граф Георгий Иванович Рибопьер был человеком малодоступным, державшим себя вдалеке от спорта, главным образом от дел Московского бегового общества. Бывая летом в Москве, он постоянно посещал бега, куда приезжал обыкновенно с женой, скромно становился в членской у решетки, наблюдая за состязаниями, издали раскланивался со знакомыми, но избегал вступать в разговоры и затем уезжал домой. Московское беговое общество тщетно делало в те времена попытки привлечь его ближе к своим делам путем избрания в вице-президенты: он неизменно отказывался и отклонял от себя честь избрания (надо, впрочем, заметить, что в то же время он состоял почетным членом Московского бегового общества). Поэтому мое знакомство с графом было чисто внешнее. Однако с 1910 года мы стали встречаться с графом в обществе, затем два или три раза за завтраками у Струкова, после чего граф пригласил меня к себе, а затем стал бывать у меня. Таким образом, наше знакомство следует отнести к 1910 году. Мало-помалу я сошелся с графом, который был по характеру человеком замкнутым и очень осторожным. Это был крайне привязчивый и верный в своих симпатиях человек. Двадцать лет он был верным другом Карлуши Петиона и, когда тот умер, крайне скорбел. Мне кажется, что ему был необходим близкий человек, в котором он был бы вполне уверен, чтобы делиться всеми сокровенными мыслями. Такой человек, так же как граф, должен был быть страстным лошадиником, и я думаю, что верно разгадываю сердце покойного графа, говоря, что его сближение со мной после смерти Карлуши Петиона состоялось именно на этой почве. Я любил лошадей, притом рысистых, а в эту последнюю пору своей жизни граф интересовался рысистыми лошадьми больше, чем кровными. Так или иначе, но именно с этого года начались и до самой смерти графа продолжались мои дружеские и сердечнейшие отношения с ним. Как человек, искренне его любивший и глубоко его уважавший, я считаю себя обязанным сказать здесь все то, что я знаю и думаю о нем. Хочется сохранить для будущих поколений имя этого замечательного коннозаводчика и спортсмена чистой воды, который мог служить и служил примером для многих из нас.

Граф Г. И. Рибопьер принадлежал к одному из самых богатых аристократических родов, и состояние его равнялось многим миллионам, а количество десятин земли доходило одно время до ста тысяч. Граф был двоюродным бра-



*Граф Г. И. Рибопьер*



*Князь П. И. Кантакузен*

том графини Юсуповой. Один из предков графа был наследником Потемкина-Таврического!

Граф Рибопьер получил домашнее образование и затем вышел в лейб-гвардии Гусарский полк. Этот славный в истории полк всегда отличался тем, что офицеры его знали и любили лошадь. Целая плеяда гусаров стала впоследствии коннозаводчиками: граф И. И. Воронцов-Дашков, старик А. А. Стахович, П. П. Мосолов, князь Л. Д. Вяземский, П. Ф. Дурасов, И. А. Пангулидзе, граф Г. И. Рибопьер, князь П. И. Кантакузен, П. А. Красовский и другие. Рибопьер довольно долго прослужил в полку и вышел в отставку в чине полковника; несмотря на то что в свое время был пожалован шталмейстером высочайшего двора, он всегда носил форму полка. По выходе в отставку граф всецело посвятил себя коннозаводству и спорту. У него было два завода, один чистокровных лошадей, другой – рысистых; он держал также две конюшни – скаковую и беговую. Вскоре после того, как Рибопьер начал заниматься коннозаводством, он был избран действительным членом многих спортивных обществ России. По мере роста славы его заводов и личной популярности графа он был избран вице-президентом Московского скакового общества, почетным членом Московского бегового и многих других провинциальных обществ. Словом, в его лице справедливо видели одного из виднейших деятелей нашего коннозаводства и спорта. Главное управление государственного коннозаводства назначило его членом совета, далее состоялось его избрание председателем суда чести, в главную техническую комиссию. Словом, влияние графа на спортивное и коннозаводское дело было очень велико. Позднее, за несколько лет до смерти, он был избран председателем Всероссийского союза коннозаводчиков и любителей орловского рысака и в этой должности принес огромную пользу делу рысистого коннозаводства страны. Струкову и Рибопьеру мы были обязаны главной победой над метизаторами, и эта заслуга не может быть забыта.

Помимо конного спорта Рибопьер интересовался вопросами атлетики и первым в России стал устраивать атлетические состязания, еще задолго до того, как борьба перешла на арену цирка. Он был основателем и первым президентом атлетического общества. Как видим, граф Рибопьер все свои силы отдал спорту, и здесь его имя получило самую широкую и почетную известность в стране.

Рибопьер был очень красив: среднего роста, с тонкими чертами лица и прекрасными, умными и добрыми карими глазами. Он носил небольшие бакенбарды, ходил довольно медленно и последнее время часто болел. Причиной тому был тот невозможный образ жизни, который он вел: граф превратил день в ночь и обратно. Ложился он очень поздно, часов в пять утра, а вставал в три-четыре часа дня. Это не могло не отразиться на его здоровье и преждевременно свело в могилу.

По характеру своему он был очень добрый и чрезвычайно великодушный человек. Я уже говорил о том, что Рибопьер вел крайне замкнутый образ жизни и у него никто, кроме родных и самых близких людей, не бывал. Одна из причин этого – женитьба графа: он был женат на венгерке, которая начала свою карьеру в «Яре». Я знал ее уже графиней – это была красивая, но очень взбалмошная женщина. Граф женился на ней тогда, когда у нее родилась дочь, единственная наследница его громаднейшего состояния. Две сестры графа Георгия Ивановича были замужем: одна за князем Кантакузеном, а другая за А. А. Стаховичем-младшим. Зимой Рибопьер всегда проводил за границей или же в Петербурге, а лето – в Москве. Осенью, но очень редко, он ездил в свое знаменитое харьковское имение Святые Горы, получившее это название от знаменитого Святогорского монастыря, который там расположен. В Петербурге

графу принадлежал старинный дом, вернее, целая усадьба в Измайловском полку, занимавшая почти целиком две улицы, носившие названия Первой и Второй роты. Словом, эта усадьба одна представляла целое, и притом большое, состояние. О размерах ее даст понятие хотя бы следующее: дома одним фасадом выходили на Первую роту, а задние фасады, манежи, конюшни, парк и прочее выходили на Вторую роту! В Москве у графа имелась большая и очень удобная дача в Зыковском переулке Петровского парка, где тоже были большие конюшни и где стояли призовые рысаки.

Я бывал у графа как в Санкт-Петербурге, так и в Москве. Петербургский особняк снаружи выглядел очень скромно, но внутри по своим размерам и убранству это был дворец. Апартаменты, размеры комнат, отделка, мрамор, камин, люстры, зимний сад – все это производило чарующее впечатление и переносило вас из действительной жизни в какой-то сказочный мир роскоши и красоты. Здесь были фамильные портреты кисти лучших мастеров: и Левицкого, и Боровиковского, и других. Вещи, жалованные Екатериной Великой или перешедшие по наследству от Потемкина-Таврического и князя Юсупова, первого русского коллекционера, обладателя собрания, имевшего мировое значение и мировую ценность. Рибопьер очень любил старину и хорошо разбирался в ней. Иногда он меня звал с собою на Александровский рынок, там часами рылся в разном хламе и иногда покупал что-то интересное. Я всегда в этих случаях трунил над графом, говоря, что, дабы купить что-либо достойное его фамильных вещей, надо ехать не на Александровский рынок, а в Эрмитаж или к Юсупову. Это было, конечно, верно, и поездки на Александровский рынок или к антикварам служили отчасти развлечением, отчасти утоляли желание каждого коллекционера найти что-нибудь замечательное среди хлама, что, увы, так редко случается и выпадает на долю немногих счастливых. Рибопьеру я многим обязан в приобретении тех скромных познаний в старине, коими я обладаю. Граф охотно показывал мне свои коллекции, свои вещи, а у него каждая



Н. Е. Сверчков (1817–1898). Лошадь в санках. 1862 г.

вещь имела либо художественное, либо же музейное значение, и рассказывал мне много интересного.

Скажу несколько слов об охотничьих вещах графа. В петербургском кабинете, над письменным столом, висел очень хороший портрет его любимца, белого жеребца Витязя, по бокам – портреты жеребца Павлина и кобылы Энгельгардта Приманчивой. Все три портрета – кисти Сверчкова. Тут же, на письменном столе, лежал кожаный портсигар – такой, какие были в моде в восьмидесятые годы, и на нем красовалась миниатюра на слоновой кости той же Приманчивой работы Сверчкова. Очень интересен был портрет кисти Швабе, исполненный в пятидесятые годы, он изображал гусара верхом на белой лошади.

В московском доме висело много портретов чистокровных лошадей графа, старых гравюр английских лошадей, фотографий современных знаменитостей и три портрета кисти Сверчкова. Из них пастель, исполненная в пятидесятые годы, изображала чистокровную кобылу в очень трудном ракурсе. Эта пастель была изумительно хороша и являлась одной из лучших работ Сверчкова. Граф ее очень любил, и она у него висела над письменным столом. Во время революции эта пастель была куплена мною у московского антиквара Желтухина. Два других портрета небольшого размера изображали лошадей графа – кобылу Славу и Павлина. Портреты тоже были мною куплены во время революции на Кузнецком мосту, в бывшем магазине Шанкса, превращенном в магазин Московского потребительского общества. Здесь можно было найти все что угодно. Наверху шла торговля картинами, но в основном всякой дрянью: все хорошие картины были разворованы или же разобраны по оценке служащими и заправилами магазина, а то, что продавалось, никакого художественного интереса не представляло. Роясь в этом хламе, я нашел портреты Славы и Павлина и купил их за 10 рублей. Они оказались в ужасном состоянии: реставратору пришлось потратить немало времени, чтобы привести их в порядок. Петербургский особняк графа был разграблен во время революции и затем сожжен, а московская дача хотя поначалу и уцелела, но все вещи и обстановку куда-то увезли, и она погибла.

В собраниях граф никогда не выступал и ораторским талантом не отличался. Он терпеть не мог адвокатов и совершенно не выносил Шубинского и его помощника Канделаки; когда они начинали свои речи, он обыкновенно тихо поднимался со своего места и уходил из зала собраний в столовую пить чай. Но у себя дома он бывал интересным рассказчиком. Приведу его рассказ о поездке на завод Энгельгардта в Смоленск. Молодым охотником граф Георгий Иванович решил поехать на знаменитый завод Д. А. Энгельгардта, чтобы купить кобыл и поучиться коннозаводскому делу. То, что он там увидел, привело его в ужас: постройки валились, все было запущено, соломенные крыши протекали, а лошади находились в ужасном состоянии. «Да, тут надо было учиться, – добавлял Рибопьер, – но только тому, как не надо вести завод». Такое состояние завода объясняется материальным положением Энгельгардта: в то время он был накануне разорения и через год или два после этого продал свой завод в полном составе княгине А. С. Голицыной. Все же от одной из купленных у Энгельгардта кобыл у Рибопьера родилась знаменитая Бритва.

В хорошем порядке был завод у А. Н. Добрынина, и граф мне подробно рассказал об этом своем посещении Прилеп и добрынинского завода, прибавив: «Вам это будет интересно послушать, как теперешнему владельцу Прилеп». Добрынин кормил лошадей, и они были в хорошем порядке; беговой круг прекрасно содержался, и лошадей усиленно тренировали. Сам Добрынин был очень милый человек и широкая, чисто русская натура. Состав маток был замечательный; по словам Рибопьера, лучшей по себе кобылой была Добрыня, мать знаменитого Ратника. Ее торговал граф, но Добрынин не захотел продать

эту кобылу ни за какие деньги. Помимо Ратника целый ряд лошадей от Добрыни был хорош, но ни одной из них Добрынин не согласился уступить и всех их предназначил в завод.

Особняком стояла группа кобыл знаменитого завода князя Б. Д. Черкасского: Арабка, Догоняиха и Чародейка – их имена в то время были известны всей спортивной России. Из них по себе лучшей была Чародейка, крупная, белая, сухая и необыкновенно породная кобыла. Также очень хороша была Арабка, но, по словам графа, имела кадычок. Я этому удивился, так как Арабка была премирована в свое время высокой наградой на выставке, но граф на это только ответил: «Я бы не дал». Граф добивался купить всю группу кобыл завода Черкасского, но Добрынин и слышать не хотел об их продаже, особенно ценил Чародейку и Арабку, меньше – Догоняиху. Его любимицей была Чародейка, и впоследствии она дала многих знаменитых лошадей (Азарная, Волшебник, Кудесник, Чародей). «Представьте мою обиду, – говорил граф, – я ехал к Добрынину специально купить любой ценой кобыл Черкасского, а он решительно не хотел и слышать о продаже». Два дня прожил Рибопьер в Прилепах, все это время всю шел кутеж. Наконец Добрынин уступил «красавцу гусару и графу», как он сам сказал, Догоняиху, да еще и с приплодом 1882 года и жеребой. Кроме того, Рибопьер купил у него еще двух кобыл – Западню завода Голицына и Подругу завода Сенявиной. Вся покупка оказалась неудачной и ни одна из трех кобыл не дала ничего замечательного.

Так как из заводских книг я знал, что Черкасский незадолго до этого продавал своих трех знаменитых кобыл Добрынину, то я задал вопрос графу, почему он, начав свои первые покупки с 1879 года, не купил кобыл прямо у Черкасского. Рибопьер мне ответил, что он делал несколько попыток, но Черкасский, распродавший уже весь свой завод, этих кобыл не продавал. Для посвященных же вполне было понятно, почему они попали к Добрынину: Черкасский не продал, а подарил кобыл Добрыниной, в которую был тогда влюблен и ухаживал не без успеха. Теперь, когда все лица, о которых здесь идет речь, давно сошли в могилу, я решаюсь привести эту подробность, вполне ручаясь за ее достоверность, ибо Рибопьер был исключительно правдивый человек. Удивительно, что в Туле, где о Добрыниных, когда я купил Прилепы, предание было очень свежо, этой подробности мне никто не передавал. Видимо, это было известно ограниченному кругу лиц, притом, вероятно, старому поколению охотников. Это тем более странно, что о галантных приключениях m-me Добрыниной не стесняясь и открыто говорила вся Тула. Судя по тому, что пришлось слышать, это была какая-то Клеопатра, если не Мессалина!

Вернемся, однако, к добрынинским лошадям. Кроме Добрыни и трех черкасских кобыл, лошади Добрынина не произвели, видимо, на графа большого впечатления. Залетного он помнил хорошо и почти в точности говорил о нем то, что говорил князь Оболенский. Сын Залетного, Ратник, по мнению графа, был очень хорош, глубже и капитальнее отца. Ратник очень нравился Рибопьеру, и он не прочь был его купить, но лошадь также не продавалась. Вообще, по словам графа, у самого Добрынина за деньги купить ту лошадь, которую он оставлял для завода, было решительно невозможно. Он мог уступить лошадь, но и этого было трудно добиться.

Заговорив о лошадях князя Черкасского, я незаметно перешел на личность самого князя и спросил Рибопьера, хорошо ли знал он этого коннозаводчика. «Да, я знал князя довольно близко и не уважал его как человека, – последовал ответ. – Как коннозаводчик Черкасский был на высоте, как охотник – очень счастлив, но как человек он оставлял желать лучшего... Был очень богат, и его подмосковное село Черкизово известно с давних времен: там в оны времена пи-

ровал, и не раз, еще Иоанн Грозный с опричниками. Черкизово – богатейшее село, усадьба князя была великолепно, здания конного завода роскошны, а земли хорошего качества. И много леса. Словом, это было многомиллионное имение, и князь там жил с большой роскошью. Черкасский не раз принимал у себя высочайших особ, и в доме хранилось много не только художественных, но и исторических вещей. Князь был скуп и, главное, очень жаден до денег.

За эту отвратительную жадность он оказался жестоко наказан, потеряв знаменитое Черкизово. «Вы знаете, – рассказывал Рибопьер, – что я не знаток юридических тонкостей и трюков и их не люблю, а потому не могу вам точно сказать, в чем заключался трюк, придуманный Черкасским и его нотариусом, но сущность будет понятна из дальнейших моих слов. Князь задумал продать Черкизово, и покупатель скоро нашелся. Внес крупный задаток, а остальная сумма должна была быть внесена в очень короткий срок и вообще обставлена какой-то формальностью. Покупатель не смог выполнить это последнее условие, потерял задаток, и Черкизово осталось за князем. Через два года повторилась та же история, и в обществе начали громко возмущаться поступком князя, но юридически он был совершенно прав.

Наконец, когда в третий раз Черкасский с нотариусом хотели проделать тот же трюк и опять запродали имение на тех же условиях, в надежде воспользоваться задатком, то покупатель заранее был об этом предупрежден и деньги, два или три миллиона, были приготовлены и вовремя внесены. Номер не прошел. Так князь потерял свое знаменитое Черкизово и был безутешен; напрасно он давал отступного: имения он обратно не получил. Князь переехал в Москву, а завод перевел в Тамбовскую губернию, в свое большое, спокойное имение, которое у него впоследствии купил известный откупщик Атрыганьев. У наследников Атрыганьева, как вы знаете, ибо это было уже у вас на глазах, имение купил Адишка Вяземский, и туда должен быть переведен Лотаревский завод».

Беседуя с графом даже глубокой ночью, когда беседа велась особенно интимно, доводилось толковать не на лошадиные темы, а о близких нам людях. Один такой разговор я позволю себе привести. Как-то, приехав в Петербург, я проводил вечер у графа в его знаменитом доме на Первой роте Измайловского полка. Как раз в это время была объявлена помолвка дочери великого князя Александра Михайловича и племянницы государя княжны Ирины с князем Ф. Ф. Юсуповым. Я поспешил поздравить графа Рибопьера, так как молодой Феликс Юсупов был сыном его двоюродной сестры. Рибопьер меня поблагодарил, затем, понизив голос, сказал: «Это, конечно, между нами, но, знаете ли, я глубоко жалею Феликса. Чем он будет? *Le mari de la Reine!* Она – родная племянница государя, великая княжна, а он хотя и Юсупов, но простой смертный. Словом, я предвижу, что этот брак не будет счастливым, – закончил граф и задумался. А через несколько минут вновь продолжил: – Как сейчас, вспоминая старого князя, я имею в виду Юсупова. Он меня очень любил и хотел, чтобы я женился на его дочери – матери молодого Феликса. Это была его заветная мечта, но невеста мне не нравилась, и я не женился». Улыбка заиграла на красивом лице Рибопьера: он, видимо, думал о чем-то веселом или смешном. Во время этого признания я хранил молчание и не считал удобным вставить какое-либо замечание и нарушить ход мыслей и воспоминаний графа, но здесь я не выдержал и спросил его, о чем он вспоминает и что приводит его в веселое расположение духа? «Я вспоминаю, – ответил Рибопьер, – как старый князь соблазнял меня своими богатствами. Он все еще надеялся, что я женюсь на его дочери, моей двоюродной сестре, и как-то раз начал водить меня по всему дворцу и показывать мне его несметные богатства. Закончили мы осмотром драгоценных камней и утвари. Картина была действительно поразительная,

и с трудом можно было себе представить, что всем этим владеет частное лицо. А старый князь, подымая нити крупных жемчугов длиной до пола или тяжелые цепи гигантских изумрудов, смотрел мне в глаза и нашептывал: «Подумай, женись, все будет твое». И затем в качестве последнего аргумента добавил: «А каких лошадок ты заведешь, ни у кого таких не будет!» Эти-то воспоминания, эти-то картины юсуповского богатства и привели графа в хорошее настроение.

Почти весь остальной вечер мы проговорили о Юсуповых, о том, что говорят в городе, как реагирует на эту свадьбу общественное мнение. Под конец Рибопьер мне рассказал, что не так давно князь Юсупов, отец жениха, проиграл на парижской бирже колоссальную сумму в несколько миллионов рублей, что об этом знают немногие, но, конечно, громадное состояние князя выдержит и это. «Удивляюсь, зачем ему при его богатстве играть?» – заметил я с недоумением. «Да, вы правы, это удивительно. Увлекли какие-то международные аферисты, и в результате – громадная потеря в несколько миллионов. Старый князь не проиграл бы денег на бирже и не пустил бы к себе на порог этих мерзавцев», – в заключение добавил граф и умолк.

До самой смерти Рибопьера наши отношения сохраняли тот характер, который они постепенно приняли к 1910 году. В Москве у графа, кроме меня, решительно никто не бывал. Мы не только постоянно виделись, но и подолгу, иногда буквально часами, разговаривали по телефону. Кроме того, мы самым деятельным образом переписывались, и письма графа содержали много интересных новостей и таких сведений, которые в то время не могли проникнуть в печать. Переписку с графом следовало бы опубликовать, так как она представляет, несомненно, не только коннозаводческий, но и общий интерес.

О смерти графа я узнал совершенно неожиданно. Незадолго до этого печального и столь тяжелого для меня известия я вернулся в Прилепы из Москвы, где оставил графа в его обычном состоянии здоровья, то есть он покашливал, прихварывал, но ничто не предвещало рокового конца. Известие о его кончине привез в Прилепы наездник Синегубкин, который приехал смотреть молодежь на езде с целью ее покупки для известного московского охотника П. П. Бакулина. Я принял его утром, и первые его слова были: «Вчера скончался граф Георгий Иванович Рибопьер». Меня это известие огорчило и поразило свыше всякой меры, было не до лошадей и продаж. Я тотчас же велел подавать мне лошадей, чтобы с первым же поездом попасть в Москву. По приезде туда я узнал, что три или четыре дня тому назад граф сильно простудился и к вечеру того же дня слег в кровать. Его домашний доктор, кстати сказать, человек очень ограниченный и даже тупой, не понял, в чем дело, не пригласил никого из знаменитых профессоров и лечил графа легкими домашними средствами. К концу второго дня Рибопьер стал задыхаться, сердце почти перестало биться, и растерявшийся доктор сам помчался за профессором Поповым. Попов приехал, поглядел на графа, а затем, уйдя в кабинет, сказал, что лечение бесполезно, время упущено и больному осталось жить несколько часов. Под утро граф Георгий Иванович Рибопьер тихо скончался, оплакиваемый женой и единственной дочерью. Так я потерял человека, которого глубоко уважал, трогательно, как отца, любил и ценил как знаменитого коннозаводчика и спортсмена.

Зимой десятого года я, естественно, часто бывал в Петербурге на бегу, перезнакомился со всеми членами общества и узнал тамошние группировки и дела. Я всегда очень любил петербургский беговой ипподром, еще с того времени, как посещал его юнкером, но теперь он еще более стал мне нравиться. Дело в том, что я достаточно близорук, а потому следить за ходом состязания



на московском бегу мне гораздо труднее, чем на петербургском, так как в Москве бег имеет полторы версты, а в Питере версту. В Питере я вижу все, как на ладони, и ни одно движение рысака не ускользает от моего глаза. Затем питерский бег, с его скромной, но привлекательной беседкой, гораздо уютнее московского, и жизнь в нем идет в гораздо более ровном и приятном темпе, без громких скандалов и историй. Разграничение между членами-соревнователями и действительными членами в Петербурге проведено гораздо определеннее и резче, чем в Москве. В Питере ни один член-соревнователь не мог находиться в местах для действительных членов. Эти последние имели



*Фасад здания главной трибуны ипподрома в Санкт-Петербурге*

право решающего голоса и, по уставу, были фактическими хозяевами общества, тогда как члены-соревнователи пользовались лишь бесплатным правом входа в определенные места и правом записки своих лошадей на тех же основаниях, что и члены действительные. Словом, петербургское общество было более чопорным и аристократическим, а московское – более богатым и демократическим.

Средний подъезд беговых трибун вел в членские места. От входных дверей небольшая лестница шла в коридор, превращенный в вестибюль, налево была дверь в зал членов-соревнователей, а направо – в канцелярию. Далее по вестибюлю была дверь налево, в помещение действительных членов, и тут же находилась лестница на второй этаж, где в самом центре беседки была устроена судейская ложа, звонок и места для почетных гостей и господ действительных членов. Направо и налево от этих мест располагались места для публики, причем ложи были во втором этаже. Кассы тотализатора находились тут же, в закрытых помещениях. На противоположной стороне бега стояла большая, двухэтажная трибуна, так называемые рублевые места. Везде образцовая чистота. Порядок во время хода испытаний в Питере был образцовый: дорожка содержалась в идеальном состоянии, программа интересна и скандалов с публикой, свистков и криков в адрес администрации с лестным прибавлением эпитета «жулики» не было слышно.

В канцелярии царил знаменитый казначей Петербургского бегового общества А. А. Зотов. Он образцово поставил канцелярию, там можно было получить любую справку в несколько минут. Писаря и чиновники поражали своим довольным видом и щеголяли изысканной вежливостью. То же было и в казна-

чейской части, при которой находился кабинет Зотова, где деньги выплачивались незамедлительно. Зотов, как казначей и член распорядительного комитета, всегда стоял у звонка. Это был идеальный судья, строгий и абсолютно беспристрастный, человек не только слова, но и дела. На нем одном лежал весь громадный административный и технический аппарат бегового общества. Граф Воронцов, Вахтер и старшие члены не могли отдавать много времени обществу. Зотов пользовался всеобщим уважением и имел громадное влияние. Его знала вся Россия, и порядки Петербургского бегового общества всегда ставились в пример другим, не исключая и Московского общества.

Вернемся к соревновательной зале; это была большая комната, где находились кассы тотализатора, буфет, стояли столики и по стенам висели витрины с карточками лошадей, то есть распределение рысаков по группам и выигрышу. Передняя часть этого зала выходила на беговой круг и была остеклена, так что в непогоду можно было наблюдать за ходом бега, не выходя наружу. Членов-соревнователей насчитывалось очень много, доступ в их среду оказывался крайне легок. Среди членов-соревнователей были мелкие охотники, купцы, подрядчики, гостинодворцы, игроки, актеры, поставщики сена и овса, офицеры и те, кто в будущем желал баллотироваться в действительные члены и должен был отбыть ценз, то есть годовой срок, в членах-соревнователях. Здесь, в этих местах, жизнь кипела, как в муравейнике: играли, пили, ухаживали, держали пари, заключали сделки и прочее. Словом, тут было весело, непринужденно и не так чопорно и важно, как в местах господ действительных членов.

Помещение действительных членов было более тесно, но зато более роскошно обставлено. В первой комнате, со стеклянной стеной на сторону круга, стояли столики, удобные стулья, по стенам висели портреты знаменитых лошадей, преимущественно работы профессора Самокиша. Арка отделяла эту комнату от следующей, превращенной в маленькую столовую. Здесь горел камин, по стенам висели портреты кисти Сверчкова и его замечательная картина – телегинский Варвар на ходу в санях, под управлением знаменитого наездника П. Силкина. Из этой комнаты три ступеньки вели в знаменитый «фонарь» – святая святых Петербургского бегового общества. «Фонарь» был восьмигранный, отапливался, и из него было хорошо видно состязание рысаков. Здесь обыкновенно сидели старейшие члены общества: Стахович, Вяземский, адмирал Веселаго, граф Воронцов-Дашков и другие. Сюда без приглашения никто не проникал, и здесь решались за разговором все дела общества, намечался курс, обсуждались события коннозаводской жизни. Словом, здесь делалась высокая коннозаводская политика...

Вдоль лестницы, ведущей во второй этаж, была развешана очень интересная коллекция небольших портретов прежних знаменитых рысаков кисти хотя и хорошего, но довольно сухого рисовальщика академика Швабе. Здесь были все беговые знаменитости начиная с сороковых годов и первые победители Императорского приза. Коллекция эта представляла большой иконографический интерес, но в петербургском обществе она находилась в забросе, как и орловский рысак. Как жаль, что общество не нашло нужным ее издать, ибо теперь она, как и все остальные портреты, погибла.

Верхние три комнаты были более роскошно отделаны и по стенам висели портреты высочайших особ, основателей общества и некоторых выдающихся коннозаводчиков: Голохвастова, Стаховича, графа Воронцова-Дашкова и других. Среднюю комнату украшали портреты победителей Императорского приза за последние 10–12 лет кисти Самокиша и Сверчкова-сына.

Едва ли нужно повторять, что Санкт-Петербургское общество было почти сплошь метизаторское. Если Москва поддерживала орловского рысака, то Пе-

тербург стоял за метиса и был оплотом метизации. Во главе общества стоял граф И. И. Воронцов-Дашков, бывший министр императорского двора и бывший главноуправляющий Государственным коннозаводством. Последние годы своей жизни граф был наместником Его Величества на Кавказе и очень редко приезжал в Петербург. Официально его замещал старший член обществ К. Л. Вахтер. Граф Воронцов-Дашков был один из знаменитейших русских коннозаводчиков и в течение тридцати с лишним лет разводил орловских рысаков, а затем пустил в свой завод американских жеребцов и стал ярым метизатором. Граф возглавлял не только общество, но и всех метизаторов России и был признанным главой и защитником этого направления в рысистом коннозаводстве страны. При том положении и влиянии, при тех исключительных связях, которыми располагал граф Воронцов-Дашков, борьба с ним, а стало быть, и с метизаторами, была почти невозможна, и вполне естественно, что все Санкт-Петербургское беговое общество стало на точку зрения своего вождя. Одни это сделали по убеждению, другие – из-за личных выгод, третьи из соображений кармана. Наконец, некоторым членам общества, которые лошадей вовсе не держали, было, в сущности, безразлично, кого поддерживать – метиса или орловца.

Вахтер еще молодым человеком приехал из Германии и поселился в Петербурге. Он стал агентом знаменитой немецкой фирмы Крупа, разбогател и совершенно обрусел. Дабы войти в общество, что в семидесятых годах было труднее, чем в последние годы, он, как ловкий человек, завел призовую конюшню и вел ее широко. Именно на этой почве он познакомился с графом Воронцовым, сумел ему понравиться, начал брать у него в аренду рысаков и вскоре стал близким к графу человеком. Отсюда и пошла его карьера; он постепенно возвышался, был принят в свете, поступил на государственную службу, где только числился, а не служил, и при Воронцове был назначен членом совета коннозаводства. В десятом году он стал тайным советником, очень влиятельным лицом в коннозаводстве, старшим членом и заместителем вице-президента Санкт-Петербургского бегового общества, очень богатым человеком и владельцем крупной призовой конюшни и небольшого рысистого завода. Вахтер, как умный и ловкий человек, в свое время хорошо учел положение, понял, что сблизиться с сильными мира сего он мог только на почве конской охоты, и блестяще провел это в жизнь. Естественно, его положение было как следует учтено в Германии, из этого сделаны нужные выводы и в конечном итоге получены большие барыши. Вахтер был воспитанный и приятный человек, с большими седыми усами, очень подвижный и типичный иностранец по виду.

Вторым старшим членом был генерал А. Х. Палеолог. Он всю жизнь прослужил по придворно-конюшенному ведомству и был хорош с графом Воронцовым, которому также был обязан своей карьерой. Прямой и приятный человек, едва ли охотник, он проводил на бегу политику графа. Третьим старшим членом был добрейший Н. А. Панчулидзе. Панчулидзе предводительствовал в одном из уездов Пензенской губернии довольно давно и имел в своем имении небольшой конский завод. Все это вместе взятое расшатало его сравнительно скромное состояние, и он подумывал о том, чтобы приискать приличную службу и переехать в Санкт-Петербург. Приблизительно в это время другой пензенский коннозаводчик Г. О. Немировский за гроши распродавал свой завод, и Панчулидзе недорого купил там вороного жеребца Пройду. Вскоре дети Пройды замечательно побежали, и граф Воронцов мечтал о покупке этого жеребца. На этой почве состоялось знакомство графа с Панчулидзевым. Последний уступил Воронцову Пройду. В свою очередь, когда через некоторое время Панчулидзе просил помочь ему получить в Петербурге место, Воронцов его назначил в уделы. В мое время Панчулидзе был действительным статским

советником и камергером высочайшего двора. Это был удивительно симпатичный и добрый человек, всегда готовый услужить каждому и крайне доступный. Он занимал большое место в уделах. Я не сомневаюсь в том, что и без помощи Воронцова Панчулидзева сделал бы карьеру, так как к тому у него были решительно все данные. Рассказав о Пройде, я далек от мысли положить тень на Панчулидзева или Воронцова. Старшим членом состоял также князь Л. Д. Вяземский, знаменитый русский коннозаводчик и выдающийся государственный деятель.

Такова была администрация Санкт-Петербургского бегового общества. Среди действительных членов находилось много представителей аристократии: граф Шереметев, граф Шувалов, князь П. И. Кантакузен, три сына князя Л. Д. Вяземского, светлейший князь Лопухин-Демидов, Д. К. и Э. Д. Нарышкины, барон Н. Н. Штейнгель и многие другие. Затем действительными членами состояли некоторые другие выдающиеся коннозаводчики-метизаторы: Н. М. Коноплин, Телегин, Петров, Н. П. Шубинской, А. Ф. Шереметев и другие. Наконец, часть членов была из лиц высшей петербургской чиновной бюрократии, например Кривцов, адмирал Веселаго, Кутлер, Гернрос.

Общество жило чрезвычайно дружно, и бывать в этой среде оказалось крайне интересно и приятно. На бегу знали все, что делалось при дворе и в министерствах, здесь в несколько минут вас вводили в курс всего, чем жил и о чем волновался Петербург. По утрам и на проездах велись преимущественно «лошадиные» разговоры. Общество с большим трудом допускало в свою среду новых действительных членов, попасть туда всегда было очень трудно, а после возникновения метисного вопроса для этого надо было быть метизатором. Однако во время революции 1905 года, когда во всех правительственных и общественных учреждениях царил растерянность и паника, Петербургское беговое общество поддалось всеобщему упадку духа и, уступив времени, избрало в действительные члены группу охотников. Так попали в действительные члены Смирнов, П. В. Оболонский, Курдюмов, Неандер, Пунин. Я ничего не хочу сказать дурного, но эти лица внесли другой дух в общество, что стало замечаться по некоторым неприятным инцидентам и разговорам. Большинство – две трети – было, к счастью, за старым составом, и оно не выпустило из своих рук бразды правления в обществе.

Новая группа – их было десять-двенадцать человек – ища опоры и желая играть хоть какую-нибудь роль, объединилась вокруг П. В. Оболонского. Решающего значения в жизни общества эти люди не могли иметь. Но с ними все же пришлось считаться, когда они стали выступать организованно. Все они были мелкими охотниками, и среди них было два-три коннозаводчика. Следует иметь в виду, что вся группа была орловская. Это-то больше всего раздражало и даже пугало старый состав членов общества: подумайте, ведь московская зараза проникла уже и в правоверный стан метизаторов и если не овладела его цитаделью, то организовала там отдельную группировку. Было над чем задуматься метизаторам и от чего прийти в негодование. Оболонский был хитрый и умный хохол; он, несомненно, преследовал честолюбивые планы и говорил о том, что одно место старшего члена должно быть предоставлено их группе. Выборы были на носу, и предстояло переизбрать весь состав правления. План Оболонского заключался в следующем: в последний момент пригрозить, что графу Воронцову вся группа положит налево, если не будет проведен от их группы один старший член и не будут установлены ограничения для метисов в размере 25 процентов. Последнее, разумеется, нужно было Оболонскому для создания себе популярности среди всех орловских коннозаводчиков страны, ибо тогда движение приняло идейный характер. Все было чрезвычайно ловко задумано, надлежало открыть огонь по метизации и, так сказать, подвести все требова-

ния группы под идейную подкладку. Я был хорош с братом П. В. Оболонского, известным воронежским коннозаводчиком М. В. Оболонским, он-то и привлек меня в Петербург с целью помочь его брату установить ограничения в Санкт-Петербургском обществе. Нечего и говорить, что я охотно на это отозвался, так как не был посвящен во всю эту закулисную игру и видел только возможность и необходимость пробить брешь в единстве этого метизаторского общества и тем ослабить метизаторов, успехи которых в те годы достигли кульминационной точки и их нажим на нас, орловцев, был в те годы очень силен.

В Петербург я приехал одновременно с М. В. Оболонским, с которым встретился в Москве, и в тот же вечер мы собрались у Петра Васильевича в его доме по Каменноостровскому проспекту. Стоит сказать здесь несколько слов о самом П. В. Оболонском. То был очень богатый человек, который нигде не служил и, как я вскоре узнал, занимался дисконтом. Лошадей едва ли он любил, не понимал в них ничего и интересовался ими, поскольку его брат был знаменитым коннозаводчиком. Это был человек высокого роста, довольно угрюмый, со взглядом исподлобья, некрасивый и довольно вульгарный. Потом я узнал, что его мать была простая женщина, и это чувствовалось: в нем не было лоска и культуры, в особенности для петербуржца. Но он был, несомненно, умен и очень хитер. Оболонский не был женат, он жил со старой кокоткой, которую, как сейчас помню, звали Дашей. Она играла роль хозяйки дома. Первый вечер я провел у Оболонского в обществе Даши и его брата, и после ужина Петр Васильевич, смеясь, велел позвать повара, говоря: «Яков Иванович, это ваш старый знакомый». Каково же было мое удивление, когда в столовую вошел Семен, долго служивший у нас в Касперовке вторым поваром и бывший учеником знаменитого Мирона Павловича. После обычных приветствий и распросов Семен удалился и просил меня завтра к обеду, желая показать, как он говорил, что не разучился готовить. Оболонский после его ухода подтвердил приглашение, и между нами создалась если не близость, то известного рода интимность. Повар Семен сыграл тут немалую роль!

На другой день после обеда, когда подали кофе, Оболонский обрисовал мне положение и начал со мною советоваться. Мы пришли к выводу, что надо написать записку сторонников орловского рысака, где изложить ясно, кратко и красиво как значение орловца, так и вред метизации и вытекающую отсюда необходимость установления ограничений. Эту записку должно было внести в распорядительный комитет. Оболонский просил меня составить записку; я охотно дал согласие и засел за работу. Через несколько дней записка была готова, и я поехал на Каменноостровский, чтобы познакомиться с ней Оболонского. Он остался очень доволен и на следующий день собрал всю группу у себя, где я должен был прочесть записку. Как я впоследствии узнал, это было первое организованное собрание на дому Оболонского. Записка понравилась, меня поздравляли, и на другой день состоялся у «Медведя» обед по подписке, на котором меня чествовали. После этого обеда стали обсуждать шансы проведения ограничений. Я считал, что, так как две трети в обществе на стороне метизаторов, шансов установить в Петербурге ограничения нет никаких, но очень важно подать записку, поставить вопрос ограничений на повестку дня. Моральное впечатление от этого акта будет очень большим. Со мной почти все согласились, за исключением Березовского, который заявил, что из другого лагеря при баллотировке могут поддержать вопрос граф Рибопьер, князь Кантакузен и Стобеус – эти коннозаводчики были орловцами.

Вручив записку Оболонскому, я, так сказать, сделал свое дело, но в успех его, подсчитав реальные силы, не верил. Теперь, переживая эти впечатления, вижу, как хитро и тонко вел свою политику Оболонский: ни на первом собра-

нии у себя на дому, ни на этом обеде у «Медведя» он ни словом не заикнулся о выборах и своем ультиматуме и вообще держал себя в тени и очень осторожно. Тогда я был молод, а потому не разгадал его игры. Не то было бы теперь, когда мне в течение ряда лет пришлось поработать, организовывая коннозаводские силы, сплачивая их для борьбы и в определенный момент призывая их к бою. Теперь я сразу же отгадал бы маневр Оболенского и, если бы он был моим врагом, легко парировал бы его удар. Да, много в жизни значит не пугаться первых поражений, суметь их пережить и вовремя учесть момент для нового нападения. Этот опыт пригодился мне впоследствии и позволил пережить годы революции и величайшей разрухи, поднять вновь коннозаводскую работу и в конечном счете прийти к победе.

Я собрался было уезжать, но Оболенский просил меня еще остаться на несколько дней. Я исполнил его просьбу и тем временем довел до сведения великого князя Дмитрия Константиновича известие о том движении, которое возникло в Петербургском беговом обществе. Великий князь был очень этому рад и расценивал положение как поворот в общественном мнении и широких кругах в пользу орловского рысака и возврат к национальной политике. Прочтя мою записку, великий князь специально прислал ко мне Ф. Н. Измайлова, который в это время находился в Петербурге.

Великий князь находил, что записка написана блестяще, оперирует неопровержимыми фактами и должна иметь успех. Великий князь пожелал еще раз видеть меня перед отъездом и затем лично мне все это передал. Недавно я перечел эту записку и считаю, что это, пожалуй, лучшая работа, вышедшая из-под моего пера. Я был крайне удивлен, когда, откланиваясь, услышал от великого князя следующие слова: «Весьма возможно, что я буду в собрании и буду голосовать за орловского рысака». Я поспешил сообщить это Оболенскому, и последний при всей свой сдержанности и осторожности пришел в восторг. Он мне пояснил, что за последние дни не все в группе обстояло благополучно и что Смирнов первый подал сигнал к панике: он заявил, что на собрание вовсе не пойдет, так как боится последствий политики Оболенского. «Мы люди маленькие, граф с нами может сделать все что угодно – иной раз на Сенной не знаешь, как и от участкового пристава отделаться!» Новый козырь, который неожиданно получила группа Оболенского, вполне уравновешивал положение, и если с той стороны был всесильный граф Воронцов, то здесь – великий князь!

Все произошло так, как рассчитал Оболенский: за три дня до выборов записка сторонников орловского рысака была внесена в распорядительный комитет и произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Князь Вяземский в это время отсутствовал, и Вахтер был один. Он сначала с насмешкой отверг записку, но когда ему на следующий день шепнули, в чем дело (Оболенский открыл карты), Вахтер пришел в ужас, совершенно растерялся и пошел на все уступки. Предварительно у него было совещание наличных действительных членов, и те решили провести ограничения в размере 25%, надеясь, что их под каким-нибудь предлогом не утвердит Главное управление, и не рисковать тем, что граф Воронцов получит хоть один черный шар. Партия Оболенского набралась смелости, и хотя лидер молчал, наиболее экспансивные члены прямо говорили, что если до выборов графа не будут произведены ограничения и не войдет в собрание старшим членом одно из лиц их группы, то Воронцов получит двенадцать черных шаров.

Наконец настал день выборов. За пять минут до открытия заседания на собрание прибыл великий князь Дмитрий Константинович, и метизаторы глазам своим не хотели верить, ибо для них это было полной неожиданностью. Великий князь был почетным членом общества. После открытия заседания он пер-

вый сел и затем принял участие в баллотировке вопроса об ограничениях, после чего сейчас же уехал. Несомненно, что великий князь был в собрании с ведома и разрешения государя императора и это хорошо учли граф Воронцов и заправили Петербургского бегового общества, а также Главное управление государственного коннозаводства. В данном случае впервые член царствующего дома Романовых прибыл на собрание и со всеми остальными, как равный с равными, принял участие в баллотировке вопроса громадной, принципиальной важности.



*Празднование 50-летнего юбилея Петербургского бегового общества*

На другой день об этом собрании говорил весь Петербург, и имена Оболонского и мое оказались у всех на устах. Не помню, в этом собрании или на следующем Оболонский был избран старшим членом. Это послужило началом его быстрой финансовой карьеры. В торжественные или же праздничные дни в определенных заезды он стоял во время бега у звонка, и его видел весь Петербург. Этого было достаточно, чтобы он попал в члены правления Русско-Азиатского банка и очень быстро утроил свое состояние. Хитрый и ловкий человек. Таким образом, на всем этом деле Оболонский нажил порядочный капиталец, а на мою долю выпали одни неприятности. Правда, я не искал здесь ничего, кроме успеха любимого дела, но все же не думал, что все, о чем я только что рассказал, будет приписано мне и что я стану самой непопулярной фигурой в стане метизаторов. Когда же граф Воронцов узнал, какой ценой он получил свое единогласное избрание, он был вне себя от негодования, во всем обвинял меня и говорил, что я неприличный человек, так что даже графиня заступилась за меня и сказала: «Добавьте, граф: в лошадином вопросе». Граф Воронцов мне этого никогда не простил, хотя впоследствии его сын Илларион и убеждал его в том, что я был в этом деле ни при чем...

Второй эпизод, о котором я хочу рассказать, заключается в следующем. В 1912 году группа членов Санкт-Петербургского бегового общества предложила мне баллотироваться в действительные члены. Так как я был орловцем и в то время лидером партии, то было весьма мало шансов на мое избрание, и я благоразумно отклонил это предложение. Через некоторое время заходит ко мне в номер Телегин – мы жили с ним в одной гостинице – и спрашивает, по-

чему я не хочу баллотироваться. Я ему на это ответил, что едва ли, как орловец, имею шансы пройти. Телегин со мной не согласился и сказал, что я имею во всех отношениях право быть действительным членом, как один из крупнейших русских коннозаводчиков и человек, который на деле доказал свою преданность нашему делу. Затем он ехидно улыбнулся и сказал: «Вот увидите, что если дадите свое согласие на баллотировку, то метизаторы вам положат направо, а орловцы налево: это мелкие людишки, которые преследуют только свои личные интересы, они побоятся видеть вас действительным членом». Я рассмеялся и уверил его, что петербургские орловцы не положат мне налево. На этом наш разговор закончился.

Через несколько дней после этого я обедал у князя Лопухина-Демидова, и он опять поднял тот же вопрос, находя неудобным, что я состою членом-сопернователем. Тогда я ему ответил, что согласен баллотироваться, однако при неперемennom условии, что он переговорит с метизаторами и те дадут свое согласие и слово положить мне направо. На следующий же беговой день ко мне подошли молодой Воронцов и князь Вяземский и сказали, что моя кандидатура выставляется и метизаторы положат мне направо. Я сердечно их поблагодарил и не сомневался, что это будет так, ибо в вопросах чести это были люди слова, не способные на гадость. Встретив Оболонского, я ему об этом сказал, выразив надежду и уверенность, что орловцы будут за меня. Он как-то двусмысленно улыбнулся, на что я тогда не обратил внимания, так как орловцы несколько раз хотели провести меня в действительные члены, но боялись метизаторов.

Вскоре после этого я уехал в Прилепы, где и получил от Вяземского телеграмму, которая гласила, что я получил 15 плюсов и 15 минусов, то есть 15 шаров направо и столько же налево. Иначе говоря, это была баллотировка вничью, то есть я не был забаллотирован, но и не был избран – случай крайне редкий в практике собраний и баллотировок. В собрание, в котором я баллотировался, прибыло 30 действительных членов, причем из них 15 были орловцами и столько же – метизаторами. Несколько метизаторов заранее предупредили, что не приедут, так как не хотели мне класть из принципа направо, но не хотели быть и против. Воронцов, Вяземский и Лопухин-Демидов не сомневались в моем блестящем избрании, так как не допускали мысли о таком предательстве орловцев и, если бы это могли предвидеть, сняли бы мою кандидатуру, ибо сами, в случае забаллотирования меня, попадали в крайне неловкое положение. Метизаторы сдержали слово и все положили направо – орловцы, все как один, налево. Когда осуществился подсчет голосов, возмущение метизаторов было полное и орловцы оказались в очень неловком положении. Оболонский и Курдюмов, его приспешник, побоялись меня пропустить, думая, что я на следующих выборах пройду на их место. Оболонский был уже второе трехлетие старшим членом, а Курдюмов – кандидатом. Мой авторитет несколько не пострадал, а возрос, положение же петроградских орловцев было очень глупое и неловкое. Москвичи все были за меня, и уже через три месяца я жестоко отомстил петроградским орловцам: двое из них баллотировались в действительные члены Московского бегового общества и я их лихо прокатил на воронях. Но этого мало: лидируя в партии, я и до самой революции не пропустил ни одного петроградского орловца в члены Московского бегового общества, а М. В. Оболонского, брата Петра Васильевича, провалил во всех комиссиях, где тот участвовал, и свел на роль рядового члена общества.







# ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНСКАЯ ВЫСТАВКА

С середины 1909 года в коннозаводских кругах начались усиленные толки о том, что необходимо устроить Всероссийскую конскую выставку, ибо последняя выставка была в 1899 году, то есть целых десять лет тому назад. С тех пор народилось немало новых рысаков, успело сойти с жизненной арены целое поколение лошадей. Интересно и необходимо проверить, куда движется русское коннозаводство и каков тот материал, которым оно в данное время обладает.

Вопросы эти не только носились в воздухе, но и умы были вполне к ним подготовлены. Под давлением общественного мнения Главное управление государственного коннозаводства вынуждено было проявить инициативу и принялось за устройство выставки.

В начале десятого года, после многих заседаний и проработки вопроса в комиссиях, было объявлено, что Всероссийская конская выставка состоится в Москве во второй половине августа. Прием лошадей на выставку был назначен с 12-го по 19 августа, а экспертиза – с 19-го по 21-е. Избрание Москвы для устройства выставки отвечало общим желаниям, так как Москва всегда была центром коннозаводской жизни страны. Все в лошадином мире пришло в волнение: крупным коннозаводчикам пришлось думать о том, что и как лучше выставить, дабы со славой выдержать конкуренцию других заводов и получить высшие премии; спортсмены и охотники из горожан мечтали похвастать перед всей коннозаводской Россией своими рысаками; а барышники думали о том, как бы хорошо на этом деле приработать и во время съезда, который обещал быть многолюдным, пораспродать застоявшийся на их конюшнях товар. В Москве на бегу разговоры о предстоящей выставке не умолкали; стало известно, что территорией выставки с согласия города избрано Ходынское поле, причем именно тот его участок, который непосредственно примыкает к беговой аллее. Таким образом, создавалось большое удобство для тех охотников, которые жили на бегу, многие приезжие могли там остановиться и, наконец, занятия съезда или его секции возможно было проводить в беговой беседке. Одним словом, выставка открывалась не только в центре коннозаводской жизни страны, но и, можно сказать, прямо-таки в ее сердце – возле бега, возле Башиловки, возле Петровского парка, там, где и была сосредоточена вся деятельность московских спортсменов и охотников.

Выставка была рассчитана на тысячу лошадей и требовала соответствующего помещения. Заведующим выставкой был назначен полковник Н. И. Крамарев, управляющий московской заводской конюшней, а делопроизводителем – чиновник канцелярии Главного управления государственного коннозаводства Бобровский. Делопроизводство было сосредоточено в канцелярии московской

заводской конюшни, и там можно было получить все нужные справки. Крамрев взялся за дело горячо и поручил постройку выставки архитектору Бони, который худо ли, хорошо ли, но успел все отстроить ко дню открытия. Надо правду сказать, здания были некрасивы, сделаны из дешевого материала, наспех, архитектурной идеи в исполнении не наблюдалось никакой, но распланирована выставка оказалась довольно удачно. Вход на выставку был с угла, рядом со входом на беговую аллею. Главная аллея вела от входа к собственным павильонам крупнейших наших заводов. Такие павильоны были удобнее, больше и имели при себе выводные залы. Налево от этих павильонов – буфет, большой общий выводной зал и манеж. Все остальные лошади, представленные на выставку, находились по общим павильонам, причем тринадцать из них было занято рысистыми лошадьми, семь – верховыми, девять – рабочим отделом, восемь – лошадьми задонских коннозаводчиков. Среди этих общих павильонов был устроен двор Окрюмгеделова, где стояли его лошади, люди были одеты ковбоями, вся постройка якобы в мексиканском духе, как его понимал Окрюмгеделов. Это было кричаще, оригинально и напоминало цирк.



*Администрация выставки у входа в канцелярию*

Председателем выставки был князь А. Г. Щербатов, известный знаток и любитель арабской лошади, владелец завода арабских лошадей, много путешествовавший по Аравии, автор интересной книги об арабских лошадях. Лошади, прежде чем их принимали на выставку, проходили через приемный комитет, в который входили генералы Клавер, Дубенский, Нелидов, шталмейстер Стобеус и несколько ветеринарных врачей во главе с магистром Архангельским, главным ветеринаром-консультантом при Главном управлении Государственного коннозаводства. Председателем общего собрания экспертов был генерал И. П. Дерфельден, товарищем председателя – князь С. П. Урусов. Большое количество экспертов – это вечный минус русских конских выставок. В то время как за границей даже самые большие выставки проходят всегда через руки

двух-трех постоянных экспертов, у нас их приглашается очень много, и это отнюдь не способствует успеху дела. Иных приглашают потому, что их нельзя обидеть, других – из-за связей и положения, и в результате что ни эксперт, то свой собственный взгляд на дело и свой собственный подход к лошади.



*Экспертиза двухлетних кобыл*

По одному только рысистому отделу было 26 экспертов. Общее же их собрание скорее напоминало парламент, чем деловое совещание, и бедный Дерфельден в роли председателя стал сущим мучеником. Нечего и говорить, что 26 экспертов внесли в экспертизу лошадей невероятную путаницу взглядов и только мешали делу. В конечном результате, когда премии были присуждены и объявлены, раздалось общее недовольство. Действительно, экспертиза на выставке 1910 года оказалась ниже всякой критики и совершенно несостоятельной.

На выставке 1910 года был организован чемпионат с целью выяснения вопроса, какая лошадь лучше по формам – метис или орловец. Вот как это случилось. За год до этого, в 1909 году, общее собрание Московского бегового общества постановило ввести на московском ипподроме ограничения для метисов и 50% всех разыгрываемых призов предоставило исключительно для лошадей орловского происхождения. Главное управление государственного коннозаводства под давлением графа Воронцова-Дашкова, группы петербургских метизаторов и весьма влиятельного лидера московских метизаторов, члена Государственной Думы и известного присяжного поверенного Шубинского не утверждало этого постановления, а орловцы, конечно, всячески добивались его утверждения. Под давлением орловской партии и благодаря влиянию Всероссийского союза коннозаводчиков орловского рысака, который действовал через своих почетных членов – двух великих князей Петра Николаевича и Дмитрия Константиновича, Главное управление коннозаводства вынуждено было,

наконец, пойти либо на уступку орловским коннозаводчикам и ограничения утвердить, либо же пойти на разрыв с ними. В то время управляющий государственным коннозаводством был генерал Зданович, бывший управляющий Деркульским заводом, сторонник и знаток чистокровной лошади. Он был очень



*Группа экспертов чемпионатной комиссии. Слева направо сидят: Ю. П. Юрков, Н. П. Шубинской, св. кн. Д. Д. Голицын, гр. Г. И. Рибопьер, фон Эттинген, кн. Н. Б. Щербатов, Леффлер; стоят: Г. Д. Яньков, А. А. Зотов. Альбом «Всероссийская конская выставка в Москве 1910 г.»*

хорош с Коноплиным и под его влиянием взял сторону метизаторов. Однако с отклонением утверждения ограничений все медлил, так как боялся великих князей и дорожил своим местом. Видя эту нерешительность и не будучи в состоянии настоять на своем, метизаторы, по мысли Шубинского, изобрели чемпионат. Таким путем окончательное решение откладывалось на полгода, а затем, имея на своей стороне Главное управление, они рассчитывали по-своему организовать соревнования и в этом вполне преуспели.

Чемпионат должен был сыграть решающую роль при решении Главным управлением вопроса об ограничениях, введенных Московским беговым обществом. В чемпионат входило равное число экспертов, орловцев и метизаторов, и решающий голос был, таким образом, за иностранцами, специально для того приглашенными. Представитель Англии, конечно, не приехал, ибо англичане поняли, что неудобно и неприлично вмешиваться в этот семейный спор русских коннозаводчиков, но немец и австрияк прибыли и отдали свои голоса метису. Метизаторы торжествовали. Однако лидеры орловцы также не дремали и как контрмеру, ибо для них не было никаких сомнений, как будет проведен чемпионат, выдвинули проект созыва Всероссийского съезда коннозаводчиков, с тем чтобы на этом съезде всем была предоставлена возможность путем

закрытой баллотировки высказаться по вопросу ограничений. Созыв съезда проектировался одновременно с выставкой. Метизаторы всячески препятствовали осуществлению этой идеи, но Главное управление вынуждено было его созвать. И если чемпионат выиграли метизаторы, то на съезде орловцы одержали блестящую победу. Подавляющее большинство высказалось за необходимость установления ограничений и принятия всех мер к сохранению орловско-



*Группа маток Я. И. Бутовича, золотая медаль*

го рысака. После съезда и под давлением так ясно выраженного общественного мнения страны Главное управление вынуждено было утвердить ограничения.

Выставка 1910 года вызвала интерес не только среди москвичей, но и по всей России. Все гостиницы были буквально переполнены, ни в одной из них невозможно было достать свободного номера, и беговое общество вынуждено было срочно организовать у себя нечто вроде общежития.

Всюду велись разговоры о лошадях, и имена знаменитых коннозаводчиков и лучших лошадей были у всех на устах. Нередко в то время, входя в театр или ресторан, приходилось слышать шепот: «Это знаменитый коннозаводчик такой-то». На самой выставке толчея была невообразимая. В определенные часы шли выводки в манеже и на площадках, в конюшнях нельзя было протолкнуться. Посетители – как москвичи, так и провинциалы – с каталогами в руках ходили, осматривая лошадей. Музыка гремела, в ресторане то и дело хлопали пробки и шампанское лилось рекой... Группы коннозаводчиков сходились, расходились, спорили, обсуждали и критиковали действия экспертов, горячились. Ржание, звон копыт, крики конюхов, распоряжения управляющих – все это вместе взятое сливалось в одно целое. Эти две недели охотники и весь конюшенный персонал жили как в угаре, а вечером, когда выставка закрывалась, «Яр» ломился от посетителей и не было ни одного домика на Башиловке, на Верхней и Нижней Масловке и в Петровском парке, где бы не светился огонек и не шли бы «лошадиные» разговоры.

В Петровском дворце пребывали великий князь Дмитрий Константинович и молодые князья дома Романовых. Здесь также все интересы вращались вокруг лошадей и будущих чемпионов выставки. Сюда по особому приглашению приезжали лишь особо выдающиеся коннозаводчики и генералитет. Полковник Измайлов и его помощник ротмистр Кулаков то и дело срочно приезжали с выставки с докладом к великому князю. Весьма часто приходилось и мне

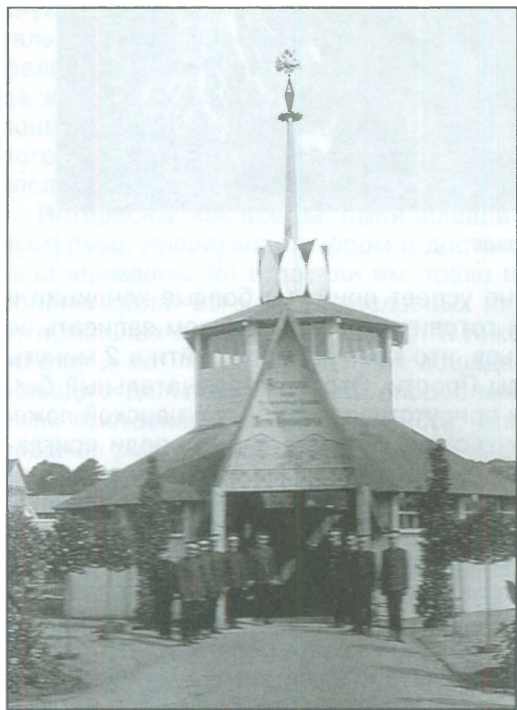
докладывать Дмитрию Константиновичу о подготовке к съезду и держать его в курсе всех вопросов и козней метизаторов. Великий князь был настоящим, страстным и притом тонким знатоком лошади.

Не только во дворце, но и везде обсуждались шансы лошадей. Одни уверяли, что все премии кобыл дадут Воронцову, другие отстаивали моих кобыл, третьи стояли за хреновских. Эти три группы были лучшими на выставке. Кобылы были любимцами публики, и о них больше всего думали и говорили.

Наконец награды были объявлены и кокарды – белая, синяя, красная, зеленая, желтая и малиновая – закрепились на табличках, указывая на первую, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую премии. Гром аплодисментов встречал премированных лошадей. Коннозаводчиков-победителей поздравляли и чествовали. Но уже дня через три-четыре почувствовался перелом. Усталые нервы дали себя знать, перенесенное напряжение сказалось, и на выставке стало не так шумно. Кульминационный момент был пройден, награды распределены, и теперь с большим интересом стали смотреть лишь лошадей, получивших премии, и выводки устраивались только для них. Народ валом валил на выставку до самого ее конца.

Но вот выставка закрылась, опустели громадные конюшни, коннозаводчики и охотники разъехались кто куда: одни на курорты подлечить усталые нервы, другие за границу, а третьи просто по деревням кончат молотьбу, продавать хлеб и прочее. Впрочем, так как осень была в полном разгаре, большинство поспешило в отъезд поля, и началась охота...

Во время выставки и съезда коннозаводчиков состоялся исторический бег Крепыша и Прости, причем победительницей бега осталась метисная кобыла. Так как осенью в Москве бегов уже не бывает, то Московское беговое общество устроило в честь съезда коннозаводчиков специальный беговой день. Вот какие обстоятельства предшествовали проигрышу Крепыша. Весь летний сезон он бежал блестяще и много, преимущественно на длинные дистанции – четыре и четыре с половиной версты. После окончания сезона, уезжая в Крым, Шапшал получил уверение, что приз будет отдельно для орловских и отдельно для метисных лошадей. Так как ни одна орловская лошадь не могла соперничать с Крепышом, то Шапшал назначил отдых и легкую работу, будучи уверен, что

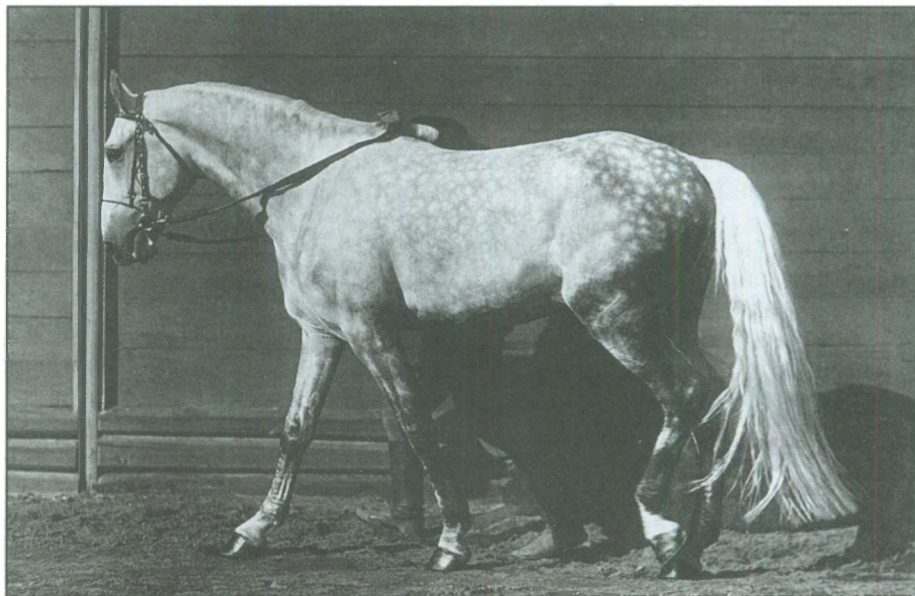


*Павильон Его Императорского Величества  
Великого Князя Петра Николаевича*

Крепыш без труда справится с орловцами. Каково же было его удивление и негодование, когда, приехав за три недели до съезда в Москву, он узнал, что приз будет общий и для метисов, и для орловцев. Сначала Шапшал категорически заявил, что он не поедет, потому что надо будет ехать гит

резвее 2 минут 10 секунд, что Крепыша не успеют подготовить и что, наконец, его наездник Барышников увеличил свой вес, а это тоже не могло не иметь значения.

Прости летом бежала мало и в руках Куликова неудачно, была затем передана специально для подготовки к этому призу В. Кейтону, работалась уже два месяца и шла замечательно.



*Крепыш*

Шапшал верно сказал, что Крепыш не успеет прийти в боевые кондиции и проиграет. Его положительно заставили готовить лошадь, а потом записать ее на этот приз. Все же нельзя не удивляться, что Крепыш мог прийти в 2 минуты 8 секунд и проиграть только 3/4 секунды Прости. Это был замечательный бег! Великий князь Дмитрий Константинович присутствовал на бегу в царской ложе, с генералитетом и наиболее почетными гостями Москвы. Я был среди приглашенных и видел, как волновался задолго до этого бега и во время самого бега великий князь, которому страстно хотелось, чтобы выиграл Крепыш. Однако, когда приз был разыгран и победительницу Прости подвели и поставили против царской ложи, великий князь, получив из рук вице-президента ценный кубок, пригласил в ложу наездника В. Кейтона и, вручая ему кубок, поздравил его самым любезным образом. Это произвело самое приятное впечатление на метизаторов, которые, видя, как волнуется великий князь, полагали, что сейчас же после приза в случае выигрыша Прости Дмитрий Константинович уедет. Они жестоко ошиблись и получили хороший урок: великий князь являлся в тот момент представителем царствующего дома и иначе поступить не мог...

Теперь несколько личных впечатлений о тех лошадях, которые произвели на меня особенно сильное впечатление. Следует сказать, что, по мнению нескольких старинных и притом знающих охотников, предыдущая выставка, то есть выставка 1899 года, была по качеству лошадей интереснее выставки 1910 года. Эти люди находили, что таких кобыл, каких тогда выставили Малютин, Елисеев, Вяземский и некоторые другие, на выставке 1910 года не было.

Первую премию среди жеребцов всех возрастов в 1899 году получил Лель, а в 1910-м белый Горноста́й – хорошая городская лошадь и только! Постепенная утрата типа орловским рысаком к 1910 году имела место под влиянием метизации, так как многие лучшие орловские кобылы шли исключительно под американских жеребцов.

Павильон Хреновского завода, если не по качеству выставленных в нем лошадей, то, во всяком случае, по значению этого завода, обращал на себя внимание. Хреновской завод выставил рысаков и першеронов. Из выставленных четырех жеребцов хорош, безусловно, был двухлетний Лужок: глубок, костист, правилен и широк, а самое главное, превосходит по типу. С моей точки зрения, он олицетворял собой тип густого орловского рысака, отошедшего от призового направления, но являющегося идеальной лошадью для города и улучшения массового производства.

Из заводских маток была действительно хороша лишь одна Восточная – мать Лужка. Она мне тогда же понравилась, и впоследствии, ревизуя Хреновской завод, я ее неоднократно видел и в ней не разочаровался. Восточная не была особенно крупна: ровно четыре вершка роста. Масти она была довольно неприятной, того светло-серого оттенка, который долго держится и при котором лошадь выглядит и не серой, и не белой. Восточная имела идеальную спину, была низка на ноге, утробиста, но не безупречна по сухости. Минусом кобылы служило ее посредственное происхождение и полное отсутствие резвости. Остальные хреновские кобылы не заслуживают упоминания, и я думаю, что Дерфельден не особенно удачно выбрал для выставки лошадей, что бывает иногда и с очень большим знатоком. По сравнению с 1899 годом хреновские лошади были намного слабее, не говоря уже о том, что не было ничего подобного красавцу Ветру-Буйному, Вихрястой или Ветренице, получившим тогда по заслугам высшие премии.

Интересны, как всегда, были лошади Дубровского завода. Их своеобразный экстерьер, правильность форм и достаточная гармоничность не только привлекали внимание, но и давали им право на высокие награды. Однако благодаря обилию крови Бычка в родословных их формы несколько отличались по типу от остальных орловских рысаков. Я никогда не был поклонником линии Бычка, почему и не любил дубровских лошадей, но всегда отдавал им должное, как лошадям дельным и крайне способным к бегу. Из производителей, которые были выставлены, я упомяну Аиста, темно-рыжего жеребца трех с половиной вершков росту, идеальную по типу и ладам лошадь для производства полукровных лошадей. Второй жеребец – серый Крутой был очень хорош по себе и весьма близко отражал тип хреновских лошадей восьмидесятых годов, от коих он почти кругом происходил. Наконец, знаменитый по своим бегам Хваленый при росте два аршина два с тремя четвертями вершка был сух, глубок, имел хорошую спину и очень хорошие рычаги. Кроме того, Хваленый был хотя и своеобразно, но породен. Хваленого я очень ценил и любил. Это была замечательная лошадь. Дубровские кобылы не произвели на меня большого впечатления: ни одна не осталась в памяти.

Граф Воронцов-Дашков из своего Новотомниковского завода выставил четырнадцать лошадей; из них пять заводских маток – все орловского происхождения. Кобылы были не в выставочном виде: за месяц до выставки их взяли из табуна, отняли от них жеребят, подкормили и привели в Москву. Это было роковой ошибкой со стороны Новотомниковского завода, и за нее он жестоко поплатился. Дело в том, что среди экспертов по рысистому отделу были такие, как князь А. Г. Щербатов, дилетант, решительно ничего не понимавший в экстерьере лошади, или Н. В. Павлов, очень поверхностный коннозаводчик. Они, конечно, не



могли разобраться как следует в лошадях, невероятно напутали и наделали ошибок. К числу ошибок относится экспертиза воронцовских лошадей. Их недостаточно оценили. Все эти кобылы были очень хороши и в том воронцовском типе, который так ценили прежние охотники. Среди них Княжна – идеальной красоты, породистости и женственности. Не Гулинке, раскормленной, как свинья на сало, кобыле купеческого типа, а Княжне надо было присудить первую премию. Я считаю ее одной из лучших рысистых кобыл, когда-либо мною виденных; описывать ее экстерьер бесполезно – таких кобыл надо видеть, чтобы их вполне понять и оценить. Следует заметить, что из пяти представленных на выставку кобыл Новотомниковского завода две – Баранта и Хохотва – были дочерьми Бережливого и одна – Ласка – его внучкой, то есть принадлежали к потомству серых Полканов.

Курский коннозаводчик А. А. Щекин также имел отдельный павильон, над дверями которого красовалась вывеска: «Дети Леска». Эта несколько претенциозная вывеска была забавна, но отчасти понятна, если принять во внимание, что всем своим благосостоянием и всей своей известностью Щекин был обязан исключительно Леску. Из четырех сыновей Леска Павлин и Грамотей были пустые лошади, Золотник был очень груб и столь же прост. И лишь один Вожак – настоящий по типу и породности орловский рысак. В нем было три с восьмой вершка росту, он был сух, элегантен, правилен и очень породен. Масти белой. Пять щекинских кобыл были типичны и как дочери Леска, и как лошади завода Щекина, то есть грубы, просты и малопородны, но при этом дельны, достаточно капитальны и низки на ногах.

Знаменитый малютинский завод перешел от Бетлинга к Новосильцову, и этот коннозаводчик выставил одиннадцать лошадей. Конечно, обращал на себя внимание Смельчак. Кобыл было выставлено всего четыре, и из них две – сестры Громадного и Горыныча Гусыня и Гагара. Из них Гусыня была лучше по себе и представляла замечательную заводскую матку. Знаменитая Загадка в матках как-то ухудшилась, а выставленная молодежь положительно не произвела на знатоков никакого впечатления. Двухлетняя Зазноба, дочь Мага и Загадки, получила одну из высших премий, но получила ее не по заслугам: малоопытных экспертов подкупили ее поразительно красивая светло-рыжая масть необыкновенно нежного и приятного тона, рост и выставочная упитанность.

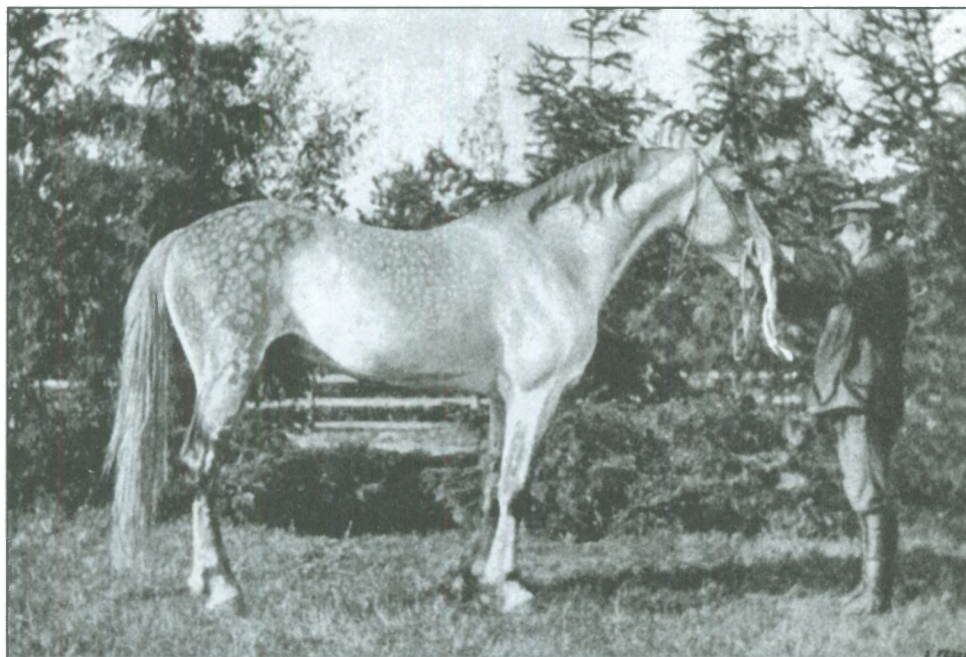
Быть может, меня упрекнул в том, что я чересчур строг или же несправедлив к экспертам. Однако в действительности я совершенно объективно отношусь к их деятельности и в оправдание Главного управления государственного коннозаводства, пригласившего этих господ, должен сказать, что все знаменитые коннозаводчики и лучшие знатоки орловской породы сами были участниками выставки, а потому Главное управление было лишено возможности ввести их в экспертную комиссию. Приходилось поэтому довольствоваться коннозаводчиками второй руки, а им, конечно, оказалась не по плечу павшая на плечи серьезная и ответственная задача.

Лошади одного из наших старейших заводов – герцога Г. М. Лейхтенбергского, а равно и все последующие, о которых я буду еще говорить, не имели своих отдельных павильонов, а стояли в общих конюшнях. У Лейхтенбергского была превосходная группа из кобыл разного возраста, недостаточно оцененная экспертизой. Всего восемь кобыл. Они были очень ровны, правильны и дельны. Это были типичные представительницы своего завода. Из лейхтенбергской группы должна быть особенно отмечена вороная кобыла Мельница, дочь Мечты и внучка великой по своему приплоду кожинской Метелки. Мельница получила вторую премию. Выше ее была признана одна Гулинка. Однако все знатоки ставили Мельницу выше Гулинки, и присуждение первой премии Гулинке многих огорчило. С моей точки зрения, Мельни-

цу можно было сравнить только с воронцовской Княжной и ни с кем больше.

Князь Вяземский выставил Зенита, четырех маток и четырех двухлеток. По происхождению Зенит – прямой потомок серых Полканов. Из четырех кобыл три были его полусестрами от Паши, то есть из того же рода; наконец, из четырех двухлеток одна была его внучкой.

Лотаревские кобылы были очень хороши, особенно Струнка и Альма. Но все же следует сказать, что Лотаревский завод мог более серьезно подготовиться к выставке. Вся группа была недостаточно продумана и носила какой-то случайный характер. Видно, молодой князь чересчур понадеялся на славу Лотаревского завода или же на свой еще недостаточно установившийся глаз и тем лишил этот старинный и заслуженный завод более громкого успеха. Особняком среди лотаревских лошадей надо говорить о Зените, уже в то время великом производителе. В 1910 году ему было 15 лет. Несмотря на этот почтенный возраст, он был еще светло-серый, но имел тот серебряный отлив, который так характерен для лошадей из линии серых Полканов. Росту в нем было четыре с четвертью вершка. Несмотря на этот хороший, но не особенно крупный рост, он казался высок на ногах. Голова его была превосходно моделирована, с очень широким лбом и маленьким ухом. Глаз великолепен, челка и грива мелкие, слегка вились и, что самое главное, черноваты. Это тоже отличительная черта в роде Полкана 6-го. Шея у Зенита имела превосходный выход, наклон плеча и, главное, его какая-то особая рельефность сейчас же бросались в глаза знатоку. Спина хороша, но не идеальна. Ноги сухи и притом костисты, при легком фризе; окорока



*Зенит, завода кн. Л. Д. Вяземского, род. в 1895 г., на выставке – большая серебряная медаль*

недурны. Зенит был, несомненно, в казаковском типе. Он принадлежал к числу тех немногих лошадей, которые подкупали вас и сразу вселяли особое доверие.

Графиня А. Ф. Толстая, наследовавшая завод мужа, П. Ф. Дурасова, выставила одного жеребца, вполне посредственного, и четырех белых кобыл, из них

три – дочери знаменитого дурасовского Полкана. Дочери Полкана были хороши, и одну из них, а именно Премию, я очень хотел купить, но графиня ее не продавала. Кобылы завода графини Толстой меня настолько заинтересовали, что я после 1910 года посетил этот завод и купил там несколько маток. Несомненно, графиня могла выставить гораздо лучших маток, нежели те, что фигурировали на выставке 1910 года, но ей обязательно хотелось показать дочерей Полкана, вследствие чего она и была стеснена в своем выборе.

А. А. Стахович из всего своего старинного и столь большого по размерам завода выставил лишь одну знаменитую по призам рекордистку Шинель. Дело в том, что Стахович, имея очень резвых лошадей, не мог похвастаться их формами. Шинель была мелка, но очень дельна и глубока. Спина у нее была великолепна, а серая в яблоках рубашка со светлыми гривой и хвостом действовала весьма подкупающе. Тем не менее Шинель не была выставочной кобылой. Но если принять во внимание ее рекорд и происхождение, становятся понятны и громадный интерес к ней, и желание многих знаменитых коннозаводчиков ее купить.

Из области войска Донского некто Греков, мелкий коннозаводчик, выставил белого жеребца Горностая. Горностаю имел  $5 \frac{1}{8}$  вершка росту, был хорош по себе и очень правилен. Он происходил от синицынского жеребца и малютинской кобылы Громкой, родной сестры Громады. По типу он вышел в малютинских лошадей, но был проще их, круглее, и в нем не было священного огонька и той высшей породности, свойственной лучшим малютинским лошадям, да и вообще другим великим лошадям орловской породы. С моей точки зрения, Гор-

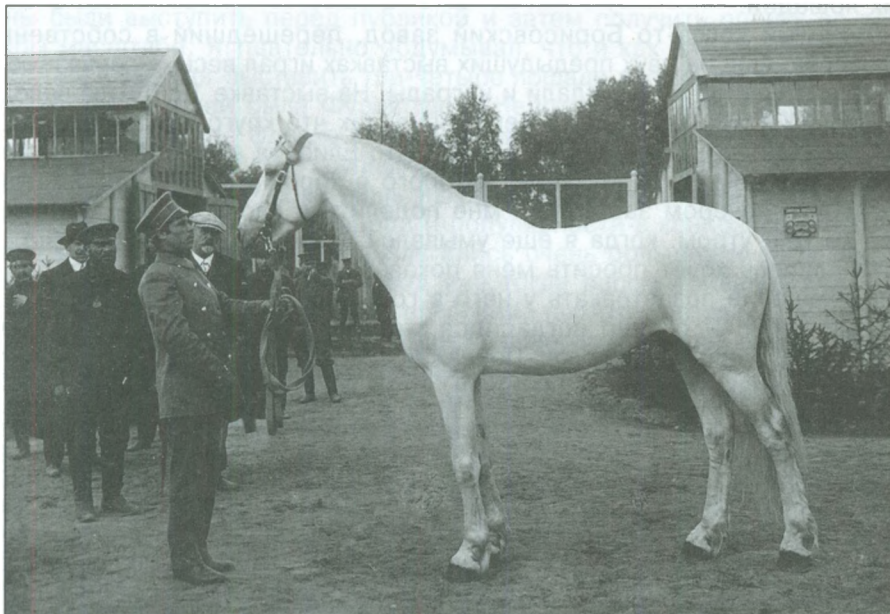


*Безнадежная-Ласка*

ностаю был идеальным жеребцом для улучшения массового производства, мог служить царской одиночкой, но быть производителем в первоклассном заводе у него не хватало данных. Эксперты признали его лучшим жеребцом и дали ему первую премию. С их точки зрения, точки зрения заурядных коннозаводчиков,

они были правы. Впоследствии Горностай недолго пробыл в заводе графини А. Ф. Толстой и не дал там ничего мало-мальски заметного. После выставки он был приобретен князем А. Г. Щербатовым для завода графа Строганова и там дал хороших по формам лошадей.

Первую премию среди кобыл получила рыжая кобыла Гулинка завода Д. Ф. Беляева, выставленная своим заводчиком. При росте в 4  $\frac{1}{4}$  вершка она была капитальна, породна и дельна. Бесспорно, это была превосходная кобыла, но ей далеко было до таких кобыл, как Княжна, Мельница или же моя Летунья.



*Громадный, 15 лет, завод Н. П. Малютина, 2-й приз, 500 руб.,  
большая серебряная медаль и царский подарок*

В девятнадцатом павильоне под номером 275 стоял выставленный И. Г. Афанасьевым Громадный – отец великого Крепыша. Вокруг его денника целый день толпилась публика. Это была самая популярная лошадь на выставке. Многие он интересовал как отец Крепыша и буквально всех привлекал своей необыкновенной внешностью. Ему была присуждена высшая награда – драгоценная братина, пожалованная государем императором за лучшую лошадь выставки. Эта награда была, несомненно, дана по заслугам. Карузо в своей записной книжке отметил: «Громадный – нет правого глаза; очень красивые уши и глаз, шерсть мягкая, грудь призовая. Очень тонкая кожа. Глаз замечательный; замечательная лошадь».

Воронежский барышник Лисянский выставил гнедую кобылу Ловчую завода Ф. А. Петрова, дочь Ловчего и Лавы. Ловчая, как моя Безнадежная-Ласка и великокняжеский Ловкий, произошла от посылки под Ловчего в Хреновской завод кобыл частными коннозаводчиками. Ловчая была необыкновенно хороша по себе. Если бы она была выставлена не барышником, а кем-либо из коннозаводчиков, то, несомненно, получила бы одну из высших наград. Она вышла в тех малютинских кобыл линии Удалого, которых я видывал в Быках еще при покойном Малютине и которых все мы, коннозаводчики, ставили так высоко.

Я давал за Ловчую 10 тысяч, но она не продавалась. Года через три после этого ее купил Русинов.

Также очень интересную кобылу выставил Смирнов, сын знаменитого водочного фабриканта Петра Смирнова. Это была Тоска 2-я завода Башмакова от воронцовского Светилы, победителя Императорского приза, и старой соловьевской Тоски, давшей столь блистательный приплод в заводе Казакова и ранее у Башмакова. Тоска 2-я была невелика – едва ли более двух с половиной вершков, но суха, породна и элегантна. Такая кобыла была бы желанной гостьей в любом заводе, и она впоследствии вполне оправдала себя, дав хороших и резвых лошадей.

Знаменитый когда-то Борисовский завод, перешедший в собственность Г. Г. Елисеева, еще на двух предыдущих выставках играл весьма серьезную роль и уносил высшие премии, медали и награды. На выставке 1910 года завод был представлен из рук вон плохо и немудрено, так что кругом раздавались голося, что песенка этого завода уже спета и что Елисеев его погубил. Управляющий этим заводом В. Д. Муханов, которого я хорошо знал и ценил, страдал всей душой и вечером забегал ко мне поделиться своим горем. Однажды он пришел ко мне утром, когда я еще умывался. Спросив его, в чем дело, я узнал, что Елисеев хочет просить меня показать ему моих кобыл, а затем принять приглашение позавтракать у него в гостинице и побеседовать на коннозаводские темы. Я охотно согласился, так как Елисеев был очень милый, воспитанный и приятный человек. Приезжая в Москву, он всегда останавливался в «своих» номерах, то есть на Тверской, в том же доме, где находился его знаменитый магазин, делавший такие же обороты в год, как иной уездный город.

После выводки моих кобыл, которые очень понравились Елисееву, мы поехали завтракать. Я знал Елисеева давно, так как еще в 1903 году продал ему Рыцаря и затем бывал у него в доме в Петербурге, а потому наша беседа сразу же приняла доверительный характер. Елисеев был очень озабочен неуспехом своих лошадей, но особенного значения этому не придавал и полагал, что все можно исправить подбором и введением нового производителя. В конце концов, для этого богатейшего в России человека его рысистый завод был не делом, а удовольствием и сам он был весьма доволен своими лошадьми. Елисеев просил меня помочь ему произвести сортировку завода и сделать подбор. Он деликатно упомянул, что рад бы меня отблагодарить, но не знает чем. Тогда я ему сказал, что был бы очень ему признателен, если бы он мне уступил знаменитую свою матку Соперницу, которой было уже тогда 22 года. Елисеев мне ее тут же подарил, и в 1910 году Соперница пришла в Прилепы. В 1912 году я получил от нее вороную кобылу Султаншу, которая и сейчас состоит в матках в Прилепах. Султанша – родная бабка Смеха (2 минуты 10 секунд).

После завтрака мы поехали на дачу Елисеева смотреть его лошадей. Муханов нас уже ждал и был предуведомлен по телефону, что я дал согласие на поездку к ним на завод. Он меня сердечно поблагодарил, и выводка началась. Через некоторое время я стал замечать, что Елисеев пришел в веселое расположение духа и едва сдерживает себя, дабы не покатиться со смеху. Он рассеянно наблюдал за лошадьми, часто что-то шептал на ухо Вере Федоровне, они перемигивались и тихо смеялись. Я сначала не мог понять, в чем дело, но наконец догадался. Муханов настолько вошел в азарт и, желая как можно лучше показать хозяину товар лицом, стоя перед лошадью, сам того не замечая, делал страшные глаза, строил невероятные рожи и глухо под нос рычал: «Х-хо!» От этого только что выведенная лошадь сначала подпугивалась, потом подбадривалась, затем пятилась назад и, наконец, принимала позу! Это

действительно было забавно – я не выдержал, расхохотался, за мной – Вера Федоровна. А с Гришей сделалась чуть ли не истерика. Выводка закончилась весело, но Муханов больше уже не рычал и не гримасничал. Мы все дружески простились и условились съехаться в Москве в октябре или ноябре, дабы ехать в Дружковку на завод.

Теперь с разрешения любезного читателя перейду *pro domo suo*, так как мои лошади тоже были на выставке и, благодарение Богу, не прошли незамеченными.

С начала 1910 года я стал готовиться к выставке. Для меня, еще молодого коннозаводчика, она имела чрезвычайное значение, ибо мои лошади впервые должны были выступить перед публикой и затем получить оценку во всероссийском масштабе. Я тщательно обдумывал, что и как надлежало выставить. К 1910 году я уже мог выставить три-четыре лошади вполне выставочных форм, среди которых лучшей была Фурия, дочь Недотрога и Феи. Первоначально я так и думал поступить. Однако впоследствии изменил это решение, и вот почему. Завод мой был очень крупных размеров, лошади уже бежали с выдающимся успехом, правда, пока лишь на провинциальных ипподромах, и, наконец, благодаря моему знанию пород и популярности в коннозаводских кругах, на меня как на коннозаводчика возлагались очень большие и даже преувеличенные надежды. Словом, мой завод уже тогда рассматривался как один из крупнейших орловских питомников в России, так что выставить от него двух-трех хороших лошадей было явно недостаточно: такой успех прошел бы незамеченным и не принес бы никакой пользы.

Я решил поступиться самолюбием, не выставлять лошадей своего завода, а показать коннозаводским кругам России и широкой публике тот материал, который я собрал и с которым предполагал вести работу. Я, конечно, предвидел, что мои враги и конкуренты будут всячески по этому поводу интриговать, заявляя, что мол, какая же это заслуга, что Бутович выставил замечательных кобыл, ведь все эти кобылы не его завода; мол, дайте нам денег – и мы купим и выставим еще лучших. Как я и предполагал, таких разговоров было сколько угодно. Тем не менее я унес с выставки большой и шумный успех, все правильно рассчитав и верно сделав ставку на психологию масс и настоящих охотников. Выставляя даже не группу, а целое гнездо орловских маток одной масти, однотипных, породных и превосходных по себе, я производил большее впечатление и мог рассчитывать, что об этом станут много говорить, волноваться, спорить и что до некоторой степени это гнездо явится центром общего внимания. Вокруг гнезда действительно завязалась горячая борьба страстей, и все мои даже самые смелые предположения оправдались.

Итак, решив показать на выставке тот материал, с которым я вел заводскую работу, я остановился на одиннадцати кобылах: Аталанте, Ветрогонке, Грамоте, Греми, Летунье, Комете, Скале, Пиле, Офелии, Угрозе и Ундине. Все они были белые, а я всегда любил белых и серых лошадей и убежден, что это коренная масть орловского рысака призового направления. Нечего и говорить, что, кроме того, все эти кобылы были превосходного экстерьера, крайне породны и кровны. Некоторые из них, например Ветрогонка и Аталанта, были близки к совершенству в смысле породности и ясно выраженного восточного типа, а Летунья являлась, несомненно, одной из лучших кобыл рысистого коннозаводства страны. Мало того, некоторые лошади по резвости и происхождению выделялись из общего уровня: всероссийская рекордистка Скала, Летунья (2.22), Ветрогонка – сестра Зимы 2-й, Комета – родная тетка великого Крепыша, Офелия – дочь знаменитой Полканши-Свирипой, Грамота – дочь не менее знаменитой Дешечи, Угроза – дочь лучшей охотниковской кобылы того времени Неприступной, Пила, уже известная по своему приплоду.

Кто мог в то время похвастать такой группой кобыл? И вот молодой коннозаводчик выставляет подобную группу, да еще и одномастных белых кобыл! А ведь должны же быть у него кобылы и других мастей? Этот вопрос невольно напрашивался и заставлял задуматься о Прилепском заводе и его составе. И невольно возникал ответ, что не только деньги были нужны на покупку этих кобыл, но и горячая любовь и кое-какие знания.

Решив выставить из своего завода гнездо в одиннадцать белых кобыл, я со свойственной мне энергией принялся за дело. Не надеясь вполне на Ситникова, который был малоопытен в подготовке лошадей к выставкам, и хорошо зная, что «нет ничего на свете дороже лошадиного сала», как меня когда-то учили старые барышники, я в помощь себе пригласил специально А. Б. Макарова. Это был старый волк, долгое время служивший у Демина и до тонкости знавший, как не перекормить лошадь, вовремя снять или увеличить корм и прочее. Прибыв в Прилепы, он сейчас же обратил мое внимание на отсутствие специального выводчика и предложил мне выписать такового из Козлова. Я отклонил это предложение, так как маточник Андрей Иванович Руденко превосходно выводил лошадей. Кроме того, ему, как маточнику, надлежало идти с гнездом в Москву. Макаров проэкзаменовал Руденку и остался им вполне доволен. У Андрея Ивановича было какое-то особое чутье поставить лошадь, вовремя уловить, когда она захочет переменить позу на менее выгодную, и не допустить этого. После «занятий» с Макаровым, после ежедневных проводок и выводок мне была наконец показана выводка кобыл, и я пришел в восторг от нее. Андрей Иванович прямо-таки мастерски ставил кобыл, которые замирали в красивых позах. Андрей Борисович (так звали Макарова) тут же на ухо мне шепнул: «Выводчику цены нет, ну да и я поработал... Жаль только, что сам он великоват, ест рост кобыл». Гнездо произвело такое впечатление, что о нем сразу же заговорили в Туле и Москве, а вскоре после этого в Прилепах появились и первые ласточки, которых привлекли слухи и которым захотелось их проверить... Приехал молодой Щекин, за ним Правохенский, Атрыганьев, Сопляков и другие. Надо отдать должное этой молодежи, они пришли в восторг от кобыл, чего ничуть не скрывали, и я уже в этом видел благоприятный признак.

Тем временем Крамарев торопил и вызывал в Москву. Приехав к нему в коннозаводство, я познакомился там с архитектором Бони, который взял подряд на постройку выставки. Он предложил мне выстроить для Прилепского завода отдельный павильон. План павильона был очень прост: конюшня была на двенадцать денников, с широким коридором посреди, затем шел выводной зал и из него выход на главную выставочную площадку. Все – из легкого леса, забрано в паз и обшито тесом. Решив главный вопрос о помещении, я лично заказал выводные недоуздки и попоны для кобыл. Долго мы совещались с милейшим Циммерманом, владельцем крупнейшего шорного магазина в Москве, какие сделать недоуздки, и наконец решили: тонкие, изящные и скромные, безо всяких украшений, лишь обшитые красной лакированной кожей. Недоуздки эти вышли очень удачными и хорошо выделялись на красивых белых головах кобыл. Попоны были заказаны там же: они были самого лучшего тонкого светлосерого сукна с вышитыми серебром моими гербами по бокам. Попоны эти были очень красивы, и белая группа кобыл в тонких красных недоузdochках, под легкими серыми попонками производила весьма внушительное впечатление.

Боясь заболеваний эпидемического характера или простуды кобыл в легких конюшнях, так как время было уже осеннее, я снял на даче Коноплина особую конюшню и помещение для людей, куда люди и лошади уходили на ночь после закрытия выставки. Никакой роскоши в конюшне не было, и, дабы несколько

скрасить голые стены небольшого выводного зала, я развесил там портреты кобыл моего завода кисти популярного в то время спортивного портретиста Ворошилова. Как-то рано утром, придя на конюшню, я застал в выводном зале управляющего Хреновским государственным конским заводом И. П. Дерфельдена, который внимательно рассматривал эти портреты. Подойдя к нему, я с ним разговорился и спросил его мнение о картинах Ворошилова. Он покачал головой и сказал: «К сожалению, в натуре мы не видим таких лошадей». Ворошилов улавливал сходство, был очень хороший рисовальщик, но всегда прикрашивал лошадей.

Итак, все было готово к выставке. Наконец наступил день отправки кобыл в Москву. С ними поехал Макаров, управляющий заводом Ситников и маточник Руденко. Через несколько дней после этого выехал в Москву и я. Кобылы стали на коноплянской даче и на другое же утро, как мне рассказал Ситников, были осмотрены Коноплиным. «Какими судьбами вы здесь?» – воскликнул Коноплянин, увидев Макарова, которого хорошо знал по его службе у Демина, и попросил показать ему кобыл на выводке. Кобылы произвели на Коноплянина очень большое впечатление, и он это высказал Макарову и Ситникову. Весть об этом с быстротой молнии разнеслась по всей Башиловке, и охотники начали усиленно навещать нашу конюшню. Когда я приехал, о группе уже говорили буквально все и предрекали ей большой успех. С вокзала я проехал прямо на дачу Коноплянина, чтобы поскорее увидеть кобыл. Уже въезжая во двор, я встретился с Бибиковым и Стобеусом, председателем приемной комиссии. Они шли смотреть моих кобыл. Выводка началась. После второй или третьей кобылы Бибиков, большой охотник и знаток экстерьера, одно время сам торговавший лошадьми, схватился за голову и затем только приговаривал: «О боже!» – что должно было выражать полный восторг. После выводки меня сердечно поздравляли, а вечером у «Яра» только и было разговоров, что о моей группе, причем Стобеус даже выразился так: «Надо Буговичу дать все кобылы премии».

Словом, первое впечатление было очень сильное. Приемная комиссия на другой день приняла всю группу, а через несколько дней открылась и самая выставка. За группу была присуждена большая золотая медаль; кроме того, отдельно были премированы четыре кобылы; наконец, группе была дана высшая награда, а именно драгоценная братина за лучшее гнездо орловских рысистых маток. После окончания экспертизы председатель комиссии экспертов по рысистому отделу граф Г. И. Рибопьер лично пришел ко мне в павильон, сердечно меня поздравил и в заключение сказал: «Мы вынуждены были дать вам большую золотую медаль». Потом он мне объяснил, что против моей группы велся поход: хотели сорвать вручение большой золотой медали под тем предлогом, что кобылы не моего завода, а лишь собраны мною! Награды были объявлены, и мои кобылы, и без того любимицы публики, стали центром внимания всей выставки. В моем павильоне выводки делались по десяти раз в день: то кобыл смотрел великий князь Дмитрий Константинович, то управляющий государственным коннозаводством, окруженный сонмом коннозаводских генералов, то приехавшие из Питера выдающиеся метизаторы или знаменитые коннозаводчики и деятели скакового спорта. Кто только не перебивал в моем павильоне – до заграничных экспертов включительно! Из них фон Эттинген сказал мне, что Летунья – замечательная кобыла, и очень интересовался ее беговой карьерой, а когда узнал, что она – одна из резвейших орловских кобыл, то еще выше поднял свою оценку. Кстати, заговорив здесь о Летунье, добавил, что Д. А. Расторгуев был от нее без ума и считал лучшей кобылой выставки. В Летунье эти знатоки не ошиблись: она дала мне Леду, мать Ловчего, лошадь совершенно выдающихся форм, породности и резвости. Пресса



восторженно встретила успех моих кобыл, а известный сотрудник «Русского слова» г-н Орлов назвал их в своей газете драгоценным жемчужным ожерельем, которому нет цены...

Выставка закрылась, мой завод прогремел на всю Россию, и я с сознанием выполненной задачи вернулся в Прилепы. Здесь только я понял все значение достигнутых успехов. Каждый день приходили телеграммы о приезде тех или иных охотников или знаменитых коннозаводчиков, и наплыв посетителей с целью осмотра моего завода был очень велик. Немало и весьма удачно я распродал лошадей и еще больше завязал отношений. Уже глубокой осенью, когда я собирался уезжать из Прилеп, неожиданно на лабызовской тройке прикатил Н. В. Телегин. На другой день ему показали на выводке весь завод. Телегин был тонким знатоком лошади, экстерьер знал в совершенстве и лошадь видел превосходно. Вывели Фурию, дочь Недотрога и Феи. «Какая выдающаяся кобыла!» – заметил Телегин и спросил, чьего она завода. Я ответил, что Фурия родилась у меня. Телегин удивленно посмотрел, пожал плечами и затем спросил: «Почему же вы ее не выставили? Да знаете ли, что она лучше Гулинки? Она бы обязательно получила первую премию». Я заметил Телегину, что у Фурии тяжела голова. «Это верно, – ответил он. – Но кобыла замечательная».

Дабы в дальнейшем не возвращаться к выставкам, на которых я был экспертом или где выставлялись мои лошади, скажу здесь еще о четырех – одесской, царскосельской, симбирской и киевской.

На одесской выставке лично я не был, но лошади моего завода были выставлены. Кронпринц (Недотрог – Каша) получил большую золотую медаль и первую денежную премию, Недотрог 2-й (Недотрог – Наина) – большую золотую медаль и Лакей (Недотрог – Ласточка) – малую золотую медаль. За группу из трех жеребцов – большая золотая медаль.

Царскосельская выставка носила скорее губернский, чем окружной характер. Она была приурочена к юбилею Царского Села. Так как я не выставлял там лошадей, то был приглашен экспертом по рысистому отделу. Конская выставка располагалась на территории царскосельского скакового круга, и число представленных на ней лошадей было крайне ограничено. По рысистому отделу экспертом пригласили еще Н. В. Телегина. Вместе с ним мы весьма быстро закончили экспертизу и объявили ее результат. Должен отметить, что результат экспертизы удовлетворил участников, ибо эти последние по окончании выставки поднесли Телегину и мне по золотому жетону. О лошадях этой выставки можно сказать не так много: подбор их носил случайный характер и не был ярким. Наши виднейшие заводы не приняли участия в выставке. И так как большинство выставленных лошадей принадлежало местным петербургским охотникам, естественно, что преобладали метисы.

Из коннозаводчиков других губерний лишь один Ушков имел интересную группу. Он выставил знаменитого американского жеребца и четырех заводских маток американского происхождения, причем все они были резвее, чем 2.10! Эти кобылы были хороши по себе, а чалая Сьожиджи и совсем интересна. В то время ни у одного коннозаводчика в России не было такого количества американских кобыл, чья резвость превосходила бы 2.10, и Ушков справедливо гордился своей группой. Впрочем, он оказался довольно-таки бездарным коннозаводчиком и от этих знаменитых по рекорду и происхождению кобыл не отвел ни одной выдающейся лошади.

Время, проведенное на выставке, текло быстро и интересно: посещения Царского Села, парка, дворцов, других отделов выставки, знакомства с интересными царскоселами – все это промелькнуло как красивый и короткий сон и обо всем этом приятно вспомнить и сейчас. Вечером, возвращаясь в Петер-

бург, в вагоне встречался со знакомыми и друзьями, нередко прямо с вокзала мы ехали куда-либо ужинать, и далеко за полночь я возвращался к себе домой, в гостиницу. В то время мы жили очень хорошо и весело, но, к сожалению, не умели этого ценить... На память о царскосельской выставке у меня сохранилась очень интересная фотография, где Телегин и я сняты в судейской. Телегин вышел очень удачно. Я считаю, что это лучшее и наиболее верное изображение знаменитого коннозаводчика.

В 1912 году, через два года после Всероссийской конской выставки в Москве, в городе Симбирске состоялась окружная выставка. Это была вторая окружная выставка, а первая проходила в 1911 году в Ростове-на-Дону. Дело в том, что Главное управление государственного коннозаводства еще в 1910 году приняло предложение ежегодно устраивать окружные или районные конские выставки, а каждые пять лет – всероссийские. Во исполнение этого предложения в 1911 году окружная выставка состоялась в Ростове-на-Дону, в 1912-м – в Симбирске, в 1913-м – в Киеве. Киевская выставка была последней конской выставкой, устроенной в императорской России, ибо окружная выставка 1914 года не состоялась из-за внезапно вспыхнувшей великой европейской войны.

Цель окружных выставок состояла в проверке развития коннозаводства данного района. Симбирск принадлежал к Центральному району России, и там были выставлены лошади рысистого и рабочего сорта. После не совсем удачной экспертизы во время Всероссийской конской выставки Главное управление государственного коннозаводства было озабочено тем, чтобы упорядочить этот вопрос, и нашло следующий выход: пригласить в число экспертов одно лицо, не коннозаводчика, но выдающегося знатока лошади из числа председателей ремонтных комиссий или же военных знатоков лошади. Как мне кажется, эту мысль генералу Здановичу подал Телегин, и ее нельзя не признать блестящей. Телегин, помимо своего рысистого завода, имел также и завод полукровных лошадей, весь приплод коего уходил по хорошей цене в ремонт гвардии и армии. Таким образом, Телегину пришлось ежегодно иметь дело с ремонтными комиссиями, и тут-то он оценил, какими знатоками лошади были лица, входившие тогда в состав этих ремонтных комиссий. В большинстве случаев это были истинные знатоки лошади, вышедшие еще из школы генералов Струкова, Петровского и Скаржинского. Важно также иметь в виду, что такой эксперт не имел пристрастия ни к Петушку, ни к Бычку, ни к Варвару и оценивал лошадь объективно.

На симбирской выставке таким экспертом стал генерал-майор В. А. Химец – начальник офицерской кавалерийской школы, один из лучших ездоков в русской кавалерии. Химец был воспитанный, мягкий и деликатный человек. Именно в Симбирске началось мое прочное знакомство с ним, которое продолжалось до самой его смерти. Во время войны Химец, уже получивший назначение начальника Управления ремонта армии, привлек меня к работе в ремонтных комиссиях и тем дал возможность основательно ознакомиться как с верховой ремонтной лошадью, так и вообще с этим крайне интересным и увлекательным делом. Химец должен был играть первую скрипку в экспертной комиссии по рысистому отделу. И только благодаря этому человеку экспертиза прошла хорошо. Следует еще иметь в виду, что Главное управление, наученное горьким опытом, признало непрактичность и ничемность приглашения многих экспертов, а потому в Симбирск было приглашено всего четверо. Двое – Н. Ф. Беляков и Ю. И. Юрлов – были крупнейшими местными коннозаводчиками, и их приглашение рассматривалось как акт вежливости по отношению к коннозаводским кругам края. Так как они оба выставяли своих лошадей, то, естественно, не могли принять

участия в экспертизе; таким образом, оставались лишь два эксперта – В. А. Химец и князь Д. Д. Оболенский. На Химца, как более молодого, легла вся тяжесть экспертизы.

Нельзя не сказать нескольких слов о деятельности И. М. Ильенко в качестве заведующего выставкой. Личные материальные обстоятельства этого знаменитого когда-то охотника кровных лошадей к 1910 году были в таком положении, что он вынужден был искать хорошо оплачиваемую службу. Государственное коннозаводство пригласило его к себе, ему были поручены организация, устройство, а затем и заведование всем выставочным делом в России. Выбор оказался очень удачен, так как Ильенко был дельный и энергичный человек. Он взялся за дело с любовью и редкой энергией. Вот почему на окружных выставках царил порядок и не было той бестолочи и сутолоки, которые наблюдались ранее. Ильенко понял также значение каталога не только для выставки, но и после нее, и все три каталога выставок – ростовской, симбирской и киевской – очень интересны и имеют определенное значение и сейчас. В этих каталогах, кроме обычных сведений информационного характера, то есть списков экспертов, перечня наград и премий, правил экспертизы, списка лошадей и прочего, даны также очень интересные статьи лучших русских специалистов по наиболее серьезным вопросам коннозаводства и коневодства, а также помещены многочисленные и весьма удачные изображения лучших русских лошадей как рысистых, так и чистокровных и других пород. Подобные каталоги в России были изданы впервые, и их воспитательное значение для посетителей выставки несомненно. Этим мы всецело были обязаны Ильенко, и надо заметить, что выбор иллюстраций и подбор статей в этих каталогах был очень интересен.

Симбирская выставка была не особенно велика, всего на нее заявили около четырехсот лошадей, из них рысистых лишь семьдесят семь голов. Кроме того, еще несколько рысистых лошадей соискали дополнительные премии Санкт-Петербургского бегового общества. Как это ни странно, но рысистый отдел, о котором я только и буду говорить, был представлен очень слабо, и лишь немногие заводы приняли в нем участие. В этом отношении симбирская выставка носила почти губернский характер или же, во всяком случае, узкорайонный, ибо из ближних губерний выставались лишь лошади моего завода.

Среди трехлетних рысистых жеребцов на этой выставке я не могу отметить никого: все это были хорошие лошади, и только. Среди жеребцов старшего возраста абсолютно делен и правилен был Мираж, принадлежавший г-же Боянус и родившийся в заводе Телегина от Барона-Роджерса и Могучей. В нем было полных четыре вершка росту, и он, несомненно, по формам был одним из лучших сыновей этого знаменитого производителя. Мираж по заслугам получил первую премию. Оба производителя другого известного в этом крае завода – беляковские жеребцы Светозар и Перун не заслуживали даже доброго слова.

Среди кобыл не было ни одной, которая бы мне понравилась. Беляковская группа состояла из пяти маток, довольно разнотипных, неровных по росту (от трех с половиной до пяти вершков) и вообще не выходивших из уровня обыкновенного, то есть второклассного упряжного завода.

Знаменитый молоствовский завод смог выставить лишь одну кобылу двух с небольшим вершков росту и скорее в верховом, нежели рысистом сорте. Об этом было много разговоров среди экспертов, и генерал Зданович вечером за ужином, сидя рядом со мной, говорил довольно злорадно, что орловская порода вырождается, в доказательство чего и приводил в пример когда-то знаменитый не только во всем Поволжье, но и во всей России завод Молостцова.

Графиня А. Ф. Толстая из своего столь большого по размерам и весьма известного завода выставила только двух маток, и нельзя сказать, что они были

выбраны удачно. Видимо, графиня не хотела принимать большого участия в этой выставке. Злые языки говорили, что она была чем-то обижена.

Лучшей была, несомненно, группа пензенского коннозаводчика Ю. И. Юрлова; он выставил восемь заводских маток, и из них пять были дочерьми Винтерсета, одна Дора-ди-Разбунари, а две чужих заводов – Козырная Кейтона и Торпеда Вяземского. Кобылы, несомненно, были хороши по себе, но раскормлены свыше всякой меры. Я думаю, Юрлов их откармливал месяцев пять или шесть. Кобылы эти носили оригинальные названия: Лау-ли-Ля, Заядлая-Бабенка или Проснись-Разбунарьевна, а одна называлась Абалета. Писалось это невинное название так: А-ба-лета, но по требованию коннозаводского ведомства было изменено, и тогда Юрлов стал писать его без тире. В первом случае это обозначало «долой правительство», а во втором, то есть написанное без тире и с ударением на последнем слоге, могло сойти за собственное имя. Не правда ли, милое название для лошади, родившейся в заводе русского дворянина и статского советника? Впрочем, этот Юрлов был человек недалекий, крайне самолюбивый и жаждавший популярности. Он не знал, что бы выкинуть, чтобы выделиться или же обратить на себя внимание. Одевался Юрлов в смесь не то боярского, не то татарского костюма, говорил часто дикости и выкидывал такие штучки, которые ему, по-видимому, казались очень оригинальными. Как-то однажды я приехал зимой на бег и, пройдя наверх в членскую, увидел, что на окне во весь рост стоит Юрлов и наблюдает за состязанием. Этот несчастный человек, всю жизнь не знавший, чего хочет, был во время революции расстрелян, однако не тем правительством, которое он по своей глупости хотел свергнуть, а совершенно другим...

Тульская губерния входила в этот район, и я решил принять участие в выставке, послав трех лошадей своего завода. Маток я не послал, не желая рисковать будущим приплодом, а выбрал молодых лошадей. Трехлетний караковый жеребец Киамиль-Паша имел пять вершков росту и был в типе малютинских лошадей. Сын Громадного и Кометы, родной тетки Крепыша, он был очень хорош по себе верхом, но высок на ногах, ибо дети Громадного, как я уже говорил, поздно складывались. Только поэтому ему была присуждена бронзовая медаль. Но впоследствии, когда Киамиль-Паша сел, он был очень хорош и за пять тысяч рублей уже через третьи руки попал на придворную конюшню, где я его и видел.

Рыжая Нирвана получила малую серебряную медаль: она была очень хороша по себе, но имела наливы, что иногда встречалось у детей Петушка. В ней было 4 с половиной вершка роста, и впоследствии я ее продал Новосильцову, который от Бетлинга купил малютинский завод. Собственно говоря, эти две лошади были лишь спутниками того жеребца, который выставлялся мною на симбирской выставке и за которого я определенно рассчитывал получить первую премию. Я говорю про Лакея, сына Недотрога и Ласточки, пятивершкового рыже-бурого жеребца, с эффектными, светлого оттенка гривой и хвостом, компактного, сухого, породного и крайне элегантного. Впоследствии он имел блестящую призовую карьеру и показал высокий рекорд. До этого Лакей был уже премирован золотой медалью в Одессе. Он получил в Симбирске большую серебряную медаль и вторую денежную премию в пятьсот рублей. Выше его был признан лишь один телегинский Мираж. В то время Мираж был лучше Лакея, но сравнивать их было нельзя, так как Лакею едва минуло четыре года, а Миражу было десять лет. По правилам всех предыдущих выставок четырехлетние лошади премировались только среди лошадей своего возраста и отдельно от лошадей уже сложившихся. Каким образом случилось, что на симбирской выставке четырехлетки и весь возраст попали в один класс? Ока-

зывается, Ильенко, как скаковой охотник, внес это изменение, а канцелярия Главного управления государственного коннозаводства не заметила этой ошибки. Для Ильенко, по новости дела, это было естественно, но как не заметили чиновники канцелярии – вот вопрос, лучше всего показывающий их отношение к делу. Узнав об этом на выставке, я хотел протестовать, но затем по просьбе управляющего коннозаводством генерала Здановича я протеста не заявил и удовольствовался второй премией.

Впоследствии, будучи представленным на премировку перед Императорским призом, Лакей удостоился первой премии в тысячу рублей за красоту и правильность форм – отличие, весьма редко присуждающееся рысистым лошадям, так что весьма немногие заводы в России в то время могли им похвалиться.

Симбирская выставка почти не привлекла коннозаводчиков других губерний и широкой публики, съехались лишь ближайшие коннозаводчики Поволжья. Но местная публика ее посещала охотно. Когда выставка закрылась, генерал Зданович пригласил экспертов и нескольких коннозаводчиков на выводку в симбирскую заводскую конюшню. Я был в числе приглашенных и поехал заранее, чтобы видеть весь церемониал встречи управляющего коннозаводством. По дороге меня обогнал Беляков, в то время занимавший место председателя Симбирской губернской земской управы. У него была коляска на красивом ходу и великолепная пара вороно-пегих жеребцов собственного завода. Удивительно, как многие рысистые заводчики любили пегих лошадей, достаточно лишь вспомнить светлейшего князя Голицына, Воейкова, Янькова, Телегина, Белякова и многих других. Если на поколение, к которому я принадлежал, известное психологическое воздействие мог оказать «Холстомер» Льва Толстого, то у прежних коннозаводчиков – Воейкова, Голицына – были какие-то другие причины, так как «Холстомер» в то время еще не был написан. Так или иначе, но беляковская вороно-пегая пара обращала на себя всеобщее внимание!

Нам недолго пришлось ждать приезда управляющего коннозаводством. Он прибыл ровно в девять часов утра, и к его приезду вся команда, то есть конюхи и служащие, были уже по-военному выстроены для встречи. На правом фланге стоял управляющий конюшней ротмистр Дрейлинг, рядом с ним – ветеринарный врач, далее – делопроизводитель, нарядчики и в две шеренги конюхи. Несколько поодаль расположились группой приглашенные коннозаводчики и вели беседу о лошадях. Генерал прибыл в сопровождении чиновника особых поручений г-на Каминского. Раздалась команда, и ротмистр Дрейлинг подошел к генералу с рапортом. Зданович принял рапорт, поздоровался с людьми, и затем началась выводка. Это была только выводка по охоте, и свою ревизию генерал откладывал, очевидно, на другой день, а здесь как хозяин лишь показывал нам жеребцов симбирской конюшни. Надо сказать, что состав этой конюшни был очень хорош. Жеребцы моего завода начали уже проникать в заводские конюшни, и один из них состоял в штате симбирской заводской конюшни. Он не ударил лицом в грязь и не осрамил завода, в котором родился, как заметил во всеуслышание генерал Зданович. После выводки мы простились, так как в тот же день почти все разъезжались по домам. Лишь генерал Зданович с грустью заметил, что он еще не скоро вернется домой, так как лишь недавно выехал в объезд своей епархии, а епархия у него большая – вся Российская империя. Это была правда, ибо управляющему коннозаводством были подчинены все коннозаводские учреждения России и ни у одного архиерея, ни у одного другого сановника не было такой большой епархии...

В следующем году состоялась окружная выставка в Киеве. Насколько симбирская выставка была скромна, настолько киевская – интересна и значительна, причем как по съезду коннозаводских деятелей, так и по составу

представленных лошадей. Августейшими покровителями выставки были наследник цесаревич Алексей Николаевич и великий князь Дмитрий Константинович. Кроме того, были председатели отделов, их товарищи, исполнительный комитет из десяти лиц, приемный комитет из пяти и, наконец, экспертная комиссия из тридцати человек. Как видим, громадный аппарат. Зачем потребовалось приглашение такого громадного числа людей? Дело в том, что прежний управляющий коннозаводством генерал Зданович ушел в отставку и на его место был назначен князь Щербатов. Этот последний всячески искал популярности, был совершенный дилетант в нашем деле и попросту пригласил всех, кого только мог, из лиц влиятельных и сильных, а также многих своих знакомых помещиков Киевской и Полтавской губерний, где до своего назначения он был губернским предводителем дворянства.

Впрочем, следует заметить, что многие не приняли никакого участия в делах и лишь числились на бумаге. Экспертами по рысистому отделу были А. А. Стахович, Г. Д. Яньков, Д. Д. Левшин, Н. К. фон Мекк и я. Председателем мы избрали А. А. Стаховича. Экспертировать лошадей было нетрудно, так как у нас в комиссии царило согласие и работа шла дружно и быстро.

Киевская окружная выставка была устроена для лошадей верховых, рысистых и рабочих. В ее район входили следующие губернии: Курляндская, Лифляндская, Эстляндская, Виленская, Витебская, Гродненская, Ковенская, Минская, Могилевская, Волынская, Подольская, Бессарабская, Таврическая, Екатеринославская, Харьковская, Курская, Орловская, Киевская, Полтавская, Черниговская, а равно и десять губерний Привислянского края. Таким образом, округ этой выставки был громаден и обнимал собой почти всю Россию, во всяком случае, те губернии, где процветало верховое коннозаводство. Премий и медалей на эту выставку было назначено коннозаводством очень много; кроме того, таковые были дополнительно даны императорскими спортивными обществами, да еще и великий князь Дмитрий Константинович пожаловал кубки лучшему верховому производителю, лучшему орловскому рысаку и лучшей рабочей лошади. Был также кубок для лучшей чистокровной кобылы, данный Императорским московским скаковым обществом.

В рысистом отделе было даже чересчур много премий, и их пришлось присуждать довольно снисходительно. На выставку прибыла в общей сложности 581 лошадь. Располагалась выставка в самом центре города, на чрезвычайно живописном месте, сейчас же за городским садом, на крутом обрыве, откуда открывался восхитительный вид на Днепр и ту сторону реки. Открытие состоялось весьма торжественно, при большом стечении киевлян. Выставку открыл великий князь Дмитрий Константинович, после чего экспертные комиссии тотчас же приступили к работе. Открытие выставки ознаменовалось небольшим инцидентом. Новоявленный сановник управления коннозаводством князь Щербатов опоздал на пять минут и приехал позднее великого князя. Дмитрий Константинович прибыл на выставку аккуратно в назначенный час и был встречен всеми властями, кроме самого хозяина, то есть управляющего коннозаводством. Со свойственным ему тактом он сделал вид, что не заметил отсутствия Щербатова, и стал беседовать с командующим войсками Киевского военного округа генерал-адъютантом Н. И. Ивановым. Всем было не по себе. Минут через пять великий князь поднял руку к близоруким глазам, чтобы посмотреть на часы, которые он по старой кавалерийской привычке всегда носил на руке, и в этот самый момент показался Щербатов... Словом, выставка открылась и мы, эксперты, приступили к своей работе.

В рысистом отделе были представлены такие заводы, как Дубровский, Новосильцова (бывший Малютина), Щекина, князя Орлова. Прислал группу и Хре-

новской завод, хотя Воронежская губерния и не входила в округ, обнимавший киевскую выставку. Однако для меня главный интерес сосредоточился не на этих столь известных заводах, я интересовался главным образом тем, каких лошадей имели другие, менее крупные коннозаводчики, разводившие рысистую лошадь. Их лошадей я пересмотрел с особенным вниманием.

Некто Кабишев из села Тернова Харьковской губернии выставил несколько рысаков, вполне по себе удовлетворительных. Сравнительно большой завод почти на самой границе Киевской и Курской губерний имел Масалитинов. Лошади этого завода отличались сухостью и породностью, и некоторые из них имели примесь американской крови. Впоследствии, уже во время войны, я довольно хорошо познакомился со ставками этого завода, ибо Масалитинов сдавал немало рысистых лошадей в ремонт, некоторых я даже принял для гвардейской кавалерии. Известный в свое время призовой охотник П. С. Ралли, владелец знаменитого Зверобоя, имел небольшой рысистый завод в Подольской губернии. Этот завод производил рысистых лошадей исключительно для себя, и Ралли мариновал знаменитого Зверобоя, не желая его продать ни за какие деньги и давая ему в год шесть-семь посредственных кобыл. Ралли был богатейшим человеком и мог себе позволить такую фантазию. Я бывал у него ранее в Бранлове и знал детей Зверобоя. Мне даже удалось склонить Ралли отдать Зверобоя на два года в аренду в Хреновое. Генерал Дерфельден меня очень за это благодарил, но, к сожалению, Зверобоя там недостаточно оценили и весьма мало использовали. Жаль, что эта замечательная лошадь так непроизводительно погибла для рысистого коннозаводства. Зверобой мог дать превосходных лошадей, доказательством чему служит его дочь – серая кобыла Думка, выставленная Ралли на киевской выставке. Лошади завода Ралли носили яркий отпечаток сухости и породности и все были в типе детей Летучего.

Прилукский коннозаводчик В. В. Катеринич хотя и имел большой рысистый завод, но в деле, очевидно, ничего не понимал. Т. И. Потоцкий из Киевской губернии был еще молодым коннозаводчиком, а потому о его деятельности в то время нельзя было окончательно высказаться. Он разводил лошадей с примесью американской крови и стремился вывести призовую лошадь, так как близость киевского ипподрома делала небезвыгодным сбыт призовых лошадей. Типа у лошадей Потоцкого еще не было, и в заводе было, видимо, «всякого жита по лопате». В. П. Микулин, имевший завод призовых лошадей, одно время принимал весьма активное участие в делах Одесского бегового общества. Его лошади были очень сухи и достаточно породны, но при этом крайне мелкие. Черниговская коннозаводчица Писарева имела неплохой призовой завод. Однако он был чисто любительского типа и едва ли имел какое-либо влияние на улучшение лошадей даже у ближайших соседей. Из Херсонской губернии выставил лошадей еще К. Г. Шубович, молодой инженер, увлекшийся рысаками в Петербурге во время своего пребывания там в институте и впоследствии так удачно купивший весьма известного Пекина. Пекин сделал его охотником, а потом и коннозаводчиком. Шубович хорошо кормил и воспитывал своих лошадей; к сожалению, он, так как был большой фантазер, все время применял в деле какие-либо новшества, и не всегда удачно. Лошади его были недурны; у него была коннозаводская жилка и неплохой глаз, со временем из него мог бы выработаться хороший коннозаводчик. В то время он, к сожалению, сильно разбрасывался: имел и метисов, и американцев, и орловцев. Шубович был большой охотник и лошадь любил.

Вот, собственно, те лица, которые разводили рысистую лошадь в этом обширном крае и представили на выставку своих лошадей. Разумеется, были и другие коннозаводчики, занимавшиеся разведением рысаков, но в общем сле-

дует признать, что юг России, Польша и прибалтийские губернии совершенно не интересовались рысистой лошадей, игнорировали ее. По выставленным экземплярам я мог с достаточной определенностью судить о том, что представлял собой рысак в этом крае. Все эти рысистые лошади были значительно хуже рысистых лошадей, разводимых в Центральной России: они были суше, нежели их братья, рожденные в Великороссии; многие из них стали кровнее и по типу приближались к верховым лошадям.

Теперь несколько слов о тех знаменитых заводах, которые выставили своих лошадей на киевской выставке. Хреновской завод был представлен великолепной группой серых и светло-серых кобыл. На мой взгляд, эта группа была интереснее той, которую Хреновской завод выставил в 1910 году на Всероссийской конской выставке в Москве. Группу возглавляла знаменитая Восточная, получившая в 1910 году большую серебряную медаль и третью денежную премию. Также были хороши и другие кобылы, особенно Лучина, дочь Ловчего, и Гагара.

Однако лучшая кобыла выставки, на мой взгляд, была не среди хреновских. Дубровский завод выставил шесть весьма типичных для него и крайне интересных кобыл. Все они были гнедой масти, длинные, низкие на ноге, капитальные, костистые и правильные. Это было действительно гнездо маток, и при взгляде на них становилось ясно, что завод сумел выработать свой тип и выпускал из него маток такого фасона, как по чекану. В экспертной комиссии я обратил на это особое внимание, поставил это в заслугу заводу и добился высокой награды для всей группы.

Щекин представил на выставку жеребцов Павлина и Маков-Цвета, которых я всегда рассматривал как лошадей довольно заурядных. Одному из них дали довольно крупную награду, так как это была лошадь знаменитого завода, да и сам Щекин немало хлопотал и воздействовал на экспертов, особенно на Г. Д. Янькова. Маток этот коннозаводчик выставил пять, но это была, конечно, не группа, а просто пять, правда, очень хороших кобыл.

Новосильцов выставил только молодежь; она была недурна и принадлежала к лучшей на выставке. Особенно хороши были Лучистая, дочь Горыныча и знаменитой Летуньи, и жеребец Светоч, сын того же Горыныча и Сударки.

Князь Орлов, владелец знаменитого Подовского завода, за несколько лет до этого эвакуировавший свой завод из Воронежской губернии в село Чечельник Подольской губернии, представил несколько молодых лошадей и только двух маток – Безымянную и Любушку. Молодежь и Безымянная были совершенно в подовском типе, то есть крупные, дельные, достаточно породные, но несколько сырые упряжные лошади. Что же касается Любушки, то это была замечательная решительно во всех отношениях кобыла. Она была дочерью малютинского Ловчего и Досадницы, кобылы первоклассной породности и также замечательной по себе. Я видел ее в Подаях и тогда же хотел купить, но она была, разумеется, в числе непроданных кобыл. Любушке было 9 лет. Белой масти, очень широкая, достаточно сухая, необыкновенно породная и красивая кобыла. В ней при этом было четыре с лишним вершка росту, а я здесь замечу, что росту я всегда придавал и сейчас придаю большое значение. Голова у Любушки была поразительно красива, с большим, умным и добрым глазом; шея лебединая, верх превосходный, окорока замечательные, глубина же кобылы невольно бросалась в глаза каждому. Кроме того, на этой кобыле был особый отпечаток, который выделял из общего уровня таких лошадей, какое-то «каше», как имел обыкновенно удачно выражаться А. А. Щекин. Любушка была лучшей кобылой на выставке, и я мечтал ее купить. Я предложил управляющему князя Орлова за нее пять тысяч рублей, цену по тому времени очень крупную; он те-



леграфировал в Париж, но князь от продажи кобылы уклонился. Новосильцов, узнав об этом и считая своим долгом перебивать у меня каждую кобылу, которую я торговал, сейчас же предложил за Любушку десять тысяч рублей и телеграфировал об этом в Париж. Ответа на его телеграмму, насколько мне известно, от князя Орлова не последовало.

Вспоминая о Киевской выставке, я всегда вспоминаю и знаменитую красавицу Любушку, которая сейчас, когда я пишу эти строки, стоит передо мною как живая. Я так и вижу ее взгляд, глаз, которым она косит на меня.

Не могу также забыть и следующей сцены: рано утром я смотрел один Любушку на выводке. Ко мне подошел известный заводчик верховых лошадей пан Милобендзский и, увидев кобылу, воскликнул: «Сто дьяволов! Как хороша!» А затем добавил: «Покупаете кобылу, ясновельможный пан Бутович?» Получив утвердительный ответ, поляк потрепал кобылу по плечу и пошел дальше по своим делам. Что это была за замечательная кобыла и куда только девались теперь подобные орловские лошади?! Во время революции Любушка попала с остатками Подовского завода в Хреновской и там, кажется, скоро пала – участь, которая постигла не одну знаменитую кобылу в годы царствования там в роли управляющего г-на Пуксинга.

После выставки состоялся съезд коннозаводчиков. Как на выставку, так и на съезд собралось в Киев очень много народу. Особенно много было представителей польской аристократии: Браницкий, Потоцкий, Любомирский, Тышкевич. Прибыли также почти все наиболее выдающиеся представители Управления ремонта армии во главе с начальником ремонтов генералом от кавалерии Винтуловым. Управляющий коннозаводством князь Щербатов приехал со своим помощником генералом князем Багратионом, их сопровождало несколько видных коннозаводских чиновников. Немало съехалось и гвардейских офицеров, и соседних помещиков, и просто любителей лошади. Словом, оживление царило везде и всюду: и в знаменитом «Континентале», и в столь же известном «Гранд-Отеле» яблоку было негде упасть, а получить столик во время обеда или завтрака оказалось почти невозможно. Более скромная демократическая публика группировалась во второклассных гостиницах. Зайдя в номер к старику Янькову в одну из таких скромных гостиниц неподалеку от выставки, я застал здесь уголок Москвы: сам хозяин, беспрестанно разглаживая свои великолепные бакенбарды, делился впечатлениями о лошадях; кругом сидели и пили чай Шнейдер, два Щекиных и супруги Левшины. Какая разница между этой картиной и тем, что делалось в «Континентале»! Там шум, блеск, французский говор, гвардейские мундиры, фраки и туалеты дам – словом, Европа, а здесь московский чай «с манностями» и группа помещиков нашей черноземной полосы в беседе о лошадях, урожае и прочих житейских делах... Вот она, матушка Русь того времени, сотканная из стольких противоречий.

Великий князь Дмитрий Константинович пробыл в Киеве все время, пока была открыта выставка. По своему званию августейшего покровителя выставки он не только ежедневно бывал там и интересовался ее делами, но и каждый день приглашал к обеду во дворец лиц, кои по своему положению могли быть у него приняты. Список приглашений был заранее составлен управляющим двором великого князя и разослан. Получив приглашение на определенное число, я поехал во дворец. Прибыв минут за десять до обеда, я был проведен камер-лакеями в большой зал, где уже собралась свита великого князя и несколько приглашенных. Из этой залы дверь была открыта на террасу, а с нее открывался восхитительный вид на старый Киев и Днепр. Я никогда в жизни не видел более красивого, величественного и вместе с тем ласкающего глаз пейзажа. Ровно в шесть вечера вышел великий князь в сопровождении

адъютанта, поздоровался со всеми присутствующими и пригласил нас к столу.

Стол был накрыт в соседнем зале. Посредине сел великий князь; справа и слева от него – наиболее почетные из приглашенных гостей, напротив поместился кто-то из генералов, в конце стола – адъютант и управляющий Дубровским заводом полковник Кулаков. Центром внимания был, конечно, хозяин. Он давал тон разговору, все его слушали, отвечали, что называется, в тон, и беседа велась интересно и довольно напряженно. Надо сказать, что покойный великий князь был очень начитанный человек, прекрасно знал родную литературу и как рассказчик бывал очень интересен.

Во время этого обеда мне пришлось убедиться, да и не мне одному, что полковник С. Л. Носович – заносчивый и маловоспитанный человек. В то время он управлял Деркульским заводом. Я знал, что великий князь его не любит, но думал, что это происходит на принципиальной почве: великий князь был сторонником орлово-ростопчинских лошадей, а Носович – чистокровных. Эти два полюса, два разных мира интересов в верховом деле примирить, конечно, было невозможно. Мое предположение оказалось неверным, и мне кажется, что во время этого обеда я понял причину того, почему великий князь держал от себя на расстоянии полковника Носовича. Носович держал себя развязно, говорил чересчур громко, очень непринужденно и как бы хотел показать всем, что вот, мол, каков я, Носович, мне наплевать, что я приглашен к великому князю: я и здесь чувствую себя как дома. Мы это хорошо поняли, прекрасно это видел и великий князь, но ни единый мускул не дрогнул у него на лице, и он как хозяин обратился даже с какой-то любезностью к полковнику. Когда же Носович опять очень громко заговорил с соседом, заглушая другие голоса и помешав общей беседе, то генерал, к которому он обратился, весьма остроумно приставил руку к уху в виде рупора. Мы все знали, что генерал не был глух, знал это и Носович, и кое-кто из нас улыбнулся.

Носович сделал головокружительную карьеру только благодаря своему искусству ездить. Это был бедный офицер, небольшого роста, со стальными, пронизательными и ясными глазами и большой силой воли. Таким он вышел в полк. Ни денег, ни имени, ни связей, ни положения. В полку он начал работать свою строевую лошадь, успешно выиграл на ней две-три строевые скачки, затем завел еще одну лошадь, начал появляться на ипподромах и вскоре стал лучшим ездоком-охотником. В течение десяти-пятнадцати лет имя Носовича гремело на всех скаковых ипподромах России. Он создал состояние, завел завод кровных лошадей и быстро пошел в гору. В своем заводе он, впрочем, ничего не вывел хорошего, но тем не менее в скаковых кругах считался большим авторитетом. Когда управляющим государственным коннозаводством стал генерал Зданович, то на место управляющего Деркульским чистокровным заводом назначил ротмистра Носовича. Носович как управляющий оказался полной бездарностью. Подтвердилась старая истина: быть хорошим тренером и жокеем – одно, но совсем иное – быть хорошим коннозаводчиком. Носович так и остался на всю жизнь идеальным жокеем, правда жокеем привилегированным, в погонах.

После обеда Носович тотчас же уехал, а мы остались у великого князя пить кофе и курить сигары. Дмитрий Константинович был в хорошем расположении духа, и разговор вертелся вокруг литературных тем. Великий князь вспомнил какой-то рассказ Лескова и очень талантливо его передавал. Рассказ этот в свое время был плохо встречен критикой и оценен лишь позднее. По этому поводу великий князь справедливо заметил, что критики нередко ошибаются, а затем рассказал нам весьма комичный эпизод с одним произведением знаменитого нашего поэта Фета. Это было в Петербурге, в то время когда гене-

рал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич задумал упразднить институт ремонтеров и вместо них ввести ремонтные комиссии. Ремонтеры в то время были очень влиятельны, а потому проект великого князя встретил немалое противодействие. Собирались комиссии, писались проекты и контрпроекты. Наконец и сами коннозаводчики верховых лошадей отозвались на этот для них животрепещущий вопрос, и в печати появилось немало статей «за» и «против». Известно, что поэт Афанасий Фет был рьяным сельским хозяином и имел также небольшой завод верховых лошадей, а его родной племянник имел большой завод верховых лошадей. Фет написал блестящую статью в защиту ремонтных комиссий, главным образом по вопросу ведения верховых заводов в Центральной России. Статья была напечатана в московском спортивном журнале Гиляровского и подписана псевдонимом. Эта блестящая статья обратила на себя внимание великого князя, и ему было сообщено, что она написана Фетом. На одном из заседаний комиссии, где окончательно решался вопрос о ремонтерах, председательствовал, по обыкновению, великий князь Николай Николаевич и присутствовал также Дмитрий Константинович. Шел оживленный обмен мнениями по поводу статей и высказанных в них взглядов. Один из знаменитых ремонтеров, генерал, яростно напал на статью безымянного автора и в заключение заявил, что она безграмотна, да и вообще не заслуживает никакого внимания. Его поддержали другие столпы ремонтного дела, после чего взял слово великий князь Дмитрий Константинович и сказал, что эта «безграмотная» статья написана... Фетом!

Все мы, присутствовавшие, от души смеялись над этим эпизодом, и великий князь просил шутя и нас рассказать что-либо интересное, но не из области вымысла, а из действительной жизни. «Позвольте мне, Ваше Высочество, рассказать действительный случай, имевший место во время крестного хода в имении моего отца, где действующим лицом был также конский охотник, и притом священник, – начал я свой рассказ. – Отец передавал мне, что, когда он купил Касперовку, а было это в шестидесятых годах, и переехал туда жить из своего полтавского имения, знаменитых Черевков, этот угол Новороссии был еще первобытным и малокультурным краем. В плавнях еще ходили табуны одичавших лошадей; воспоминания о беглых были свежи в памяти у всех, разбои на дорогах и страшные преступления были обычным делом, и картины, так талантливо в свое время описанные Данилевским в его романе «Беглые в Новороссии», были вполне приложимы к Касперовке и ее окрестностям. В то время приходским священником в Касперовке был почтенный старец отец Харлампий, страстный любитель лошадей, имевший свой табун и все свое свободное время отдававший лошадям. Это был человек прежнего закала, скромный, недалекий, малообразованный, но добрейшей души и чистого сердца. Он был любим и уважаем всеми, и столь редкое тогда население края видело в нем чуть ли не отца родного. Любимым занятием отца Харлампия, как я уже сказал, было коннозаводство: он сам выращивал лошадей, сам водил их на ярмарку и продавал и, наконец, сам с ними по целым дням возился. В то время у моего отца не было еще рысистого завода, но зато на конюшне стояло несколько знаменитых верховых коней, дончаков, как их тогда называли. Один из них был любимцем отца и отличался большой резвостью; это была лошадь крупная, сухая, угловатая, или костлявая, как говорил отец, с горбоносой головой и мышастой масти. Отец Харлампий также имел дончака и несколько раз говорил отцу, что не худо было бы их примерять. Сын священника, мальчуган Вася, был таким же страстным охотником, как и его отец. Он целые дни не слезал с лошади и намотал на ус слова отца. Приближался праздник Святой Пасхи. В тот год Пасха была поздняя, и весна уже вступила в свои права. Кругом все

зеленело, почки полопались, листья распустились, дичь прилетела из теплых краев, и все стрекотало, трещало и пело на все лады. И вот на праздник, в ясный, прозрачный и теплый день сын священника Вася подговорил такого же мальчугана, как и он, конюха отца, который ходил за верховыми лошадьми, примерить дончаков.

Все были в церкви, и никто не знал о предстоящем состязании, но нужно же было так случиться, что это состязание как раз совпало с выходом из церкви крестного хода, во главе которого в облачении и с крестом в руках шел отец Харлампий. Под звон колоколов крестный ход торжественно вышел из церкви и тронулся в путь, в это самое время из-за пригорка показались наши дончаки. Мышастый отца явно забирал верха, и Вася делал все усилия, чтобы не отстать. Отец Харлампий, сначала не понимая, в чем дело, с удивлением следил глазами за дончаками, потом понял, ретивое сердце охотника заговорило в нем, и он, приставив руку в виде рупора ко рту, закричал во всю мочь: «Вася, наддай, шельмец, наддай еще!» Все взоры обратились на скачущих, с крестным ходом произошло замешательство. Первым пришел в себя отец Харлампий: он перекрестился, поднял опущенный было крест, запел пасхальный канон и крестный ход благополучно тронулся дальше».

После моего рассказа произошел оживленный обмен мнениями относительно всех этих дончаков, которые в те времена пользовались такой славой и любовью охотников. Это были замечательные лошади, и великий князь рассказал нам о них много интересного. Дмитрий Константинович, будучи еще молодым человеком, побывал на Дону, беседовал там со многими прежними коннозаводчиками и ремонтерами, говорил со старыми табунщиками и от них знал, что эти прежние дончаки имели в своей породе кровь карабаиров и текинских жеребцов. Великий князь подверг разбору экстерьер отцовского дончака и эту костлявость, сухость, легкость и горбоносость считал наследием текинских жеребцов, которых в свое время так было много в донских табунах. «Вспомните Ворона, – говорил Дмитрий Константинович, – или этих двух замечательных белых кобыл, которых выставляла на последней пятигорской выставке Асхабадская заводская конюшня – ведь это в самых резких чертах экстерьер дончака Ивана Ильича, с которым состязался дончак отца Харлампия».

Великий князь был большой знаток лошади, и его выводы были верны. Восточные жеребцы сыграли исключительную роль при создании так называемой донской лошади. Когда донские коннозаводчики перешли на чистокровных жеребцов, исчез и тип старого дончака и заменился другим, правда, также замечательным типом, но совсем иного, более европейского покроя и фасона.

Хороший город Киев! Хорошее было время, хорошие были лошади. Приятно их теперь и вспомнить, и помянуть добром.





# ХРЕНОВСКОЙ ЗАВОД

Вернемся назад, к 1911 году. Именно тогда была образована комиссия для покупки производителя для Хреновского государственного завода, в которую я вошел. За несколько лет начали раздаваться в специальной печати голоса, утверждающие, что Хреновской государственный завод ведется неправильно и что орловский рысак там постепенно превращается в самую обыкновенную лошадь невысокого качества. Я несколько раз в печати выступал с резкой критикой деятельности Хреновского завода и по этому поводу имел несколько объяснений с управляющим коннозаводством генералом А. И. Здановичем. Коннозаводское ведомство было очень озабочено всеми этими толками, но не решалось предпринять какие-то радикальные меры. Сам генерал Зданович был поклонником метиса и довольно едко замечал, что орловской породы уже давно не существует, но все же судьба Хреновского завода его очень тревожила. Толчок, и притом обязательный для ведомства, дала Государственная Дума. При прохождении сметы государственного коннозаводства в Думе деятельность Главного управления была подвергнута резкой критике. Генерал Зданович выступил чрезвычайно бледно и слабо, и Дума указала на необходимость реформ в ведомстве. Для разработки этих реформ и нового направления деятельности Главного управления была создана думская комиссия. На одном из своих заседаний она вынесла постановление, что на Хреновской завод должно быть обращено особое внимание, и, признавая специальные силы Главного управления недостаточно компетентными, предложила образовать особую комиссию из наиболее знаменитых коннозаводчиков с целью ревизии Хреновского завода, выявления его настоящего положения и указания тех путей, по каким должен вестись этот завод. В дальнейшем такая комиссия должна была ежегодно собираться в Хреновом и проверять то, что сделано, намечая новые реформы и давая новые директивы. Генерал Зданович вынужден был доложить об этом государю императору, и государь, не имея другого кандидата, оставил его по-прежнему управлять коннозаводским ведомством, но образование комиссии одобрил, в свою очередь выразив пожелание, чтобы в ее состав вошли наиболее опытные, знающие и действительно самостоятельные в своих мнениях и поступках русские коннозаводчики. Таким образом, названная комиссия приобретала чрезвычайное значение, с ее постановлениями и действиями Главному управлению государственного коннозаводства не только приходилось считаться, но они для него были обязательны, поэтому генерал Зданович был очень озабочен подбором тех лиц, коих ему надлежало пригласить. В первую же очередь этой комиссии предстояло обревизовать Хреновской завод, а это значило дать оценку деятельности всего Главного управления и самого управляющего.

Главное управление разослало изысканно любезные приглашения князю Л. Д. Вяземскому, А. А. Стаховичу, И. А. Лисаневичу, Н. В. Хрущову,

Н. М. Коноплину, В. И. Звегинцову и мне. Все приглашенные лица дали свое согласие принять участие в работе. Среди приглашенных Стахович и Хрущов были старейшими русскими коннозаводчиками, князь Вяземский – знаменитый коннозаводчик и государственный деятель своего времени. Лисаневич также лет сорок имел завод, жил неподалеку от Хренового, ежегодно там бывал, всегда интересовался этим заводом и много писал о нем в разное время. Коноплин, знаменитый коннозаводчик-метизатор, был, очевидно, приглашен Здановичем в надежде услышать от него отрицательные отзывы об орловском рысаке и иметь в нем некоторую опору. Генерал был в очень хороших отношениях с Коноплиным. Звегинцов, хотя и не был рысистым заводчиком, но был внуком знаменитого коннозаводчика А. Б. Казакова, хорошо знал рысистую лошадь и любил ее. Он состоял членом совета Главного управления и имел большое влияние на ход дел в этом ведомстве. Он, конечно, должен был проводить и отстаивать ведомственную линию. Следует еще отметить, что Звегинцов находился в приятельских отношениях с управляющим Хреновским заводом генералом И. П. Дерфельденом. Наконец, приглашение в это созвездие знаменитостей меня, в то время еще молодого коннозаводчика, объяснялось тем, что генерал Зданович желал привлечь в комиссию именно то лицо, которое чаще других выступало с критикой деятельности Главного управления, и тем, быть может, примирить меня с ведомством. Все возрастающие успехи моего завода, популярность и авторитет, которыми я пользовался среди рысачников, наконец, мои литературные работы по коннозаводству и лидерство в партии орловцев делали это приглашение возможным. С полной откровенностью замечу здесь, что я, несомненно, был среди этих славных коннозаводчиков наименее опытным и что моя работа с такими действительными знатоками лошади принесла лично мне немалую пользу. Таков был состав первой комиссии, мнение которой имело наибольшее влияние на судьбу Хреновского завода.

Через год или немного более умер князь Л. Д. Вяземский, Стахович и Хрущов отказались от участия, и в составе комиссии осталось только четыре лица – Лисаневич, Коноплин, Звегинцов и я. После ухода генерала Здановича с поста управляющего коннозаводством, при князе Щербатове комиссия вновь претерпела изменения: в ней теперь состояло лишь два члена – генерал Грушецкий и я. В последний год существования комиссии (1913) в нее вошел еще воронежский коннозаводчик барон А. Н. Фон дер Ропп, внук знаменитого коннозаводчика В. Тулинова.

Наступил 1914 год, грянула война, Ропп и я были призваны, генерал Грушецкий занят по горло покупками лошадей для армии, и комиссия ни в этом, ни в последующие годы не собиралась.

Комиссия должна была съехаться в Хреновом во второй половине августа. Я условился с Коноплиным, что мы поедем в Хреновое вместе. В условленный день я приехал в Москву, и через два дня вместе с Коноплиным мы тронулись в путь. Наш отъезд из Москвы произвел в московских спортивных кругах большое впечатление, и многие охотники просили нас поделиться впечатлениями по возвращении из Хренового. В это время в Москве был мертвый сезон, то есть не было бегов, но по утрам московские охотники собирались на бегу на утренние проезды. На этих поездках было довольно оживленно, и особый интерес возбуждали, конечно, двухлетки, уже приведенные из заводов. Усиленно обсуждалась наша поездка в Хреновое, и делались всевозможные догадки по поводу предстоящих работ комиссии.

Курьерский поезд в Ростов отходил после обеда, и мы съехались с Коноплиным на вокзале. Наши купе были рядом. Как только тронулся поезд, я со всеми удобствами расположился и вынул заводскую книгу Хреновского завода,

желая освежить в памяти генеалогию хреновских лошадей. Коноплин начал сейчас же трунить надо мной, так как он не верил в породу, вернее, не придавал значения генеалогии, и стал мне рассказывать, что все коннозаводчики-генеалоги ничего не отвели в своих заводах. Я с ним не согласился, и спор наш разгорелся в полную силу. До поздней ночи мы проболтали о лошадях, и надо сказать, что Коноплин был крайне интересный собеседник. Он очень много видел на своем веку, многих знал, а в вопросах тренировки и техники спорта был величайший авторитет.

На одной из больших станций, если не ошибаюсь, в Козлово, мы встретились с двумя старейшими коннозаводчиками – Стаховичем и Хрущовым, которые так же, как и мы, направлялись в Хреновое. На этой станции произошел со Стаховичем комический эпизод. В большой станционной зале мы – Хрущов, Коноплин и я – уселись пить чай. Стахович ходил маленькими шажками вокруг стола и изредка посматривал на буфетную стойку. Хрущов обратился к нему и сказал: «Александр Александрович, ты бы закусил и выпил стакан чаю». «Нет, благодарю, – отвечал Стахович, – я сыт, да и провизию везу с собой из Пальны. Закушу позднее, в вагоне». Тогда Хрущов, его приятель и ближайший сосед по имени, хорошо знавший скупость старика Стаховича, вполголоса шепнул Коноплину: «Сейчас я подшучу над Александром Александровичем». Через некоторое время он встал, подошел к буфету, выпил рюмку водки и съел два пирожка. Как ни в чем не бывало он спокойно и важно уселся обратно к столу и взялся опять за чай. Когда Стахович проходил мимо него, он, медленно растягивая слова, сказал Коноплину: «Удивительный буфет, какая дешевизна: рюмка водки и два пирожка – пять копеек». Стахович услышал эти слова и с быстротой юноши оказался у буфетной стойки. Быстро опрокинул две рюмки водки, закусил пирожками и протянул буфетчику гривенник. Изумленный буфетчик сказал настоящую цену, и старик Стахович понял, что Хрущов подтрунил над ним. Негодованию старика Стаховича не было предела, и он рассорился с Хрущовым. Когда поезд тронулся, Стахович перешел в другой вагон и в том же отвратительном настроении духа приехал в Хреновое. Стахович был действительно скуп, в особенности в мелочах и на себя, но этот выдающийся человек умел быть щедрым, когда дело касалось серьезных и крупных жизненных вопросов. Так, много лет спустя И. М. Стахов, долгое время управлявший его Пальненским заводом, рассказывал мне, что когда сгорела дотла деревня в рязанском имении Стаховича, то он бесплатно отпустил крестьянам лес на постройку изб.

Мы приближались к Хреновому, и в Грязях к нашему поезду прицепили отдельный вагон князя Вяземского. Князь ехал вместе с младшим сыном Владимиром, или Адишкой, как он его называл, молодым и страстным охотником, носившим еще гимназическую куртку или же только что одевшим студенческий мундир. Князь любезно пригласил нас к себе в вагон, и оживленная беседа тянулась до самого Хренового. Стахович отказался перейти в вагон князя, мотивируя это своей усталостью и нездоровьем, был так сумрачен и казался настолько расстроенным, что Вяземский не мог этого не заметить и спросил нас, в чем дело. Когда Коноплин рассказал ему о сцене на козловском вокзале, Вяземский долго смеялся и сказал: «Ну, я хорошо знаю Александра Александровича, он теперь будет ворчать и дуться несколько дней и все будет критиковать и порицать. Надо принять меры, дабы успокоить старика». По мере приближения к Хреновому всех нас постепенно охватывало то священное волнение, которое испытывал каждый охотник, когда он приближался к этой колыбели орловской породы, к этой Мекке рысистого коннозаводства страны. Сердце билось и трепетало, когда поезд медленно подходил к конечной станции и через каких-нибудь несколько минут должна была открыться величествен-

ная панорама Хреновского завода. Место, где жил и творил великий коннозаводчик страны, родина стольких великих, прославленных и знаменитых рысаков!

Восторг овладел нами по мере приближения к Хреновому. Л. Д. Вяземский, заметно волнуясь, но подавляя это свое волнение, рассказывал нам о своем первом посещении Хренового. Н. В. Хрущов вспоминал далекие, давно ушедшие годы и свое первое знакомство с ветераном-коннозаводчиком Воейковым, которое тоже состоялось в Хреновом. Много говорили о прежних сборных днях, которые в старину привлекали столько народу на родину орловского рысака. Коноплин, я и Адишка молчали и слушали. Старик Вяземский владел разговором, Хрущов с редким подъемом вторил ему, и время не шло, а летело. Но вот неожиданно отворилась дверь вагон-салона, обер-кондуктор, вытянувшись и приложив руку к козырьку фуражки, доложил: «Ваше сиятельство, подходим к Хреновому!» В одно мгновение все были на ногах и устремились к окнам вагона. Вдали, под кроткой, безоблачной глубиной ясного неба сначала показалась церковь, затем поселок и наконец грандиозное строение самого завода. Я углубился взором в эту величественную картину. Церковь, поселок, заводские строения и дали степей горели в лучах солнца. Где-то вдали уже зеленели изумрудными всходами озимые поля. Ближе к нам ласково глядела в окно беспредельная ширь и гладь графских степей. Старые дубы и липы тесно окружили главный двор и, казалось, таинственно молчали. Поезд медленно подходил к дебаркадеру вокзала. Мы были всего лишь в полуверсте от знаменитой графской вотчины, еще со времен матушки Екатерины привлекавшей к себе взоры и мысли всех истинных охотников.

Когда поезд остановился, в вагон вошел генерал Дерфельден и приветствовал нас. Генерал был в парадной форме с лентой через плечо, в орденах и со звездой на груди. Красавец Дерфельден, высокий, стройный как тополь, изящный, красивый и спокойный, был олицетворением хорошего тона. Его большие, добрые глаза светились, улыбка играла на устах и как бы говорила: «Добро пожаловать, господа!» Обменявшись взаимными любезностями, мы вышли к ожидавшим нас экипажам и поехали на завод. На первой великолепной серой тройке хреновских кобыл поехал генерал со Стаховичем. Князь Вяземский успел шепнуть Дерфельдену, с которым был на ты и с которым когда-то служил в одной дивизии, чтобы он пригласил в свою коляску Стаховича. Это был дипломатический ход со стороны Вяземского, иначе Стаховичу пришлось бы ехать во втором экипаже с Хрущовым, что вконец испортило бы настроение старика. Быстро промелькнула плотина, показался знаменитый хреновский пруд, за ним исторические въездные ворота с караульными будками, и экипажи въехали на территорию завода. Везде были образцовый порядок и поразительная чистота. Всюду царило оживление: из окон квартир и служб выглядывали веселые лица дам и девушек – жен и дочерей служащих, а попадавшие навстречу конюхи, ученики ветеринарной, наезднической, кузнечной и других школ – все в белых гимнастерках, в форменных фуражках и с буквой Х под княжеской короной на околыше, завидев идущих, становились во фронт, вытягивались и, приложив руку к козырьку, замирали. На всем чувствовалась печать довольства, дисциплины, я бы сказал, сознания собственного достоинства. Приятно и отрадно было видеть этот столь своеобразный мир, и нельзя было невольно не проникнуться к нему уважением. Еще один-другой поворот – и экипажи плавно подкатили к крыльцу главного, графского дома, где постоянно жил управляющий заводом граф Дерфельден.

Перед нами настезь распахнулась дверь, вперед быстрой походкой прошел Дерфельден, и мы вошли вслед за ним в большую залу-ротонду, где были веером выстроены для представления все господа офицеры, чиновники и



высшие служащие завода. Из боковых дверей ротонды буквально в тот же момент вышел и направился нам навстречу управляющий коннозаводством генерал Зданович. На нем был форменный сюртук, он был при генеральской шпаге, с Владимирским крестом на шее, а в руке, одетой в белую перчатку, держал фуражку по-военному, кокардой вверх. Князь Вяземский выступил вперед, поклонился и произнес: «Господа офицеры и господа чиновники, позвольте вас приветствовать». Вслед за ним отвесили поклоны и все мы. Сейчас же после этого началось взаимное представление. На правом фланге представляющихся стояли помощники управляющего полковники Пусторослев и Богдашевский, затем ветеринарные врачи, медики, делопроизводители, лица свиты управляющего коннозаводством и в замке два обер-унтерштутмейстера – знаменитые Платон Иванович и Иван Макарович, увешанные, как иконостасы, золотыми и серебряными медалями на разных орденских лентах за почти пятидесятилетнюю беспорочную службу. Яркий луч солнца упал и заиграл на паркете, блеск позументов и орденов стал еще ярче, а несколько торжественные лица представляющихся дополнили эту праздничную и не лишнюю красоты картину.

Словом, коннозаводское ведомство вовремя поняло и учло важность момента и действительно приняло комиссию, прибывшую в завод с высочайшего соизволения и по желанию Государственной думы, не как случайных ревизоров, а как лучших представителей коннозаводских сил страны и этой, исключительно торжественной и парадной встречей даже подчеркнуло то значение, которое ведомство придавало нашему прибытию, а стало быть, и нашей предстоящей работе. Официальное представление закончилось; в той же ротонде пятьдесят минут шел общий разговор и завязывалось более интимное знакомство с персоналом завода. Я подошел к Коноплину, которому краска ударила в лицо, что всегда служило у него признаком большого волнения. Он вынул батистовый платок, приложил его к губам и сказал: «Как приняли – извольте после этого критиковать лошадей!» Затем, смеясь, заметил: «Генералы-то как хороши!» Коноплин, этот барин-степняк, до мозга костей аристократ, провел детство и юность в своих тамбовских и саратовских имениях, жил затем безвыездно в Москве и отвык от роскоши, блеска и официального этикета. В это время подъехали и вошли два других члена комиссии, оба воронежские помещики, Лисаневич и Звегинцов, которые приехали в Хреновое на лошадях из своих деревень. Было решено, что после обеда в тот же день начнется осмотр завода и мы на первый раз, за поздним временем, осмотрим заводских производителей.

После небольшого отдыха, который был нам предоставлен, наступило время обеда. Генерал был женат, но давно не жил с женой, а потому за столом собрались одни мужчины. Разговор шел оживленно и непринужденно и вращался преимущественно вокруг лошадиных тем. Один Стахович был явно не в духе, и любезный хозяин всячески стремился привести его в хорошее расположение, но это ему так и не удалось. В столовой по стенам висели портреты прежних



*Василий Иванович Шишкин,  
ближайший сподвижник  
графа А. Г. Орлова-Чесменского*

знаменитых хреновских лошадей кисти Сверчкова и Швабе. Тут была и Чугунка, и Персиянка, и Быстролетная, и Варвар I, и Лондон, и многие другие. У стола подавал исторический лакей, который вот уж как тридцать пять лет служил в этой должности. Это был небольшого роста, сухой и весь сморщенный старик, в белых перчатках, в черном старомодном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с медалью за усердие в петлице. Ему бы не справиться одному, если бы ему не помогали при столе камердинер князя, белокурый красавец Иван, коноплинский Василий, неизменно всегда и всюду его сопровождавший, и мой Никаноров – эти трое имели вид министров или, по меньшей мере, сановников, так они щегольски носили свои формы.

И. П. Дерфельден был совершенно очаровательный человек. Мягкий, воспитанный, приятный, душа общества. Его одинаково любили как близкие, так и подчиненные. Я редко встречал более гуманного и доброго человека. У него в доме царила удивительная опрятность и чистота. Честности он был безукоризненной и по своим поступкам и убеждениям был настоящим рыцарем без страха и упрека. Я вправе гордиться тем, что он подарил меня своим вниманием и дружбой. Именно ему Хреновской завод обязан своим возрождением.

И. А. Лисаневич был одним из старейших коннозаводчиков Воронежской губернии. Свой завод он основал еще в 1850 году, купив у В. И. Веретенникова хреновского жеребца Налета и двенадцать кобыл, из которых десять были завода Демина. Все это были лошади довольно-таки посредственного происхождения, и Лисаневич не отвел от них ничего замечательного. Позднее, в эпоху поголовного увлечения борисовскими лошадьми, Лисаневич широко влил в свой завод их кровь, однако дальше производства обыкновенных лошадей все же не пошел. В последний период ведения своего завода он взял в производители белого жеребца Крутого 3-го, сына знаменитого орловского Крутого 2-го, лошадь вполне достойную, резвую и превосходных форм. Сам Лисаневич говорил мне, что Крутой 3-й был очень хорош по себе и вполне в типе детей Лебеда 4-го. Но Крутой 3-й пришелся Лисаневичу не ко двору и ничего не дал путного. Лисаневич объяснял это неконстантностью орловской породы, но я объяснял это иначе. Высокопородный и кровный представитель линии Лебеда 4-го не подходил по кровям к простоватым и малопородным кобылам завода Лисаневича, а потому и оказался в этом заводе неудачным производителем. Лисаневич не был знатоком генеалогии, по-видимому, не придавал ей особого значения, и в этом я вижу весь неуспех его деятельности. Лошадь Лисаневич хорошо знал и любил, и причину его неудачи надо искать только в отсутствии заводской работы по кровям. Лисаневич был одним из образованнейших коннозаводчиков своего времени. Он принимал деятельное участие в спортивной литературе. Почти все свои статьи он посвятил орловскому рысаку и дал в своих работах много ценного и подчас нового материала. Особенно интересны его статьи о создании и образовании орловской породы. В коннозаводской литературе Лисаневич едва ли не первым указал на значение близкого, родственного скрещивания при образовании пород и удачно приводил в пример деятельность английских животноводов братьев Коллингов и Бекуэля, имена которых хорошо известны всем русским зоотехникам. Как это ни странно, но Лисаневич не сделал из своих литературных работ практических выводов для ведения собственного рысистого завода.

Будучи помещиком Воронежской губернии, Лисаневич ежегодно в течение сорока лет посещал Хреновской завод, превосходно знал его состав и жизнь, а потому приглашение его в комиссию было крайне важно и необходимо. Однако следует заметить, что суждения Лисаневича о хреновских лошадях оказались крайне односторонними. Он признавал только формы рысака. Езда лоша-

ди, не говоря уже о резвости, стояла для него на втором плане, а о породе лошади, раз она хреновская, он даже не говорил, ибо в его представлении она была хороша уже тем, что происходила от Барса-родоначальника. Люди, подобные Лисаневичу, и погубили в свое время Хреновской завод, ибо они вели всю заводскую работу, принимая во внимание и учитывая только формы скрещиваемых лошадей. Такой узкий, односторонний и совершенно ошибочный взгляд и привел этот когда-то знаменитый завод почти что к полному упадку. Потребовалось появление целой генеалогической литературы, создание школы генеалогов во главе с Карузо, чтобы Дерфельден и коннозаводское ведомство почувствовали: так дальше вести завод нельзя, надо принимать меры к его спасению. Покупка Подарка, Ловчего, синицынских маток, подбор по кровям – вот мероприятия, которые были проведены как следствие работ и пропаганды русских генеалогов, и этими мерами Хреновской завод был спасен от гибели и возрожден к новой жизни.

В Хреновом в свободное от выводов и осмотра время я вел беседы с Лисаневичем, оспаривая его взгляды и выводы. Особенно сильное столкновение, разумеется, на принципиальной почве, у нас было по поводу угаснувших когда-то славных линий Полкана 3-го, Лебеда 4-го, Чистяка 3-го и других. В то время как в частном коннозаводстве прямые потомки этих великих родоначальников породы не только существовали, но и создавали рекордистов, в Хреновом их уже не было и имена их встречались лишь в женских родословных хреновских таблиц. Лисаневич это объяснял тем, что эти линии сами собою угасли, что орловский рысак – метис, а потому не константен в передаче своих свойств. Ту же точку зрения Лисаневич в свое время проводил в печати и в своем литературном споре с Карузо. Я доказывал, что такая точка зрения в корне ошибочна, что если эти линии сохранились и дали блестящих представителей в частном коннозаводстве, то это произошло лишь потому, что путем подбора были закреплены высокие качества этих родоначальников, а затем усилены тренировкой и правильной работой, чего не было в Хреновом. Затем я приводил в пример производителя Хреновского завода, светло-серого жеребца Дерна. Он был очень хорош по себе, и его Дерфельден купил в Москве из полка, где тот возил муку. Это была густая, крупная, костистая и дельная лошадь. Словом, от него Дерфельден думал взять для завода замечательных дочерей, но вышло иное. Наша комиссия забраковала не только Дерна, но и всех его детей. Почему же это произошло? Да потому, что ДERN не имел никакой езды, а кроме того, по линиям он был совершенно чужд хреновским кобылам. Этим и следует объяснить его полный и решительный провал как производителя. Вяземский и Звегинцов были всецело на моей стороне, Коноплин соглашался, а Хрущов молчал. Дерфельден и Зданович внимательно прислушивались к этим спорам и с большим интересом следили за прениями.

Если бы эти разговоры велись теперь, а не много лет назад, то в подтверждение своих слов я мог бы привести блестящий пример моей собственной коннозаводской практики. Производитель моего завода белый жеребец Кронпринц был прямым потомком Лебеда 4-го. По росту был он невелик – 3 вершка, в то время как типичным ростом линии Лебеда 4-го следует признать четырехвершковый. Кронпринц имел неважную спину, и этот недостаток, как и мелкий рост, стойко передавал потомству. Таковы были отрицательные черты экстерьера этого жеребца. Перейдем теперь к положительным. Кронпринц был не-обыкновенно породен, сух, элегантен, круторебер и низок на ноге. Движения имел замечательные и был одной из красивейших лошадей на московском бегу. Был ли он типичным представителем своей линии? Да, отвечу я, и притом одним из наиболее типичных как по красоте, так и по общему складу, су-

хости и езде. Лисаневич, несомненно, не допустил бы его в завод из-за мелкого роста и плохой спины. Я поступил иначе. Путем подбора по кровям я постарался вывести лошадь, которая, сохранив все положительные черты Кронпринца, не имела бы его отрицательных особенностей. Достигнуть этого было трудно, но, когда было найдено историческое сочетание «Лебедь 4-й + Полкан 3-й», получился выдающийся во всех отношениях жеребец – белый Ловчий, рекордист породы, выставочный экземпляр и к тому же с рекордными промерами. Сохранив все положительные черты отца, а стало быть, и своей линии, он имеет идеальную спину и рост шесть вершков! Таким образом была спасена линия Лебеда 4-го. И по-видимому, ее ждет небывалый расцвет. Создание Ловчего было результатом ясно осознанной заводской работы по кровям, и она увенчалась блестящим успехом. Мне могут возразить, что, дабы получить одного Ловчего, я произвел известный процент неудачных лошадей. Это верно, но созданием рекордиста и такой лошади по формам, как Ловчий, все убытки покрываются. Читатель сам может судить, кто был прав – Лисаневич или же я.



*И. П. Дерфельден, управляющий  
Хреновским государственным заводом*

Еще несколько слов о Лисаневиче как о человеке. Всю свою жизнь он прослужил в Воронежской губернии и, начав с мирового посредника, занимал ряд выборных должностей в своем уезде. Затем он был назначен воронежским вице-губернатором и, пробыв в этой должности некоторое время, ушел в отставку, на этот раз безвыездно и, казалось, навсегда поселившись в деревне. Однако губернское Дворянское собрание, кажется, в 1910-м или 1911 году избрало его членом Государственного совета по выборам, и зиму он вынужден был жить в Петербурге. Несмотря на это, он был типичным помещиком, и помещиком именно Воронежской губернии, то есть страстным лошадиником. Выше деревни и лошадей для него ничего в жизни не существовало, и если он принял свое избрание в Государственный совет, то лишь уступив настоянию дворян своей губернии. По характеру Лисаневич был очень спокойный, медлительный и выдержанный человек. Он был, несомненно, умен, но при этом упрям. Небольшого роста, широкоплечий, приземистый, с крупными чертами лица, небольшой стриженной бородой, несколько угрюмым взглядом, медленной речью и глухим голосом, он производил впечатление человека сильного, здорового, привыкшего к спокойной деревенской жизни и работе. Лисаневича уважали, с ним считались, а для хреновских старожил он был сверстником и оракулом.

В. И. Звегинцов, сравнительно молодой еще человек, делал блестящую карьеру. Он служил в Государственном совете, был членом совета Главного управления государственного коннозаводства, деятельным участником многих скаковых обществ, судьей фешенебельного петербургского общества, ежегодно устраивавшего *soujours hiprique*. Он имел уже высокое придворное звание, так как состоял в звании шталмейстера высочайшего двора. У Звегинцова был небольшой завод чистокровных лошадей, а его мать, дочь Александра Бори-

совича Казакова, имела небольшой завод рысистых лошадей пользовательного назначения. Лошади Звегинцовых находились неподалеку от Хренового, в их имении Александровке (ранее имение принадлежало Казакову, и здесь когда-то находился его знаменитый рысистый завод). Звегинцов был, несомненно, одним из наиболее образованных и знающих конских охотников своего времени. Он превосходно знал кровную лошадь, был знатоком генеалогии английских лошадей, понимал рысака и его значение, хорошо разбирался в типе и породах тяжеловозных лошадей и, наконец, интересовался полукровным и ремонтным делом. Словом, это был чрезвычайно разносторонний в своей специальности спортсмен. Звегинцов превосходно владел пером, и его работа о происхождении английской лошади – произведение, с моей точки зрения, классическое. Немало он писал также по разным вопросам спорта и чистокровного коннозаводства в различных спортивных журналах. Подписывал он их обыкновенно псевдонимом «Узбек». Наконец, в течение ряда лет он вел отдел «Заметки за месяц» в «Журнале коннозаводства». Не раз приходилось Звегинцову бывать за границей с целью покупки чистокровного материала для казенных заводов, и эти поручения выполнялись им с большим успехом и знанием дела. Словом, Звегинцов был выдающимся знатоком лошади и играл весьма крупную роль в коннозаводских и спортивных кругах. Несколько раз называли его имя как кандидата на пост управляющего коннозаводством, но в первый раз вместо него на эту должность был назначен князь Щербатов, а во второй раз ожидания Звегинцова не сбылись потому, что Щербатов, уходя из управляющих коннозаводством, провел на свое место Стаховича, который и был последним управляющим коннозаводством в царской России.

Звегинцов был очень подвижный, сухощавый, высокого роста, изящный джентльмен. Он был очень смугл, но, несомненно, красив, с тонкими и породными чертами лица. Он совершенно свободно говорил на нескольких языках, превосходно себя держал и всегда одевался по последней моде. Он был ярым англоман, и неудивительно поэтому, что всё, начиная от рубашки и кончая галстуком, выписывал из Англии, от лучших портных. По характеру он был довольно черствый человек, типичный петербургский бюрократ, но так как я, в сущности, с ним мало встречался, то, возможно, это мое представление о нем и не совсем верно. Во всяком случае, лучшего, более дельного и знающего человека для высокой и ответственной должности управляющего коннозаводством было трудно найти. Впоследствии я в душе много раз сожалел, что не Звегинцов, а Щербатов получил это назначение, и сожалел тем более, что Щербатов в управляющие коннозаводством провел я, о чем еще буду рассказывать.

Звегинцов меня недолюбливал, и причиной тому первоначально была одна заметка, помещенная мною в «Журнале спорта». Вот как было дело. Однажды, когда я был в последнем классе корпуса, к моему отцу приехал сосед Иван Яковлевич Рогалев и, узнав за обедом, что я целые дни только и делаю, что сижу на конюшне или же читаю Коптева, сказал: «Приезжай, Яша, ко мне, я много тебе расскажу интересного про князя Орлова и Казакова, ведь я был управляющим всеми делами Орлова много лет». Это было для меня неожиданностью, я поблагодарил Рогалева за приглашение и в следующее же воскресенье поехал к нему.

Иван Яковлевич был высокого роста, белый как лунь старик. Он принял меня очень радушно и рассказал много интересного. Я все это тогда же записал и затем напечатал в «Журнале спорта». Это была одна из первых моих работ. В ней я указал на отношения Казакова с графиней А. А. Орловой-Чесменской и сделал это в несколько резкой и прямой форме – так, как это мне передавал Рогалев, отразивший в этом своем рассказе, очевидно, семейную точку зре-

ния Орловых. Я не подумал о том, да по молодости едва ли мог сообразить, что чтение этих строк будет тяжело и неприятно родным А. Б. Казакова, а редактор журнала пропустил статью целиком, не сделав сокращений. Я не знал тогда, что В. И. Звегинцов, вращавшийся в спортивных кругах, родной внук А. Б. Казакова. Словом, Звегинцов мне этого не простил – это была первая кошка, пробежавшая между нами.

Заветной мечтой Звегинцова было стать управляющим коннозаводством. Когда я провел на этот пост князя Щербатова, Звегинцов, естественно, был обижен. В июне или августе 1917 года, после последнего съезда коннозаводчиков, мы с В. И. Звегинцовым несколько раз виделись, после чего наши отношения приняли иной характер. Мы объяснились, и, казалось, что все прежнее забыто. Вскоре текущие события нас разъединили: он уехал за границу, а я остался в России. Когда генерал барон Врангель занял Крым и образовал правительство, Звегинцов был назначен на пост управляющего коннозаводством. После ухода Врангеля из Крыма в Москву приехал М. М. Шапшал, который был в Крыму во времена Врангеля, и сообщил мне, что Звегинцов меня неистово ругал, заявив ему и другим, что как только он приедет в Москву, то сейчас же велит меня повесить за мою работу с большевиками по спасению коннозаводства. Однако это намерение Звегинцову пока что не удалось осуществить, и я не только не повешен, но и пишу эти мемуары. От всей души желаю Звегинцову как можно скорее вернуться в Россию и занять пост управляющего коннозаводством, каковой по своим знаниям и таланту он вполне достоин занимать.

...Вернемся к хреновским событиям первого дня нашего приезда туда. Вскоре после обеда мы всей комиссией направились на выводку жеребцов-производителей. От здания завода дом управляющего отделяет небольшой парк, и прямая аллея с террасы дома ведет прямо на завод. Когда мы вышли из дому, был теплый и тихий, совершенно летний день. На небе ни облачка. Солнце грело точно в мае. А благодаря, очевидно, недавно выпавшим двум-трем небольшим дождям деревья сада смотрели не по-осеннему и крепкий, совсем свежий лист хорошо держался на лишь кое-где пожелтевших деревьях. Травы в саду были зелены, и то здесь, то там виднелись последние осенние цветы. Казалось, что все улыбалось и блестело в этом чистом и ясном воздухе. Резвые и шумные стайки воробьев и подорожников перепархивали с места на место и затем уносились в глубину сада. Мы шли по аллее, направляясь в завод, и на сердце было легко и весело. Сейчас же за садом открылся плац, на котором был разбит небольшой, полуверстный ипподром, очевидно, для проездок жеребцов и молодежи. Справа в конце плаца виднелась новая строящаяся кирпичная церковь, еще в лесах. С противоположной стороны плаца высились грандиозные здания конного завода. Они шли параллельно плацу и затем поворачивали вглубь, образуя каре. Центральная часть здания была украшена большим красивым портиком с куполом и колоннами. Мы вошли через главный вход в здание; направо и налево, сколько видел глаз, открывались анфилады конюшен, выводных залов, предманежников и манежей. Словом, целые версты конюшен, выстроенных еще в графские времена. Пройдя во внутренний двор, и перед нами открылась другая картина: варки, кружки для гонок и проводок и выводные площадки. Везде царили образцовый порядок и чистота. Здания были недавно отремонтированы, и все блестело и переливалось на солнце. Отрадно было смотреть на эту картину полного благополучия и порядка. Вяземский, которого мы просили принять на себя председательство в комиссии, заметил Дерфельдену, что он редко видел такой порядок в конюшнях частных заводов. Это был не комплимент, а сущая правда, и потому Дерфельдену было особенно приятно ее услышать. Решено было осмотреть жеребцов не в выводном зале,

а на воздухе, в одном из внутренних дворов. Нас пригласили перейти во двор, ближайший к конюшне производителей. Перед выводной площадкой стоял длинный стол, накрытый сукном, были поставлены стулья, и на столе лежали списки жеребцов, имеющих представиться нам. В списках было указано имя и происхождение жеребца, масть, рост, возраст, завод и пять главных промеров. Мы разместились на приготовленных местах, причем князь занял центральное председательское место, справа от него сел управляющий коннозаводством, слева – управляющий заводом, затем все мы. Должность секретаря на выводах было предложено исполнять делопроизводителю завода. Администрация завода in-sorge присутствовала тут же, причем генералы, военные чины и чиновники были при оружии, что означало, что это не любительская выводка, а официальная и что ревизия Хреновского государственного завода началась. Дерфельден, спросив князя, разрешает ли тот начать выводку, и получив утвердительный ответ, встал и громко сказал: «Жеребцов-производителей на выводку!»



*Ловчий завода Н. П. Малютина, от Леля и Лебедки*

Выводка началась...

По традиции, принятой в казенных заводах, впереди первой представляющейся лошади шли в одну шеренгу помощник управляющего заводом, смотритель, обер-унтер-штутмейстер, нарядчик отделения и кузнец. Держа под козырек по-военному, продефилировала мимо нас эта шеренга и заняла свои места. Белорозовый, весь покрытый сеткой жилок жеребец Момент, всегда выходявший первым номером, буквально вскочил на выводку и, остановленный умелой рукой мастера-выводчика, замер в красивой позе. В нем было четыре вершка росту, спина его провалилась, передняя ножка была пряма, как по отвесу, неприятна, шея грубая и с кадычком, но энергии, огня и породности – миллион!.. Вяземский посмотрел на Момента и наморщился; Лисаневич, который терпеть

не мог охотниковских лошадей, не преминул заметить, что эту лошадь не след держать в Хреновском заводе. После обмена мнениями было принято во внимание, что Момент дает очень резвых детей, имеет полный комплект кобыл частных коннозаводчиков, а потому, учитывая исключительное происхождение, породность и резвость, жеребца в заводе следует оставить, но пользоваться крайне умеренно и давать не более пяти кобыл. Один за другим проходили и замирали на выводке жеребцы. Когда показался, стал и повел на нас глазом малютинский Ловчий, раздались аплодисменты. Коноплин, приговаривая: «Как хорош, ах, как хорош!» – вскочил и пошел к нему; за ним последовали другие. Ловчего стали смотреть во всех подробностях и обходить со всех сторон. Он был поразительно красив: крупен, делен, породен, типичен, необыкновенно густ и массивен. Несомненно, по формам это была лучшая лошадь своего времени как в Хреновом, так и в частном коннозаводстве. К тому же Ловчий был дербист и давал резвых и исключительно красивых детей. Дерфельден торжествовал, его все поздравляли и благодарили, что он сумел купить у Малютина эту во всех отношениях выдающуюся лошадь. И вот после Ловчего вывели Звука. Небольшой белый жеребец, совсем заурядный – даже не пунктовый производитель. Мы все переглянулись. Дерфельден доложил, что Звука купил у Александра Александровича Стаховича управляющий коннозаводством. Единогласно (Стахович от баллотировки воздержался) Звука выбраковали из завода. Стахович, который все время, как я уже сказал, был не в духе, совсем расстроился и вечером того же дня, сказавшись больным, уехал в свою знаменитую Пальну и больше участия в работе комиссии не принимал. Та же участь, что и Звука, постигла Дерна и некоторых других жеребцов, которые состояли производителями в заводе по какому-то сплошному недоразумению.

Вечером за чаем мы обменивались первыми впечатлениями. Благоустройство завода, образцовый порядок и превосходные, чересчур упитанные тела жеребцов были налицо, но качество большинства производителей явно не отвечало своему высокому назначению. Следовало позаботиться о замене выбракованных нами лошадей. Задача трудная, и ее предстояло решить по окончательном осмотре завода. По предложению Коноплина мы имели в виду посмотреть всех заводских жеребцов на езде.

На другой день, довольно рано, началась выводка заводских маток. Мы успели осмотреть лишь кобыл подсосных и холостых. Выводка шла и до, и после обеда и отняла весь день, так как кобыл смотрели с особым интересом и чрезвычайно внимательно. Известно, что Хреновской завод испокон веков славился удивительным маточным ядром. И на этот раз хреновские матки поддерживали свою славу и произвели на всех нас громадное, прямо-таки неизгладимое впечатление. Кобылы были рослы, типичны, необыкновенно капитальны и породны. Именно здесь, после осмотра маточного состава, каждый охотник ясно видел, что такое орловская порода и как она хороша. Конечно, при таком громадном количестве маток среди кобыл было порядочно во всех отношениях посредственных. Это объяснялось тем, что в заводе лет пятнадцать как не было ни одной комиссии, подобной нашей, и все выбраковки производились ежегодно самим управляющим заводом и утверждались затем управляющим коннозаводством. Иногда эти выбраковки производились в присутствии управляющего коннозаводством и приурочивались к его приезду. Вполне понятно, что они были недостаточны, ибо Дерфельден страстно любил лошадей, над каждой кобылой дрожал и каждую отстаивал. Мы безжалостно выбраковали посредственных кобыл, а генерал Дерфельден только повторял: «Чем же прикажете ее заменить?» Нами было выбраковано 25–30 кобыл, то есть очень высокий процент от общего числа маток, зато когда завод таким образом подчистился и мы



смотрели его на следующий год, то он произвел еще большее впечатление. На такой строгости при браковке маток настояли Вяземский и Коноплин, ибо эти два знаменитых коннозаводчика по собственному горькому опыту знали, что кобыл следует держать в заводе только безупречных.

Вечером, опять за традиционным чаем, без которого в то время не могла обойтись ни одна компания охотников, Лисаневич, Зданович, Дерфельден и отчасти Хрущов высказали опасение, что столь строгая браковка может принести вред Хреновскому заводу. Звегинцов и я поддерживали Вяземского и Коноплина. Голоса разделились поровну, и одним голосом, голосом председателя, выбраковка была окончательно утверждена. Впоследствии, когда через несколько лет из Хренового одна за другой стали появляться выдающиеся лошади, то и сам Дерфельден, и другие поняли, что мы поступили правильно. Во время выводки нарядчик маточного отделения Федоров представлял кобыл. Он говорил имя, называл отца, мать и деда. Я заметил, что, когда прошло около половины кобыл, Вяземский после каждого такого доклада стал заглядывать в лежавший перед ним общий список маток. Провели еще десяток кобыл, и тогда Вяземский, бросив проверку, тихо обращаясь к нам, сказал: «Обратили ли внимание, господа, какая феноменальная память у нарядчика Федорова? На выводке прошло свыше шестидесяти кобыл, я нарочно проверил по списку десять последних, и ни разу Федоров не ошибся в происхождении». Да, у Федорова была действительно необыкновенная память, и он знал генеалогию хреновских лошадей назубок.

Какой же феноменальный состав кобыл был в Хреновой! И подумать только, что все это невероятное, прямо-таки сказочное богатство, труд многих поколений, погибло во время революции, погибло навсегда и безвозвратно...

Обычно в заводах был принят известный порядок выводки, то есть делался ранжир, а именно: сначала выводили маток или других лошадей похуже, потом получше, затем еще лучше и заканчивали тем, чем завод мог и должен был гордиться. Так выводили почти что у всех частных коннозаводчиков, таков порядок был, между прочим, и у меня. Покойный Измайлов и особенно генерал Скаржинский славились необыкновенным умением сделать ранжир и показать товар лицом. Дерфельден ввел другую систему: головными номерами он пускал двух-трех лучших по себе кобыл, потом ряд замечательных, а уж после них пересыпал кобыл похуже, заканчивая выводку последними десятью выставочными номерами. Вследствие этого он сразу ошарашил первыми номерами и произвел такое впечатление, что невольно все стали задаваться вопросом: «Если первые кобылы так хороши, что же будет дальше?» Я знал об этом и потому, когда вывели первую кобылу, стал наблюдать за лицами членов комиссии. Вяземский сказал только: «Однако!» Лисаневич прямо застонал, а Коноплину вся кровь бросилась в голову, и он стал красный, как рак. Один за другим шли номера, и впечатление все нарастало. После десятой кобылы Коноплин, весь красный и взволнованный, сказал: «Пощадите! Дайте дух перевести». Все рассмеялись, встали, и минут пять шел восторженный обмен мнениями о кобылах. Дерфельден торжествовал. Он подошел ко мне и тихо сказал: «Теперь я могу спокойно умереть. Если на Коноплина, этого ярого метизатора, кобылы произвели такое впечатление, значит, они хороши и не пропали даром десять лет моей жизни!» Я сочувственно пожал ему руку и сказал, что эта выводка будет триумфом и полным признанием его заводской работы... Не только вечером, но и далеко за полночь шли разговоры о хреновских кобылах, а когда на другой день все вышли к утреннему чаю, то Вяземский сказал, что ему приснилась выводка кобыл, а я рассказал, что мы с Коноплиным долго не могли заснуть и все делились впечатлениями. Действительно, Коноплин был так по-

ражен увиденным, что не раз, когда мы пришли к себе наверх, говорил мне: «Яков Иванович, если бы хоть на десяток таких кобыл да посадить американца, ведь получился бы две минуты!» Затем он, не раздеваясь, сел у открытого окна и задумался. Тихая ночь ласково глядела в окно, обдавая нас прохладой. Миллионы звезд, казалось, пересыпались с места на место, мерцая в ночной тишине. В комнате звенел только один сверчок. Как сейчас помню, скажет слово Коноплин – и сверчок откликается, перестанет говорить – и тот замолчит. Я лежал, мечтал и думал. Но о чем мечтал и думал Коноплин? О безвозвратно ли ушедшей молодости – поре всяких упований и надежд – или о чем-то другом? Я этого так и не узнал... Золотое было время!

Наступил третий день нашего пребывания в Хреновском заводе. В этот день мы осмотрели всю молодежь и затем производителей, маток и молодежь тяжеловозного отделения. Выводки шли быстро. Были отмечены лучшие экземпляры, сгруппированы данные по производителям, но браковали только явно порочных лошадей, справедливо полагая, что остальное будет хорошим материалом для заводских конюшен. Общее впечатление от осмотра было вполне благоприятное: лошади хороши по себе, но бросалась в глаза, особенно у кобылок, известного рода некультурность. С мускулатурой у всех было слабо, и на это обратил внимание Коноплин. Спросили, в чем дело, и оказалось: за отсутствием средств кобылки совсем даже не заезжаются, а из жеребцов в работу берутся только лучшие по себе двухлетки. Это было вопиющее безобразие. Управлению завода коннозаводское ведомство не отпускало средств, а ведомство в лице Здановича в свою очередь оправдывалось тем, что нет кредитов. Удивительно, прямо-таки непостижимо, каким образом могли родиться в Хреновском заводе такие резвачи, как Палач и Первенец, если в этом заводе так обстояло дело с тренировкой. Тут же было указано генералу Здановичу, что необходимо безотлагательно изыскать средства, хотя бы путем взаимобезразного получения таковых от столичных беговых обществ, но спешно наладить правильную работу молодежи в Хреновом. Всех молодых жеребцов тренировать, а лучших, пока нет своей беговой конюшни, в большом числе сдавать в аренду с аукционного торга призовым охотникам. Все эти пожелания были затем подробно и обстоятельно изложены в нашем протоколе, точно указаны меры, которые надлежит принять, и, наконец, Коноплину персонально была поручена первоначальная организация, а в дальнейшем и общее наблюдение за ездой и тренировкой. Н. М. Коноплин тут же любезно дал согласие взять этот труд на себя. Один Лисаневич оставался равнодушен к возникшим дебатам, но и он, впрочем, одобрял эту меру и находил ее полезной, добавляя: «Только бы не увлекались секундами!» Князь Вяземский, очень умный и чрезвычайно дальновидный человек, обращаясь ко мне и своему сыну, сказал: «Что вы, молодые охотники, будете делать со своими заводами, когда из Хренового на завоевание славы и денег двинется на столичные ипподромы рать молодежи – этак поколения два – правильно и хорошо тренированная? Думаю, что с вашими лошадьми вам делать будет нечего!» Князь, говоря это, как в воду смотрел, ибо прошло совсем немного времени, и хреновские лошади так побежали, что это предсказание, по-видимому, стало сбываться.

Еще до своего приглашения в комиссию я поддерживал хорошие отношения с Дерфельденом, с которым познакомился в Дубровке у Ф. Н. Измайлова. Измайлов и Дерфельден были не только однополчане – лейб-уланы, но и большие друзья. Именно в Дубровке я получил первое приглашение Дерфельдена посетить Хреновской завод. Зная, что я интересуюсь генеалогией орловского рысака, Дерфельден одно время пользовался моими советами по подбору по кровям и вообще с большим интересом слушал мои рассуждения, часто согла-

шался, иногда относился к моим словам критически, но всегда говорил, что учится у меня, так как эта часть заводской работы ему совсем неизвестна. Наши беседы становились все длиннее, мои пребывания в Хреновом учащались, и генерал очень меня полюбил. Именно тогда, обсуждая вопрос о новом производителе для Хренового, мы остановились на знаменитом малютинском Зверобое (Летучий – Звездочка), который принадлежал одесскому миллионеру П. Е. Ралли. Ралли был большой оригинал. Он не продавал Зверобоя ни за какие деньги, в случку к нему посторонних кобыл не допускал, а своих давал две-три кобылы в год, да и то упряжного сорта. Подобное, возможно было, конечно, только в России. Я силою своего красноречия убедил Ралли сдать Зверобоя на два года в аренду Хреновскому заводу. Весь спортивный мир был поражен, Дерфельдена поздравляли в Санкт-Петербурге на бегу и в коннозаводстве.

Таким образом, еще до своего вхождения в комиссию я был своим человеком в Хреновском заводе и хорошо знал его состав. Я не только знал, но и любил хреновскую лошадь. В спортивных и коннозаводских кругах я с большой похвалой отзывался о Хреновском заводе и предсказывал его питомцам великое будущее, как только будет основана призовая конюшня и молодежь этого завода будет подвергнута правильной тренировке. У русского человека есть черта – хулить все свое, родное. Это, по-видимому, обязательно – безапелляционно высказываться о том, что никогда даже не видел. Удивительно ли поэтому, что подавляющее большинство охотников просто подымало меня на смех, говоря, что я увлекаюсь или ничего не понимаю. Дерфельдена не признавали, говорили, что он погубил Хреновской завод окончательно. Я защищал его яро, но на это всегда замечали: «Известно, что Измайлов, Дерфельден, Карузо и Бутович – это столпы чистопородности и вдохновители великого князя Дмитрия Константиновича. И не удивительно, что Бутович хвалит Дерфельдена, а Дерфельден – Бутовича и т. д., все они приятели. Гречневая каша сама себя хвалит». Словом, о Хреновском заводе укоренилось решительно ни на чем не основанное, так как никто из хулителей не дал себе труда побывать там, скверное мнение. Перелом, правда небольшой, произошел после возвращения членов первой комиссии из Хренового. Мне, конечно, не верили, но Коноплин восторженно отзывался о кобылах, и кое-кто заговорил: «Может быть, и остались старые кобылы. Надо бы съездить, посмотреть». Вяземский жил зиму обыкновенно в Петербурге, и там мнение о Хреновском заводе решительно изменилось в лучшую сторону. Петербургские спортсмены всегда были культурнее московских, и они не могли не отнестись с доверием к словам такого почтенного во всех отношениях охотника, как князь Вяземский. Впрочем, опасность была где-то вдали, за горами, там, далеко, в тумане, а известно, что русский человек не перекрестится до тех пор, пока гром не грянет...

Но вот как результат таланта и более чем десятилетней работы самого Дерфельдена и общих усилий комиссии из Хреновского завода стали появляться на столичных ипподромах первые ласточки – резвые призовые лошади. К ним сначала отнеслись в недоверие, а когда они начали ехать крепко, то закричали «Караул!» и либо бросились в канцелярию коннозаводского ведомства обивать пороги и выпрашивать в аренду резвенькую хреновскую лошадку, либо же закричали об ограничениях и о том, что с казной конкурировать нельзя. К 1913 году успех хреновских лошадей был столь значителен и они представляли уже такую грозную силу, что борьба с ней стала очень тяжела для представителей частных заводов, надо было действительно подумать об ограничении для питомцев Хреновского, иначе дела частных рысистых коннозаводчиков грозили прийти в упадок. Именно в это время

произошел крайне характерный эпизод, который я и хочу здесь рассказать.

Приезжая в Москву, я в то время имел обыкновение останавливаться в «Славянском базаре». Дело было осенью, я не совсем хорошо чувствовал и вечер проводил дома с одним молодым приятелем, который был страстным поклонником поэзии Игоря Северянина. Приказав никого не принимать, я слушал стихи Северянина, оценил его «Ананасы в шампанском», находя молодого поэта чрезвычайно талантливым и крайне своеобразным. Мой молодой друг стремился доказать мне, что Северянин выше Пушкина, над чем я от всей души потешался. Словом, в этот вечер я был далек от Хренового и вообще всяких лошадиных вопросов. Неожиданно раздался стук в дверь. Я решил, что это принесли телеграмму, и просил войти. Каково же было мое изумление, когда вошел молодой Щекин. «Извините, что я ворвался к вам, хотя швейцар и не пускал меня, но не могу, Яков Иванович, не поделиться с вами своими впечатлениями о Хреновом. Я сейчас прямо с вокзала решил заехать к вам». – «Нечего делать, Виктор Андреевич. Хотя я сейчас и не настроен говорить о лошадях и все мои помыслы витают вокруг поэзии Игоря Северянина, тем не менее я готов с вами побеседовать». После этого Щекин изложил мне свои впечатления и страхи. Он был в восторге от Хреновского и прямо заявлял, что ни в одном частном заводе нет такой молодежи. Что же касается маток, то от них он был положительно без ума. Страхи его заключались в том, что если в Хреновом дела будут идти и дальше такими же темпами, то нам с нашими заводами делать нечего, ибо лучшие наши покупатели будут брать в аренду хреновских двухлеток, конкуренция увеличится, вести заводы будет убыточно. Щекин был действительно взволнован судьбой своего завода, а стало быть, и своего кармана и заехал ко мне, конечно, не с тем, чтобы поделиться розовыми впечатлениями, а с тем, чтобы привлечь меня на свою сторону и прозондировать, как я отношусь к ограничениям против хреновской молодежи. Когда я это понял, а понять это было нетрудно, я от всей души расхохотался и начал трунить над Щекиным, напоминая ему, как он, его отец и многие другие издевались над Хреновским заводом, а меня называли фантазером и мечтателем. «Да, солоно пришлось от пунктовых жеребцов, Виктор Андреевич, теперь делать нечего, придется с ними конкурировать!» Щекин начал мне доказывать, что ведь и я, если не разорюсь, то вынужден буду сократить или даже продать завод, а потому должен действовать вместе со всеми орловцами. Затем он указал, что при моих связях в Главном управлении, при моем положении члена комиссии и влияния в Хреновом стоит мне лишь поднять вопрос, указать на возможную гибель частных заводов, подчеркнуть материальную незаинтересованность казны, чтобы вопрос этот разрешился сам собою и вполне благоприятно для всех нас. Проводить же ограничения хреновских лошадей через общее собрание не совсем тактично, да и управление коннозаводством может прямо не утвердить такое постановление. «Что говорить, – отвечал я, – таскать каштаны из огня чужими руками куда приятнее, чем собственными, но поделаться, Виктор Андреевич, ничего нельзя – будем конкурировать!» Здесь неожиданно вмешался мой молодой приятель и сказал: «Как было бы хорошо, если бы Яков Иванович продал свой завод. Он бы тогда стал писать стихи, уехал бы за границу путешествовать, отдался бы поэзии, а у него такой талант: только вчера он шутя написал небольшое стихотворение, но как это свежо, как красиво у него получилось. Теперь же все время уходит на лошадей и лошадиные разговоры!» Щекин совершенно опешил. Он, очевидно, не ожидал встретить с моей стороны такое противодействие, да еще и поддержку со стороны моего приятеля. Все это меня очень позабавило, и я, наконец, успокоил Щекина, сказав: «Вы правы, Виктор Андреевич, меры принимать надо, иначе нам всем грозит, конечно,

не разорение, но все же очень серьезная конкуренция. Я уже об этом думал и считаю не только справедливым, но и необходимым внести ограничение, тем более что есть уже прецедент: конюшня Деркульского завода получает всего лишь 25 процентов из приза, когда выигрывает ее лошадь, а остальные 75 процентов присоединяются к призу лошади частного владельца, пришедшей вслед за ней. Конкурировать с государством, конечно, невозможно, как нельзя было в пятидесятых годах русским скаковым охотникам конкурировать с конюшней наследника Александра Николаевича при его неограниченных средствах. Будущий государь Александр II ликвидировал свою конюшню, хотя и очень любил лошадей. Знали ли вы об этом факте? Нет! Очень жаль, что все вы так мало знакомы с историей родного спорта. Итак, я вас успокою. В следующем же году я проведу такое ограничение через комиссию в самой же Хреновой, а годок давайте мы с вами потерпим конкуренцию, авось не разоримся».

Щекин совершенно успокоился, но все же дважды спросил меня, решено ли это бесповоротно. Я ответил на это утвердительно, но судьба через год ответила отрицательно! Наступил 1914-й, вспыхнула так неожиданно война, комиссия больше не собиралась, и надобности в проведении такого постановления не стало. А через каких-нибудь три года сначала временно прикрыли бега, а потом и сам Хреновской завод течением революционных событий и бездарностью руководителей погиб и стерт с лица русской земли! Уже во время революции, когда Щекин был в Сибири, где спасался с лучшей, наиболее ценной частью своего завода, из Хренового в Прилепы прибыл Л. Ф. Ратомский и рассказал мне, что на его глазах трехлетняя кобыла, дочь Павлина, сделала версту без 30! Если принять во внимание все условия тренировки и бега, это была феноменальная резвость и в этой кобыле русское коннозаводство имело, по мнению Ратомского, вторую лошадь резвее 2.10! Да, немало бы создал великих лошадей Хреновской завод, не случись революции, и заставил бы русских охотников громко и много говорить о себе!..

Но вернемся опять к работе комиссии. После рысистой молодежи мы смотрели тяжеловозное отделение завода. Быстро прошли клейдесдалы, более внимательно и со значительно большим интересом смотрели на замечательных хреновских першеронов, промелькнули суффольки. За исключением В. И. Звегинцова, все остальные члены комиссии были ярыми рысачниками, и тяжеловозов подвергли экспертизе главным образом Звегинцов, Зданович и Дерфельден. Однако во время вывода все тот же Вяземский обратил внимание на одно весьма важное обстоятельство, которое как-то никем не было замечено. Вывели кобылу. Нарядчик докладывает: номер 37, Бляха, породы брабансон, от суффолька такого-то и брабансонской кобылы такой-то. Далее еще лучше: номер 38, Штучка, породы арден, от брабансонского жеребца такого-то и клейдесдальской кобылы такой-то. «Ничего не понимаю, – заявил Вяземский. – Как, скрещивая лошадей двух пород, брабансона и клейдесдаля, можно получить ардена и как от брабансона и суффолька получился брабансон?» Произошло общее замешательство. Мы все поддержали князя и потребовали объяснения. Обер-унтер-штутмейстер тяжеловозного отделения Иван Макарович начал объяснять, что известное число кобыл в результате метизации идет под жеребцов разных пород и их потомство и причисляют затем к той породе, в которую данная лошадь вышла. Это был, конечно, полный произвол и безграмотность. Дерфельден был смущен, а Зданович очень недоволен. Комиссия предложила прекратить эту мешанину и вести тяжелые породы только в чистоте, удалив пестрых метисов. Словом, получился небольшой скандал. Хотя рассказанное смахивает на анекдот, но это сущая правда.

На меня большое впечатление произвели суффольки, которых очень пропа-

гандировал Звегинцов. В наших условиях для создания артиллерийской и крупной сельскохозяйственной лошади суффольки незаменимы. Дерфельден был большим сторонником першерона, очень его ценил, а однажды мне сказал с глазу на глаз: «Хорошо бы покрыть парочку першеронских кобыл Ловчим. Какие бы замечательные получились лошади!» Этого он, конечно, никогда не привел в исполнение, но, думаю, что если бы он был частным лицом, а не управляющим государственным заводом, то от такого скрещивания вывел бы замечательных пользовательных лошадей.

Осмотр завода закончился. Оставалось, согласно желанию Коноплина, посмотреть заводских жеребцов на езде. Никто из нас не думал, что эта езда произведет на нас такое громадное впечатление и навсегда останется в памяти. Езда была назначена на утро. В ротонде нас уже поджидал Дерфельден, на нем был свежий, новенький китель, и в руках он держал кнутик. Об этом кнутике стоит сказать несколько слов. Небольшое кнутовище было тонкого, необыкновенно твердого и гибкого дерева и красивого, сочного цвета; ремешок тонкий, круглый и мастерски прикрепленный к кнутовищу. Такой кнутик генерал Дерфельден всегда брал с собою, уходя на конюшню, и, подражая ему, все его помощники стали являться туда с кнутиками самой разнообразной формы и вида. Тогда Дерфельден заказал и подарил кнутики всем своим помощникам. Кнутовища он привозил обыкновенно с Кавказа, куда ездил ежегодно на воды, а отделявал их в Воронеже знакомый генеральский шорник. Я, к сожалению, не помню, как называлось то дерево, из которого делались эти кнутовища, но генеральские кнутики были верхом изящества и совершенства. В свое время генерал и мне подарил один из своих кнутиков. Я слышал недавно, что эта традиция до сих пор живет в Хреновом и как управляющий, так и его помощники приходят в конюшню вооруженные кнутами. Насколько эти революционные кнуты красивы и насколько товарищ Луксинг похож на генерала Дерфельдена, предоставляю решить читателю...

Однако вернемся к езде жеребцов. Мы последовали за хозяином и вышли на балкон. Стояла теплая, тихая погода. Легкие белые облачка редели и таяли, и солнце готовилось выглянуть. Свежий воздух был упоительно чист и прозрачен. Пройдя садом, мы вышли на круг. Там никого и ничего – царила мертвая тишина. Лишь один дежурный спокойно стоял у главного входа конюшен и, завидев нас, вытянулся и замер. «Неужели проспали?» – невольно пронеслось у меня в голове, и я с беспокойством посмотрел на Дерфельдена. Он, красивый, уверенный в себе, одетый, как всегда, с иголки, вышел на середину круга, пригласил нас следовать за ним и громким голосом приказал дежурному: «Иванов, вели выезжать!» Как по мановению волшебной палочки распахнулись ворота запряжного сарая, и оттуда один за другим, держа пять корпусов дистанции, выехали пятнадцать заводских жеребцов, запряженных в беговые дрожки, в русскую затяжную дугу, в легкие хомутики с узорными, ажурными седелками. Жеребцами управляли ученики хреновской школы наездников, все в белых гимнастерках, высоких сапогах и синих брюках. Когда последний жеребец выехал из ворот, генерал громко скомандовал: «Тротом!» И производители, послушные руке молодых наездников, тронулись небольшой рысью, а по следующей команде перешли на другую, настоящую рысь. Крупные, рослые, красивые жеребцы, великолепная, такая поэтичная русская запряжка, наконец, эти молодцеватые юные наездники в белых гимнастерках – все это было так неожиданно, так красиво и увлекательно, что у нас дух захватило. Мы стояли, очарованные этой картиной. Тем временем к генералу подошли его помощники и инструктор-наездник Я. М. Пашенко, ученик дубровской школы. Первым пришел в себя князь Вяземский и, обращаясь к сыну, сказал: «Смотри, Адишка,

на эту поразительную картину, ее можно увидеть раз в жизни, да и то только в России!» Действительно, картина езды жеребцов ранним, таким теплым, ясным и уже солнечным утром была необыкновенна, эффектна и красива.

И все же то, что нам предстояло увидеть через несколько минут, превзошло по красоте, лихости и силе впечатления все самые смелые предположения и ожидания. Генерал скомандовал: «Успокоить жеребцов!» Их перевели на трот, а нас попросили встать с правой стороны у дорожки, говоря, что сейчас мимо нас будут пролетать в предельную свою резвость прямую восьмушку круга один за другим все эти лошади. И вот началось... Первым ехал Магнит. Еще с поворота он начал набирать резвость и мимо нас уже летел. За ним промчался Вождь, потом другие жеребцы, вороные, гнедые, серые, рыжие и, наконец, белые. Гул стоял на кругу от звона копыт, стука колес, залихватских, звонких голосов-посылов ездоков, и казалось, что земля хреновская радуется этой широкой русской удали и красоте. Генерал, с возбужденным лицом и лихорадочно горящими глазами, поощрял, вдохновлял и громовым голосом возбуждал энергию и без того рьяных ездоков. Дух захватывало глядеть на эту картину. Но вот в замке показался, промчался как метеор и скрылся Момент. Недаром говорили старики с Хренового, что нет и не было на езде лучше лошади! Он летел, казалось, по воздуху, как крылатый конь, ибо на глаз ни одна нога его не касалась земли. Его белая громада, ибо он выросал на ходу, переливалась на солнце многими голубыми, розовыми, перламутровыми тонами. Глаз его горел и, казалось, сыпал искрами по сторонам, а из ноздрей клубом валил пар. От страшной резвости и силы хода дрожки закатывало по сторонам, а красавец-мальчишка, откинув свой стан назад и склоня голову вправо, туго натянув вожжи, едва сидел в легких дрожках. Густой, широкий, пушистый хвост Момент нес трубой, то подымая, то опуская его серебряным потоком волос. Это была поразительная, не поддающаяся никакому описанию езда. Кто не видел на езде Момента, тот даже представить себе не может, какой бывает езда настоящей орловской рысистой лошади...

Проездка жеребцов закончилась. Генерал Дерфельден обратился к князю Вяземскому, спрашивая его, не пожелает ли комиссия еще что-либо осмотреть. «Нет, – твердым голосом отвечал за всех нас князь. – Мы все видели, оценили и приносим вам, дорогой Иван Платонович, глубочайшую благодарность». Вяземский снял фуражку и облобызался с Дерфельденом. Все мы в свою очередь благодарили генерала, потом А. И. Здановича, подошедших помощников и главных сподвижников Дерфельдена. У всех лица были возбужденные и радостные: смотр прошел блистательно, Хреновое поддержало свою вековую славу.

Предстояло написать протокол, дать характеристику племенного состава, указать на все как положительные, так и отрицательные черты ведения дела, предложить ряд мер к устранению последних, мотивировать выбраковку многих лошадей из завода, наконец, суммируя все впечатления и все данные, сделать выводы и заключения. Князь Вяземский открыл заседание, и обмен мнениями начался. Помимо членов комиссии право решающего голоса имели А. И. Зданович и И. П. Дерфельден. Я с затаенным вниманием слушал и следил за ходом разворачивающихся прений. Замечательно умно и дельно говорил Вяземский, который был от природы настоящим оратором. Звегинцов также говорил хорошо, коротко и толково, было сразу видно, что это широко и всесторонне образованный человек и выдающийся теоретик коннозаводского дела. Лисанович выступал нудно, был тяжелодум, но прекрасно знал хреновский быт и условия и часто, благодаря этому, вносил чрезвычайно существенные поправки. Коноплин – тонкий знаток всего того, что касалось рысистой лошади, ее тренировки и езды, был очень остроумен и ограничивался тем,

что часто подавал удачные реплики. Я молчал и слушал. Среди этих знаменитых коннозаводчиков мне было трудно что-либо добавить. Единственно, когда обсуждалась генеалогическая сторона дела, то меня, как общепризнанного знатока этого вопроса, внимательно слушали. Заседание закрылось блестящей речью князя Леонида Дмитриевича, который в ней подвел итоги работы комиссии, благодарил хреновское начальство и управляющего коннозаводством за гостеприимство и затем в самых красивых словах высказал пожелание, чтобы Хреновской вновь вернул утраченное положение первого рысистого завода страны. Это была замечательная речь, и, переживая ее теперь, я вспоминаю два момента, на которых Вяземский особенно остановился. Во-первых, он подчеркнул, что метизация орловского рысака с американским может погубить многие заводы, ибо это путь опасный и приносит обильные плоды лишь немногим. «Я говорю это сознательно, – сказал Вяземский. – Хотя я и сам коннозаводчик-метизатор, но теперь уже более трезво смотрю на этот вопрос и в Лотарево половина кобыл будет вестись в орловском направлении. Не забудьте, что если метизация даже даст только все удачное и хорошее, то и тогда необходим будет орловский рысак, ибо у частных коннозаводчиков его уже не станет. Тут-то и нужно будет Хреновое с его кадрами орловского материала». Второй момент, оставшийся у меня в памяти, – слова князя о возможности грядущей революции, даже ее близости. Он указывал, что тогда многие, если не все рысистые заводы частных лиц погибнут, но Хреновской – достояние народа, государственный завод – конечно, уцелеет. Далее князь сделал вывод, что, имея в виду такую возможность, нельзя жалеть никаких средств на то, чтобы Хреновской завод был действительно образцовым и лучшим в России, ибо, быть может, судьба Хренового – это судьба всего рысистого коннозаводства страны. Переживая теперь последние слова князя, я замечу от себя, что заглядывать в отдаленное будущее – задача трудная и неблагоприятная. Как и многие, ошибся и князь: почти целиком погибло не только частное рысистое коннозаводство, но погиб и весь (95%) племенной состав Хреновского государственного конного завода.

Не стану здесь приводить тех постановлений, которые были вынесены нами в окончательной резолюции, так как протоколы работы комиссии, вероятно, хранятся в хреновском архиве и когда-нибудь будут опубликованы. Укажу лишь вкратце, что управлению коннозаводства было предложено первым делом озаботиться подысканием двух, в крайнем случае одного заводского производителя, причем за идеал надлежало принять белого жеребца Ловчего завода Малютина от Леля и Лебедки, который уже состоял производителем в Хреновом. Для подсосных маток были увеличены нормы фуража, так как существовавшие были явно недостаточны. Было предложено обзавестись своей призовой конюшней наподобие тех, которые имели Деркульский и Яновский чистокровные государственные заводы, а пока сдавать лошадей в возможно большем количестве призовым охотникам, но обязательно с аукционного торга. Существовавшая система передачи из процентов, притом явно убыточных для казны, лишь нескольких лучших лошадей в конюшню великого князя Петра Николаевича была строго осуждена. И Вяземский с достоинством заметил, что великий князь в этом не нуждается и что таким образом лишь роняют его имя и авторитет. «Кто ведет об этом переговоры?» – недовольно спросил князь у Дерфельдена. «Пуксинг, управляющий Чесменским заводом», – ответил Дерфельден. «Что это за Пуксинг? Первый раз слышу такое имя!» – князь пожал плечами и заметил, что по приезду в Петербург лично переговорит с управляющим двором великого князя Петра Николаевича. Вечером князь опять вернулся к фамилии Пуксинга и весьма неблагоприятно о нем отозвался, говоря, что



именно такие выскочки своими действиями подрывают авторитет августейшего дома в широких народных массах. Присутствовавший здесь полковник Пусторослов, один из помощников Дерфельдена, сообщил нам исчерпывающие данные о личности господина Пуксинга. По его словам, это был очень ловкий и приятный человек, ранее служивший конторщиком в Благодатном, рязанском имении великого князя, и сделавший карьеру женитьбой на камеристке великой княгини. Теперь он управлял Чесменской, небольшим имением великого князя в тысячу десятин земли, неподалеку от Хренового.

Помимо устройства призовой конюшни было указано на необходимость тренировки всей молодежи. Меры, предложенные комиссией, принесли обильные плоды, но их, к несчастью, не увидели ни И. П. Дерфельден, ни Л. Д. Вяземский.

Все было закончено, все было сказано, и, простившись с гостеприимным хозяином, мы разъехались по домам.

Я уже упоминал о том, что в 1911 году наша комиссия выделила специальную подкомиссию с целью покупки производителей для Хреновского государственного завода. Такая мера была принята потому, что Дерфельдену, которому сначала было поручено приобретение жеребцов для Хренового, это осуществить не удалось, так как он стал прихварывать и не мог без ущерба для своих обязанностей уделить время для поездок и осмотра лошадей. В состав подкомиссии вошли И. П. Дерфельден (председатель), Н. М. Коноплин и я. Если не ошибаюсь, избран был также В. И. Звегинцов, но он не принимал участия в работах. Однако первая же покупка вороного жеребца Вождя у Дарагана была неудачной – первый блин, как говорится в пословице, вышел комом. Инициатором и вдохновителем покупки Вождя был Н. Н. Шнейдер, а куплен был Вождь отчасти потому, что в «Праге», как мы узнали, Дараганом был заказан завтрак и все на него заранее были приглашены.

Это было зимой, и наша белокаменная столица уже давно оделась в свой снежный убор. На московском ипподроме царило обычное для этого времени года оживление: бега шли регулярно и проходили с большим успехом, а съезд коннозаводчиков и охотников в эту зиму был особенно большой. Все знали, что для Хреновского завода подыскивается производитель, что Коноплин и я исподволь осматриваем лучших орловских жеребцов на бегу, и всех интересовал вопрос, на ком мы остановим свой выбор. Помимо чисто коннозаводского интереса, здесь для многих имел значение и вопрос материальный. Продать жеребца в Хреновое – это значило отхватить куш по меньшей мере в десять тысяч рублей, да и слава была немалая, в особенности если лошадь принадлежала самому коннозаводчику. Как ни ругали тогда Хреновое, а все же в душе у каждого истинного охотника теплилось к этому заводу особое чувство.

Было около одиннадцати часов утра и проездки рысаков уже замирали, когда в членский зал вошел Н. Н. Шнейдер, только что вернувшийся от Дарагана, к которому ездил с целью осмотра его когда-то столь известного завода. Как сейчас помню фигуру Николая Николаевича, грузную, тяжелую, в барашковой шапке и шубе с таким же воротником, в высоких резиновых ботинках, которые он всегда носил, и с неизменной, весьма внушительной палкой в руках. Шнейдер имел обыкновение в разговоре делать короткие жесты рукой и выразительно смотреть на собеседника. Этот безукоризненно честный и порядочный человек пользовался большим уважением и полным доверием у орловцев. Его, конечно, сейчас же окружили и начали расспрашивать про завод Дарагана. Милейший Николай Николаевич, чувствуя себя до известной степени героем дня, принялся рассказывать. Особенно восторженно он отзывался о Вожде, говоря приблизительно так: «Рекорд 2.16, и в руках не Кейтона, а Горчавкина. Вороной без отмет, росл, делен, густ, правилен – словом, вот производитель

для Хреновского завода. Лучше и не сыскать. А уж о породе и говорить нечего: прямой внук знаменитого Нагиба, да и вся остальная родословная напирана такими именами, что страсть!» Талантливый рассказ Шнейдера произвел на

всех должное впечатление, да Вождь и действительно был лошадейю первого класса. Быстро воспламеняющийся и еще скорее остывающий мир охотников загудел, зашумел, зашевелился.

На другой день во время бега только и было разговоров, что о Вожде. Кое-кто из наиболее рьяных и несдержанных охотников уже кричал, что комиссия, не покупая Вождя, совершает государственное преступление, а старик Щекин носился по трибунам и агитировал за Вождя. У него не было подходящего жеребца для продажи, и он, боясь, что купят лошадь у кого-нибудь из его заклятых врагов, а таких было немало, восхвалял лошадь Дарагана, с которым был в недурных отношениях. Очередной воскресный номер «Рысака и скакуна» вышел с длинной и, как всегда, неглубокой, но красиво написанной статьей Шнейдера, где он делился впечатлениями от поездки в Пруды и где Вождю было посвящено немало строк. Вождь превозносился как лошадь замечательная и старинных орлов-



*Иннокентий Кузьмич  
Дараган*

ских форм. Словом, общественное мнение явно высказывалось за покупку этого жеребца для Хреновского завода.

Вечером в балете Коноплин спросил меня: «Яков Иванович, вы, конечно, знаете всю шумиху, которую Шнейдер поднял вокруг Вождя?» «Как же», – отвечал я. «Какого же вы мнения об этой лошади?» – последовал новый вопрос. Я ответил Коноплину, что Вождя видел только на езде, а потому судить не берусь, ибо лошадь на езде одно, а на выводке совсем другое, но что все же он мне показался сыр и простоват. Коноплин на это ответил буквально следующее: «C'est une salle rosse!» – и разговор на этом прервался. Однако на бегу продолжались толки, а Шнейдер, подойдя ко мне, передал, что Дараган просит меня заехать к нему переговорить. В то же время Дараган свиделся с Коноплиным и сказал ему, что слухи о том, что Вождем интересуются для Хреновского завода, дошли до него, что если это так и Коноплин за эту лошадь, то он просит у него, как у старого друга, поддержки. «Лошадь непродажна, – добавлял Дараган, – но в Хреновое, конечно, уступлю!»

«Делать нечего, – сказал мне Коноплин, – давайте известим Дерфельдена и посмотрим Вождя». Я категорически отказался ехать в Новосильскую, полуразвалившуюся деревню Дарагана, и Шнейдер посоветовал Дарагану телеграфировать в завод и велеть привести Вождя в Москву. Узнав об этом, Коноплин, который был в курсе всех беговых дел и прекрасно знал материальное положение каждого, взялся за голову, сказав, что денежные дела Дарагана ужасные и что он, несомненно, рассчитывает на эту продажу, а привод жеребца не только вводит его в расходы, но и нас до некоторой степени обязывает. Я спокойно ответил Коноплину, что беда не так велика, ведь Вождь имеет рекорд 2.16 и, вероятно, не урод, ибо Шнейдер иначе его бы не хвалил. Если он нам не понравится, но у него нет пороков, то мы со спокойной совестью купим его как дублера к другому, основному производителю, которого надлежит подыскать. «Пожалуй, вы правы», – сказал Коноплин и успокоился.

Я думаю, теперь уместно сказать несколько слов о самом Дарагане. И. К. Дараган основал свой завод в 1858 году. При основании в заводской состав вошло много выдающихся лошадей и даже целых заводов. Например, знаменитый завод Колемина был куплен Дараганом, Терещенко и Колюбакиным и затем разделен на три пая. Естественно, что лошади Дарагана имели в свое время весьма большой успех. Однако постепенно завод замирал и буквально погибал с голоду: Дараган не кормил лошадей. Лет пятнадцать как из завода не появлялось уже ни одной первоклассной лошади, и все считали его конченным. Все же сила крови в этом заводе была так велика, что, когда наездник Горчавкин взял в аренду у Дарагана несколько лошадей, то среди них оказались Вождь (2.16) и Ломбард, победитель Императорского приза. Это было последней вспышкой догоравшего ныне и когда-то столь славного завода.

Сам Иннокентий Кузьмич Дараган был барин в полном смысле этого слова. Богатейший человек, он, помимо имений, домов и капиталов, владел золотыми приисками в Сибири, но все это было прожито и потеряно из-за неудачного ведения дел и какого-то злополучного процесса. От этого громадного состояния уцелело лишь 3000 десятин земли Новосильского имения. Дараган поселился в Москве, в доме коннозаводства, на Поварской, и прожил там всю вторую половину своей жизни. Он стал старшиной Английского клуба, старшим членом Московского бегового общества и пользовался в Москве уважением и известностью. Это был приятный человек, но, выражаясь мягко, довольно-таки ограниченный. Я находился с ним в очень хороших отношениях, так как оба мы были членами правления Всероссийского союза коннозаводчиков и любителей орловского рысака.

Никогда не забуду, как однажды, спросив Дарагана о том, чем он руководствуется, делая тот или иной подбор у себя в заводе, я услышал, что он этого и сам не знает: как гениальный повар из всяких разностей создает чудный маседуан, так и он из разных кровей создает своих чудных лошадей.

Я уже упомянул, что к тому времени, к которому относится этот рассказ, денежное положение Дарагана было очень тяжелое, имение закладывалось и перезаклаживалось, частенько назначалось в продажу и затем в последний момент снималось дворянской опекой. Коноплин был прав, говоря, что при таких обстоятельствах торговать у Дарагана лошадь и не купить значило нанести тяжелый удар старику. Я попросил Шнейдера по чистой совести сказать, хорош Вождь или нет, и Николай Николаевич поклялся, что лошадь нам понравится.

Наконец привели Вождя и поставили его на Поварской при московской случной конюшне. Дерфельден был в это время вызван из Хренового в Петербург и, направляясь туда, остановился на несколько дней в Москве. Коноплин пригласил его и меня к обеду, и тут, на даче, мы подробно изложили Дерфельдену историю с Вождем и все положение дела. Дерфельден задумался и затем сказал: «Вы знаете, я ведь очень хорош с Иннокентием Кузьмичом и прямо не знаю, как быть. А если лошадь не хороша – купить не позволит совесть, а старику нанесем такой удар, от которого ему не оправиться». В конце концов восторжествовала моя точка зрения, и Дерфельден согласился, что 2.16 – это кое-что, да и лошадь крупная и исключительно интересна по породе, а это уже много значило. «Ну, подержим его года два в Хреновом, – сказал я в заключение, – а там переведем на центральный пункт. Пусть пользуются классным жеребцом малоимущие коннозаводчики, а то все нас и так обвиняют, что ничего не делается для мелких коннозаводчиков и охотников». На этом мы дружески расстались.

Наступил день осмотра жеребца. Дараган был заранее официально предупрежден, и в час дня комиссия, встреченная управляющим московскими заведениями коннозаводского ведомства полковником Крамаревым, прибыла в зда-

ние коннозаводства на Поварской. Коноплин вместе с генералом подъехал на своей городской одиночке, рыжем красавце жеребце Перевиделе. Я ехал сзади на лошади, поданной из московской заводской конюшни. Коноплин и я еще накануне, на бегу, пригласили всех крупнейших коннозаводчиков и охотников пожаловать к часу на Поварскую и принять участие в осмотре жеребца. Все охотно согласилось, так как зрелище было интересное. Вот почему когда мы подъехали, то застали большое общество. Тут были А. А. Щекин, М. В. Оболонский, барон М. И. Черкасов, Д. Д. Левшин, Н. Н. Шнейдер, Г. Д. Янков, Д. А. Расторгуев, много охотников и лиц, причастных к спортивному миру. Словом, с комиссией оказалось человек тридцать. Иннокентий Кузьмич всех обходил и приглашал к завтраку: «После осмотра жеребца прошу откусать в «Прагу», где заказан стол на тридцать человек». С этим же приглашением Дараган подошел к нам. Дерфельден совершенно опешил, но делать было нечего, и мы приняли приглашение. Дерфельден выразил удивление, что Дараган уже заказал завтрак и что, стало быть, он считает покупку Вождя предрешенной. Генерал отметил, что Дараган ставит нас в крайне неловкое положение, а в случае если мы не купим жеребца, то и в преглупое и неприятное – сидеть за завтраком у человека, которому невольно полчаса назад причинили крупную неприятность. Коноплин ругательски ругал Шнейдера и говорил, что, куда Шнейдер ни вмешается, везде получается глупость, а затем добавил: «Ужас в том, что завтрак обойдется Дарагану в 1000 рублей, так что если мы не купим Вождя, то ему и заплатить за него будет нечем!»

В это время лихой нарядчик московской заводской конюшни появился и, вытянувшись перед генералом, ожидал его распоряжений. Генерал взял Коноплина под руку, и мы втроем сделали несколько шагов по направлению к конюшням, где остановились, и беседа продолжилась. «Делать нечего, надо покупать жеребца», – сказал Коноплин. «Лошадь нам не подходит, – возразил Дерфельден. – Я его не осматривал, но полковник Крамарев вчера был у меня и об этом доложил». Коноплин с отчаянием взглянул на меня и сказал: «Яков Иванович, придумайте выход». «Выход есть, и я думаю, что он всех удовлетворит. Полагаю, что надо поступить так: Иван Платонович пригласит всех присутствующих здесь коннозаводчиков и охотников в комиссию. Никто, конечно, не откажется, а засим за завтраком я удалюсь минут на десять, напишу протокол, и все его подпишут». «Гениальная мысль, – сказал Коноплин. – Ни у кого язык не повернется забраковать Вождя после уже полученного и принятого приглашения на завтрак, а злословить потом тоже не придется – все покупали и все подписали протокол». «Другого выхода нет», – сказал Иван Платонович, и мы двинулись на выводку. Дерфельден в самой любезной форме пригласил присутствующих принять участие в комиссии и высказаться о достоинствах и недостатках жеребца. Все согласилось и, окружив нас, с шумом и говором двинулись в выводной зал. Никому в голову не приходило, что протокол придется подписать всем участникам завтрака, а потому всем было весело и хорошо. Коноплин начал шутить, Щекин ему отвечал, охотники разбились на группы и беседовали, но вдруг все стихло. Показался и стал на выводке Вождь. Почти на всех лицах можно было прочесть разочарование, но это продолжалось одно лишь мгновение, и затем непроницаемые маски были вновь надеты на лица. Один лишь Оболонский ехидно улыбался и думал: «Хороши молодчики, вот так комиссия, такого жеребца купить в Хреновое. Подождите, разделают же вас!»

Что, однако, представлял из себя Вождь? Это была крупная вороная лошадь 4 3/4 вершка росту, при отличном для рысака обмере пясти (22 сантиметра), высоком рекорде (2.16) и превосходной породе. Но был сыр, лежок, прост и имел козинец.

Я посмотрел на Шнейдера – истинного виновника и вдохновителя покупки Вождя. У него был смущенный вид. Сейчас он ясно видел отрицательные черты жеребца. Как могло получиться, что такой опытный коннозаводчик, как Шнейдер, а он им был в действительности, ошибся? Вероятно, это произошло под влиянием рекорда, высокой породы и симпатии к хозяину. Весьма возможно, что лошадь показали в темноватой конюшне, случайно удачно поставили, потому жеребец показался Шнейдеру лучше, чем он был на самом деле.

Быстро всех опросив и получив согласие на покупку, Иван Платонович объявил Дарагану, что комиссия лошадь покупает и просит назначить цену. «Пятнадцать тысяч», – отвечал Дараган. «В таком случае мы вынуждены отказаться, так как располагаем только одиннадцатью тысячами», – сказал Дерфельден и, как потом мне рассказывал, подумал, что положение спасено и Дараган лошадь не отдаст. Однако Иннокентий Кузьмич тут же согласился, начал всех благодарить и заявил, что спешит в «Прагу», чтобы прибыть туда до приезда дорогих гостей. Однако самое интересное было впереди.

В «Праге», куда все собрались, мы долго сидели за столом. Наконец подали дичь, и пробки одна за другой стали хлопать и полетели в потолок. Золотистое вино сначала наполнило комнату своим благоуханием, а затем запенилось, зашипело и заиграло в бокалах. Сам Тарарыкин, владелец ресторана «Прага», появился в кабинете, торжественно принял из рук метрдотеля бутылку с вином и, наливая генералу бокал, произнес поздравление с покупкой знаменитого, как он выразился, жеребца. Этот Тарарыкин был замечательный человек, и я не могу отказать себе в удовольствии рассказать, как однажды, завтракая в общей зале ресторана «Прага», я был свидетелем поразительной его ловкости. Великий князь Михаил Александрович в то время командовал кавалерийским полком в Орле и иногда заезжал в Москву. Как-то раз вместе со своей морганистической супругой он приехал позавтракать в «Прагу» и сел в общей зале. Растерявшиеся лакеи забыли переменить скатерть и так и начали сервировать стол. Дали знать Тарарыкину. Он немедленно влетел в залу, увидел стол великого князя, орлиным оком полководца окинул его и, заметив беспорядок, на цыпочках подлетел к столу, отвесил низкий поклон и с быстротою молнии сдернул помятую скатерть, бросив ее на руки ошеломленных лакеев! Это было сделано так быстро и так ловко, что ни единая рюмка, ни единый стакан и ни единая тарелка не тронулись с места, не повалились – все осталось на столе.

После первых тостов я удалился в соседний пустой кабинет и написал тем протокол покупки у И. К. Дарагана для Хреновского государственного завода вороного жеребца Вождя. Вернувшись обратно, я громко прочел протокол и передал его Дерфельдену. Генерал надел пенсне и не спеша, своим крупным и твердым почерком написал: «Фон Дерфельден». За ним подошел Коноплин, потом я. После этого генерал просил всех присутствующих, как приглашенных участников комиссии, также подписать протокол. Общее молчание было ответом на слова генерала – видимо, никто этого не ожидал и не предполагал. Коноплин всеми фибрами души переживал этот исторический момент и от напряжения высунул кончик розового тонкого языка. Его глаза, казалось, говорили: «Ну что, господа, хотели нас поддеть, попались сами!» Делать было нечего, один за другим присутствующие начали подписывать протокол. В это время встал и незаметно хотел улизнуть известный воронежский коннозаводчик М. В. Оболонский – хитрый хохол и тонкий дипломат. Но Коноплин не дал ему уйти и на весь кабинет громко сказал: «Михаил Васильевич, куда же вы, не подписав протокола? Вместе покупали, вместе и отгрызаться будем!» Это было сказано с выразительной интонацией и неподражаемым юмором. Все поняли, в чем дело, и расхохотались. Оболонский быстро сел и, делая нечего, поставил

подпись. Общее веселое настроение уже не покидало собрания до конца, и завтрак благополучно протек среди тостов, бесконечных пожеланий и здравиц. Дараган торжествовал. Отраднo было видеть этого почтенного старика, которому на склоне лет пришлось-таки увидеть своего жеребца, попавшего если не мытьем, так катаньем производителем в Хреновской завод. Впрочем, Дараган менее всех был в этом повинен, ибо несомненно, что он никогда не пошел бы на хитрости, подвохи и компромиссы со своею совестью. Он ничего заранее не предвидел и не предпринимал, а просто, как иногда бывает в жизни, все так случилось, ибо так нужно было другим.

Вождь пришел в Хреновое и там, конечно, старикам-старожилам не понравился. Обыкновенно после покупки производителя, да еще для Хреновского завода, в печати и коннозаводских кругах возникало много споров, критики и неудовольствия. На этот раз вышло по-иному, и о Вожде говорили мало, отмалчивались, а вскоре и совсем перестали говорить.

Хочу рассказать о первом приезде в Хреновое нового управляющего коннозаводством князя Н. Б. Щербатова. Щербатов впервые попал в Хреновое. Комиссия, которая была им приглашена, состояла всего лишь из двух лиц – А. Ф. Грушецкого и меня. Я был своим человеком в Хреновом, Грушецкий тоже неоднократно там бывал, а для Щербатова все было ново и интересно. Когда я приехал, Н. Б. Щербатов уже оказался на месте, с ним вместе приехал Грушецкий. Хотя так мало лет прошло со времени приезда в Хреновое первой комиссии, многое изменилось: скончался незабвенный Иван Платонович, умер князь Леонид Дмитриевич Вяземский, отошел от коннозаводства Н. М. Коноплин, все как-то потускнело и посерело и в самом заводе. Здесь я хорошо понял значение личности, то, какую громадную роль в каждом деле играют отдельные выдающиеся люди, и подумал, что нескоро Хреновое получит в управление второго Дерфельдена. Заводом временно управлял полковник Богдашевский (потом получивший назначение управляющего). Это был симпатичный человек, скромный, простой, но, конечно, он не был подходящим управляющим для Хренового. Как мог его назначить Щербатов, я до сих пор недоумеваю. Богдашевский во всех отношениях – и в смысле знания лошади, и в смысле собственного положения, средств и связей – был рядовой армейский офицер. Это сейчас же чувствовалось, когда вы переступали порог знаменитого графского дома, где когда-то жил Дерфельден. Все было не то и все было не так: обед подали с опозданием, он был претенциозен и плох. К сожалению, Богдашевскому никто не подсказал, что радушное гостеприимство и простой прием вполне бы заменили все эти потуги на роскошь и высший тон. На выводах чувствовался упадок дисциплины: хотя лошади были идеально вычищены, но прислуга держала себя развязно, появились какие-то непрошенные гости, которые хотя и стояли в стороне, но раздражали меня своим подчеркнуто демократическим видом. Это были, как потом оказалось, родственники жены Богдашевского. Радовали по-прежнему лошади, но скоро и это удовольствие было отравлено поведением нового управляющего коннозаводством князя Щербатова. Князь держал себя как-то чересчур фамильярно – он, по-видимому, еще не освоился со своим высоким положением и, как человек неумный, что называется, пересаливал. Так уместно было держать себя с полтавскими помещиками в Хорошках – имении князя. Он решительно не знал порядков и строя жизни государственного завода. Невольно возникал вопрос: откуда сей князь прибыл и как он попал на столь высокое место? Очевидно, по недоразумению, ибо что-то не слышать было ни о знаменитом сановнике, ни о знаменитом коннозаводчике с таким именем. К тому же Щербатов, после того как осмотрели двух-трех жеребцов, расписался в собственном невежестве и показал

всем и каждому, что он дилетант в нашем деле. Обратившись к Грушецкому и ко мне, он громко сказал, так что все ясно слышали: «Господа, прошу вас, смотрите на жабки, курбы и прочие тонкости – я в этом ничего не понимаю!» Не скрою, что такое заявление, исходящее из уст управляющего коннозаводством, всех удивило и всем стало не по себе. Далее, во время выводки двухлеток, князь обратил внимание на недостаточное развитие пясти у некоторых лошадей, что было нетрудно усмотреть, ибо перед ним лежал список лошадей с номерами. «Это ужасно, – сказал «умный» князь. – Даже в моем небольшом заводе промеры пясти лучше». Затем, обратившись к сопровождавшему его чиновнику особых поручений Д. М. Каминскому, тут же продиктовал в Хорошки телеграмму, распорядившись прислать по телеграфу промер пясти своих двухлеток. Нам было известно, что у князя самый заурядный завод и что его лошадей, вороных и сырых, покупают либо немцы-колониисты, либо, по знакомству, земства. И вдруг такая смелость и, выражаясь мягко, бестактность! Думаю, что бедное Хреновое с самого своего основания не было так беспощадно и незаслуженно оскорблено. Это выступление князя произвело на всех самое тяжелое впечатление, даже Грушецкий, который все время лебезил и заискивал, пробираясь в члены совета коннозаводства, и тот растерялся. На другой день был получен ответ из Хорошков, и промеры оказались лучше, чем у хреновских лошадей. Очевидно, фельдшер, управлявший заводом князя, постарался, производя измерения, и просто лгал своему хозяину. К счастью, в дальнейшем во время выводки князь больше не делал выступлений, и кое-как, с грехом пополам эта ревизия закончилась. Я мог бы привести немало других подробностей пребывания князя Щербатова в Хреновском заводе, но как-то неприятно писать о том, что не по сердцу и что в невыгодном свете рисует то или иное лицо, а потому я на этом поставлю точку.





## ПЕНЗЕНСКАЯ ЗАВИВАЛОВКА

Либо летом 1912 года, либо же на год раньше, точно сейчас не помню, я предпринял на автомобиле путешествие из Москвы до имения Ф. И. Лодыженского – села Завиваловка Чембарского уезда Пензенской области. Прежде чем говорить об этом интересном путешествии, надлежит остановиться на моих отношениях с этой почтенной семьей.

Лодыженские жили в Москве, на Знаменке, в доме профессора Знаменского, что против Александровского военного училища, и занимали весь низ этого дома, выстроенного по типу особняка. Семья состояла из четырех человек: самого Федора Ильича, его супруги Александры Леонидовны и двух сыновей – Ильи и Петра. Кроме того, с ними жили две незамужние сестры г-жи Лодыженской – Елизавета Леонидовна и Лидия Леонидовна. Семья Лодыженских лето проводила в своем пензенском имении, а зиму – в Москве, где мальчики учились в гимназии Медведниковых. Сам Федор Ильич жил почти круглый год в деревне, вел большое хозяйство и лишь наезжал в Москву, чтобы проведать семью. Федор Ильич Лодыженский принадлежал к одному из наиболее старых, именитых и почтенных дворянских родов Тверской губернии. Та линия фамилии Лодыженских, к которой принадлежал Федор Ильич, всегда интересовалась лошадьми, однако не рысистыми, а кровными и полукровными верховыми. У отца и деда Федора Ильича были заводы кровных и верховых лошадей. Имя Лодыженских в анналах скакового спорта прошлого столетия очень популярно. Мать Федора Ильича Лодыженского была урожденная Воейкова, единственная дочь знаменитого коннозаводчика Воейкова. Выйдя замуж, она принесла Лодыженскому в приданое знаменитую пензенскую Завиваловку и очень большое состояние. Таким образом, и со стороны своей матери Варвары Дмитриевны Федор Ильич происходил из коннозаводской семьи, и притом такой, которая более полувека гремела на всю Россию. Кто из охотников не слышал или не знал имени братьев Воейковых? Было время, когда эта фамилия была у всех охотников на устах, и не удивительно, что Лев Толстой, этот тонкий наблюдатель жизни, в своем бессмертном «Холстомере», приводя эпизод езды на приз пегого мерина, замечает, что именно Воейков, а никто другой, докопался до верной породы Холстомера.

Не удивительно, что и сам Ф. И. Лодыженский стал коннозаводчиком, всю свою жизнь вел завод и был страстным любителем лошадей. Он рос в Москве, был избалованным ребенком, но учился хорошо и по окончании курса в Императорском Александровском лицее вышел в кавалерийский полк. Здесь дослужился до чина штабс-ротмистра и затем, выйдя в отставку, женился и всю свою последующую жизнь посвятил семье, имению, заводу и сельскому хозяйству.



Он наследовал от отца тверские имения, а от матери – воейковскую Завиваловку, где было свыше десяти тысяч десятин земли.

Жена Федора Ильича – Александра Леонидовна, урожденная Ховрина, была дочерью известного пензенского помещика, полковника кавалерийского полка и заводчика рысистых лошадей. Александра Леонидовна слыла в молодости одной из первых красавиц в московском свете. У Александры Леонидовны был удивительный характер: милая, веселая, добрая, снисходительная и умная – во всех отношениях очаровательная женщина. В замужестве Александра Леонидовна оказалась очень счастлива. Старший сын Ильюша был поразительно красив. Гуляя с ним, мне нередко приходилось наблюдать, как публика оборачивалась и смотрела на него: одни с восхищением, другие – с недоумением и как бы спрашивая себя, откуда такой красавец. Более красивого юноши я нигде и никогда не встречал. У Ильюши был поразительный цвет лица, классические и вместе с тем нежные черты, удивительные глаза, золотистые волосы и тонкие, породные руки. Его рост, фигура и стан были полны изящества. Он держал себя как-то особенно просто, очаровывая решительно всех и каждого. Одевался он с удивительным вкусом. Именно к нему можно было применить пушкинский стих: «Как дэнди лондонский одет», да он и был подлинный дэнди. Начиная с того времени, когда он был в восьмом классе гимназии, в течение восьми лет, вплоть до его отъезда в армию белых, я находился с ним, да и со всей семьей Лодыженских в самых дружеских и сердечных отношениях. Младший сын Петя, года на четыре моложе брата, тоже был очень красив, но совсем в другом роде. Петя – типичный Лодыженский – очень походил на своего деда, И. Ф. Лодыженского, и, что удивительно, у него, совсем еще мальчика, был спереди клок седых волос. Судя по тропининскому портрету, точно такой же клок седых волос был и у его деда. В то время как у Ильюши был удивительно нежный румянец, Петя имел несколько матовый, какой-то беспокойный цвет лица. Если Ильюша был блондин, то Петя – брюнет. По окончании гимназии Ильюша, по традиции, как и его отец, поступил в Александровский лицей, а затем, во время войны, перешел в Пажеский корпус и был выпущен корнетом в Кавалергардский полк. Года на три позднее Петя также вышел в этот полк и во время революции трагически погиб.

Сестры Александры Леонидовны, Елизавета Леонидовна и Лидия Леонидовна, зиму жили у Лодыженских, а лето – в своей Саловке, родовом ховринском имении, верстах в двадцати от Пензы. Лидия Леонидовна – полная, некрасивая барыня, вследствие каких-то пережитых в молодости душевных потрясений была не совсем нормальна и подчас несла невообразимый вздор. Однако к ней все относились с уважением и снисхождением. Елизавета Леонидовна была невысокого роста, имела нос с горбинкой и нечто если не хищное, то птичье в лице. Она была, что называется, себе на уме, усердно подкапливала денежки, слыла превосходной хозяйкой и любила до страсти лошадей. Вследствие этого я оказался у нее в большом фаворе, и она советовалась со мною во всех своих коннозаводских делах (у нее был завод ремонтных лошадей), над чем немало потешались и Федор Ильич, и его сыновья, говоря: «Тетя Лиза нам не доверяет!» Эту милую, симпатичную женщину все любили и ценили.

Лодыженские жили в Москве только зиму и уже в начале мая уезжали в Завиваловку. В Москве они держались очень скромно: мало принимали, еще меньше выезжали. И Александра Леонидовна, и обе тетки всецело были заняты воспитанием мальчиков. Эти последние, таким образом, жили в женском обществе и были, конечно, очень избалованы. Лодыженские довольствовались очень узким кругом, и у них бывали только свои – кружок той старой Москвы, который был далек от двора и шума московского света: Вельяминовы, светлейшие

князя Прозоровские-Голицыны, графиня Салтыкова-Головкина, Квашнины-Самарины – вот ядро этого стародворянского кружка. Все эти представители когда-то столь славных русских родов были очень богаты, жили для себя, очень замкнуто. В их среде, полной традиций, честь, благородство и верность долгу находились на первом плане.

Я бывал у Лодыженских обыкновенно по вечерам; собирались в большой гостиной за круглым столом, где дамы вязали или беседовали, а я с Ильюшей либо принимал участие в общей беседе, либо мы уезжали в театр, а иногда к цыганам. Когда приезжал из Завиваловки Федор Ильич, то вся семья по вечерам бывала обязательно в сборе и говорили преимущественно о лошадях. Федор Ильич, Лидия Леонидовна, Ильюша и я, как завзятые лошадики, а также молодой Вельяминов, племянник князя Л. Д. Вяземского, могли бы без конца беседовать на эту тему, если бы хозяйка дома не призывала нас к порядку и не переводила разговор на другое.

Однажды вечером, это было ранней весной, у кого-то из нас родилась мысль ехать в Завиваловку на автомобиле. Дамы, конечно, испугались такого путешествия, и тогда мы с Ильюшей решили его предпринять вдвоем. Отъезд был назначен на третий день после окончания Ильей гимназии, в конце мая. Много удовольствия доставили нам поездки в магазины и гаражи с целью покупки автомобиля. Мы приобрели очень сильную и легкую открытую машину. Шофера мне рекомендовал молодой Коноплин, который уже давно имел машину и страстно увлекался автомобильным спортом. Глазунов был хороший механик и ездил очень лихо. Лучшего шофера для такой поездки было бы трудно и подыскать. К сожалению, как и большинство шоферов того времени, он был порядочный хулиган, хотя за все время своей службы у меня держал себя вполне корректно. Сборы в путь, покупка карты и прочее были наконец закончены. Дня за три до нашего выезда дамы уехали в Завиваловку и Саловку вместе с Петей, и я переехал в их квартиру, где Ильюша остался один. Автомобиль мой занял место в гараже рядом с машиной профессора Знаменского и был вполне готов к пути.

Наконец наступил день отъезда. Мы тронулись из Москвы в восемь часов утра, направились к заставе и выехали на Старорязанскую дорогу. Здесь Глазунов развил скорость, и мы понеслись от Москвы по ровному и гладкому Рязанскому шоссе, направляясь на юго-восток России. День был превосходный. В прозрачной и светлой синеве кучились кудрявые завитки легких белых облаков. Вороны, галки и целые стаи воробьев и других мелких птиц, испуганные шумом автомобиля, перелетали с одной стороны шоссе на другую. Картины одна лучше другой открывались перед нами. Луга еще не видели косы и пышно зеленели. Цветы пестрели то здесь, то там разноцветными коврами и радовали глаз, сливаясь иногда от быстрой езды в сплошные красные или синие пятна. В ложбине и дальше, на буграх и косогорах, зеленели поля молодой ржи. Дубовые, осиновые и березовые рощи стояли еще в своих ярких и вместе с тем таких нежных светло-зеленых уборах. С пригорка верст на пять и более была видна лента шоссе с уходящими вдаль холмами и перелесками. И вдруг как-то неожиданно над нашей головой, над показавшимся селом, над полянами возник и торжественно загудел благовест к воскресной обедне и далеко-далеко разнесся по окрестности. Голова кружилась от благополучия и красоты, и на душе было весело и легко.

В полдень мы решили сделать первый привал. Проехали плотину, поднялись несколько сажений вверх по пригорку и остановились. Местность вокруг была удивительно живописна. Мы находились уже в пределах Рязанской губернии. Глазунов отвел машину к обочине шоссе и, по обычаю всех шоферов, начал

сейчас же возиться с карбюратором. Пройдя несколько шагов вверх и далее в сторону, мы улеглись на лужайке в густой и сочной траве у самой опушки молодой березовой рощи. Глазунов принес нам коврик и закуски, но кругом было так хорошо, что мы долго не могли приняться за завтрак и все любовались окружающей картиной. Внизу, позади нас, остался пруд с прозрачной, словно ключевой водой, с пологими травянистыми берегами. Солнечные лучи играли и отражались в воде, и временами трудно было смотреть на этот блеск. Березовая роща стояла как зачарованная. Кругом было тихо. Изредка в безветренной тишине то здесь, то там на шоссе собирались и кружились небольшие вихри. В кустах неожиданно звякнул соловей и долго пел. Ильяша выронил из рук колокольчик сон-травы и весь обратился в слух. Пение соловья охватывало нас нежной музыкальной волной. Потом налетел ветерок, зашумел по листве, и, как бы вторя ему, отозвалась иволга.

Картина этого привала и испытанные тогда переживания на всю жизнь запали в мою душу, запечатлелись в сердце и вошли навсегда в мою память.

Было около пяти часов вечера, когда мы решились тронуться в дальнейший путь. Повеселевший Глазунов с места принял на большую скорость, и, несмотря на мои протесты, автомобиль, как будто соскучившись без движения, ринулся, подскочил и помчался, пожирая пространство. Мы решили заночевать в Горках у Н. М. Коноплина, не доезжая до Рязани, благо, его имение было расположено на самом шоссе, да и Лодыженский хотел осмотреть знаменитый коноплинский завод метисов. Стало уже вечереть, и солнце спустилось за дальние синие холмы. Поля покрылись мглой, и от соседнего лесистого оврага потянуло прохладой, когда мы подъехали к коноплинской усадьбе.

Наш неожиданный приезд взбудоражил всех в усадьбе, а особенно молодого Коноплина, который, как ярый автомобилист, пришел в восторг от нашего путешествия и тут же заявил, что будет нас провожать на своей машине до Рязска. Вечер мы провели в простой, но уютной гостиной деревенского дома Коноплиных, причем Николай Михайлович был в ударе и, видя, как Лодыженский жадно ловит каждое его слово, рассказывал много и с увлечением, под конец пообещав рано утром до нашего отъезда показать Лодыженскому свой знаменитый завод. «Яков Иванович, конечно, проспит, да и он не большой поклонник моих лошадей, а потому я буду показывать только вам». Ильяша был польщен, я стал протестовать, впрочем, не особенно сильно, и мы разошлись по своим спальням. Молодой Коноплин нас проводил наверх и, усевшись на подоконнике, начал без умолку болтать. Я с трудом его выпроводил и открыл окно. Свежело. Откуда-то, вероятно с ближайшей реки, подымался туман и веяло сыростью. Месяц был в тучах. Снизу доносились последние запоздалые шаги и стуки, и наконец все замерло в доме и погрузилось в сон. Заснули и мы после этого счастливого, полного таких ярких и красивых впечатлений дня.

Когда я довольно рано проснулся на другое утро, Лодыженского уже не было: он, вероятно, вместе с Коноплиным смотрел завод. Окно в комнате было открыто, и я, вскочив с кровати, потягиваясь и зевая, подошел к окну. Было чудное, теплое, душистое утро. Уже цветы распускали свои чашечки, и пряный аромат наполнял всю комнату. Голова кружилась от благоухания. Быстро одевшись, я спустился вниз, но и здесь никого не застал. Лакей Василий накрывал на стол и сказал мне, что барыня еще спит, а Николай Михайлович с господином Лодыженским на выводке. Я не раз бывал в Горках, а потому знакомой дорожкой прошел на конный двор. Там выводка уже заканчивалась и слышались разгоряченные споры между Коноплиным и управляющим заводом Бибиковым. Оказалось, что спорили не о лошадях, а о каком-то борзодоме, причем Бибиков доказывал, что его не возьмет ни одна из знаменитых ко-

ноплинских собак. Я просил Коноплина показать мне великую Потерю – мать Пылуги и Слабости, ибо быть в Горках и не видеть Потери – все равно что быть в Риме и не видеть папы! Полюбовавшись Потерей, мы вернулись в дом и после позднего кофе, простившись с гостеприимными хозяевами, тронулись в дальний путь.

Молодой Коноплин осуществил свое намерение, и его машина стояла впереди нашей. Николай Михайлович отвел меня в сторону и просил вернуть сына после Рязани домой, так как Коля ездит так отчаянно, что он всегда боится за его жизнь и дрожит при одной мысли о возможной катастрофе. Пригласив в свою машину Лодыженского, Коноплин поехал впереди, а моя машина под управлением Глазунова шла второй. Коля развил на шоссе безумную скорость, Глазунов лихо поспевал за ним. Это была не езда, а какая-то бешеная скачка. Шли со скоростью сто верст в час. Разумеется, при такой езде нечего было и думать смотреть по сторонам и любоваться новыми местами, а можно было лишь мечтать добраться целым и невредимым до Рязани. Меня как мячик бросало из стороны в сторону, и я серьезно стал опасаться какой-нибудь катастрофы, но, к счастью, Коноплин, влетев, как полоумный, в Рязань, остановился у аптеки, чтобы долить бак бензином. Здесь-то я и простился с ним, несмотря на его отчаянное сопротивление и желание нас вести обязательно до Рязань. Я ему доказал, что мы не делаем пробега на скорость, а путешествуем для своего удовольствия, а потому нам решительно все равно, доедем ли мы до Завиваловки в пять дней или же в неделю. Кое-как удалось уговорить молодого Коноплина вернуться в Горки, а мы тронулись далее, держа путь на Рязань.

До Рязань ехали еще по шоссе, хотя местами шел уже Екатеринбургский большак, то есть немощеная дорога, кое-где обсаженная ветлами и разбитая еще во времена Екатерины. По мере удаления от Рязань местность становилась менее живописной и явно меняла свой характер. Нам пришлось проехать мимо имения, которое по своей очаровательной красоте и живописности навсегда осталось у меня в памяти. Я потом сожалел, что не остановился там и не просил разрешения его осмотреть. Так до сих пор и не знаю, кому оно принадлежало и как называлось. Я много перевидал на своем веку самых разнообразных имений – и крупных, и маленьких, но такого поэтического уголка не видел никогда. Дом, белый, с колоннами, александровского времени, был не только удивительно выдержан в стиле и пропорциях, но симпатичен и как-то особенно уютен, что редко бывает с русскими, даже деревенскими домами. Расположен он был на зеленой лужайке, спускавшейся к пруду, где в зеркальных водах плавали лебеди и отражался силуэт самого дома. Этот пруд тянулся во всю длину парка. Старые клены, кедры, пихты, липовые аллеи – все как на ладони было видно с дороги, когда мы проезжали мимо этой усадьбы. Интересно, что и все постройки были в том же стиле ампир. Это редкий случай ансамбля целой усадьбы, очевидно, созданной богатой и умелой рукой и по проекту талантливого архитектора-художника. Та же рука чувствовалась и в разбивке аллей парка, которые шли то прямо, то под углом, то образуя центр и сходясь к нему в виде солнечных лучей. Все было красиво и просто. Впрочем, подлинная красота всегда полна простоты. Цела ли эта усадьба теперь? Едва ли! И ее, это истинное произведение искусства, вероятно, также не пощадила неумолимая и жестокая рука революции, все снесла и сравняла с землей.

Так как мы выехали от Коноплина поздно, то заночевали, не доехав до Рязань, в деревне. Остановились, когда стемнело, у первого же двора. На другой день приехали в Моршанск еще совсем рано, осмотрели город и проселочными дорогами направились на Пензу. В этот день мы ночевали недалеко от станции Вернедовки, в имении моршанского городского головы,

известного коннозаводчика Алексея Ивановича Рымарева. От Моршанска дорога уже шла степью. Села в этой части Тамбовской губернии были редки, но зато велики, а иные тянулись на несколько верст, и казалось, им нет конца и краю. Погода нам во время пути благоприятствовала, и со дня нашего отъезда из Москвы и до самой Завиваловки не было ни одного дождя. Словом, все шло прекрасно. Дороги, даже проселочные, были широки и хорошо содержались, а мосты прочны, и по ним без страха провалиться свободно проходил наш автомобиль. Картины менялись одна за другой: вот большое старинное село; вот одинокий, полузабытый купеческий хутор; вот показалась и скрылась в туманной дали белая церковка, а за ней – густой, тенистый сад заброшенной барской усадьбы.

Мы уже давно выехали из Моршанска, и пора было показаться Вернадовке, от которой верстах в пятнадцати в сторону было имение Рымарева. С ним я был знаком и к нему решил заехать переночевать, дабы посмотреть его завод и со всеми удобствами провести ночь. Глазунов, видимо, сбился с пути и кружил. Это нас нисколько не беспокоило, так как мы были уверены, что он скоро выберется на верную дорогу. Действительно, часа через полтора показалась Вернадовка. Так как было уже поздно, я взял на станции в автомобиль мальчика-проводника, и мы мигом домчались до рымаревского имения. Подъехав к границе имения, указанной проводником, мы были удивлены прекрасным состоянием широкой, прямой, как стрела, ровной дороги, которая вела в усадьбу. Глазунов пришел в восторг и, обернувшись, сказал нам: «Вот идеальная автомобильная дорога», – и увеличил скорость.

«Однако, какое благоустройство, – сказал я Ильюше. – В нынешнем имении купца Рымарева идеальная автомобильная дорожка, которая боронится и прекрасно содержится – можно подумать, что мы не в глуши Тамбовской губернии, а в Англии. Каков прогресс!» Поля по сторонам дороги, насколько позволял разглядеть вечер, были аккуратно обработаны, а вскоре началось поле льна, десятин этак на 500–600. Тот, кто вел хозяйство, хорошо знает, что такое поле льна можно засеять только в мощном и образцовом хозяйстве и что оно одно составляет целое состояние. По-видимому, у Рымарева было замечательное хозяйство.

Вечер догорел. В красивом отблеске зари, на голубовато-зеленом фоне льна, вддали показались две черные движущиеся точки. Ближе и ближе, быстрее и быстрее приближались они к нам, и наконец Глазунов воскликнул: «Автомобили идут навстречу!» «Что за комиссия, создатель! – воскликнул Ильюша. – Подлинно, Англия. Уж не встречают ли нас?» «Конечно, нет, – спокойно ответил я. – Ибо кто же знает, что мы решили заехать к Рымареву?» Но предположение Ильюши оказалось верным. На станции, куда мы заезжали, узнав, что мы взяли проводника к Рымареву, и спросив наши фамилии у шофера Глазунова, сейчас же по телефону дали знать об этом Алексею Ивановичу, и там нас не только ждали, но и устроили торжественную встречу. Оба сына Рымарева выехали нас встретить на своих машинах, и после взаимных представлений и любезностей мы сели в их автомобили и через четверть часа были уже в усадьбе, где нас предупредительно встретил на пороге дома сам хозяин, моршанский первой гильдии купец, кавалер и городской голова, а также известный коннозаводчик Рымарев.

Рымарев был весьма типичной фигурой: он торговал только во втором поколении. Его отец был еще совсем мелким торговцем города Моршанска, а дед и вовсе был, как говорили, из мещан. Алексей Иванович, несмотря на свое богатство, остался типичным провинциальным купцом, и именно купцом-ссыпщиком хлеба и сельским хозяином. Это не был купец-меценат, купец-аристократ

или, наконец, купец-воротила, но купец-провинциал, который еще уважал и ценил барина, гордился знакомством с губернатором и по праздникам, выезжая в собор, надевал свои медали. Таков был Рымарев, высокий, худой и совсем уже седой старик. Держал он себя прямо, как будто проглотил аршин, говорил медленно, но цену своим словам знал и частенько к окончанию слов добавлял букву «с», которая вылетала с каким-то особенным свистом из его беззубого рта. Одевался он хорошо и носил накрахмаленную сорочку с низким отложным воротником, какую обычно носило купечество и мелкопоместное дворянство в Саратовской, Пензенской и Тамбовской губерниях. Оба его сына были высокого роста, плотные, широкой кости и мускулистые молодые люди. Оба они окончили гимназию, а может быть, и университет. Но насколько это следующее поколение было менее колоритно и с бытовой точки зрения менее интересно, чем старик Рымарев! Да думаю, что и по уму, и по торговой сметке им было далеко до отца. Дочери Алексея Ивановича, а может быть, это были даже не его дочери, а женский персонал семьи, были на редкость безличны и неинтересны. Несколько барышень невысокого роста, с неопределенным цветом волос, как бы напомаженных или смоченных лампадным маслом, скромные, тихие и застенчивые, производили довольно жалкое впечатление. Здесь невольно напрашивается рассуждение о сыновьях и дочерях в купеческих семьях. Мне немало приходилось иметь дела с этим кругом людей, главным образом по лошадиной охоте, и я давно заметил, что в таких купеческих семьях сыновья всегда или почти всегда – здоровый и рослый народ, подчас живой и даже интересный, а дочери, наоборот, мелки, скудны умом и развитием и как-то особенно безлики и некрасивы.

Вечер незаметно пролетел в беседе, и, когда подали ужин, мы все перешли на балкон. Там было очень хорошо: из сада веяло запахом цветущих роз, мяты и резеды, и Рымарев объяснил нам, что он – большой любитель садоводства и имеет хорошие оранжереи. Лодыженский во время ужина ухаживал за барышнями, и надо было видеть, как эти бедняжки на него смотрели. Со стороны Ильюши это было корректно и мило: так как эти барышни не привыкли к такому вниманию, оно было приятно им и ставило, так сказать, их на одну ногу со всеми остальными участниками ужина. Обычно в таких купеческих семьях на мужской половине стола были одни разговоры, а на женской – другие или совсем никаких. Было уже очень поздно, чуть ли не второй час ночи, когда мы разошлись по своим комнатам, а утром предстояло смотреть рымаревских лошадей.

Моя комната была смежной с комнатой хозяина, и я долго не мог заснуть, так как через перегородку слышал негромкие голоса. Очевидно, старик Рымарев отдавал еще распоряжения. Смотреть завод решили ранним утром, до чая. Заводские жеребцы, матки и молодежь были угнаны на хутор в Саратовское имение, здесь оставались только трех- да четырехлетние жеребцы – всего лошадей тридцать-тридцать пять, не более. Мы их быстро пересмотрели: это были типичные рымаревские лошади – вороные или темно-гнедые, рослые, фризистые, густые, с хорошим верхом и недурными выходами шеи, но с несколько грубоватыми головами и сырые. Словом, ровный и хороший продажный товар. Решительно во всем чувствовался глаз очень расчетливого хозяина: нигде никакой роскоши, все в конюшне было просто, даже бедно. Что называется, на закуску вывели рыжую тройку четырехлетних кобыл, о которых Рымарев с гордостью сказал: «Вот, Яков Иванович, его превосходительство Янков отобрал на выставку в Лондон и велел готовить и съезжать в тройку. Мы уже начали. Теперь только жду подтверждения от вице-президента из Москвы». Я посмотрел на кобыл и пришел в ужас: этаких сырёх, этаких дурёх да отправлять в Лондон – просто один срам, и я тут же решил

по приезде в Завиваловку написать вице-президенту, чтобы он отказался от этой покупки. Рымареву я ничего не сказал, и мы пошли в дом пить кофе.

Здесь можно заметить, что из Лондона Московскому беговому обществу за год вперед, со свойственной англичанам методичностью все предвидеть и хорошо, не спеша обдумать, было прислано приглашение принять участие не то во всемирном *concours-hippique*, не то в выставке лошадей в Лондоне. Общество решило послать две тройки, думая этим удивить англичан. Я тогда же возражал против этого проекта, говоря, что пора перестать нам показывать Европе тульские самовары, сусальные изделия да тройки, ибо мы не индейцы, не негры, чтобы продемонстрировать свою экзотику, как-никак мы – европейцы. Надо послать дельных, на хороших ходах, вполне европейского лекала рысистых лошадей и там их показать в современных шорных запряжках. По моему мнению, это было для дела полезно, ибо могло открыть орловскому рысаку, хотя бы отчасти, утерянный западный рынок. Однако собрание в один голос закрывало и зашумело: «Тройки, послать тройки!» – и начали подыскивать лошадей.

Коляски заказали у Маркова, сбрую у Санова и Лакова – это было легче всего. С кучерами было уже труднее: двух пузатых кучеров, как ни старались, никак найти не могли. Один все же нашелся – это был расторгувевский кучер; другого отыскивали с грехом пополам, хотя и не такого толстого, как мечтали. Оба кучера недурно ездили парой, но как они поедут на тройке – был вопрос темный. Съезженных в тройки, нарядных и правильных рысистых лошадей ни у кого не оказалось, и тогда общество, прослышав, что есть замечательная тройка рыжих кобыл у Рымарева, спешно командировало к нему Янькова. Яньков одобрил кобыл, но благодаря моему вмешательству общество от них потом благо-разумно отказалось. В конце концов собрать тройки было поручено полковнику Крамареву, и он действительно собрал, с нашей, русской точки зрения, две замечательные тройки – белую и вороную. У белой тройки в корню ехал, правда, случайный, но все же победитель Императорского приза Ратник-Турецкий и стрелецкие пристяжки, то есть русские арабы, как обычно называли ремонтеры и кавалеристы лошадей Стрелецкого завода. Вороная тройка тоже имела рысака в корню и полукровных пристяжек. Когда обе эти тройки были съезжены и подготовлены к отправке в Лондон, их показали на московском бегу. Вос-торгам зрителей не было конца. Крамарева благодарили, поздравляли и прочее.

Как же встретил Лондон наши две знаменитые тройки? Прежде всего, их показали в ряде экзотических номеров, сейчас же после индейцев-ковбоев. Таким образом, худшие мои предположения сбылись. Затем, хотя и дали первую премию, но особую, специально для них созданную, что было также обидно и сделано, конечно, из любезности, чтобы не обидеть русских. Публика приняла тройки весьма весело и от души смеялась над пузатыми кучерами, то есть отнеслась к тройкам как к увеселительному номеру, а отнюдь не как к конно-заводскому делу. Но что забавнее всего, в Лондоне оказалась еще тройка, и она не только была выставлена, но и получила первую премию в том классе, где, строго говоря, должны были бы быть и наши лошади. Эта тройка принадлежала мистеру Уайненсу, сыну известного инженера, строителя Николаевской железной дороги. Тройка Уайненса была запряжена в шарабан, лошади были американские рысаки, запряжка русская, а кучер – в цилиндре и ливрее! С русской точки зрения – сплошное безобразие, но так как лошади были очень хороши и кучер великолепно ими управлял, то англичане и присудили этой тройке первый приз. Можно предстать, какой провал получился бы, если бы в Лондон была отправлена тройка рыжих кобыл Рымарева.

Однако вернусь к той чашке душистого кофе, которую мне предстояло выпить, прежде чем тронуться в дальнейший путь. Совершенно естественно, что

за столом Рымарев интересовался моими впечатлениями о лошадях, и я совершенно искренне поделился ими со стариком. Рымаревские лошади мне всегда нравились, а при том обороте, который принимало тогда рысистое коннозаводство страны под влиянием главным образом требования на резвую лошадь, быстро шло измельчание лошадей в заводах, утеря ими форм и веса. И рымаревские лошади, свободные от этих крайностей, приобретали особое значение и интерес. Рымарев был очень доволен такой оценкой и крайне сожалел, что я не видел заводских производителей и маток. Дамы стали усиленно меня расспрашивать про тройку рыжих кобыл, и разговор сам собой перешел на Янькова. Все были им очарованы. Генерал Яньков (собственно говоря, не генерал, а действительный статский советник) покорила все сердца и оставил в этом уголке Тамбовской губернии неизгладимое впечатление своим величием и барством. Только и слышалось: «его превосходительство сказал», «генерал Яньков решил». «Душка-генерал, – вздыхали барышни. – Какой аристократ, как любезен, какая манера себя держать, какая осанка! Да, это настоящий старый барин».

Цня и любя Янькова, этого милого и сердечного, но вместе с тем довольно легкомысленного человека, в свое время сумевшего очень быстро промотать недурное состояние отца, я знал и его слабые стороны: любовь порисоваться, пофиглярничать, пококотничать и разыграть из себя старого барина, обиженного судьбой. Мое воображение рисовало картину пребывания «генерала» в этом славном, простом купеческом семействе. Наверное, Яньков разглаживал свои великолепные бакенбарды, поправлял Владимирский крест на груди, пересыпал свою речь французскими изречениями, грассировал и ставил ударения на отдельных словах, был любезен и сладок. А когда заходила речь о сильных мира сего, то он, неизбежно и скромно опустив глаза, говорил: «наши рязанские» или «наши тамбовские». Как же было ему, со всем арсеналом его искусства, не очаровать скромных провинциальных барышень, которые подобных героев никогда не встречали, лишь читали о них в старых романах да, быть может, видели на сцене. Счастливым было время, когда приезд подобного «генерала» составлял событие и долго потом вспоминался и комментировался на все лады. Как ни забавны и ни наивны были все эти разговоры, пришло время ехать, и мы с Лодыженским, напутствуемые самыми лучшими и сердечными пожеланиями хозяев, тронулись в путь.

От Вернадовки дорога на Пензу вскоре пошла проселками и была довольно скверной и скучной. Ехать стало трудно: мешала колея, видимо, недавно здесь прошли дожди, а мосты держались только на честном слове. Раза два мы едва не провалились, потому, встретив еще один такой мост, решили его объехать и засели в трясине. Пока Глазунов прошел в соседнюю деревню, привел лошадей и людей, прошло часа два, и мы были несказанно рады, когда нас наконец освободили из этого неожиданного плена. К счастью, машина не поломалась, и мы благополучно продолжили свой путь. В этой части России в то время крестьянство жило крайне бедно, а потому встречавшиеся нам по пути деревушки были очень убоги, а жители имели довольно печальный и какой-то запуганный вид. Попадавшиеся иногда купеческие хутора и помещичьи усадьбы тоже казались бедны или скромны. Лишь ближе к Пензе, куда мы благополучно добрались к вечеру, стали виднеться большие имения пензенских богачей. Местность под Пензой очень красива. Город расположен отчасти на горе и виден издали. Река здесь делает красивые изгибы, и большие поемные луга тянутся по низменной ее стороне. На этой зеленой равнине серебристо-голубыми холстами тянулись еще полные весенних вод ручьи и озера. Автомобиль наш быстро приближался к городской черте, мы въехали в Пензу. Переночевав в луч-



шей, но очень неудобной гостинице, мы на другое утро заехали к лучшему фотографу города, и он нас тут же, у себя во дворе, сфотографировал так, как мы были, то есть в дорожных костюмах. Эта фотография, как приятное воспоминание, до сих пор хранится у меня.

Верстах в двадцати пяти от Пензы находилась Саловка, имение теток Лодыженского. Прошло менее часа, а мы уже подъезжали к Саловке. Автомобильная сирена усиленно гудела, желая предупредить всех чад и домочадцев усадьбы о нашем приближении. Нас, видимо, ждали, верно рассчитав день прибытия, так как вся дворня во главе с обеими тетками высыпала на крыльцо или находилась тут же, у барского дома. Толпа ребятишек моментально окружила автомобиль. Илья переходил из объятий одной тетки в объятия другой. Я тоже очутился в чьих-то объятиях. Тетя Лида, взволнованная и красная, несла невообразимый вздор. Старик лакей, почтительно улыбаясь, бережно вынимал чемоданы и саки из автомобиля и передавал их горничным и мальчику-подростку в ливрейной курточке. Сгорбленная, высохшая, но все еще властная старуха, прежняя экономка и домоправительница, теперь, очевидно, на покое, стояла тут же и, казалось, томилась своим бездействием. На Ильюшу, которого впервые видели здесь в штатском костюме, а не в гимназической форме, старшие смотрели с умилением, а младшие – с завистью.

Наконец кое-как все успокоились, все было выгружено из автомобиля и мы прошли внутрь дома. Тут я имел только возможность осмотреться. Это было старое родовое гнездо Ховриных. Настоящее дворянское гнездо. Фамильные портреты кисти хороших художников висели по стенам в тяжелых массивных рамах; мебель красного дерева: диваны, шифоньеры, секретеры, этажерки, полочки, резные бюро – все это было красиво и, видимо, давно стояло на этих местах. Ковры, гардины, жардиньерки с цветами и горки с фарфором дополняли роскошь богатой и старинной обстановки ховринской семьи. Прямо из гостиной дверь вела на балкон, а налево и направо открывались анфилады больших и малых приемных комнат. Особенно хороши были боскетная и голубая угловая. Нам отвели помещение во втором этаже. Спальни с их широкими кроватями, громадными шкафами и комодами красного и березового дерева ясно напоминали о давно ушедшем времени и спокойном, несколько тяжелом уюте прежних дней. Лишь свежие обои да современные занавески и усовершенствованные, удобные умывальники и прочие принадлежности для туалета напоминали о том, что сейчас не сороковые года прошлого столетия, а XX век. Круглая гостиная с мягкими оттоманками, покрытыми дорогими восточными коврами, с ореховыми стойками, на которых важно покоились длинные бисерные чубуки, с редчайшими английскими гравюрами по стенам, изображавшими охоту в горах Шотландии, разделяла две спальни, которые мы занимали. Из этой гостиной балкон, так же как и в нижнем этаже, выходил прямо в парк. На этом балконе я провел много счастливых часов то с французским романом в руках, то беседуя с приятелем, то слушая пение птиц и наблюдая за жизнью. С утра до ночи в нижнем, а частью и в верхнем саду пели птицы. С вершины могучего столетнего дуба куковала кукушка. Звонкой свирелью отзывалась ей иволга. Скворцы, малиновки, черные и серые дрозды летали взад и вперед, и с высоты балкона было видно, как они вили гнезда в тишине деревьев. А когда сад одевался сумерками и из дома неслись звуки мелодии и затем медленно и тихо замирали, на смену им подымались и рождались какие-то таинственные ночные шорохи и шепоты.

Не спеша умывшись и переодевшись, мы только что хотели спуститься вниз, когда пришел лакей и просил нас к завтраку. Фамильное серебро, хрусталь екатерининского века, красивая английская посуда, цветы на столе в

дорогих вазах венецианского стекла, ослепительной белизны столовое белье с гербами ховринского рода и вообще вся сервировка вполне отвечали дому. Все было здесь так естественно и понятно, так просто и уместно, что, казалось, иначе и быть не может. В Саловке мы прогостили три дня, время пробежало быстро и незаметно. На второй день из Пензы приехали местные охотники, пожелавшие познакомиться с московской знаменитостью, то есть со мной. Так весьма лестно выразился обо мне вице-президент Пензенского бегового общества. Среди приехавших охотников был, между прочим, старик Вышеславцев, представитель когда-то весьма известной коннозаводской семьи. От Вышеславцева я узнал кое-что интересное о прежних пензенских коннозаводчиках, в частности о С. С. де Бове и Дубенских. Всем обществом мы отправились смотреть завод Е. Л. Ховриной. В свое время при ее отце этот завод находился в Саратовской губернии и производил исключительно рысаков. Затем он был переведен в Саловку и постепенно превратился при матери Елизаветы Леонидовны в завод упряжных лошадей. Елизавета Леонидовна по совету полковника Шишко взяла верховых производителей и переформировала завод в полукровный ремонтный. Это был довольно удачный шаг, так как лошади имели сбыт и ежегодно осенью сдавались в ремонт. Ко времени осмотра нами этого завода там производителем состоял вороной жеребец выводной из Германии ольденбургской породы. Он был куплен по совету председателя пензенской ремонтной комиссии генерала Димича и давал от ховринских маток недурных лошадей. Это была типичная ольденбургская лошадь, очень дельная и правильная. Матки в заводе имели много рысистой крови, но были и такие, которые происходили от разных жеребцов тяжеловозных пород. В общем, все кобылы оказались недурны, но достаточно разнотипны. Среди заводских маток я обратил внимание на замечательную по своей породности и типу кобылу, у которой, к сожалению, была несколько опущена спина. Эта кобыла оказалась Поземкой завода Ермолова и родной сестрой знаменитой Пальмиры (2.6). После смерти Ермолова, который тоже был пензенским коннозаводчиком, наследники за гроши распродали его завод, и Елизавета Леонидовна купила Поземку. Кобыла у нее в заводе пробыла два года кряду холоста, и потому она охотно ее продала мне. Я не ошибся, купив Поземку: она не только у меня в заводе жеребилась, но и дала такую замечательную по типу и формам лошадь, как Пахарь. Этот жеребенок к году уже был белой масти, но проявить свою резвость из-за начавшейся революции не мог. Позднее, уже во времена Советов, он появился на московском бегу и показал резвость 2.21.

Из Саловки мы направились в Завиваловку, имение Лодыженских – конечный этап нашего пути. От Саловки до Завиваловки всего лишь 60 верст, и мы, пользуясь хорошей дорогой, доехали туда в полтора часа. Завиваловка являла полную противоположность Саловке. В то время как последняя была старинным дворянским гнездом, где всегда жили владельцы, Завиваловка являлась лишь доходным имением Воейковых. При них там было около 20 тысяч десятин земли, велось большое зерновое хозяйство, скотоводство и конный завод. Владельцы там не жили никогда, а потому ни дома, ни усадьбы, ни садов, ни парка, ни вообще всего того, что составляло барскую сторону жизни в деревне, здесь не имелось. Все, что я увидел в Завиваловке, было делом рук ее владельца – Федора Ильича Лодыженского. Получив это громадное имение, Федор Ильич решил обосноваться в нем прочно и все устроить по своему желанию и сообразно со своим вкусом. Это совпало либо с концом царствования императора Александра II, либо с началом царствования Александра III. Таким образом, дом и все постройки относились именно к этой эпохе, то есть эпохе полного упадка искусства и понижения вкусов в господствующем сосло-

вии до небывало низкого уровня. Дом в Завиваловке, скорее квадратный, чем продолговатый, сложенный из кирпича, неоштукатуренный, с чугунным балконом и на таких же чугунных столбах и в два этажа, был крайне некрасивое здание. Он отчасти напоминал дома колонистов на юге России: был выстроен так же фундаментально и прочно. Все остальные постройки были либо глинобитные, либо кирпичные, возводились в разное время, по мере роста и развертывания хозяйства. Тут было и здание конного завода, и паровая мельница, и электрическая станция, и скотные дворы, и прочее, и прочее. Наконец, на средства владельца была устроена сельскохозяйственная школа, находившаяся в ведении Министерства земледелия. Опытные поля, службы для учеников, квартиры персонала – все это было сделано Федором Ильичом за свой собственный счет и стоило, конечно, немалых денег. Завод ремонтных и тяжеловозных лошадей, овцеводство, хороший скот и богатейший инвентарь дополняли картину образцового хозяйства. Федор Ильич всадил в Завиваловку громадные деньги, и можно сказать, что трудом целой жизни создал этот культурный и благополучный уголок в далеком и достаточно-таки диком тогда Чембарском уезде Пензенской губернии.





## МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ КАРТИН И ФОТОГРАФИЙ

Вернусь теперь назад и поговорим о 1911 годе, о тех наиболее ярких событиях, которые случились в это время. Мое увлечение искусством все возрастало, и к 1911 году я был уже одним из крупнейших коллекционеров и владельцем весьма значительной картинной галереи. Любя до страсти, до полного самозабвения лошадей, я стал собирать именно те картины, на которых имелось изображение этого благороднейшего из животных. Я изучил школу баталлистов, ибо в художественной академии именно в батальном классе преподавалась анатомия лошади и писали лошадей с натуры. До известной степени в России художник-баталист был синонимом художника-анималиста. Я задался целью создать собрание картин русской школы, где были бы представлены все те художники, которые писали лошадей. Таким образом, уже в 1911 году у меня была определенная идея – создание картинной галереи, посвященной лошади. Галерея переросла все мои первоначальные предположения, и сейчас, когда я пишу эти строки (1926 год), в собрании насчитывается несколько сотен картин маслом, свыше тысячи рисунков и несколько сотен акварелей.

Я не собираюсь здесь писать историю создания мною этой галереи – на собиране коллекции ушли лучшие и наиболее счастливые годы моей жизни, а лишь бегло скажу несколько слов о тех художниках, которые специально приглашались мною в Прилепы и писали портреты моих лошадей или же картины из коннозаводской жизни. Знакомство с этими художниками, то оживление, которое они приносили с собою, беседы с ними – все это было интересно, ново и так значительно для меня. Словом, я всецело окупился в этот мир и нисколько не жалею об этом.

Первое приглашение, которое было мною сделано, получил С. С. Ворошилов. Это вполне естественно, ибо, вращаясь в беговых кругах, я видел много портретов кисти этого художника, который был как бы присяжным портретистом Московского бегового общества и всех московских рысачников вообще. Впервые Ворошилов приехал в Прилепы весной 1910 года, а последние свои портреты он выполнил для меня в 1911 году. Ворошилов был очень талантливый человек, но горький пьяница. Он превосходно владел рисунком, но ему, к сожалению, не доставало школы, и в работах маслом он был слаб. Колорит, перспектива, самый подход к теме и, наконец, техника были слабыми местами Ворошилова. Вот почему его портреты не имеют никакой художественной ценности и являются лишь историческими, точнее, иконографическими документами эпохи. Обычно он писал портреты по фотографии, и это всегда чувствовалось и отталкивало истинных знатоков и ценителей искусства. Кроме того, он писал очень много, продавал за грош свои картины охотничьего жанра и

этим окончательно уронил свое имя. Не было в Москве буквально ни одного мебельного или картинного магазина, где бы не продавалось за гроши несколько ворошиловских работ. Отсутствие школы и водка окончательно его погубили и не дали созреть и правильно развернуться этому, несомненно, большому таланту. Лучшей работой Ворошилова я считаю карандашный портрет Бережливого, кстати сказать, единственное дошедшее до нас изображение этой знаменитой лошади. Воспроизведение этого рисунка помещено в издании «Спорт в юго-западном крае». Портрет Бережливого принадлежит к первым, самым ранним работам Ворошилова, и по нему можно судить, что обещал этот художник.

Лошадь Ворошилов очень любил и хорошо ее чувствовал. В Прилепах он написал 33 портрета моих лошадей и две или три картины коннозаводского жанра. Все эти портреты верно передают тип изображенных лошадей, хороши по рисунку, но лошади несколько приукрашены.

Расскажу здесь в немногих словах о приемах работы Ворошилова. Обычно он вставал рано и сейчас же шел на конюшню. Там ему выводили ту лошадь, которую он предполагал писать, и он смотрел на нее внимательно своим зорким глазом минут пять и ту же отмечал ее приметы на клочке бумажки. Затем он возвращался домой, пил чай у себя, запирался в своей комнате и писал портрет. В четыре часа дня портрет был готов, и Ворошилов торжественно приносил его ко мне в кабинет. При этом он неизменно просил плату за него. За каждый портрет он получал по 50 рублей, и я тут же писал распоряжение в контору выплатить ему эту сумму. Ворошилов незамедлительно получал деньги, и на другой день повторялось то же самое. В общем, все свои работы он выполнил в Прилепах в четыре приезда. Так как он много и часто имел дело с наездниками, жичками и случайными охотниками, а эти последние нередко не принимали у него под разными благовидными и неблагоприятными предлогами заказанный портрет, то он и усвоил себе привычку сейчас же требовать за исполненную работу деньги. Я снисходительно смотрел на это, но моего управляющего такая бесцеремонность крайне возмущала.

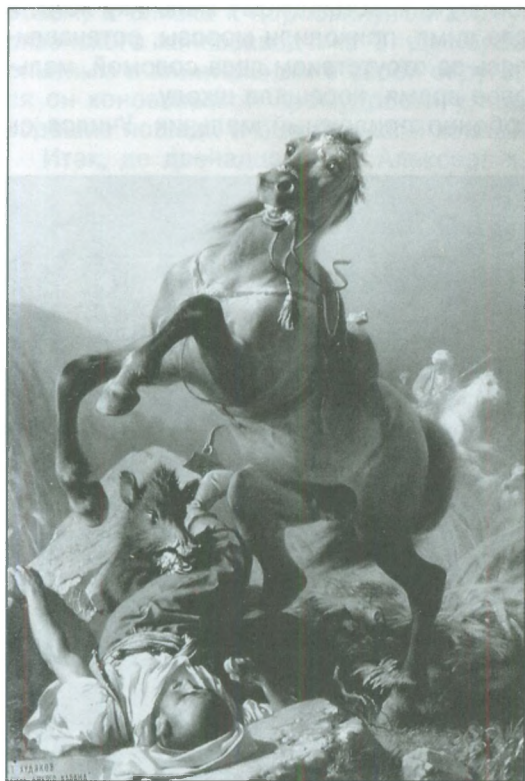
Фон для портретов Ворошилов брал с какой-нибудь открытки популярного художника, лишь слегка видоизменяя пейзаж – словом, тут искусство, что называется, и не ночевало... Работая над портретом лошади, он, помимо памяти, обязательно пользовался и фотографией, поэтому, выезжая ко мне на завод, неизменно брал с собою фотографа. В первый свой визит он привез молодого человека по фамилии Алексеев. Я не думал тогда, что Алексеев вскоре станет знаменитым фотографом лошадей, преданным другом Прилеп и очень близким мне человеком. Алексееву суждено было сыграть весьма значительную роль в беговом мире; кроме того, он стал для меня своим человеком, а после революции я еще больше сблизился с ним. Превосходные душевные качества этого скромного и очень талантливого человека, его безукоризненная честность не могли пройти незамеченными и были в свое время оценены многими. Я позволю себе в этих воспоминаниях, которые пишу для себя, так как при создавшейся обстановке весьма маловероятно, что они



*Николай Егорович  
Сверчков*



Н. Е. Сверчков  
*Голова серой орловской кобылы*



В. Т. Худяков  
*Нападение дикого кабана*

скоро или даже когда-либо увидят свет, более подробно остановиться на Алексееве, или Алексеиче, как я его называю.

Алексеев родился на два года позднее меня, в 1883 году, и мы с ним почти ровесники. Его родное село Внуково Михайловского уезда Рязанской губернии лежит в очень малопродуктивной и мало живописной местности. Это тот скромный уголок Рязанской губернии, где крестьянство, борясь с нуждой, едва сводило концы с концами. Лучшим украшением села была церковь да два примыкавших к селу и выгону барских сада – господ Давыдовых и Хрущовых. Местность кругом была скучная, природа однообразная и довольно суровая, и лишь небольшие пригорки, буераки да глубокие промоины с водой несколько оживляли этот скромный пейзаж. Лесов не было ни вблизи, ни кругом, ни вдали. Удивительно ли, что крестьянским ребятишкам барские сады с их каналами, прудами и задумчивой тенью деревьев казались сущим раем. А эти сады, как и сады Эдема, были заповедными, и туда деревенские мальчуганы попадали лишь в урожайные годы, когда сымали яблоки в давыдовском саду – на барина, а в хрущовском – на арендатора.

С особенным нетерпением ждали мальчуганы наступления вечера, и лучшее время проводилось в ночном. Была у родных Алексеева сивая кобыла по кличке Ульяна и ее дочь Пилигримка. Был и жеребец – рыжий, лысый, которого звали Кобчиком, но его не брали в ночное, он всегда оставался дома. Заберется, бывало, шустрый белобрысый мальчуган, маленький Алексеич, на кобылу Ульяну, крепко вцепится за пеньковый повод, возьмет Пилигримку – и гайда в ночное! Сучонка Бирза обязательно проводит его до выгона, а другая, Ласка, до самого Попова лога, версты четыре от деревни, где между пашен раскинул-

ся небольшой лужок с ключами. Расстелят мальчишки кто отцовскую свиту, кто епанчу, кто кафтан, зажгут костер, пекут картошку, которую тут же нароют на чьей-либо гряде, и пойдут рассказы и сказки о ночных страстях, о ведьмах и домовых. Страшно, бывало, станет, а еще вся ночь впереди – длинная, теплая ночь с ее таинственными шорохами, ночь восхитительная, полная неожиданностей и чудных звуков, которые носятся в воздухе полей и затем замирают где-то вдаль... Вот неожиданно раздастся резкий детский крик зайца, послышится перелет птицы или стон журавля, и делается жутко на душе. Но опять какие-то тонкие и тихие переливы раздадутся тут же вблизи, потянет медвяным запахом трав с соседней луговины или вдаль послышится теньканье колокольчика – и страх как-то сразу пройдет! А когда отбудут ночное, какими героями себя чувствуют мальчики, и прав Алексеич, говоря, что это время было лучшее из всех его сорока двух годов.

Полна, ярка и по-своему красива была жизнь крестьянских мальчиков, среди которых рос маленький Алексеев. Пахать ему не довелось, а боронить приходилось часто. В сенокосах он также принимал участие, и эти сенокосы были гордостью их дома: семейство рослое, ловкое, угнаться за ним другим было трудно. Да к тому же и лошади были в возке очень хороши. Недаром барин Давыдов давал за кобылу Ульяну двух лошадей да свинью с упоросом, но не соблазнился дед, не продал кобылу, ибо был домовит, да и жеребят от кобылы выгодно продавал в Михайлов. Словом, есть чем помянуть крестьянскому мальчику лето, и мудро ли поэтому, что, когда наступала зима, приходили морозы, останавливалась река и курные избы дымили, топясь за отсутствием леса соломой, мальчики унывали и неохотно, особенно первое время, посещали школу.

Алексеев был шаловливый и не особенно прилежный мальчик. Учился он



*Я. И. Бутович и служащие его завода в галерее. Прилеты*

очень плохо: с грехом пополам проходил в школу всего лишь две зимы и больше туда не возвратился.

Фамилия его деда была Матвеев, но когда отец Алексеева призывался на военную службу, то фамилию перепутали и назвали рекрута Алексеевым, так с тех пор и пошло. Но в деревне дом носил фамилию по деду. А еще ранее, при прадеде Вавиле, они были Авилковыми или Вавиловыми. Такое положение с переменной фамилий – явление довольно обычное в крестьянском быту, оно и до сих пор имеет место в деревнях.

Когда Алексеев был ребенком, семья его состояла из деда Алексея, бабушки Анны, отца, матери и нескольких братьев и сестер. Бабушка Анна была настоящим богатырем, и во время сенокоса, когда мужики любили померяться силой, ни один мужик не мог ее побороть. Умерла она в глубокой старости, дожив до восьмидесяти четырех лет. Отец Алексеева служил в уланском полку, где был старшим унтер-офицером. Это был ловкий, статный и красивый человек. Полк и городская жизнь его избаловали, и после этого деревенская похлебка пришлась ему не по вкусу. Дядя Иван тоже служил на военной службе, но был в пехоте и пробыл всю службу в денщиках. Отец Алексеева часто его за это «позорил», но все же семья жила дружно, так как дед, глава семьи, был самостоятельный и крутой человек и разлада не терпел. Мать Алексеева происходила родом из деревни Коробынки, ее семья была когда-то барская (из дворовых) и близка к Коробину, богатому и знатному барину, отцу знаменитого рязанского коннозаводчика С. Д. Коробына. Ее отец был коновалом, весьма опытным и влиятельным в своей округе, а кроме того, слыл знахарем. Научился он коновальской премудрости у Коробына, у которого исстари водились хорошие лошади и был большой конный завод.

Итак, до двенадцати лет Алексеев жил в деревне, в обстановке бедной и очень скромной. Незаметно подошел не то 1895-й, не то 1896 голодный год, и перед семьей встал вопрос о хлебе насущном и дальнейшем существовании. Хлеба не было, жить стало тяжело, ели присланную казной кукурузу, а одних детских ртов было в семье семь. Пришлось продать рыжего жеребца Кобчика, общего любимца, и тогда Алексеев испытал первое свое детское горе. Жеребца приобрел купец из Михайлова, заплатил он за него 90 рублей деньгами и дал фунт чаю в придачу. Когда вывели Кобчика, мальчик залился горючими слезами. Испуганный купец, боясь, что жеребец пойдет ему не в руку, обещал прислать мальчику всяких сластей и связку баранок. После кукурузных лепешек эти яства как нельзя более пришлись по вкусу мальчугану и хоть несколько утешили его горе. Скоро деньги, вырученные от продажи Кобчика, были прожиты, и отец стал подумывать об отъезде в город на заработки. Он уехал в Москву, где получил «газетный отход», то есть стал разносить газеты по адресам. Место было хорошее, и через некоторое время он вытребовал к себе и жену. Дети остались одни в селе, и жилось им несладко. Ровно через год молодой Алексеев вместе с одним из соседских крестьян направился через Венев в Москву искать счастья. Каковы были первые впечатления деревенского мальчика от Москвы? Алексеев рассказывал мне, что больше всего его поразило множество хорошо одетых мужчин, причем особенно бросилось ему в глаза, что все были в ботинках, как ему тогда казалось, женских, и совсем не было видно сапог. «Вот чудачки, – думал мальчик, – не носят сапог!» Сам Алексеев был в лаптях, притом далеко не новых.

Есть в Москве такая местность – Сущево, и там существуют известные Антроповы ямы, где в небольшом двухэтажном доме, в нижнем этаже, снимал квартиру отец Алексеева, сдавая ее мелким жильцам и оставляя для себя одну комнату и переднюю с чуланом. Сюда и пришел молодой Алексеев и, войдя в



квартиру, застал свою мать перед зеркалом уже в кофточке городского покроя и в позе полного любования собой. На появление сына мать не обратила никакого внимания, так как к нему она относилась как-то странно безразлично. Но вот прошло несколько дней, и мальчику суждено было увидеть редкую и величественную картину, которая навсегда осталась в его памяти. Вместе с двумя ребятами из соседней квартиры он пошел к Тверской заставе и увидел въезд государя Николая Александровича в Москву для священного коронавания. По обычаю предков, государь на белом коне, окруженный великими князьями, генералитетом и свитой, следовал из Петровского дворца в Кремль. Золоченая карета императрицы, менее пышные, но тоже великолепные кареты иностранных принцев, владетельных особ, великих княгинь и княжон, послов, статс-дам, высших чинов правительства и двора, крики и приветствия народа, гром пальбы, звуки музыки, перезвон колоколов всех сорока сороков Белокаменной – это было поистине сказочное зрелище, и мальчику казалось, что он бредит или видит какой-то сказочный сон.

Время шло незаметно, и молодой Алексеев, помещенный отцом в учение к ювелиру, стал уже работать из золота серьги и добывать себе на пропитание. Жизнь его была в то время не только тяжелая и грязная, но и прямо-таки невыносимая: он должен был вычистить обувь хозяину и его большой семье, носить воды, натаскать дров, а потом целый день работать в мастерской. За малейшую оплошность от пьяных подмастерьев ему попадал по голове «корнер» (отлитое в круглый шарик золото), и такие «корнеры» сыпались безо всякого разбору. Домой мальчика отпускали только раз в месяц. Там он сошелся с двумя квартирантами матери, которые служили рисовальщиками по камню у Сытина и Кушнырева. Это были литографы – ребята молодые, чисто одетые, и говорили они все «про художество». «Бывало, – рассказывал Алексеев, – приходишь к ним, оправишь постель, сядешь и слушаешь, а они говорят про картины, театры, писателей-классиков. И страшно захотелось мне все это изведать, узнать и пойти по их ремеслу. Задумал я тогда уйти от золотариков, а «тушисты», так называли их тогда, обещали учить рисовать и тоже советовали бросить хозяина. Долго я не мог решиться бросить место, так как отец был очень строг и послушаться его тогда было равно смерти, а все же решился и в один прекрасный день ушел... Побил меня отец за это жестоко, назвав дармоедом, и бил до тех пор, пока я не стал получать жалование».

«Тушисты» приняли мальчика ласково, начали учить его рисовать и сунули ему под подушку Лермонтова. Молодой Алексеич стал им убирать комнату, а рано по утрам, пока отец еще спал, читал книжку: за чтение от отца влетало. Наконец отец передал сыну часть своего «обхода», и стал Алексеев разносить газеты. Утром разнесет «обход», а остальной день все рисует, и так продолжалось пять месяцев. Однако в семье что ни день, то становилось хуже. Когда жить стало совершенно невмочь, Алексеев поступил мальчиком к машине в типографию Рихтера, что в Трехпрудном переулке, близ Тверской улицы. Казалось мальчику, что его заветная мечта стать «тушистом» вот-вот сбудется, но и через шесть месяцев он все еще оставался «приемщиком» да слушал посулы и обещания, что вот-вот переведут его к «тушистам». Наконец его перевели, но тут-то и стряслась беда: в типографию прибыл фабричный инспектор, поднялся в контору, проверил документы и, убедившись, что Алексееву четырнадцать с половиной лет, велел его уволить, так как по законам того времени ранее пятнадцати лет поступать на фабрику было нельзя. Получил Алексеев расчет за полмесяца 3 рубля 50 копеек да от хозяина двугривенный на чай, за исправность в работе, и очутился на улице.

Домой мальчику идти не хотелось: опять слышать попреки, слыть за дармо-



П. П. Соколов  
*Седло, уздечка, стек. 1870 г.*



К. А. Савицкий  
*Телега*

еда, опять терпеть побои. Присел он в Мамонтовском переулке на лавочку у ворот и задумался. Вот о чем тогда думал мальчик, как он мне впоследствии рассказывал: «Дома можно научиться рисовать только на бумаге, а в Строгановское училище можно ходить только по воскресеньям, что я и делал уже, а научиться рисовать на камне можно только на фабрике, а для этого надо ждать целых полгода, пока сбудется пятнадцать лет. С этими мыслями поднялся я с лавочки и вместо дома направился на Страстной бульвар, где расположился в одиночестве и стал опять думать и перебирать в голове все возможности. И вспомнил я тогда, что подавал в знакомую кузницу «Московский листок». Нравилось мне кузнечное дело, так как больно уж красивых лошадей приводили туда ковать, которыми я подолгу любовался. Сравнивал их со своим Кобчиком. Хороши были все эти лошади, но Кобчика я помнил сначала сосуном, потом стригуном, потом приводили к нему соседи рано по утрам своих кобылиц, и Кобчик показался мне достойней и лучше всех этих лошадей. «Нет, – думал я дальше, – хоть и приводят много красивых лошадей к кузнецу, да дело его грязное». Что оно тяжелое, этого я не боялся, так как чувствовал себя силачом, прямо-таки богатырем. А вот подмастерья простоваты да читают одни фельетоны в газете, а я к тому времени прочел уже немало книжек, осилил Гончарова, читал Тургенева. Решил к кузнецу не поступать. Ни к чему не придя в своих мыслях, встал я опять с лавочки и пошел по направлению к Петровке. Здесь, на Петровке, в угольном доме висела красивая картина, и на ней были разбросаны фотографии. Вспомнилось мне тут, что один из «тушистов» кого-то фотографировал при мне, что меня тогда крайне поразило: вот, мол, рисовать не надо, а портрет готов. И в памяти как-то сразу воскресли разговоры о фотографии. Смотрел я на фотографии, на эти красивые лица, на бесстыдно оголенные, как мне тогда казалось, груди женщин, и мысли приняли как-то сразу и неожиданно другой оборот: созрело желание и самому научиться снимать. «Предложу я себя в ученики в фотографию», – подумал я, и с этой мыслью, подавляя свой испуг, поднялся по лестнице и позвонил в звонок. Дверь открыл такой же белобрысый, как я, мальчик, только очень маленького роста. Я спросил его, можно ли видеть хозяина. Вышла хозяйка, смерила меня взглядом и спросила: «Что вам надо?» Я сказал. Она улыбнулась и говорит: «Ну, какой вы ученик – такой большой». Этот отказ не обескуражил меня, наоборот, придал энергии, как будто какая-то смелость обуяла меня, и я пошел по направлению к Кузнецкому мосту, заходя в каждую фотографию и предлагая свои услуги. Под

разными предложениями везде получал отказ. Зашел, наконец, в фотографию Канарского. Поднялся по широкой лестнице во второй этаж, несмело отворил дверь и очутился в шикарной обстановке лицом к лицу с немкой в пенсне. Она кого-то позвала, и вышел мужчина в какой-то форме. Лицо у него было худое, строгое. Он выслушал меня внимательно, но ответ дал для меня самый неожиданный: «У нас нет швейцара, а у вас хороший рост, будете получать жалование да чай, и вас это лучше устроит». Я совсем растерялся и невольно посмотрел назад, ища глазами вешалку, и так был в эту минуту беспомощен, что ответить ничего не мог. «Приходите завтра», – добавил Канарский, повернулся и ушел. На другой день я принес ему мои рисунки, он внимательно их рассмотрел и сказал: «Да, из вас будет замечательный ретушер». Судьба моя была решена: вместо должности швейцара я получил место в фотографии. На следующий же день отец подписал с Канарским условие на четыре года».

Таким образом началась карьера Алексеева. Вскоре он сделал большие успехи. Вместо четырех лет он проработал у Канарского лишь пять месяцев. Дело в том, что Канарский оказался большим картежником и, проигравшись в пух и прах, вынужден был продать свое дело. Алексеев за эти пять месяцев прекрасно ознакомился с основами фотографического дела и стал уже позитивным ретушером. Поэтому от Канарского ему уже нетрудно было поступить в лучшую фотографию Чеховского, где он работал с таким успехом, что, будучи еще учеником, составил конкуренцию ретушеру А. Дунаеву, впоследствии известному фотографу. Ретушеры подыскивали Алексееву место на тридцать рублей в месяц, и он ушел от Чеховского, у которого получал лишь семь рублей. Фотографическое искусство давалось Алексееву легко, он переходил с места на место с повышением жалования и в двадцать лет получал уже девяносто рублей в месяц. Словом, он стал настоящим мастером.

Попутно шло самообразование молодого человека: он много читал, посещал театры; не было ни одной постановки в Художественном театре, которую бы он не посмотрел.

К этому времени относится и его первое увлечение бегами. Друзья не советовали ему посещать бега, боясь, что он станет игроком, но бега так его увлекли, что он все чаще и чаще стал там бывать, хотя и не играл. Тогда на московском бегу гремели Первынька, Пылюга и другие. Их детей и внуков Алексееву пришлось впоследствии не раз фотографировать для знаменитых московских охотников. Время шло, Алексееву исполнился двадцать один год. Предстоял призыв в армию, но так как это было в 1905 году и дороги бастовали, то группа михайловских новобранцев опоздала на шесть дней в Михайлов и приехала туда, когда набор уже был закончен. Михайловский уездный предводитель дворянства князь Гагарин неприязненно встретил московских забастовщиков и дал им билеты ратников второго разряда. Так Алексеев, благодаря чистой случайности, не попал на военную службу. С легким сердцем возвратился он в Москву. Здесь, едучи с вокзала, на Долгоруковской улице, у церкви Николая, он встретил стройную, красивую девушку, которая произвела на него такое впечатление, что 30 апреля 1906 года он на ней женился.

Молодые поселились в одной комнате, затем перебрались в две и наконец сняли квартиру в доме графини Васильевой-Шиловской, что на углу Страстной площади и Малой Дмитровки.

Алексеев занялся увеличением портретов, работы было много, а тут еще Дунаев начал носить работу с московского ипподрома, которую Алексеев исполнял для него, по договору подписывая свои работы его фамилией. Так продолжалось бы до бесконечности, если бы Дунаев сам не допустил оплошности: он познакомил Алексеева с художником С. С. Ворошиловым, который постоянно

нуждался в хороших фотографиях для исполнения своих портретов. Ворошилов разругал Алексеева за его непредприимчивость и тут же предложил снять для него нескольких лошадей. Это был заказ для С. Н. Коншина, и здесь, на его знаменитой рекордистке Прости (2.08), Алексеев получил свое первое лошадиное фотокрещение. Работа Алексеева понравилась Коншину, и он заказал молодому фотографу снять всех своих ипподромных бойцов. Недели через три после этого Ворошилов получил крупный заказ от автора этих воспоминаний и пригласил Алексеева с собой в Прилепы.

Алексеев пробыл в Прилепах около недели и снял весь завод. Среди фотографий не все были удачны, но некоторые были прямо-таки великолепны. Чувствовалось, что у молодого фотографа опыта по съемке лошадей очень мало, но особое чутье, умение поставить лошадь и уловить нужный момент налицо. Я вполне оценил молодого талантливую работника, поддержал его и затем поместил в «Рысаке и скакуне» две его работы – снимки кобыл Кометы и Ласточки, снабдив изображения столбцом текста.

Следует сказать, что эти две фотографии я и до сего времени считаю едва ли не лучшими работами московского фотографа. Моя заметка об Алексееве, естественно, обратила на него общее внимание, и его карьера как бегового фотографа была обеспечена. Ф. Н. Измайлову так понравились эти два снимка, что он вызвал Алексеева в Дубровский завод. Затем последовали другие крупные заказы, и Алексеев побывал на заводах Зимина, Брашнина, Расторгуева, Морозова, Шубинского, Новосильцова, Познякова и в Хреновском. На ипподроме Алексеев снимал всех лошадей, которые мало-мальски резво бежали, выезжал на крупные призы в Петербург и другие города и постепенно стал своим человеком на бегу. Когда у него уже было прочное имя, то он был приглашен, не без моего участия, на пост фотографа к звонку и таким образом стал еще более популярен и любим на московском бегу. Все без исключения выходившие в России спортивные журналы – «Рысак и скакун», «Коннозаводство и коневодство», «Русский спорт», «Конский спорт» и другие – имели его постоянным сотрудником. Свыше тысячи негативов, ныне имеющих в распоряжении Алексеева, лучше всего характеризуют работоспособность и трудолюбие этого талантливого человека и большого мастера своего дела. Эта тысяча негативов не только составляет его собственность, но и явится драгоценным подспорьем в будущем (да отчасти и в настоящем) изучении иконографии орловской рысистой породы. Благодаря негативам Алексеева можно иллюстрировать родословную любого знаменитого рысака, а это, кроме большого интереса, имеет и научное значение.

Не могу положить перо прежде, чем скажу несколько теплых слов об Алексееве как о человеке. Отзывчивый, мягкий, добрый и порядочный, он, кроме того, отличается столь редкой для русского человека чертой, как верность данному слову. Друг всех наездников, приятель всех охотников, хорошо принятый в свое время даже крупнейшими фигурами спортивного мира, он был везде на месте, всегда умел вовремя сказать умное слово и держал себя с тактом; зная его прошлое, я думал о том, как талантлив русский человек вообще, если он хочет добиться своего. Алексеев может с гордостью рассказать детям о своей жизни, в которой всем он был обязан исключительно себе одному. Когда весть о свершившейся революции пронеслась с быстротою молнии во все концы необъятной России, когда рушились старые устои, Алексеев остался верен себе, не изменил старым друзьям и не забыл прежних идеалов.

Работы Ворошилова не могли удовлетворить меня, и я стал подумывать о приглашении в Прилепы настоящего художника. В доме князя Л. Д. Вяземского на Фонтанке я видел превосходный портрет знаменитого Зенита кисти ака-



*Профессор батальной живописи Н. С. Самокиш пишет портрет знаменитого Громадного (отца Крепыша) в конном заводе Я. И. Бутовича в имении Прилепы.  
Фото Н. А. Алексеева. Журнал «Русский спорт», 09.09.1912 г.*



*Н. С. Самокиш  
Табун на скаку*

демика живописи Н. С. Самокиша. В беговом обществе Петербурга висело свыше десяти портретов кисти того же художника, и некоторые из них были превосходны. Был еще один петербургский художник – старик Френц, работы которого меня привлекали своим романтизмом и знанием лошади. Я решил пригласить этих уже знаменитых художников. Ворошилов написал свои последние портреты ранней весной. Таким образом, лето было свободно, и я предполагал первую его часть предоставить Самокишу, а вторую – Френцу. Оба художника приняли приглашение и в 1911 году писали лошадей и этюды в Прилепах.

Скажу сначала несколько слов о Николае Семеновиче Самокише, с которым я очень сошелся и который начиная с 1911 года и вплоть до 1915-го ежегодно бывал в Прилепах.

Самокиш в то время был уже знаменитым художником, его работы имелись в академическом музее, в Третьяковской галерее и во многих частных собраниях. Кроме того, он пользовался исключительной популярностью как талантливый иллюстратор и в работе пером не имел соперников. В свое время пе-

ред ним открывалось блестящее будущее: он окончил академию, получив все награды, медали, звание художника и заграничную командировку. Академия и все те, кто интересовался русским искусством, справедливо возлагали на него большие надежды. Оправдал ли эти надежды Самокиш? Отчасти да, отчасти нет.

За границей, куда он отправился, дабы завершить свое художественное образование, он должен был передать рекомендательное письмо от великого князя Владимира Александровича знаменитому французскому баталисту Детайлю. Однако Детайль принял молодого художника очень нелюбезно. Вот что рассказал мне о нем Самокиш. Детайль был приглашен Александром III в Россию, где француз пробыл несколько месяцев и исполнил для государя несколько картин, в том числе известную свою работу «Конвойцы». Он был обласкан при дворе, получил крупную сумму денег и, довольный, уехал в Париж. Вот почему президент академии великий князь Владимир Александрович полагал, что Детайль примет Самокиша учеником и позволит ему усовершенствоваться, дав нужные советы и указания. На деле вышло иное. Когда Самокиш с душевным трепетом переступил порог великолепного ателье знаменитого французского мастера и вручил ему письмо великого князя, тот прочел письмо, поморщился и сказал, что никаких учеников не принимает, очень занят, но, принимая во внимание письмо великого князя и тот любезный прием, которым он пользовался в России, разрешает Самокишу приходить по утрам на один час работать в его мастерскую. Когда на другое утро Самокиш явился к Детайлю, тот ему указал на угол в мастерской, не сказал ни единого слова и сам начал писать, отгородившись от Самокиша ширмой, чтобы тот не увидел его приемов работы... Походил Самокиш к Детайлю с неделю (при его появлении немедленно ставилась ширма) и перестал бывать у знаменитого француза.

Самокиш был большим поклонником таланта Детайля и впоследствии удачно ему подражал. Первые картины Самокиша самобытны и очень интересны, но затем он выработал определенный – «батальный» – стиль, стал трафаретен и сух. Когда же его работы пером, иллюстрации и виньетки приобрели известность, он почти отошел от живописи и всецело посвятил себя иллюстрации. В художественных кругах его считали конченным человеком, картины его перестали появляться на выставках и в магазинах.

Я познакомился с Самокишем именно в эту пору его деятельности, не без труда уговорил его вновь взяться за палитру и работу с натуры и тем самым сыграл немалую роль в возрождении таланта этого известного художника. Самокиш писал лошадей у С. С. де Бове, затем у графа И. И. Воронцова-Дашкова (за картину «Табун рысистых маток» он получил звание академика), князя Л. Д. Вяземского, у меня и моего брата и исполнил несколько портретов рысистых лошадей для Санкт-Петербургского бегового общества.

Самокиш жил недалеко от бега, на Звенигородской улице. Позвонив ему по телефону, я просил разрешения приехать и, получив любезное приглашение, отправился. Войдя в переднюю, я был поражен тем, что вся вешалка занята фирменными пальто лицеистов и правоведов, а на столах у зеркал лежат одни треуголки. Хозяин провел меня к себе, пояснив, что у его жены спиритический сеанс. Впоследствии я узнал, что г-жа Самокиш очень увлеклась спиритизмом, но странно, что на этих сеансах бывала лишь зеленая молодежь. Когда Самокиш стал у меня в доме своим человеком, он без раздражения не мог говорить об этих спиритических сеансах, что, впрочем, вполне понятно. Однажды я задал ему вопрос, наблюдал ли он когда-либо материализацию предметов и правда ли, что возможны случаи появления в комнате, где идет сеанс, вещей, до того в ней не бывавших? На это Самокиш довольно ехидно ответил, что во время больших сеансов у жены, когда

собиралось довольно разношерстное общество, «уносы», как он выразился, ему наблюдать приходилось, «приносов» же – никогда...

Комната, в которую ввел меня Самокиш, была велика и хорошо обставлена. Сразу было видно, что художник не нуждался и жил вполне свободно, если не широко. Это был одновременно и кабинет, и мастерская: мягкая мебель, шкафы с книгами, оружие по стенам, мольберты с подмалеванными холстами, столы, заваленные картоном и бумагой, со всеми принадлежностями для рисования и черчения, ряд подрамков в углу, несколько хороших картин по стенам. Сам Самокиш был среднего роста, худой и очень подвижный человек. У него было некрасивое, но очень приятное лицо, говорил быстро, смеялся громко и оказался недурным рассказчиком, обладавшим значительной долей юмора. Вести беседу с ним было и приятно, и занимательно. После первых общих фраз и прелиминарных разговоров я перешел к делу и просил Самокиша приехать на два месяца в Прилепы, с тем чтобы написать несколько портретов лошадей. Самокиш меня благодарил, но приглашение принял не сразу. Он мне указал на то, что давно не писал с натуры, что ему будет трудно раскататься, что он не уверен в успехе, тем более что я его просил не пользоваться фотографией, а действительно создать художественные портреты, равные тем его работам, которые в свое время принесли ему широкую известность. Мы беседовали долго, и под конец мне удалось его убедить, заметив, что появление его свежих работ вызовет много разговоров и, несомненно, вернет ему симпатии всех истинных ценителей искусства. Материальная сторона заказа была быстро урегулирована. Я видел, что Самокиш хотел затронуть еще какой-то вопрос, но, по-видимому, стеснялся. Я пошел ему навстречу, и тогда он спросил меня, женат ли я. «Нет», – ответил я. «В таком случае, – сказал Самокиш, – я думаю, вы не будете возражать, если со мной поедет моя племянница, очень милая барышня, Роскаи Ивановна». Я понял, в чем дело, ибо в Прилепах перебивало уже немало таких «племянниц» и «племянников», и охотно дал свое согласие, пригласив Роскаи Ивановну. Расстались мы с Самокишем дружески, а через два-три месяца я уже принимал его в Прилепах.

Самокиш был удивительно трудолюбивым человеком: он работал буквально двенадцать часов в сутки. С утра шел писать этюды, потом писал какую-либо из лошадей, после обеда и вечером бесконечно рисовал батальные сцены, вьетки и прочее для журналов и книг и все это спешно отправлял в Петербург. Я с удовольствием видел, с каким увлечением писал Самокиш с натуры – к нему вернулась уверенность, мазок его получил силу, краски заиграли на палитре, в нем проснулся большой и настоящий художник. Самокиш любил говорить, и это была правда, что Прилепы сыграли исключительную роль во второй половине его художественной деятельности, вернули его к станковой живописи. Его картины и этюды вновь появились на выставках и в лучших художественных магазинах, о них заговорили, их быстро раскупили, и, когда профессор Рубо переехал в Мюнхен, художественная академия избрала Самокиша профессором и поручила ему батальный класс. Это был большой успех и достойный венец художественной карьеры Самокиша.

В Прилепах Самокиш написал портреты Громадного, Петушка, Лознгринна, Поземки, Пташки, Ласточки, Ветрогонки, Нарты, Боярской, Летуньи, Скворки, Офелии и Урны. Кроме того, им был сделан ряд портретов пером, несколько карандашных рисунков, акварелей и три картины, среди которых большое капитальное полотно – «Табун в движении». Портрет Громадного – лучшая портретная работа Самокиша, произведение кисти зрелого художника, профессорская работа по технике, силе и колориту. Остальные портреты также удачны: они приятны по тону и колориту, верно передают изображенных лошадей и хо-

роши своей непосредственностью. Этим прилепские работы, кроме того, имеют большое иконографическое значение.

Знакомство с Самокишем, те отношения, которые у нас установились, наши беседы я всегда вспоминаю с удовольствием, а иногда и с улыбкой на устах, ибо, обладая юмором, он нередко меня смешил. Обычно мы беседовали по вечерам, и я никогда не забуду одного такого вечера. Было это уже в конце сентября. Дождик моросил, как из сита. Мы удобно сидели у горящего камина. Я, протянув ноги, с сигарой во рту, а Самокиш – рядом со мной, за столиком, с неизменным стаканом остывшего чая, папироской в зубах и карандашом, которым он, несмотря на сумерки, чертил какой-то набросок на листе бристольского картона. В окно сквозь сумерки была видна совершенно пустая дорога, все живое укрылось у домашнего очага. В такие минуты в тепле и уюте чувствуешь себя особенно хорошо и говоришь особенно откровенно. Долго тянулась наша беседа: она принимала то лирический, то эпической характер и под конец, как всегда, перешла на искусство. Я высказал сожаление, что не имею решительно никакого таланта в живописи, что в корпусе имел по двенадцатибалльной системе только 5 баллов за рисование и что до сих пор не умею провести верно даже линии на бумаге. «Как я об этом сожалею, как бы я хотел быть художником», – меланхолически закончил я. Самокиш, до того спокойно беседовавший со мной, сразу встрепенулся и не без остроумия ответил мне: «Слава тебе господи, что у вас нет никакого таланта, ну ни на грош, ни на йоту! Что было бы с нами, художниками, если бы такие любители и меценаты, как вы, еще бы и сами рисовали? Тогда нам, художникам, оставалось бы только одно – умереть с голоду, ибо кто бы тогда покупал наши картины?»

Произведения Френца, полные романтизма, давно привлекали мое внимание, нравились мне и вполне отвечали внутреннему строю моей души. Вот почему я поспешил с ним познакомиться и через одного общего приятеля, торговца картинами, итальянца Тренти, получил приглашение и поехал в Гатчину, где постоянно со своей семьей проживал престарелый художник. Милая, но скромная дача в стиле германских построек XVIII века стояла в саду и как-то сразу располагающе действовала на гостя. Внутренность дома и его обитатели как бы вводили посетителя в другой мир и сразу настраивали его душу на лирический лад. Огонь горел в высоком, типично германском камине большой комнаты, одновременно, по видимому, гостиной и мастерской. Большое, почти во всю стену, венецианское окно давало много света и позволяло художнику писать здесь. Стены были вплотную увешаны картинами и этюдами без рам; в углах тоже стояли картины. Мебель была старинная, массивная, несколько тяжелая, но вполне удобная. Старик Френц с окурком сигары в зубах стоял у мольберта с палитрой в руках и работал. Он медленно, не спеша поднял на меня глаза, положил палитру, стер кисти и подошел ко мне. После первых приветствий разговор завязался непринужденно и легко, как будто мы были век с ним знакомы. Говорил старик по-русски откровенно и весьма забавно: «моя пришла», «моя ушла», «картинку писал, царю посылал и деньги получал» и т. д. Это был человек небольшого роста, с высоким, открытым лбом, довольно крупными чертами лица и, несмотря на весьма почтенные годы, до сих пор русый, хотя и с сединой. Хорошая шевелюра, раздвоенная борода, добрые глаза и мягкие, плавные и неторопливые движения придавали ему какой-то особый патриархальный вид. Впрочем, в этом доме все дышало стариной и ото всего веяло патриархальностью. В книжном шкафу стояли сочинения Шлегеля, Тика, Новалиса и философа Шеллинга – все на немецком языке. Известно, что названные авторы были главными проводниками романтизма в Германии. Именно расцвет поэтической фантазии, проникнутой глубоким чувством, и составляет главную сущность романтизма. Френц был романтиком чистой воды,



и вполне естественно, что романтизм так сильно сказывался если не во всех, то, во всяком случае, в лучших его произведениях.

Я провел весь день в гостеприимном доме старика Френца, обедал у них и уехал только поздно вечером. Семья художника состояла из жены, простой и доброй немки, трех дочерей и сына. Все три дочери были очень красивы, милы и грациозны. Золотистые волосы, голубые глаза, нежный румянец во всю щеку – это были настоящие Гретхен. Сын Френца, тогда еще совсем юный, оканчивал реальное училище. Насколько сестры его были красивы, настолько он некрасив и прост. Молодой человек был очень талантлив, превосходно рисовал и уже писал масляными красками. Отец справедливо возлагал на него большие надежды. В этой почтенной семье все были дружны, все любили друг друга, и авторитет папаши, как вся семья, не исключая и жены, называла старика Френца, стоял очень высоко. Френц держал себя очень просто, но с большим достоинством: видно было, что он привык иметь дело с людьми хорошего круга, нисколько не стеснялся и знал себе цену.

Френц пользовался очень большой популярностью в определенных петербургских кругах. В Россию он приехал по вызову двора еще совсем молодым человеком, сразу же по окончании Мюнхенской академии художеств. Это было или в самом конце царствования Николая I, или в самом начале царствования Александра II. Таким образом, Френц был придворным художником если не четырех, то, во всяком случае, трех русских императоров. Удержаться так долго при дворе среди интриг, зависти и прочего, что всегда существовало и, вероятно, всегда будет существовать при дворах высочайших особ, было, конечно, нелегко, надо было обладать исключительным тактом и умением, чтобы не уступить своего места другому. Френцу удалось то, что удавалось немногим. Он был любимцем всех трех императоров, а Николай II называл его не иначе как «мой добрый старый Френц». Для двора он всю свою жизнь писал портреты лошадей, собак и картины охотничьего жанра. Френц любил рассказывать «про царей» и двор, и под вдохновение этих заветных воспоминаний старик преображался, оживал и сообщал собеседникам много интересного. Было бы ошибкой думать, что Френц исполнял только высочайшие заказы, отнюдь нет: им было написано немало картин и для продажи. Работы его раскупались охотно и по хорошей цене. Писал он медленно, тщательно, поэтому число его картин, поступивших в продажу, невелико. Лучше всего он писал собак. Здесь у него не было соперников. Материал для своих наблюдений Френц находил на псарнях царской охоты, расположенных в Гатчине, и с главным ловчим царской охоты г-ном Дицем был на короткой ноге.

Картины и акварели Френца хороши по тону: он чувствовал краску и был больше живописец, нежели рисовальщик. Кроме того, этот немец любил и понимал русскую природу, и все его лучшие произведения окутаны дымкой романтизма, это и придавало им особое очарование. Собственно лошадиным портретистом Френц никогда не был. Великий и неподражаемый Сверчков жил и работал в ту же эпоху, и с ним, естественно, Френц соперничать не мог. Мне известно лишь несколько крупных заказов, исполненных Френцем для князя Д. Д. Оболенского, в том числе портрет известного кученевского Грозного на ходу в санях – для Стобеуса, в том числе превосходный портрет самого Стобеуса в дрожках на серой лошади, и ряд портретов для графа И. И. Воронцова-Дашкова. Среди этих последних – портрет знаменитого голохвастовского Петушка, сына Бычка и Важной (ныне портрет находится у меня).

Я целый день провел в Гатчине в семье Френца. Купил у него целую серию его этюдов с лошадьми придворной охоты, среди которых многие интересны по типу и породе. Это бухарские, персидские и другие азиатские лошади, в раз-

ное время их дарили русским государям владельцы князя Азии. Тогда же мною было заказано художнику четыре портрета: Громадного, его матери Громады, Дыма и кобылы Греми. Портреты должны были быть исполнены по фотографиям, кои я имел прислать. Из этих портретов вполне удачен, интересен и хорош лишь портрет Громадного. Громадный изображен в ту пору его жизни, когда он был уже в заводе. Лошадь с годами менялась, и если сопоставить ряд изображений знаменитого жеребца, то опытный глаз заводчика без труда различит эти перемены, подчас незначительные. Здесь, конечно, нет ничего удивительного, ибо и люди с годами, в силу пережитых драм или сильных потрясений, также меняются. Нередко, глядя на фотографию человека, с трудом узнаешь его лицо и задумываешься над тем, что могло так изменить хорошо знакомые, а иногда и дорогие черты. Френцевский портрет Громадного дает полное и точное представление об этой лошади в известную пору ее жизни.

Отправляясь к Френцу, я имел в виду пригласить его в Прилепы не для написания портретов, а для создания капитальной картины – «Табун прилепских маток». Уже давно, имея перед глазами такое замечательное полотно кисти Сверчкова, как «Холстомер среди рысистого табуна», зная также знаменитую картину «Табун мазуринских маток», а также воспроизведения табунов польских помещиков и магнатов кисти Коссака, я задумал заказать изображение табуна моих кобыл. Френц мне показался для этого наиболее подходящим художником, ибо Самокиш был суховат, а тема требовала, помимо знания лошади, и известного романтического подхода. Я изложил все это старику Френцу, и он мне ответил, что охотно приедет в конце лета на два месяца, сделает этюды с природы, а картину будет писать уже зимой в мастерской. Я согласился, хотя он назначил довольно крупную по тому времени сумму – 2000 рублей. Кроме того, он ставил условием, что с ним поедет его сын. «Я принимаю в мои года ваш заказ лишь потому, что хочу, чтобы еще при моей жизни сын поработал в заводе под моим наблюдением, иначе я бы не решился ехать так далеко», – закончил свою речь «папаша». Все было сговорено, обо всем мы условились, и я, довольный проведенным днем, простился с милым хозяином и его семьей и вернулся в Петербург.

В начале августа Френц вместе с сыном приехал в Прилепы. Им было отведено три комнаты, и старик расположился со всеми возможными в деревне удобствами. Дня два он отдыхал, и за это короткое время я полюбил милого старика, сошелся с ним и тоже стал называть его папашей. Так как я не был женат, папаша целые дни ходил в рабочей блузе, мягких туфлях и с окурком сигары в зубах. Эти окурки были в своем роде достопримечательностью старика. Он курил довольно скверные немецкие сигары и каждую из них резал на три части – таким образом, у него во рту неизменно торчал окурочек, а не сигара. Чтобы не утруждать старика хождением на ветхие конышни, на площадке перед домом был сооружен небольшой навес. Туда приводили кобыл, и там папаша писал. Он изменил свое первоначальное намерение, не стал писать этюдов и сразу же взялся за крупное полотно. Сын ему помогал. Следует сказать, что эту картину старик Френц не мог бы написать один. Папаша писал лошадей, сын – пейзаж, который потом был лишь смягчен и пройден отцом. Вот почему эта капитальная картина уступает многим другим произведениям художника. В Прилепах, собственно говоря, полотно было лишь подмалевано да точно намечены группы кобыл первого плана (Греми, Кабала, Летунья, Боярская). Писал же картину Френц у себя в Гатчине ровно год, и я ее получил лишь осенью 1912 года. Композиция имела большой успех, была воспроизведена в журналах и в меньшем размере два раза повторена для других заказчиков. Следует отметить, что в то

время Френц уже страдал дальтонизмом, почему вся картина имеет неприятный фиолетовый тон.

Два месяца, проведенные художником в Прилепах, доставили мне немало удовольствия. К сожалению, я не говорил по-немецки, а Френц по-русски объяснялся плохо, тем не менее я хорошо чувствовал себя в его обществе. Это был удивительно милый старик, и запас его рассказов из придворной жизни казался неистощим. Мы особенно любили ездить в табун, и старик по этому поводу всегда вспоминал, что когда он и граф Воронцов-Дашков были молоды, в начале шестидесятых годов, то точно так же каждый день ездили в табун и любовались матками и молодыми сосунами. Наслаждение от наших поездок увеличивалось тем, что осень в тот год была удивительная: все время стояли превосходные дни, ясные, сухие и теплые. Синее небо особенно величественно расстилось над лугами, усеянными отцветшими головками дикого лука и мака. Паутина тянула свои нити на полях. Перед восхищенным взором открывалась беспредельная гладь лугов и полей, яркая зелень которых переходила мало-помалу в голубые и фиолетовые тона и сливалась наконец с далеким туманом небосклона. Все было тихо и вместе с тем чутко, все сверкало и блестело под лучами умирающего солнца. Эти чисто русские картины ласкали и радовали глаз, наполняли душу блаженством. По лугам, как всегда к вечеру, тихо и величественно ходил табун. Лебединые шеи плавно подымались и опускались; шелковистые челки ниспадали к самой траве. Табун медленно двигался в одном направлении, приближаясь к реке. Сосунки испуганно жались к матерям, качаясь на своих тонких и уставших ножках. Холостые кобылы проворно, переходя с места на место, топтали росистую траву, схватывая одни лишь сладкие верхушки любимых цветов. Подсосные матки, недовольно поводя большими терпеливыми глазами, осаживали их назад. Среди них выделялись красавицы табуна Летунья, Ласка и Ветрогонка. Вот вышла вперед белая, как пена, сухая и породная Ветрогонка, и как-то странно было видеть ее здесь, в этом табуне, а не в знойных пустынях Аравии. Там показалась и опять скрылась среди лошадей покорная, нежная и женственная Ласка. С набухшим всегда чревом и седой, запрокинутой назад гривой. Тут остановилась, потом вытянулась и наконец замерла в красивой позе Летунья. Казалось, что эта белая громада, как будто вся отлитая из серебра, задумчиво глядела, как навстречу вечеру колыхались головки, стебельки, султаны, чашечки, стрелы и усики цветов и трав. Громкое ржание нетерпеливого жеребца раздалось за рекой и затем как-то сразу замерло.

Мы со старым Френцем подолгу любовались табуном. Он молча созерцал эту чудную картину и не нарушал охватившего нас очарования. В такие минуты, редкие минуты счастья, когда на долю человека выпадает радость видеть подлинную красоту, всякие слова, всякие разговоры бывают неуместны и смешны. Старый романтик это хорошо понимал и молчал. Как это все, в сущности, близко и как навсегда и безвозвратно утеряно...

Осень постепенно вступала в свои права. Начались дожди, небо стало свинцовым и хмурым, в доме начали протапливать комнаты, и папаша стал собираться домой, в Гатчину. Настал и день отъезда. Я трогательно простился с почтенным стариком, и мы обещали друг другу, что будем видеться. Вскоре после этого я получил от Френца его фотографический портрет с трогательной надписью, который и сейчас хранится у меня. Это была последняя весточка от папаша. Больше мне не суждено было его увидеть. Занятый делами, лошадыми, хозяйством, отчасти литературой и, наконец, страстным и счастливейшим из увлечений моей жизни, я не имел времени и возможности побывать в Гатчине. Постепенно симпатичный образ старика Френца уходил, покрывал-

ся туманом. О смерти «папаши» я узнал случайно. Это было в первые бурные месяцы революции, сейчас же после октябрьского переворота. Я шел по Невскому и случайно встретил молодого Френца. Он похудел, осунулся, у него был усталый и печальный вид. «Что с вами, Рудя?» – спросил я. «Проклятая революция! – воскликнул он. – Папаша не смог перенести всего этого позора, унижения и гибели великой императорской России и умер от огорчения. Если бы не эта проклятая революция, он бы еще прожил десять лет!»

Когда профессор Самокиш стал в художественной академии руководителем батального класса, то, всячески заботясь о своих учениках, он просил меня ежегодно на два месяца приглашать в Прилепы одного из них, чтобы поработать с натуры. Вскоре после этого совет академии отнесся ко мне официально, прося о том же. Я дал согласие, и в первый год в Прилепы был командирован молодой человек по фамилии Покоржевский. Ему предстояло через год выйти на конкурс, и он стал усердно работать. По моему особому заказу он сделал цветными карандашами около 60 рисунков лошадей и сцен из жизни завода. Это был недурной рисовальщик, но плохой, мертвый живописец. Через год он опять приехал в Прилепы и здесь написал свою программу, за которую получил звание художника. Во время революции Покоржевский года полтора или два прожил в Прилепах и написал, между прочим, маслом портрет Кронпринца. Лошадь была написана хорошо, но безжизненно, к тому же Покоржевский представил ее массивной, чего не было в действительности.

После Покоржевского в Прилепы был командирован другой ученик из батального класса Самокиша – Френц-сын. Молодой Френц начал, так же как и Покоржевский, писать свою программу, но получил телеграмму о болезни отца, уехал спешно в Гатчину и не вернулся. Неоконченная программа Френца и сейчас находится у меня; она должна была изображать сцену из великой европейской войны. Молодой Френц был очень талантлив – он и сейчас здравствует, и даже, кажется, работает с некоторым успехом. Третьему ученику не довелось уже получить командировку в Прилепы, ибо революция упразднила и совет академии, и профессоров, и учеников, и саму академию.

В 1911 году, в июне, я поехал в училище живописи и ваяния, что на Мясницкой улице, дабы познакомиться с русским портретистом Серовым и прозондировать почву, не сможет ли он написать для меня хотя бы один портрет лошади. Думать о том, чтобы Серов взялся за исполнение нескольких портретов, было, конечно, нельзя, так как он был завален заказами, писал медленно, да и те цены, которые он назначал, равнялись если не десяткам, то, во всяком случае, многим тысячам рублей. Желая иметь портрет лошади кисти Серова, я менее всего гнался за модой или же за именем прославленного портретиста. Я действительно считал, что Серов, как никто другой, может справиться с задачей и даст замечательный портрет лошади. Дело в том, что уже в те времена я был собственником совершенно исключительного по живописи и технике портрета знаменитого Летучего, написанного Серовым в 1886 году для Малютина. В этом портрете, помимо всех свойственных одному Серову качеств, верно и тонко был подмечен, если можно так выразиться, дух лошади. Глядя на серовский портрет Летучего, вы ясно видели, что эта лошадь из рода Добродеев, со всеми отличительными чертами этой великой линии, одной из лучших во всем прославленном роду Полкана 3-го. Тип самого Летучего был передан удивительно верно, так исполнить портрет мог только художник-психолог, каковым и был Серов. Удивительно ли поэтому, что я хотел иметь портрет одной из лошадей, бывших у меня в заводе, в душе надеясь, что Серов остановит свой выбор на Недотроге и тем увековечит тип линии Лебеда 5-го или, вернее, Крутого 2-го. Я также справедливо полагал, что этим смогу обогатить конно-

заводскую иконографию новым замечательным портретом. Вот, положи руку на сердце, те мысли, которые побуждали меня обратиться именно к Серову.

Признаюсь, что, созвонившись предварительно по телефону со знаменитым художником, я не без трепета перешагнул порог училища живописи и ваяния. Это большое неуютное здание казенного типа, где без проводника можно заблудиться в длинных и мрачных коридорах. Дежурный курьер пошел доложить обо мне и затем провел меня в одну из зал. Вскоре вышел Серов, поздоровался со мной и пригласил сесть. Мы уселись в темном углу залы на стульях. Я не стану здесь описывать наружности Серова, ибо она достаточно хорошо известна по многочисленным портретам, а лишь замечу, что он производил какое-то тусклое, серое впечатление. «Вот уж метко носит свою фамилию», – подумал я и приступил к разговору. Я изложил ему цель моего посещения, после чего художник ответил, что он охотно напишет портрет лошади, ибо лошадей любит писать, и что это его развлечет и успокоит. Цену он назначил в тысячу рублей, то есть для себя небоольшую. Я его поблагодарил и сказал, что первую часть лета в Прилепах пишет лошадой Самокиш, который уже приступил к работе, а в августе приедет старик Френц, что я и его прошу также приехать в августе, полагая, что они друг другу мешать не будут. «Нет, это неудобно, – ответил Серов, – лучше я приеду ранней весной будущего года, но ваше приглашение и заказ буду считать состоявшимися». Этот ответ меня очень разочаровал, и я тогда сказал Серову, что напишу Френцу и попрошу его отложить приезд в Прилепы. «Не делайте этого, прошу вас, – вновь заговорил Серов и затем, как-то загадочно улыбнувшись, добавил: – Френц очень стар, ему, вероятно, под восемьдесят лет, и он может не дожить до будущей весны, и тогда вы останетесь без его картины. А я моложе, сейчас чувствую себя хорошо и будущей весной обязательно буду у вас». Пригласив меня очень любезно к себе и обещая при этом показать рисунки лошадей, художник простился со мною и вернулся в классы. Мне не суждено было побывать у Серова и больше никогда не довелось его увидеть, ибо в августе того же года он скорострительно скончался. Об этом я узнал в деревне из газет и глубоко скорбел как за русское искусство, так и за то, что приезд Серова ко мне так и не состоялся. Не мог я также не вспомнить слов Серова о Френце и возможной смерти старого художника и о том, что он, Серов, проживет дольше. Серов не чувствовал, что дни его сочтены и что для него роковая минута смерти быстро приближается.

Часто бывая у Д. А. Расторгуева в его московском доме, я постоянно любовался двумя весьма удачными портретами кисти барона Н. А. Клодта. Это были портреты известного белого жеребца Серебряного и победителя Императорского приза мосоловского Быстрого. Заводом Расторгуева управлял г-н Варли, на дочери которого был женат Н. А. Клодт. Бывая в Тарычеве еще совсем молодым человеком, а потом женихом, Клодт и написал эти портреты по просьбе Варли. Надо полагать, что они являются наиболее ранними работами этого художника. Особенно хорош портрет Серебряного, изображенного на фоне лесистого пейзажа тарычевского имения. Глядя на две эти работы Клодта, я возымел желание пригласить его в Прилепы. Расторгуев взялся устроить наше знакомство. Действительно, через неделю он пригласил меня и Клодта в «Эрмитаж» завтракать. Клодт был тучный и рыхлый человек, небольшого роста, приземистый, с походкой вразвалку, по-видимому, ленивый и довольно небрежно и просто одевавшийся. Он охотно дал свое согласие приехать в Прилепы и тем же летом побывал у меня. Засим года три кряду он приезжал ко мне, жил по две-три недели и написал несколько портретов моих лошадей.

К тому времени, к которому относится мое приглашение, Клодт был уже из-

вестным художником и членом Союза – так называлась одна из наиболее популярных в Москве художественных организаций, выставки которой в течение ряда лет пользовались постоянным успехом. Вокруг Союза группировались многие известные художники, которые были в оппозиции к академии и другим художественным кругам Петербурга. В Союз входили преимущественно москвичи, за ними упрочилась репутация передовых художников и законодателей вкуса для московского, всегда и всем недовольного и либерального купечества. Картины Клодта были интересны. Он был пейзажистом, но любил иногда писать лошадей. Это не удивительно, так как был он родным внуком знаменитого скульптора-лошадника П. К. Клодта и любовь к лошади у него была, так сказать, наследственная. Когда умер один их двоюродных братьев Клодта, он наследовал три замечательных произведения своего знаменитого деда: проект памятника Николаю I, конно-артиллериста в полной парадной форме на гнедой лошади и буланого жеребца на дыбах. Последние две лошади были резаны их палисандрового дерева и раскрашены по просьбе самого скульптора Сверчковым. Особенно замечательна буланая лошадь. Н. А. Клодт свез эти работы в Третьяковскую галерею и предложил их у него купить. Цены были назначены очень высокие: за проект памятника – 5 тысяч рублей, за артиллериста – 15 тысяч и за буланую лошадь – 3500 рублей. Совет академии приобрел памятник Николаю I, я купил буланого жеребца, а артиллерист остался непроданным. Сейчас же после покупки проект памятника был выставлен в одной из зал Третьяковской галереи, а Клодт и я временно оставили на хранение наших лошадок в зале совета галереи. Я не хотел брать своего жеребца потому, что к тому времени старый мой дом в деревне сгорел, новый лишь строили, а Клодт решил все же продать артиллериста Третьяковской галерее. Революция застала наши статуэтки в галерее, и они были национализированы. Таким образом, я потерял 3500 рублей, а наследники Клодта – своего артиллериста верхом.

Расскажу здесь, между прочим, один эпизод, имевший место со знаменитым скульптором и лично мне переданный его внуком Н. А. Клодтом. Император Николай I очень ценил П. К. Клодта и часто навещал мастерскую знаменитого скульптора. Как-то однажды, рассматривая работы в мастерской, он пришел в подлинный восторг от какой-то статуэтки, изображавшей идеальную по красоте и правильности форм лошадь. «Ну знаешь, Клодт, – воскликнул государь, – ты делаешь лошадей лучше всякого жеребца!» Это, в сущности, грубое сравнение не лишено, однако, верности и некоторого остроумия, ибо немного жеребцов-производителей давали таких правильных и красивых лошадей, каких умел резать и лепить Клодт.

В Прилепах Н. А. Клодт написал портреты Громадного, Нежаты, Слабости, Безнадежной-Ласки, Поземки, Ветрогонки и Порфиры. До моего заказа он писал, как я уже упомянул, два портрета Расторгуеву и одно время, в девяностых годах, сделал ряд рисунков для журнала «Русский спорт». Именно в Прилепах Клодт познакомился с паточным королем Н. А. Понизовкиным, который заводил тогда рысистую охоту и завод и, не моргнув глазом, выписывал мне чеки за лошадей по 50 тысяч рублей. Он же предлагал мне за мою картинную галерею 600 тысяч, но я ее, конечно, не продал, так как в то время любил картины, быть может, больше, чем лошадей. По моему совету Понизовкин пригласил Клодта к себе на фабрику в Ярославскую губернию, и тот начал там писать для него портреты лошадей. Впоследствии, во время революции, эти портреты, украденные у Понизовкина, за гроши распродавались в антикварных магазинах и различных аукционных залах Москвы. Понизовкин очень сошелся с Клодтом, их семьи подружились. Когда я через год встретился с Понизовкиным и речь зашла об искусстве и картинах, он мне торжественно

заявил, что ничего не покупает, так как считает Клодта лучшим русским художником, а потому приобретает только его произведения!

Н. С. Самокиш, приехав в Прилепы после того, как Клодт написал здесь свои первые два портрета, осмотрел их и верно заметил: «Это, конечно, весьма грамотный художник, и он с равным успехом может написать все что угодно». Заветной мечтой Клодта было стать академиком, и он мне в этом как-то сознался, прося моей поддержки, ибо я имел весьма значительные связи в академических кругах. Невольно улыбнувшись на это признание, ибо оно исходило от московского «бунтаря», не признававшего академии, я тем не менее уже не смог помочь ему, ибо случившаяся революция упразднила не только звание академика, но и на долгие годы сделала ненужным и само искусство.

Я часто бывал в Петербурге, главным образом для покупок картин, и не помню уже, где и через кого познакомился с художником и критиком по вопросам искусства газеты «Новое время» Николаем Ивановичем Кравченко. Как художник Кравченко был довольно-таки посредственной величиной, но рисовальщик он был смелый и бойкий. Он окончил одесскую художественную школу и был учеником известного на юге художника Костанди. Как критик был едок, остроумен и очень интересен. Перед ним заискивали, его угощали, приглашали и баловали все те, кто нуждался в его пере или же боялся его. А нуждались в нем, конечно, очень и очень многие, ибо «Новое время» было самой влиятельной петербургской газетой и попасть на зубок Кравченко никому не хотелось. Кравченко сказал мне несколько небольших любезностей при покупке картин, и у нас установилось знакомство. Затем он пригласил меня к себе и показал свои работы. Он весьма прозрачно намекнул на то, что недурно пишет лошадей, но я был другого мнения и сделал вид, что не понял намека.

Вскоре после этого утром у меня в номере раздался телефонный звонок, и Кравченко, извинившись, что так рано беспокоит, просил разрешения приехать по делу. Не успел я одеться, как явился Николай Иванович. Стоит сказать несколько слов о его наружности. Он был громадного роста, черный, как жук, имел длинные, настоящие запорожские усы и всем своим обликом, манерой говорить и держать себя напоминал южанина. Это был человек с большим темпераментом, очень горячий. Держал он себя развязно, говорил громко, но имел приятный, мелодичный тембр голоса. Видно было, что ему пришлось много пережить, многим пренебречь и на многое наплевать, прежде чем он выбрался в люди. Кравченко начал свою речь издалека. «Известно ли вам, Яков Иванович, что ежегодно в декабре самая большая английская газета «Таймс» издает русский номер со многими иллюстрациями и статьями о России?» – спросил он. «Нет, я этого не знал, – ответил я, – так как, к сожалению, не говорю по-английски». «Петербургский корреспондент «Таймс» мистер Вильтон, – продолжал Кравченко, – вчера обратился ко мне с просьбой дать для этого номера описание если не самого большого, то обязательно одного из лучших рысистых заводов России и снабдить эту статью рисунками моего пера. Вы, конечно, понимаете, какая это реклама для того завода, который я изберу, какая это для него известность. С вашего разрешения я хочу описать ваш завод, для чего мне надо будет на днях выехать в Прилепы». Затем Кравченко весьма недвусмысленно заметил, что по делу могут встретиться расходы, но что это сущие пустяки по сравнению с той известностью, которую получит мой завод. Я понял, в чем дело, и, улыбнувшись ему, ответил, что я недаром и сам был когда-то причастен к журналистике и даже был издателем, а потому считаю, что расходы по этому «делу» должен оплатить г-н Вильтон за счет издателей «Таймса». А оттого что мой завод будет описан в «Таймсе», мои двухлетки ни на йоту не станут резвее, а у нас теперь охотники только за секунды платят деньги. Впро-

чем, я готов помочь милейшему Николаю Ивановичу и дам ему все необходимые материалы для написания такой специальной статьи, ибо без них он все равно ее никогда не напишет, и затем согласен купить оригиналы тех рисунков, что исполнит в Прилепах Кравченко и которые потом будут напечатаны в «Таймсе». Кравченко добродушно рассмеялся, поблагодарил меня, и было решено, что я ему плачу по 25 рублей за рисунок. От меня Николай Иванович позвонил Вильтону и сказал, что описан будет мой завод. Уходя, Кравченко пригласил меня в ближайшую пятницу к обеду, говоря, что у него будут только художники и его коллеги по «Новому времени». Я охотно принял приглашение. В заключение Кравченко весьма внушительно заметил, что будет и Михаил Осипович. Нетрудно было догадаться, что Михаил Осипович – это Меншиков, знаменитый публицист и гроза всех канцелярий и всего бюрократического Петербурга.

Когда я в пятницу пришел к Кравченко, все общество было уже в сборе, но, видно, еще кого-то ждали. Гости были в черных сюртуках, и здесь, кроме Самокиша, Крыжицкого, Маковского и еще двух художников, было человек шесть или семь ведущих сотрудников, так сказать, столпов «Нового времени». Все были коротко знакомы между собой, и, представляя меня, Кравченко торжественно заявил, что я бывший издатель и журналист. Это произвело хорошее впечатление, и за нашей спиной раздалось: «Значит, мы в своем тесном кругу!» Все обернулись, и хозяин воскликнул: «Ах, Михаил Осипович, добро пожаловать, ждем!» Меншиков, а это был он, вынул часы и показал хозяину: было ровно семь, минута в минуту. Я с особым вниманием вглядывался в Меншикова. Это был худой человек маленького роста, с большой головой, маленькой козлиной бородкой и в золотых очках, одетый в сюртук весьма скромного покроя и, по-видимому, от посредственного портного. «Как он похож на деревенского дьячка, – подумал я, – в особенности, если снять с него золотые очки, одеть ему на нос очки в оловянной оправе и дать в руки трезник – так и кажется, что сейчас запоет гнусавым голосом и молебен начнется».

Обед проходил очень весело и оживленно: говорили много, остряли и злословили еще больше – впрочем, не забывали и пить. Все чувствовали себя непринужденно, и я с большим интересом слушал и наблюдал. В конце обеда Меншиков ударил слегка вилочкой по бокалу, и мгновенно воцарилась тишина. Меншиков говорил легко и остроумно, он рассказал о том, что на такой-то выставке появились картины, и очень неплохие, хотя и подражание Крыжицкому. «И кем эти картины написаны, как бы вы думали? – с возмущением в голосе спросил Меншиков и замолчал. – Великой княгиней Викторией Федоровной!» – при гробовом молчании, обводя всех торжествующим взглядом, закончил Меншиков. Шум поднялся невообразимый. Я сразу вспомнил героев Диккенса и закричал: «Слушайте! Слушайте!» Молчание воцарилось вновь, и Меншиков разразился громовой речью против великих князей, которые дерзают отбивать у людей свободной профессии кусок хлеба: «Ведь этак нам и житья-то не будет. Представьте только себе: сегодня Виктория Федоровна пишет картины, завтра Николай Николаевич начнет помещать фельетоны в «Новом времени», а там Борису Владимировичу придет фантазия плясать на канате в цирке... Что же будет с нами – художниками, журналистами и актерами, если великие князья придут в наши профессии и не уступят нам своей?!» Речь Меншикова имела оглушительный успех, но больше всего волновался и возмущался сам Крыжицкий, который бил себя по карману и кричал: «Нас грабят!» Я долго и от всей души смеялся, так забавна была вся эта сцена, а когда обед кончился, сердечно поблагодарил хозяина, искренне говоря, что давно так весело не проводил времени. После обеда я заехал в гостиницу, чтобы переодеться и ехать к светлейшему князю Лопухину-Демидову, или Сандрику, как все его называ-



ли, куда был приглашен. Там мой рассказ об обеде Кравченко и речах Меншикова имел огромный успех, и Сандрик сейчас же позвонил Борису Владимировичу, с которым был на дружеской ноге. На другой день весь Петербург смеялся по поводу речи Меншикова и на выставке перед картинами великой княжны Виктории Федоровны было столпотворение вавилонское. Распорядителя выставки замучили вопросами о том, продаются ли картины и какая им цена, и к вечеру над картинами уже красовались билеты, извещавшие, что они выставлены вне конкурса и не продаются.

Прошло несколько дней, и мы с Кравченко уехали в Прилепы. Курьерский поезд из Петербурга в Тулу приходил около четырех часов дня. Было уже темно, и мы на пегой тройке гусем ехали с факелами в деревню. Кравченко пришел в восторг от этой ночной езды и сказал, что с ее описания он и начнет свою статью для «Таймса». Николай Иванович очень быстро сделал десять зарисовок пером и среди них – большой картон, изображавший Громадного на выводке, тут же он поместил и меня с управляющим заводом Ситниковым. Кравченко был талантливым журналистом и работал быстро; он окончил в пять дней статью и рисунки и все это срочно отправил в Петербург к Вильтону, а сам еще остался на три дня погостить. Здесь с ним произошел следующий курьез. Вечером, сидя в кабинете за сигарами, мы мирно беседовали, и Кравченко сказал, что он хотел бы на следующий день сделать с натуры жанровую картинку. После долгого обсуждения решили, что будет запряжен пегий рабочий мерин в простые розвальни, кто-либо из работников сядет в сани и что в таком виде, среди зимнего пейзажа, и будет написан этюд. С вечера я отдал все необходимые распоряжения, но уже утром за кофе Кравченко, который был большой лентяй, сказал мне: «Знаете ли, Яков Иванович, я решил писать не маслом, а акварелью, а потому, прошу вас, сделайте распоряжения, чтобы сани подъехали к окну, и я буду писать из кабинета». Я от души посмеялся и заметил, что так писать, да еще и с сигарой во рту, куда приятнее, чем на морозе, после чего стал торговать будущий этюд. Мне хотелось сделать любезность Кравченко, и я просил его назначить цену. Он запросил 250 рублей.

– Как, за этюд, который еще не написан, 250 рублей?! – воскликнул я. – Да ведь за эти деньги можно купить акварель Соколова!

– А что же, я, по-вашему, напишу хуже Соколова? – обиделся Кравченко.

– Ну, не хуже, а может быть, лучше, – заметил я. – Но все же сознайтесь, такого знания лошади, как у Петра Соколова, у вас нет.

– Это верно, уступаю 50 рублей.

– Уступите еще сто, и этюд будет мой!

Кравченко стал поносить всех нас, коллекционеров, говоря, что мы жмоты и снимаем с их брата, художника, рубашку и что менее 150 рублей он взять никак не может.

– Сто рублей и ни фартинга больше, – сказал я. – Подумайте только, какой редкий, небывалый случай: у вас покупают картину даже не на корню, а то, что еще не существует в природе. Приехав в Питер, вы можете об этом рассказать приятелям, и вечером в тот же день в «биржовке» Брешко-Брешковский начинает статью, строк этак на полтора, о том, как за вашими произведениями гоняются коллекционеры, что их покупают даже до написания таковых.

– Ладно, согласен, – сказал Кравченко. – Делаю это только для вас, как крупнейшего коллекционера, – и встал из-за стола.

Я стал одеваться, чтобы идти на конюшню на обеденную уборку, где имел обыкновение проводить около часа. Вернувшись домой, застал Николая Ивановича в покойном кресле, с сигарой во рту. Вид у него был довольный, но он усталым голосом обратился ко мне и сказал:



П. Н. Грузинский  
*Почтовый брик*



П. Н. Грузинский  
*Масляничное катанье*

– Этуд написан. Я им доволен. Но как мало вы, коллекционеры, цените труд художника... Я это говорю не к тому, чтобы вы прибавили цену – вещь продана за сто рублей и баста, – а хочу лишь подчеркнуть, что мы, художники, задаром работаем.

– Раз вы поднимаете принципиальный вопрос о плате вообще, то мне



*Интерьер верхового зала музея*

интересно знать, какая цена вас удовлетворила бы вполне. Скажем, сколько бы вы хотели получить за свою работу, ну хотя бы в одну минуту?

– Рубль в минуту, – не задумавшись ответил Кравченко.

Я нажал кнопку звонка. Когда вошел лакей, спросил его, в котором часу я ушел на конюшню.

– В половину двенадцатого, как всегда, – последовал ответ.

– А сейчас который час?

– Половина первого.

– Можешь идти, – отпустил я Никанорова и, обратившись к Кравченко, сказал: – Итак, Николай Иванович, вы еще не начинали писать, когда я уходил в половине двенадцатого. Когда я пришел в половине первого, вы уже закончили вашу работу и кейфуете в кресле. Иначе говоря, вы писали менее часа. Но я буду широк и уплачу вам по вами же назначенному тарифу за час. Получите вместо ста рублей шестьдесят!

Тут только Кравченко сообразил, что он попал впросак, и, как ни изворачивался, вынужден был признать себя побежденным.

На следующий день Кравченко уезжал в Петербург, и я, вручив ему сто рублей за этюд, расстался с ним дружески и думать забыл про «Таймс». Однако мне было еще суждено в стенах Александровского лицея стать предметом едва ли не овации – и все по поводу той же статьи и рисунков Кравченко. Вот как это произошло.

Мой приятель Ильюша Лодыженский заехал ко мне в Прилепы, и мы вместе с ним уехали в Петербург. Прошло недели три, и как-то Ильюша предложил мне вместе с ним навестить его двоюродного брата. Я охотно принял предложение, и мы поехали на Каменноостровский, где находилось знаменитое учебное заведение, видевшее в своих стенах Пушкина и многих других замечательных людей. В приемной, куда мы прошли, было довольно много посетителей. К нам вышел милый молодой человек, родственник Лодыженского, и начал рассказывать, что сегодня у них на лекции профессор английского языка показывал им русский номер «Таймса» и переводил очень интересную статью о знаменитом риссистом заводе Бутовича. Среди лицеистов было много лошадиников, и они с большим интересом слушали лекцию. Когда Ильюша сказал, что это мой завод описан в «Таймсе», то молодой человек был удивлен и высказал удовольствие знакомству с коннозаводчиком, завод которого описывается даже в лучшей английской газете. После этого он просил меня познакомиться с его приятелями, и мы отправились наверх. Здесь меня окружили, много расспрашивали о Громадном и вообще о лошадях и устроили мне прямо овацию. С трудом вырвавшись наконец из круга этой милой и так националистически настроенной молодежи, мы с Ильюшей вернулись в гостинцу, и я позвонил Кравченко, прося его прислать мне тот номер «Таймса», где была напечатана статья.

Последние два года войны я был очень занят на должности сначала члена ремонтной комиссии, а потом ее председателя и приезжал в Прилепы всего лишь на два-три дня, и то с большими перерывами. Лишь в 1919 году вновь начали приезжать ко мне художники и писать в Прилепах картины и портреты лошадей.

После двух первых, самых бурных, лет революции, осенью 1919 года, мне представилась возможность вновь, после почти четырехлетнего перерыва, пригласить в Прилепы кого-либо из художников. Выбор свой я остановил на московском художнике К. Ф. Юоне, который был, как и Клодт, членом Союза. Юон считался одним из самых видных участников выставок Союза. Незадолго до этого появилась его монография, и мне нравился тот тип лошадей, которых он иногда изображал. Я решил, что Юон напишет лошадь грамотно и интересно.



П. Н. Грузинский  
*Великий князь М. И. Романов на Кавказе на тройке зимой*



*Интерьер рысистого зала музея*

К сожалению, в своих предположениях я ошибся. Кто познакомил меня с Юоном, вспомнить решительно не могу. В Прилепы художник приехал в августе 1919 года и пробыл около месяца. По словам художника, отец его был швейцарским гражданином и, приехав в Россию, занимался страховым делом. Молодой Юон вырос в Москве, получил здесь художественное образование и навсегда остался в этом городе. Человек он был мягкий, в свое время, вероятно, малообщительный, а теперь только ныл, ругая большевиков, и стонал. Словом, хотя время было тяжелое, но он уж очень упал духом, и это, я думаю, отразилось на тех работах, которые он написал в Прилепах. Еще в Москве мы условились, что он напишет два портрета за 14 тысяч рублей, то есть по 7 тысяч за портрет. Юон написал Кронпринца на выводке. Затем им была написана голова Урны с жеребенком Усаном. Оба полотна в портретном, да и в художественном отношении слабы и неудачны. Кроме того, Юон исполнил небольшой портрет кобылы Пахиты на фоне интересного пейзажа. Пахита написана великолепно, тип ее и формы передалы превосходно, живописен и прелестен пейзаж. Словом, этот портрет – один их самых интересных в моем собрании среди портретов современных нам художников.

В следующем, а именно в 1920 году лето в Прилепах провел С. А. Виноградов – тоже москвич и участник Союза. Виноградов получил звание художника за картину, в которой, между прочим, фигурировала лошадь, написанная с большим знанием и любовью. Затем раза два или три в антикварных магазинах Петербурга я видел этюды лошадей Виноградова, и, наконец, было известно, что он писал портреты для Московского скакового общества и для харьковского коннозаводчика И. Т. Харитоненко. Я хорошо знал портреты, принадлежавшие скаковому обществу, и находил их интересными и удачными. Такой же благоприятный отзыв в свое время дал мне Харитоненко о тех портретах, которые писал Виноградов для него. Словом, все сулило, что приезд Виноградова в Прилепы будет удачен, и я был рад, когда он принял мое приглашение.

Виноградов, один из наиболее видных художников Москвы, был также признан и петербургскими художественными кругами, имел звание академика живописи. Это был сухой, подвижный, очень изящный и элегантный человек с небольшой русой бородкой и большими, вдумчивыми, красивыми глазами. Он превосходно одевался, хорошо держал себя в обществе и был вполне светским человеком. В Прилепах он прогостил у меня все лето и написал три портрета. Удачнее других – портрет Кронпринца, написанный в яркий солнечный день перед домом. Жеребца держит Ваня Лыков, конюх-красавец и сердцеед, он в синей рубахе, протягивает яблоко жеребцу. Кронпринц нарисован превосходно, и это, несомненно, его лучший и наиболее точный портрет. Другого производителя завода – рыже-бурого жеребца Лакея – Виноградов написал менее удачно. Он его несколько растянул и сделал голову более грубой, чем она была в действительности. Масть Лакея, впрочем, передана превосходно. Кроме того, на небольшой дощечке Виноградов очень удачно и точно написал Безнадежную-Ласку и подарил мне этот этюд. Года через два после своего пребывания в Прилепах Виноградов уехал в Америку и, как я слышал, имеет там как художник и иллюстратор большой успех.

В том же 1920 году в Прилепах гостил и писал еще совсем молодой человек, ученик училища живописи и ваяния, некто Позняков. Я познакомился с ним случайно в Ефремове. В то время я занимался вместе с Силиным торговлей лошаадьми и часто ездил в Ефремов для их закупки и отправки в Москву. В свободное время от нечего делать я бродил по Ефремову и как-то зашел в художественную школу. В то время в каждом, даже провинциальном, городке пролетариат усиленно учился рисовать и писать. В ефремовской школе Позня-

ков был преподавателем. Он был, несомненно, талантлив. Его работы мне понравились, и я пригласил его в Прилепы. К сожалению, Виноградов не захотел помочь молодому художнику, и тот работал один. В Прилепах остался портрет Л. Ф. Ратомского кисти Познякава.

В 1921 году я пригласил Л. В. Туржанского. Это был уже известный художник, он много и часто писал лошадей, был учеником Серова. Он выработал свой, особый тип крестьянской лошади, и, глядя на картину, можно было безошибочно сказать, что эта картина – кисти Туржанского. Колорит его не был приятен, все его тона были серы и сумрачны, как, впрочем, и вся жизнь этого художника – скромная, полная труда и лишений. Следует отметить еще одну, крайне неприятную черту этого художника: он был очень неряшлив и неразборчив в пользовании материалом для своих картин, писал самыми плохими, дешевыми красками на скверном полотне или плохом картоне. Словом, он не имел никакого уважения к тому материалу, с которым работал. В Прилепах Туржанский написал портреты Урны, Ненависти, Жар-Птицы, Приятельницы и Леды. Все эти портреты написаны широко и смело, сочным, чересчур жирным и небрежным мазком, именно в той манере, которую я не любил. Некоторое сходство в этих портретах все же есть, а Леда написана и совсем недурно. Так как Леда пала рано, совсем еще молодой кобылой, то это единственный ее портрет. Ввиду того что Леда – мать знаменитого рекордиста Ловчего, портрет ее, написанный Туржанским, приобретает большое историческое значение.

В 1922 году приехал из Петербурга и провел у меня все лето Т. К. Савицкий – сын знаменитого художника Константина Аполлоновича Савицкого. Я познакомился с ним в Петербурге весной того же года при посредстве известного антиквара Б. К. Чекато. С Чекато я поделился намерением пригласить кого-либо из молодых художников писать лошадей.

Я полагал, что лучше других с этой задачей справится Маковский, сын знаменитого профессора живописи В. Е. Маковского. «А я обращаю ваше внимание на молодого Савицкого, – сказал Чекато. – Это очень большой талант, будущая знаменитость. Пользуйтесь временем, пока он не вошел еще в славу, а то потом придется платить тысячи за его работы. Советую вам настоятельно сходить на Морскую, на выставку петербургских художников, которая только что открылась, и посмотреть его работы».

На другое утро я пошел на выставку, и произведения Савицкого произвели на меня самое приятное впечатление. Он превосходно рисовал, умел дать движение. Его картины обладали ярким и сильным колоритом. Чувствовалось, что это художник большого темперамента и большого таланта. Оставив у распорядителя выставки свою визитную карточку, я написал на ней несколько слов, прося Савицкого зайти ко мне в гостиницу. Дня через три он зашел ко мне, и мы познакомились. Это был еще сравнительно молодой человек, сухощавый и очень подвижный. По наружности он очень напоминал нашего знаменитого поэта Пушкина, очевидно, знал это и носил такие же бакены, как и Пушкин. Из гостиницы мы поехали к нему в мастерскую, и там я осмотрел ряд его работ. Савицкий очень охотно принял приглашение и летом приехал в Прилепы. Здесь он много писал для себя, а для меня исполнил портреты Бурливой, Безнадежной-Ласки, Эльборуса и Купли. В Савицком я не ошибся и нашел наконец настоящего лошадиного портретиста. Савицкий любил и понимал лошадь. Эта любовь у него была наследственной: еще его отец Константин Аполлонович любил и хорошо рисовал лошадей. В портретах Савицкого прежде всего бросается в глаза четкость рисунка, большое сходство с натурой и превосходное письмо. Его портреты лошадей есть действительно портреты, а не только

наброски с натуры. Небольшое его произведение «Эльборус на ходу» – серьезная и талантливая работа.

Я относился к Савицкому хорошо, поддерживал его и дал несколько заказов для коннозаводского ведомства. В Прилепах Савицкий познакомился с очень милой барышней, Ольгой Цезаревной Мощинской, и через год на ней женился. Он один из немногих художников в Советском Союзе, которые хорошо устроены, имеют много заказов, много пишут и не нуждаются. После 1922 года мои средства настолько иссякли, что я не мог уже приглашать к себе художников, и Савицкий был последним, кто посетил Прилепы.





# СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

По книге Д. Я. Гуревича и Г. Т. Рогалева  
«Словарь-справочник по коневодству и конному спорту»

**АЛЛЮР** – способ движения. Часто ошибочно считают быстрым движением лошади.

**АЛЛЮР ТРИ КРЕСТА** – образное выражение, означающее сверхбыстрое исполнение какого-либо дела. На пакетах с военными донесениями крестами, одним или двумя, обозначали скорость, с которой донесение необходимо доставить адресату: один крест 8-10 км/час, два – до 12 км/час.

**АМЕРИКАНКА** – двухколесный экипаж с большими колесами радиусом около 1,5 метра; используется для ипподромных испытаний рысаков.

**АМЕРИКАНСКАЯ СТАНДАРТБРЕДНАЯ ПОРОДА** – «отвечающая стандарту», отличается скороспелостью и выдающейся резвостью. Американский рысак – рысистая лошадь американской стандартбредной породы.

**АРБА** – двухколесная одноконная безрессорная повозка.

**АРГАМАК** – старинное собирательное название для породистых восточных лошадей.

**БЕГОВОЙ КРУГ** – длина 1067 метров (верста) или 1600 метров (полторы версты), ширина 12–16 метров.

**БЕРЕЙТОР** – специалист по выезде верховых лошадей.

**БЕСПОВОДНОСТЬ** – дурная привычка лошади не принимать давления удила.

**БЕСТАРКА** – кузов в виде ящика, позволяющий перевозить незатаренные сыпучие грузы.

**БИТЮГИ** – первая в России отечественная порода утяжеленных рабочих лошадей.

**БЛИЗОРУКОСТЬ** – недостаток зрения, обуславливающий у лошадей повышенную пугливость. При этом лошади пугаются теней, пятен и мелких предметов на дороге. Поэтому часто лошадям надевают на переносицу муфту или блиндеры, закрывающие глаза лошади сбоку.

**БОНИТИРОВКА** – оценка племенных качеств лошади. Оценивают происхождение, типичность, экстерьер, работоспособность, качество потомства.

**БРИК** – тяжелая, крытая многоместная повозка.

**БРИЧКА** – легкий открытый экипаж.

**БРОВКА** – внутренняя боковая граница дорожки бегового круга. Наружная бровка называется полевым краем или «полем».

**БУКМЕКЕР** – частный предприниматель, ведущий игру на скачках или бегах.

**БУЛАНАЯ МАСТЬ** – желтовато-золотистая или песочная. Грива, хвост и ноги ниже скакательных и запястных суставов черные.

**ВАРОК, ПАДДОК** – прямоугольная огороженная площадка для случки или выгула лошадей поодиночке или группами.

**ВЕНЧИК** – верхний край копыта, от которого отрастает роговая стенка. Надавливая на венчик, проверяют состояние нервной системы лошади.

**В ЗАГАРЕ** – грязновато-бурый оттенок корпуса вороных лошадей.

**ВОЗЧИК** – рабочий, занятый перевозкой грузов.

**ВОЛЬТИЖИРОВКА** – гимнастические упражнения на лошади, двигающейся по кругу.

**В РУКАХ** – выражение, означающее, что лошадь легко выиграла заезд или скачку – без посылы со стороны наездника (жокея).

**ВЫВАЖИВАНИЕ** – проводка лошади шагом после работы до полного остывания.

**ВЫВОДКА** – показ лошади на специально оборудованной площадке перед зрителями, покупателями, комиссией.

**ВЫВОДНАЯ ЛОШАДЬ** – импортированная из какой-либо зарубежной страны.

**ВЫЕЗДКА** – обучение молодой лошади.

**ВЫЖЕРЕБКА** – роды у кобылы. Происходят большей частью ночью, продолжаясь около 30 минут.

**ВЫЙТИ ПОЛЕМ** – обогнать соперников, двигаясь ближе к наружной бровке бегового круга.

**ВЫШЛА ИЗ ПОРЯДКА** – лошадь стала вялой, потеряла аппетит, стала хромать и т. п.

**ГАЛОП** – самый быстрый скачкообразный аллюр.

**ГАНАШИ** – углы нижней челюсти лошади. Пространство между ганашами называется подщечиной, подвилицей. Оно должно быть настолько широким, чтобы при сборе лошади, когда она приподнимает шею и сдает в затылке, не затруднялось ее дыхание. Ширина достаточна, если между ганашами свободно проходит кулак.

**ГАНДИКАП** – утяжеление условий испытаний более сильным по полу, возрасту или классу лошадям или предоставление преимуществ более слабым для уравнивания их шансов на успех при совместном участии в состязаниях.

**ГАНДИКАПЕР** – уполномоченный, составляющий гандикапы.

**ГИТ** – однократное прохождение дистанции при ипподромных испытаниях. Некоторые традиционные призы разыгрываются в два или три гита.

**ГНЕДАЯ МАСТЬ** – коричневая разных оттенков при черных ногах, гриве и хвосте. Лошади с белесой шерстью на конце морды, в пахах и на животе называются подласыми.

**ГОДОВИК** – лошадь в возрасте одного года.

**ГОЛОВА В ГОЛОВУ** – одновременное пересечение линии финиша.

**ГРЕЧКА** – мелкие темные пятнышки на шерсти старых светло-серых лошадей.

**ГРИВА** – длинные защитные волосы, растущие на верхне-заднем краю (гребне) шеи; опускается на одну сторону шеи или раздваивается. У коренника в тройке гриву кладут на правую сторону, у пристяжных на наружную. У верховых налево.

**ГРУМ** – конюх, коновод, сопровождающий всадника.

**ГРЫЗЛО** – часть мундштука, которая лежит во рту лошади на беззубом крае нижней челюсти.

**ГУЖ** – петля на хомуте, который применяют в дуговой упряжи. Пара гужей, расположенных по бокам хомута, соединяет его с оглоблями и передает тяговое усилие лошади.

**ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ** – перевозка пассажиров и грузов в повозках, запряженных лошадьми и другими упряжными животными.

**ГУНТЕР** – верховая лошадь, рожденная от чистокровного верхового жеребца и упряжной кобылы.

**ДВУКОЛКА** – одноконная одноосная рессорная повозка для двух человек.

**ДВУХЛЕТОК** – лошадь в возрасте двух лет.

**ДЕННИК** – закрытое помещение в конюшне для индивидуального содержания лошади без привязи, площадью 9-14 кв. м.

**ДЕРБИ** – 1. Главный приз, который разыгрывают с 1780 года на Эпсомском ипподроме в Англии для трехлетних жеребцов и кобыл чистокровной верховой породы; назван по имени учредителя – лорда Дерби. 2. Во многих странах главные призы для чистокровных лошадей и рысаков, разыгрываемые по правилам Дерби.

**ДЕРБИСТ** – в обиходе название лошадей, ставших обладателями призов, носящих неофициальное название Дерби.

**ДИЛИЖАНС** – многоместный экипаж.

**ДИСТАНЦИЯ** – расстояние от старта до финиша. При испытаниях рысаков составляет 1600, 2400, 3200 метров.

**ДОРОЖКА** – разговорное название бегового или скакового круга.

**ДРАГУНЫ** – вначале название кавалеристов, способных сражаться в пешем строю. Со второй половины XIX века отличия драгун от других видов конницы стали чисто формальными, так как все кавалерийские части проходили боевую подготовку по единой программе.

**ДРОЖКИ, ВОЛОЧКИ** – короткие дроги для езды в городе. Дорога – продольный брус, соединяющий переднюю ось с задней.

**ДУГА** – часть русской упряжи, соединяющая хомут с оглоблями и смягчающая воздействие на лошадь толчков повозки.

**ДУРНЫЕ ПРИВЫЧКИ ЛОШАДИ** – прикуска, медвежья качка, кусание собственных боков, заступление на венчик, перебрасывание языка через удило, стремление идти через повод, неравномерный упор в повод, вскидывание головы, брыканье, вставание на дыбы.

**ДЫШЛО, ПАРОКОН** – жердь, соединенная с серединой передка повозки, экипажа. Запрягаемых лошадей ставят по обе стороны дышла.

**ЕЖОВОЕ КОПЫТО** – ревматическое воспаление копыта, из-за которого копытная стенка делается кольчатой.

**ЕЗДОВЫЙ** – солдат, управляющий лошадьми, запряженными в повозку или орудие.

**ЖЕРЕБЕНОК** – детеныш лошади; до отъема называется сосуном, после – отъемышем, затем годовиком, полуторником и двухлетком.

**ЖЕРЕБОСТЬ** – беременность кобылы; продолжается около 11 месяцев.

**ЖЕНСКОЕ СЕМЕЙСТВО** – то же, что маточное семейство.

**ЗАВОДСКАЯ ЛИНИЯ, МУЖСКАЯ ЛИНИЯ** – племенные лошади, происходящие от выдающегося родоначальника и сходные с ним по конституции и работоспособности. Обычно поддерживаются в течение 3–5 поколений, затем или полностью исчезают в результате кроссов линий, или разветвляются, выделяя новые мужские линии.

**ЗАВОДСКАЯ КНИГА** – основной документ племенного дела. В нее записывают всех производителей и маток, а также полученный от них приплод.

**ЗАЕЗД** – испытание, соревнование рысаков по общей дорожке на установленную дистанцию. Состав участников заезда определяет комиссия, которая производит запись на основании поданных заявок. Порядковые номера определяют жеребьевкой сейчас же после записи лошади.

**ЗАЕЗДКА** – первоначальный период приучения лошади к хождению в упряжи или под седлом. У рысаков заездку начинают с 10–12 месяцев и раньше.

**ЗАКЛАДЫВАТЬ ЛОШАДЬ** – запрягать в экипаж.

**ЗАПИСКА** – название заявки на участие лошади в бегах или скачках.

**ЗАСЕЧКА** – рана, которую лошадь наносит себе, задевая копытом одной конечности о другую. Возникает из-за неправильной постановки ног лошади или дефектов ковки.

**ЗА ФЛАГОМ** – выражение, означающее, что лошадь, участвующая в заезде, отстала от победителя больше, чем допускают правила. В прошлом на ипподромном кругу устанавливали флаг, отстоящий от финиша на 40–70 сажень. В дальнейшем отставание стали определять временем. В настоящее время отставание учитывают только в рысистых испытаниях (6–10 секунд, в зависимости от возраста и дистанции). Выступление наездника, лошадь которого осталась за флагом, не засчитывается ему в план.

**ЗАХВАТИТЬ** – поравняться с идущим впереди участником заезда.

**ЗАХВАТ ПРОСТРАНСТВА** – длина шага лошади. При крутом, высоком ходе захват пространства меньше, при низком, настильном – больше.

**ЗВЕЗДА** – пятно белой шерсти на лбу лошади.

**ИГРЕНЕВАЯ МАСТЬ** – окраска туловища лошади от коричневой до шоколадной, грива и хвост при этом белые или дымчатые.

**ИНБРИДИНГ** – родственное спаривание животных. В коневодстве случка жеребцов и кобыл, находящихся в близком кровном родстве (близкий и тесный инбридинг), применялась при выведении новых пород, например орловского рысака.

**ИНОХОДЬ** – быстрый симметричный аллюр. Передняя и задняя конечности одной стороны одновременно опускаются и ступают на землю, а противоположная пара выносятся вперед.

**ИППОЛОГИЯ** – наука о лошади.

**ИСПЛЕК** – устаревшее название атрофии мышц лопатки и хронической хромоты.

**КАБРИОЛЕТ** – легкий двухколесный экипаж.

**КАВАЛЕРГАРДЫ** – привилегированный полк тяжелой гвардейской кавалерии, составляющий в торжественных случаях почетную охрану лиц императорской фамилии.

**КАВАЛЬКАДА** – группа едущих вместе всадников.

**КАДЕНЦИЯ** – понятие, характеризующее при оценке выступлений по выезде завершенность движений лошади.

**КАРАКОВАЯ МАСТЬ** – черная окраска туловища, головы и ног, с коричневыми, просветлениями (подпалинами) вокруг глаз и ноздрей, на животе, в пахах и на ягодицах; челка, грива и хвост – черные.

**КАУРАЯ МАСТЬ** – светло-рыжая окраска с просветлениями вокруг глаз, под грудью и животом и потемнением на ногах; хвост, грива и челка – красно-рыжие.

**КАЧАЛКА** – легкая колесная тележка для тренинга и ипподромных испытаний рысаков, основной вид беговых экипажей, вытеснивший беговые дрожки.

**КАШТАНЫ** – роговые кожные образования, расположенные на передних конечностях выше запястного сустава, а на задних – несколько ниже скакательного сустава, «остатки плюсны и пяток».

**КВАДРИГА** – боевая колесница, запряженная четверкой лошадей в ряд.

**КЕНТЕР** – укороченный полевой галоп.

**КИБИТКА** – 1. Верх повозки на каркасе из выгнутых толстых прутьев. 2. Вся повозка с таким верхом.

**КИРАСИРЫ** – тяжелые кавалеристы в касках и кирасе (две металлические пластины, выгнутые по форме спины и груди).

**КЛАСС** – 1. Качество племенной лошади (элита, первый, второй классы). 2. Способность лошади к победе на ипподроме.

**КОЗИНЕЦ** – неустранимый порок, искривление передней конечности лошади, при котором запястный сустав из-за укороченных сухожилий слегка согнут и выдвинут вперед, как у коз.

**КОНКУР-ИППИК** – в широком понимании – всякое конно-спортивное соревнование. Позже – соревнование по преодолению различных препятствий.

**КОНОВАЛ** – ветеринар-ремесленник. В России в XIII-XIX веках коновалами официально называли и ветеринаров, окончивших специальные школы и состоящих на государственной службе.

**КОНОВЯЗЬ** – жердь для привязывания лошадей вне конюшни.

**КОНСКАЯ ОХОТА** – старинное название конного спорта, особенно скачек и бегов.

**КОНСКИЙ РЕМОНТ** – замена и пополнение конского состава воинских частей молодыми лошадьми.

**КОНСТИТУЦИЯ ЛОШАДИ** – совокупность ее физиологических и морфологических особенностей; обуславливается наследственностью и индивидуальным развитием. У лошадей выделяют следующие типы конституции: грубая плотная (то есть сухая), грубая рыхлая (сырая), нежная плотная, нежная рыхлая.

**КОНЬ** – в кавалерии слово употреблялось в значении «мерин».

**КОРДА, ЛОНЖА** – тесьма длиной 8–10 метров для прогонки лошадей по кругу.

**КОРЕННИК** – 1. В троечной запряжке, изобретенной в России, – средняя лошадь, запряженная в оглобли и бегущая рысью, по бокам скачут пристяжные. 2. В парной запряжке с пристяжной – лошадь, запряженная в оглобли. 3. В тачаночной запряжке (четыре лошади в ряд) – лошадь средней пары, идущая у дышла. 4. В многоконной запряжке цугом (нем. «вереница») – лошадь, идущая одна или в паре непосредственно перед экипажем за уносной лошадью.

**КОРОБКА** – невыгодное положение участника забега, когда он, имея соперников близко перед собой и рядом с обеих сторон (или справа, если он движется у внутренней бровки), не может выдвинуться вперед, хотя его лошадь превосходит других по резвости.

**КОСОЛАПОСТЬ** – порок постановки ног, при котором зацепы копыт (то есть передняя часть копыта) повернуты внутрь. При косолапости лошадь часто задевает и «засекает» – травмирует венчик другой ноги.

**КОСТЫЛЬНАЯ НОГА** – вызванное слабостью связок выпячивание вперед путового сустава при опирании конечности. Чаще наблюдается на задних ногах, бабки которых поставлены круче. Путо, бабка – «амортизатор», нижняя часть конечности лошади; нижний конец пута соединен с венчиком (венечным суставом), расположенным сразу над копытом. Движения лошади с короткими крутыми путами менее эластичны, а при излишне длинных и косых (мягких) путах быстрее перенапрягаются сухожилия и утомляются мышцы ног.

**КОСЯК** – группа из нескольких кобыл и одного жеребца.

**КРОВНОСТЬ** – доля чистокровной верховой или арабской породы в происхождении той или иной лошади.

**КРОСС ЛИНИЙ** – метод чистопородного разведения, при котором кобыл одной мужской линии случают с жеребцами других линий.

**КРОССИНГ** – грубейшее нарушение правил испытаний: пересечение беговой дорожки перед идущей сзади лошадью, когда расстояние до нее равно или меньше одной запряжки.

**КРЭК** – лучшая лошадь в конюшне или заезде.

**КУРБА** – порок задних конечностей: заметное при осмотре сбоку утолщение в нижней части скакательного сустава – следствие острого воспаления различных тканей из-за травм или перенапряжения.

**КУРЦГАЛОП** – «собранный», самый короткий галоп.

**ЛАКТАЦИЯ** – отделение молока; у кобыл продолжается 6–8 месяцев.

**ЛАНДО** – четырехколесный экипаж с мягкими рессорами, легким ходом и роскошной отделкой. Пассажиры размещались на переднем и заднем сиденьях лицом друг к другу.

**ЛЕВАДА** – огороженное пастбище на 2–4 гектара.

**ЛЕИ** – накладки из мягкой кожи или кожзаменителя, которые нашивают на брюки для верховой езды в местах наибольшего трения: на внутреннюю поверхность бедер и колен, на седалище.

**ЛЕНЧИК** – каркас седла.

**ЛОЖИТЬСЯ В ПОВОД** – говорят о лошади, которая ищет опоры в поводе, сильно опираясь беззубыми краями в удила. Сильный упор лишает наездника возможности тонкого воздействия поводом.

**ЛУКА** – дужка, соединяющая правую и левую лавки седла.

**ЛЫСИНА** – широкая белая полоса, идущая по лицевой части лошади ото лба до верхней губы.

**МАСТЬ** – один из главных опознавательных признаков лошади; основные масти: вороная, гнедая, рыжая и серая. Производные: буланая, бурая, игреневая, караковая, каурая, мышастая, пегая, саврасая, соловая, чалая, чубарая.

**МАТКА** – кобыла, используемая для воспроизводства (жеребая – беременная, подсосная – выкармливающая жеребенка, холостая – не жеребая).

**МАТОЧНОЕ ГНЕЗДО** – кобылы одного женского семейства, сосредоточенные в одном хозяйстве.

**МАТОЧНОЕ СЕМЕЙСТВО** – группа лошадей, главным образом маток, происходящих от выдающейся родоначальницы.

**МАХ** – свободная, широкая рысь.

**МАШТАК** – малорослая лошадь, приземистый крепыш.

**МЕРТВЫЙ ГИТ** – заезд, не выявивший явных победителей, так как к фишишному столбу подошли голова в голову две и более лошади.

**МОКЛОК, МАКЛОК** – бугор в переднебоковой части крупа лошади. У неудовлетворительно упитанной лошади маклоки резко выступают, из-за чего круп становится угловатым.

**МУНДШТУК** – удило с боковыми щечками.

**МЫЗГАНЬЕ** – посыл лошади громким причмокиванием.

**МЯГКОУЗДОСТЬ** – чувствительность рта лошади к давлению удил.

**НАЛИВЫ** – хронические воспаления суставных сумок, накопление в них серозной жидкости. Чаще бывают в области пясти, плюсны, скакательных и путовых суставов.

**НА УНОС** – выражение, означающее, что лошадь вышла из повиновения и понеслась галопом, не разбирая пути.

**НЕДОУЗДОК** – узда без удил.

**НЕПРАВИЛЬНАЯ ЕЗДА** – нарушение наездниками правил испытаний: пересечение призовой дорожки на близком расстоянии перед другой лошадью, крики, размахивание хлыстом, а также отказ от борьбы, лишние сбои, проскачки (переход с рыси на галоп, когда лошадь делает более трех скачков) и неправильный ход.

**НЕПРАВИЛЬНЫЙ ХОД** – нарушение такта, темпа и ритма рыси при испытаниях рысаков. В иппологической литературе приводится множество названий неправильного хода (строченая, летящая, прерывистая рысь, кошачий ход, собачья побежка). Основными же видами являются притолочка (одна задняя нога выносится дальше другой), прихватка (одна из передних ног выносится дальше другой), сорочий скок (скачки задними ногами), шлапак (неравномерный вынос и опирание конечностей в диагональной паре).

**НЕУК** – молодая лошадь, не прошедшая обтяжку (приучение к недоузду, к хождению в поводе за человеком и т. п.).

**НОГАВКИ** – щитки, защищающие от травм нижнюю часть конечностей.

**ОБЕР-ЧЕК** – ремень, регулирующий положение головы рысака.

**ОБЛУЧОК** – первоначально гнутая жердь и доска, образующая края саней или телеги. Впоследствии облучок стали называть иначе – козлы.

**ОБЪЕДЬЯ** – недоеденный корм.

**ОГОЛОВЬЕ** – узда.

**ОДЕР** – старая, худая, малосильная лошадь.

**ОПОВОЖИВАНИЕ** – приучение жеребенка к постоянному общению с человеком.

**ОРЛОВСКИЙ РЫСАК** – созданная в России первая рысистая порода лошадей, всемирно известная; выведена в конце XVIII – начале XIX века в Хреновском конном заводе (Воронежская губерния) графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским и Василием Ивановичем Шишкиным, возглавлявшим завод 20 лет после смерти Орлова. В создание породы были вовлечены не менее 15 различных пород лошадей. Родоначальниками породы стали выводной из Аравии серый жеребец Сметанка и его внук Барс 1-й.

**ОРЛОВ-ЧЕСМЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ** (1737–1807) – государственный и военный деятель. В 1776 году Екатерина II пожаловала А. Г. Орлову 120 тысяч десятин земли в Бобровском уезде Воронежской губернии. Там и были основаны Хреновской и Чесменский конные заводы, в которых выведены орловская рысистая и верховая породы. Орлов-Чесменский впервые применил разведение по линиям, строгий отбор по работоспособности и экстерьеру.

**ОТБОЙ** – реакция кобылы на жеребца вне периода половой охоты.

**ОТБОЙНАЯ ЛОШАДЬ** – лошадь, бьющая задом в ответ на посыл. Злая, дурноезжая лошадь.

**ОТКРЫТЬ ДЫХАНИЕ** – за 5–7 минут до старта подготовить организм лошади к предстоящей напряженной работе.

**ОТМЕТИНЫ НА ГОЛОВЕ** – звездочка, звезда, проточина, лысина (фонарь).

**ОТЪЕМ ЖЕРЕБЯТ ОТ МАТОК** – отделение от маток и перевод на кормление без материнского молока; производят в возрасте 6–7 месяцев, как правило, не постепенно, а сразу, во второй половине дня, после кормления.

**ПАДДОК** – левада на ипподроме.

**ПАРКУР** – совокупность препятствий, расположенных на площадке для соревнований по их преодолению.

**ПАРФОРСНАЯ ОХОТА** – конная охота с гончими.

**ПЕДИГРИ** – родословная лошади.

**ПЕЙС** – скорость движения группы лошадей, которые участвуют в забеге.

**ПЕРЕВОД РЕЗВОСТЕЙ** – определение предполагаемой резвости на дистанции 1600 метров в случае, если лошадь прошла дистанцию 2400 или 3200 метров. Производится по таблице перевода резвостей: резвости 2.00 (две минуты) на дистанции 1600 метров соответствует время 3.03 на дистанции 2400 метров и 4.08 на дистанции 3200 метров; резвости 2.05 – 3.10,5 и 4.18.

**ПЕРЕХВАТ** – один-два скачка галопа, совершаемые рысаком на дистанции. Не считается сбоем.

**ПЕТУШИНЫЙ ХОД** – судорожное подергивание лошадей одной или обеими задними ногами. Признак шпата (заболевание скакательных суставов).

**ПИПГАК** – припухлость на пяточном бугре в результате ушиба или воспаления. Обычно не сопровождается хромотой.

**ПОДДУЖНАЯ ЛОШАДЬ** – лошадь, скакавшая под всадником на уровне дуги рядом с рысаком, чтобы в условиях соперничества заставить бежать его с наибольшей резвостью.

**ПОДРЕЗ** – железная полоса под полозом саней для повышения его прочности и улучшения скольжения.

**ПОДСЕД, МОКРЕЦ** – воспаление кожи на задней и боковой поверхности пута; чаще появляется у лошадей с развитыми щетками (фризами) – длинными волосами на задней части пясти, плюсны и пута.

**ПОДСЕДАЛ, ДУРИНА** – случная заразная болезнь лошади, вызываемая трипанозомами.

**ПОЛКАН** – древнерусское название кентавра.

**ПОРОДНОСТЬ** – выраженность в экстерьере (наружные формы) лошади признаков, характерных для ее породы.

**ПОСЫЛ** – побуждающее действие, заставляющее лошадь увеличивать резвость скачки или бега.

**ПОТЕРЯТЬ СЕРДЦЕ** – утратить смелость и решительность в езде из-за падения или неудачи.

**ПРИЛИТИЕ КРОВИ** – вводное скрещивание, прием улучшения породы при сохранении ее основных свойств.

**ПРОЛЕТКА** – четырехколесный рессорный экипаж для быстрой езды в городе.

**ПРОМИНКА** – работа лошади в дни рысистых испытаний непосредственно перед ездой на приз, чтобы «открыть дыхание» и стабилизировать ход.

**РЕЗВАЯ РАБОТА** – резвость, показанная лошастью на тренировке, близкая или равная резвости во время призового бега.

**РЕЗВОСТЬ** – время, за которое лошадь проходит дистанцию.

**РЕМОНТЕР** – офицер, занимающийся покупкой молодых лошадей для армии. Связанные термины: ремонтная лошадь, ремонтная комиссия.

**РИСТАЛИЩЕ** – старинное название места, где проходили конские соревнования. От слова ристати – быстро бегать.

**РОЗВАЛЬНИ** – грузовые сани с низким, расширяющимся сзади кузовом.

**РОРЕР** – свистящее удушье, заболевание, которое проявляется в затрудненном дыхании и характерных звуках, издаваемых больной лошастью.

**РЫСЬ** – один из быстрых аллюров лошади. На рыси лошадь попеременно переступает диагональными парами ног: правой передней – левой задней, левой передней – правой задней. Движение в два такта, и при полном его цикле слышно два удара копыт о землю. В зависимости от ширины маха различают собранную, рабочую и прибавленную рысь. Самая тихая называется трот, затем по возрастанию резвости – размашка, мах и резвая (призовая) рысь. Начиная с размашки появляется элемент подвисания, когда одна пара конечностей уже оторвалась от земли, а другая еще не опустилась.

**СБОЙ** – резкий переход с рыси на галоп, если сделано уже более трех скачков.

**СВЕЧА, ДЫБЫ** – подъем лошади в вертикальное положение на задних ногах.

**СКАКАТЕЛЬНЫЙ СУСТАВ** – сложный сустав, соответствующий голеностопному суставу человека.

**СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЛОШАДИ** – рысью 9–30 км/час, галопом (кентером) 20 км/час, шагом 4 км/час.

**СОВКАЯ ЛОШАДЬ** – поворотливая лошадь, легко меняющая направление движения.

**СПИД** – способность совершать бросок вперед во время заезда.

**СТАРТЕР** – член судейской коллегии, по команде которого участники заезда начинают движение и одновременно включается отсчет времени.

**СТАТЬ** – часть тела лошади, выполняющая определенные функции.

**СТЕК** – хлыст для верховой езды.

**СТИПЛЬ-ЧЕЗ** («скачка до колокольни») – скачка по пересеченной местности. Впервые был разыгран в Англии в 1792 году.

**СТРИГУНОК** – годовалый жеребенок. Таким жеребятam обычно подстригают гриву или челку.

**СТУДБУК** – племенная книга.

**СТУПИЦА** – центральная часть колеса с гнездами для спиц и втулкой для насадки на ось.



**СУЛКА** – старое название бегового экипажа – качалки.

**СУПОНЬ** – ремень для стягивания клещей хомута под шеей лошади.

**ТАРАТАЙКА** – двуколка, легкий безрессорный двухколесный экипаж.

**ТАРПАН** – дикая лошадь степей и лесостепей Европы и Азии.

**ТЕБЕНЕВКА** – зимний выпас лошадей, когда они добывают траву, разгребая копытами снег.

**ТЕМЛЯК** – петля из ремня или тесьмы, часто с кистью, на эфесе холодного оружия.

**ТОРБА** – сумка с зерном, которую подвешивают к голове лошади.

**ТОТАЛИЗАТОР** – 1. Ипподромная счетная машинка, на которой подсчитывают ставки. 2. Игра на деньги на бегах, организуемая администрацией ипподрома.

**ТРЕНЗЕЛЬ** – удила, состоящие из грызла и двух колец, за которые трензель крепят к щечным ремням оголовья. К кольцам пристегивают также повод.

**ТЫРЛО** – площадка на пастбище, где лошади собираются при непогоде или налете насекомых.

**УЗДА** – часть конского снаряжения и упряжи; состоит из недоуздка, удил и поводьев.

**ФАЛЬШПЕЙС** – при заезде движение лошади с резвостью, не соответствующей ее реальным возможностям.

**ФАЭТОН** – легкий четырехколесный рессорный экипаж с откидным верхом.

**ФЛЯЙЕР** – лошадь, имеющая успех на коротких дистанциях.

**ХРЕНОВСКОЙ КОННЫЙ ЗАВОД** – завод в Воронежской губернии, родина орловского рысака, старейший в России; основан графом Орловым-Чесменским в 1776 году.

**ЦВЕТА КОНЮШНИ** – цвета камзола и головного убора, в которых выступают все наездники конюшни.

**ЦИБАТОСТЬ** – высоконоготь, недостаточная глубина грудной клетки.

**ЧАВКА** – петля, затянутая вокруг нижней челюсти лошади для усмирения.

**ЧАКЧИРЫ** – облегающие брюки гусар.

**ЧЕПРАК** – покрывало под седлом.

**ЧИСТОКРОВНАЯ ВЕРХОВАЯ ПОРОДА** – порода верховых лошадей, отличающаяся непревзойденной резвостью, дистанционностью и силой. Выведена в Англии на рубеже XVII–XVIII веков. Восходит к восточным жеребцам и лучшим местным кобылам. Порода является улучшателем для многих верховых и упряжных пород.

**ШИШКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (1780–1846)** – коннозаводчик, ученик и ближайший помощник графа Орлова-Чесменского, управляющий Хреновским конным заводом с 1811-го по 1831 год. Завершил выведение орловских верховой и рысистой пород. Создал собственный конный завод в селе Алексеевском Воронежской губернии, продукция которого стала основой распространения орловского рысака в частных заводах.

**ШТАЛМЕЙСТЕР** – в дореволюционной России придворное звание, которое присваивалось высшим чиновникам государственного коннозаводства.

**ЯБЛОКИ** – пятна более светлого цвета на теле лошади, чем окружающий фон. Рисунок яблок зависит от сети кожных кровеносных сосудов. С возрастом яблоки исчезают, особенно у серых лошадей, которые становятся белыми.

## ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯХ

Воспоминания известного русского коннозаводчика Якова Ивановича Бутовича очень обширны. Они начинаются с описания ранних лет жизни. Ярко и красочно, прекрасным русским языком рассказывает автор о хозяйстве и быте семьи отца – Ивана Ильича Бутовича, одного из крупнейших помещиков юга России, обо всех коннозаводчиках этого региона, с которыми встречался автор, с юных лет ставший страстным любителем лошади, и в первую очередь орловского рысака.

Каждое описанное автором воспоминаний лицо предстает перед читателем как живое. Внешность, характер, привычки, деятельность и судьба людей описаны кратко, но ярко, с психологической точностью.

Яков Иванович Бутович, знаток и любитель лошадей, выдающийся историк породы орловского рысака и страстный защитник этой великой отечественной породы, ценитель искусства и знаменитый коллекционер, обладал, несомненно, и литературным талантом.

Перед читателем разворачивается картина жизни богатых и не очень коннозаводчиков конца XIX – начала XX века, деятельность беговых обществ того времени – Одесского, Киевского, Петербургского, Московского. Эти описания позволяют читателю живо представить себе состояние рысистого спорта в России в этот исторический период. Не менее интересны характеристики издававшихся в то время в России спортивных и коннозаводческих журналов и их издателей. Наконец, современным владельцам лошадей, специалистам и просто любителям будет интересно узнать о влиянии тогдашнего государственного комитета по коннозаводству на деятельность беговых обществ и отдельных коннозаводчиков.

Обладающий острой наблюдательностью свидетель многих сторон жизни России, участник Русско-японской войны, автор дает яркие описания и этих страниц жизни, сопровождая их глубокими и горькими замечаниями по поводу судеб людей, характера русского народа.

Внимание тех, кому небезразлична судьба орловского рысака, кто хочет знать историческую правду о ней, несомненно, привлекут главы книги, где описана борьба защитников орловского рысака с метизаторами, интриги, роль великих князей Дмитрия Константиновича и Петра Николаевича, особенно первого, в спасении отечественной породы в период внедрения тотализатора на российские ипподромы, когда шел ничем не ограниченный ввоз в страну американских рысаков, с которыми скрещивали лучших орловских кобыл. Сведения об этой борьбе никогда и нигде не публиковались подробно, были рассеяны по страницам старинных изданий, недоступных большинству читателей.

Так же ярко, живо, с мельчайшими подробностями, схваченными острым взглядом знатока, описывает Бутович лошадей, которых ему довелось видеть, оценивать и приобретать. Приводится их генеалогия, их призовая карьера и заводская деятельность.

В отличие от многих современных ему «охотников», то есть любителей и заводчиков, Бутович равно ценил в орловском рысаке резвость, способность к призовой борьбе и красоту форм. Поэтому всем авторитетным, по его мнению, лицам, работавшим с орловским рысаком, он задавал вопрос: «Кто, по вашему мнению, самый резвый орловский рысак и кто самый нарядный и красивый?»

Высказанные мнения Бутович комментирует, передает и собственные впечатления о каждой лошади, а затем анализирует все вместе, распределяя названных лошадей по линиям. Анализу предшествует разбор особенностей генеалогии и типа двух старых линий породы, которые автор считает ведущими в XIX веке – Полкана 3-го и Лебеда 4-го. Эта характеристика очень интересна для специалистов, работающих ныне с орловским рысаком.

Зоотехнические этюды Я. И. Бутович чередует с портретами людей. И это тоже очень увлекательно. Автор пишет и о своих друзьях, таких как Каспар Каспарович Кноп. Это был знаток лошадей и их генеалогии, широко образованный в вопросах коневодства человек. Именно Кноп вдохновил Бутовича на собирание портретов лошадей, что привело впоследствии к созданию лучшей в мире коллекции, а затем – Музея коневодства.

Рассказывая о начале своей коннозаводческой деятельности, Яков Иванович красочно и с большим теплом описывает жизнь в имении украинского коннозаводчика А. Н. Терещенко. История покупки Прилепского поместья, устройство усадьбы, знакомство с тульскими коннозаводчиками и местным дворянством тоже воссозданы очень живо и увлекательно, как и городская езда в Туле или так называемая «городская охота» – своеобразные соревнования русских упряжек, запряженных орловскими рысаками. Эти сведения в наши дни недоступны читателю, поэтому представляют большой интерес.

Тема, проходящая через все воспоминания, – борьба за сохранение орловского рысака. Описывая жизнь петербургской знати, имевшей отношение к коннозаводству, кавалерии и ее ремонту, Бутович приводит удивительное высказывание старого генерала-кавалериста А. И. Струкова: «Положение, когда русскую лошадь невыгодно и даже невозможно разводить в собственной стране, возможно только в России». К сожалению, это звучит актуально и в наши дни!

Кульминацией предреволюционной борьбы за сохранение орловского рысака стала изображенная в воспоминаниях Всероссийская конская выставка 1910 года и съезд коннозаводчиков, решивший судьбу породы. Бутович подчеркивает необычайную популярность выставки в Москве и во всей России, подробно описывает всех представленных на ней лошадей, радуется успеху группы своих маток, получивших золотую медаль. Продолжая тему выставок, которые он считал совершенно необходимыми для совершенствования орловского рысака, автор сообщает о принятом Главным управлением государственного коннозаводства решении о проведении ежегодно региональных «окружных» выставок и раз в пять лет – всероссийских.

Рассказывает о второй, не менее сильной страсти в своей жизни – коллекционировании предметов искусства, связанных с лошадьми. Описывая свою коллекцию, Бутович обращается к деятельности русских художников – анималистов и баталистов, с которыми он был зна-

ком и чьи работы вошли в его собрание. Удивительно повествование о фотографии Алексееве – классике фотографических портретов лошади, хорошо известном всем коневодам России XX века. Подробно описаны судьба и характеры художников Ворошилова, Самокиша, Френца, которых Яков Иванович приглашал в Прилепы писать портреты своих лошадей. В этой главе есть фрагмент, потрясающий своей красотой и нежностью к лошадям – это описание поездки на пастбище.

Приводятся в воспоминаниях детали и сведения, которые позволяют представить себе не только общую политическую обстановку в России накануне революции, но и роль общественности, прессы, личных связей при царском дворе и в правительстве для решения тех или иных проблем. Очень показательно в этом смысле описание деятельности комиссии по ревизии государственного Хреновского конного завода и покупки производителя для этого завода в 1911 году.

Читатель, особенно связанный с коневодством, узнает много интересных подробностей из истории тех заводов, которые сохранились до нашего времени.

Воспоминания Я. И. Бутовича очень обширны, и не все вошло в первый том книги. Цельной картина станет лишь при издании второго и третьего томов воспоминаний. Коротко скажем еще о судьбе и делах автора.

С началом Первой мировой войны Яков Иванович, как офицер-кавалерист, был мобилизован и, как известный знаток лошади, использован в качестве ремонтера – специалиста по отбору лошадей для армии. Он написал об этом, подчеркивая роль орловского рысака. Он ездил в Сибирь для приемки и привода в запасной полк тысячи лошадей, и, если будут опубликованы второй и третий тома воспоминаний, читатели узнают, каковы взгляды автора на основы сибирского коневодства, на историю и происхождение кузнецкой лошади.

В 1916 году Бутович получает военно-дипломатическое поручение по передаче итальянских военнопленных на родину через Архангельск. Вся эта эпопея описана подробно, но в первый том не вошла.

После возвращения из Архангельска Яков Иванович назначается в ремонтную комиссию Орловской губернии. Впоследствии работает в ремонтных комиссиях в центре страны. Он не захотел бросить в беде отечественное коннозаводство в годы революции и Гражданской войны. Он пытался спасти и Прилепский завод, и галерею от разграбления, один из первых принял меры к национализации своего завода и музея, добился должности его хранителя.

Не ограничиваясь одним своим заводом, Бутович предпринимает энергичные шаги по привлечению к делу спасения коннозаводства П. А. Буланже, одного из деятелей революции того периода.

В период между Февральской и Октябрьской революциями Бутович продолжает работать в ремонтной комиссии в Орле, затем, стремясь в это смутное время быть поближе к Прилепам, переводится в Тулу.

В результате его усилий была создана Чрезвычайная комиссия по спасению племенного животноводства. В результате деятельности этой комиссии многое было спасено...

Ему было трудно: как «бывшего», его травили, ему мешали работать. В 1920-х годах Бутович ведет постоянную борьбу за сохранение

орловской рысистой породы и воссоздание коннозаводства, на любой должности, какую бы он ни занимал в тот период. А работал он как в Москве, в учреждениях, руководящих коннозаводством, так и в Туле.

Стремясь привлечь внимание властей к проблемам коннозаводства и породы, он, впервые (!) в послереволюционной России, организует в Туле бега и выставку орловских рысаков. На это мероприятие, прошедшее с большим успехом, при огромном количестве зрителей, Яков Иванович приглашает Н. И. Муралова, наркома земледелия, и доказывает ему, что если в рабочей Туле народу так понравились бега, то их необходимо восстановить и в Москве.

Муралов приглашает Бутовича занять пост начальника отдела коннозаводства в Народном комиссариате земледелия. Интересно, что в этом отделе вместе с Бутовичем работал легендарный генерал Брусилов, автор знаменитого Брусиловского прорыва, одной из немногих успешных боевых операций русской армии во время Первой мировой войны. Свою работу на новой должности, ознаменовавшуюся восстановлением конских испытаний на московском ипподроме, Яков Иванович справедливо считал одной из своих самых крупных побед «на коннозаводческом фронте».

Стремясь к восстановлению и сохранению орловского рысака – единственной в это время отечественной упряжной породы, он организовывал выставки, пробеги с грузом и т. п., не только показывая великолепные формы лошадей, но и доказывая их полную пригодность в сельском хозяйстве.

Бутович всеми доступными ему средствами боролся за сохранение Прилепского завода. Ему было очень трудно. Он считался классовым врагом, и никакие заслуги перед страной не могли этого перевесить, чем ловко воспользовались его противники. Завод был переведен в Хреновской, причем не целиком – часть кобыл была передана в Грязнушенский конный завод, где не было в то время настоящего заводского порядка.

Вслед за этим был переведен в Москву и музей. Бутович был отстранен от должности его хранителя. Во время передачи музейных экспонатов его обвинили в краже некоторых из них и завели на него уголовное дело. Вся эта история описана им подробно, с психологически точными зарисовками портретов и поступков всех действующих лиц.

Ограбленный (большая часть личных вещей была изъята), поверженный, но отнюдь не сломленный, Яков Иванович едет в Москву, где пытается найти справедливость и защиту. Но политическая ситуация в стране отняла у него и эту надежду.

23 февраля 1928 года Я. И. Бутович был арестован. Потом были Лубянка, Бутырка, Тульская и Одоевская тюрьмы, Соловки...

В первые дни после ареста, еще на Лубянке, Яков Иванович испытывает жестокие мучения, особенно нравственные, думая о своем незапятнанном имени, о том, что оно известно как в России, так и особенно на Украине.

Последняя часть воспоминаний посвящена описанию условий тюремного содержания, ухудшавшегося от Бутырской до Одоевской тюрьмы, включает портреты людей, встречавшихся ему в тюрьмах. Острая наблюдательность художника-психолога не покинула Бутовича и в этих условиях. С мрачным юмором он замечает после двух лет

тюрем: «...теперь я превосходно разбираюсь в типах, группах и подразделениях преступников и в этой отрасли являюсь не меньшим специалистом, чем в искусстве или коннозаводстве».

И в этих условиях он постоянно возвращается мысленно к своим лошадям, ушедшим в Хреновской конный завод, и пишет потрясающие слова: «Лошади моего сердца! К вам я непрестанно обращаю мои мысли и взоры – живите же и цветите в Хреновой на благо и счастье России!» А он еще не знает и не скоро узнает, что в Хреновую в брюхе матери ушел европейский рекордист и чемпион породы по типу и экстерьеру, родоначальник линии Улов; что рожденная в его заводе Безнадежная-Ласка станет основательницей величайшего, феноменального, лучшего маточного семейства породы. И никогда не узнает Я. И. Бутович о том, что созданные им лошади преобразят так любимую им, так защищаемую орловскую рысистую породу, выведут ее на новый уровень. Поэтому таким справедливым, таким горьким упреком стране звучат его слова: «Я испил всю чашу позора, изведал всю гамму страданий, и только за то, что, как верный сын России, я в это смутное время не бежал за границу, с тем чтобы оттуда плевать и издеваться над своей родиной, а остался здесь, обосновал и отчасти спас коннозаводство, сохранил величайшие культурные и материальные ценности, много раз рисковал своей жизнью...»

Отдельно необходимо остановиться на трудах Бутовича как знатока истории, генеалогии орловского рысака, как селекционера и зоотехника в современном смысле этого понятия. Обо всем, что сделано было им для сохранения орловского рысака, достаточно сказано выше. Обстоятельное описание этой борьбы читатель найдет в тексте воспоминаний.

Как историк породы и знаток ее генеалогии Я. И. Бутович начал формироваться очень рано, еще в гимназии, открыв для себя книгу известного историка породы В. И. Коптева. После этого он внимательно, вдумчиво изучает опубликованные заводские книги и, будучи еще совсем молодым человеком, становится одним из известнейших среди коннозаводчиков знатоком генеалогии орловского рысака.

Считая обязательными для орловского рысака нарядность форм, массу и рост, он одновременно с вниманием и страстью следит за успехами своих и чужих лошадей на бегах, с восторгом пишет об орловских рекордистах – Потешном, Крепыше и многих других. Он постоянно подчеркивает необходимость при работе с орловским рысаком соблюдать равновесие этих двух признаков. Современным селекционерам будет интересно узнать, что именно Бутович первым указал на необходимость при работе с Ловчим усиливать «кровь» Задорного и что Бурелом, отец Отбоя, был получен по специальному подбору...

Из воспоминаний Якова Ивановича, посетившего огромное количество конных заводов в конце XIX – начале XX века, мы узнаем, что большинство русских коннозаводчиков недокармливали лошадей и плохо выращивали молодняк: «...богатые потому, что не находили это нужным, бедные... потому, что не имели средств». Отсюда позднеспелость породы с одной стороны, потрясающая выносливость – с другой. Яков Иванович не согласен с такой практикой и отмечает, что успеха на ипподромах достигали в первую очередь те заводчики, которые хорошо выращивали и тренировали лошадей. Но многие ор-

ловские рысаки как в прошлом, так и в наши дни из-за недостатков выращивания не реализовали свой потенциал.

О голодании лошадей своего и других конных заводов после революции Яков Иванович с горечью и болью пишет во многих местах своих воспоминаний; говоря о матках, подчеркивает, что все первые годы революции они голодали, голодными вынашивали и выкармливали приплод. При этом он особенно ценит тех, кто не только выжил, но и выкормил детей. И каких детей, добавим мы!

Зоотехнические взгляды и идеи Бутовича, встречающиеся по всему тексту воспоминаний, очень интересны. Некоторые из них опровергаются современной наукой и практикой, но ценны как отражение взглядов передовых коннозаводчиков его времени. Однако большинство его высказываний остаются актуальными и в наше время. Поистине трудно переоценить широту взглядов и талант этого человека как специалиста в разведении лошадей.

В заключение хочется еще раз подчеркнуть: в воспоминаниях перед нами предстает одна из замечательных фигур не только в истории русского коннозаводства, но и в истории русской культуры. Эта фигура очень своеобразная и очень многосторонняя. С одной стороны, столбовой дворянин, аристократ по воспитанию и привычкам, настоящий сын своего сословия, с другой – потомственный животновод, тончайший знаток и любитель лошади, одаренный великим талантом правильно оценить, выбрать лошадь и получить от нее задуманное. Знаток истории и генеалогии орловского рысака. Фанатичный борец за сохранение этой уникальной породы. Основатель одного из лучших заводов России. И наконец, тонкий ценитель искусств, основатель единственного в мире Музея коневодства, одаренный несомненным писательским талантом.

Мы надеемся, что, ознакомившись с его воспоминаниями, читатель отдаст должное памяти этого замечательного сына России.

*Профессор Г. А. Рождественская,  
доктор сельскохозяйственных наук, заведующая отделением селекции ВНИИК,  
председатель Международного общественного совета по сохранению  
орловской рысистой породы лошадей*

## СОДЕРЖАНИЕ

А. Соколов. Об истории рукописи	
Я. И. Бутовича и орловском рысаке.....	5
Мои Полканы и Лебеди	
Жизнь в Касперовке.....	9
Училище. Полк. Русско-японская война.....	26
В Москве.....	52
Конский Хутор. Киев. Снова Москва.....	63
Орловцы и метизаторы.....	79
Удалой. Кряж. Лихач и другие.....	97
Коннозаводчики и охотники.....	119
Мой конный завод.....	199
В Санкт-Петербурге.....	252
Всероссийская конная выставка.....	272
Хреновской завод.....	300
Пензенская Завиваловка.....	327
Моя коллекция картин и фотографий.....	339
Словарь терминов.....	368
Г. Рождественская. Об авторе этой книги и его воспоминаниях.....	378



Яков Иванович Бутович  
**МОИ ПОЛКАНЫ И ЛЕБЕДИ**  
ВОСПОМИНАНИЯ КОННОЗАВОДЧИКА  
часть первая

Издание второе

Расшифровка рукописи – С. Бородулин  
Редакторы Н. Гашева, К. Гашева  
Художественный редактор – С. Можаева  
Компьютерная верстка – Ф. Назаров  
Корректоры Т. Ускова, Н. Семукова

*На обложке – 14-кратный Всесоюзный рекордист,  
4-кратный дербист гнедой жеребец Кипр (Полпей – Крутизна)  
Пермского конного завода № 9 – потомок Ловчего  
завода Я. И. Бутовича по прямой мужской линии.  
Фото Елены Бабаевой*

Подписано в печать 29.03.2010 г. Формат 70×100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Гарнитура «Прагматика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,2.  
Тираж 1000 экз. Заказ № 732.

Издательство «Книжный мир»  
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34,  
тел. 220-01-70.

Отпечатано в ОАО «ИПК «Звезда».  
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

ББК 93

Я. И. Бутович «Мои Полканы и Лебеди»  
Издательство «Книжный мир»



КНИЖНЫЙ  
МИР  
2010